

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ШУШКИН

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

ШУШКИН  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

IV

IV

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

---

ПУШКИН  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

ТОМ  
IV



---

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА ~ ЛЕНИНГРАД  
1 9 6 2

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

*М. П. Алексеева, Д. Д. Благого, Б. П. Городецкого,  
Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха, Ю. Г. Оксмана*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

*Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ*

## ОТ РЕДАКЦИИ

Начиная с IV тома периодические сборники «Пушкин. Исследования и материалы» готовятся редакционной коллегией в составе литературоведов-пушкинистов, утвержденной Отделением литературы и языка Академии наук СССР. Для каждого отдельного тома редколлегия выделяет ответственного редактора.

Редакционная коллегия поставила своей задачей усилить роль сборников в развитии пушкиноведения и в выдвижении и разработке наиболее актуальных проблем изучения жизни и творчества Пушкина. Открывающая том редакционная статья намечает некоторые перспективы в этой области. В томе печатается несколько работ по проблемам изучения биографии Пушкина, прочитанных в виде докладов на XIII Всесоюзной Пушкинской конференции в июне 1961 г. С этого тома в издание вводится новый отдел «Трибуна», в котором редакция намерена развернуть творческие дискуссии. В данном томе помещены две статьи, посвященные спорным вопросам интерпретации дневника Пушкина. Одной из задач сборников остается публикация новых материалов. Начиная с V тома в сборниках будут печататься обзоры и рецензии на новые книги.

В разделе «Хроника» дается информация об исследовательской работе в области пушкиноведения как в Институте русской литературы АН СССР, так и в других научно-исследовательских учреждениях и музеях.

Редакция обращается с призывом к литературоведам Советского Союза и зарубежных стран принять активное участие в сборниках «Пушкин. Исследования и материалы».



## К НОВЫМ УСПЕХАМ В ИЗУЧЕНИИ ПУШКИНА

(О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ  
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ)

### 1

10 февраля 1962 года исполнилось 125 лет со дня смерти А. С. Пушкина, величайшего русского поэта, деятельность которого ознаменовала целую эпоху в развитии русской культуры, перед гением которого преклоняется все прогрессивное человечество. Творчество Пушкина завершает процесс всего предшествующего ему развития русской литературы. Вместе с тем Пушкин, по точным словам Горького, «начало всех начал», родоначальник русской классики XIX века, основоположник русского литературного языка. Но творческое наследие Пушкина — не только величественный памятник прошлого. Исполненные вольнолюбия, гуманизма, пронизанные историческим оптимизмом, произведения Пушкина сохраняют свою непреходящую ценность и для нашего времени.

В советском пушкиноведении стало традицией ознаменовывать каждую дату, связанную с биографией великого поэта, подведением итогов изучения его наследия и выдвиганием очередных задач в этой области. Мы с гордостью можем отметить, что именно в нашу, советскую эпоху со всей полнотой раскрылось национальное и всемирное значение Пушкина. После Великой Октябрьской социалистической революции творения Пушкина впервые обрели полную народность, стали достоянием миллионов трудящихся. Произведения Пушкина, собрания его сочинений, очищенные от тех искажений, которым они подвергались со стороны царской цензуры, выходят все новыми и новыми изданиями, невиданными ранее, поистине массовыми тиражами.

Пушкинские памятные даты 1937 и 1949 годов, широко отмеченные во всех концах нашей родины, явились началом нового этапа углубленного, всестороннего изучения пушкинского наследия. В последующие годы советская наука о Пушкине добилась серьезных успехов в деле исследования и популяризации его наследия. Ежегодно в Ленинграде проводятся традиционные Всесоюзные Пушкинские конференции с участием пушкинистов со всех концов Советского Союза и зарубежных гостей. При Отделении литературы и языка Академии наук СССР создана Пушкинская комиссия; в составе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, являющегося научным центром по изучению творчества и биографии великого поэта, активно работает Группа пушкиноведения. Институтом русской литературы АН СССР и Пушкинской комиссией АН СССР издаются специальные пушкиноведческие научные органы («Пушкин. Исследования и материалы» и «Временник»), разработан проект издания «Пушкинской энциклопедии». Ряд исследований по актуальным проблемам пушкиноведения М. П. Алексеева, Д. Д. Благого, П. Н. Беркова, С. М. Бонди, Н. Л. Бродского, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. П. Городец-

кого, Л. П. Гроссмана, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха, Ю. Г. Оксмана, С. М. Петрова, Н. К. Пиксанова, И. В. Сергиевского, А. Л. Слонимского, Н. Л. Степанова, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского, Т. Г. Цявловской и других напечатан в различных сборниках и периодических изданиях. За одно лишь последнее десятилетие вышли книги Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина» и «Мастерство Пушкина», Б. П. Городецкого «Драматургия Пушкина» и «Лирика Пушкина», Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля», Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха» и «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс», Ю. Г. Оксмана «От „Капитанской дочки“ Пушкина к „Запискам охотника“ Тургенева», С. М. Петрова «Исторический роман Пушкина», Б. В. Томашевского «Пушкин. 1813—1824»,<sup>1</sup> А. Л. Слонимского «Мастерство Пушкина», Н. Л. Степанова «Лирика Пушкина» и «Проза Пушкина», И. Л. Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина» и другие. В борьбе с антимарксистскими тенденциями, формализмом, вульгарным социологизмом, антиисторической теорией «единого потока» и другими отклонениями от правильного пути советское пушкиноведение не только добилось значительных успехов, но и поднялось на принципиально новую, более качественно высокую ступень развития. Вышло советское академическое издание полного собрания сочинений Пушкина, завершено издание «Словаря языка Пушкина». Появился первый том «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» (1951), подготовленный покойным М. А. Цявловским, далеко оставивший за собой соответствующие разделы дореволюционного труда Н. О. Лернера «Труды и дни Пушкина» (1910).

Советскими исследователями создается ряд новых обобщающих трудов по Пушкину. Ведется работа над коллективной монографией «Итоги и проблемы пушкиноведения». Пушкинским кабинетом Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, где сосредоточена вся литература о Пушкине на русском и на многих других языках, ведется систематическая и большая библиографическая работа. Все это говорит о несомненном размахе, который приобрела у нас исследовательская деятельность, посвященная Пушкину.

Бюро отделения литературы и языка АН СССР на своем заседании в июне 1961 года одобрило составленную группой пушкинистов под руководством Бюро Пушкинской комиссии записку «Основные проблемы пушкиноведения на современном этапе». Этот документ должен помочь литературоведам, научным учреждениям и вузам в определении тематики и задач дальнейших исследований, связанных с изучением творчества и биографии Пушкина.<sup>2</sup>

## 2

Главнейшей задачей пушкиноведения является углубленное исследование мировоззрения и творчества Пушкина. Путь Пушкина-художника, непосредственно связанного с поколением дворянских революционеров и первым этапом освободительного движения в России, должен рассматри-

<sup>1</sup> Посмертно вышла книга Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция», а также его статьи и подготовительные материалы ко второму тому монографии «Пушкин. 1824—1837».

<sup>2</sup> В настоящей статье учтен ряд положений и задач, сформулированных в этой записке, за исключением вопросов изучения биографии Пушкина, так как им была посвящена целиком XIII Всесоюзная Пушкинская конференция в июне 1961 года (см. в настоящем томе некоторые из прочитанных на этой конференции докладов и информацию о ней в «Хронике»). Полностью записка «Основные проблемы пушкиноведения на современном этапе» напечатана в «Известиях Академии наук СССР. Отделение литературы и языка» (№ 1, 1962).

ваться с учетом заложенных в нем потенциальных возможностей дальнейшего развития, прерванного его гибелью.

В нашем литературоведении стало аксиомой, что жизнь и деятельность Пушкина-художника неотделимы от освободительного движения его времени. Однако недостаточно еще учитывается, что проблема русского освободительного движения 1810—1830-х годов, являвшегося частью общеевропейского общественного развития, шире проблемы одной дворянской революционности. Равным образом дворянская революционность, возникшая задолго до организации первых тайных декабристских обществ и продолжавшая существовать и после разгрома движения декабристов, далеко не исчерпывается историей одних тайных декабристских организаций.

В силу этого в отличие от дореволюционного литературоведения, ограничивающего изучение общественно-политических процессов русской жизни первой четверти XIX века лишь рамками тайных декабристских организаций, советское литературоведение включает в сферу своего изучения глубокие процессы стихийного и неорганизованного антикрепостнического движения широких народных (крестьянских и солдатских) масс, начавшего особенно интенсивно развиваться после Отечественной войны 1812 года. Возникшая на национальной почве антикрепостнических и антифеодальных устремлений русского общества, дворянская революционность явилась своеобразным отражением этого процесса. В ходе его критически преломлялись все лучшие традиции предшествующей русской мысли, идеи просветительской философии XVIII века и французской буржуазной революции. С учетом всего этого необходима дальнейшая разработка проблемы развития мировоззрения Пушкина и его творческой эволюции.

Мировоззрение Пушкина привлекало пристальное внимание советских исследователей. Много нового внесено в изучение лицейского периода, формирования мировоззрения поэта в эту пору.

Неоспоримо установлено воздействие на юного Пушкина передовой русской политической мысли конца XVIII—начала XIX столетия, формировавшейся декабристской идеологии, французской просветительской философии, Отечественной войны, всей русской крепостнической действительности послевоенного периода. Менее ясна до сих пор конкретная степень воздействия на Пушкина отдельных мыслителей XVIII века (Ж.-Ж. Руссо, Монтескье, А. Н. Радищев, Н. И. Новиков, И. П. Пнина), современников (А. П. Куницына, П. Я. Чаадаев, Н. И. Тургенев, Б. Констан, г-жи де-Сталь и других), литературных и политических объединений десятых годов («Священная артель», «Арзамас», «Зеленая лампа», «Вольное общество любителей российской словесности»).

Советское пушкиноведение по-новому поставило вопрос об отношении Пушкина к движению декабристов. Декабристское движение нельзя понять во всей его сложности и объеме, не рассматривая его в эволюции и не принимая во внимание настроенности широких кругов дворянской интеллигенции, формально не состоящих в декабристских организациях, но являющихся неотъемлемой частью всего движения в целом. Именно к этой среде принадлежали такие деятели эпохи, как Пушкин и Грибоедов.

Отношениям между Пушкиным и декабристами посвящен ряд работ М. В. Нечкиной, Ю. Г. Оксмана, С. Я. Гессена, Б. С. Мейлаха, В. Г. Базанова и других. Но до сих пор нет капитального монографического исследования, посвященного специально этой проблеме в целом.

Движение декабристов было несравненно сложнее, многообразнее и противоречивее, чем это представляется даже на современном этапе его изучения. В связи с этим необходимо заново осмыслить положение

о так называемом «перерастании» Пушкиным идеологии дворянской революционности. Слишком прямолинейное понимание этой формулы, без учета внутренней эволюции того сложного общественного процесса, каким является дворянская революционность, выводит мировоззрение Пушкина из основного идейного движения эпохи, в то время как следует рассматривать его в качестве одного из вершинных достижений всего движения в целом.

Отдельные тенденции в направлении, по которому развивался Пушкин, отчетливо заметны в деятельности и суждениях целого ряда участников движения. В этом отношении дальнейшему коренному пересмотру в научной биографии Пушкина должен быть подвергнут вопрос об этапах биографии Пушкина после разгрома движения декабристов. В недрах дворянского периода русского освободительного движения уже намечались условия и возможности чрезвычайно сложных и в то же время глубоко закономерных процессов личной эволюции того или иного деятеля эпохи, по рождению, воспитанию и образу жизни связанного с классом дворян и помещиков. Проблема отношения Пушкина к революции и к различным путям изменения существующего строя должна быть прослежена на всех этапах его биографии. Мало изучено отношение Пушкина к конкретным формам правления — республике, конституционной монархии.

Необходимо продолжить разработку проблемы социальных воззрений Пушкина, его историзма, развития его мировоззрения в период общения в Кишиневе с М. Ф. Орловым, В. Ф. Раевским, К. А. Охотниковым и другими декабристами. Для него, по-видимому, не прошли бесследно и встречи с П. И. Пестелем, выдвинувшим в 1822 г. тезис о борьбе народов не только с феодальной аристократией, но и с «аристокрацией богатств», без свержения которой невозможно обеспечить интересы подлинной демократии.

Дальнейшего всестороннего изучения требует эволюция мировоззрения Пушкина после разгрома восстания декабристов. Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения прогрессивного меньшинства правящего класса, которое было сдавлено рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время страшилось призрака «новой пугачевщины», впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности в 1830-х годах. Вопросы, волновавшие еще Радищева, продолжали оставаться, говоря словами Белинского, «самыми живыми, современными национальными вопросами» и в пору работы Пушкина над «Историей Пугачева». Несмотря на то что процесс разложения крепостного хозяйства определялся все более явно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещичьего государства, в течение полустолетия оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «барства дикого» или «великих отчинников», как называл Радищев крупных земельных собственников, со всякими попытками не только ликвидации крепостного строя, но и с какими бы то ни было подготовительными мероприятиями в этом направлении. Естественно поэтому, что Пушкин в середине тридцатых годов с таким же основанием, как и Радищев в 1790 году, а декабристы в 20-х годах XIX века, не возлагал никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков, и, так же как его учителя и предшественники, трезво учитывал политические перспективы ликвидации крепостных отношений или сверху, «по манию царя», или снизу, «от самой тяжести порабощения».

Для правильного понимания позиций Пушкина как историка и публициста необходимо одновременное исследование всего, что он писал в своих статьях,



заметках, письмах, дневниках на острейшие политические темы современности, всестороннее сопоставление всех его разновременных суждений и высказываний. Пристального внимания заслуживает оценка Пушкиным в 30-е годы роли отдельных классов и сословий в истории России и в особенности его оценка современного положения передового («просвещенного») дворянства.

В свете последних исследований, выявляется необходимость конкретного, исторического изучения всех фактов, свидетельствующих об отходе Пушкина в 1836 году от той литературно-общественной группировки, основных представителей которой он некоторое время склонен был рассматривать как своих если не единомышленников, то союзников (основных сотрудников журнала «Московский наблюдатель»), в оценке позиции которых Пушкин в 1836 году неожиданно сошелся не со своими товарищами по работе в «Современнике», а с Белинским. Именно в этих условиях перед Пушкиным встает вопрос о приглашении в «Современник» молодого Белинского. Однако переезд Белинского в Петербург не состоялся в связи с закрытием «Телескопа», репрессированием Чаадаева и упорными слухами о привлечении Белинского к секретному дознанию об обстоятельствах появления в «Телескопе» знаменитого «Философического письма» П. Я. Чаадаева.<sup>3</sup> Идеологические позиции Пушкина в последние годы его жизни не могут быть правильно осмыслены без тщательного изучения всех особенностей его отношения к пессимистической концепции русского исторического процесса, пропагандировавшегося в то время П. Я. Чаадаевым.

Проблема мировоззрения Пушкина не сводится к его общественно-политическим взглядам. В связи с этим необходимо отметить, что существенным недостатком ряда работ о Пушкине является отрыв его общественно-политических, исторических, философских, эстетических, литературно-теоретических взглядов от его художественного творчества и от конкретных фактов литературно-общественной борьбы 1820—1830-х годов.

Эволюция мировоззрения Пушкина зачастую изучалась не исторически, не комплексно, а узко-имманентно, на материале его отдельных высказываний теоретического и автобиографического характера в тех или иных статьях, заметках, письмах, в случайных записях мемуаристов. На современном этапе пушкиноведения эту проблему нужно разрешать путем охвата всей его многообразной деятельности и как художника, и как публициста, и как историка, и как общественного деятеля, ставившего и разрешавшего большие проблемы философско-исторического плана.

### 3

Исследование творчества Пушкина, художественной эволюции поэта, его творческого метода, художественного мышления, является центральной задачей пушкиноведения. Казалось бы, выдвижение этой задачи в качестве основной нет надобности мотивировать. Однако история пушкиноведения свидетельствует о том, что в прошлом именно изучение творчества Пушкина в указанных выше аспектах меньше всего привлекало внимание исследователей. Недостаток этот полностью не преодолен и до сих пор.

После появления цикла статей Белинского о Пушкине в течение многих десятилетий не появлялось исследований, освещавших все творчество Пуш-

<sup>3</sup> Этим вопросам был посвящен доклад Ю. Г. Оксмана «Пушкин и Белинский» на XIII Всесоюзной Пушкинской конференции. См.: Тринадцатая Всесоюзная Пушкинская конференция. Тезисы докладов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 9—12.

кина в целом с точки зрения основных принципов его художественной системы. Основными жанрами пушкиноведения в дореволюционное время стали биографические очерки, в которых художественные произведения рассматривались лишь как материал к биографии поэта (таковы работы многих исследователей от Анненкова до Сиповского), и специальные исследования на частные темы, посвященные почти исключительно отдельным вопросам биографии поэта. Непосредственно в предоктябрьские годы старое пушкиноведение переродилось в узкий биографизм: теперь уже каждое произведение рассматривалось в академическом пушкиноведении только как иллюстрация к биографии поэта, вопросы об идейно-художественной и эстетической ценности пушкинского творчества почти не выдвигались. В прямой противоположности с традициями Белинского оказались основные работы формалистов о Пушкине, рассматривавших его художественную систему лишь как сумму приемов.

Советское пушкиноведение, приняв на вооружение все лучшее, что дала дореволюционная наука, в противоположность старому академическому пушкиноведению, в противовес критике символистско-идеалистической и формалистской, в первый период своего развития главное внимание уделяло раскрытию социальной сущности творчества Пушкина. На новой основе были поставлены важнейшие вопросы о патриотическом и освободительном пафосе пушкинского творчества, о его народности и значении его для воспитания революционных поколений, об органической связи его деятельности с борьбой против абсолютизма и всевозможных форм реакции. Однако постановка вопроса о социальном содержании пушкинского творчества в ряде работ того времени была искажена апологетами вульгарного социологизма, а также последователями Пролеткульта и рапповцами, выдвигавшими на первое место вопрос об ограниченности сознания и творчества Пушкина, обусловленной классовой принадлежностью его к дворянству. Решительный удар по такого рода тенденциям в оценке пушкинского творчества был нанесен в период подготовки к пушкинскому юбилею 1937 года. Именно в эти годы развернулась борьба с вульгарно-социологическим истолкованием Пушкина. Чуждой марксистскому литературоведению была и теория «единого потока», представители которой игнорировали социально-классовые проблемы в изучении творчества Пушкина, его историческое своеобразие и противоречия его мировоззрения.

Пушкинский юбилей 1937 года явился расчисткой путей для дальнейшего стремительного и плодотворного развития советского пушкиноведения. Именно после него стали появляться книги, сборники, статьи, посвященные отдельным проблемам творчества Пушкина, его творческому пути в целом, его роли как родоначальника русской классической литературы.

Вышел ряд исследований, авторы которых освещали не только общие проблемы творческой эволюции Пушкина, но и вопросы, связанные с своеобразием и эволюцией его творческого метода, эстетическим новаторством, отдельными жанрами.

Продолжалось плодотворное изучение проблемы «Пушкин и мировая литература». На очередь встали проблемы художественного своеобразия Пушкина и его мастерства. Стали появляться исследования и диссертации, посвященные отдельным пушкинским произведениям.

Большое внимание советское пушкиноведение уделяло также проблемам языка и стиля Пушкина. Наука не только обогатилась новыми фактами и материалами, но получили развитие и новые методологические принципы и приемы анализа языка и стиля художественной литературы в тесной связи с развитием литературного языка, с одной стороны, и с историей

литературы — с другой. В работах В. В. Виноградова, и прежде всего в его исследованиях «Язык Пушкина» (1935) и «Стиль Пушкина» (1941), Ю. Н. Тынянова, С. М. Бонди, Г. О. Винокура, Л. А. Булаховского, Б. В. Томашевского, Г. А. Гуковского и других были исследованы многие вопросы пушкинского языка и стиля, заложены были основы для дальнейшей разработки этих проблем. В последние годы осуществлена давнишняя мечта русских филологов — создан «Словарь языка Пушкина» (подготавливается дополнительный том, охватывающий материал «других редакций и вариантов»).

Первоочередной задачей представляется изучение художественного новаторства Пушкина в широком плане развития русской и мировой литературы. Необходимо всесторонне исследовать процесс формирования творческого метода Пушкина как определенного единства, включающего в себя различные, но взаимосвязанные этапы. В ходе разработки этой проблемы следует заново пересмотреть сложные вопросы, связанные с переработкой Пушкиным предшествующей литературной традиции, в частности литературы классицизма, значение которого в общем литературном развитии часто недооценивалось. Дальнейшего углубления требует наметившаяся в последнее время конкретно-историческая оценка романтизма. Романтизм во многих работах все еще рассматривается только как неизбежная переходная ступень в развитии Пушкина на путях к реализму, что ведет к недооценке романтических произведений Пушкина как самостоятельной художественной ценности, обозначившей важный этап всей русской литературы. Вместе с тем следует продолжить начатую в нашем литературоведении работу по выяснению своеобразия романтизма Пушкина, в основе которого действительно содержались реалистические тенденции. Процесс формирования реалистического метода Пушкина необходимо рассматривать как процесс, характерный для всех жанров его творчества, как накопление элементов, которые в «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове» привели к новому качеству.

Много еще предстоит сделать в области изучения национального своеобразия романтизма и реализма Пушкина и связи его художественной системы с передовыми литературами других стран, общим процессом развития реализма, который протекал в каждой национальной литературе своими путями, но заключал в себе и общие закономерности, обусловленные сходными историческими условиями. Изоляция пушкинского творчества от мировой литературы не только противоречит требованию марксизма рассматривать каждое явление в его связях и опосредствованиях, но и мешает дальнейшей разработке проблемы национального своеобразия Пушкина. Следует подчеркнуть, что марксистский подход к этому вопросу, разумеется, совершенно противоположен методологии компаративизма, сводившего творчество Пушкина к сумме «влияний» и «заимствований».

При изучении реалистического метода Пушкина как начала новой эпохи в развитии русского искусства необходим переход от общих характеристик метода к раскрытию и всестороннему исследованию принципов типизации и различных ее форм в различных жанрах (эпической поэзии, лирике, драматургии, прозе).

Особой задачей является исследование развития основ творческого метода Пушкина в процессе дальнейшей эволюции русского реализма (начиная с Гоголя и натуральной школы до Чехова и Горького).

Пристального внимания литературоведов заслуживает оценка пушкинского реализма в современной Пушкину и последующей мировой литературе, влияние творчества Пушкина на различных представителей мировой

литературы, и прежде всего на другие славянские литературы и литературы народов СССР.

Особое внимание должно быть обращено на литературу о Пушкине, появляющуюся в капиталистических странах. Решительного отпора требуют попытки ряда буржуазных литературоведов исказить творчество Пушкина, зачеркнуть или принизить его реалистическое новаторство.

Следующая группа проблем, требующих разработки, связана с необходимостью исследования внутренних закономерностей пушкинского творчества. Для этого важно изучать художественную систему Пушкина в целом, в ее единстве. Синхронное исследование различных произведений Пушкина во всех жанрах может привести к широкому обобщениям, которые раскроют основные закономерности его творческой эволюции.

В связи с этим в первую очередь должны быть выдвинуты следующие вопросы: соотношение творческого метода Пушкина с его мировоззрением; эстетический идеал Пушкина в его мировоззрении и творчестве, формы воплощения этого идеала в его произведениях; взаимосвязь содержания и художественной формы в творчестве Пушкина. Особое внимание следует уделить, в частности, вопросам стиховедения, которые применительно к Пушкину в последние годы почти не разрабатывались. Не произведено критическое обобщение сделанного в этой области, и не намечены пути дальнейшей разработки проблемы.

Исключительно важными являются также и такие вопросы, как особенности изображения человека в творчестве Пушкина на разных этапах его эволюции, возникновение и развитие принципов индивидуализации характеров и психологического анализа; идейно-эстетическая и структурная функция отдельных элементов художественной формы в творчестве Пушкина: сюжет, композиция, разнообразные средства типизации; жанры и их трансформация в пушкинском творчестве; стиль Пушкина в связи с развитием его художественной системы в различные периоды; соотношение творческого метода Пушкина с устным творчеством народа; литературно-эстетические взгляды Пушкина в связи с эволюцией его творческого метода; творческая лаборатория Пушкина, особенности его творческого процесса, психология творчества (последняя проблема до сих пор научно совершенно не освещена).

Эти проблемы заслуживают первоочередной разработки как в больших коллективных трудах, так и в индивидуальных монографиях. При планировании монографий необходимо обратить особое внимание на выдвигание тем, связанных с наименее изученными вопросами творчества Пушкина (общие проблемы художественной системы Пушкина, вопросы творческого метода, творчество 30-х годов и т. д.). Необходимо продолжать монографическое исследование отдельных родов и видов пушкинского творчества, в особенности лирики, поэм и наиболее значительных его произведений (так, зияющим пробелом до сих пор является отсутствие монографии о «Евгении Онегине»), с тем чтобы отдельные вопросы связывались с широким освещением идейно-художественной эволюции Пушкина в целом.

Во весь рост встает задача систематического изучения творческого пути Пушкина на протяжении всей его жизни и деятельности (труд Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина» доводит это только до возвращения поэта из ссылки, труд Б. В. Томашевского «Пушкин» — лишь до высылки из Одессы в Михайловское). Важно создание трудов, посвященных всестороннему освещению принципов пушкинского мастерства (в имеющихся работах В. Я. Брюсова, Д. Д. Благого, А. Л. Слонимского

и других исследовались только отдельные его стороны). Назрело время для создания капитальных трудов, посвященных мировому значению Пушкина.

Специальной задачей является изучение языка Пушкина. Оно должно осуществляться как в плане истории русского литературного языка, так и в особенности в плане стилистики художественной речи и истории русского поэтического стиля. При этом первоочередной задачей является исследование роли и места пушкинского языка в становлении и развитии стилистической системы русского национального литературного языка. В связи с этим должен быть по-новому поставлен вопрос о традициях литературного языка предшествующих эпох, о преодолении этих традиций в языке Пушкина и о влиянии выработанных в произведениях Пушкина норм литературного языка на его дальнейшее развитие. Для решения этих вопросов необходимо, чтобы язык Пушкина был представлен на широком фоне литературного языка предшествующего и современного Пушкину периода и сопоставлен с литературным языком последующего времени — середины и второй половины XIX века. В связи с этим необходимо всячески стимулировать исследования в области истории литературного языка и языка художественной литературы пушкинского периода, создание словарей и словарей языка крупнейших русских писателей этого и прилегающих к нему периодов.

Необходимо также тесно связать изучение языка и стиля Пушкина с достижениями советского литературоведения в области исследования идейно-художественного, эстетического содержания русского классицизма, романтизма и реализма. В связи с этим должен быть подвергнут конкретно-историческому исследованию вопрос о взаимозависимости между развитием литературы и развитием литературного языка в период становления русского национального литературного языка и национальной литературы. В частности, оценка и понимание таких понятий, как классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, должны быть обогащены путем установления собственно языковых характеристик этих литературных направлений и их взаимных связей с литературным языком. Углубленного лингвистического изучения требуют бытовавшие в пушкинское время литературные стили: на этом фоне может быть более полно охарактеризовано своеобразие стиля Пушкина, исследованы те новые приемы стилистического употребления, сочетания и объединения разных пластов литературного языка, которыми Пушкин обогатил язык русской литературы, показано новаторство Пушкина в принципах стилистического использования средств народной речи, народно-поэтического творчества и элементов книжной традиции.

Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении прозаической и поэтической речи Пушкина (особенно в области лексики, фразеологии и синтаксиса) и о влиянии пушкинского решения этой проблемы на те изменения во взаимоотношениях этих двух видов речи, которые составили один из важнейших процессов развития литературного языка и языка художественной литературы второй четверти XIX века.

Таким образом, изучение языка Пушкина должно быть связано с исследованиями в области истории русского литературного языка, с углубленными исследованиями романтизма и реализма, как ведущих литературных направлений пушкинской поры, с лингвистическим изучением литературных стилей этого времени, анализом взаимоотношения прозаической и поэтической речи. Это даст возможность представить язык Пушкина как наиболее совершенное и всеобъемлющее выражение русской языковой культуры первой половины XIX века.

Решение этой общей задачи предполагает постановку ряда конкретных исследований в области пушкинского словоупотребления, синтаксической структуры пушкинской прозы и пушкинского стиха, эволюции поэтической фразеологии в произведениях Пушкина и его современников.

Внушает серьезную тревогу то, что за последние десятилетия почти не выдвигались и не воспитывались новые кадры специалистов по стиховедению, а старые кадры потеряли за эти годы многих своих квалифицированных и активных деятелей. При проектировании перспективного плана работы по изучению стиха Пушкина нельзя не считаться с малочисленностью стиховедческих кадров.

Несмотря на это, следует внести в план работы по изучению стиха Пушкина ряд таких трудов, которые потребуют коллективных усилий, учитывая, что вместе с тем подготовка таких трудов может послужить и особого рода семинарами, где будут вырастать кадры молодых стиховедов. К работам такого рода принадлежат каталог стихотворных размеров, применявшихся Пушкиным; строфика Пушкина; словарь рифм Пушкина; монографические работы по отдельным частным проблемам стиха Пушкина, накопление которых сделает действительно возможным обобщающие выводы по пушкинскому стиху в его развитии и взаимоотношениях с другими сторонами творчества поэта.

#### 4

Важнейшие и неотложные задачи стоят также и перед текстологическим исследованием пушкинского наследия, перед источниковедением и библиографией.

Необходимо продолжить и закончить научное описание рукописей Пушкина. Концентрация их в Пушкинском Доме Академии наук СССР облегчает эту задачу.

Вместе с тем необходимо продолжить давно начатые поиски, учет и описание автографов Пушкина, находящихся вне Пушкинского Дома, в других архивах, за рубежом, в библиотеках, музеях и частных коллекциях, у потомков Пушкина и т. д.

Теоретического обобщения заслуживает опыт академического издания сочинений Пушкина, который дает большой материал для построения системы текстологии (не только частной — применительно к Пушкину, но и общей, охватывающей всю теорию и практику издания и изучения текстов классиков). Этот теоретический труд может быть издан в виде монографии или сборника статей в ближайшие годы. Некоторые предпосылки для составления подобного труда дают материалы XI Всесоюзной Пушкинской конференции (1959), посвященной вопросам текстологии.

При подготовке дальнейших изданий сочинений Пушкина, в особенности изданий, рассчитанных на широкие читательские круги, следует пересмотреть типы существующих изданий и продумать новые типы, определяемые новыми потребностями разных кругов читателей и исследователей, вопросы расположения материала (композиции томов), вопросы текста, в особенности пересмотреть тексты спорные и возбуждающие сомнения.

Важнейшей задачей является подготовка издания нового академического полного собрания сочинений Пушкина в 12 томах, запроектированного в планах Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Принципы этого нового издания требуют специального обсуждения с учетом достижений и ошибок академического издания 1937—1949 гг.

Помимо изучения рукописей и других источников текста сочинений Пушкина, должно быть обращено самое серьезное внимание на учет, систематизацию, критическую оценку накапливаемых в громадном количестве как изданных, так и рукописных документальных материалов для изучения жизни и творчества Пушкина — архивных, мемуарных, эпистолярных и т. п. Ориентировка в этих материалах вследствие их обилия и разбросанности становится все более затруднительной; незнание уже опубликованных материалов нередко обесценивает новые работы о Пушкине. Поэтому в высшей степени желательным является составление и издание специализированных библиографий — по документально-архивным материалам, мемуарным, эпистолярным и т. д., построенных не только в хронологическом, но и в систематическом порядке: по периодам жизни и творчества Пушкина, по отдельным произведениям, по проблематике его мировоззрения и творчества. Только при наличии таких специализированных библиографий современный исследователь сможет уверенно разбираться в огромном и все растущем фонде документальных материалов.

Но для того чтобы составить такие специализированные библиографии, нужно полностью овладеть всем материалом по общей пушкинской библиографии. Здесь, несмотря на проделанную в дореволюционное и советское время большую работу, кое-что остается еще не сделанным, некоторые «белые пятна» еще не заполнены или освещены старыми, давно переставшими удовлетворять нашим требованиям работами. Помимо непрерывного учета всей текущей пушкинской литературы и издания библиографических ежегодников или указателей за два-три года по уже выработанной системе (см. указатели за 1949, 1950, 1951, 1952—1953 и 1954—1957 годы), необходимо осуществить издание ряда основных библиографических трудов, без которых изучение жизни и творчества Пушкина и его последующего значения в русской и мировой литературе не может быть достаточно плодотворным.<sup>4</sup>

Дальнейшего постоянного изучения и обновления требует фонд документальных и мемуарных источников сведений о Пушкине, его жизни, окружении, общественно-политических и литературных связях и т. д. В первую очередь надо завершить систематизацию количественно огромного материала документальных и мемуарных свидетельств о Пушкине, находящегося в еще не обследованных или мало обследованных архивах и архивных фондах. Для выполнения этой назревшей задачи следовало бы привлекать и нашу молодежь из числа студентов, пишущих курсовые и дипломные работы о Пушкине, и аспирантов, работающих над пушкиноведческими диссертациями.

Другой путь активизации усилий по выявлению и исследованию материалов, связанных с отдельными этапами жизни Пушкина, — привлечение

<sup>4</sup> Должны быть подготовлены и изданы: Библиография прижизненной литературы о Пушкине, критики о нем и упоминаний в печати за 1814—1837 годы; Библиография изданий сочинений Пушкина и литературы о нем за 1837—1886 годы взамен неполной и давно устаревшей работы В. И. Межова «Puschkiniana» (1813—1886); Библиография литературы о Пушкине за 1918—1936 годы (эта библиография давно готова, первая ее часть — издания текстов Пушкина за 1918—1936 годы — напечатана, вторая же часть должна быть издана в ближайшее время); Библиография изданий сочинений Пушкина и литературы о нем за 1937—1948 годы (работа закончена); Библиография зарубежной пушкинианы — изданий Пушкина и литературы о нем, вышедших за рубежом (на русском и иностранных языках), начиная с 1821 года — года первого упоминания о Пушкине в иностранной печати — и до нашего времени; это наиболее трудная часть пушкинской библиографии, так как здесь почти ничего не сделано и не собрано; эта работа может быть подготовлена и напечатана постепенно, в виде ряда выпусков; без учета переводов Пушкина на языки мира и зарубежной литературы о нем нельзя обойтись при изучении мирового распространения и значения творчества Пушкина.

к разбору и изучению архивных фондов, хранящихся в областных и других местных архивохранилищах, работников местных научных и литературных организаций (Одесса, Крым, Кавказ, Горький, Оренбург и др.).

Одной из важнейших предпосылок успешности работы по изучению Пушкина является настоятельная необходимость завершения труда покойного М. А. Цявловского «Летопись жизни и творчества Пушкина», первый том которой, доведенный лишь до 8 сентября 1826 года, вышел в свет еще в 1951 году.

Желательно было бы завершить начатое Б. Л. Модзалевским и продолженное Л. Б. Модзалевским, но незаконченное капитальное комментированное издание писем Пушкина, обстоятельнейшие примечания к которым заключают в себе богатейший вспомогательно-биографический материал.

Успешное решение всех перечисленных выше вопросов предполагает сочетание конкретно-исторического исследования творчества Пушкина с разработкой теоретических проблем, важных для понимания общих закономерностей развития литературы и ее художественной специфики.

Условием дальнейшего развития пушкиноведения является активное привлечение к этой области науки о литературе новых кадров, улучшение подготовки пушкинистов через аспирантуру исследовательских институтов, университетов и педагогических институтов. К сожалению, внимание к подготовке новых кадров пушкинистов было ослаблено. Воспитание молодых пушкинистов должно начинаться с первых курсов университетов и педагогических институтов, так как овладение прочным фактическим материалом, связанным с изучением Пушкина, дело трудоемкое. Здесь особенно нетерпимы верхоглядство, поверхностность историко-литературных знаний. Пушкиноведческая тематика должна занять подобающее ей место в студенческих научных обществах и кружках филологических факультетов, в планах диссертационных работ — кандидатских и докторских.

Разработка вопроса о значении пушкинского наследия для нашей социалистической современности, для советской культуры и искусства — неотложная задача всего нашего литературоведения.

Решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР о научно-исследовательской работе, а также решения Всесоюзного совещания научных работников в Москве открывают новые перспективы для всех отраслей науки. Нет сомнения, что и на участке литературоведения, который считается одним из ведущих, — в пушкиноведении ученые приложат все силы, для того чтобы внести новый вклад в изучение жизни и творчества величайшего из поэтов России.





Б. С. МЕЙЛАХ

## О ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА

(ДОКЛАД НА XIII ВСЕСОЮЗНОЙ ПУШКИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

Достижения в области исследования биографии Пушкина весьма значительны. Накоплен огромный и разнообразный документальный материал, подвергнут критике ряд неверных, искажавших понимание жизненного пути поэта концепций. Поставлены и разрабатываются на новой теоретической основе важнейшие вопросы его мировоззрения. Однако при всем этом остаются серьезные задачи, без решения которых невозможно построение целостной научной биографии Пушкина. Одним из препятствий в этой области является неразработанность общих методологических вопросов, связанных с биографическими исследованиями и определением места биографии писателя в истории литературы.

Недостаток этот во многом объясняется имевшей место до недавнего времени недооценкой изучения индивидуальности писателя. Здесь сказались непреодоленные влияния вульгарного социологизма, который вообще зачеркивал эту проблему, считая, что писатель, по существу, конденсатор идей определенного класса, лишенный какого-либо индивидуального своеобразия. Школа формалистов также игнорировала проблему личности художника, поскольку искусство оказывалось не более чем «суммой приемов», «технологией творчества». Опасливое отношение к изучению индивидуальности писателя в какой-то мере было вызвано тем, что долгое время именно в этой области подвизались фрейдисты и представители других идеалистических течений, объявивших исследование личности художника своей монополией.

Так или иначе положение создалось странное. У нас есть немало удачных и интересных опытов создания биографий отдельных писателей, интерес к этому жанру все возрастает, но уже десятки лет не появлялось теоретических работ по вопросам изучения и построения биографии.<sup>1</sup> В последние годы внимание к самой проблеме несколько усилилось, она затрагивается в ряде статей, посвященных творческой индивидуальности писателя.<sup>2</sup> Но ни исследований по вопросам методологии биографических работ, ни статей, подытоживающих сделанное в этой области, нет.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Последней по времени работой, специально посвященной этой теме, была книга Г. О. Винокура «Биография и культура» (М., 1928).

<sup>2</sup> Статьи М. Б. Храпченко «Реалистический метод и творческая индивидуальность писателя» (сборник «Проблемы реализма», М., 1959), Б. И. Бурсова «Писатель как творческая индивидуальность» («Звезда», 1959, № 6) и др.

<sup>3</sup> В качестве положительного факта нужно отметить, что в перспективный план Института русской литературы Академии наук СССР включена монография «Проблема биографии писателя в критике и литературоведении», над которой работает академик М. П. Алексеев.

Надо полагать, что XIII Всесоюзная Пушкинская конференция, посвященная целиком обсуждению вопросов биографии Пушкина, своими результатами не только будет способствовать дальнейшей разработке этой важной области пушкиноведения, но привлечет внимание литературоведов и к общей теоретической стороне данной проблемы.

Как мне кажется, нашу дискуссию следует начать прежде всего с определения сущности биографии писателя как самостоятельной проблемы науки о литературе и вместе с тем как жанра литературоведческих исследований.

Биография писателя, история его жизни входит в том или ином объеме, в тех или иных элементах почти во всякий литературоведческий труд. Это закономерно. Но наряду с этим биография писателя является и должна рассматриваться как самостоятельная область литературоведческих исследований. В чем значение и задачи биографии писателя? Она должна дать картину формирования личности художника как совокупности общественных отношений, развития ее в связи с общественной и литературной жизнью определенной эпохи. Какому бы писателю биограф ни посвящал свой труд, он обязан показать, как соотносится деятельность писателя с историческими традициями нации, в какой степени отразились в его личности своеобразие народа, его духовный, психологический склад, национальная специфика. Цель биографии — прежде всего раскрыть эволюцию мировоззрения писателя, личный жизненный опыт, преломленный в его творчестве, осветить характер его деятельности, условия, в которых она протекала, ее историческую роль. Биограф должен вскрыть отношение писателя к современной ему действительности, его позицию в общественно-политической и литературной борьбе. Естественно, что большое место в биографической работе должна занимать характеристика среды, в которой находился писатель, его современников и — еще шире — его эпохи. «Типологическое», так сказать, освещение личности писателя должно сочетаться с важнейшей задачей изучения ее неповторимого своеобразия. В биографии писателя должна освещаться не эпоха сама по себе, не хроника событий как таковая или как внешняя канва, а индивидуальная особенность отражения в мировоззрении данного писателя закономерностей действительности, своеобразие его откликов на процессы и явления эпохи. Все эти моменты входят и в любую монографию, посвященную тем или иным сторонам творчества писателя, но в биографии они служат предметом специального обстоятельного изучения.

В связи с этим заслуживает обсуждения и вопрос о биографии как литературоведческом жанре, особом типе исследования. В биографии упомянутые выше проблемы объединены общей задачей освещения личности писателя в ее социально-исторической обусловленности и индивидуальном своеобразии. Материалом биографии или «жизнеописания» являются факты, характеризующие путь, пройденный писателем, и его деятельность. Но следует определить границы биографии как жанра, который не может быть заменен исследованиями другого типа. В задаче биографии как таковой не входят, например, специальные экскурсы, посвященные, скажем, исследованию стиля поэтики, образной системы, стихосложения и т. д. Конечно, тот или иной литературовед или целый коллектив может поставить перед собою задачу синтетического (и, вероятно, многотомного) исследования жизни и творчества того или иного писателя, где будет дан энциклопедический охват всех сторон его биографии и творчества, освещены и специальные вопросы художественного метода, поэтики, усвоения предшествовавших традиций и т. д. Но такую работу было бы неправильно называть биографией. Разграничение литературоведческих жанров необходимо по ряду причин. Прежде всего биография писателя, как научная

проблема, существенна не только сама по себе, но и для более полного понимания закономерностей общественно-исторического процесса и для более глубокого раскрытия творчества поэта. Далее, вряд ли (по крайней мере в ближайшее время) возможно создание такого многотомного труда, который обстоятельно, исчерпывающе осветил бы все стороны жизни, деятельности, метода, стиля, эстетики, мирового значения Пушкина (или Льва Толстого). Творчество, деятельность, значение писателя освещается литературоведением в различных аспектах, которые, конечно, соприкасаются между собою; лишь в результате монографических исследований отдельных проблем достигается освещение всей деятельности писателя и его значения. Отсюда следует, что биография писателя, имеющая право на самостоятельность и как научная проблема, и как жанр, входит в качестве компонента в общую сумму задач литературоведения (что нисколько не противоречит сохранению функции биографических элементов во всяком исследовании). Поэтому в биографической работе аспекты освещения творчества писателя во многом должны иметь свою особенность. Но об этом речь пойдет ниже.

Говоря о биографии как научной проблеме, следует подчеркнуть, что в нашем понимании она ничего общего не имеет с так называемым биографическим методом в литературоведении. Об этом следует сказать и потому, что в пушкиноведении биографический метод снискал многих сторонников.

Родоначальником этого метода был, как известно, Сент-Бёв. Французский исследователь, оказавший в свое время столь большое влияние на литературоведение и имевший известные заслуги (в частности, своей пропагандой необходимости изучать личность писателя), строил, однако, свое понимание биографии на неверных исходных основах. Личность писателя для Сент-Бёва и его продолжателей конструируется преимущественно на основе суммы фактов быта и так называемой «интимной жизни». Литературоведы этого направления считали, что изучение биографии — если не единственный, то главнейший путь постижения смысла творчества, стремлений и идей писателя, что нельзя понять художественное произведение, если не расшифровать его как прямое отражение жизни писателя (в узком смысле этого понятия). Поэтому приверженцы биографического метода стремились к поискам прототипов каждого образа в окружении писателя, пытались в каждом лирическом произведении найти отражение конкретного биографического факта. Так биографический метод приводил в одних случаях к субъективной психологической расшифровке произведения (большей частью субъективистской), а в других — к бескрылому эмпиризму. О результатах, к которым привели эти попытки в литературоведении, вряд ли нужно подробно говорить, достаточно вспомнить хотя бы пухлый комментарий к старому академическому изданию Пушкина, многие из статей в издании «Пушкин и его современники» или зарегистрированные в старой пушкиниане сотни «изысканий» на самые незначительные темы, порой основанные на анекдотах, фиксирующие внимание на деталях, бющих на сенсацию (например, штудии, касающиеся так называемого «донжуанского списка» Пушкина). Но редививы биографического метода встречаются (в частности, в пушкиноведении) и сейчас, поэтому разговор о нем небесполезен.

Надо сказать, что видные сторонники биографического метода сами ощущали его ограниченность и даже ошибочность, хотя и не знали других путей. Один из последователей Сент-Бёва — Лакомб писал в своем «Введении в историю литературы», что в одном произведении невозможно найти никаких указаний на то, каким человеком был автор на самом деле: «был ли бескорыстен или жаден, скромн или требователен и проч., каково

было его честолюбие и тщеславие за пределами литературы, домогался ли он высокого положения, могущества или власти, искал ли он официальных должностей, знаков отличия или титулов; любил ли он женщин, был ли он гуляка или если и не примерный супруг, то, может быть, спокойный любовник?... Конечно, многие литературные произведения выявляют нам любовное воображение автора, его любовные или эротические грезы. Но грезы — не жизнь и могут совсем не совпадать с нею».<sup>4</sup> И Лакомб заключает, что без биографических сведений нельзя даже предполагать, каким был автор как друг, гражданин и т. п. Здесь характерно признание, что даже в пределах столь увлекавших сторонников биографического метода односторонне-узких вопросов личности писателя нельзя рассматривать произведение как единственный источник представлений об авторе.

Другой приверженец биографического метода — Ренар, по существу, пришел к полному его отрицанию. Его критика пристрастия к методам биографии писателя как своеобразной болезни на самом деле обращена против «материальной базы» исследователей данного направления. В книге «Научные методы изучения литературы» Ренар утверждал: «Эта болезнь унесла в наши дни немало жертв, — я говорю также и о читателях. Погоня за неизданным извлекла из чердаков и старых ящиков огромное количество бумаги, которая могла бы там и оставаться без всякого ущерба; всякий хлам, не имеющий никакой цены, стали выдавать за важные документы и опубликовывать с непогрешимой точностью».<sup>5</sup> По словам Ренара, у великих людей появились биографы-жрецы, идолопоклонники, фанатики, затевавшие споры по поводу самых незначительных событий жизни облюбованных авторов, комментировавшие каждое их слово как священное писание, причем эта смешная мания может иметь серьезные последствия, так как забота о мелочах часто мешает замечать главное.

Дальнейшее развитие «биографического литературоведения» продемонстрировало полную его бесперспективность, как и всякой отрасли знаний, если она лишена подлинно научной методологической базы. Количество работ, посвященных проблемам биографии, в современном идеалистическом литературоведении является весьма значительным. Эти проблемы затрагиваются и в общих трудах по теории литературы, и в обзорах. Симптоматичны, однако, итоги, подведенные в этой области профессором Максом Верли, поставившим задачу характеристики состояния литературоведения от первой мировой войны до 1950 года. Автор отмечает трудности и противоречия в трактовке сущности и принципов биографии писателя. В самом деле, состоянии этого участка литературоведения представляется хаотическим, лишенным руководящей нити. Наряду с высказываниями продолжателей метода Сент-Бёва (например, Виктора Жиро) раздавались настойчивые утверждения, что биография «потеряла свою необходимость» (Хорст Оппель); выдвигаются также предложения строить ее как «символическую», вне «социологических» формул (Вальтер Мушг), на основе экзистенциализма и других модных философских течений. Самая возможность создания научной биографии, по-видимому, ставится Максом Верли под сомнение, поскольку он считает, что «едва ли возможно создать чисто личную биографию как историю».<sup>6</sup> Ко всему этому следует прибавить все более крепнущую в идеалистическом литературоведении тенденцию отрицания роли писателя как личности (ср., например, одно из наиболее прямолинейных заявлений Д. Штольница: «Познание личности ни-

<sup>4</sup> P. Lacombe. Introduction à l'histoire littéraire. Paris, 1898, стр. 161.

<sup>5</sup> G. Renard. La méthode scientifique de l'histoire littéraire. Paris, 1900, стр. 61—62.

<sup>6</sup> М. Верли. Общее литературоведение. ИЛ, М., 1957, стр. 159, 163, 165.

сколько не прибавляет к нашему пониманию искусства»<sup>7</sup>). Одновременно и в теоретических работах, и в биографиях писателя очень сильным является стремление резко противопоставить писателя как творческую личность писателю как человеку. Это не значит, конечно, что биографические работы современных буржуазных литераторов ничего не могут дать. Даже книга Моруа «Байрон», которая полна пикантных подробностей, содержит, помимо неизданных ранее интересных писем Байрона, много ценного в характеристике великого поэта как участника греческого восстания. Но если говорить о методологии подобных работ, то ее следует признать безусловно неприемлемой и ведущей к искажению облика писателя.

В этом отношении марксистское литературоведение находится на принципиально иных позициях, рассматривая жизнь писателя как воплощение и отражение определенных исторических закономерностей. Положительные итоги в изучении биографии Пушкина красноречиво свидетельствуют о плодотворности этого метода.

Задача заключается в том, чтобы на примерах некоторых опытов биографии Пушкина поставить вопросы о принципах и задачах дальнейшего движения в этой области. Причем речь должна идти не только о весьма важной, но пока еще отдаленной задаче написания большой (вероятно, коллективной) биографии Пушкина в нескольких томах. Нужно наметить общие принципы изучения и построения биографии Пушкина независимо от ее разновидностей. Создание на научной основе биографии великого поэта для широких читательских кругов и для учащихся — дело первоочередной важности. Понятие научной основы нельзя относить здесь ни к объему, ни к степени обстоятельности изложения: оно относится прежде всего к *к о н ц е п ц и и*, на которой основана биография, к умению выбрать главнейшие и определяющие моменты жизни Пушкина, к точности и достоверности фактов. Поэтому мы можем сказать, что принципы построения научной биографии выработывались и в так называемых научно-популярных биографиях Пушкина и даже в многочисленных кратких жизнеописаниях.

Пушкиниана насчитывает большое число разнотипных биографий, начиная от кратчайших очерков и кончая обстоятельными характеристиками жизненного пути поэта. Опыт создания этих биографий, разных по уровню, как положительный, так и отрицательный, недостаточно обобщен. Между тем из анализа биографических работ следуют выводы, важные и для разработки принципов построения биографии Пушкина, и для пушкиноведения в целом. На основе изучения существующего опыта должны быть определены типы биографий, рассчитанные на разные круги читателей, для средней и высшей школы и т. п.

Нет необходимости говорить сколько-нибудь подробно о биографиях Пушкина, выпущенных в дореволюционное время: в существующих обзорах и статьях они оценены в общем верно.<sup>8</sup> Правильно критикуя дореволюционное пушкиноведение, надо, однако, преодолеть излишний скептицизм, который еще встречается у некоторых пушкинистов. У нас установилось правильное отношение к книгам П. В. Анненкова, где, несмотря

<sup>7</sup> J. Stolnitz. *Aesthetics and Philosophy of Art Criticism*. Cambridge, 1960, стр. 163.

<sup>8</sup> См.: Д. Д. Благой. *Проблемы построения научной биографии Пушкина*. «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, сто. 247—260; Г. О. Винокур. *Ранние биографии Пушкина*. «Книжные новости», 1937, № 1, стр. 17—18; Б. П. Городецкой. *Изучение биографии Пушкина в советское время*. «Труды первой и второй Всесоюзных Пушкинских конференций», Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 26—28; см. также «Введение в изучение биографии и творчества Пушкина» в кн.: Б. С. Мейлах и Н. С. Горюницкая. *А. С. Пушкин. Семинарий*. Учпедгиз, Л., 1959.

на ошибочность ряда исходных положений, есть тонкие наблюдения, ценные фактические сведения, источники которых для нас утеряны. Но вот есть старая биография Пушкина, которая у нас недооценивается. Это великолепная для своего времени и во многом не устаревшая книга В. Я. Стоюнина «Пушкин», написанная в конце 70-х годов. В книге Стоюнина есть ошибки (в частности, в понимании роли «арабского происхождения» поэта). Но в целом это удивительное явление и с точки зрения освещения пути Пушкина, и как образец искуснейшей борьбы с царской цензурой. Несмотря на все трудности, на эзопов язык, Стоюнин сумел высказать ряд принципиальных положений, касающихся мировоззрения Пушкина, его роли и личности, которые весьма близки нашему современному пушкиноведению.

Стоюнин стремился доказать, что, вопреки установившейся тогда точке зрения, Пушкин после разгрома декабристов не «капитулировал», не смирился перед лицом николаевской реакции, сохранил стойкость убеждений. Биограф впервые использовал материалы о Пушкине, опубликованные за рубежом. Большой интерес здесь представляет тонкий анализ стихотворений Пушкина «Стансы» и «Друзьям», предвосхищающий нашу трактовку этих важнейших деклараций поэта, а также отношения Пушкина к Радищеву, к Белинскому и т. д. Стоюнин первым осмелился опровергнуть (в пределах цензурных возможностей) созданную Жуковским реакционную легенду о том, что перед смертью Пушкин будто бы заявил: «Скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его». Осторожно полемизируя с этой легендой, Стоюнин так заключает свою книгу о Пушкине: «Стремясь вырваться из своих сетей, он все равно нашел бы себе гибель».<sup>9</sup>

Если к этому добавить, что Стоюнин уделил большое внимание своеобразию личности поэта, его характера, то мы должны будем признать его работу самым выдающимся достижением в изучении биографии Пушкина в XIX веке. Об этом необходимо сказать и для того, чтобы подчеркнуть, как неверен бытующий еще (особенно среди молодежи) взгляд на дореволюционное пушкиноведение как нечто бесплодное. Впрочем, и у виднейших советских пушкинистов эта книга Стоюнина не всегда получает справедливую оценку.<sup>10</sup>

Но как ни велики достоинства биографии Стоюнина, они являются следствием пронизательности исследователя, здравости тех или иных его суждений, догадок, а не осознанной методологической системы. Этой системы не хватало и такому замечательному пушкинисту, как П. Е. Щеголев.

Именно стремлением к такой системе, поисками и осознанием ее принципов отмечена история создания биографии Пушкина в советское время. Советские пушкинисты посвятили основное свое внимание не «боковым», второстепенным моментам и мелочам, а изучению факторов, оказавших решающее влияние на эволюцию мировоззрения и творчества Пушкина. Пристально изучались национальные традиции, формировавшие характер величайшего из поэтов России, влияние на него Отечественной войны 1812 г. и русской национальной культуры, его роль и место в декабристском освободительном движении, его отношение к крестьянским восстаниям, влияние на него важнейших событий русской и западноевропейской жизни, его позиции в общественно-политической и литературной борьбе,

<sup>9</sup> В. Стоюнин. Пушкин. СПб., 1881, стр. 440.

<sup>10</sup> Так, если Д. Д. Благой в упомянутой статье, говоря об ошибках Стоюнина, отдает, однако, ей должное, то Б. В. Томашевский в статье «Основные этапы пушкиноведения» даже не упомянул имени Стоюнина, хотя здесь же перечислил третьестепенных лиц, писавших о Пушкине (см.: Б. В. Томашевский. Пушкин, т. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961).

условия, в которых он совершал свой творческий подвиг, и другие важнейшие вопросы. Специальному исследованию подвергались отдельные периоды биографии Пушкина: заново обследованы материалы и факты, характеризующие годы Лицея, пребывания Пушкина в Петербурге, «южная ссылка», положение и деятельность поэта после декабрьской катастрофы и т. д. Все это — узловые моменты жизни Пушкина. Изучение их обусловило возможность появления большого количества биографий Пушкина, работ со своими недостатками, но все же в большинстве сыгравших свою роль в борьбе с вульгарно-социологическими и другими ошибочными представлениями о поэте.

Пожалуй, ни одному писателю не посвящено столько биографических трудов, как Пушкину. Особенно много принесли в этом отношении пушкинские даты — 1937 и 1949 годы.

Были изданы биографии разного типа. Среди них обширная биография, написанная Н. Л. Бродским,<sup>11</sup> менее подробные, но относительно обстоятельные биографии, принадлежащие Л. П. Гроссману,<sup>12</sup> Г. Чулкову,<sup>13</sup> краткие биографические очерки Н. К. Гудзий,<sup>14</sup> В. Я. Кирпотина,<sup>15</sup> И. В. Сергиевского<sup>16</sup> и других, однолистные, совсем короткие биографические книги, предназначенные для широкого читателя, мало знающего о Пушкине (например, брошюры И. А. Новикова<sup>17</sup> или И. А. Оксенова<sup>18</sup>), кратчайшие журнальные и газетные биографические очерки. Кроме того, имеются очерки жизни и творчества Пушкина В. А. Мануйлова,<sup>19</sup> С. М. Петрова,<sup>20</sup> но этот жанр, который справедливо именуется критико-биографическим очерком и имеет свои особенности, выходит за рамки нашего рассмотрения. Много работ посвящено отдельным проблемам биографии, особенно теме «Пушкин и декабристы», вопросу об отношении Пушкина к крестьянским восстаниям. Накоплен огромный документальный материал.

До сих пор наиболее обстоятельной и документированной биографией является названная выше работа Н. Л. Бродского «Пушкин». В ней обобщены многочисленные факты, характеризующие не только деятельность поэта, но и окружавшую его среду, его время.<sup>21</sup>

Сильные и слабые стороны этой работы во многом поучительны и сегодня. Достоинство книги Бродского прежде всего в том, что жизненный путь Пушкина раскрывается на широком фоне русской и западноевропейской жизни его времени. Повествование ведется на основе хронологической канвы, притом зачастую синхронно: исследователь стремится к постоянному соотношению исторических событий и событий личной жизни поэта. Описываются разнообразные ситуации общественно-литературной борьбы, связи с современниками. Ценно, что Бродский не пытается доказать (в от-

<sup>11</sup> Н. Л. Бродский. Пушкин. Биография. Гослитиздат, М., 1937.

<sup>12</sup> Л. Гроссман. Пушкин. Изд. «Молодая гвардия», М., 1939; 2-е издание — 1958; 3-е издание — 1960.

<sup>13</sup> Г. Чулков. Жизнь Пушкина. М., 1938.

<sup>14</sup> Н. К. Гудзий. Пушкин. Критико-биографический очерк. Киев, 1949.

<sup>15</sup> В. Я. Кирпотин. А. С. Пушкин. М., 1937.

<sup>16</sup> И. В. Сергиевский. А. С. Пушкин. М., 1950; 2-е издание — 1955.

<sup>17</sup> И. А. Новиков. Жизнь Пушкина. М., 1949.

<sup>18</sup> И. А. Оксенов. Жизнь Пушкина. Л., 1937; 2-е издание — Л., 1938.

<sup>19</sup> В. А. Мануйлов. А. С. Пушкин. 1799—1837. Очерк жизни и творчества. Псков, 1949.

<sup>20</sup> С. М. Петров. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1949.

<sup>21</sup> Отсутствие аппарата в книге (что является ее минусом) дало основание некоторым рецензентам отнести ее к научно-популярной литературе. Однако по проблематике, затронутому кругу вопросов и охвату материала она стоит на уровне исследовательского труда.

лично от некоторых других литературоведов), что Пушкин дал окончательный ответ на все поставленные им вопросы.

«Опыты действительности сплетались в мировоззрении Пушкина в сложный и противоречивый клубок», — пишет Бродский, показывая, что при этом одна система мнений сталкивалась с противоположной, что порой «мысль наталкивалась на тупики»,<sup>22</sup> ибо сама историческая действительность не давала ответов на острейшие вопросы, требовавшие разрешения.

Характеризуя могучий ум Пушкина, его пронизательность, его историзм, Бродский вместе с тем говорит о свойственных поэту политических иллюзиях, сомнениях и колебаниях, выделяя при этом основную линию его эволюции — рост и укрепление демократических тенденций, «коренные убеждения», оставшиеся неизменными, — ненависть к тиранам, требование социальных преобразований с постановкой во главу угла крестьянского вопроса. В книге Бродского немало спорного, устаревшего, но сила ее в том, что в ней нет бескрылого эмпиризма: весь материал пронизан определенной концепцией.

К слабым сторонам работы Бродского относится свойственная и другим биографиям Пушкина неравномерность освещения различных периодов его жизни; наименее разработанными оказались 30-е годы. Не найдены нужные аспекты освещения отдельных произведений; зачастую в книге встречается неуместный здесь и отвлекающий внимание от основных узлов биографии анализ семантики. Но главный недостаток — это слабое внимание к личности поэта, к его индивидуальному своеобразию.

Важнейшая задача биографов заключается в том, чтоб раскрыть национальный характер Пушкина, выражение в нем типических особенностей русской нации, показать его как великого сына своего народа, опередившего свое время. Но при этом необходимо показать эти типические особенности в их индивидуальном выражении, в их повседневном преломлении в жизни поэта и его деятельности.

Читая многие биографии, ощущаешь, что их авторы, верно характеризуя Пушкина как выразителя передового поколения всей эпохи, вместе с тем не решаются, по-видимому, говорить о нем как о личности исключительной. Определение Пушкина как гениальной личности употребляется часто, но лишь как эпитет, а не как формула, обязывающая исследователя к определенным выводам. Возможно, что обход биографами этой стороны вопроса объясняется тем, что гениальность в качестве проблемы личности раньше вообще считалась монополией фрейдистов, что она трактовалась в субъективистском идеалистическом плане. Но марксизм рассматривает гениальность — высшую степень одаренности — в ее социально-исторической детерминированности, как порождение своего народа и своей эпохи, изучает ее историческое значение для нации и всего человечества.

Гений выдвигает вопросы, которых люди его времени еще не видят. Деятельность гениального писателя — это цепь новаторских открытий, для которых характерно единство аналитической и живописно-изобразительной сторон. Раскрыть гениальность личности Пушкина значит конкретно показать эти ее черты.

До сих пор дает еще себя знать неверное понимание задач освещения личности Пушкина. Считается, что все, связанное с его мировоззрением или участием в общественном движении, не относится к «личной жизни»: «личная жизнь» — это связи с друзьями, особенно любовные увлечения, семейный быт и т. п. Конечно, и эти стороны жизни Пушкина должны

<sup>22</sup> Н. Л. Бродский. Пушкин, стр. 647.



входить в его биографию, если их не гипертрофировать. Нельзя считать правильным, что есть биографии Пушкина, которые содержат только характеристику политических взглядов поэта и совершенно не говорят о том, каким он был в жизни. Но суть вопроса заключается в том, что любое событие, к какой бы сфере оно ни относилось, входило в его опыт художника.

Любовные чувства к Анне Петровне Керн вызвали у Пушкина переживания и раздумья, которые (как мы знаем из стихотворения «Я помню чудное мгновенье...») вели к переосмыслению сложнейших вопросов смысла жизни.

С другой стороны, такие события, как например Отечественная война, восстание декабристов, французская революция 1830 года, также стали событиями личной жизни Пушкина, обозначили вехи его идейной эволюции, его душевного мира, переживались им как сыном своей эпохи и поэтом. Те стороны жизни, которые иногда оцениваются раздельно в качестве «общественной» и «личной», объединялись в мировосприятии Пушкина, становились неразрывными. Об этом свидетельствует прежде всего его лирика. Вспомним стихотворение:

Город пышный, город бедный,  
Дух неволи, стройный вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит —  
Все же мне вас жаль немножко,  
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка,  
Вьется локон золотой.

По обычной жанровой классификации — это альбомное стихотворение, «мадригал», посвященный А. Олениной. А ведь здесь дана изумительно глубокая и тонкая характеристика Петербурга, аристократического, ненавистного Пушкину города, хотя и прекрасного своей «стройностью», но олицетворяющего контраст богатства и нищеты. Однако это восприятие Петербурга преобразуется иными чувствами поэта, освещается воспоминанием, согревающим сердце, воспоминанием о женщине, самым своим существованием преобразующей и «свод небес зелено-бледный», и холодный гранит.

Раскрытие свойственного Пушкину широчайшего взгляда на мир, который позволял ему даже интимные переживания возводить до степени глубочайших обобщений, — это раскрытие поможет понять личность поэта в ее действительно неповторимом своеобразии.

И в то же время нельзя не признать ошибочными убеждения некоторых биографов, считавших, что для воссоздания облика «живого Пушкина» нужно сообщить читателю всякого рода пикантные подробности, будто бы доказывающие, что в обыденной жизни поэт среди «детей ничтожных мира» «всех ничтожней». В. В. Вересаев в книге «Пушкин в жизни» привел наряду с ценными достоверными материалами множество отрывков из мемуаров (большей частью, кстати, не заслуживающих доверия) для иллюстрации утверждений о том, что Пушкин хотя «в общем итоге невыразимо привлекательный и чарующий человек», но «часто действительно ничтожный, прямо пошлый».<sup>23</sup> Эта же установка сказалась и в написанной В. В. Вересаевым работе «Жизнь Пушкина»,<sup>24</sup> вышедшей в 1936 году в Гослитиздате стотысячным тиражом и переизданной рядом

<sup>23</sup> В. Вересаев. Пушкин в жизни, т. I. Изд. «Советский писатель», М., 1936, стр. 5.

<sup>24</sup> В. Вересаев. Жизнь Пушкина. Гослитиздат, М., 1936.

местных издательств. Выдающийся писатель, искренно любивший Пушкина и сделавший немало для его изучения, оказался в плену ложной методологии и не только исказил его идейную эволюцию (утверждая, например, что Пушкин никогда не стоял на такой правой позиции как в ... 1830—1831 годах<sup>25</sup>), но счел возможным использовать анекдоты о нем сомнительного свойства. Многие от подобного понимания принципов раскрытия личности «живого поэта» сказались и в книге Георгия Чулкова «Жизнь Пушкина». Книга эта, не имеющая определенной концепции, игнорирующая многие важнейшие факты жизни Пушкина, в то же время сообщает читателю о «жертвах», которые он приносил «вечно юному Бахусу», или о том, что он обучал принадлежавшего генералу Инзову попугая «неприличным словам».<sup>26</sup> И это тоже должно было служить воссозданию облика «живого Пушкина»!

Разумеется, наше литературоведение должно бороться против «иконописности» в обрисовке личности поэта, против «хрестоматийного глянца». Но разве коллекционирование такого рода анекдотов может хотя бы в какой-то мере приблизить к пониманию личности Пушкина? Оно лишь принижает ее.

Изучение многостороннего внутреннего мира Пушкина в его реакциях на бесконечно разнообразные явления окружающей действительности — вот что приблизит нас к пониманию пушкинского гения. При этом следует учитывать, что личный жизненный опыт Пушкина, воплощаясь в творчестве, приобретал огромное познавательное значение не только для современников, но и для грядущих поколений.

Заслуживает особого внимания биографов героическая трагедийность судьбы Пушкина, ее драматизм, обусловленный «жестоким веком». Пушкин был создан для открытой борьбы, а между тем возникали мучительные ситуации, когда «сила вещей» оказывалась могущественней его героизма, когда его порывы и стремления натакивались на непреодолимые препятствия. К этому присоединялись и многие другие тягчайшие обстоятельства. В рукописи одного из самых сильных стихотворений — «Воспоминание» (исповеди поэта) он говорит о своей жизни, о «неволе», «бедности», «изгнании», о «жужжанье клеветы», «шопоте зависти», о «предательском привете» друзей. Но, быть может, трагичнее всего звучат здесь слова

Вновь сердцу <моему> наносит хладный свет  
[Неотразимые обиды]

— обиды, которые невозможно отразить! Они были для Пушкина особенно мучительными. Сопоставьте эти строки с торжествующим восклицанием в пушкинском стихотворении «Наполеон»:

И до последней все обиды  
Отплачены тебе, тиран!

Вспомните мужественные слова в стихотворении «Памятник»: «Обиды не страшась...». Нужно проанализировать на реальном фоне биографии Пушкина проходящий через всю его лирику один из наиболее устойчивых мотивов — мотив борьбы и драматизма этой борьбы с ее взлетами, минутными слабостями («Жизнь, зачем ты мне дана...») и все-таки победой великого, несокрушимого духа, победой мужества и веры в жизнь. Такого рода изучение раскроет полнее, чем самые пространственные декларации, характер Пушкина, его необыкновенный дар свою индивидуальную судьбу осмыслять в широком историческом плане.

<sup>25</sup> Там же, стр. 125.

<sup>26</sup> Георгий Чулков. Жизнь Пушкина. Гослитиздат, М., 1938, стр. 106.

В числе интересующих нас вопросов одним из наиболее трудных является упомянутый выше вопрос о месте и аспектах освещения художественного творчества Пушкина при построении его биографии. Конечно, неудачны и неприемлемы некоторые из существующих биографических работ, в которых творчество почти не рассматривается. Ведь деятельность Пушкина как художника составляет весь смысл, всю основу его жизни. Большинство биографов, естественно, характеризуют в той или иной степени художественное творчество Пушкина. Одни включают освещение произведений в общее повествование о жизненном пути поэта (например, Н. Л. Бродский, И. В. Сергиевский), другие посвящают произведениям отдельные главы, третьи говорят о них в специальных экскурсах, затрагивая при этом вопросы метода, поэтики и т. д. Мне представляется, что творчество должно освещаться в биографических работах в тех аспектах, которые связаны именно с жанром биографии. Пушкин однажды заметил: «Поэзия бывает исключительной страстью немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни».<sup>27</sup> Задача биографа — охарактеризовать жизненный опыт Пушкина, показать, как отразились в его творческой деятельности мучившие его проблемы, «все усилия, все впечатления жизни». Биограф должен также раскрыть импульсы создания того или иного произведения, раскрыть характер отражения в нем исторической действительности, а также резонанс, вызванный этим произведением, его значение и влияние. В таком плане изучение творчества Пушкина более соответствует жанру биографии. Особой задачей является исследование творчества как источника наших знаний о жизни поэта, источника очень важного.<sup>28</sup> Синтетическое изучение Пушкина достигается пушкиноведением в целом, в том числе монографическим изучением отдельных проблем творчества, тогда как жанр биографии имеет свои границы и задачи. Этого, к сожалению, часто не учитывали и не учитывают критики биографических работ, требующие от них освещения вопросов, не входящих в сферу собственно биографии, вплоть до специальных вопросов художественной формы.

В связи с обсуждением принципов и аспектов освещения художественного творчества в биографиях хочется сказать об одном из последних опытов решения этой задачи — о книге Л. П. Гроссмана «Пушкин». Книга вышла недавно вторым изданием в серии «Жизнь замечательных людей». В работе Л. П. Гроссмана много положительного. Она читается самыми широкими кругами, особенно молодежи. Ее разбор было посвящено значительное место в статье Виктора Шкловского о серии «Жизнь замечательных людей».<sup>29</sup> Нельзя не согласиться со Шкловским, что, при всех достоинствах книги, в ней мало выделены главные узлы. Вызывают возражение и те страницы, где живость стиля переходит в беллетризацию. Но возвращаясь к вопросу, который нас интересует в данном случае, — какое место отведено художественному творчеству в этой биографии?

В предисловии ко второму изданию своей книги Л. П. Гроссман пишет: «... в отличие от прежней редакции мы значительно расширили теперь изучение творчества Пушкина. Всем его крупнейшим произведениям уде-

<sup>27</sup> Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1937—1949, т. XI, стр. 32.

<sup>28</sup> Этому вопросу на XIII Всесоюзной Пушкинской конференции были посвящены доклады Б. И. Городецкого, А. И. Гербстмана и Т. Г. Цявловской.

<sup>29</sup> «Знамя», 1959, № 3, стр. 220—226.

лены специальные главы».<sup>30</sup> К сожалению, определенного принципа в решении этого вопроса при построении книги мы не видим. В тех случаях, когда характеристика произведения дана в контексте биографии, когда выясняются импульсы, вызвавшие замысел, жизненные впечатления, определившие его, ход работы (например, в главе об «Истории Пугачева»), она является вполне уместной. Но когда биограф пытается осветить в специфически историко-литературном плане образы отдельных произведений, метод, композицию и т. д., все это большей частью оставляет здесь впечатление чего-то чужеродного, сказанного бегло, мимоходом. Так, «Евгению Онегину» посвящено 16 страниц; говорится обо всем понемногу, но почти ничего не сказано о лиризме романа, о том, как отразился в нем сам Пушкин, его мысли, чувства, его духовная эволюция, а ведь именно это особенно важно в биографии. Ощущая, по-видимому, неполноту характеристики творчества в своей книге, Л. П. Гроссман ввел в нее главу «Поэт-мастер», и она ощущается здесь как нечто инородное, изобилует общими тезисными формулами, иногда весьма приблизительными.<sup>31</sup> Во всем этом сказывается, безусловно, и нарушение законов жанра, вернее — его неопределенность, что является не столько виной автора, сколько общей бедой литературоведения, которое занимается методологическими проблемами вообще мало.

Я не имею возможности останавливаться на биографиях различных типов. Хочется лишь подчеркнуть, что нам нужны биографии, рассчитанные на различные круги читателей: и такие, как биография Н. Л. Бродского, написанная для подготовленного читателя, и популярные биографические очерки, как например очерк И. В. Сергиевского, и маленькие однолистны книжки, как брошюра Ивана Новикова «Жизнь Пушкина». Задача заключается в том, чтобы биографии любого типа были основаны на продуманной концепции и точных фактах, чтобы были выбраны узловые темы и соблюдены необходимые пропорции, чтобы не было увлечения ненужными мелочами.<sup>32</sup>

В дальнейшей работе над биографией Пушкина возникает необходимость преодоления стандартной схемы ее построения. Биографические работы в большинстве строятся так: детство, Лицей, Петербург, «южная ссылка», Михайловское, Москва, Петербург. Внутри этой схемы есть еще градации: пребывание в Кишиневе, Одессе, Болдине и т. д. Но мы знаем, что вехи биографии Пушкина, его эволюцию определяет не то, что одно время он жил в Одессе или провел осень 1830 года в Болдине (хотя и это имеет свое значение), а события русской и мировой истории, сложное переплетение обстоятельств общественной и личной жизни. Является ли «болдинская осень» самостоятельной научной проблемой (как ни интересна и ни заслуживает объяснения беспримерная, необычайная его творческая продуктивность в этот период)? Ведь следуя по такому пути, можно без особого труда сконструировать понятия «михайловской зимы», «петербургского лета» и т. п. В дальнейшем, когда настанет время для работы над большой академической биографией Пушкина, несомненно, будет пере-

<sup>30</sup> Леонид Гроссман. Пушкин. М., 1958, стр. 5.

<sup>31</sup> Например: «Уже в ранние годы, уже в лицейских стихотворениях, где идет еще борьба разных художественных стилей, решительно сказывается основной творческий метод Пушкина — реализм, соответствующий философскому принципу его материалистических воззрений» (стр. 394). Реализм и материализм в лицейских стихах!

<sup>32</sup> Особенно важны эти требования для массовых брошюр; например, в брошюре Ивана Новикова, обладающей определенными достоинствами, автор не имел возможности сказать о многих важных фактах, но упомянул, что Пушкин «отрашивал предлинны ногти» (И. А. Новиков. Жизнь Пушкина, стр. 39).

смотрена и привычная стандартная схема, которую заменит периодизация его биографии в зависимости от этапов идейной и творческой эволюции, от событий в жизни страны и народа и обстоятельств личной жизни.

Препятствием к созданию такой биографии является неравномерность изучения отдельных «отрезков» жизненного пути Пушкина.

К числу наименее освещенных периодов относятся годы 1822—1823, сопровождавшиеся для него идейным кризисом, и в особенности 30-е годы. Необходимо также изучение неясных мест в биографии поэта,<sup>33</sup> критический пересмотр ряда утверждений, которые без проверки перекочевывают из одной работы в другую. Необходимо усилить борьбу с произвольным отбором фактов, при котором определенные факты, мешающие искусственному «выравниванию» политической биографии Пушкина, отбрасываются вопреки марксистской методологии, требующей следовать исторической правде и не игнорировать обусловленные временем противоречия исторического деятеля.

Преодоления требуют и существующие в ряде биографий догматический подход к проблеме «Пушкин и декабристы», антиисторическая трактовка отношения Пушкина к стихийному крестьянскому движению и к нарождавшейся разночинско-демократической идеологии и т. д. В одних биографиях мы читаем, что Пушкин — один из выдающихся идеологов декабризма, т. е. что он, следовательно, разрабатывал тактику и идеологию декабризма.<sup>34</sup> Из других работ можно составить представление о декабризме Пушкина как о результате влияний на него отдельных членов тайного общества — Пестеля, Пущина, В. Ф. Раевского, Давыдова и других. Мы видим в первом случае преувеличение, во втором — преуменьшение роли Пушкина в истории декабризма, самостоятельности его как мыслителя и деятеля. Если сопоставить синхронно эволюцию Пушкина и развитие декабристского движения с его кризисами, падениями и взлетами, то обнаружится, что мировоззрение Пушкина и мировоззрение декабристов определяли те же факторы, что, как художник, он чутко воспринимал колебания общественных группировок, изменения в жизни, в настроениях общества, страны. Односторонность сказывается и в трактовках этапов биографии Пушкина после декабря 1825 года. Встречаются утверждения, что Пушкин после поражения восстания оказался в совершенном одиночестве. Конечно, он потерял многих друзей, потерял вольнолюбивое окружение. Но подспудно оппозиция существовала и зрела. Вольнолюбивые настроения постепенно крепились, возникали — пусть узкие — кружки и содружества, имевшие своим девизом призывные строки пушкинских стихов. Это движение после декабрьского восстания очень мало освещено, а в исторической науке период 30-х годов почти не изучен. Мало внимания уделено и тому очевидному факту, что Пушкин после декабрьского восстания до самой смерти был единственным из уцелевших деятелей освободительного движения, к нему прислушивались, его творения воспитывали тех, кто этого даже не сознавал (в том числе таких людей, как Белинский). На его долю выпала историческая миссия не только хранителя, но и продолжателя декабристских традиций в этот период.<sup>35</sup> Надо подробнее изучить также настроения и движения в народе в 1826—1837 годах, а также тот

<sup>33</sup> См. статью Т. Г. Цявловской на эту тему, публикуемую в настоящем сборнике.

<sup>34</sup> Такое утверждение, кстати говоря, мы встречаем и у некоторых историков (например, Н. Н. Степанов пишет, что Пушкин был «не только поэтическим вождем декабризма, но и одним из выдающихся его идеологов». См. брошюру: Н. Н. Степанов. Исторические воззрения Пушкина. Л., 1949, стр. 21).

<sup>35</sup> Об этом подробнее в моей книге «Пушкин и его эпоха» (Гослитиздат, М., 1949, стр. 364—386, 388—425).

реальный фон, который сопутствовал столь энергичному выдвиганию Пушкиным проблематики крестьянского восстания, темы социальных низов, образа «ничтожного героя». Хочется обратиться к научной молодежи и призвать ее изучать прессу, архивы, в частности фонды бывшего Министерства внутренних дел, для того чтобы полнее и точнее документировать изменения в жизни последекабрьской России, столь важные при изучении биографии Пушкина.

Наконец, пора вспомнить, что борьба с вульгарным социологизмом не означает борьбы с социологизмом вообще. Было время, когда говорить о классовых моментах мировоззрения Пушкина почиталось за неприличие, но это так же неверно, как и объяснение его взглядов принадлежностью к старинному дворянскому роду. Методологические шатания сказались и в оценке отношения Пушкина к крестьянскому стихийному движению. В 1920-е и 1930-е годы появлялись работы, где Пушкин объявлялся в этом вопросе чуть ли не единомышленником реакционного историка пугачевского движения Броневского, а в последние годы (особенно в периоды юбилейных пушкинских дат) нередко были попытки представить его революционным демократом. Подобные проявления и рецидивы вульгарного социологизма и догматизма нужно окончательно преодолеть на пути к подлинной, действительно научной биографии, которая должна базироваться на анализе всей суммы объективных, строго взвешенных исторических фактов. В этой связи хочется обратить внимание на то, что до сих пор не прекращается выдвигание без достаточного обоснования всякого рода гипотез и догадок, связанных с биографией Пушкина, и в частности с обстоятельствами его дуэли, врачебного ухода за ним в предсмертные дни и т. д. Особенно недопустимо, что эти гипотезы широко пропагандируются в печати прежде, чем доказано право на их популяризацию.<sup>36</sup>

В заключение следует сказать, что наряду с дальнейшей разработкой методологических принципов изучения и построения биографии Пушкина необходимо под руководством Пушкинской комиссии Академии наук СССР и Группы пушкиноведения Института русской литературы наметить широкую программу работ.

Прежде всего надо заполнить зияющие пробелы в пушкинской библиографии. Некоторые новые выпуски ее, по существу, готовы и требуют доработки, после которой могли бы быть напечатаны, другие надо еще составлять.

Далее. Необходимо произвести фронтальное обследование документальных фондов, связанных с Пушкиным и его временем. Не только в республиканских и областных, но даже в центральных, московских и ленинградских архивохранилищах предстоит немалая работа в этом направлении. Публикации последнего времени свидетельствуют о перспективах новых находок. Надо составить планы этой работы с помощью пушкинистов на местах, с помощью литературных кафедр университетов и педагогических институтов, привлечь к этому делу аспирантов, способных студентов под руководством преподавателей.

Внушает серьезное беспокойство состояние подготовки очередных томов «Летописи жизни и творчества Пушкина». Без нее весьма затруднительно создать действительно обстоятельную, подробную биографию Пушкина. Необходимо всемерно ускорить завершение этого труда, быть может, путем сокращения некоторых его аспектов (например, регистрации всех прижизненных откликов на произведения Пушкина в печати; это дело библиографов).

<sup>36</sup> Этой теме автор посвящает особую статью.


Группа пушкиноведения Института русской литературы с участием пушкинистов Москвы работает над коллективной монографией «Итоги и проблемы пушкиноведения», которая должна способствовать также дальнейшему изучению всех сторон биографии Пушкина, его деятельности.

Одной из ближайших задач является научный свод воспоминаний о Пушкине. Существующие сборники являются не вполне удовлетворительными с точки зрения полноты и достоверности текста.

Следует отметить, что проект «Пушкинской энциклопедии» теперь получил реальные перспективы. Есть надежда в ближайшие годы начать подготовку этого издания. Оно должно представить собою полный свод сведений о биографии Пушкина, его творчестве, о его влиянии на русскую и мировую культуру, о его жизни в искусстве и т. д. Эта большая работа привлечет многих литературоведов-пушкинистов и потребует участия ученых различных специальностей.

Задачи изучения биографии Пушкина требуют привлечения широкого круга литературоведов, особенно научной молодежи. Хочется обратиться с призывом ко всем работникам научно-исследовательских институтов и вузов, заведующим кафедрами литературы с предложением поручать аспирантам, диссертантам и дипломантам темы, связанные не только с творчеством Пушкина, но и с его биографией. Не следует думать, что на разработке вопросов биографии молодой ученый не сможет получить необходимых навыков. Здесь много нерешенных вопросов, которые требуют новаторского подхода.

Нет сомнения, что все эти мероприятия будут способствовать успешному исследованию биографии Пушкина на том уровне, которого достоин великий поэт, гений русского народа и всего человечества.



Т. Г. ЦЯВЛОВСКАЯ

## НЕЯСНЫЕ МЕСТА БИОГРАФИИ ПУШКИНА

Под биографией, жизнеописанием великого поэта разумею мы в настоящей статье не какую-нибудь определенную книгу, повествующую о жизненном пути Пушкина, а некий воображаемый труд в стадии его создания, автор которого, не обходя сложных и нерешенных вопросов, исследует их со всей ответственностью и глубиной. Этого будущего биографа Пушкина, который обнаружит такое же тонкое понимание природы поэта и сложное взаимодействие человека и поэта, как Анненков; который будет биографом-художником, как биограф прошлого века; который будет свободен от мировоззренческих ограничений, мешавших сто лет назад правильному освещению Пушкина; который внесет в книгу такой же страстный исследовательский интерес, как общепризнанный лучший биограф поэта прошлого века, и который обогатит биографию Пушкина всеми достижениями пушкиноведения, добытыми наукой за столетие, протекшее с выхода в свет «Материалов для биографии Пушкина», — имеет в виду автор статьи, говоря о биографе Пушкина.

### 1

Жизнь Пушкина изучается второе столетие, написано много его биографий людьми разных эпох, разных направлений, но далеко не все в жизни великого поэта нам известно, не все ясно.

Казалось бы, особенно зияющих провалов нет, все как будто благополучно. Известно, где и когда Пушкин бывал, с кем общался, что и когда писал. Но все это лишь на первый взгляд. При более углубленном внимании к тем или иным вопросам знания наши нередко оказываются иллюзорными.

Для воссоздания жизненного пути Пушкина нам недостает не отдельных звеньев. Мы не знаем очень многого по разным периодам его жизни (если, конечно, не удовлетворяться схемой вместо живой жизни со всеми ее сложностями и противоречиями) или же имеем о них очень приблизительные понятия, ограниченность которых с очевидностью раскрывается специальными исследованиями. Так, относительно «Истории Петра» точку зрения, видевшую в этом труде Пушкина главным образом обработку выписок из Голикова, сменило мнение, согласно которому этот исторический труд основан на глубоком изучении и литературы, и архивных источников.<sup>1</sup> Считалось, что политические эпиграммы Пушкин писал до ссылки. На самом деле огромный массив их (около пятидесяти) написан именно

---

<sup>1</sup> См.: И. Фейнберг. История Петра I. В его книге: Незавершенные работы Пушкина. М., 1955; 2-е издание — М., 1958.



в годы ссылки — с лета 1824 года по лето 1825 года, когда поэт даже готовил сборник противоправительственных эпиграмм и сатир.<sup>2</sup>

Загадочной была и длительная беседа Николая I с Пушкиным во время первой аудиенции поэта у нового императора 8 сентября 1826 года, от которой до нас дошло лишь несколько реплик. Но недавно гипотетическая реконструкция этого разговора, его тем и направления беседы, с развернутой и убедительной аргументацией предложена была в одном из докладов на последней Пушкинской конференции.<sup>3</sup>

Нередко утвердившиеся представления отходят, а порой и опрокидываются под воздействием новых материалов.

Вот несколько примеров.

В стихотворении Мицкевича «Памятник Петра Великого» есть такие строки:

Вечером, в ненастье, стояли двое юношей  
Под одним плащом, взявшись за руки;  
Один был странник, пришлец с Запада,  
Неведомая жертва царского гнета,  
Другой — поэт русского народа,  
Прославленный на всем севере своими песнями.<sup>4</sup>

То, что во втором юноше следует видеть Пушкина, казалось ясным. Однако несоответствие того, что говорится в его монологе у Мицкевича, тому, как относился Пушкин в действительности к Петру и его исторической роли, а также и другие высказывания Пушкина в этом стихотворении Мицкевича порождали поиски другого имени. Два ученых увидели в «поэте русского народа, прославленном на всем севере своими песнями», Рылеева. Эта точка зрения была опровергнута,<sup>5</sup> и в литературе утвердилось мнение, что Мицкевич писал о Пушкине. Свидетельство, извлекаемое из письма неведомого до сих пор участника беседы двух поэтов, подтверждает это положение, одновременно опровергая его по существу.

«В стихах своих о памятнике Петра Великого, — пишет Вяземский о Мицкевиче, — он приписывает Пушкину слова, мною произнесенные, впрочем в присутствии Пушкина, когда мы втроем шли по площади. И хорошо он сделал, что вместо меня выставил он Пушкина. Оно выходит поэтичнее».<sup>6</sup>

Вяземский имеет в виду противопоставление памятника тирану — Петру Первому памятнику другу народа — Марку Аврелию в монологе «русского гения» в стихах Мицкевича, в особенности, конечно, многозначительный вопрос, завершающий монолог:

Но если солнце вольности блеснет  
И с запада весна придет к России —  
Что станет с водопадом тирании?<sup>6а</sup>

Чуждая Пушкину идея, что освобождение России от тирании можно ждать с Запада, как теперь оказывается, ему и не принадлежит.<sup>7</sup> В стихах

<sup>2</sup> См.: Т. Цявловская. Муза пламенной сатиры. В сборнике: Пушкин на юге, книга 2, Кишинев, 1961.

<sup>3</sup> С. М. Бонди. Встреча Пушкина с Николаем I. — «Тринадцатая Всесоюзная Пушкинская конференция 6—8 июня 1961. Тезисы докладов», Л., 1961.

<sup>4</sup> Перевод Н. К. Гудзия.

<sup>5</sup> Историю вопроса с аргументированным возражением этому положению см. в статье М. А. Цявловского «Он между нами жил... (По поводу статьи В. Ледницкого)» в сборнике «Пушкин. 1834 год» (Л., 1934). Вошло в книгу: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. Изд. Академии наук СССР, М., 1962.

<sup>6</sup> Письмо П. А. Вяземского 1872 года к П. И. Бартеневу. — ЦГАЛИ, ф. 46 (П. И. Бартенева), оп. 1, ед. хр. 564, лл. 146 об.—147.

<sup>6а</sup> Перевод В. В. Левика.

<sup>7</sup> Ср. заметку Пушкина: «La libération de l'Europe viendra de la Russie, car c'est là seulement que le préjugé de l'aristocratie n'existe absolument pas. Ailleurs on croit à l'aristo-

Мицкевича реальное событие преобразовано, и к Пушкину отнесены слова, в действительности произнесенные П. А. Вяземским и вполне соответствовавшие идеологии этого западника и полонофила.

Иногда архивный документ дает незначительную поправку к известному нам факту, но наряду с этим вносит интереснейшие новые данные.

Долгое время считалось, что высланный из Одессы Пушкин выехал в Михайловскую ссылку 30 июля 1824 года. Затем, на основании записи Пушкина в календаре 1824 года, в июльском листке («31 départ»<sup>8</sup>), была установлена дата: 31 июля.<sup>9</sup> Но и эта дата оказывается неверной. Она корректируется неопубликованным письмом жены П. А. Вяземского Веры Федоровны к мужу, датированным 1 августа 1824 года.<sup>10</sup>

Il faut bien commencer ma lettre par ce qui m'occupe le plus dans ce moment, c'est l'exil et le départ de Pouschkin que je viens de reconduire jusqu'en haut de mon énorme montagne, que j'ai embrassé tendrement et que j'ai pleuré comme un frère car c'est le pied sur lequel nous avons été depuis quelques semaines. J'ai été seule confidente de ses chagrins et de sa faiblesse car il était désespéré de quitter Odessa surtout<sup>11</sup> à cause d'un sentiment qui n'a pris que plus de force les derniers jours comme de raison. Ne parle point de cela, à notre entrevue nous en causerons plus clairement, et il y a des raisons pour passer cela. Soit silent, malgré que cela soit très vertueux et que cela n'est sérieux que de son côté.<sup>12</sup> Il te supplie de ne point lui écrire, il y a eu quelqu'un de compromis, parce qu'il avait fait l'adresse d'une lettre à un homme qu'il ne connaissait point et qui a été interrogé sur les relations avec notre ami.<sup>13</sup>

Этот документ устанавливает новую дату отъезда Пушкина во вторую ссылку: это было 1 августа 1824 года. Строить догадки, что в письме Вяземской или в записи Пушкина имеет место описка в дате, излишне: в дальнейшем тексте письма сообщается, что накануне уехала из Одессы Воронцова. Запись Пушкина «31 départ» следует теперь понимать не как отъезд его самого, а как отъезд Воронцовой. Это совершенно естественно,

cratie, les uns pour la dédaigner, les autres pour la haïr, les troisièmes pour en tirer profit, vanité etc. — En Russie rien de tout cela. On n'y croit pas, voilà tout» (Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1937—1949, т. XII, стр. 207. Далее при ссылках на это издание будут указываться в скобках только том и страница). Перевод: «Освобождение Европы придет из России, ибо только там предрассудок аристократии совершенно отсутствует. В других странах верят в аристократию, одни — чтобы ее презирать, другие — чтобы ее ненавидеть, третьи — чтобы извлекать из нее выгоду, тщеславие и т. п. — В России ничего подобного. В нее не верят, вот и всё» (франц.).

<sup>8</sup> Отъезд (франц.).

<sup>9</sup> См.: Д. П. Якубович. Неизвестные автобиографические записи Пушкина. — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 6, М.—Л., 1941, стр. 33.

<sup>10</sup> ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3275, лл. 200—204. Письмо это отбилось от основного массива писем В. Ф. Вяземской из Одессы к мужу за 1824 год, опубликованных В. И. Саитовым в «Остафьевском архиве князей Вяземских» (т. V, кн. 2, СПб., 1913).

<sup>11</sup> Слово «surtout» вписано.

<sup>12</sup> Слова «et que cela n'est sérieux que de son côté» приписаны.

<sup>13</sup> Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — это ссылка и отъезд Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, которого я нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, так как мы были с ним в братских отношениях в последние недели. Я была единственной поверенной его огорчений и его слабости, потому что он был в отчаянии от того, что покидал Одессу, в особенности из-за одного чувства, которое разрослось в последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы поговорим более ясно, есть причины, чтобы оставить этот разговор. Молчи, хотя это и очень целомудренно и хотя это серьезно лишь с его стороны. Он умоляет тебя не писать ему, так как некто был скомпрометирован, потому что он надписал адрес письма одному человеку, которого он совершенно не знал и которого допрашивали об отношениях с нашим другом (франц.).

в духе подавляющего большинства смежных записей в календаре<sup>14</sup> и в силу постоянной потребности поэта отмечать дату получения важного его сердцу письма от женщины. Записей же об отосланных им самим письмах Пушкин не делал.

Гораздо значительнее этой даты какая-то таинственная история, контуры которой смутно проступают из туманной дали — поэт надписывает адрес человеку, которого он не знает, и того допрашивают о его отношениях с Пушкиным. Какой же напряженной была за ним слежка в Одессе!

## 2

Пушкин был горячим поборником литературных «записок» (как в ту эпоху называли «воспоминания»), дневников, записей бесед крупных людей, характеристических анекдотов. Он жадно читал памятники мемуарной литературы, вводил в свои исторические произведения отрывки из неопубликованных «Записок» свидетелей событий прошлого, побуждал людей с интересной судьбой, много видевших, талантливых рассказчиков писать воспоминания, редактировал их и печатал.

Естественно, что Пушкин и сам, полностью сознавая свою ответственность перед потомством, отдавал дань этому виду литературы.

Эти произведения великого поэта могли бы стать основополагающими для его биографа,<sup>15</sup> но «Записки» свои Пушкин принужден был сжечь, и от них сохранились лишь разрозненные отрывки.<sup>16</sup>

Впоследствии Пушкин не раз думал возобновить свои уничтоженные «Записки»; он сделал введение, в котором упомянул о содержании первых своих «Записок» и написал портреты своих предков, рассказав о бурных характерах и трагических судьбах своих дедов (XII, 310—314). О себе в этом введении Пушкин не сказал ни слова.

Дважды набрасывал он программы «Записок» об отдельных периодах своей жизни. Первая из этих программ дает нам представление о том, в каком духе была бы написана самим поэтом его биография. Характернейшей ее особенностью было то, что Пушкин сливал в своем сознании (и явно так и думал писать в своих «Записках») жизнь своей семьи, свою жизнь с жизнью страны. «Смерть Екатерины. Рождение Ольги» (XII, 307—308), — пишет он в программе; это смерть Екатерины II и рождение сестры Пушкина. И далее: «1812». Год этот окружен рамкой, под ним ничего не записано. Это то же высокое гражданское сознание поэта, когда Отечественная война становилась личной жизнью каждого патриота, в том числе, конечно, и мальчиков, свидетелей проходивших у них на глазах войск, о чем писал и ближайший друг Пушкина, Пущин: «Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовляясь гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита».<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Новое толкование записей в календаре, принадлежащее М. А. Цявловскому, еще не появилось в печати.

<sup>15</sup> Недаром крупный советский литературовед Ю. Н. Тынянов положил программу автобиографии Пушкина в основу своего романа «Пушкин», как он сам об этом говорил в начале работы и как это ясно при чтении романа.

<sup>16</sup> См. прекрасное исследование И. Л. Фейнберга «Автобиографические записки» в его книге «Незавершенные работы Пушкина» (М., 1955; 2-е издание — М., 1958).

<sup>17</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, стр. 52—53.

И вторая особенность. Автобиография Пушкина должна была быть проникнута глубоким психологизмом. «Первые неприятности», «мои неприятные воспоминания», «мое тщеславие», «отношение к товарищам» — все эти заметки, будь они Пушкиным написаны, дали бы блистательные страницы пушкинской психологической прозы, в духе отрывка из его автобиографии «Несмотря на великие преимущества...»<sup>18</sup> и некоторых художественных произведений, например отрывка «Участь моя решена. Я женюсь...», написанного на основании личного душевного опыта Пушкина через месяц после того, как он стал женихом. Для биографа Пушкина эти заметки недоступны — и не только потому, что ему неизвестно, что именно имел в виду поэт, но и потому, что всякое постороннее воссоздание мыслей Пушкина, почти без исключения, обречено на неудачу.

Читая эти ценнейшие программы, мы убеждаемся, как многого в жизни Пушкина мы не знаем, гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд.

В первой из них, доведенной до 1815 года и написанной, по-видимому, в сосредоточенном болдинском уединении 1830 года, есть много пунктов, не поддающихся раскрытию. Не говоря о том, что приходится строить догадки о заметках «первые впечатления», «первые неприятности», «нестерпимое состояние», «иезуиты», «мое положение», мы не знаем и того, кто такие «Вонт. секретарь», «М-г Martin», «Кат. П.», «Ан. Ив.» (XII, 308). Неизвестным остается также и то, что хотел рассказать Пушкин о встречах с Дмитриевым, Блудовым, Дашковым в 1811 году в Петербурге, где мальчик Пушкин жил с дядей В. Л. Пушкиным, привезшим его в северную столицу для поступления в Лицей.

Неопубликованные документы воссоздают жгучую атмосферу литературных страстей и пристрастий, в которой жил Василий Львович и которая охватывала и двенадцатилетнего поэта. Вот отрывок одного из больших писем тех дней, написанного Василием Львовичем Вяземскому из Петербурга, 7 августа 1811 года:<sup>19</sup>

Le Slavo-Wariague Chichkoff est furieux contre Dachkoff et moi, et vous pouvez lire dans le dernier volume des travaux Académiques tout ce qu'il dit sur notre compte. Il déteste Каченовский et en parle avec tout le mépris imaginable. Pour vous donner une idée du caractère de notre journaliste il faut vous dire qu'avant de publier sa critique de la traduction de Shichkoff, il lui avait écrit une lettre suppliante pour lui demander la permission d'analyser ses ouvrages; celui-ci n'a pas daigné lui répondre et le dit lui-même à qui veut l'entendre. — M-г Mouravieff vient de faire la critique des Eglogues de Virgile, traduites par Mersliacoff; il prétend que notre poète ne sait ni le Russe, ni le Latin. J'ai vu Граматин, qui a entendu lire cette nouvelle production et qui m'a avoué qu'il n'avait jamais rien entendu d'aussi ennuyeux.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> И. Л. Фейнберг очень убедительно показал, что этот текст представляет собой «важнейший отрывок автобиографической прозы поэта, посвященный всегда занимавшему его вопросу о положении поэта в обществе, его окружавшем» (И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина, 1955, стр. 270).

<sup>19</sup> ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 2611 (Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому), лл. 1—2.

<sup>20</sup> Славяно-варяг Шишков в бешенстве на Дашкова и меня, и ты можешь прочесть в последнем томе Академических трудов все, что он говорит на наш счет. Он ненавидит Каченовского и говорит о нем со всевозможным презрением. Чтобы дать тебе представление о характере нашего журналиста, надо тебе сказать, что, прежде чем печатать свою критику перевода Шишкова, он написал ему умоляющее письмо, прося позволения сделать разбор его произведений; тот не удостоил его ответом, о чем сам и говорит каждому, кто хочет его слушать. — Г-н Муравьев закончил критику эклог Вергилия, переведенных Мерзляковым; он утверждает, что наш поэт не знает ни рус-

Еще живее предстают перед нами картины впечатлений мальчика Пушкина от его дядюшки в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 18 августа 1811 года из Петербурга: «С Пушкиным<sup>21</sup> я вижу довольно часто: он теперь в страшных заботах: пишет новое послание к Дашкову (автору критики на Шишкова) об Истинном патриотизме: горе славянофилам! Здесь он часто выдерживает сильные споры. Я был свидетелем одного у графа Орлова, в кругу большого света, где Вас. Львович только что не подрался с к. Горчаковым, одним из злейших последователей ереси Шишкова. Ничего не могло быть смешнее этого спора, тем более что под конец уж не один Вас. Львов. спорил о русском языке, но даже Сергей Вас. Салтыков, и Татищев, и Шепинг и пр. и пр. люди, едва говорящие по-русски! По обыкновению своему Пушкин успел уже играть в двух или трех пьесах у к. К. Ф. Долгорукой и сочинить несколько французских экспромтиков и буриме».<sup>22</sup>

Возвращаемся к первой из программ автобиографии Пушкина. На полях возле 1812 и 1813 годов сделана помета: «Гр. Коч.». Мы понимаем, что она должна раскрываться как «графиня Кочубей»: о дочери члена Государственного совета гр. В. П. Кочубея — Наталии сохранилось свидетельство, что она была одним из первых отроческих увлечений Пушкина. Нам ничего не известно об этом чувстве Пушкина, если не считать того, что предание связывало с ним его стихотворение 1814—1815 года «Измены», что ее подразумевает Н. Н. Раевский-младший в письме к Пушкину в 1825 году под словами: «votre comtesse Natalie de Kagoul» («Ваша графиня Наталья Кагульская»), что ее хотел вывести Пушкин в тридцатых годах в повести «Русский Пелаг», в планах которого намечена фигура героини, дочери Кочубея, — «Нат. Коч.», «Чуколей», «Чоколей».

И второй план автобиографии Пушкина, сосредоточенный на пребывании его в Кишиневе и написанный в Болдине в 1833 году, ставит биографу его ряд загадок.

«Кишенев. — Приезд мой из Кавказа и Крыму — Орлов — Ипсиланти — Каменка — Фонт. — Греческая революция — Липранди — 12 год — mort de sa femme — le renégat<sup>23</sup> — Паша Арзрумской» (XII, 310).

Неясно, что означает сокращенное слово «Фонт.». Его раскрывали как Фонтан и видели в этой записи заметку о начале работы над «Бахчисарайским фонтаном». Но правильнее, вероятно, и в этой записи видеть заметку не о работе поэта, а, подобно всем другим случаям, о личности, с которой его свела судьба в эту пору. Среди знакомых Пушкина в Кишиневе был некий Фонтон, полнее — Фонтон де Верайон, один из молодых офицеров Генерального штаба, присланных в Кишинев для съемки планов области. Его упоминает Липранди,<sup>24</sup> о нем говорит приятель Фонтана, знакомый Пушкина — прапорщик Лугинин,<sup>25</sup> но мы даже отдаленно не представляем себе, что это был за человек.

Что хотел Пушкин рассказать об участии Липранди в Отечественной войне? А в следующих пунктах?

ского, ни латыни. Я видел Граматина, который слышал чтение этого нового творения и который мне признался, что он никогда не слышал ничего столь скучного (франц.).

<sup>21</sup> Василием Львовичем.

<sup>22</sup> ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 289 (Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским), лл. 1—2.

<sup>23</sup> Смерть его жены — ренегат (франц.).

<sup>24</sup> И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — «Русский архив», 1866, стлб. 1250, 1442.

<sup>25</sup> См.: Из дневника прапорщика Ф. Н. Лугинина. Публикация Ю. Г. Оксмана. «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 671, 674.

Данзас, товарищ Пушкина по Лицею и секундانت его в последней дуэли, служил с 1820 года в 6-м пионерном батальоне, расквартированном в Бессарабии. Он рассказывал П. В. Анненкову: «Липранди часто бывал с Пушкиным — он был тогда подполковником Генерального штаба, потерял жену-французенку и выстроил ей богатую часовню, в которой часто уединялся».<sup>26</sup> Что знал Пушкин о ее смерти? Когда умерла она? Все это остается пока неизвестным.<sup>27</sup>

Останавливает внимание биографа и слово «le renégat» в программе. Было высказано предположение, что слово это следует относить к И. П. Липранди (вслед за замечками о котором оно следует); последний оставил в анналах истории мрачную славу предателя петрашевцев и деятеля военно-политического сыска (еще в 1813 году). Слово «le renégat» трактовалось как отступник от революционной деятельности.<sup>28</sup> Однако слово это — и во французском, и в русском языке — употреблялось в то время, по-видимому, только в одном значении: вероотступник. Так употребил его и Пушкин (в «Словаре языка Пушкина» слово «ренегат» зарегистрировано лишь один раз); в статье ««О драмах Байрона»» Пушкин пишет: «Он создал себя вторично то под чалмою ренегата...». Пушкин имеет в виду главного героя поэмы Байрона «Осада Коринфа», итальянца, принявшего ислам; на вероотступничестве его и построена драматическая коллизия поэмы.

Необъяснимым является пока и присутствие в Кишиневе в 1820—1823 годах «Паши Арзрумского», заметкой о котором обрывается вторая программа автобиографии. Не одно ли это лицо, что и предшествующий ему ренегат?

Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения.

Следуя по стопам самого Пушкина, биограф должен был бы наполнить его жизнеописание за годы с 1817 по 1825 рассказами о встречах с людьми, «которые после сделались историческими лицами» (XII, 310).

«...легко может, уличит меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных, — писал Пушкин Жуковскому вскоре после начала следствия. — А между ими друзей моих довольно» (XIII, 257). Тогда же писал он Плетневу о том, что его мучит «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи» (XIII, 256).

В «Записках» говорил Пушкин о декабристах «с откровенностью дружбы или короткого знакомства». Судя по этим словам, которыми Пушкин предвещал новую свою автобиографию, он рассказывал в своих «Записках» не только о встречах с известными декабристами — он передавал и их свободный политический разговор. Однако, сообщает Пушкин, «в конце 1825 года, при открытии несчастного заговора», он «принужден был сжечь сии записки» — «они могли замешать имена многих и, может быть, умножить число жертв» (XII, 310 и 432). Итак, Пушкин знал мно-

<sup>26</sup> Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, стр. 338.

<sup>27</sup> Г. Ф. Богач пересмотрел по нашей просьбе в кишиневском архиве метрические записи по различным церквам Кишинева за 1817, 1818, 1819 и 1820 годы, но имени жены Липранди не нашел. Записи о католиках не сохранились, а она, как французенка, была, вероятно, именно католичкой. Выражаю признательность Г. Ф. Богачу, взявшему на себя этот неблагодарный труд.

<sup>28</sup> «...приведенный выше положительный отзыв Пушкина о Липранди является следствием заблуждения поэта, который и позднее рассматривал агентурно-политическую деятельность Липранди только как ренегатство, отступничество от его революционной якобы в прошлом деятельности. В „Программе записок“, относящейся к 1833 г., мы читаем: „Кишинев... — Липр(анди) — 12 год — смерть жены — *ренегат* (курсив мой. — Б. Т.)“ (Б. Трубецкой. Пушкин в Молдавии, 2-е изд., Кишинев, 1954, стр. 35).

гих декабристов, которые остались правительству неизвестными, он писал об их смелых революционных высказываниях, возможно об их опасных планах: как иначе понять слова, что «Записки» его «могли <...> может быть, умножить число жертв»?

Нельзя переоценить значение сожженных «Записок» Пушкина. С ними безвозвратно утеряны имена многих деятелей первого русского революционного движения и их политические высказывания.

Что мы знаем из этих бесценных страниц биографии Пушкина?

### 3

Помимо того, о чем хотел писать в своей биографии сам Пушкин, для нас остается неясным длинный ряд моментов безвременной оборвавшейся, насыщенной событиями, страстями и потрясениями бурной жизни великого поэта.

Стихотворение «Мое завещание. Друзьям» (1815) говорит о предстоящей смерти автора: «Хочу я завтра умереть», — так начинает поэт свою элегию. «Певец решил умереть», — повторяет он. Он раздает на память друзьям свои ценности: Дельвигу — «лень и лиру», Пушкину — с своей «глубокой чашей увядший миртовый венец» (каким же провидцем был и юный Пушкин! За десять лет до посещения его в ссылке верными друзьями Дельвигом и Пушкиным их одних из всех товарищей назвал он в своем поэтическом завещании). Эти стихи не объясняют, что привело шестнадцатилетнего поэта к мысли о самоубийстве. Что кроется за туманными выражениями первоначального зачина «Завещания»?

Нет, полно, полно мне терпеть!  
Дорожный посох мне наскучил,  
Угрюмый рок меня замучил,  
Хочу я завтра умереть.  
(I, 363).

Может быть, это было мучительное душевное состояние, которое сопровождает юношей в тяжелом переходном возрасте, когда некоторые из них и кончают жизнь самоубийством. Однако выражение чувства в искусстве оказалось для Пушкина спасительным.

И в 1816 году вновь обращается Пушкин к теме о подступавшей к нему смерти:

Я видел смерть; она в молчаньи села  
У мирного порогу моего;  
Я видел гроб; открылась дверь его;  
Душа, померкнув, охладела...  
(I, 216).

Не лежит ли в основе этой элегии воспоминание о какой-нибудь болезни? (Трижды лежал Пушкин в лицейской больнице в 1816 году: семь дней в январе, одиннадцать дней в феврале и три дня в мае). Этого довольно, чтобы впечатлительный юноша ощутил приближение смерти, чтобы юный поэт создал надгробную себе элегию.

Исключительно важен в биографии Пушкина вопрос об отношении его с Союзом благоденствия. Он тесно соприкасается с поднимавшимся выше вопросом о сожженных Пушкиным «Записках». Но здесь следует его несколько повернуть.

Не так давно был опубликован первоклассный документ — показание декабриста Горсткіна о том, что Пушкин бывал на собраниях Союза благоденствия.

«... я был раза два-три у к. Ильи Долгорукого, который был кажется один из главных в то время, у него Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой...».<sup>29</sup>

Этот документ показал со всей очевидностью реальность пребывания Пушкина в среде членов Союза благоденствия, о чем говорил сам поэт в десятой главе «Евгения Онегина»:

Витийством резким знамениты  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты,  
У осторожного Ильи.

(VI, 523).

Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Тут Луний дерзко предлагал  
Свои решительные меры  
И вдохновенно бормотал,  
Читал свои ноэли Пушкин,  
Меланхолический Якушкин,  
Казалось, молча обнажал  
Цареубийственный кинжал.  
Одну Россию в мире видя,  
Лаская в ней свой идеал,  
Хромой Тургенев им внимал  
И, слово рабство ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крестьян.

Так было над Невую льдистой.

(VI, 524—525).

Надо поставить вопрос, что думал Пушкин, бывая в этом обществе, догадывался ли он в то время, что это — тайное политическое общество? Читал ли он свои сатирические куплеты на царя, не зная кому? Когда осмыслил он, что он бывал в революционной организации, о чем он писал в 1829—1830 году в «Евгении Онегине»? К этим ли встречам относятся стихи:

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико  
Лишь были дружеские споры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука,  
Все это было только скука,  
Безделье молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов.

(VI, 525—526).

Мог ли Пушкин называть решительные меры, дерзко предлагавшиеся Луниным, или цареубийственный кинжал, казалось, молча обнажавшийся Якушкиным, бездельем молодых умов, забавами взрослых шалунов? Конечно, нет! Эта последняя строфа возвращала читателя к более раннему периоду движения. Пушкин же бывал на собраниях уже отчетливо сформировавшегося Союза благоденствия. Но когда осмыслил он его таковым? Неужели же только после обнародования донесения следственной комиссии? Или несколько ранее, во время беседы с Пущиным в январе 1825 года?

Можно ли допустить, что Пушкин, писавший в январе 1826 года о заговоре: «Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем?»

<sup>29</sup> М. Нечкина. Новое о Пушкине и декабристах. — «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 159.



о заговоре кричали по всем переулкам» (XIII, 257), — что человек гениального ума один ничего не видел, не понимал?

Когда мог Пушкин сказать впервые: «Пловцам я пел»?

Все эти вопросы ждут своего разрешения.

Есть у Пушкина одно интригующее место в письме к Бестужеву от 24 марта 1825 года: «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? мнение свое о его думах я сказал вслух и ясно, о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке — но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасаясь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай — да чорт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!» (XIII, 155).

Застрелить человека Пушкин мог бы только на дуэли. Значит, или была дуэль, и Пушкин и Рылеев выстрелили, может быть, в воздух, или дуэль предполагалась, но состоялось примирение. Почему дуэль? Какая причина? Мы ничего об этом не знаем. Екатерина Андреевна Карамзина пишет в 1820 году, 23 марта, что у «г. Пушкина всякий день дуэли; слава богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимы».<sup>30</sup> Допустим, не дуэли, а вызовы. Но ведь и это говорит о чрезвычайном взрыве чувств. Нам же ничего не известно.

Об одной из состоявшихся дуэлей, относящейся именно к этому времени, мы, впрочем, знаем, но лишь по совершенно глухому упоминанию самого Пушкина. Он пишет об этом в черновом письме к Александру I в июле—сентябре 1825 года (едва ли Пушкин отослал это письмо).

Вот начало этого письма:

Des propos inconsidérés, des vers satiriques [me firent remarquer dans le public], le bruit se répandit que j'avais été traduit et fou<etté> à la ch<ancelerie> sec<rète>.

Je fus le dernier à apprendre ce bruit qui était devenu général, je me vis flétri dans l'opinion, je suis découragé je me battais, j'avais 20 ans en 1820 — je délibérais si je ne ferais pas bien de me suicider ou d'assassiner V<otre Majesté>.

Dans le 1 cas je ne faisais qu'assu<rer> un bruit qui me déshon<orait>, en l'autre je ne me veng<eais> pas puisqu'il n'y avait pas d'outrage, je commettais un crime, je sacr<ifiais> à l'opinion d'un public que je méprise un homme auquel tenait tout et talent dont j'avais été l'admirateur involontaire.

Telles furent mes réflexions. Je les com<muniquais> à un ami qui fut parf<aitement> de mon avis. Il me conseilla des démarches de justif<ication> envers l'autorité — j'en sentis l'inutilité.

Je résolus de mettre tant d'indécence, de jactance dans mes discours et mes écrits qu'enfin l'autorité soit obligée de me traiter en criminel — [j'espérais] la Sibérie ou la forteresse comme réhabilitation (XIII, 227—228).<sup>31</sup>

<sup>30</sup> М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, М., 1951, стр. 208.

<sup>31</sup> Необдуманные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе], распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние, дрался на дуэли, мне было 20 лет в 1820 году — я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить Вкаше величество).

В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором — я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление, я принес бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело все и дарования которого невольно внушали мне почтение.

Это ценнейшее для биографа Пушкина письмо, показывающее всю безудержность крайних, отчаянных решений поэта, потрясенного призраком оскорбления, полно загадок.

С кем дрался он на дуэли незадолго до ссылки? Почему он дрался? Заподозрил кого-то в измышлении клеветы? Кого же?

Кто был тот друг, о котором Пушкин пишет Александру и который советовал ему добиваться реабилитации?

В то время у Пушкина было два друга, которые сыграли в его жизни огромную благотворную роль, — это Чаадаев и Николай Раевский (младший). С обоими был он очень близок тогда, о чем неоднократно говорил в своих произведениях.

В эпилоге к «Руслану и Людмиле», написанном уже в ссылке, на юге, вспоминая последнее время пребывания в Петербурге, поэт писал:

Я пел — и забывал обиды  
 Слепого счастья и врагов,  
 Измены ветреной Дориды  
 И сплетни шумные глупцов.  
 На крыльях вымысла носимый,  
 Ум улетал за край земной;  
 И между тем грозы незримой  
 Сбиралась туча надо мной!..  
 Я погибал... Святой хранитель  
 Первоначальных, бурных дней,  
 О дружба, нежный утешитель  
 Болезненной души моей!  
 Ты умолила непогоду;  
 Ты сердцу возвратила мир;  
 Ты сохранила мне свободу,  
 Кипящей младости кумир!

(IV, 86).

Кто это? Раевский? Чаадаев? Скорее, пожалуй, последний — слова о дружбе, умолившей непогоду, соответственно символике Пушкина, говорят о хлопотах друга, обращенных к царю. А о Чаадаеве известно, что он пытался отвести от Пушкина угрозу ссылки в Соловки или Сибирь. Он действовал на царя через посредство Карамзина и генерала Васильчикова.

Раевскому посвящает Пушкин «Кавказского пленника» и в посвящении поэмы пишет ему замечательные слова:

Когда я погибал безвинный, безотрадный,  
 И шопот клеветы внимал со всех сторон,  
     Когда кинжал измены хладный,  
     Когда любви тяжелый сон  
     Меня терзали и мертвили,  
 Н близ тебя еще спокойство находил;  
 Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:  
 И бури надо мной свирепость утомили,  
 Я в мирной пристани богов благословил.

(IV, 91).

Значительные слова о Н. Н. Раевском говорит Пушкин и в письме к брату Льву в 1820 году: «Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные» (XIII, 17). Услуги — это не только

Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации — я чувствовал бесполезность этого.

Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, чтобы власть вынуждена была бы наконец огнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести. (франц.).

сердечное отдохновение, о котором поэт говорит в посвящении Раевскому в «Кавказском пленнике», это какое-то активное действие. Какое же?

А вот как говорит Пушкин об измучивших его днях страданий и об утешительной дружбе Чаадаева в одном из лучших своих посланий, к нему обращенном:

Ты был целителем моих душевных сил;  
 О неизменный друг, тебе я посвятил  
 И краткий век, уже испытанный Судьбою,  
 И чувства — может быть спасенные тобою!  
 Ты сердце знал мое во цвете юных дней;  
 Ты видел, как потом в волнении страстей  
 Я тайно изнывал, страдалец утомленный;  
 В минуту гибели над бездной потаенной  
 Ты поддержал меня недремлющей рукой;  
 Ты другу заменил надежду и покой...

(II, 188).

О чем говорят эти слова? Не вспоминает ли поэт о своем решении покончить с собой («минута гибели над бездной потаенной»)? Не помешал ли этому Чаадаев дружеским дозором, разубеждением?

Три дня спустя после этого послания «Чадаеву» Пушкин записывает в дневник: «Получил письмо от Чадаева. — Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье. — Одного тебя может любить холодная душа моя. — Жалею, что не получил он моих писем: они его бы обрадовали. — Мне надобно его видеть» (XII, 303).

Еще через два дня поэт завершает стихотворение «К моей чернильнице» трогательным завещанием чернильницы Чаадаеву.

Сколько раз возвращается Пушкин и к незабываемой обиде — измене друзей: они отвернулись от него, очевидно, в эти тяжелые дни вызова его для объяснений к генерал-губернатору, слухов о грозящей ему каре, в дни возникновения клеветы, которую сами же и распространяли.

«Минутной младости минутные друзья» (II, 147), — горько выразил поэт свое разочарование в петербургских друзьях.

Быть может, и узнает когда-нибудь биограф Пушкина имена этих людей, отступников в дружбе при первом же серьезном испытании. Их вспомнил поэт и позднее, когда писал об Онегине:

Враги его, друзья его  
 (Что, может быть, одно и то же)  
 Его честили так и сяк.  
 Врагов имеет в мире всяк,  
 Но от друзей спаси нас, боже!  
 Уж эти мне друзья, друзья!  
 Об них недаром вспомнил я.  
 А что? Да так. Я усыпляю  
 Пустые, черные мечты;  
 Я только в скобках замечаю,  
 Что нет презренной клеветы,  
 На чердаке вралем рожденной  
 И светской чернью ободренной,  
 Что нет нелепицы такой,  
 Ни эпиграммы площадной,  
 Которой бы ваш друг с улыбкой,  
 В кругу порядочных людей,  
 Без всякой злобы и затей,  
 Не повторил сто крат ошибкой;  
 А впрочем он за вас горой:  
 Он вас так любит... как родной!

(VI, 80—81).

Придется биографу Пушкина задуматься над тем, кого вспоминает Пушкин в конце своего посвящения «Кавказского пленника» Раевскому:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;  
Я жертва клеветы и мстительных невежд.

Кто эти мстительные невежды? Не идет ли тут речь уже об Аракчееве? Об Александре?<sup>32</sup>

А дальше — удивительное признание:

Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,  
Я ждал беспечно лучших дней.

Вот с какими чувствами уезжал Пушкин в ссылку! Вот с каким чувством временного сдерживания себя давал он Карамзину слово два года против правительства ничего не писать. Он укрепляет сердце свободой и терпеньем, т. е. внутренней независимостью (как оказалось, и внешней) и выдержкой (это ему не очень удавалось!).

Последние приведенные нами слова Пушкина в письме к Александру о том, что он решил вкладывать в свои речи и действия столько неприличия, столько дерзости, чтобы власть вынуждена была бы наконец отнестись к нему как к преступнику, что он надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести, — эти слова проливают свет на многое.

Можно предполагать, что проявлениями именно этой сознательной вызывающей бравады, задуманной скандальностью поведения Пушкина следует объяснять громкие выходки его, привлекавшие всеобщее внимание.

Не ради того ли, чтобы быть арестованным, показывал, например, Пушкин в театре портрет убийцы французского герцога со своей надписью «Урок царям»? Или другой эпизод. Пушкин, запоздав в театр, рассказывает, что он только что из Царского Села, где произошел следующий случай: медвежонок сорвался с цепи и побежал по саду, «где мог встретиться глаз на глаз» с Александром I. Пушкин заключает рассказ словами: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!».<sup>33</sup>

Этот возглас Пушкина нужно связывать, вероятно, с еще не отшумевшей вестью о страшной расправе в Чугуеве с восставшими военными поселенцами.

«Таким же образом, — вспоминает Пушкин, — он во всеуслышание в театре кричал: „Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед“. В переводе: нечего опасаться крепости».

«Конечно, болтовня эта — вздор, — продолжал Пушкин, — но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал».<sup>34</sup>

Это воспоминание Пушкина несколько корректируется словами Пушкина в письме к царю; «вздор, похожий несколько на поддразнивание», был сознательным ходом Пушкина, добивавшегося ареста.

Не ту же ли задачу преследовал еще какой-то шумный инцидент, обсуждавшийся Пушкиным с отцом поэта, после которого декабрист решил воздержаться от привлечения друга в члены тайного общества?

<sup>32</sup> Предположение С. М. Бонди.

<sup>33</sup> М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 193—194.

<sup>34</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, стр. 70.

## 4

Совершенно скрыта от нас любовная жизнь Пушкина. Хорошо известно, как горяч, эмоционален он был, как глубоко переживал он всякое чувство, каким ярким сиянием отсвечивало оно потом в лирике поэта.

Все это мы знаем. Мы знаем множество женских имен, занесенных самим Пушкиным в его известные «дон-жуанские списки». Ко многим из них подысканы живые образы в биографии. Но почти все это — пустое, утратившее для нас дыхание жизни. Сложных ходов главных, драматических отношений Пушкина, которые вызывали мучительные воспоминания, многие годы вспыхивавшие в его поэзии, мы не знаем.

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,  
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,  
Желаний и надежд томительный обман...  
... Но прежних сердца ран,  
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

(«Погасло дневное светило...», 1820).

Когда кинжал измены холодный,  
Когда любви тяжелый сон  
Меня терзали и мертвили...

(«Кавказский пленник».  
Посвящение, 1821).

Я помню столь же милый взгляд  
И красоту еще земную,  
Все думы сердца к ней летят,  
Об ней в изгнании тоскую — .....  
Безумец! полно! перестань,  
Не оживляй тоски напрасной,  
Мятежным снам любви несчастной  
Заплачена тобою дань —  
Опомнись; долго ль, узник томный,  
Тебе оковы лобызать  
И в свете лирою нескромной  
Свое безумство разглашать?

(«Бахчисарайский фонтан», 1822).

Эти написанные на юге стихи говорят о страдальческой «северной любви» поэта.

В словах о «красоте еще земной» можно угадывать, что поэт вспоминает женщину, которая вскоре умерла.

Об умершей женщине Пушкин вспоминает постоянно.

И нет отрады мне — — — и тихо предо мной  
Встают два призрака молодые,  
Две тени милые — два данные судьбой  
Мне ангела во дни былые.  
Но оба с крыльями и с пламенным мечом —  
И стерегут — и мстят мне оба —  
И оба говорят мне мертвым языком  
О тайнах счастья и гроба.

(«Когда для смертного  
умолкнет шумный день...», 1828.  
Продолжение стихотворения в  
рукописи. III, 2, 654—655).

Почему являются поэту две давно умершие любимые женщины в виде призраков карающих («и мстят мне оба»)? Почему чувствует он себя виновным перед ними?

Еще сильнее передано это ощущение в отмененном варианте заключительных стихов:

И мертвую любовь питает их <?> огнем  
Неумирающая злоба.

Не о том же ли говорят и стихи, написанные осенью 1830 года?

Когда порой воспоминанье  
Грызет мне сердце в тишине,  
И отдаленное страданье,  
Как тень, опять бежит ко мне;  
Когда людей вблизи видя  
В пустыню скрыться я хочу...

И поэт живописует пейзаж Соловецкого острова, куда его тянет мечта. Не жажда ли искупления влечет туда его отягощенную совесть?

Все о тех же, неизвестных нам в реальной жизни Пушкина переживаниях говорит поэт и в «Заклинании», написанном тогда же:

Явись, возлюбленная тень,  
Как ты была перед разлукой,  
Бледна, холодна, как зимний день,  
Искажена последней мукой.

Это образ умирающей? Теперь понятна «и красота еще земная» — она умирала. Что же — поэт прощался с любимой, оставляя ее при смерти? Когда? Только при вынужденном отъезде в ссылку в 1820 году могло это быть.

Зову тебя не для того,  
Чтоб укорять людей, чья злоба  
Убила друга моего...

— новые обстоятельства или новое освещение ее гибели. Не он виной — ее убила злоба людей.

Что делать биографу, видящему эту бездну страданий поэта и не знающему о них ничего, кроме их обертонов в поэзии?

Столь же трудно будет биографу Пушкина понять все сложнейшие ходы и перипетии преддуэльной истории Пушкина. О ней известно много фактов, написано много работ, но многое остается непонятным.

Ближайшие к Пушкину люди говорят о таинственности, связанной с обстоятельствами, предшествовавшими роковой дуэли. В чем тайна — до сих пор неизвестно. Будем надеяться, что те исследователи, которые в настоящее время трудятся над последними месяцами жизни Пушкина, внесут ясность в историю дуэли.

В наше время вдумчивый и внимательный исследователь жизни и творчества Пушкина настолько понимает уже образ великого поэта, дух его, характер его ума, интересов, отношений, высказываний, что его не удивит никакое открытие новых писем о нем и других биографических материалов. Сколько бы новых документов ни открывалось, он не встретит ничего, что могло бы изменить или даже поколебать его общие представления о Пушкине.

Что бы нового о Пушкине ни появлялось за последние десятилетия (а правильное понимание образа великого поэта и основных линий его поведения, его взаимоотношений с людьми, с правительством установилось постепенно лишь в советскую эпоху, когда изучены детальнейшим образом все тексты Пушкина, вплоть до всех черновиков, когда стали доступны все архивы — государственные и личные, — и мы обогатились множеством первоклассных материалов, вроде дневника Долгорукова), что бы ни открывалось о Пушкине нового, оно всегда подтверждает наши представления о нем, обогащает нас новыми подробностями, новыми данными, но не новыми представлениями.

## 5

Для того чтобы продвинуть изучение жизни Пушкина, чтобы уменьшить количество бесчисленных лакун, которые подстерегают биографа

поэта на каждом шагу, есть, в сущности, только два пути. Один — это создание гипотетических реконструкций неясных мест биографии Пушкина. Другой — разыскание новых материалов. Первый путь — интересный, заманчивый, исхоженный многими — опасен. Какое великое множество напечатанных и оставшихся в рукописи гипотетических построений (например, об «утаенной любви» Пушкина) отменялись следующими исследованиями! Иные гипотезы не опровергнуты и, может быть, никогда и не будут опровергнуты, но достоверность их всегда может вызывать сомнения. Многолетние изучения Пушкина и какого-нибудь круга вопросов, с ним связанных, приводят иной раз к отдельным удачным реконструкциям. Однако вряд ли можно рекомендовать этот путь исследования как основной метод.

Иное дело — новые документы. Среди них могут встретиться материалы первоклассные, перекрывающие все, до тех пор известное по целому периоду жизни Пушкина, как это случилось, например, с дневником Долгорукова.

Конечно, не всякому документу можно верить — слишком хорошо известна сомнительная ценность свидетельских показаний, как правило, противоречащих друг другу. Поэтому биограф Пушкина, получая в руки новый документ, всегда должен начать с критического анализа подлинности сообщаемого в нем (необязательно делать это на глазах у читателя).

До сих пор открытия новых документов нередко бывают случайными. Исследователь ищет одно — нечаянно находит другое. Вот таких, еще не попавших в руки исследователя, скрытых до времени будущих находок в архивохранилищах страны таится, надо думать, необозримое количество.

Как приступить к их разысканию? С чего начать?

В жизни Пушкина можно проследить две линии: линию общественную и линию личную, частную.

Линия общественная на всем протяжении его жизненного пути была под неусыпным надзором соответственных органов, гласных и негласных наблюдателей.

Материалы агентурного, секретного характера, посвященные слежке за Пушкиным, сохранившиеся в секретном отделе архива бывшего III Отделения, известны в печати с первых месяцев Советской власти.<sup>35</sup>

Публикатор их указывает, что «литература о Пушкине обладает уже большим количеством документальных данных, свидетельствующих о десятилетних „муках великого поэта“, вызывавшихся сначала отдельными столкновениями его с тайной полицией, а затем — его почти непрерывными сношениями с Бенкендорфом, фон Фоком и преемником последнего — А. Н. Мордвиновым».<sup>36</sup>

Автор этого очерка высказывает ценное соображение о том, где еще должны находиться аналогичные документы: «Для полноты данных об отношении к Пушкину полицейских властей следовало бы произвести разыскания в архиве Штаба корпуса жандармов, если таковой уцелел после Революции 1917 года: в нем несомненно должны были находиться сведения о Пушкине, поступавшие в Штаб от чинов жандармского надзора».<sup>37</sup>

Серьезное пожелание покойного исследователя не нашло отклика.

<sup>35</sup> Б. Л. Модзалевский. 1) Пушкин в донесениях агентов тайного надзора. 1826—1830. — «Былое», 1918, № 1; 2) Пушкин под тайным надзором. СПб., 1922; 3-е издание, Л., 1925.

<sup>36</sup> Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, изд. 3-е, стр. 6.

<sup>37</sup> Там же, стр. 100.

Помимо архива секретного отдела III Отделения, уже, как выше указывалось, изученного, необходимо тщательно обследовать и весь архив III Отделения, хранящийся в Центральном государственном историческом архиве в Москве (ф. 109), ныне влившемся в Архив Октябрьской революции. Именно оттуда извлечено нами в 1951 году дело «О показании подпрапорщика Курилова о слышанных им разговорах между майором Кавериним и г. Щербининым. 1828 года».<sup>38</sup> Эти друзья Пушкина обвинялись в чтении стихов «Паситесь, дикие народы...». Правда, доносчику и III Отделению не стало известным, что эти строки являются искаженной цитатой из стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...».

Любопытно было бы ознакомиться и с фондом «Вещественные доказательства», изъятые жандармскими управлениями и охранными отделениями при обысках редакций журналов и газет и при обысках и арестах лиц (коллекция) — ЦГИАМ, ф. 1167. Рукописи, изъятые в редакциях, обнимают годы с 1864 по 1917; изъятые же у частных лиц — годы с 1825 по 1917.

Среди документов, изъятых у современников Пушкина, могут оказаться и стихи Пушкина, и письма, с ним связанные.

Необходимо пересмотреть и камерфурьерские журналы за годы 1826—1837 для установления аудиенций Пушкина у Николая I (ЦГИАЛ, ф. 806).

Не мешало бы проверить, полностью ли изучены архивы центральных учреждений по делам цензуры: Дела министерства народного просвещения по цензурной части (1804—1826) — ЦГИАЛ, ф. 885; Главное управление цензуры (1828—1837) — ЦГИАЛ, ф. 887; а также дела С.-Петербургского цензурного комитета (1814—1837) — ЦГИАЛ, ф. 891.

Надо ознакомиться и с собранием дел и бумаг «чиновника особых поручений при министре внутренних дел И. П. Липранди (1802—1878)» — ЦГИАЛ, ф. 1239.

Не изучена еще и та часть лицейских документов, которые находятся в Гос. историческом архиве Ленинградской области и другие материалы о Пушкине в архивах Ленинграда, о которых уже сообщалось в печати.<sup>39</sup>

Очень существенным для извлечения новых данных о Пушкине должно стать и систематическое ознакомление с личными архивными материалами, сохранившимися от современников Пушкина.

Особенно важным было бы в первую очередь глубокое изучение первоклассных фондов, тесно связанных с Пушкиным: П. А. Вяземского (ЦГАЛИ, Москва) и А. И. Тургенева (Пушкинский Дом, Ленинград). Всякое новое обращение к ним всегда приносит драгоценные плоды.

Как известно, современники Пушкина отдавали себе ясный отчет о первенствующем значении его гения. Выдающаяся личность поэта также привлекала к себе всеобщее внимание при его жизни. Поэтому всегда можно извлечь интересные сведения о Пушкине в переписке и дневниках, а позднее и в воспоминаниях его современников, имевших счастье быть с ним знакомыми или писавших о нем понаслышке.

Огромное количество личных фондов современников Пушкина, в которых могут таиться неизвестные о нем данные, рассеяны по множеству государственных архивов, находящихся в разных городах Советского Союза.

<sup>38</sup> См.: «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 393—404.

<sup>39</sup> М. Ахун. Материалы об А. С. Пушкине в ленинградских архивах. — «Архивное дело», № 4/41, М., 1936. См. также: Н. А. Малеванов. Архивные документы лицей в ГИАЛО (1811—1817 гг.). — «Пушкин и его время», вып. 1, Л., 1962, стр. 265—269.



Ознакомлению с именами тех людей, личные фонды которых хранятся в архивах, а также с местом хранения их, призван способствовать сводный каталог личных фондов, хранящихся во всех архивохранилищах нашей страны. Каталог этот (в виде именного указателя) составляется в настоящее время на основе списков, получаемых из всех архивов. Работа по концентрации данных и по объединению сведений в единый каталог сосредоточена в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве.

Для того чтобы исчерпать архивные возможности, нужно было бы обследовать все архивы всех современников Пушкина, потому что мы никогда не знаем, не был ли знаком с великим поэтом тот или иной из его современников, — так популярен он был, так огромен был круг его знакомых. Если бы в руки исследователей не попали в свое время такие интересные для изучения Пушкина документы, как дневник Ф. Н. Лугинина, как дневник Елены Шимановской, как полный текст первой песни «Вадима», принадлежавший М. А. Урусову, и в особенности такой первостепенной важности материал, как дневник П. И. Долгорукова, едва ли бы стали мы интересоваться бумагами этих людей, которые никогда, ни в одной из биографий Пушкина даже не упоминались.

Но пересмотреть такое несметное количество личных фондов современников Пушкина, которые собраны государственными архивохранилищами всей страны, одному поколению филологов едва ли под силу.

В первую очередь придется обследовать личные фонды тех современников Пушкина, которые безусловно были с ним знакомы.

Существует картотека знакомых Пушкина, составлявшаяся в свое время М. А. Цявловским. Она предназначалась в помощь участникам работы по собиранию печатных материалов для «Летописи жизни и творчества Пушкина». В этой картотеке зарегистрировано немногим более полутора тысяч человек.<sup>40</sup>

Кроме того, составлен и биографический словарь современников Пушкина, с ним знакомых. Это труд Лазаря Абрамовича Черейского (Ленинград), который работает над ним уже пятнадцать лет. Количество имен в его словаре подходит к трем тысячам. Вслед за каждым именем знакомого Пушкина автор труда дает библиографию первоисточников, на основании которых устанавливается факт знакомства и общения этого человека с Пушкиным.

К работам, подобным работе Л. А. Черейского, научные учреждения, работающие над изучением творчества Пушкина: Пушкинский кабинет Института русской литературы АН СССР (Ленинград), Всесоюзный музей А. С. Пушкина (Ленинград), Государственный музей А. С. Пушкина (Москва) — должны проявлять всемерное внимание и оказывать им поддержку.

Работу по освоению архивов можно было бы организовать следующим образом.

Прежде всего надо было бы сопоставить списки знакомых Пушкина со списком личных фондов, хранящихся во всех архивах Советского Союза. Это дало бы точные сведения, чьи именно из интересующих нас архивов сохранились и где они хранятся.

Вторым этапом работы будет обследование этих фондов. Для чтения писем и дневников знакомых Пушкина было бы очень хорошо привлекать студентов-филологов, студентов историко-архивного института (эта работа студентов могла бы стать их учебно-практической работой). Надо только

<sup>40</sup> Картотека эта хранится у автора данной статьи.

помнить, что общеупотребительным языком в дворянских кругах пушкинской эпохи был французский язык, что отсутствие знания языка может оказаться серьезным препятствием для лиц, приступающих к этой работе.

Начало работе по систематическому розыску неизвестных архивных материалов, связанных с Пушкиным (см. стр. 46—47 настоящей статьи), положено в апреле 1962 г.

Составлена картотека государственных фондов, хранящихся в архивах Союза ССР, которые следует изучить ради розыска неизвестных материалов о Пушкине.

Составлена и вторая картотека — личных фондов людей, с которыми был знаком Пушкин (41 фонд). Она основана на подготовленном к печати отделом рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина труде: «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель», том I (по букву М включительно). Эта картотека хранится в отделе рукописей Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).



Д. Д. БЛАГОЙ

## ДЖОН БЕНЬЯН, ПУШКИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Среди стихотворных произведений Пушкина есть одно на первый взгляд довольно странное по содержанию и своеобразное по форме стихотворение-повесть «Странник», написанное в середине 1835 года. Оно, в сущности, почти не привлекало к себе внимания критики, мало интересовало исследователей и до сих пор продолжает оставаться как бы в тени. Между тем «Странник» принадлежит к числу весьма значительных во многих отношениях и очень характерных созданий Пушкина последних лет его жизни и творчества и заслуживает, безусловно, всяческого внимания.

### 1

Как известно, «Странник» — переложение в стихи совсем небольшого отрывка из весьма пространной аллегорической повести в прозе с отдельными стихотворными вставками, принадлежащей перу знаменитого английского писателя-проповедника эпохи английской революции XVII века Джона Беньяна (John Bunyan, 1628—1688)<sup>1</sup> «The Pilgrim's Progress from this World to that which is to come» с подзаголовком «In the similitude of a dream».<sup>2</sup>

Джон Беньян принадлежал к демократической, народной среде. Сын крестьянина, жестяных дел мастера, он после относительно недолгого пребывания на военной службе и участия в гражданской войне вернулся в свою родную деревню близ Бедфорда и сам стал бродячим лудильщиком. Через некоторое время он вступил в секту пуритан-нонконформистов и приобрел огромную популярность в качестве проповедника. В формы религиозного сектантства облакался в то время протест широких народных масс как против феодально-абсолютистских порядков и их служительницы и

<sup>1</sup> Русскими переводчиками это имя транскрибировалось по-разному: Бюниан, Бонниан, Буньян, Бэньян.

<sup>2</sup> Полное заглавие первого издания 1678 года таково: «The Pilgrim's Progress from this World to that which is to come. Delivered under the Similitude of a Dream, wherein is discovered the Manner of his Setting out, his Dangerous Journey and safe Arrival at the Desired Country». Пространно озаглавлена повесть и в русском переводе 1782 года: «Любопытное и достопамятное путешествие Христианина к вечности, чрез многие приключения с разными странствующими лицами правым путем, где различно изображаются разные состояния, успехи и щастливой конец души Христианина, к богу стремящегося». Но уже с третьего издания 1819 года заглавие дано сокращенно: «Путешествие Христианина к блаженной вечности». В переводе XIX века, также неоднократно переиздававшемся, озаглавлено: «Путешествие пилигрима в небесную страну, представленное на подобие сновидения»; в новейших курсах истории английской литературы: «Путь паломника» (История английской литературы. Под редакцией М. П. Алексеева, И. И. Анисимова, А. К. Дживелегова, А. А. Елистратовой, В. М. Жирмунского, М. М. Морозова, т. 1, вып. 2. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1945, стр. 202; Ю. Б. Виппер, Р. М. Самарин. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века. Изд. Московского университета, М., 1954, стр. 210).

пособницы — официальной церкви, так и против все усиливавшейся крупной буржуазии. Именно такой характер и носила проповедническая деятельность Беньяна. После реставрации королевской власти Беньян был заключен в тюрьму, в которой, отказавшись дать обязательство о прекращении проповеднической деятельности, пробыл целых двенадцать лет. В тюрьме и началась его литературная работа.

Из обширного литературного наследия Беньяна — проповедей, памфлетов, аллегорических повестей<sup>3</sup> — «The Pilgrim's Progress» является произведением особенно значительным, вошедшим наряду с «Потерянным раем» его современника Мильтона в золотой фонд английской литературы.

Произведение Беньяна написано в традиции средневековых аллегорических путешествий во сне, таких, как «Pilgrimage de mounde» — перевод поэмы французского монаха Дегилевилля (Deguileville), «Видение о Петре Пахаре» Ленгленда. Автору-рассказчику снится сон, описание которого и составляет первую часть его повести. Один из жителей города Разрушения (City of Destruction), т. е. земного мира, Христианин (Christian — слово, являющееся и собственным именем), познав из прочитанной им духовной книги греховность как своего собственного существования, так и жизни всех горожан, влекущую их к неминуемой гибели, рвет со своим прошлым и бежит из города и дома, от жены и детей, которые, как и все остальные, почли его лишившимся рассудка, и, взыскуя спасения, напутствуемый евангелистом, отправляется в долгий и трудный путь к небесному граду (Celestial City). По дороге, изнемогая под тяжкой ношей — бременем грехов, он проходит через многие скорби и испытания: вязнет в Трясине Уныния (Slough of Despond), с великими усилиями, мимо разъяренных львов, восходит на высокую и крутую гору Препятствия (Hill Difficulty), проходит через Долину Уничижения (The Valley of Humiliation), где вступает в бой с напавшим на него ужасным драконом — бесом Аполлионом, попадает в Столицу Тщеславия (Town of Vanity) на устроенную бесам Вельзевудом, Аполлионом и Легионом Ярмарку Тщеславия (Vanity Fair), схвачен там властями и обречен, как смутьян, на жестокую смертную казнь, которой, благодаря божественной помощи, ему удастся избежать. Наконец, пилигриму предстоит последнее и самое трудное испытание — пройти через реку Смерти (River Death), ибо иного пути к небесному граду не дано человеку. Испытывая величайшее смятение, скорбь и ужас, от которых он чуть не тонет, Христианин преодолевает и это препятствие и достигает желанной цели. На этом заканчивается первая часть повести Беньяна. Во второй ее части, в литературном отношении значительно уступающей первой, рассказывается под видом другого сна, также увиденного автором, аналогичная история странствий жены Христианина, Христианки (Christiana), решившей некоторое время спустя, забрав с собой детей, последовать за мужем.

Во время своих странствий пилигрим встречает самых разнообразных персонажей, представляющих собой традиционные олицетворения различных черт человеческого характера (Упрямый — Destinate, Сговорчивый — Pliable, Робкий — Timorous, Недоворчивый — Mistrust и т. д.), добродетелей (три девы: Мудрость, Благодетель и Милосердие — Prudence, Piety and Charity), пороков (три лжесвидетеля на суде: Зависть, Суеверие и Ябеда — Envy, Superstition and Pickthank и т. д.). Однако в отличие от

<sup>3</sup> В новейшей библиографии, составленной Гаррисоном, Bunyaniana насчитывает 57 названий, не считая ряда произведений, в отношении которых его авторство только предположительно (A Bibliography of the Works of John Bunyan by Frank Mott Harrison. Printed at the Oxford University Press for the bibliographical Society, 1932).

средневеково-аллегорического мышления Беньяну удастся наделить все эти отвлеченно-условные образы весьма характеристичными и ярко жизненными чертами. В своей рецензии на новое издание повести Беньяна, выпущенное поэтом Соути в 1830 году, известный английский историк и критик Маколей, считая ее автора самым выдающимся из представителей аллегорической литературы, подчеркивал, что это «почти единственный писатель, который когда-либо придал абстрактному интерес конкретному». Если у многих писателей люди подменялись олицетворениями, у него, наоборот, «олицетворения становились... людьми». Вообще Маколей считал художественные достоинства повести Беньяна «величайшим чудом». «И это чудо, — добавлял он, — произвел медник».<sup>4</sup>

Однако именно потому, что Беньян был «медником», простым тружеником из народа, человеком не схоластически-ученого, а непосредственного, «наивного» восприятия действительности, он сумел дать в традиционно-аллегорическом одеянии очень живое и правдивое отражение современной ему английской действительности в лице многих ее характерных представителей, несущих в себе некоторые существенные черты национального характера и рисуемых то в юмористических, а то и в остро, порой беспощадно сатирических тонах (например, картина суда над спутником пилигрима Верным — Faithful).

Сочетание резко критического отношения к современным автору общественно-политическим порядкам с напряженнейшими религиозно-мистическими устремлениями и порывами, составляющее ярко выраженную особенность повести Беньяна, делает ее характерным произведением именно английской жизни XVII века. Но указанные черты вывели «The Pilgrim's Progress» далеко за пределы своей эпохи, обусловили его длительное и большое историко-литературное значение. Так, историки английской литературы ustanавливают «несомненное скрытое влияние» повести Беньяна на автора «Робинзона Крузо»,<sup>5</sup> считают, что «приемы сатирической аллегории, применявшиеся Беньяном, оказали влияние на Свифта».<sup>6</sup> Некоторые мотивы повести Беньяна и сатирико-моральные тенденции ее автора в какой-то мере дают себя знать на страницах сатирико-нравоописательных журналов Р. Стиля и Дж. Аддисона (см., например, аллегорический сон в третьем номере «Зрителя»). Но прямое воздействие Беньяна сказывается и значительно позднее, в английской литературе XIX века. Беньян дал разяще-меткое обобщение жизни и нравов господствующих кругов современного ему английского общества в знаменитом образе Ярмарки Тщеславия, на которой наряду с домами и именьями, золотом и драгоценными камнями продаются чины и титулы, страны и королевства, бесстыдные женщины и развратные мужчины, жизнь и кровь, тела и души. Как известно, этот емкий и резко сатирический образ-формулу сделал заглавием своего лучшего романа Теккерей. Вообще повесть Беньяна, написанная исключительно простым, общепонятным и вместе с тем художественно-выразительным языком, оказалась наряду с «Робинзоном Крузо» и «Путешествиями Гулливера» Свифта одной из самых популярных книг в Англии, знакомых обычно уже с детских лет каждому англичанину. Мало того, своей народностью она даже превосходит их. «В самых диких частях Шотландии „The Pilgrim's Progress“ составляет наслаждение крестьян, —

<sup>4</sup> Маколей, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1861, стр. 6, 4, 5.

<sup>5</sup> А. А. Елистратова. Дефо. В кн.: История английской литературы, т. I, вып. 2, М.—Л., 1945, стр. 341.

<sup>6</sup> А. А. Аникст. Беньян. В кн.: История английской литературы, т. I, вып. 2, стр. 210.

свидетельствовал Маколей. — В каждой детской „The Pilgrim's Progress“ большой фаворит, чем „Jack the Giantkiller“». <sup>7</sup>

Популярность повести Беньяна вышла далеко за пределы его родины. По подсчетам, сделанным еще в середине XIX века, повесть была переведена более чем на семьдесят языков. <sup>8</sup> На русском языке она впервые была издана (с французского перевода) Н. И. Новиковым в 1782 году. Затем она была переиздана в первой и второй частях «Сочинений Иоанна Бюниана» (в четырех частях) дважды — в 1786 и 1819 годах, причем, как указывалось на титульном листе второго издания, оно было исправлено по немецкому переводу. Впервые с английского подлинника в переводе Ю. Д. Э. (Засецкой) повесть вышла у нас в 1879 году (переиздана в 1881, 1908 и 1912 годах). Всего на русском языке «The Pilgrim's Progress» выдержал, как видим, целых семь изданий.

По всему этому уже само обращение Пушкина к произведению Беньяна представляет несомненный интерес в качестве еще одного примера усвоения основоположником русской классической литературы замечательных явлений всеобщей литературы. Но значение пушкинского «Странника» отнюдь не только в этом.

## 2

В связи с пушкинским переложением прежде всего возникает вопрос: с какого источника — подлинника или одного из переводов — сделал его поэт? В библиотеке Пушкина имеется третье издание «Сочинений Иоанна Бюниана» в четырех частях 1819 года. В первой его части и содержится «Путешествие Христианина к блаженной вечности». А. Габричевский, который в своей статье «„Странник“ Пушкина и его отношение к английскому подлиннику», опубликованной в 1914 году, произвел тщательное сличение переложения Пушкина и с этим русским переводом, и с английским оригиналом, все же оставляет вопрос нерешенным: «... два пункта, — пишет он в заключении своей статьи, — все еще требуют более подробного выяснения: насколько Пушкин владел английским языком и читал ли он „The Pilgrim's Progress“ в оригинале или в переводе, а если в переводе, то в каком именно?». <sup>9</sup> Ныне на этот вопрос, я считаю, можно дать более или менее точный ответ.

Мы знаем в настоящее время, что Пушкин, хотя и не владел разговорной английской речью, к 30-м годам уже совершенно свободно читал по-английски. В рукописях Пушкина имеется перечень семи его стихотворений, тогда не напечатанных и, по-видимому, предназначавшихся поэтом к опубликованию. Список этот, составленный после 14 августа 1836 года и сделанный как раз на обороте того согнутого вдвое листа, на остальных трех страницах которого находится беловой автограф первых 42 строк «Странника», открывается стихотворением, помеченным здесь «Из Bunyan», т. е. именно «Странником». <sup>10</sup> Как уже сказано, Пушкин не владел англий-

<sup>7</sup> «Джек, истребитель великанов» (англ.). — Маколей, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 4.

<sup>8</sup> Ныне оно переведено на 75 языках и выдержало слишком сто тысяч особых изданий (не экземпляров, а изданий), дорогих и дешевых, — читаем в предисловии к русскому переводу «Путешествия пилигрима», вышедшему в 1879 году. Последнее утверждение носит характер явного преувеличения, почти курьеза, и было снято при переизданиях, но само наличие подобного курьеза характерно.

<sup>9</sup> Пушкин и его современники, вып. XIX—XX, Пгр., 1914, стр. 48.

<sup>10</sup> См.: Рукою Пушкина. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 285—286; Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1958, стр. 40—41.

ским произношением, поэтому данное начертание имени автора «The Pilgrim's Progress» говорит о том, что у поэта в руках имелся английский подлинник. Ряд мест пушкинского переложения, как отметил уже А. Габричевский, также точнее передает оригинал, чем имевшийся в библиотеке Пушкина русский перевод, сделанный не с подлинника, а с французского перевода, исправленного по немецкому переводу, и, кроме того, отличающийся, поскольку он представляет почти дословную перепечатку новиковского издания 1782 года, тяжеловесностью и неуклюжестью, свойственными книжному языку конца XVIII века. Однако в то же время ряд выражений «Странника» буквально воспроизводит соответствующие места русского издания 1819 года. Все это с очевидностью показывает, что Пушкин пользовался и английским оригиналом, и данным русским переводом. Весьма вероятно, что с последним, поскольку он имелся в домашней библиотеке, поэт познакомился ранее, а когда задумал сделать переложение, обратился непосредственно к английскому подлиннику. Вместе с тем в процессе своего переложения с подлинника он, по-видимому, обращался и к бывшему у него под рукой русскому переводу.

Установив непосредственные источники пушкинского переложения, мы можем составить теперь вполне ясное представление о характере творческой работы поэта над «Странником».<sup>11</sup>

Работа эта представляет собой полную аналогию с осуществленной за пять лет до того работой Пушкина над «Пиром во время чумы», являющимся, как известно, также переложением английского источника — пьесы Джона Вильсона «Город чумы» («The city of the plague»), содержание которой, кстати, относится к той же самой эпохе — английской жизни XVII века, что и содержание повести Беньяна. Из весьма пространной «драматической поэмы» Вильсона, состоящей из трех актов, заключающих в себе целых тринадцать сцен, в которых выступает очень большое число персонажей, Пушкин переложил только одну сцену (четвертая сцена первого акта). При этом и в данной сцене, содержащей наиболее психологически острый эпизод — оргийный пир нескольких жителей Лондона перед лицом угрозы общей смерти, Пушкин вовсе опустил конец, составляющий около четвертой ее части (тем самым отпали еще два — и главных — персонажа пьесы Вильсона, и число их вместо семи было уменьшено Пушкиным до пяти). Пушкин сделал довольно значительные сокращения и по ходу предшествующего текста. Оставленный им текст Вильсона он перевел (за исключением гимна Вальсингама и песни Мери) с исключительной точностью, вместе с тем подвергнув его тончайшей, филигранной обработке, внося в него те почти неуловимые «чуть-чуть», которые, как неоднократно подчеркивал Л. Н. Толстой, имеют такое громадное значение при создании подлинно высокохудожественных произведений искусства. В результате всего этого и с помощью в высшей степени присущего Пушкину чувства соразмерности, гармонической стройности — изумительного композиционного мастерства — отрывок из совсем небольшой части пьесы

<sup>11</sup> Автор небольшой заметки «О стихотворении Пушкина „Странник“» в литературной газете «Молва» (1857, № 10, стр. 107), подписанной Б. (вероятно, П. И. Бартечев), публикует параллельно текст Беньяна в своем переводе. Его же в своем переводе приводит и Л. И. Поливанов в комментарии к «Страннику» в издании: А. С. Пушкин, Сочинения, т. II, М., 1887, стр. 340—342. А. Габричевский в указанной статье (стр. 40—44) приводит лишь те места английского подлинника, которые соответствуют пушкинскому переложению. Для большей наглядности я привожу в приложении наряду с полным текстом «Странника», текст соответствующих страниц как английского подлинника (по изданию: «The Pilgrim's Progress...» by John Bunyan. A New Edition with a Memoir... London, George Routledge and Sons, год не указан), так и русского перевода по изданию 1819 года.

относительно второстепенного английского драматурга превратился в совершенно законченное художественное целое, в оригинальную четвертую «маленькую трагедию», представляющую собой наряду с остальными тремя одно из величайших созданий русского национального гения.<sup>12</sup>

Совершенно с тем же самым сталкиваемся мы при создании Пушкиным «Странника». Из пространнейшей повести Беньяна поэт использует также предельно малый кусок. Им вовсе отбрасывается вторая часть «The Pilgrim's Progress», почти равновеликая первой и в значительной мере ее дублирующая — повествующая о странствии жены пилигрима, Христианки. Но и из первой части Пушкин перелагает всего лишь несколько начальных страниц, являющихся, по существу, только вступлением в повествование о странствии Христианина (три с небольшим страницы из 216 страниц первой части английского текста, соответствующие пяти с небольшим из общего числа 309 страниц русского перевода издания 1819 года). Разнообразнейшие перипетии аллегорических странствий пилигрима, сатирические картины английской жизни и быта XVII века, пестрая галерея многочисленных добродетельных и чаще злонравных персонажей — все это остается в стороне. Как и в «Пире во время чумы», свое внимание Пушкин сосредоточивает только на наиболее остром психологическом моменте повести — тягчайшем внутреннем кризисе, крутом нравственном переломе, побуждающем человека полностью отречься от всей своей прежней жизни, порвать со всеми и со всем, страстно возжаждать нового, спасительного пути и, наконец, решительно стать на него.

Очевидно, исходя из того, что в «Страннике» переложено только самое начало книги Беньяна, Жуковский, впервые опубликовав его в посмертном издании сочинений Пушкина, взамен пушкинского названия озаглавил его «Отрывок». «Отрывком» традиционно считают его и многие позднейшие исследователи.<sup>13</sup> «Гениальным отрывком» называет его и Р. М. Самарин, полагая даже, что Пушкин, «видимо, хотел дать вольное сокращенное изложение „Пути паломника“, освободив его от религиозной тенденции».<sup>14</sup> Однако под перебеленным автографом «Странника» Пушкиным поставлена дата: «26 ию (т. е. июня или июля) 1835 года» — несомненный знак, что свою работу над переложением Беньяна поэт не намеревался далее продолжать, а считал на этом законченной. Потому же Пушкин и предназначил «Странника» в данном виде к опубликованию. Но самое главное то, что поэт сумел придать своему «Страннику», как и «Пиру во время чумы», полную внутреннюю законченность, причем, как и при создании «Пира», Пушкин в основном чрезвычайно точно передает перелагаемые им места подлинника (что особенно замечательно, поскольку в данном случае в стихи переключивалась проза), подвергая их вместе с тем, как и в «Пире», тончайшей, поистине ювелирной композиционной и стилистической обработке.

Прежде всего Пушкин устраняет или перерабатывает все те места, которые отвлекают от главного — изображения душевного состояния

<sup>12</sup> О работе Пушкина над «Пиром во время чумы» см. подробнее в моих примечаниях к публикации автографа «Пира» в сборнике «Пушкин — родоначальник новой русской литературы» (1941, стр. 16—20) и в моей книге «Мастерство Пушкина» (1955, стр. 166—177).

<sup>13</sup> А. Габричевский. «Странник» Пушкина и его отношение к английскому подлиннику. «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 40. Об отрывочности «Странника» говорит М. А. Гофман в публикации «Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг.» (Пушкин и его современники, вып. XXXIII—XXXV, 1922, стр. 389, 390).

<sup>14</sup> Ю. Б. Виппер, Р. М. Самарин. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века, стр. 214, 211.



странника — или, связывая данный кусок повести Беньяна с последующим ходом ее, мешают целостности, замкнутости в себе, т. е. законченности произведения. Повесть Беньяна открывается словами рассказчика о том, как однажды, странствуя по дикой стране, пустыне этого мира (*Wilderness of this World*), он прилег отдохнуть в некоей пещере-вертепе (*Den* — аллегорическое обозначение Бедфордской тюрьмы, в которой Беньян начал писать свою повесть) и увидел сон, содержание которого, как сказано, и составляет вся дальнейшая история Христианина. Соответствующие строки вовсе откидываются Пушкиным, а слова: «Однажды странствуя среди долины дикой» — впадают в уста самого странника. Равным образом вовсе устраняется подчеркиваемый Беньяном по ходу повести мотив сна. Соответственно и все повествование о страннике ведется далее не в третьем, а в первом лице, вследствие чего оно приобретает характер глубоко взволнованной, страстной исповеди. Выделенный Пушкиным для своего переложения кусок заканчивается у Беньяна рассказом о том, как два соседа Христианина — Упрямый и Сговорчивый — побежали было за ним, чтобы попытаться его вернуть. Это тесно связано с последующим изложением: Христианин в свою очередь стал уговаривать их обоих последовать за ним. Упрямый отказался, Сговорчивый было пошел, но после того, как он и Христианин попали в Трясину Уныния, тоже поспешил вернуться назад, в Город Разрушения, и т. д. Этот усложняющий и уводящий в сторону от ведущей темы «Странника» эпизод Пушкин тоже опускает, ограничиваясь словами: «Иные уж за мной гнались», к которым непосредственно примыкают заканчивающие все стихотворение строки:

...но я тем боле  
 Спешил перебежать городовое поле,  
 Дабы скорей узреть — оставя те места,  
 Спасенья верный путь и тесные врата.

Последние две строки в повести Беньяна в данном месте отсутствуют, хотя евангельское выражение «тесные врата» неоднократно встречается у Беньяна и ранее, и в дальнейшем. Но перенесенные именно сюда, они придают теме побега, а значит и всему стихотворению Пушкина, необходимую завершенность.

С присущей Пушкину способностью к единственному в своем роде художественному лаконизму он делает ряд сокращений, устранил много словия и внутри перелагаемого им текста повести. Остановлюсь на наиболее существенных примерах, имеющих не только узкостилистическое значение.<sup>15</sup> Тягчайшее душевное состояние Христианина связывается Беньяном с чтением им некоей священной книги (как и многое в повести, момент автобиографический). С раскрытой книгой в руках впервые предстает он рассказчику; снова занят он чтением книги при встрече с Евангелистом, прямо ссылается на нее как на источник своего душевного смятения. Некий пергамент вручает Христианину и Евангелист. У Пушкина ничего не говорится о книге и ее чтении странником. Книгу читает только Евангелист, который назван поэтом просто юношей («Я встретил юношу, читающего книгу»). Тем самым устраняется повторение мотива чтения книги, а главное, тяжкие душевные переживания странника оказываются не навеянными извне, а предстают как процесс его собственного духовного сознания, заставляющий его отъединиться от людей, одиноко бродить по окрестностям («Однажды странствуя...»). В ряде мест — и здесь сказыва-

<sup>15</sup> Мелкие стилистические сокращения отмечены А. Габричевским (см. его статью «„Странник“ Пушкина и его отношение к английскому подлиннику». «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 40—44).

вается рука поэта-художника — Пушкин не сокращает текста, а, наоборот, дополняет его отсутствующими в подлиннике поэтическими образами, сравнениями, весьма характерно перекликающимися с другими его произведениями этих лет и уже одним этим вводящими «Странника» в контекст творчества Пушкина 1833—1835 годов. Такова, например, строка: «И горько повторял, метаясь как больной», кстати, представляющая своего рода автореминисценцию из «Медного всадника» («Нева металась, как больной, / В своей постеле беспокойной», — V, 138). Как дальше увидим, к «Медному всаднику» тянется от «Странника» и еще одна, более знаменательная нить художественных ассоциаций.

Еще один весьма выразительный пример: у Беньяна Евангелист на вопрос Христианина, куда ему идти, указывая вдаль, спрашивает, видит ли он узкие врата; затем, когда тот отвечает отрицательно, снова спрашивает, не видит ли он вдалеке блистающего света. В «Страннике» это место читается:

Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь» —  
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.  
*Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,  
Как от бельма врачом избавленный слепец.  
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.*

Двух строк, отмеченных мною курсивом, у Беньяна нет. Между тем образ прозревшего слепца, у которого сняли бельма с глаз, помимо его художественной выразительности, представляется, как я дальше покажу, весьма интересным и еще в одном отношении.

Но все эти делаемые Пушкиным дополнения несколько не утяжеляют его переложения. Наоборот, пушкинский «Странник» содержит всего 76 стихотворных строк против 98 прозаических строк английского текста и целых 145 строк русского перевода в издании 1819 года.

76 строк — это не так много даже для пушкинских стихотворений этого времени. Так, в «Осени» 1833 года — 89 строк, в «Гусаре», написанном в том же году, — 116 строк, в стихотворении «На Испанию родную», написанном в жанре испанских романсеро, 110 строк.

В то же время в 76 строк «Странника» помещено исключительно большое по психологической напряженности и социальной насыщенности содержание. Если «Пир во время чумы» представляет собой маленькую трагедию, то «Странник» по праву может быть назван маленькой поэмой в стихах. Пушкин и сам ощущал внутреннюю монументальность своего произведения. Очевидно, именно потому он разделил его на пять частей («отрывками», как называет их М. Гофман,<sup>16</sup> считать их нельзя, поскольку они полностью — без всяких разрывов — воспроизводят ход повествования в подлиннике).<sup>17</sup>

Деление это проведено Пушкиным с точным расчетом и присущим ему композиционным мастерством. Первая часть — душевные метания странника, чувствующего, что он не может больше жить так, как жил до сих пор, и тщетно задающего себе вопрос, позднее ставший столь знаменитым в устах Чернышевского и Льва Толстого: «Что делать буду я?». Вторая часть — возвращение домой, попытка путем страстной и убежденной проповеди раскрыть свое сердце близким. Третья часть — смущение и непонимание странника близкими, склонными принять его за сумасшедшего. Четвертая часть — новые одинокие скитания, встреча с юношей, его ответ

<sup>16</sup> Пушкин и его современники, вып. XXXIII—XXXV, стр. 389, 390.

<sup>17</sup> На то большие, то меньшие отрезки членит свою повесть и Беньян, сопровождая их специальными заголовками. Однако ни одна из частей «Странника» (за исключением отчасти первой) не соответствует этим членениям.

на заданный в первой части вопрос: «Что делать?». Решение странника последовать его совету («Ступай! — И я бежать пустился в тот же миг»). Наконец, последняя, пятая часть — безуспешные попытки близких и друзей вернуть странника и его бесповоротный уход.<sup>18</sup>

Так в строгой последовательности, соответствующей внутренней логике замысла, разворачиваются одна за другой пять частей пушкинского «Странника», как бы пять актов рисуемой в них большой и мучительно-сложной внутренней трагедии человека, познавшего высшую правду, которую не хочет признать никто из его окружающих.

Указывавшееся мною сравнение Пушкиным странника, узревшего свет истинного пути, со слепцом, которого врач избавил от бельма, прямо перекликается с одним из самых ярких и сильных мест в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву» — аллегорическим сном путешественника («Страница»)-Истина, которая объявляет себя врачом, призванным «очистить» зрение царя, снимает ему бельма с глаз, и он начинает видеть все в истинном свете).<sup>19</sup> Если мы вспомним, что книга Радищева как раз в эти годы снова стала привлекать к себе особенное внимание Пушкина (работа над так называемым «Путешествием из Москвы в Петербург» в 1833—1835 годах, статья «Александр Радищев» 1836 года), то эта перекличка едва ли является случайной. Религиозность в повести Беньяна сочеталась, как уже сказано, с политической и социальной оппозиционностью. Это, несомненно, ощущал и Пушкин, которого, как дальше будет показано, именно эта сторона в книге Беньяна привлекала к себе больше всего. Перекличка с Радищевым лишний раз свидетельствует, в кругу каких ассоциаций находился поэт, создавая «Странника».

П. В. Анненков в своих «Материалах для биографии А. С. Пушкина» считает «Странника» одним из проявлений «религиозного настроения духа в Пушкине» начиная с 1833 года (к этому году он неправильно относит и написание «Странника»): «Стихотворение это, составляющее поэму само по себе, открывает то глубокое духовное начало, которое уже проникло собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих, по характеру своему, образам чисто эпическим». <sup>20</sup> К этому присоединяется и автор уже упоминавшейся заметки в «Молве». <sup>21</sup> Новейший исследователь (Р. М. Самарин), наоборот, считает, как мы видели, что Пушкин хотел «освободить» свое переложение Беньяна «от религиозной тенденции». <sup>22</sup>

В «Страннике» Пушкин безусловно ослабляет ярко выраженную религиозно-христианскую орнаментику подлинника. Он вовсе отбрасывает обильные ссылки автора на тексты священного писания, устраняет имя пилигрима Христианин (Christian), заменяет, как я уже указывал, Евангелиста на просто юношу; наконец, слово «пилигрим», означавшее человека, идущего на поклонение святым местам, также заменяет более нейтраль-

<sup>18</sup> В дошедших до нас пушкинских рукописях «Странника» поэт обозначил цифрами только первые четыре его части. Между четвертой и пятой частями, дошедшими до нас только в черновой рукописи, цифры 5 нет, но имеется, очевидно, соответствующая ей разделительная черта. Поэтому в академическом издании Пушкина цифра пять, по существу, поставлена правильно, хотя, поскольку в рукописи ее нет, ее следовало бы дать в угловых — редакторских — скобках.

<sup>19</sup> А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. 1, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1938, стр. 248—257.

<sup>20</sup> Пушкин, Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 386.

<sup>21</sup> «Молва», 1857, № 10, стр. 107.

<sup>22</sup> Ю. Б. Виппер, Р. М. Самарин. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII века, стр. 211.

ным — «странник».<sup>23</sup> Снял Пушкин также прямолинейно-христианский аллегоризм Беньяна. Но вместе с тем поэт, который, считая, что «подстрочный перевод никогда не может быть верен», был и решительным противником «исправительных переводов» (XII, 144, 137), сохранил окрашенную в религиозные тона символику автора, его особый настрой, ту, говоря словами самого Пушкина, «народную одежду» (XII, 137) — национальный и исторический колорит — его повести, которая делает ее характернейшим произведением английского XVII века — столь привлекавшей Радищева и безусловно интересовавшей Пушкина эпохи пуританской революции, Кромвеля, Мильтона.<sup>24</sup>

Этот национальный и исторический колорит «Странника» исключительно остро ощутил Достоевский.

В своей речи о Пушкине, говоря о присущей русскому поэту «всемирной отзывчивости», свойстве «перевоплощаться вполне в чужую национальность», он в качестве одного из ярчайших примеров приводил и «Странника»: «Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой —

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ереснарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мысляю только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали вместе с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили».<sup>25</sup>

Еще раньше в числе «величайших произведений пушкинского гения-протеза» называл «Странника» («большое стихотворение, род поэмы, исполненной глубокого смысла») Белинский. Но «Странник» — не только замечательный пример «удивительной способности» Пушкина «легко и свободно переноситься в самые противоположные сферы жизни», как писал Белинский.<sup>26</sup> Проникая в дух чужой национальности, Пушкин никак не

<sup>23</sup> «Пелигрим, или пилигрим — поклонник, тот, который ходит на поклонение святым местам, обещанник, странствующий, пешеходец, странник, пришлец, путешествующий к святым местам» (Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту..., ч. III. СПб., 1806, стр. 295). В «Словаре Академии Российской» слова этого нет. В позднейшем «Толковом словаре живого великорусского языка» Даля: «Пилигрим — паломник, или странник, ходящий по святым местам». Пушкин употребляет это слово дважды: при упоминании баллады Жуковского «Пильгрим» и называя с ласковой иронией «пилигримкой молодой» Татьяну, «умиленно» посещающую в седьмой главе пушкинского романа в стихах опустелый деревенский кабинет Онегина (XIV, 175; VI, 147). Слово «Странник» в «Словаре Академии Российской» поясняется: «Странствующий по чужим землям, заезжий, путник» (ч. VI, СПб., 1822, стр. 530). Слово «паломник», имеющееся в древнерусских памятниках, в словарях пушкинского времени отсутствует; ни разу не употреблено оно и Пушкиным.

<sup>24</sup> Мильтона, кстати, Пушкин исключительно высоко ценил. Имеются его многочисленные высказывания о Мильтоне, в которых он называет его в одном ряду с Данте, Шекспиром, Гете; см. также его статью 1836 года «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» (XII, 137—145).

<sup>25</sup> Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. 12, ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 387—388.

<sup>26</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 352.

утрачивал национальности собственной. Убедительным примером этому может служить тот же «Странник», в котором «чужое» органически сочеталось со «своим», больше того, являлось художественным средством для выражения этого «своего». Переложение из Беньяна, которое П. В. Анненков относит к «чисто эпическим» образцам пушкинского творчества,<sup>27</sup> на самом деле проникнуто глубоким и горячим личным, лирическим началом.

В этом отношении весьма характерно, что Пушкин сперва было начал повествование о страннике в третьем лице:

В великом городе жил некий человек,  
В беспечной суете проведший целый век.  
Однажды странствуя среди долины дикой,  
Незапно был объят он скорбию великой...

(III<sub>2</sub>, 979).

В такой форме и были написаны Пушкиным начальные 16 стихов. Но затем он стал переправлять третье лицо на первое и именно так и оформил свое переложение.

Органичность «Странника» для творчества последних лет жизни поэта пытался — мы видели — обосновать уже тот же Анненков. В гораздо более широкий круг пушкинских стихотворных произведений последних лет жизни поэта включает «Странника» новейший исследователь, Н. В. Измайлов. Указывая, что в 1833—1835 годах Пушкин «создал ряд чрезвычайно значительных произведений медитативной лирики, посвященных по преимуществу одной общей теме, в разных ее аспектах: положению в обществе мыслящего и чувствующего человека, ведущему его к неизбежному столкновению с окружающим миром», исследователь продолжает: «Тема эта рассматривается Пушкиным как в морально-философском, так и в социально-политическом плане в форме исповеди, размышления, воспоминания, часто — в историческом или литературном образе, не имеющем, казалось бы, никакого непосредственного к нему отношения («Странник», «Полководец», «Мирская власть»), но на самом деле глубоко личного значения».<sup>28</sup> Многое здесь верно, особенно подчеркивание «глубоко личного значения» и таких вещей, как «Странник», хотя едва ли правильно зачислять это озаренное мрачным пламенем душевных мук, пожирающих странника, и весьма активное по своему финалу произведение в разряд «медитативной», т. е. размышляющей, созерцательной лирики. Но вместе с тем указание автора носит слишком общий и потому несколько отвлеченный характер. Между тем, пушкинское переложение Беньяна самым непосредственным, конкретным образом связано с событиями и обстоятельствами, притом не только внутренней, но и внешней жизни поэта. В то же время в «Страннике» все это поднято на высоту такого большого художественного обобщения, которое далеко выводит это творение Пушкина за пределы только его биографии, делает его в высокой степени знаменательным литературным явлением, отражающим некоторые глубинные процессы в развитии русского общественного сознания.

Одной из главнейших линий развития сознания передовой части русского общества на протяжении почти целого столетия, начиная в особенности со времени декабристов, было все нараставшее неприятие жизни господствующего класса, все усиливавшееся стремление к сближению с простым, трудовым народом, с Россией крестьянской. Стремление это, обусловившее и процесс все большей демократизации русской литературы,

<sup>27</sup> Пушкин, Сочинения, т. I, 1855, стр. 386.

<sup>28</sup> Н. В. Измайлов. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов. «Пушкин Исследования и материалы», т. II, стр. 22.

развитие в ней народности, сказывалось в романтическом плане уже в южных поэмах Пушкина. В реалистическом плане оно глубоко выразилось в «милом идеале» Пушкина, его Татьяне (VI, 190), носительнице не только «простонародного» имени, но и некоторых существенных черт национального типа простой русской женщины. С особенной силой звучит это в финале романа — в решимости Татьяны следовать тому, что она считает своим долгом, в горькой ее неудовлетворенности «постылой» и «мишурной» жизнью высшего света и в тоске по простой, естественной патриархально-усадьбной жизни.

Столь близко знавший Пушкина Кюхельбекер сразу же пронизательно уловил в тоске Татьяны глубоко лирическую, авторскую ноту. Под влиянием все отягощавшихся условий, в которые были поставлены после женитьбы и общественное положение вольнолюбивого поэта, и его личное существование, эта нота все нарастает, а с 1834 года становится доминирующей нотой его душевного настроения. Последней каплей, наглядно отразившей всю гнусность общественно-политического строя николаевской России, как известно, явился перехват полицией интимных писем Пушкина к жене, показанных никому иному, как самому царю.

С этого времени Пушкин начинает непрестанно твердить в своих письмах о все крепнущем в нем желании «удрать», «улизнуть» из «загаженной», «пакостной» царской столицы, от света и двора, которые он энергично обзывает «нужником», «на чистый воздух», «во свояси»: «плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да зажить барином!», т. е. в условиях личной независимости и возможности полностью отдаваться главному делу своей жизни — литературной работе («Неприятна зависимость; особенно когда лет двадцать человек был независим»; «они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как угодно», — пишет он в другом письме<sup>29</sup>).

По-видимому, тогда же — весной-летом 1834 года — Пушкин переводит все это на язык художественного творчества:

Пора, мой друг, пора! [покая] сердце просит —  
Летят за днями дни, и каждый час уносит  
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем  
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.  
На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля —  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

(III, 330).

Вслед за этими глубоко волнующими строками незавершенного обращения Пушкина к жене в рукописи набросан поэтом поясняющий, реально конкретизирующий план продолжения и окончания этого стихотворения:

«О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть» (III<sub>2</sub>, 941).

Намерение «подать в отставку» Пушкин и в самом деле пытается осуществить: 25 июня 1834 года он обращается с соответствующей просьбой через Бенкендорфа к царю. Но на волю «раб» отпущен не был. Николаем I просьба Пушкина была воспринята как «безумная неблагодарность» и «супротивление» царской воле,<sup>30</sup> поэту дали резко это понять, и он, скрепя сердце, вынужден был с извинениями взять ее обратно.

<sup>29</sup> Письма к жене от 18 мая и 8 июня 1834 года (см.: XV, стр. 150, 156; см. там же, стр. 50, 70, 153, 154, 157, 158, 159, 167, 168 и др.).

<sup>30</sup> Письмо Пушкина к Бенкендорфу от 4 июля 1834 года (см.: XV, 174).

Но замысла «бежать» из скотининского «свинского Петербурга» Пушкин не оставил. Все то, что его тяготило, вызывало «хандру и досаду на всех и на все» и «тоску, тоску»,<sup>31</sup> не только не рассеялось, но усугубилось еще в большей степени. И вот не прошло и года, как Пушкин снова, 1 июня 1835 года, обращается через того же Бенкендорфа к царю с просьбой уже не об отставке, а хотя бы о разрешении уехать для поправления материальных дел на три-четыре года в деревню. Поэту ответили, что подобная просьба равносильна просьбе об отставке, и снова все осталось по-прежнему: «Государь . . . заставляет меня жить в Петербурге», — читаем в одном из писем к жене.<sup>32</sup>

Как раз к этому времени — 26 июня или 26 июля (вторая дата, кстати, прямо совпадает с датой последнего из только что указанных писем Бенкендорфу, из которого явствует, что Пушкин только что узнал о позолоченном отказе царя в его просьбе) — относится написание «Странника». «Странник» не только связан темой «побега» с незавершенным посланием к жене 1834 года, но эта тема высказана в нем в почти совпадающих выражениях: в послании — «Давно, усталый раб, замыслил я побег»;<sup>33</sup> в первоначальном варианте «Странника» — «Как раб, замысливший отчаянный побег» (III<sub>1</sub>, 330; III<sub>2</sub>, 982). В окончательном тексте это почти буквальное сходство было несколько ослаблено, но зато появилось новое и само за себя говорящее слово «тюрьма»: «Как узник, из тюрьмы замысливший побег» (III<sub>1</sub>, 392) — причем в подлиннике Беньяна ничего этого нет, и данные сравнения полностью принадлежат самому Пушкину.

Но в «Страннике» имеется переключка не только с недавним посланием к жене, но и с произведением, значительно более удаленным во времени: с первой, относящейся к осени 1826 года, редакцией «Пророка». Начало «Пророка»: «Великой скорбью томим / В Пустыне мрачной я влачился» (III<sub>1</sub>, 578). Начало «Странника»: «Однажды странствуя среди долины дикой / Незапно был объят я скорбью великой». Опять-таки и этой последней строки у Беньяна нет: она целиком пушкинская.

Переключка «Странника» с первой редакцией «Пророка» особенно знаменательна, ибо из сопоставления этих двух произведений становится чрезвычайно наглядным развитие мировоззрения Пушкина, в частности его общественно-политической мысли, на протяжении почти десятилетия, которое отделяет их друг от друга.

Первая редакция «Пророка» была написана под непосредственным впечатлением от последнего акта декабристской трагедии — казни и казни декабристов. «Великая скорбь» — выражение, открывающее стихотворение, очень точно характеризует душевное состояние Пушкина в эту пору. Соответственно этому в концовке первой редакции «пророк России» призывался богом предстать грозным судьей пред царем-губителем, царем-убийцей. И Пушкин, по вескому свидетельству современников, собирался непосредственно реализовать это: направляясь из ссылки в Москву, он захватил рукопись первой редакции с собой во дворец, чтобы в случае неблагоприятного исхода встречи с царем смело вручить ее последнему.<sup>34</sup> Неблагоприятным исход этой встречи не оказался. Тронутый самым благожелательным, как показалось поэту, отношением к нему Николая I, Пуш-

<sup>31</sup> Письма к В. А. Жуковскому от 4 июля и к жене около 30 июля 1834 года (см.: XV, 174, 183).

<sup>32</sup> См. письма Бенкендорфу от 4 июля, Н. И. Гончаровой от 14 июля, Бенкендорфу от 22 и 26 июля и жене от 29 сентября 1835 года (см.: XVI, 37, 39, 41, 42—43, 51).

<sup>33</sup> Здесь и далее курсив мой.

<sup>34</sup> Подробнее см. в моей книге «Творческий путь Пушкина» (1950, стр. 533—542).

кин поверил в реформаторские посулы царя, поверил и в то, что он сможет способствовать этому своим вдохновенным художественным словом. Это нашло отражение и в окончательной редакции «Пророка», опубликованной лишь почти два года спустя с измененной первой строкой (вместо «Великой скорбию» — «Духовной жаждою томим») и новой гениальной концовкой — призывом к поэту-пророку: «Глаголом жги сердца людей». Не учить в духе дидактического классицизма XVIII века сословным «добродетелям», а именно жечь «свободной, как ветер», песнью (III, 141) людские души и сердца, выжигая из них все мелкое и нечистое — «тьмы низких истин», возывая к жизни все высокое, героическое, подлинно человеческое («чувства добрые»), — этим проникнуты лучшие создания Пушкина, написанные после декабрьского восстания. В этом же духе разворачивается целый ряд произведений: «Стансы» 1826 года, «Арап Петра Великого», «Полтава», — связанных с темой Петра, ставшей центральной темой пушкинского творчества второй половины 20-х годов, обусловленной двойной иллюзией поэта — в отношении, с одной стороны, личности и деятельности Николая, с другой — своей способности воздействовать на него в «добром» направлении.

Однако действительность наносит по этим иллюзиям все более тяжкие удары. Окружающая поэта общественная среда — «чернь», поклонники «печного горшка» (III, 142) — никак не хотят, чтобы поэт-пророк, жрец бога солнца и красоты жег их сердца: «О чем бренчит? чему нас учит? / Зачем сердца волнует, мучит, / Как своенравный чародей?» (III, 141). Этим вызван горький цикл стихов Пушкина конца 20-х годов о «поэте и толпе». Условия личной и, в особенности, творческой жизни поэта, освобожденного из ссылки Николаем, вопреки обещаниям последнего оказались под царско-жандармской опекой еще более тяжелыми, чем в его ссыльные годы. К 1833—1834 годам рушатся иллюзии поэта и в отношении личности и деятельности Николая I как второго Петра. Новый поворот в «Медном всаднике» приобретает и сама петровская тема. В царе — зодчем чудесного города над морем, символа новой государственности, «герое Полтавы» — проступают черты «горделивого», «ужасного» «истукана» самовластья. К этому же времени возникает и тема «побега» из города.

В стихотворном обращении к жене 1834 года тема эта развивается еще по традиционным путям, восходящим к жизни и литературе XVIII века: оппозиционно настроенный и стремящийся к независимости поэт-дворянин «отъезжает» в «обитель дальнюю трудов и чистых нег» (III, 330) — в свое поместье. Так уединился в свою Обуховку автор «Оды на рабство» и «Ябеды» Капнист; так удалялся в свою Званку «бранившийся» с царями Державин. Эта традиционность особенно отчетливо проступает в уже известном нам плане продолжения стихотворения, овеянном почти карамзинской идиличностью. Вспомним: «...поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть» (III, 941).

Камня на камне не остается от этой идиличности в пушкинском «Страннике». Речь идет в нем уже не об отъезде в помещичью усадьбу — на лоно природы и в лоно семьи, а об отказе от всего этого, о полном и решительном отречении от всего старого — греховного и потому обреченного на неминуемую гибель — мира.

Мицкевич считал «Пророка» Пушкина в окончательной редакции 1828 года его этапным произведением, знаменующим выход поэта на совсем новый творческий путь.<sup>35</sup> Этапным произведением в еще гораздо

<sup>35</sup> A. Mickiewicz, *Dzieła*, t. XI, Warszawa, 1955, стр. 29—30.



большей степени является связанный с «Пророком» преемственной связью и вместе с тем, по существу, ему противостоящий, являющийся как бы итоговым, последним словом всего жизненного и творческого пути Пушкина «Странник». «Великая скорбь» 1826 года толкала пушкинского пророка к людям, к обществу в надежде воспламенить их своей огненной проповедью. «Великая скорбь» 1835 года заставляет пушкинского странника бежать от существующего прогнившего общества, с которым у него нет и не может быть общего языка, которое считает его лишившимся рассудка, и искать совсем нового, неведомого, но уже забрезжившего вдали («Я вижу некий свет») пути (III, 393). Одним из лейтмотивов «Медного всадника» был мотив буйно завывающего ветра («И ветер дул, печально воя», «Чтоб ветер выл не так уныло», «ветер буйно завывая», «буря выла» — V, 138, 140, 142). Ветер в поэме — стихия мятежа; именно он бросает на город Неву: «Но силой ветров от залива / Перегражденная Нева / Обратно шла, гневна, бурлива... И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась» (V, 140). Ветер — источник и безумия Евгения: «Мятежный шум / Невы и ветров раздавался / В его ушах» (V, 145). Пушкин всем своим сердцем поэта сочувствует «безумцу бедному», Евгению, — образ, который, как и Татьяна последней главы, при всей его объективности проникнут авторским, лирическим началом. Но разумом, «государственной мыслью историка» он — на стороне «города», петровской государственности, он верит в его незыблемость: «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия» (V, 147). В «Страннике» гибель «нашего города» — всего старого мира — неизбежна и, как видно из контекста, заслуженна: «Наш город пламени и ветрам обречен» (III, 398). В английском подлиннике слова «ветрам» нет, там говорится лишь о «небесном огне» («fire from heaven»), в то же время это слово и именно в таком его употреблении (во множественном числе), думается, не случайно переключается с мотивом мятежных «ветров» в «Медном всаднике».

Проницательно почувствовал, что «Странник» (по существу, последнее слово Пушкина) является совсем новым словом в русской литературе, ощущавший свою преемственную связь с декабристами и вместе с тем современник и участник нового этапа в развитии русского освободительного движения («Мы — дети декабристов и мира нового ученики»<sup>36</sup>) Н. П. Огарев. «Одна поэтическая струна эпохи Пушкина и Лермонтова прошла, а новой нет!», — замечал он в одном из писем начала 50-х годов и добавлял: «Перечтите в IX томе Пушкина „Однажды странствуя среди долины дикой“. Конец этой пьесы будто обещает новую тему для поэзии, но до этой темы не дошел ни он, да и долго никто не дойдет».<sup>37</sup>

О «Страннике», подчеркивая его глубоко личную, лирическую ноту, заговорил Огарев и в своем предисловии к лондонскому сборнику 1861 года «Русская потаенная литература XIX века». Огарев, как и многие современники и сверстники Пушкина, резко отрицательно воспринял пушкинские «Стансы» («В надежде славы и добра»), отозвавшись о них в своем стихотворении «Стансы Пушкина. 1826 (Анненкову)», написанном в 1857—1858 годах, самым оскорбительным для поэта образом. В предисловии, как бы отвечая хулителям Пушкина, в том числе и самому себе, Огарев писал: «Станемте же глядеть назад не с ругательством и клеветой, но с сердечной печалью о преждевременной кончине поэта в мрачную годину

<sup>36</sup> Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. II. Изд. «Советский писатель», Л., 1938, стр. 274.

<sup>37</sup> Письмо М. Н. Островскому (брат драматурга) и композитору В. Н. Кашперову от 18 апреля 1862 года (см.: Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, Госполитиздат, М., 1956, стр. 433).

русской жизни, когда он странствовал „среди долины дикой, объятый великой скорбью“, и искал юношу, читающего книгу, который бы указал ему дорогу к свету; станемте глядеть назад с благоговением к великому художнику».<sup>38</sup>

Сам Огарев попытался было «дойти» до «новой темы», поставленной в финале пушкинского «Странника». В 1862 году, т. е. на следующий год после выхода сборника «Русская потаенная литература XIX века», он пишет одноименную поэму-исповедь «Странник», где тема и мотивы пушкинского «Странника» перенесены на русскую почву.<sup>39</sup>

Буйный и раскаявшийся купеческий сын бежит «от зла мирского и греха» в лес, в сколоченную им себе бревенчатую келью («Отец почел меня безумным, / Народ почел меня святым»). Так, в полном уединении, он прожил много зим и лет, читая «святую книгу» и ища «духа истины». Однажды он заснул над «книгою священной» и увидел «пророческий сон»: спящего «среди степи необозримой» тяжелым сном человека клюет и топчет злой орел и хищные орлята. Странник услышал и некий «торжественный глагол», призывающий его «восстать» («Восстань, силен, как лев косматый») и разбудить спящего человека, чтобы он «в единый взмах спугнул» орла и орлята. После того как странник — «во имя истины бродяга» — трижды видел все тот же сон, он «внял виденью» и пошел «бродить по селам многолюдным», «вещая виденное» «и пробуждая человека».<sup>40</sup>

Легко заметить даже из этого беглого изложения, что мотивы пушкинского «Странника» перемежаются здесь с мотивами пушкинского же «Пророка», прямыми реминисценциями из которого переполнена поэма Огарева. При этом и по своей обнаженной политической тенденции, и по своему слишком уж прямолинейному аллегоризму (спящий человек — народ, орел и орлята — царское самодержавие и его присные) она особенно близка именно к первоначальной редакции «Пророка» с ее политически заостренной и тоже аллегорически выраженной концовкой, от чего Пушкин совершенно отказался в окончательной редакции. Путем снятия аллегоризма Беньяна Пушкин шел и в своем «Страннике», сообщая ему вместе с тем глубокое символическое звучание. «Странник» Огарева, напротив, почти полностью сбивается на аллегорию. Поэтому хотя Огарев и стремился поднять «новую тему» пушкинского «Странника», но звучания новой «поэтической струны» не произошло. Понял пушкинское творчество Огарев лучше, чем сумел продолжить и развить его «глубокий смысл».

А заключался этот «глубокий смысл» в том, что пушкинская маленькая поэма, исполненная, по выражению того же Огарева, «глухого, мистического полуютчаяния, полупророчества»,<sup>41</sup> отражала те настроения мучительного кризиса, перелома, то ощущение, что дальше так жить нельзя, которые определяли душевное состояние не только позднего Пушкина, но и закономерно охватывали умы и сердца многих последующих величайших представителей русской литературы. «Скорбию великой» было продиктовано последнее произведение Лермонтова — его «Пророк», пессимистически досказывающее одноименное стихотворение Пушкина: тщетно провозглашавший людям «любви и правды чистые ученья», заброшенный камнями, пророк вынужден, подобно пушкинскому страннику, бежать «из городов» в ту пустыню, из которой исшел пророк Пушкина. «Скорбь великая» — социально-психологическая основа и той страшной душевной

<sup>38</sup> Там же, т. I, 1952, стр. 446.

<sup>39</sup> На переключку поэмы Огарева с пушкинским «Странником» обратил мое внимание В. А. Путинцев, работающий над монографией об Огареве.

<sup>40</sup> Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. II, стр. 327—333.

<sup>41</sup> Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 449.

драмы, которая испепелила Гоголя, и тех мучительных исканий и отступничеств, которые характеризуют путь автора «Записок из мертвого дома», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Мало того, пушкинский «Странник» явился как бы своего рода литературным прообразом трагического «ухода» Льва Толстого.

## 3

В могучей личности последнего величайшего представителя русского критического реализма XIX века — Льва Толстого, в его духовном развитии, в его жизненном и творческом пути как бы олицетворились, индивидуально воплотились некоторые уже указывавшиеся выше основные тенденции развития русской жизни на протяжении почти целого столетия — те тенденции к разрыву со своим классом, к слиянию с крестьянским морем, которые уже начали намечаться у родоначальника русского критического реализма — Пушкина.

Если бы Толстому была известна программа «побега» Пушкина в свою помещичью усадьбу, он вполне присоединился бы к ней. Мало того, он реализовал это желание Пушкина, проведя большую часть своей жизни в Ясной Поляне — в наслаждении природой, в семейных радостях, в творческих трудах, в заботах о крестьянах. Но эта исторически закономерная и вместе с тем исторически же ограниченная программа была только началом трудного и отнюдь не идиллического, а трагически сложного и трагически мучительного пути. Гениальной художественной интуицией это и осознал Пушкин в своем «Страннике», путь которого — отказ от дома, семьи, от всех прежних условий существования — опять-таки полностью реализовал Лев Толстой в героическом финале своего собственного жизненного пути — уходе-«побеге» из Ясной Поляны.

Домашний врач Толстого Д. П. Маковицкий записал 22 декабря 1904 года о своем разговоре с ним по поводу мистического трактата чешского писателя и знаменитого педагога XVII века Яна Коменского «Лабиринт мира и рай сердца»: «— Я читал Коменского, — сказал Л. Н., — и он меня не привлекал, не помню почему.

«Он взял книгу и стал ее читать, потом перелистывать.

«— Да это — аллегория, — не люблю. Потому же мне не нравится и „Путешествие“ Буниана, — сказал он.»<sup>42</sup>

Однако из этой записки следует, что, хотя со стороны своей аллегорической литературной манеры повесть современника Коменского, Беньяна, Толстому не нравилась, она была вместе с тем хорошо ему знакома. О несомненном интересе к ней Толстого свидетельствует и то, что она имелась в его яснополянской библиотеке, причем даже не в одном, а в двух изданиях — полном и сокращенном.<sup>43</sup> Судя по записи Маковицкого (транскрипция фамилии автора, название повести), можно думать, что она была известна Толстому и в русском переводе. Заинтересовала же она его, конечно, своим содержанием: той темой полного разрыва со своей прежней жизнью, отказа от нее — «побега», которая так настойчиво привлекала внимание писателя в легенде о Федоре Кузьмиче.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. I. М., 1922, стр. 43.

<sup>43</sup> The Pilgrim's Progress from this World to that which is to come. Frederic Warne and Co, London, 6. г., XIV + 349 стр.; The Pilgrim's Progress. E. Marlborough and Co, London, 6. г., 32 + 30 стр. Справка об этом любезно предоставлена мне Н. Н. Гусевым.

<sup>44</sup> Упоминания о замысле «Посмертных записок старца Федора Кузьмича» относятся еще к 1890—1891 годам, затем они все снова и снова повторяются в записях 90-х и начала 900-х годов. Работать над этим все более захватывающим его замыслом Толстой начал в 1905 году, но так и не окончил повести (см.: Н. Н. Гусев. Летопись

Ни в писаниях Толстого, ни в мемуарной литературе не встречается, насколько мне известно, ни одного упоминания им о пушкинском «Страннике». Но можно не сомневаться, что это произведение, печатавшееся, начиная с посмертного издания 1841 года, во всех собраниях сочинений Пушкина, не могло остаться неизвестным Толстому. Не могла «маленькая поэма» Пушкина не произвести на Толстого и сильнейшего впечатления, поскольку тема разрыва со старым миром, «побега» из него дана в ней с предельной конденсированностью и энергией художественного выражения и без той «аллегоричности», которая, по словам Толстого Маковицкому, его отталкивала. Больше того, как дальше увидим, есть все основания полагать, что пушкинский «Странник» крепко запал в его память.

В одной из своих давних работ я уже сближал с темой «Странника» социальную и личную драму Толстого.<sup>45</sup> Сейчас я могу говорить об этом с тем большей уверенностью, что произведение Пушкина, еще до того, как оно было как бы реализовано Толстым в самом конце его жизни, нашло несомненное, с моей точки зрения, отражение в одном из его художественных произведений — неоконченной автобиографической повести, которой Толстой дал гоголевское название «Записки сумашедшего» (вначале он хотел его назвать «Записками несумашедшего»). Замысел этого рассказа вынашивался долго и волновал его в течение около двадцати, а возможно и более, лет.<sup>46</sup>

В дневниковой записи 5 января 1897 года Толстой сжато суммирует содержание этого своего рассказа или драмы на той же основе:

«(К Запискам сумашедшего или к драме). Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния в признании бога и сыновности своей ему. Признание сыновности есть признание братства. Признание братства людей и жестокий, зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит к признанию сумашедшим себя или всего мира».<sup>47</sup>

Рассказ Толстого во многом остро автобиографичен: «Пришли в голову „Записки не сумашедшего“, — отмечает он в дневнике 30 марта 1884 года и тут же прибавляет: «Как живо я их пережил — что будет?»<sup>48</sup>

Действительно, то мучительнейшее душевное состояние, которое привело к глубокому внутреннему кризису автора-рассказчика «Записок сумашедшего» (рассказ ведется в них от первого лица), внезапно нахлынувшая на него «жуть» при мысли о неизбежной смерти, делающей бессмысленным все в жизни, — было исключительно тяжело пережито самим Толстым, когда он поехал в 1869 году в Пензенскую губернию для осмотра имения, которое он собирался купить. «Третьего дня в ночь я ночевал

жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. Гослитиздат, М., 1958, стр. 15, 16, 36, 171, 200, 294, 457, 458, 503, 522, 527, 531, 536, 537, 539).

<sup>45</sup> Читатель Тютчева — Лев Толстой. — «Уралия. Тютчевский альманах. 1803—1828». Изд. «Прибой», 1928, стр. 251—253.

<sup>46</sup> Замысел относится к 1884 году; тогда же Толстой стал вчерне набрасывать рассказ, снова подумывая вернуться к нему в 1887 году, в 1888 году включил его в список начатых, но незаконченных произведений, видимо, предполагая возвратиться к его окончанию. К намерению вновь заняться «Записками сумашедшего» он возвращается в конце 1896—начале 1897 года. Наконец, Толстой опять включает их в аналогичный список 1903 года. См.: Н. Н. Гусев. 1) Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828—1890, стр. 576, 578, 654, 702, 706; 2) Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1960, стр. 15, 224, 226, 458.

<sup>47</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 53, 1953, стр. 129. Признание «сумашедшим всего мира» явно перекликается с повестью Герцена «Доктор Крупов». Именно с таким поворотом темы, очевидно, связано и одно из двух намечавшихся Толстым заглавий повести «Записки несумашедшего».

<sup>48</sup> Там же, т. 49, 1952, стр. 75—76.

в Арзамасе и со мной было что-то необыкновенное, — писал он жене. — Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать».<sup>49</sup>

Из «подобного чувства» возник и самый замысел «Записок сумашедшего»,<sup>50</sup> о котором в них и повествуется во всех «подробностях», со свойственным Толстому величайшим умением проникать и описывать диалектику души. При этом в них точно сохранены внешние обстоятельства (расказчик также едет за покупкой имения в Пензенскую губернию, также останавливается на ночлег в Арзамасе) и полностью воспроизводит характерная лексика письма к жене: рассказчика охватывает «ужас за свою погибающую жизнь ... и тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно»<sup>51</sup> (слова эти: — «страх», «ужас», «тоска», — все нагнетаясь и нагнетаясь, непрерывно повторяются и далее). Вся эта лексика хорошо знакома нам по пушкинскому «Страннику» («в тоске ломая руки», «моя душа полна Тоской и ужасом», «взоры вокруг себя со страхом обращая», «смерть меня страшит»).

«Арзамасский ужас» явился завязкой повести, тем зерном, из которого выросло все, что дальше последовало. Здесь мы присутствуем при интереснейшем явлении, бросающем яркий свет на психологию творчества великого писателя-реалиста, каким был Толстой, для которого литература и жизнь не оторваны друг от друга и тем более не противостоят друг другу, а, наоборот, взаимно пересекаются, проникают друг в друга, сливаются между собой. Для того чтобы описать «арзамасский ужас», Толстому нужно было непосредственно «пережить» это чувство; для того чтобы продолжать свою повесть-исповедь, ему также надобен был непосредственный жизненный опыт.

Запись о замысле «Записок сумашедшего» оканчивалась, как мы видели, вопросом: «Что будет?», и ответ на этот вопрос не замедлила дать Толстому сама окружающая его действительность. Вслед за дневниковой записью от 30 марта о возникновении замысла в последующих, апрельских записях Толстого перед нами как бы разворачивается дальнейшая фабула будущих «Записок сумашедшего». В этих записях — признание «безумием», «несчастьем и злом» всего строя окружающей жизни; абсолютное непонимание этого близкими («слепота их удивительна», «решительно нельзя говорить с моими. Не слушают»), неспособными понять и его мучительнейшего душевного состояния («Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни вот уже три года»); мучительный разлад с семьей — женой, детьми («разрывали мне сердце», «возненавидели меня») и, наконец, как кульминация, выразительная запись: «Они меня ... называли сумашедшим».<sup>52</sup> Читая все это, мы снова как бы вступаем в мир пушкинского «Странника»; во всяком случае возникает невольная аналогия со второй, третьей и отчасти четвертой частями пушкинского стихотворения, где все эти мотивы присутствуют и даже расположены примерно

<sup>49</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 83, 1938, стр. 167.

<sup>50</sup> Под той же датой 30 марта 1884 года непосредственно перед записью о возникновении этого замысла Толстой пишет: «Долго не мог заснуть от грусти и сомнений и молился богу ... Научи, избави меня от этого ужаса» (т. 49, стр. 75).

<sup>51</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 26, 1936, стр. 470.

<sup>52</sup> Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 78, 77, 78, 86, 77, 83—84.

в том же порядке: мрачные мысли об обреченности всего окружающего, попытка «раскрыть сердце» детям и жене, затем «ожесточенье», «презренье», что объяснялось окружающими душевным заболеванием («здравый ум во мне расстроенным почли», «отступились, / Как от безумного, чья речь и дикий плач, / Докучны, и кому суровый нужен врач» — III, 392).

Помимо этой общей схемы, здесь имеются и более частные совпадения. Странник ощущает чувство и своей личной вины за все, что происходит вокруг и неизбежно влечет к общей гибели (он «подавлен и согбен, / Как тот, кто на суде в убийстве уличен» — III, 391). 1 апреля Толстой, определяя свое душевное состояние, записывает: «Чувство стыда и преступленья».<sup>53</sup> Вряд ли вся эта цепь соответствий носит совершенно не зависящий друг от друга характер. Как я уже говорил, Толстой не мог не читать пушкинского «Странника», не могла «маленькая поэма» Пушкина и просто скользнуть по его сознанию, не оставив в нем глубоких следов. Поэтому естественнее всего предположить, что, по законам ассоциативного мышления, обычно столь развитого у творцов в области искусства, схожие жизненные обстоятельства могли произвольно поднять из глубин сознания и соответствующие литературные реминисценции, а синтезом того и другого явились создаваемые Толстым именно в это время «Записки сумашедшего».

Действительно, в «Записках сумашедшего» не только имеется вся цепь перечисленных выше мотивов, но и ряд деталей, перекликающихся то с дневниковыми записями самого Толстого, то со «Странником» Пушкина. После пережитого автором-рассказчиком «ужаса» он резко изменился: «Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о боге происходили от болезни». Рассказчик, как пилигрим Беньяна и как сам Толстой, стал усиленно читать священное писание («меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня»), в результате он отказался сделать очень выгодную покупку другого имени: «Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей... Жена сердилась; ругала меня. А мне стало радостно. — Это было начало моего сумашествия» (в «Страннике»: «Они с ожесточеньем / Меня на правый путь и бранью и презреньем / Старались обратить»). «Но полное сумашествие мое началось еще позднее, через месяц после этого». Рассказчик поехал в церковь к обедне: «И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть... Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть... Тут же на паперти я роздал, что у меня было, 36 рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом». На этом, столь характерном для Толстого мотиве — единении с народом, слиянии с ним «Записки сумашедшего» обрываются.

Тема духовного озарения — «света» («Я вижу некий свет», «Иди ж... держись сего ты света» — III, 393) — составляет основное содержание и четвертой, предпоследней части «Странника», завершающейся «побегом» рассказчика («И я бежать пустился в тот же миг» — III, 393). Подробный рассказ об этом побеге дается в последней, финальной части («Побег мой произвел в семье моей тревогу» — III, 393, и т. д.).

По всей логике «Записок сумашедшего» «побегом» из «жестокоего, зверского, оправдываемого людьми небратского склада жизни», из не понимавшей его, считавшей его больным семьи должна была бы кончиться и эта повесть-исповедь. Именно такой финал подтверждается логикой жизни самого Толстого.

<sup>53</sup> Там же, стр. 76.

В черную, «хоть глаз выколи» (по записи самого Толстого), но ослепительно вспыхнувшую на весь мир ночь на 10 ноября 1910 года восьмидесятидвухлетний Толстой навсегда покидает барский яснополянский дом — «тюрьму без решеток»<sup>54</sup> (вспомним: «Как узник из тюрьмы замысливший побег») и уходит в «большой свет» («grand monde»), как, демонстративно переименовав принятый тогда аристократический смысл этих слов, называет он трудовой мир крестьянства. Так была в реальной жизни «дописана» Толстым его незаконченная повесть.

Связь с пушкинским «Странником» того, что имело место и в *Dichtung*, и в *Wahrheit* Толстого — в его художественном творчестве («Записки сумасшедшего») и в его жизни («уход») — слишком непосредственна и конкретна, чтобы быть случайной. Конечно, духовная драма Толстого порождена не чьим бы то ни было литературным воздействием, а является результатом пройденного писателем сложнейшего пути социальных и философских исканий и его глубоко личных переживаний, в которых сказались вместе с тем некоторые характерные закономерности русского национально-исторического развития. В то же время есть все основания предполагать, что в этом сложном и многообразном комплексе впечатления от когда-то прочитанного пушкинского «Странника» сыграли свою роль. Но, даже независимо от этого, гораздо существеннее другое: гениальная художественная прозорливость Пушкина, глубоко постигшего эти закономерности, и не менее гениальная всеполнота, мирообъемлемость его творчества — этого «начала всех начал», заключающего в себе и то начало, которое было развито Толстым и доведено им до логического конца.

Перед нами прошли три своеобразнейших — каждое в своем роде — создания мировой литературы: «The Pilgrim's Progress» Джона Беньяна, «Странник» Пушкина, «Записки сумасшедшего» Льва Толстого. Первые два находятся между собой в непосредственной связи; прямая связь с ними третьего носит значительно более сложный, в известной мере гипотетический, характер. Но независимо от этого сопоставление всех трех не только вполне правомерно, но и представляет большой интерес, далеко выходящий за рамки одной лишь литературной преемственности.

Возникшие в различные исторические и соответственно различные литературные эпохи, эти произведения по своей форме существенно отличаются друг от друга: аллегорическое путешествие, окрашенное в религиозные и одновременно резко сатирические тона, «маленькая поэма» глубочайшего символического звучания, наконец, срывающая все и всяческие маски реалистическая повесть-исповедь. Но каждое из них родилось в момент острых социально-исторических кризисов и столкновений, обусловивших не менее острые кризисы человеческой личности, индивидуального сознания. Этим объясняется не только внутреннее их родство, но и поразительная внешняя близость.

Голоса воинственного пуританина эпохи первой большой европейской буржуазной революции — английской революции XVII века, национального русского поэта, сложившегося в период зари русской революции — движения декабристов, и «великого писателя земли русской», современника революции 1905 года — кануна социалистического Октября, над

<sup>54</sup> Письмо Толстого от 1 апреля 1910 года к отказывавшемуся от военной службы и заключенному за это в тюрьму В. А. Молочникову (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 81, 1956, стр. 196).

безднами пространств и времен перекликаются между собой, созвучны друг другу в своем неприятии антигуманистического общественного устройства, в своем страстном стремлении вырваться из его оков.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## СТРАННИК

## I

Однажды странствуя среди долины дикой,  
Незапно был объят я скорбью великой  
И тяжким бременем подавлен и согбен,  
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.  
Потупя голову, в тоске ломая руки,  
Я в воплях изливал души пронзенной муки  
И горько повторял, метаясь как больной:  
«Что делать буду я? Что станется со мной?».

## II

И так я сетуя в свой дом пришел обратно.  
Уныние мое всем было непонятно.  
При детях и жене сначала я был тих  
И мысли мрачные хотел таить от них;  
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;  
И сердце наконец раскрыл я поневоле.  
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты жена! —  
Сказал я, — ведайте: моя душа полна  
Тоской и ужасом, мучительное бремя  
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:  
Наш город пламени и ветрам обречен;  
Он в угли и золу вдруг будет обращен,  
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре  
Обрести убежище; а где? о горе, горе!».

## III

Мои домашние в смущение пришли  
И здравый ум во мне расстроенным почли.  
Но думали, что ночь и сна покой целебный  
Охолодят во мне болезни жар враждебный.  
Я лег, но во всю ночь всё плакал и вздыхал  
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.  
Поутру я один сидел, оставя ложе.  
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,  
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,  
Не доверяя мне, за должное почли  
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем  
Меня на правый путь и бранью и презреньем  
Старались обратить. Но я, не внемля им,  
Всё плакал и вздыхал, унынием тесним.  
И наконец они от крика утомились  
И от меня, махнув рукою, отступились  
Как от безумного, чья речь и дикий плач  
Докучны и кому суровый нужен врач.

## IV

Пошел я вновь бродить — уныньем изнывая  
И взоры вокруг себя со страхом обращая,  
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,  
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.  
Духовный труженик — влача свою веригу,  
Я встретил юношу, читающего книгу.  
Он тихо поднял взор — и спросил меня,



О чем, бродя один, так горько плачу я?  
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:  
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —  
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,  
И смерть меня страшит».

— «Коль жребий твой таков, —

Он возразил, — и ты так жалок в самом деле,  
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»  
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»  
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь» —  
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.  
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,  
Как от бельма врачом извлеченный слепец.  
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.  
«Иди ж, — он продолжал: — держись сего ты света;  
Пусть будет он тебе [единственная] мета,  
Пока ты тесных врат [спасенья] не достиг,  
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

<V>

Побег мой произвел в семье моей тревогу,  
И дети и жена кричали мне с порогу,  
Чтоб воротился я скорее. Крики их  
На площадь привлекли приятелей моих;  
Один бранил меня, другой моей супруге  
Советы подавал, иной жалел о друге,  
Кто поносил меня, кто на смех подымал,  
Кто силой воротить соседям предлагал;  
Иные уж за мной гнались; но я тем боле  
Спешил перебежать городское поле,  
Дабы скорей узреть — оставя те места,  
Спасенья верный путь и тесные врата.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### THE PILGRIM'S PROGRESS IN THE SIMILITUDE OF A DREAM

As I walked through the wilderness of this world, I lighted on a certain place where was a Den,<sup>1</sup> and laid me down in that place to sleep; and as I slept, I dreamed a dream. I dreamed, and behold I saw a man clothed with rags, standing in a certain place, with his face from his own house, a book in his hand, and a great burden upon his back. (Isa. LXIV. 6; Luke XIV. 33; Ps. XXXVIII. 4; Heb. II. 2.) I looked, and saw him open the book, and read therein: and as he read he wept and trembled; and not being able longer to contain, he brake out with a lamentable cry, saying,<sup>2</sup> «What shall I do?» (Acts II. 37; XVI. 30, 31.)

In this plight, therefore, he went home and refrained himself as long as he could, that his wife and children should not perceive his distress; but he could not be silent long, because that his trouble increased; wherefore at length he brake his mind to his wife and children; and thus he began to talk to them: «O my dear wife», said he, «and you the children of my bowels, I, your dear friend, am in myself undone by reason of a burden that lieth hard upon me: moreover, I am for certainly informed that this our city<sup>3</sup> will be burned with fire from heaven; in which fearful overthrow, both myself, with thee my wife, and you, my sweet babes, shall miserably come to ruin, except (the which yet<sup>4</sup> I see not) some way of escape may be found, whereby we may be delivered». At this his relations were sore amazed; not for that they believed what he had said to them was true, but because they thought some frenzy distemper had got into his head; therefore, it drawing towards night, and they hoping that sleep might settle his brains, with all haste they got him to bed: but the night was as troublesome to him as the day; wherefore, instead of sleeping, he spent it in sighs and tears. So when the morning was come, they would know how he did; he told

<sup>1</sup> The Jail.

<sup>2</sup> His outcry.

<sup>3</sup> This world.

<sup>4</sup> He knows no way of escape as yet

them Worse and worse; he also set to talking to them again, but they began to be hardened.<sup>5</sup> They also thought to drive away his distemper by harsh and surly carriage to him: sometimes they would deride, sometimes they would chide, and sometimes they would quite neglect him. Wherefore he began to retire himself to his chamber, to pray for and pity them, and also to condole his own misery. He would also walk solitary in the fields, sometimes reading, and sometimes praying; and thus for some days he spent his time.

Now I saw, upon a time, when he was walking in the fields, that he was (as he was wont) reading in his book, and greatly distressed in his mind; and as he read, he burst out, as he had done before, crying, «What shall I do to be saved?»

I saw also that he looked this way and that way, as if he would run; yet he stood still, because, as I perceived, he could not tell which way to go. I looked then, and saw a man named Evangelist, coming to him, who asked, «Wherefore dost thou cry?»

He answered, Sir, I perceive by the book in my hand, that I am condemned to die, and after that to come to judgment (Heb. IX. 27); and I find that I am not willing to do the first (Job XVI. 21, 22), nor able to do the second. (Ezek. XXII, 14).

Then said Evangelist, Why not willing to die, since this life is attended with so many evils? The man answered, Because I fear that this burden that is upon my back will sink me lower than the grave, and I shall fall into Tophet. (Isa. XXX. 33.) And, sir, if I be not fit to go to prison, I am not fit to go to judgment, and from thence to execution; and the thoughts of these things make me cry.

Then said Evangelist, If this be thy condition, why standest thou still? He answered, Because I know not whither to go. Then he gave him a parchment roll, and there was written within, «Fly<sup>6</sup> from the wrath to come» (Matt. III. 7).

The man, therefore read it, and looking upon Evangelist very carefully, said, Whither must I fly? Then said Evangelist, pointing with his finger over a very wide field, Do you see yonder wicket-gate? (Matt. VII. 13, 14.) The man said, No. Then said the other, Do you see yonder shining light? (Ps. CXIX. 105; 2 Pet. I. 19.) He said, I think I do. Then said Evangelist, Keep that light in your eye, and go up directly thereto; so shalt thou see the gate; at which, when thou knockest, it shall be told thee what thou shalt do. So I saw in my dream that the man began to run. Now he had not run far from his own door, but his wife and children, perceiving it, began to cry after him to return; but the man put his fingers in his ears, and ran on, crying, «Lifel! lifel! Eternal lifel!» (Luke XVI. 26.) So he looked not behind him, but fled towards the middle of the plain.<sup>8</sup> (Gen. XIX. 17.)

The neighbours also came out to see him run (Jer. XX. 10); and as he ran some mocked, others threatened, and some cried after him to return; and, among those that did so, there were two that were resolved to fetch him back by force. The name of the one was Obstinate, and the name of the other Pliable. Now by this time the man was got a good distance from them; but, however, they were resolved to pursue him, which they did, and in a little time they overtook him.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТИАНИНА К ВЕЧНОСТИ

Шествуя пустынею мира сего, дошел я до некоторого места, где находилась пещера, в которой лег я для отдохновения, и, уснув, видел во сне человека в нечистой и раздранной одежде (Исаии. 64, 6). Стоял он обернувшись спиною к дому своему (Лук. 14, 33); в руках держал книгу обременен (Евр. 2, 6) тяжким бременем. По сем увидел я, что он, открыв книгу, читал в ней, и читая начал плакать и трепетать, и, не будучи в состоянии принудить себя к твердости, произнес сии жалостные слова: *Что ми подобает творити?* (Деян. Ап. 16, 30).

В сем состоянии возвратился он в дом свой и скрывал скорбь сердца своего, сколько было ему возможно, от жены и детей своих. Но как она чаша от часу умножалась, то не мог уже долее скрывать ее; почему он вскоре обнаружил пред ними состояние сердца своего, говоря следующим образом:

«Ах, любезная жена, и вы, возлюбленные мои дети! сколь несчастлив я и жалостен достоин! я погибаю, и тяжкое бремя мое причиною погибели моей. Сверх того извещен я верно, что город, обитаемой нами, истреблен будет огнем небесным и что как я, так и вы общей погибели сей будем подвержены, есть ли не найдем иного убежища. Но я не знаю еще по сие время, где его искать?».

Слова сии удивили домашних его, не для того, чтоб в том они ему поверили, но почитая его помешанным в уме и надеясь, что покой возвратит ему оной может; да

<sup>5</sup> Carnal physic for a sick soul.

<sup>6</sup> Conviction of the necessity of flying.

<sup>7</sup> Christ and the way to him cannot be found without the word.

<sup>8</sup> They that fly from the wrath to come, are a gazing-stock to the world.

и ночь уже наступала, старались положить его на постелю; но он вместо сна всю ночь воздыхал и плакал. Поутру спрашивали его, в каком находится он состоянии; на что сказал он им, что оное час от часу хуже, и повторял все прежде говоренные им слова. Сим не только он их к соболезнованию не подвигнул, но и раздражил; почему вздумали они строгостию привести его к перемене мыслей и начали презирать его и бранить; а наконец оставили его, не принимая в нем уже никакого участия. Он же, удалясь от них в комнату свою, молился за них, оплакивая как их, так и собственное свое бедствие. Иногда выходил прогуливаться в поле, читая или молясь, и так проводил большую часть времени.

Часто случалось, что прогуливаясь таким образом и читая по обыкновению книгу свою, в великом беспокойстве произносил вслух, так как и прежде, сии жалостные слова: *Что ми подобает творити, да спасуся?* Еще примечал я, что он, глаза на все стороны обращая, казался, будто хочет бежать, но с места не трогался, может быть для того, что не знал, куда обратиться. По сем увидел я человека, *Благовестителем* называемого, которой, подошед к нему, спрашивал его, о чем он так сильно сетует? Государь мой! отвечал он ему: из сей книги, которую видите в руках моих, познал я, что я на смерть осужден (Евр. 9, 17), по которой должен предстать суду. Не могу без страха помыслить о *первой* (Иов. 16, 21), а к *последнему* (Езек. 22, 14) ни мало я не приготовлен.

*Благовеститель.* Отчего же трепещешь ты смерти, когда жизнь с толиким злом? *Христианин.* Боюсь, чтоб бремя мое тягостию своею не низвергло меня в бездну адскую. Итак, государь мой, когда не в силах я сносить темничного заключения, то как снесу уже я самое осуждение и вытерплю наказание? Сии-то размышления принуждают меня произносить толь жалостное стенание.

*Благовеститель.* Почто ж ты в сем состоянии останавливаешься? Ах! отвечал *Христианин*: я не знаю, куда мне идти. — По сем дал ему *Благовеститель* тетрадь, где на пергамине написаны были следующие слова: *Убегай гнева будущего* (Евр. 9, 26).

*Христианин*, прочитав оное и на *Благовестителя* печальным смотря видом, спрашивал, куда ему прибегнуть?

Тогда *Благовеститель*, указывая на пространное поле, сказал ему: видишь ли в сей стране *узкие врата?* (Матф. 7, 14). Но он отвечал ему, что не видит оных. По крайней мере, сказал *Благовеститель*, не видишь ли ты там *блистательного света?* (Пс. 118, 105).

Кажется, что вижу, отвечал он. Когда так, сказал *Благовеститель*, то устремив единственно глаза твои на свет сей, поди прямо к оному, и уже скоро по сем увидишь тесные врата; и когда у сих стучать будешь, то скажут тебе там, что ты делать должен.

Тогда побежал *Христианин* туда; но как еще не в дальнем от дома своего находился расстоянии, то жена и дети его, узнав о его побеге, кричали ему, чтоб он возвратился. Но он, не обращаясь, тотчас заткнул уши свои, крича *жизнь, жизнь, жизнь вечная!* (II Петр. 1, 19) и не покушаясь обращаться, спешил перейти пространное то поле.

Соседи его из домов своих на зрелище сие вышли; иные над ним смеялись, иные угрожали, а иные кричали, чтоб он возвратился. Двое ж из них гнаться предприняли для приведения силою его в дом. Из сих первой назывался *Упорной*, а другой *Легкомысленной*; и хотя *Христианин* не малое уже пробежал расстояние, но они тем не отварились и его достигли.



П. Н. БЕРКОВ

## ПУШКИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

### I

Раскрытие и правильное истолкование отношения Пушкина к главным явлениям истории русской литературы XVIII века представляет в такой же мере задачу нашей литературной историографии, как и собственно пушкиноведения.

В самом деле, без учета взглядов Пушкина на литературный процесс XVIII века нельзя получить исторически точного представления о том, как сложилась историко-литературная концепция Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова, т. е. как сформировалась прогрессивная линия в истолковании истории русской литературы XVIII века. В то же самое время анализ пушкинской историко-литературной концепции раскрывает и освещает ряд моментов в его собственной художественно-творческой деятельности, которые по-новому объясняют давно известные и по традиции воспринимаемые факты и представляют в новом свете литературные позиции великого поэта.

Рассмотрение историко-литературной концепции Пушкина (применительно к XVIII веку и вообще) может вестись в двух направлениях: «критико-биографическом», описательном и «литературно-историографическом», аналитическом и синтетическом. Первое направление предполагает отбор, систематизацию и хронологическое изложение всех тех материалов — критических, литературно-художественных и иных, например эпистолярных, — в которых в той или иной форме отразились взгляды поэта на историю русской литературы XVIII века в целом или на деятельность различных писателей этого столетия, а также запечатлелись его суждения об отдельных произведениях, жанрах, литературных явлениях и т. п. Приведенные в систему, такие высказывания Пушкина дают нам представление о степени его осведомленности в истории русской литературы XVIII века, показывают, как в сознании поэта развитие русской литературы связывалось и сопоставлялось с развитием западноевропейских литератур, преимущественно французской, а иногда противопоставлялось им. Эти материалы дают возможность установить отношение Пушкина — положительное или отрицательное — к ряду имен и явлений литературы XVIII века. Завершением такого описательного процесса может быть характеристика места пушкинской концепции русской литературы XVIII века в общей системе его взглядов на историю русской литературы с древнейших времен и до 1820—1830-х годов.

Подобное изучение вполне законно, целесообразно, даже необходимо, но оно не позволяет понять, в чем поэт шел за традицией и где он выступал в качестве новатора. Такое «критико-биографическое» исследование

вопроса необходимо как предварительный, подготовительный этап к изучению «литературно-историографическому», которое в отличие от первого рассматривает систематизированную совокупность суждений поэта на историческом фоне, в соотношении с суждениями его предшественников и современников, обнаруживает полемический характер в его формулировках, казалось бы, совершенно нейтральных или даже, на первый взгляд, идущих в русле традиции, раскрывает его новаторство, его гениальную прозорливость, столь нам дорогую и столь важную для нас. И подобно тому как в первом случае наше исследование завершается вопросом о месте взглядов Пушкина на литературу XVIII века в общей системе историко-литературных воззрений, так во втором случае мы обязаны определить, какое место занимают суждения поэта о развитии нашей литературы XVIII века в русской литературной историографии XVIII века в целом.

Таким образом, «критико-биографическое» и «литературно-историографическое» исследования взглядов Пушкина и вообще всякого крупного литературного деятеля — великого или хотя бы замечательного писателя, литературного критика или литературоведа — не противостоят друг другу, а являются последовательными звеньями одного и того же процесса.

Из сказанного, однако, не должно делать выводов о том, что всякое рассмотрение литературных взглядов какого-либо автора непременно должно складываться сначала из «критико-биографического» описания и затем из «литературно-историографического» анализа и синтеза, из последующего обобщения. В распоряжении литературоведа находятся эти два метода; от его литературного чутья и своеобразного художественного такта зависит, как будут использованы им эти «архитектурные» принципы и накопленные им «строительные материалы».

## II

В сознании русских писателей и читателей первой четверти, даже первой трети XIX века литература XVIII века еще не выделилась в самостоятельный объект рассмотрения: она воспринималась как естественное начало, исток современной (для той эпохи) литературы, хронологически от последней не отграниченный и внутренне неразрывно с нею связанный. Однако и при таком, недифференцированном подходе к явлениям литературы XVIII века, какой был характерен для начала следующего столетия, в тогдашней литературе и литературоведении шла упорная и острая борьба за признание тех или иных авторов главными представителями литературы предшествующего периода, за объявление их своими ближайшими литературными предками, авторитетом своим упрочивающими те или иные современные литературные направления.

Не удивительно поэтому, что первые подобные оценки исходили, с одной стороны, от таких крупных писателей начала XIX века, как Карамзин,<sup>1</sup> Жуковский,<sup>2</sup> Батюшков,<sup>3</sup> с другой — от таких реакционеров, как адмирал А. С. Шишков, глава эпигонов классицизма, как профессор

<sup>1</sup> «Пантеон российских авторов», 1801—1803; статья «О Богдановиче и его сочинениях», 1803; раздел, посвященный литературе в «Историческом похвальном слове Екатерине II», 1801.

<sup>2</sup> «О басне и баснях Крылова», 1809; «О сатире и сатирах Кантемира», 1809.

<sup>3</sup> «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева», 1814; «О характере Ломоносова», 1815; «Вечер у Кантемира», 1816; «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», 1816.

М. Т. Каченовский, издатель «Вестника Европы» (после Карамзина), и др.<sup>4</sup>

В работах всех этих авторов литература XVIII века рассматривается как ценнейшее, образцовое наследие, мастерства отдельных представителей которого молодым, современным писателям и не достичь. Вставал только вопрос, кому из классиков XVIII века следует подражать, у кого учиться. При внимательном анализе всех этих статей складывается убеждение, что, восхваляя Ломоносова, Кантемира, Сумарокова, отчасти Хераскова и других писателей предшествовавшего столетия, молодые авторы начала XIX века делали это скорее из вежливости, чем по искреннему чувству: «Соорудим новые статуи, естли надобно; не будем разрушать тех, которые воздвигнуты благородною ревностию отцов наших!», — писал в 1802 году Карамзин в статье о Сумарокове в «Пантеоне российских авторов». Иначе к этому вопросу подходили Шишков, Каченовский и другие старореры.

В работах Шишкова и его последователей, группировавшихся в Российской Академии, литература XVIII века истолковывалась как непререкаемая и недостижимая норма и резко противопоставлялась современной литературе, якобы представлявшей собой упадок литературного развития. Как это мешало росту новой литературы, достаточно понятно. Естественно, что такое реакционное использование литературы XVIII века вызвало против себя не менее резкую оппозицию, в особенности в 20—30-е годы XIX века (Пушкин, Белинский).

Однако и в самом начале XIX века наряду с «сооружением новых статуй», в первую очередь самому Карамзину, Жуковскому, Батюшкову и другим, молодые их современники стали энергично «разрушать» авторитеты писателей XVIII века: Мерзляков развенчал Сумарокова, П. М. Строев «низверг кумир» Хераскова и т. д.

Пересмотр старых авторитетов шел параллельно с попытками утвердить другую линию — передовую, реалистическую — в литературе XVIII века: «... истинные дарования остаются иногда в неизвестности, — писал П. М. Строев. — Тысячи рукоплещают при представлении „Недоросля“; но многие ли понимают истинные достоинства сей комедии? Многие ли знают, что она достойна стоять наряду с „Мизантропами“ и „Тартюфами“? Не стыдно ли даже нам, что мы не имеем полного собрания сочинений г. Фонвизина, сего бессмертного писателя, коим по всей справедливости мы можем гордиться».<sup>5</sup>

Если раньше, в самом конце XVIII века, в «Санкт-Петербургском журнале» также была дана чрезвычайно положительная характеристика литературного наследия Фонвизина: «Фон-Визина нет более! — Российский феатр лишился в нем своего Мольера, словесность нужнейшего ее сотрудника, члена, славу ей приносившего. Отечество потеряло в нем верного сына, доброго гражданина. — Его нет более! — Но доколе свет наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и творения его останутся на всегда драгоценным памятником для его читателей».<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Библиографию разработки истории русской литературы в первой половине XIX века см. в книге: Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы, изд. 2-е. М., 1924, стр. 244—246. О позиции Каченовского см. превосходную статью В. В. Гиппиуса «„Вестник Европы“ 1802—1830 годов» («Ученые записки Ленинградского государственного университета», № 46, серия филологических наук, вып. 3, 1939, стр. 212, 218, 222).

<sup>5</sup> П. М. Строев. Письма о русской словесности. О Россияде, поэме г. Хераскова. «Современный наблюдатель российской словесности», 1815, № 1, стр. 11.

<sup>6</sup> «Санкт-Петербургский журнал», 1798, ч. III, стр. 65.

Между тем Карамзин не включил Фонвизина в «Пантеон российских авторов», что, впрочем, может быть, объясняется тем, что портрет автора «Недоросля» предполагалось издать в не вышедших в свет тетрадах «Пантеона». Однако имя Фонвизина не было упомянуто Карамзиным и в «Историческом похвальном слове Екатерине II», в разделе, где говорится об успехах литературы во второй половине XVIII века: здесь называются только Херасков, Державин и Богданович. Естественно, что нет здесь имени Радищева, жертвы Екатерины. О самой же Екатерине и ее отношении к литературе сказано было очень много.

Не упоминал о Фонвизине и Радищеве также Жуковский.

Зато у Батюшкова мы встречаем иные имена, иное понимание развития русской литературы. Кроме названных выше статей, Батюшков говорил о литературе XVIII века в своей записной книжке «Чужое — мое сокровище»; здесь среди тем для прозаических статей указано: «О сочинении Радищева», т. е., несомненно, о «Путешествии из Петербурга в Москву». <sup>7</sup> Далее в той же записной книжке набросан интереснейший план книги по истории русской литературы, где рассмотрение литературных материалов начинается с эпохи Петра I (языковых — с более ранних времен). <sup>8</sup> В этом контексте, в сущности, перечисляются все важнейшие литературные имена XVIII века, иногда суммарно («проповедники» в эпоху Петра, т. е. Феофан Прокопович в первую очередь), а чаще всего прямо: от Кантемира и до второстепенных писателей второго десятилетия XIX века. Однако особый интерес представляет то, что ряд имен (Ломоносов, Фонвизин, Державин, Богданович, Херасков, Карамзин, Дмитриев, Озеров, Муравьев, Шишков) набран в разрядку, по-видимому, потому, что творчество этих писателей Батюшков рассматривал как существеннейшие, узловые моменты литературного развития. Наряду с ними Батюшков отмечает: «Хемницер, Крылов, Жуковский», «Новикова труды», «Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев». Имя Фонвизина Батюшков связывает с «образованием прозы».

Делает он опыт периодизации литературного процесса XVIII—начала XIX века: «Словесность надлежит разделить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонвизина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до времен наших. Сии эпохи должны быть ясными точками». <sup>9</sup>

Таким образом, видно, что среди молодых писателей начала XIX века некоторая часть придавала важное значение сатирическому и реалистическому направлению в русской литературе XVIII века, другая отрицала его и предпочитала другое направление в лице Богдановича, Хераскова, Державина и Ломоносова.

Позиция Батюшкова была сложнее, чем просто эклектическая. Д. Д. Благой, на наш взгляд, слишком односторонне, следуя традиции, характеризует литературную ситуацию первых десятилетий XIX века: «Борьба, как известно, шла в основном вокруг вопросов о языке и преимущественном значении тех или иных поэтических жанров ... Батюшков в своей борьбе за новые жанры легкой поэзии характерно стремился опереться на традицию обоих основных направлений нашей литературы

<sup>7</sup> К. Н. Б а т ю ш к о в. Сочинения, под ред. Л. Н. Майкова, т. II, СПб., 1885, стр. 288.

<sup>8</sup> Там же, стр. 336—339; ср. в примечаниях к этому тому, стр. 489—525. Л. Н. Майков собрал все суждения Батюшкова о русских писателях XVIII—XIX веков. Кроме того, в том же томе см. стр. 310—312 (о Хераскове), стр. 344—347 (о Ломоносове), стр. 361—362 и 366—367 (о Державине).

<sup>9</sup> Там же, стр. 338.

XVIII века — не только карамзинской школы, но и классицизма».<sup>10</sup> Для Батюшкова развитие легкой поэзии было только частным моментом литературного процесса; поэт видел в нем разные, враждебные друг другу направления и, судя по некоторым его замечаниям, с симпатией относился к Фонвизину, Радищеву, Пнину и Крылову, чего никак нельзя сказать о Карамзине и Жуковском.

Пресловутая борьба шишковистов и карамзинистов, архаистов и новаторов была только одной и наиболее заметной стороной литературного процесса начала XIX века, а подспудно шла борьба и по другим линиям — с одной стороны, борьба и с архаистами, и с новаторами за сатирическое, политическое и реалистическое искусство, которое воплощалось в именах Фонвизина, Радищева и Крылова, с другой — еще более острая борьба с тенденцией связывать развитие всей русской литературы второй половины или, точнее, последней трети XVIII века с «просветительной» политикой Екатерины II, с ее «покровительством» наукам, искусствам и литературе.

И правильно понять развитие взглядов Пушкина на литературу XVIII века можно, только учтя его отношение к этим двум подспудным тенденциям в трактовке литературы предшествовавшего ему столетия.

О борьбе за Фонвизина, Радищева и Крылова нами было сказано достаточно; подробнее необходимо остановиться на второй тенденции — на борьбе по вопросу о роли Екатерины II в истории русской литературы XVIII века и в истории России вообще. Вопрос этот имел и тогда и много позже большое теоретическое и практическое значение.

### III

Обращаясь к рассмотрению того, как относились к Екатерине писатели начала XIX века, мы прежде всего должны остановиться на уже упоминавшемся выше произведении Карамзина, его «Историческом похвальном слове императрице Екатерине II».

Значение этого труда Карамзина для истории русской общественной мысли начала XIX века недостаточно, а если не опасаться еще более резких формулировок, вовсе не осознано советским литературоведением. Дело в том, что после смерти Екатерины в 1796 г. и вступления на престол Павла I, ненавидевшего, как известно, свою мать, не было издано ни одной оды или проповеди по случаю погребения императрицы, не было напечатано ни одной ее характеристики, не было сделано ни одной оценки ее царствования. И сразу же после убийства Павла I и воцарения Александра I начинает — с пятилетним запозданием — появляться литература о Екатерине II, а новый император на всяческие лады восхваляется как «любимый внук» «мудрой, великой бабки», как продолжатель ее якобы либеральной политики, прерванной пятилетним «ревом Норда сиповатым», как поэтически охарактеризовал царствование Павла Державин.

Выступление Карамзина, главы «молодой» части литературы начала XIX столетия, человека, в тогдашних условиях, несомненно, хотя и относительно, прогрессивного и пользовавшегося большим и заслуженным авторитетом, — выступление его с обширным произведением, в котором давалась всесторонняя и с воодушевлением написанная характеристика Екатерины, произвело исключительное впечатление. Хотя свой труд Карамзин назвал «Историческим похвальным словом императрице Екате-

<sup>10</sup> Д. Д. Благой. Пушкин и русская литература XVIII века. В сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М.—Л., 1941, стр. 104.



рине II», произведение это было сугубо и остро современным; это был яркий публицистический трактат, в котором тридцатипятилетний автор изложил от своего имени и в форме исторического панегирика программу мероприятий, осуществление которых либеральная часть русского общества ожидала от Александра I. По существу, «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II» Карамзина представляло в законченном виде дворянско-буржуазную концепцию — легенду о либеральной Екатерине II, продержавшуюся у нас в официальной исторической и литературной науке до Великой Октябрьской социалистической революции, а в буржуазной науке Запада сохраняющуюся и до настоящего времени.

Свой панегирик Екатерине Карамзин, сам современник императрицы, писал для современников же, для людей, бóльшая часть которых была живыми свидетелями всего того произвола, грабежа государства, безнаказанности чиновничества, чудовищного угнетения народных масс, словом, всего того, что позднее стали называть «блестящим веком Екатерины». Такие читатели легко могли уличить Карамзина в неправильном освещении исторических фактов и могли противопоставить его панегирику свои осуждения Екатерины II. Зная это, Карамзин среди пышных риторических похвал императрице — кстати, это произведение писателя, по традиции считающегося сентименталистом, написано по всем правилам риторики классицизма — в самом начале «Слова» как бы мимоходом включает тезисы, которые позволяют ему отвести возможные упреки в адрес Екатерины как личности и государыни и его самого как ее панегириста: «Истинный философ различает, судит и не всегда осуждает... Правило народов и государей не есть правило частных людей».<sup>11</sup>

Таким образом, Карамзин, считая себя «истинным философом», предупреждает своих читателей, что и он осуждает Екатерину, но «не всегда» и что основанием для этого являются различия в оценке действий обыкновенных смертных («частных людей») и исторических личностей — государей.

В первой части своего «Исторического похвального слова» Карамзин говорит о завоеваниях Екатерины II и об их политических причинах и следствиях. Вторую часть Карамзин посвящает Екатерине как «мудрой законодательнице» и как практическому политико-эконому. Вполне естественно, что Карамзин не находит слов, чтобы достаточно восхвалить одно из известнейших законодательных мероприятий Екатерины — Наказ, «сей славный Наказ», «переведенный на все европейские языки, зеркало ее великого ума и небесного человеколюбия». «Никогда еще, — продолжает Карамзин, — монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком! Никто, никто еще из сидящих на троне столь премудро не изъяснялся, не имел столь обширных понятий о науке управлять людьми, о средствах народного счастья».<sup>12</sup>

Из пространной характеристики Наказа, данной Карамзиным вслед за цитированными словами, нам необходимо отметить то, что им сказано о политике Екатерины в области народного хозяйства: «Глава о государственной экономии служит наставлением для всех монархов, утешением для всех граждан, доказывая первым, что они суть только хранители общественного сокровища и могут употреблять его единственно для блага народного; доказывая последним, что они, уделяя государю часть своего избытка, утверждают тем собственное их благосостояние; что они платят дань не государю, а самим себе или друг другу».<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Н. М. Карамзин, Сочинения, т. VIII, М., 1804, стр. 13—14.

<sup>12</sup> Там же, стр. 64—65.

<sup>13</sup> Там же, стр. 88.

Коротко сказав о Комиссии для сочинения проекта нового Уложения («Уже депутаты российские сообщали друг другу свои мысли о предметах общего Уложения, и жезл маршала гремел в торжественных их собраниях»), Карамзин снова обращается к законодательной деятельности Екатерины: «Сколько мудрости потребно законодателю? Сколь трудно знать человеческое сердце, предвидеть все возможные действия страстей, обратиться к добру их бурное стремление или остановить твердыми оплотами, согласить частную пользу с общею».<sup>14</sup>

В третьей части «Слова» существенно то место, где Карамзин проводит мысль о том, что «словесность была предметом особенного благоволения и покровительства Екатерины» и что «философы гордились благосклонным воззрением Екатерины и горели ревностно величать ту, которая воцарила с собою философию и тайные желания мудрого человеколюбия обратила в государственные уставы».<sup>15</sup>

И вся эта патетическая речь Карамзина завершается особенно патетической тирадой: «И я клянусь именем вашим, о сограждане, именем всего нашего потомства, что память Екатерины Великой будет во веки веков благословляема в России».<sup>16</sup>

Было бы просто удивительно, если бы в печатной литературе начала XIX века мы встретили суждения о Екатерине, прямо противоположные карамзинским. Современники хорошо понимали, что, говоря о Екатерине, и Карамзин, и другие авторы, обращавшиеся к этой же теме, в своих характеристиках покойной императрицы видели только удобную форму выражения своих политических ожиданий и не менее удобную форму советов молодому Александру I.

Однако в устной традиции первых десятилетий XIX века существовала и другая оценка Екатерины, более отвечающая исторической действительности и поэтому более объективная. С нею, несомненно, был знаком юный Пушкин, и, как мы увидим далее, она безусловно повлияла на его знаменитые кишиневские «Заметки по русской истории XVIII века».

#### IV

Рассмотренные нами явления протекали в основном в тогдашней литературной критике. Ближе к ним подходят и первые попытки собственно историко-литературного характера.

Наиболее ранним опытом подобного обзора истории русской литературы был третий раздел «Краткого руководства к российской словесности» И. М. Борна (1808). В этом школьном учебнике XVIII века уделена большая часть названного раздела (стр. 144—162). Здесь, начиная с Петра Буслаева и Феофана Прокоповича и кончая Карамзиным, дается беглый очерк русской литературы XVIII века. О каждом авторе сообщаются биографические даты, перечисляются главные труды и даются обычные в то время этикетки, являющиеся свидетельством недооценки родной литературы: Феофан Прокопович — «русской Златоуст», Кантемир — «русской Буало», Хемницер — «русской Геллерт», деятельность Тредиаковского сравнивается с деятельностью Готшеда, а судьба Карамзина в отношении его неудачных последователей — с судьбой Стерна.

Однако наряду с подобными шаблонами Борн проявляет и самостоятельность суждения. Посвящая рассмотрению деятельности некоторых писателей XVIII века отдельные главки (Ломоносов, Сумароков, Фонвизин,

<sup>14</sup> Там же, стр. 96—98.

<sup>15</sup> Там же, стр. 154 и 158—159.

<sup>16</sup> Там же, стр. 188.

Новиков), в других случаях Борн характеризует поэтов и прозаиков группами, очевидно не придавая особого значения тому или иному из них. Так, о Фонвизине он пишет: «Прозу сего писателя ... почесть можно составляющею новую в русской словесности эпоху. С каким искусством умеет Ф(он)Визин совокуплять славянскую важность с чистотою русского языка. Он не писал по славянски ... Денис Иванович сочинил между прочим две комедии: Недоросля и Бригадира, которые будут жить вместе с русским языком. Желательно вскоре увидеть полное собрание всех сочинений и переводов сего остроумного и оригинального русского писателя».<sup>17</sup> Характерно, что Борн — впрочем, уже после Карамзина — дал положительную оценку деятельности Н. И. Новикова, которого он называл «мужем, отличившимся патриотическою ревностию в распространении успехов словесности»,<sup>18</sup> и подчеркивал, что Новиков «первый заложил библиотеку для чтения (cabinet de lecture) и сим средством много способствовал к распространению вкуса в отечественной словесности».<sup>19</sup>

И. М. Борн входил, как известно, в состав «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», объединявшего последователей Радищева и Пнина. Казалось бы, при таких условиях в обзоре истории русской литературы XVIII века Борн безусловно должен был уделить внимание деятельности авторов «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Опыта просвещения относительно России», по крайней мере упомянуть о них, если уж упоминаются П. И. Голенищев-Кутузов и П. М. Карabanов. Однако как Радищев, так и Пнин даже не названы Борном. Можно не сомневаться, что это не явилось результатом воздействия цензуры: в это самое время выходило «Собрание сочинений» Радищева (1806—1811). По-видимому, здесь действовали особые распоряжения, относившиеся специально к школьному преподаванию.

Но несмотря на отсутствие имен Радищева и Пнина, историко-литературный обзор Борна проникнут демократическими тенденциями, и, может быть, этим объясняется несколько сдержанное отношение его к Карамзину и его языковой реформе: «... проза сего писателя составила как бы новую эпоху в нашей словесности»<sup>20</sup> — и почти насмешливое отношение к карамзинистам.<sup>21</sup>

Историко-литературные исследования в конце XVIII—начале XIX века, до Борна, строились либо как «истории российского стихотворства», либо как «истории просвещения в России». Книга Борна была одним из первых опытов объединения обоих направлений и создания «истории российской словесности» или «литературы», но школьное назначение книги не позволило автору подробно изложить материалы обеих линий литературного развития.

Завершением этого нового направления в русской литературной историографии начала XIX века явился «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча (1822).

В годы, предшествовавшие восстанию декабристов, Греч не был еще тем одиозным соратником Фаддея Булгарина, каким он вошел в историю русской литературы и культуры. В «Опыте» Греч еще выступает как ли-

<sup>17</sup> И. М. Борн. Краткое руководство к российской словесности. СПб., 1808, стр. 154—155.

<sup>18</sup> Там же, стр. 155.

<sup>19</sup> Там же, стр. 156.

<sup>20</sup> Там же, стр. 160 (курсив мой, — П. Б.).

<sup>21</sup> Мне представляется спорным утверждение профессора А. П. Скафтымова, что Борн — карамзинист. См. его ценную работу «Преподавание литературы в дореволюционной школе» («Ученые записки Саратовского государственного педагогического института», вып. III, 1938, стр. 127).

берал, даже как своеобразный демократ. В противовес историкам литературы, стоявшим на дворянско-буржуазных позициях «просвещенного абсолютизма» как основного и едва ли не единственного двигателя литературного развития, Греч выдвигает идею о народном, самобытном возникновении и даже прогрессе литературы. Для Греча словесность «есть свободный, добровольный плод земли отечественной; меры правительства могут способствовать ее возвышению и унижению, но произвести ее не могут: она рождается сама собою или, по крайней мере, чрез долгое время после посева».<sup>22</sup>

Характеризуя современное ему состояние литературы, Греч писал: «Высшие сословия русского народа принимают участие в успехах отечественной словесности, и люди низкого звания стараются облагородить ею свое существование. Плоды сих усилий, сего соревнования не могут быть обманчивы: если б надлежало в коротких словах означить отличительный характер литературы в наше время, то мы сказали бы, что при императрице Елисавете науки, искусства и словесность существовали для двора; при Екатерине двор занимался ими, желая поселить их в народе, а ныне россияне сами находят славу и наслаждение свое в сих дарах неба и благословляют Александра, великодушно доставляющего им средства вкушать сии сладостные плоды мира и просвещения».<sup>23</sup>

XVIII веку в книге Греча уделена почти половина текста (из 348 страниц — 147). Здесь значительно расширена количественная сторона материала, введены, по сравнению с Борном, такие писатели, как Илья Копиевич, Семен Климовский, Кирша Данилов и пр. Впрочем, при изложении истории литературы второй половины XVIII века Греч скупее, чем можно было бы ожидать; он останавливается только на важнейших писателях.<sup>24</sup>

Книга Греча вызвала живейший интерес у читателей и послужила поводом к оживленной полемике, в которой приняли участие декабристы. Несмотря на свой полусловарный характер, «Опыт краткой истории русской литературы» Греча вместе со «словарями» Евгения и библиографиями Сопикова и Смирдина долгие годы являлся источником для исследователей и преподавателей литературы XVIII века.

Одновременно с появлением книги Греча к изучению истории русской литературы обратились декабристы — В. К. Кюхельбекер и А. А. Бестужев. Наиболее ранним их выступлением является статья В. К. Кюхельбекера «*Coûr d'oeil sur l'état actuel de la littérature russe*» — «Взгляд на нынешнее состояние русской литературы», опубликованная в петербургской французской газете.<sup>25</sup> Очевидно, Кюхельбекер предполагал дать более или ме-

<sup>22</sup> Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822, стр. 101—102. Ср., впрочем, у Карамзина в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине II»: «Во время Екатерины россияне начали выражать свои мысли ясно для ума, приятно для слуха, и вкус сделался общим: ибо монархиня сама имела его и любила нашу словесность; и если она своими ободрениями не произвела еще более талантов, виною тому независимость гения, который один не повинуетя даже и монархам, дик в своем величии, упрям в своих явлениях и часто самые неблагоприятные для себя времена предпочитает блестящему веку, когда мудрые цари с любовью призывают его для торжества и славы» (Н. М. Карамзин, Сочинения, т. VIII, стр. 157—158).

<sup>23</sup> Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы, стр. 262—263.

<sup>24</sup> О Грече см.: В. Н. Петец. К столетию «Истории русской литературы». «Известия Отделения русского языка и словесности», т. XXVIII, Л., 1923, стр. 200—213; А. С. Архангельский. Введение в историю русской литературы. Том первый. История литературы как науки. Очерк научных изучений в области истории русской литературы. Пгр., 1916, стр. 222—226.

<sup>25</sup> «*Conservateur impartial*», S. Petersbourg, 1817, № 77, стр. 380. Перевод статьи Кюхельбекера см.: «Вестник Европы», 1817, ч. 95, № 17—18, стр. 154—157. Ответ Кюхельбекеру, за подписью «В. С...ъ» (В. Соц.): там же, ч. 96, № 23—24, стр. 193—204.

нее подробную картину состояния русской литературы второго десятилетия XIX века (его «Взгляд» имеет подзаголовок «Статья первая», хотя продолжения не было); поэтому начало статьи его состояло из исторического введения, предлагающего не лишнюю интереса схему историко-литературного процесса XVIII века. Зарождение русской литературы Кюхельбекер относит к царствованию Анны и Елизаветы; далее, по его словам, идет полоса господства французского классицизма, когда «не хотели признавать стихами ничего нерифмованного», когда «не существовало иных образцов, кроме тех, которые были признаны Лагарпом», когда «не признавали великих немецких и английских поэтов». Затем идут «усилия Радищева, Нарезного и еще кое-кого, усилия, которые, может быть, со временем будут оценены». К ним примыкает А. Х. Востоков, вслед за которым идут Гнедич и Жуковский. На этом короткая статья Кюхельбекера обрывается.

Хотя статья Кюхельбекера и содержит не слишком много фактических данных по литературе XVIII века, все же она чрезвычайно интересна попыткой выделить особую линию — «усилий» Радищева, Нарезного и не совсем ясных «еще кое-кого», возможно И. П. Пнина и его последователей. Упоминание Радищева при умолчании о нем Борном и Гречем, сочетание имен Радищева и Нарезного как представителей своей, особой линии, прогрессивной по отношению к другим литературным течениям конца XVIII—начала XIX века, — все это служит показателем не только литературных, но и политических позиций Кюхельбекера.<sup>26</sup> Как известно, когда позднее Кюхельбекер читал в Париже курс лекций о древнем периоде русской литературы и связывал ее развитие с политической структурой России, чтение это было прервано по требованию русского посла во Франции.<sup>27</sup>

Рассмотрению истории русской литературы XVIII века посвятил много места А. А. Бестужев в своей нашедшей статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (альманах «Полярная звезда на 1823 год»). Бегло и импрессионистически определяя заслуги и историческое место писателей XVIII века в развитии русского языка и литературы, Бестужев как бы сформулировал декабристское отношение к «наследству» XVIII века и вообще ко всей предшествующей русской литературе. Он не высказывал своих мыслей прямо и отчетливо, заставляя больше догадываться о его позициях, чем давая непосредственный для этого материал. Так, он с самого начала ставит в зависимость замедление «хода просвещения и успехов словесности в России» от «политических препон».<sup>28</sup> Указывая в другой статье, что «под политической печатью словесность кружится в обществе»,<sup>29</sup> Бестужев старается между строк внушить читателю мысль, что политическая связанность русских писателей XVIII века была причиной специфических форм развития русской литературы; он видел, наконец, причину задержки роста русской литературы в «феодальной умонаклонности многих дворян». Осторожно намекая на реакционность политических

<sup>26</sup> О полемике, возникшей по поводу статьи Кюхельбекера, см. в упомянутой выше работе В. В. Гиппиуса «„Вестник Европы“ 1802—1830 годов» (стр. 218).

<sup>27</sup> См.: Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная в Париже в 1821 г. Публикация и предисловие П. С. Бейсова. «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 366—374 (французский текст лекции) и 374—380 (русский перевод); см. также статью Б. В. Томашевского «Вопросы языка в парижской лекции Кюхельбекера», опубликованную в том же томе «Литературного наследства».

<sup>28</sup> «Полярная звезда на 1823 год», стр. 3. Перепечатано в книге: А. А. Бестужев - Марлинский, Сочинения в двух томах, т. II, М., 1958, стр. 521—539.

<sup>29</sup> Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года. «Полярная звезда на 1824 год», стр. 2.

взглядов Карамзина («время рассудит Карамзина как историка»), Бестужев тем не менее признает его заслуги в усовершенствовании русского литературного языка.

Разделяя популярную в конце XVIII—начале XIX века «климатологическую» теорию в литературоведении, согласно которой характер литературы народа определяется местожительством последнего, Бестужев начинает свой обзор риторическим вопросом: «Подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности?». После беглого обзора древнерусской литературы и народной поэзии, «одним шагом» переступив «расстояние пяти столетий», Бестужев сжато характеризует деятельность Феофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова и других. Высоко оценив роль Екатерины II («Наконец настало золотое время для словесности и ученых ... Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством»),<sup>30</sup> Бестужев с большей или меньшей похвалой отзывается о В. Петрове, Хераскове, Богдановиче, Хемницере, Фонвизине («в комедиях своих „Бригадире“ и „Недоросле“ в высочайшей степени умел схватить черты народности»), Капнисте, Кострове, Княжнине и больше всего о Державине, затем о Карамзине и пр.<sup>31</sup>

Таким образом, у Бестужева перечислены все крупные писатели XVIII века, за исключением Новикова и Радищева; последнее произошло едва ли под давлением цензуры: Кюхельбекер и во французской статье, и в русском ее переводе охарактеризовал Радищева как поэта.

Не отдавая явного предпочтения сатирической линии в русской литературе XVIII века, Бестужев все же нарисовал яркую картину ее развития, переоценив, однако, значение Екатерины II и как государыни, и как писательницы.

При рассмотрении историко-литературных взглядов Бестужева заслуживает внимания его позиция в полемике, завязавшейся вокруг «Опыта краткой истории русской литературы» Греча. Он задает автору ряд вопросов, свидетельствующих о широком, общественном понимании характера русской литературы, стремлении связать ее развитие с развитием языка народа и подчеркнуть своеобразие и самостоятельность отдельных писателей.<sup>32</sup>

Аналогичную позицию занял в этой полемике и П. А. Катенин. Упрекая Греча в подмене истории литературы «послужными списками» писателей, он требует от него следования таким историкам литературы, как П.-Л. Женгене («Histoire littéraire de l'Italie») и К.-Ш. Сисмонди (Histoire de la littérature du Midi de l'Europe), объяснявшим историко-литературные факты состоянием общества в соответствующий период.<sup>33</sup>

На фоне всех этих оценок только и становятся ясными позиции Пушкина в отношении изучения истории литературы XVIII века.

## V

В работах декабристов по истории русской литературы XVIII века (в основном Бестужева) чрезмерное внимание уделялось подражательности ее и переоценивалась роль монархинь — Елизаветы и в особенности Екатерины II. Поэтому те несомненные элементы прогрессивности, которые свойственны историко-литературным выступлениям декабристов —

<sup>30</sup> «Полярная звезда на 1823 год», стр. 41, 15, 4—5, 10.

<sup>31</sup> Там же, стр. 12, 13—14.

<sup>32</sup> «Сын отечества», 1822, № 18, стр. 158—168.

<sup>33</sup> Там же, № 13, стр. 249—261; № 18, стр. 172—178.

выдвижение проблемы «народности», борьба с классицизмом за новый литературный язык, своеобразная постановка вопроса о национальной самобытности в русском литературном процессе, — меньше всего были ощутимы в декабристских анализах литературы XVIII века.

Сохраняя ряд общих с декабристами точек зрения на русский литературный процесс в целом (и, в частности, на литературу XVIII века), Пушкин ушел от них значительно далеко вперед, во многом приближаясь к нашим современным взглядам на важнейшие вопросы литературного развития начиная с царствования Екатерины II.

Вопрос об отношении Пушкина к литературе XVIII века несколько раз привлекал внимание наших крупнейших пушкинистов. Содержательная статья С. М. Бонди «Историко-литературные опыты Пушкина»<sup>34</sup> свела воедино почти все, что относится к самостоятельным попыткам Пушкина в данном направлении. Однако, ограничив свои задачи рассмотрением материалов, относящихся только к неосуществившемуся историко-литературному замыслу поэта, С. М. Бонди обошел прочие данные, говорящие о трактовке Пушкиным литературы XVIII века.

Эту ошибку исправил Д. Д. Благой в своей интересной и ценной работе «Пушкин и русская литература XVIII века»,<sup>35</sup> первая часть которой озаглавлена «Русская литература XVIII века в сознании и оценке Пушкина». Здесь рассмотрены личные отношения Пушкина к живым еще в его время литературным деятелям XVIII века, его стихотворные, эпистолярные и критико-журнальные отзывы о писателях того столетия, перечислены книги тогдашних поэтов и прозаиков, сохранившиеся в его библиотеке, а затем по-новому, с привлечением свежих материалов были проанализированы пушкинские историко-литературные фрагменты и наброски. В итоге получилось как бы исчерпывающая работа.

Однако и С. М. Бонди, и Д. Д. Благой рассматривали взгляды Пушкина на литературу XVIII века в отрыве от тех литературно-историографических споров, о которых у нас шла речь на предыдущих страницах. У Д. Д. Благого есть, правда, отдельные замечания о позиции Батюшкова в оценке литературы XVIII века, высказаны убедительные соображения о связи пушкинского отрывка «Отчего первые стихотворения были сатиры» с соответствующим местом в «Литературных мечтаниях» Белинского.<sup>36</sup> Но эти верные наблюдения и замечания без учета того литературно-историографического фона, на котором выступали опыты Пушкина, не дают полного представления о самостоятельности, свежести и, главное, правильности взглядов поэта на литературу XVIII века, не позволяют понять полемичности пушкинской концепции русского историко-литературного процесса XVIII века.

Это прежде всего становится очевидным при рассмотрении отношения Пушкина к Радищеву, Фонвизину и Екатерине II.

Не все литературные имена XVIII века были, как известно, близки и дороги Пушкину. Можно не сомневаться, что самое высокое проявление русского литературного самосознания XVIII века воплотилось для него в имени Радищева. И именно эта идеологическая, общественная направленность определенной линии литературы XVIII века связывает зрелого Пушкина с предшествовавшим ему столетием. Интерес к Радищеву, проявившийся у Пушкина в самые ранние годы, не покидал его и позднее. В письме к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 года Пушкин по поводу

<sup>34</sup> «Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 421—442.

<sup>35</sup> Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М.—Л., 1941, стр. 101—166.

<sup>36</sup> Там же, стр. 134—137.

статьи «Взгляд на старую и новую словесность в России» так упрекал своего адресата: «Жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание не простительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не ожидал» (XIII, 64).<sup>37</sup> И как бы потом Пушкин ни утверждал, скорее всего из тактических или цензурных соображений, что «мы никогда не почитали Радищева великим человеком», что «поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственною книгою» (XII, 32), все же остается незабываемым тот факт, что в том же 1836 году, когда писаны были только что цитированные строки, Пушкин в «Памятнике» счел возможным видеть свои права на признательность народа в том, что «вослед Радищеву восславил <...> свободу» (III<sub>2</sub>, 1034).

Мы видели, что от Борна и до Греча и Бестужева (с исключением одного только Кюхельбекера) шла одна и та же линия — сознательного или бессознательного, вынужденного или добровольного замалчивания Радищева. Таким образом, неоднократные попытки Пушкина так или иначе напомнить русскому обществу о Радищеве, привлечь к нему и его книге внимание было важнейшим моментом в историко-литературной позиции поэта, решительно отличавшим его от всей предшествовавшей и последовавшей литературной историографии XVIII века.

Д. Д. Благой отмечает, что «изо всех писателей XVIII в. к Фонвизину Пушкин вообще относился с наибольшим сочувствием, считая его единственным представителем нашей литературы XVIII века, ряд произведений которого (т. е. Фонвизина, — П. Б.) состоит из чистого золота, без малейшей примеси свинца».<sup>38</sup> Однако это безусловно правильное замечание Д. Д. Благого получает еще большее значение и историко-литературный вес, если мы вспомним, как с «Санкт-Петербургского журнала» И. Пнина и А. Ф. Бестужева шла упорная борьба за признание особой роли Фонвизина в развитии русской литературы. А роль эту явно недооценивали и в 20-е, и в 30-е годы.

Так, например, Греч характеризовал «Недоросль» следующим образом: «Из сочинений его превосходнейшее есть комедия „Недоросль“: хотя изображенные в ней характеры уже начинают у нас выводиться, но она никогда не потеряет цены своей, по множеству острых, комических мыслей и забавных сцен. Можно сказать, что сия комедия принесла у нас большую пользу: ее влиянию отчасти должно приписать перемену в образе жизни и мыслей некоторых сельских дворян».<sup>39</sup> Не особенно далеко отстоит от греческой характеристики «Недоросля» то, что говорит о пьесах Фонвизина А. А. Бестужев (частично мы уже цитировали этот отзыв, но сейчас приведем его полностью): «Фонвизин, в комедиях своих „Бригадире“ и „Недоросле“, в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привести в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические (т. е. сатирические, — П. Б.) творения будут драгоценными для потомства как съёмки (*fac simile*) нравов того времени».<sup>40</sup>

На фоне подобных высказываний о «Недоросле» особый смысл приобретает настойчивое подчеркивание Пушкиным того, что «Недоросль» — комедия народная. Очевидно, подобная оценка «Недоросля» была старым

<sup>37</sup> Здесь и далее цитаты приводятся по Академическому изданию сочинений Пушкина в 16 томах (тт. I—XVI и справочный том, 1937—1949, 1960).

<sup>38</sup> Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», стр. 133.

<sup>39</sup> Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822, стр. 197.

<sup>40</sup> «Полярная звезда на 1823 год», стр. 12.



и прочным суждением Пушкина о комедии Фонвизина. Еще в «Послании цензору» (1822), где молодой еще поэт писал:

... сатирик превосходный  
Невежество казнил в комедии народной, —  
(II. 269).

и далее в «Опровержении на критики» (1830), в котором, хотя и мимоходом, упомянут «Недоросль», «сей единственный памятник народной сатиры» (XI, 155), Пушкин связывает пьесу Фонвизина с кругом своих идей о «народной драме», «народной сатире», «народной комедии». В неоконченной статье «О народной драме и драме „Марфа Посадница“» (1830) Пушкин, отмечая роль смеха в драматическом действии и указывая, что «древние трагики пренебрегали сею пружиною», писал: «Народная сатира овладела ею исключительно и приняла форму драматическую, более как пародию. Таким образом родилась комедия — со временем столь усовершенствованная» (XI, 178). Далее Пушкин, отметив, что ни одна русская трагедия не может быть названа народной, прибавил: «Комедия была счастливее. Мы имеем две драматические сатиры» (XI, 178—180).

Можно гадать, что разумел Пушкин под вторюю «драматической сатирой» — «Горе от ума» или «Бригадира», но что первой он считал «Недоросля» — в этом сомнения нет. Следовательно, в отличие от Греча и Бестужева, явно недооценивавших или поверхностно понимавших народный характер фонвизинской комедии и видевших в ней только изображение сельских дворян с игрой их мелких страстей, Пушкин постиг реалистический, глубоко национальный смысл деятельности Фонвизина и с полной ясностью называл его «сатиры смелой властелином» и «другом свободы» (VI, 12).

Наконец, чтобы правильно понять пушкинскую оценку литературы XVIII века, надо остановиться на его трактовке деятельности Екатерины II. И в этом вопросе Пушкин решительно расходился со своими литературно-историографическими предшественниками. В то время как Греч, Бестужев, Н. Полевой, П. А. Вяземский и позднее даже молодой Белинский в «Литературных мечтаниях» превозносили Екатерину как государственного деятеля и подлинную двигательницу русской литературы, Пушкин с кишиневских «Заметок по русской истории XVIII века» и до последних дней своей жизни занимал резко отрицательную позицию в отношении «Тартюфа в юбке и короне».

В оценке Пушкина Екатерина встает со всеми присущими ей противоречиями; поэт отмечает значение ее военных мероприятий для последующего роста политического могущества России и с гениальной прозорливостью, поразительной даже для двадцатитрехлетнего Пушкина, выносит «египетский суд», как он любил позднее говорить, решительный, неприятный, строгий и справедливый: «...со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиною кротости и терпимости, народ угнетенный наместниками, казну расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия, — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России» (XI, 16).

Эти страшные слова, остававшиеся до второй половины XIX века вовсе неизвестными и долго не пропускавшиеся полностью в печать, не были результатом минутного увлечения или заблуждения Пушкина. Если мы внимательно взглянем в только что процитированные слова Пушкина

и сопоставим их с приведенными выше положениями карамзинского «Исторического похвального слова императрице Екатерине», то для нас не может не стать очевидным, что раздел, посвященный Екатерине в кишиневских «Заметках по русской истории XVIII века», является острой и резкой полемикой молодого поэта с прославленным историком.<sup>41</sup> Полемика эта развивается по всем пунктам, по всем общим и частным положениям Карамзина; она касается освещения и военной, и законодательной, и литературно-просветительной деятельности Екатерины. Если Карамзин называет Наказ «славным», то Пушкин определяет его как «лицемерный». Если Карамзин характеризует «собрание российских депутатов» как «сейм мира», то Пушкин называет екатерининскую комиссию «фарсой наших депутатов, непристойно разыгранной». Слова историка о том, что никто из монархов до Екатерины «не имел столь обширных понятий о науке управлять людьми», Пушкин истолковывает так: «Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства» (XI, 15).

Наконец, эффектной концовке «Слова» Карамзина о том, что «память Екатерины Великой будет во веки веков благословляема в России», Пушкин, как мы видели, противопоставляет не менее эффектную формулу: «голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».

Эта явная полемика Пушкина с Карамзиным, современником Екатерины, свидетелем и очевидцем всего того, о чем на основании устных преданий с негодованием, возмущением и отвращением писал молодой поэт в «Заметках по русской истории XVIII века», позволяет по-новому истолковать остававшиеся до сих пор загадочными строки: «но подлость русских писателей мне непонятна». По всей вероятности, они относятся не к Фонвизину, Новикову и другим литературным деятелям екатерининского царствования, а к Карамзину.<sup>42</sup>

Может возникнуть вопрос, чем объяснить столь запоздалую полемику Пушкина с Карамзиным. Ответ на этот вопрос может быть дан только предположительный: незадолго до того, в 1820 году, «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II» было вновь напечатано в томе VIII третьего, исправленного и дополненного издания «Сочинений» Карамзина. Нет никаких сомнений, что новое издание крупнейшего тогдашнего русского писателя имелось в Кишиневе и могло попасть в руки Пушкина. Недавнее же историческое прошлое было постоянным предметом бесед кишиневских офицеров-декабристов и Пушкина. Оценка Екатерины II Карамзиным не могла не остановить на себе внимания Пушкина и его друзей.

Анализ всех последующих пушкинских высказываний о Екатерине (т. е. тех, в которых он от своего имени, а не от имени героев своих произведений, например Маши Мироновой, характеризует императрицу) показывает, что его взгляды и оценка деятельность императрицы остаются теми же самыми. А это обстоятельство имеет исключительное значение при рассмотрении историко-литературных взглядов Пушкина. Без правильного понимания пушкинской трактовки роли Екатерины нельзя не только правильно, но и вообще понять известные наброски статьи его «О ничтожестве литературы русской» (XI, 268—272), а эта статья, над которой он

<sup>41</sup> См.: Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 577 и особенно 584: «Пушкин недвусмысленно полемизирует... по-видимому, в первую очередь с Карамзиным».

<sup>42</sup> Ср.: Там же, стр. 584.

работал в последние годы своей жизни (1834), является как бы итогом всех его размышлений над историей русской литературы XVIII века.

Первые разделы конспекта этой статьи, упоминающие Кантемира, Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского, при всей своей лаконичности все же показывают расхождения Пушкина с его предшественниками и современниками в понимании начальных путей русской литературы. В то время для всех литературных историографов XVIII и начала XIX века Кантемир всегда и неизменно был только автором сатир, Пушкин отмечает, очевидно придавая этому существенное значение, то, что Кантемир «переводит Горация». Иными словами, Пушкин хочет показать многообразие и широту поэтических интересов Кантемира, выступает против обеднения его вклада в русскую литературу, против недооценки этого знаменательного факта.

Краткая характеристика Ломоносова: «пленный гармонией рифма, пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc.» — сформулирована так, что не остается сомнений в желании Пушкина изложить давно уже устоявшиеся у него взгляды на деятельность и историческое значение своего великого предшественника.

В цитированной уже выше статье Д. Д. Благого почти исчерпывающе собраны материалы, свидетельствующие об отношении Пушкина к Ломоносову.<sup>43</sup> Однако ограничиться только сопоставлением и приведением отдельных оценок, данных Пушкиным Ломоносову, мало.

Нельзя, конечно, забывать того, что Пушкину все время приходилось считаться с живым еще авторитетом писателей XVIII века, деятельность которых противопоставлялась рутинерами его, Пушкина, собственной поэтической практике. Именно этим обстоятельством объясняется некоторая несправедливость Пушкина в оценке отдельных писателей и явлений литературы XVIII века. Достаточно прочесть нижеследующий отрывок из черновика статьи, условно называемой «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835), чтобы почувствовать полемическую позицию Пушкина. Говоря о Ломоносове, Пушкин пишет: «Его влияние было вредное, и до сих пор еще отзывается в тощей нашей литературе. Изысканность, высокопарность, отвращение от простоты и точности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русской и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием, вместо цалуй меня*<sup>44</sup> etc. Знаю, что Ломоносов того не думал и что он предлагал изучение славенского языка как необходимое средство к основательному знанию языка русского. [Знаю, что *Рассуждение о старом и новом слоге* так же походит на *Слово о пользе книг церковных в российском языке*, как псалом Шатрова на *Размышление о величестве божием*. Но тем не менее должно укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных его последователей]» (XI, 226).

Следовательно, при анализе конспекта статьи «О ничтожестве литературы русской» (XI, 495—496), как в той части, которая относится к Ло-

<sup>43</sup> «Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», стр. 117—118.

<sup>44</sup> Ср., однако, в стихотворении «В крови горит огонь желанья» (1825):

Лобзай меня: твои лобзанья  
Мне слаще мирра и вина.

(II, 442).

моносову, Сумарокову и Третьяковскому (который, по словам Пушкина, «один понимающий свое дело»), так и в других частях, нельзя упускать из виду «двустороннюю» позицию поэта: собственно историко-литературную и современно-полемическую.

Однако наибольший интерес и наибольшую трудность для понимания представляет следующий, по пушкинскому счету — четвертый пункт конспекта. Привожу это место в своем чтении:<sup>45</sup>

«4) Екатерина, ученица 18-го столетия». Она одна дает толчок своему веку. Ее угождения философам. Наказ. Екат(ерина). Ф(он)Визин и Радищ(ев). Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ (члены ко(миссии) — депутаты). Державин, Богданович, Дмитриев, Карамзин (Радищев)».

Записывая для себя мысли об исторической роли Екатерины, Пушкин не раскрывает своего понимания отдельных тезисов конспекта. В результате этого неясно, являются ли утверждениями самого поэта слова «Екатерина, ученица 18-го столетия» и «Она одна дает толчок своему веку» или это только записанные им общепринятые взгляды, с которыми он полемизирует.

Мне кажется, что в свете всего известного нам об отношении Пушкина к Екатерине правильно именно последнее предположение. Отправляясь от традиционной для той эпохи оценки личности и деятельности Екатерины II, возможно даже цитируя какого-то определенного автора, Пушкин всем последующим изложением опровергает эту характеристику и показывает «Северную Семирамиду» в подлинном историческом свете. Иное понимание анализируемого отрезка должно привести к заключению о том, что первая часть пушкинской концепции противоречит второй: если Екатерина одна дает толчок своему веку, то почему словесность, как и народ, отказываются следовать за нею? Если она — ученица XVIII столетия, зачем же говорить о ее угождениях философам, т. е. отмечать ее неискренность, ее преднамеренные заискивания перед философскими авторитетами эпохи?

Для правильного понимания этого раздела пушкинского плана статьи «О ничтожестве литературы русской» необходимо привлечь «Заметки по русской истории XVIII века», в той их части, где говорится о царствовании Екатерины (XI, 15—17). В этих заметках, как мы видели, также упоминается ее «отвратительное фиглярство в отношениях с философами ее столетия». При истолковании записи Пушкина «Наказ» необходимо вспомнить, что говорил Пушкин об этом произведении Екатерины в «Заметках»: «Наказ ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный Наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования». Сочетанию «Екатерина. Фонвизин и Радищев» соответствует в «Заметках» следующее место: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княж-

<sup>45</sup> По факсимиле, приложенному к «Трудам Публичной библиотеки СССР имени Ленина» (вып. III, «Academia», 1934). Транскрипция и сводный текст М. А. Цявловского на стр. 19—21 этого издания, сводка С. М. Бонди в «Литературном наследстве» (кн. 16/18, стр. 440) и дальнейшие перепечатки в академическом и других изданиях сочинений Пушкина представляются мне не вполне отражающими ход мыслей поэта. В академическом издании (т. XI, стр. 496) вместо «угождения» напечатано «угождение», слова «Екат(ерина). Ф(он) Виз(ин) и Радищ(ев)», написанные сбоку слева от фразы «ее угождения философам. Наказ», почему-то перенесены ближе к абзацу, чем нарушается последовательность мыслей Пушкина.

нин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность».

Эти слова, впрочем, могут иметь, как мне кажется, и другое значение в зависимости от того, где их поместить (напомним, что они приписаны Пушкиным на полях). Если считать, что слова «Ее угождения философам» и «Наказ» являются ответом Пушкина на оспариваемый им тезис «Екатерина, ученица 18-го столетия», то, очевидно, фраза «Она одна дает толчек своему веку» опровергается всем дальнейшим содержанием анализируемого отрывка. В таком случае выходит, что в противовес мысли о руководящей и единственной роли Екатерины в развитии русской литературы XVIII века Пушкин выдвигает тезис о подлинном руководстве литературой со стороны Фонвизина и Радищева или по крайней мере об их полной самостоятельности и независимости. Тогда стоящая рядом фраза конспекта — «Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ (члены ко<миссии> — депутаты)» — является дальнейшим развитием мыслей Пушкина о руководящей роли не Екатерины, а Фонвизина и Радищева.

Очевидно, перечисленные за этой фразой имена Державина, Богдановича, Дмитриева, Карамзина и Радищева должны были характеризовать именно ту словесность, которая отказывалась следовать предначертаниям Екатерины; такое понимание подсказывается построением «плана» и не представляет трудности. Гораздо сложнее вопрос о понимании второй части фразы: «точно так же как народ (члены ко<миссии> — депутаты)». В «Заметках» о «Комиссии 1767 г.» говорится следующее: «Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие». Таким образом, может возникнуть предположение, что заключенными в скобки словами о депутатах Комиссии Пушкин имел в виду показать противоположность отношения к Екатерине народа и раболопного дворянства, верховодившего в Комиссии. Но гораздо вероятнее и даже, пожалуй, бесспорно вероятно другое толкование этих слов. Из литературы о Комиссии 1767 г. известна оппозиционная настроенность ряда депутатов — однодворцев, государственных крестьян, казаков, представителей национальных меньшинств и пр.; историками и литературоведами собраны яркие примеры антидворянской борьбы в Комиссии, защиты народных требований. Эти материалы свидетельствуют о том, что часть членов Комиссии — депутатов, выражавшая на тогдашнем этапе русской общественной истории интересы широких масс народа, безусловно, не следовала за Екатериной. Принимая во внимание превосходную осведомленность Пушкина в делах XVIII века, можно не сомневаться, что именно в таком смысле и надо понимать вторую часть анализируемой фразы.

Предлагаемый выше комментарий к плану статьи «О ничтожестве литературы русской» может вызвать возражения по основаниям хронологическим: «Заметки по русской истории XVIII века» датированы 1822 г., план статьи относят к 1834 г. Неужели за двенадцать лет исторические взгляды поэта не изменились? Согласиться с этими «хронологическими» возражениями никак нельзя. Самый ход мыслей Пушкина в цитированном отрывке плана таков, что не остается никаких сомнений, что в основе его лежал тот же самый круг идей, а возможно, и тот же самый фактический материал, которым были продиктованы кишиневские заметки 1822 года.

Подлинное отношение Пушкина к литературе XVIII века определялось, с одной стороны, естественным стремлением установить соединительные линии между современной поэту русской литературой и литературой предшествующего столетия, определить главную линию литературного процесса, найти в нем место для себя и указать своих прямых предше-

ственников, и, с другой, — продиктованным полемической тактикой отрицанием некоторых литературных авторитетов XVIII века; отсюда, может быть, и идет столь характерное для Пушкина выдвижение традиционно травимого Тредиаковского.

Если принять во внимание исключительную скудость в те годы печатных материалов по внутривосточной и культурной жизни России XVIII века, приходится удивляться огромной осведомленности Пушкина в важнейших событиях незадолго до него истекшего столетия, которыми определялось движение литературы. Очевидно, устное предание, рассказы старожил и, может быть, знакомство с семейными архивами некоторых деятелей XVIII века позволили поэту сделать ряд выводов, к которым наша историческая и историко-литературная наука пришли через много десятилетий, на основании изучения обильных архивных публикаций и иных источников.

Основные высказывания Пушкина по истории русской литературы XVIII века не были доступны его современникам и ближайшему поколению исследователей; полностью они были опубликованы только в советское время и по-настоящему до сих пор не осознаны во всей своей глубине и научной значительности. И несмотря на то что суждения Пушкина непосредственного влияния на литературную историографию не оказали, они должны быть сейчас, ретроспективно, признаны самым крупным явлением в истории изучения русской литературы XVIII века в первой трети XIX столетия. Главная заслуга Пушкина как историка русской литературы XVIII века заключалась в том, что он первым осознал и показал противоположность интересов русской прогрессивной литературы и самодержавия Екатерины II, что он наметил линию литературного развития от Фонвизина и Радищева к реалистическому творчеству 30-х годов XIX века, что он признал русскую литературу второй половины XVIII века явлением общественно независимым, отказавшимся следовать за Екатериной II. К сожалению, эта единственно правильная точка зрения еще очень долго не была принята в нашей литературной историографии.



В. В. ПУГАЧЕВ

## ПРЕДЫСТОРИЯ СОЮЗА БЛАГОДЕНСТВИЯ И ПУШКИНСКАЯ ОДА «ВОЛЬНОСТЬ»

### О времени создания оды «Вольность»

Ода «Вольность» среди пушкинских произведений занимает особое место. Это программно-прокламационное стихотворение с четкими политическими лозунгами, почти полностью совпадающими с установками и политической платформой Союза благоденствия. Сходство между ними настолько разительно, что Ю. Г. Оксман безоговорочно утверждает: «Все установки „Вольности“ определены, как известно, политической платформой Союза благоденствия».<sup>1</sup>

Чем же объясняется это сходство?

Политическая программа новой декабристской организации определена к началу 1818 года. Если пушкинская ода создана позже, тогда никакой загадки нет. Но если она появилась одновременно или даже раньше образования Союза благоденствия — а именно так полагает большинство исследователей, — тогда причины совпадения идейного содержания «Вольности» и политической программы Союза благоденствия не совсем ясны.

А поэтому следует прежде всего установить дату появления «Вольности».

Вопрос этот до сих пор остается дискуссионным. Мы полагаем, что «Вольность» была написана в декабре 1817 года или в начале января 1818 года. Развернутая аргументация в пользу этого содержится в книге Б. В. Томашевского.<sup>2</sup> Помимо аргументов, приводимых Б. В. Томашевским, о справедливости такой датировки говорит и еще одно весьма существенное обстоятельство.

4 декабря 1817 года С. И. Тургенев писал в дневнике: «Мне опять пишут о Пушкине как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакиваний самого себя пусть первая его песнь будет: свобода».<sup>3</sup>

Это место дневника явно представляет собой конспект письма, скорее всего к Н. И. Тургеневу. Такова была обычная манера младшего Тургенева — заносить в дневник наиболее важные мысли из своих писем. В данном случае перед словами о Пушкине в дневнике излагалось мнение о Жуковском: «Он поэт, но я ему скажу по правде, что пропадает талант его, если не всему либеральному посвятит он его. Только такими стихами можно теперь заслужить бессмертие; восхищая душу, поэты должны про-

---

<sup>1</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, стр. 184.

<sup>2</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 144—150.

<sup>3</sup> ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, архив братьев Тургеневых, ф. 309, л. 23, л. 14 об.

свещать умы».<sup>4</sup> Почти в тех же самых выражениях эта идея изложена в письме к самому В. А. Жуковскому: «Помните, что талант ваш не весь вам принадлежит, но и отечеству. Употребляйте его не только для себя, но и к просвещению России... Как бы приятно было видеть все дарования на стороне либеральных идей!.. Пишите же в пользу либеральности».<sup>5</sup>

Весьма вероятно, что и мнение о Пушкине было сообщено в письме к Н. И. Тургеневу, а через него и самому Пушкину. Начало «Вольности» — явный отклик на призыв С. И. Тургенева. Слова «Разбей изнеженную лиру», так же как и строки

Беги, сокройся от очей  
Цитеры слабая царица, —

ответ на слова С. И. Тургенева об «оплакивании самого себя».

Стих

Хочу воспеть Свободу миру

перекликается с советом младшего Тургенева посвятить первую песнь свободе. Характерно, что после декабря 1817 года ни один из братьев Тургеневых не упрекал больше Пушкина в «элегичности», в отказе от пропаганды свободолобивых идей. Вероятно, потому, что Пушкин уже создал «Вольность». Таков еще один аргумент в пользу датировки «Вольности» декабрем 1817 года.

«Вольность» была написана явно раньше сатир на Александра I. В оде нет личных выпадов против царя.<sup>6</sup> Между тем в «Noël» (появившемся в конце 1818 года) русский император характеризуется очень резко. Это тоже позволяет предполагать, что «Вольность» написана раньше конца 1818 года — с этого времени Пушкин постоянно «подсвистывал» царю.

К 1817 году ведут и «Автобиографические записки» Пушкина. В сохранившейся части рукописи говорится о произведениях, созданных накануне болезни поэта (т. е. до второй половины января 1818 года<sup>7</sup>): «...лины печатью вольномыслия».<sup>8</sup> Весьма вероятно, что речь идет именно о «Вольности»: других вольнолюбивых произведений Пушкина той поры мы не знаем.

Из тех же «Автобиографических записок» известно, какое огромное впечатление произвела на Пушкина «История государства Российского» Н. М. Карамзина, с которой поэт познакомился во время болезни в феврале 1818 года.<sup>9</sup> В «Вольности» же знакомство с нею не чувствуется. А между тем материал, опубликованный Карамзиным, был бы крайне выигрышным для Пушкина в его стремлении разоблачать деспотизм, показывать его ужасы.

Одновременно с «Вольностью» Пушкин передал Н. И. Тургеневу послание «Княгине Голицыной», поставив дату «1817», что лишний раз свидетельствует в пользу 1817 года.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 485.

<sup>6</sup> Мы принимаем истолкование отношения Пушкина к Александру I, изложенное в работе С. М. Бонди «Подлинный текст и политическое содержание „Воображаемого разговора с Александром I“» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 180—191).

<sup>7</sup> М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. Изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 147.

<sup>8</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, в 16 томах, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., т. XII, стр. 305. (В дальнейшем при ссылке на это издание даются только номера тома и страницы).

<sup>9</sup> Там же.



Правда, П. О. Морозов пытался оспаривать это, доказывая, что «Пушкин и в 1819 г., как впоследствии в 1825, хотел смягчить резкое впечатление своей оды, представив ее произведением „детским“, написанным уже давно».<sup>10</sup> Но это никак не похоже на Пушкина. Не убедительно и истолкование Морозовым слов: «Так я, бывало, воспевал мечту прекрасную свободы» — как признания того, что послание к Голицыной было написано не в 1817 году — иначе говорить в прошедшем времени об оде «Свобода» бессмысленно. Но ведь и до «Вольности» Пушкин не раз воспевал свободу, хотя и по-другому (например, в послании «К Лицинию».<sup>11</sup> О конституции же до «Вольности» Пушкин вообще не говорил.

В набросках «Воображаемого разговора с Александром I» самим Пушкиным вновь называется 1817 год. С. М. Бонди высказал весьма вероятное предположение, что это произведение предназначалось «для друзей Пушкина, принимавших то или иное участие в устройстве его судьбы».<sup>12</sup> Они, конечно, знали дату создания «Вольности», и Пушкин не мог в «Разговоре» неверно назвать год.

Есть еще несколько доводов в пользу 1817 года. В «Вольности», которую Пушкин писал под влиянием Тургенева, не ставится «крестьянский вопрос». Между тем с февраля 1818 года (когда Пушкин выздоровел) крестьянская проблема выдвигается Н. И. Тургеневым как центральная. 11 февраля 1818 года Н. И. Тургенев сообщал брату Сергею о своем намерении съездить летом в Симбирск и симбирскую деревню, «ибо надобно посмотреть, как живут наши крестьяне».<sup>13</sup> Летом 1818 года Н. И. Тургенев ездил в свою симбирскую деревню. И если бы «Вольность» писалась после этого, то антикрепостническая проблематика не могла бы в ней не отразиться.

Итак, ода «Вольность» была создана до выработки политической программы Союза благоденствия. А между тем она пропагандирует именно ее лозунги. Как же это произошло? Мы снова вернулись к вопросу, поставленному в самом начале статьи.

Ключ к его решению дает не история, а предыстория Союза благоденствия.

### Из предыстории Союза благоденствия

(Попытка Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова создать тайное общество в 1817 году)

Вопреки широко распространенной версии, будто Союз благоденствия образовался лишь на основе Союза спасения, его предыстория была гораздо более сложной. Наряду с кризисом, переживавшимся Союзом спасения, на создание Союза благоденствия повлияла попытка Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова создать в 1817 году тайное общество, по своей программе, тактике, организационной структуре предвосхищавшее Союз благоденствия.

Что же это за попытка?

В результате длительных и упорных архивных разысканий, тщательного анализа мемуарных и документальных первоисточников русскими до-

<sup>10</sup> П. Морозов. «Вольность». В кн.: Пушкин, Сочинения, под редакцией С. А. Венгерова, т. I, СПб., 1907, стр. 572.

<sup>11</sup> См.: А. Слонимский. Пушкин и декабрьское движение. В кн.: Пушкин, Сочинения, под редакцией С. А. Венгерова, т. II, стр. 506—508.

<sup>12</sup> «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 191.

<sup>13</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 252.

революционными и, особенно, советскими учеными точно установлено намерение Тургенева и Орлова создать в 1817 году в Петербурге тайное общество.<sup>14</sup> Однако его программа, организационная структура, тактика, соотношение с Союзом благоденствия до сих пор выявлены недостаточно.

Со времен В. И. Семевского и до наших дней в исторической науке бытует отождествление замышлявшегося Тургеньевым и Орловым в 1817 году тайного общества с «Орденом русских рыцарей», который М. А. Дмитриев-Мамонов и М. Ф. Орлов собирались организовать в 1814—начале 1815 года.<sup>15</sup>

Мы не можем согласиться с этим и полагаем, что тайное общество 1817 года ничего общего с «Орденом русских рыцарей» не имело. По своей программе, тактике, организационной структуре оно принципиально от-лично от «Ордена», зато близко к Союзу благоденствия, на организацию которого, на его политическую и тактическую платформу деятельность и взгляды Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова оказали большое воздействие.

Деятельность Тургенева и Орлова по созданию тайного общества в 1814—1817 годах была более сложной, чем это обычно изображается. М. Ф. Орлов участвовал не в одной, а в трех таких попытках, Н. И. Тур-геньев — в двух. При этом «Орден русских рыцарей» занимал в биографии Орлова весьма скромное место, в биографии Н. И. Тургенева — никакого.

На чем основывались В. И. Семевский и последующие авторы, отожде-ствляя «Орден русских рыцарей» с тайным обществом, которое пытались создать в 1817 году? Они основывались на книге Тургенева «Россия и русские», на его второй оправдательной записке и на показаниях Орлова на следствии. Но можно ли безоговорочно верить этим документам? Ду-мается, что нет.

Тенденциозность книги «Россия и русские» и оправдательных записок Тургенева относительно Союза благоденствия и последующих тайных обществ давно установлена. Но они явно недостоверны и применительно к 1817 году.

Ни вторая оправдательная записка, ни «Россия и русские» не дают оснований для безапелляционного отождествления «Ордена русских ры-царей» с тайным обществом, замышлявшимся в 1817 году. Во второй оправдательной записке Тургеньев рассказывал: «Когда я встретил его (Орлова, — В. П.) в С.-Петербурге, все его мысли были заняты франк-масонством; у него был проект восстановить это учреждение в таком виде, в каком оно существовало при Екатерине II, и придать ему политическую или скорее практическую цель. Его товарищем в этом предприятии был граф Мамонов, который питал особенную любовь к прежнему русскому масонству. Я лично никогда его не знал. . . Как кажется, граф Мамонов был посвящен в один из высших чинов прежнего масонства; генерал Орлов, знавший чин и формулу посвящения, внес в них некоторые изменения соответственно духу времени, но сохранив мистическую форму, господство-вавшую в прежнем обряде. Он показал мне свой проект, предложив сообщ-ить его некоторым моим знакомым, которые были масонами, для того

<sup>14</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 380—415; А. Н. Шебунин. Братья Тургеньевы и дворянское общество Александровской эпохи. В кн.: Декабрист Н. И. Тургеньев. Письма к брату С. И. Тур-геньеву, стр. 20—50; М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I. Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 132—138; С. Б. Окунь. Очерки истории СССР. Конец XVIII—первая четверть XIX века. Л., 1956, стр. 334; Ю. М. Лотман. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель. «Уче-ные записки Тартуского государственного университета», вып. 78, 1959, стр. 19—92.

<sup>15</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 132—138; А. Н. Шебу-нин. Братья Тургеньевы и дворянское общество Александровской эпохи, стр. 46—50.

чтобы они постарались ввести его в свои ложи. Я дал этот устав или церемониал приема одному своему знакомому, председателю одной ложи, и он был в восторге иметь символ прежнего русского масонства, некогда столь известного. В то же самое время генерал Орлов сказал мне, что он только что образовал ядро общества, основанное на этих реликвиях. Он назвал мне своих единомышленников, это были два адъютанта императора, генерал кн. М... и г. Б... Я их иногда встречал, но никогда не говорил с ними об этом обществе. Только раз последний, говоря о Союзе благоденствия, с которым предполагали соединить общество, проектируемое генералом Орловым, сказал мне, что они не видят надобности в слиянии этих двух обществ и что посмотрят сначала, как будет Союз действовать, и воспользуются как хорошими, так и плохими сторонами этой деятельности. И „политики“ же были эти господа!

«Основатели Союза благоденствия в действительности имели несколько свиданий с генералом Орловым, но они не были услышаны. Впрочем, эти переговоры были до моей встречи с генералом. Позднее последний, оставив свой проект полумасонского общества, присоединился к Союзу благоденствия».<sup>16</sup>

Тенденциозность и недостоверность тургеневской версии очевидны. В самом деле. Он говорит о 1817 году, а рассказывает о встречах Орлова с представителями Союза благоденствия, образовавшегося в 1818 году, да еще уверяет, что эти свидания были до его встречи с Орловым в Петербурге, которая произошла в 1816 году. Тургенев отмечает переговоры Орлова лишь с представителями Союза благоденствия, умалчивая о Союзе спасения, а он знал о них.<sup>17</sup> По Тургеневу получается, будто бы он вообще не принимал участия в попытках создать тайное общество в 1817 году. Все сказанное заставляет весьма скептически относиться к свидетельствам книги и оправдательных записок Н. И. Тургенева.

Нельзя полностью верить и показаниям М. Ф. Орлова. Во время следствия он не был заинтересован в раскрытии истины. Наоборот, ему было выгодно преуменьшить свою роль в истории тайных обществ, связать свою деятельность лишь с самыми «безобидными» организациями. Именно таким был «Орден русских рыцарей». И Орлов стремился доказать, будто в 1817 году он лишь продолжал попытки создания этого общества. Правда, М. Ф. Орлов более откровенен, чем Н. И. Тургенев. В показаниях от 13 января 1826 года он прямо называет 1817 год как дату сообщения Тургеневу о замышляемом обществе.<sup>18</sup> В показаниях же 4 января 1826 года Орлов близок к признанию того, что в 1814 и 1817 годах он пытался создать разные общества. В самом деле, в «Записке о тайном обществе» под пунктом 1 читаем: «Я возвратился из чужих краев 1814 года уверенный, что Тугенд-Бунд было одно из деятельнейших средств, употребленных для спасения Пруссии и Германии, и вознамерился сделать тайное общество, составленное из самых честных людей, для сопротивления лихому и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России. Я взошел в переписку с графом Дмитриевым-Мамоновым по сему предмету, и, установив несколько мыслей между нами, мы готовили общий план, который хотели предложить на утверждение его императорскому величеству, надеясь, что государь, так же как его вели-

<sup>16</sup> Николай Тургенев. Россия и русские. Первое русское издание. Часть I. М., 1907, стр. 112—113.

<sup>17</sup> М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов, вып. I. Киев, 1906, стр. 4; Восстание декабристов. Материалы, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 305.

<sup>18</sup> М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов, вып. I, стр. 25. По словам Орлова, Тургенев «тогда нашел мысль сию неисполнительной». Совпадение такого утверждения Орлова и Тургенева понятно — после 1822 года, когда Орлову угрожал арест, приятели могли договориться об общей линии поведения на следствии.

чество» король прусский для Тугенд-Бунда, возьмет нас под свое покровительство. Сия странная мысль, внушенная однако же чистым желанием добра, недолго нас занимала, ибо другие обстоятельства возникли». <sup>19</sup> А в пункте 3 Орлов, по существу, говорит о попытке организовать другое тайное общество в 1817 году.

Упомянув в пункте 2, что «вскоре разнеслись слухи о восстановлении Польши Александром I», и заявив в пункте 3: «Обстоятельства 1815 года и пребывание мое в Париже большую часть 1816 года не позволили мне заниматься сими предметами до самого возвращения в Россию», Орлов далее пишет: «Тогда предубежденный будучи, что восстановление Польши не могло столь сильно быть поддерживаемо русским правлением без влияния польского тайного общества над намерениями и волею государя, я вознамерился к первому моему предмету присоединить и другой, то есть: противопоставить польскому русское тайное общество. Из сего видно, что план оногo уже предложенным на высочайшее утверждение быть не мог. Сим занимался я конец 1816 и начало 1817 г., но ни намерение мое, ни труд мой к концу приведены не были и все осталось без исполнения». <sup>20</sup>

О Дмитриеве-Мамонове Орлов не упоминает. И действительно переписка между ними о тайном обществе к этому времени прекратилась. Он называет другие имена: «Стараясь приклонить к намерениям моих молодых людей, я говорил о сем бывшему правителю канцелярии малороссийского генерал-губернатора Новикову или Александру Муравьеву». <sup>21</sup>

Итак, ни мемуары Тургенева, ни показания Орлова не могут служить доказательством тождественности замышлявшихся тайных обществ. Чтобы разобраться в «Ордене русских рыцарей» и в попытке создания тайного общества в 1817 году, обратимся к документам, появившимся в те годы, а не позднее.

Сохранились проекты программных документов «Ордена» и переписка о них. <sup>22</sup> Все программные проекты «Ордена» написаны рукою М. А. Дмитриева-Мамонова и датируются 1814—1815 годами, и лишь так называемый «Краткий опыт» — декабрем 1815—январем 1816 года. <sup>23</sup> В более позднее время М. А. Дмитриев-Мамонов подобных документов не разрабатывал, вероятно потому, что деятельность по созданию «Ордена русских рыцарей» прекратилась.

Программные проекты «Ордена», написанные рукою Мамонова, выражают его взгляды. Нет никаких оснований утверждать, что с ним был согласен М. Ф. Орлов. Нет ни одного доказательства в пользу этого предположения, зато есть факты, свидетельствующие о несогласии Орлова с мамоновскими проектами.

М. В. Нечкина, анализируя содержание одного из проектов Мамонова — «Пунктов преподаваемого во внутреннем Ордене учения», справедливо отмечает, что в целом это личный черновой набросок Мамонова, в некоторых отношениях не совпадающий со взглядами Орлова. <sup>24</sup>

Судя по сохранившимся письмам Мамонова к Орлову, последний тоже работал над какими-то программными документами. Они до нас не дошли,

<sup>19</sup> Там же, стр. 3.

<sup>20</sup> Там же, стр. 3—4.

<sup>21</sup> Там же, стр. 4.

<sup>22</sup> ЦГИА, ф. 48, оп. 1, д. 15, «Дело об отобранных бумагах у графа Дмитриева-Мамонова, касающихся до масонских лож. Тут же шифр для тайной переписки и проект республиканской конституции».

<sup>23</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 136—138; В. И. Семевский и И. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 386—413.

<sup>24</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 135.

но кое-какие сведения о них можно почерпнуть из писем Мамонова к Орлову. В одном из них Мамонов высказывал мнение, что Орлов мог бы разбить свое «сочинение на главы: 1) о наследственных и избирательных коронах; 2) о религиозной и политической терпимости, а по этому поводу и о свободе печати; 3) о генеральных штатах, и о больших съездах при дворе... о их происхождении, были ли они в России; 4) крупные феодалы (fiefs); 5) о вероятном будущем европейских наций, о естественных союзниках и прирожденных врагах России; 6) о конституционных законах, которые пригодны для великих наций, и в частности для России; 7) о завоеваниях; 8) о религиозных расколах и т. д.»<sup>25</sup>

Мы не знаем, знал ли Орлов советам Мамонова. Но и так очевидно, что Орлов интересовался другой проблематикой, чем Мамонов. К тому же все это относится к 1814—1815 годам, позже переписка между Орловым и Мамоновым о тайном обществе прекращается.

Все это говорит о том, что «Орден русских рыцарей» занимал в биографии Орлова не слишком большое место.

В конце 1815—начале 1816 года за границей Н. И. и С. И. Тургеневы совместно с М. Ф. Орловым пытались создать (без участия М. А. Дмитриева-Мамонова) новое тайное общество, по программе и организационным формам отличающееся от «Ордена русских рыцарей».

В состав его предполагалось включить русских офицеров и чиновников, находившихся во Франции и Германии. Братьев Тургеневых (Николая и Сергея) в то время окружали вольнолюбцы: Н. А. Старынкевич, братья Перовские, А. А. Мериан, М. А. Габбе, близки к ним были А. Н. Раевский, С. Г. Волконский. Никто из них не разделял либерально-аристократических воззрений М. А. Дмитриева-Мамонова, и прежде всего братья Тургеневы, сторонники буржуазно-демократических свобод, конституции, освобождения крестьян. Н. И. Тургенев 31 декабря 1815 года (ст. ст.) записал в дневнике: «Весьма было бы полезно для общего мнения напечатать у нас в России о состоянии рабства в средних веках и о средствах, употребленных к уничтожению оногo... Наши дворяне увидели бы, что и в самые варварские времена состояние крестьян было лучше, нежели состояние их мужиков в сии просвещенные и в особенности для России столь славные времена. Они бы увидели, что везде умные и добрые и даже только что знающие общую пользу правительства стремились к уничтожению рабства. Это бы их, может быть, несколько удостоверило, что рабское состояние не так натурально, как они думали, и не так необходимо для благоденствия народного, как они воображали».<sup>26</sup> При этом Н. И. Тургенев склонялся к освобождению крестьян с землей. 24 июля 1816 года он записывал в дневнике: «...решить собственность земли нельзя ли без несправедливости объявить, что половина земли принадлежит господину, другая — крестьянам. Для пользы дворян, имеющих много земли и мало крестьян, можно определить тахитим участка крестьянина».<sup>27</sup> А 21 августа в дневник заносилось: «Можно, например, у нас дать каждому крестьянину в вечное владение известные участки земли. Притом дать им право и возможность покупать новые земли, но запретить

<sup>25</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 402.

<sup>26</sup> Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811—1816 годы (т. II). Изд. ОРЯС имп. Академии наук, СПб., 1913, стр. 312. (В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Дневники Н. И. Тургенева, с указанием номера тома и страницы).

<sup>27</sup> Там же, стр. 337.

продавать наследственный участок, который можно даже сделать исключительно собственностью старшего в роде».<sup>28</sup>

Очень существенная мысль содержится в записи от 20 июля: «Важный вопрос при освобождении крестьян — собственность земли. Почему она более принадлежит помещику, нежели крестьянам? Но вот что можно между тем делать при постепенном освобождении. Сделать начало с казенными крестьянами. Дать землю, на коей они живут, им во владение. Кто потерпит от того? Общество выиграет. Имея таким образом вольных и имеющих собственность, должно будет определить неперменными их повинности».<sup>29</sup>

Взгляд на способ освобождения крестьян во многом определил отношение Н. И. Тургенева к формам правления. Не веря в дворянскую инициативу в деле освобождения «белых негров», Н. И. Тургенев большие надежды возлагал на Александра I. 25 апреля 1816 года Тургенев записал в дневнике: «Я уверен весьма, что полезные перемены могут быть сделаны только правительством».<sup>30</sup> И поэтому Тургенев, хотя и был сторонником демократических свобод, конституции, однако не считал нужным торопиться с ограничением самодержавия в России — пусть сначала оно освободит крестьян. Это не раз вызывало резкие споры с идеологами аристократического либерализма.

В «России и русских» Н. И. Тургенев вспоминал: «Поглощенный работой о крепостном праве, я мало занимался „политическими свободами“ и конституцией, хотя относился к ним далеко не безразлично. Я имел определенные взгляды по основным вопросам государственного строя — народное представительство, свободу прессы, равенство перед законом, законодательную, исполнительную и судебную власти, и я никогда не отказался бы приложить все свои силы, даже пожертвовать собой, чтобы добиться гарантии этих великих свобод, но только после уничтожения рабства ... Когда во время разговора я замечал, что мой собеседник мечтает о политической свободе без освобождения крепостных, я так негодовал, что со стороны могло казаться, что будто бы я защищал абсолютную власть ... с высокопоставленными людьми, пропитанными аристократизмом и мечтавшими прежде всего о палате пэров и т. п., беседа бывала очень страстной, даже ожесточенной, так что я даже начинал превозносить самодержавие для рабской страны ... аристократическое ослепление чрезвычайно возмущало меня».<sup>31</sup>

Эти воспоминания относятся к периоду деятельности Союза благоденствия. Но то же самое было и в 1816 году. И тогда Н. И. Тургенева беспокоило, как бы ограничение царской власти не помешало освобождению крестьян. Запись от 24 июля 1816 года говорит о тех же размышлениях: «Замечательно, что в Англии от ограничения верховной власти получили пользу высшие и вместе низшие классы народа». Великая хартия вольностей, «может быть, единственный пример в истории, что от ограничения власти верховной, выгодного для дворянства, пользовался вместе и простой народ».<sup>32</sup>

Тургенев много думал о том, как можно ограничить русское самодержавие, вести представительное правление, не повредив делу освобождения крестьян. Именно с этой точки зрения он подходил к созданию русского парламента. 25 апреля 1816 года Тургенев записывал в дневнике, что

<sup>28</sup> Там же, стр. 338.

<sup>29</sup> Там же, стр. 336—337.

<sup>30</sup> Там же, стр. 329.

<sup>31</sup> Николай Тургенев. Россия и русские. М., 1907, стр. 59—60.

<sup>32</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. II, стр. 337.

в России пока не нужно вводить палаты депутатов. От нее «нельзя теперь ожидать ничего полезного», — писал он, вероятно потому, что дворянство, которое составило бы большинство в палате, мешало бы уничтожению крепостничества. Зато Тургенев выдвигал идею создания весьма своеобразной палаты пэров. Ее члены «не будут иметь крепостных людей». Поэтому они поддержат «либеральную систему, которую может ввести правительство». Если такая «система введется», то палата пэров «предохранит ее от разрушения в последующих царствованиях».<sup>33</sup> Наиболее полно свои мысли о желательности постепенных реформ в России Н. И. Тургенев изложил в специальном «проекте», внесенном в дневник 2 июня 1816 года. Все реформы должны быть проведены в течение 25 лет, которые разделяются на пять пятилетий.

В первый период составляется кодекс законов, реформируется внутреннее управление, реорганизуется финансовая система. Во второй период продолжается реформа внутреннего управления. В третий период следует «заняться образованием пэров. Сей класс граждан не «должен»<sup>34</sup> ослабить власти престола, но напротив; ибо об ограничении самодержавной власти думать еще нельзя. Так как перами могут быть только такие, кои не имеют крепостных людей, то они, по естественному ходу вещей и страстей, могут только что содействовать правительству в общем освобождении. К тому же права пэров могут быть первоначальным положением ограничены в течение 10 или 15 лет, так чтобы влияние их могло только всегда споспешествовать видам правительства, но никогда оному противиться. Все в России должно быть сделано правительством; ничто самим народом. Если правительство ничего не будет делать, то все должно быть предоставлено времени, ничто народу. Таким образом, через 15 лет мы имеем законы, финансы, внутренний порядок и пэров. Сии должны вместе с правительством произвести главнейшее дело в течение 4-го периода: полное уничтожение рабства. В течение 5-го периода введется народопредставление. Самодержавная власть ограничится, но не так, как в Англии и во Франции и проч.: у нас она всегда должна быть сильнее: могущество, сила и внешняя слава России сего требуют».<sup>35</sup>

Разумеется, что такие взгляды были несовместимы с либерально-аристократической программой М. А. Дмитриева-Мамонова. Не мог с ней согласиться и С. И. Тургенев, настроенный особенно радикально. Во время войны 1812—1814 годов и особенно после нее, в период реставрации, С. И. Тургенев пришел к выводу, что французская революция не была случайностью, что она знаменует начало новой эпохи. Он полагал, что завоевания революции уничтожить невозможно. Попытки реакции повернуть колесо истории вспять казались ему обреченными на провал.

С. И. Тургенев был убежден, что реакционная политика Бурбонов вызывает новую революцию во Франции, отмечал отсутствие авторитета у французских Бурбонов. 5/17 июля 1815 года он записывал в дневнике: «В общем мнению большая перемена, и король много потерял своим поведением в глазах французов».<sup>36</sup> Только иностранные войска сдерживают революционный взрыв во Франции. 10 февраля 1817 года была опубликована нота Англии, Австрии, Пруссии и России о сокращении численности оккупационных войск во Франции. Уже 1 апреля 1817 года С. И. Тургенев подал М. С. Воронцову записку «Quelques réflexions sur le renvoi d'une cin-

<sup>33</sup> Там же, стр. 328—329.

<sup>34</sup> Е. И. Тарасов ошибочно воспроизвел: ««может»».

<sup>35</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. II, стр. 333—334.

<sup>36</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 2578, «Парижский дневник» С. И. Тургенева, л. 4.

quième de l'armée d'occupation»,<sup>37</sup> где доказывал преждевременность предполагаемого сокращения войск, считая, что русский корпус должен остаться во Франции целиком. «Главное сдерживающее начало для французов есть присутствие союзников, и в особенности русских, которых они ненавидят менее, а уважают и боятся более, чем других».<sup>38</sup> С. И. Тургенев подчеркивал, что сокращение оккупационной армии может привести к усилению борьбы политических партий во Франции и к заметному ослаблению влияния союзников на политику французского правительства. «Легкомыслие, председательствующее в совете министров нынешнего состава, легко убедит их, что Бурбонов поддерживает не союзная армия, а их удивительная администрация. Оппозиция не более рассудительна, она даже думает, что одни только союзники мешают ей сделать все хорошие вещи, которые она намеривается установить для приведения Франции в состояние, ей подходящее или, правильнее, подходящее ультрам. Антибурбонисты ничего не желали бы лучшего, так как каждый из них имеет свой проект относительно Франции и своего человека для приведения этого проекта в исполнение. В результате все партии соединятся на требовании нового сокращения союзной армии. Тем временем дружба между дворами может легко охладеть, и они, возможно, будут стремиться к разрыву единственной связи, их соединяющей, т. е. оккупационной армии, объединенной одной целью и приказами одного вождя».<sup>39</sup> Поэтому лучше оставить во Франции армии великих держав и вывести отряды мелких государств. Однако в то же время следует подумать об укреплении конституционной монархии и другими средствами, кроме военных. «Возвращение к конституции, вызванное по крайней мере отчасти советами иностранных государей, и покровительство, оказываемое французским правительством тем, кто наиболее заинтересован в сохранении существующего строя и коими слишком пренебрегали в течение последнего года, могут быть включены в число этих хороших средств». Не верил С. И. Тургенев и в прочность реставрации дореволюционных порядков в Германии. 10/22 мая 1816 года он приводит в дневнике высказывание Штруве о том, что «в Германии все спокойно, хотя народы и ссорятся с правительствами за конституцию». «Хорош покой!»,<sup>40</sup> — иронически замечает Тургенев.

С. И. Тургенев отмечал огромное прогрессивное влияние французской революции на развитие новых, более прогрессивных государственных форм в целом ряде государств Европы и Америки.

В дневниковой записи от 14/26 октября 1815 года содержится любопытная полемика с критиками французской революции. «Как странно сложились рассуждения о конце мира, о вреде, происходящем от просвещения, и подобных вещах! Можно ли судить о мире по малейшей части оного, по Европе? И если в ней все идет дурно, то, напротив, в Северной Америке цветет республика, а в южной восстают новые свободные государства. Правда, что в южной Европе очень, очень худо, и недавно погиб еще защитник свободы Испании — генерал Порнье; правда, что Франция спасена может быть только сильным деспотизмом. Но посмотрим и на север. Просвещение достигает величайшей цели в Пруссии, где основывается репрезентация народная, уже существующая в Швеции. И бог знает, что еще будет с великою Россиею. Дорога к просвещению длинна и пересечена

<sup>37</sup> «Несколько мыслей об отзывании пятой части оккупационных войск» (франц.). ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 1859, лл. 1—4. (Цитаты из этого документа, приводимые далее, даны в переводе с французского).

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 18, л. 52 об.



пропастями, поглощающими иногда целые государства; но, признаюсь, кажется, что мы вступаем в щастливую эпоху просвещения, приближаемся к цели оною, к общественной свободе, которая одна делает граждан и государства щастливыми. Надобно жителям севера, кажется, стараться отстранить себя от юга, так как здоровых надо отделять от зараженных чумою; но для этого надо как можно избегать вступать в дела южной Европы. Покуда мы все вместе с ней будем делать, потуда она нам мешать будет».<sup>41</sup>

Много думая о последствиях французской революции, С. И. Тургенев был убежден в неизбежности новой революции в Европе и России.<sup>42</sup>

Революция должна уничтожить крепостное право и ввести представительное правление, конституцию, но не аристократическую, а буржуазно-демократическую. Аристократические проекты вызывали резкие возражения С. И. Тургенева.<sup>43</sup> Вообще, к привилегированному положению дворянства С. И. Тургенев относился неодобрительно.

Такие взгляды были несовместимы с аристократическими проектами М. А. Дмитриева-Мамонова. Задумывая создание тайного общества, братья Тургеневы имели в виду совершенно другую программу, нежели та, которая предполагалась в «Ордене русских рыцарей». И с Орловым оказалось нетрудным договориться — его взгляды тоже не совпадали с мамоновскими. Правда, Орлов считал, что за потерю крепостных дворянство должно быть вознаграждено «иным правом», по-видимому политическим, конституцией. Это вызывало возражение С. И. Тургенева, считавшего, что крепостничество «не может быть правом, — можно ли требовать вознаграждения за потерю того, чем несправедливо владеют?».<sup>44</sup> В целом же взгляды Орлова были ближе к тургеньевским, чем к мамоновским. 16/28 ноября 1815 года С. И. Тургенев писал Н. И. Тургеневу: «Вчера я короче познакомился с Михайлом Орловым. Сидя у княгини Голицыной . . . . он проповедовал либеральные идеи, и я его поддерживал . . . . Он, между прочим, объявил, что все Тургеневы дышат свободою, но законною».<sup>45</sup>

<sup>41</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 18, л. 10—10 об.

<sup>42</sup> Подробнее об этом см. в нашей статье «Общественно-политические взгляды С. И. Тургенева (к вопросу о формировании революционной идеологии декабристов)» в журнале «Исторические науки. (Научные доклады высшей школы)» (1960, № 4, стр. 94—99).

<sup>43</sup> Там же, стр. 102.

<sup>44</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 23, л. 66.

<sup>45</sup> ЦГИА, фонд Тургеневых (1094), оп. 1, д. 160, лл. 3 об.—4.

Вообще, политические взгляды Орлова в 1814—1815 годах были гораздо более радикальными, чем их изображал В. И. Семевский. Основываясь на одном из писем М. Ф. Орлова к Жозефу де Местру в 1814 году, написанном по поводу переизданного в том же году сочинения Местра «*Considérations sur la France*», Семевский полагал, что Орлов был менее «либерален», чем можно было бы ожидать. Действительно, в начале письма Орлов дает самую лестную оценку реакционному сочинению Местра (впервые появившемуся в 1796 году и переизданному, как уже отмечалось, в 1814 году). Орлов писал Местру, что его произведение принадлежит к числу тех аксиом, «которых не доказывают, так как они не нуждаются в доказательствах». Но значит ли это, что Орлов полностью согласен с Местром? Отнюдь нет. Он просто говорит комплимент всемирно знаменитому автору, приславшему Орлову экземпляр своей книги. Не заинтересовать Орлова она не могла. В книге, вышедшей в 1796 году, говорилось о неизбежности реставрации Бурбонов. В 1814 году это было по крайней мере любопытно. К тому же Жозеф де Местр, называвший революцию «наказанием Божиим», отмечал все же ее историческую неизбежность. Это и заинтересовало Орлова, своеобразно интерпретировавшего книгу реакционного публициста. «Эпоха французской революции — великая эпоха: это возраст зрелости и разума. Конец ее также весьма достопримечателен: в нем видна рука божия — это век веры. Следствием этой громадной катастрофы является возвышенный урок народам и королям. Это пример, данный для того, чтобы

По-видимому, в это время инициатива создания общества принадлежала Н. И. Тургеневу.<sup>46</sup> Но первая попытка в этом направлении, относящаяся к началу 1816 года, не удалась. Осенью 1816 года Н. И. Тургенев возвратился в Россию, а вскоре на родину вернулся и М. Ф. Орлов. И теперь оба они предприняли новую попытку создать тайное общество, во многом превосходявшее Союз благоденствия. Инициатива и на этот раз принадлежала Н. И. Тургеневу. Общественно-политические взгляды его в конце 1816—1817 годов быстро радикализировались. Возвращение в Россию, ежедневное наблюдение феодально-крепостнических порядков способствовало дальнейшему его «полевению». По пути на родину, 12/24 сентября 1816 года он писал С. И. Тургеневу: «Чем более приближаюсь я к России, тем более грусть мешается к размышлениям моим о любезном, великом, но во многих отношениях неизвестном отечестве. Можно ли мне будет привыкнуть еще раз смотреть на такие вещи, которые бы я и в аду не хотел видеть, но которые на всяком шагу в России встречаются? Можно ли будет хладнокровно опять видеть наяву то, о чем европейцы узнают только из путешествий по Африке? Можно ли будет, без сердечной горести, видеть то, что я всего более люблю и уважаю, русский народ, в рабстве и унижении? В отдалении то, что у нас есть хорошего, представляется только нашему воспоминанию в приятном виде, подобно золотым шпицам Петербурга или святой Москвы, которыми любуются путешественник, не видя в внутренности города ни съезжей, ни полицейских, ни губернских правлений и еще более уголовных палат! Вблизи все представляется в своем настоящем виде; тиранство, варварство ограничивают взор... Но что делать? Я решился ехать в Россию и не оставлять ее, есть ли возможно; быть свидетелем ее счастья и несчастья».<sup>47</sup>

Но Н. И. Тургенев не собирался быть наблюдателем — он хотел бороться. В том же письме говорилось: «В Лейпциге видел я Шварца, который мне рассказывал кое-что о старых наших масонах. Вряд ли есть у нас такие люди, как тогда. Соколович показывал мне тогдашний журнал „Живописец“, издававшийся Новиковым. И тогда осмеивали ужасным образом рабство. Но какая была от того польза? Все заставляет меня думать, что время — плохой врач в болезни несчастья народного. Пульс его бьется веками».<sup>48</sup> Как отмечалось выше, в проекте реформ, набросанном 2 июня 1816 года, Тургенев заявлял: «Если Правительство ничего не будет делать, то все должно быть предоставлено времени, ничто народу».<sup>49</sup>

Теперь же Тургенев пишет иначе: «Тогда только делается хорошее, когда люди ускоряют ход времени. А теперь даже с временем итти не хотят и удерживают ход его железными цепями!».<sup>50</sup>

Российская действительность превзошла самые мрачные ожидания Н. И. Тургенева. 7 ноября 1816 года он записывал в дневнике: «Порядок и ход мыслей о России, который было учредился в голове моей, совсем расстроился с тех пор, как заметил везде у нас царствующий беспорядок. Положение народа и положение дворян в отношении к народу, со-

ему не подражать. Это одно из тех великих бедствий, которыми был поражен род человеческий». См.: В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 382—384.




<sup>46</sup> О попытке создания этого тайного общества см. нашу статью «Из предыстории декабристского движения» («Научный ежегодник Саратовского государственного университета за 1955 год», 1958, стр. 40—45).

<sup>47</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 198—199.

<sup>48</sup> Там же, стр. 199. (Курсив мой, — В. П.).

<sup>49</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. II, стр. 334 (курсив мой, — В. П.).

<sup>50</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 199. (Курсив мой, — В. П.).

стояние начальственных властей, все сие так несоразмерно и так беспорядочно, что делает все умственные изыскания и соображения бесплодными». <sup>51</sup> 17 декабря 1816 года Н. И. Тургенев иронически писал брату Сергею Ивановичу: «Видно, Россия долго еще не будет представлять ничего истинно нового». <sup>52</sup> На какой-то короткий промежуток времени у Н. И. Тургенева опустились руки. Он не видел силы, способной обновить Россию. Окружавшие его люди казались ему консерваторами, противниками прогресса, «хаммами». Вспоминая свое окружение во Франции и Германии, тех людей, которых он собирался сделать членами тайного общества, Н. И. Тургенев с горечью записывал в дневнике 29 ноября 1816 года: «Как горько от благородных мечтателей переселиться к недалеким эгоистам, которых суждения — эгоизм, которых инстинкт — эгоизм, и всегда эгоизм сей неразлучен с невежеством, варварством и часто с пороком!». <sup>53</sup> Месяцем раньше, 29 октября, Н. И. Тургенев писал брату Сергею: «Не видал здесь еще ни одного человека, с которым бы можно мне было говорить о любимой моей материи. Либеральности не вижу ни в ком; даже и брат Александр Иванович отклонился совсем от истинных правил и пустился в обскурантизм и сделался . <sup>54</sup> Хваленый их Карамзин подлинно кажется умным человеком, когда говорит о русской истории; но когда говорит о политике ... то кажется ребенком и . Блудов тоже . Поэт их Батюшков Idem». <sup>55</sup>

Личные связи Н. И. Тургенева свели его с литературным обществом «Арзамас», и оно вначале разочаровало его. 12 ноября 1816 года Тургенев записывал в дневнике: «Вчера был я при заседании Арзамаса. Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое». <sup>56</sup> И Тургенев возмущался аполитичностью «Арзамаса» и вообще русской литературы. 30 ноября 1816 года он писал младшему брату: «О состоянии нашей литературы тебе ничего не могу сказать, ибо я ею не занимаюсь. Но мне кажется, что она в худшем состоянии теперь, нежели была прежде ... Здешние тористы, как-то: Блудов, Дашков и другие, к коим присоединился в почетные и безгласные члены и Александр Иванович, соединившись в общество, под названием *Арзамаса*, утешают себя, и только что себя, критикою и посмеянием дурных писателей и похвалами Карамзину». <sup>57</sup> Резко отзываясь Н. И. Тургенев и о русских журналах. 1 апреля 1817 года он сообщал С. И. Тургеневу: «В Духе Журналов, кроме глупостей, ничего не печатается». <sup>58</sup> Осуждал он и «Сын отече-

<sup>51</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, Пгр., 1921, стр. 5.

<sup>52</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 205.

<sup>53</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 9.

<sup>54</sup> Знак, обозначавший слово «Гасильник». Этот термин введен в употребление парижской газетой «Nain Jaune», где в № 5 (от 5 января 1815 года) были напечатаны «Органические статуы ордена „Гасильник“», а в № 13 (от 15 февраля) — протокол заседания, где впервые употреблен этот значок, обозначавший членов ордена «Гасильник». С этого времени термин «гасильник» стал нарицательным, как название реакционеров, невежд, «гасивших» свет просвещения.

<sup>55</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 200.

<sup>56</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 7.

<sup>57</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 204.

<sup>58</sup> Там же, стр. 218.

ства», — его издателя Н. И. Греча Тургенев резко критиковал во вступительной речи на заседании «Арзамаса».<sup>59</sup>

Но Тургенев довольно быстро оправился от временной растерянности. Он пытается вовлечь в борьбу тех людей, взгляды которых в какой-то мере были прогрессивными. Не будучи полными единомышленниками Н. И. Тургенева, они могли стать его союзниками. Н. И. Тургенев обращается прежде всего к «Арзамасу», стремясь превратить его из литературного в литературно-политическое общество, в легальный филиал тайной организации. Попытка эта представляет тем больший интерес, что в числе членов «Арзамаса» был и А. С. Пушкин. Деятельность Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова в «Арзамасе» давно привлекает внимание ученых. Но даже исследователи, которые связывали «Арзамас» с историей тайных обществ, не отмечали намерений Тургенева и Орлова создать из него легальный филиал тайной организации.<sup>60</sup> А нам представляется, что суть дела именно в этом.

Правда, вначале Тургенев ставил более скромную задачу — привлечь арзамасцев к общественно-политической борьбе, придать этому литературному объединению политический характер и лишь впоследствии задумал превратить «Арзамас» в легальный филиал замышлявшегося тайного общества.

Мы не можем точно сказать, когда Н. И. Тургенев изменил отношение к «Арзамасу» и решил вступить в него. Первое свидетельство об этом находим в дневниковой записи от 11 января — Н. И. Тургенев набросал проект вступительной речи.<sup>61</sup> Вступил же он в «Арзамас» 24 февраля 1817 года.<sup>62</sup>

Почти одновременно решил войти в «Арзамас» и М. Ф. Орлов. 25 февраля 1817 года, сообщая С. И. Тургеневу о своем вступлении в «Арзамас», Н. И. Тургенев писал: «В будущее заседание, вероятно, будет принят в Арзамас Михаил Орлов».<sup>63</sup>

16 марта М. Ф. Орлов присутствовал на заседании «Арзамаса» и получил кличку Рейн.<sup>64</sup> 1 апреля Н. И. Тургенев сообщил младшему брату: «Михаил Орлов вступил в Арзамас и в первом заседании будет говорить речь».<sup>65</sup> 10 мая тому же адресату сообщалось: «Михаил Орлов вступил в Арзамас и сказал прелестную речь».<sup>66</sup> И Тургенев, и Орлов пытались ставить на обсуждение арзамасцев политические вопросы. Н. И. Тургенев во вступительной речи, сохраняя шутливый тон, присущий «Арза-

<sup>59</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 18—19.

<sup>60</sup> А. Н. Ш е б у н и н. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи. В кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 26—66; Д. Д. Б л а г о й. Социально-политическое лицо «Арзамаса». В кн.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933; Ю. Г. О к с м а н. Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века. В сб.: Очерки из истории движения декабристов, ред. Н. М. Дружинина и Б. Е. Сыроечковского, М., 1954, стр. 498; М. К. А з а д о в с к и й. Затерянные и утраченные произведения декабристов. «Литературное наследство», т. 59, кн. I, М., 1954, стр. 631—635; Б. В. Т о м а ш е в с к и й. Пушкин. Книга первая, М.—Л., 1956, стр. 109—114, 137—142; Б. С. М е й л а х. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 260—281.

<sup>61</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 17—20.

<sup>62</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 42, 213.

<sup>63</sup> Там же, стр. 213. Одновременность решения вступить в «Арзамас» заставляет предположить какой-то контакт между Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым. Правда, как сообщает в этом же письме Тургенев, они с Орловым еще не виделись. Но переписка между ними вплоть до возвращения Орлова в Петербург была довольно оживленной.

<sup>64</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 196—197.

<sup>65</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 218.

<sup>66</sup> Там же, стр. 222.

масу», затронул необычную для этого дружеского литературного объединения тему — свободу печати. Он обрушился на речь Н. И. Греча на отчетном заседании Публичной библиотеки 4 января 1817 года, высмеяв его проповедь «благоразумной свободы» печати, под наблюдением цензуры.<sup>67</sup>

Еще более определенно о необходимости обратиться к актуальной политической проблематике говорилось во вступительной речи Орлова. Уклонившись от шуточного тона традиционных арзамасских речей, он призвал членов литературного дружеского общества избрать «цель, достойнейшую... теплой любви к стране русской... Тогда-то просияет между ними луч отечественности и начнется для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы».<sup>68</sup>

Н. И. Тургенев вспоминал про орловскую речь: «Не одобряя установившегося обычая произносить шуточное слово, он обратился к обществу с серьезной речью, доказывая в ней, что недостойно умных людей занимать ее пустяками и литературными ссорами в то время, когда состояние родной страны представляет такое обширное поле деятельности способностям и дарованиям всякого преданного обществу благому человека. Он заклинал своих новых собратиев оставить их мальчишеские забавы и приняться за задачи более благородные и тяжелые. Его речь произвела впечатление; все почувствовали справедливость его упреков и советов».<sup>69</sup>

Орлов был очень настойчив. М. К. Азадовский доказал, что Рейн произнес в «Арзамасе» не одну речь (как считалось до сих пор), а две. О второй из них рассказывает Ф. Ф. Вигель: «Показалось Орлову, что свободная стихия достаточно наполняет „Арзамас“, чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание было открыто в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горечью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия Общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного».<sup>70</sup>

Поскольку в тексте орловской речи, опубликованной в «Арзамасе и арзамасских протоколах», ни слова не сказано об умножении числа членов, создании филиалов общества, М. К. Азадовский высказал совершенно резонное предположение, что Ф. Ф. Вигель свидетельствует о второй речи Орлова.<sup>71</sup> Заметим, что Вигель явно повествует не о вступительной речи, и это подкрепляет гипотезу М. К. Азадовского.<sup>72</sup>

<sup>67</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 19.

<sup>68</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 209—210.

<sup>69</sup> Николай Тургенев. Россия и русские, стр. 89.

<sup>70</sup> Записки Ф. Ф. Вигеля. Изд. «Русского архива», ч. V. М., 1892, стр. 51—52.

<sup>71</sup> «Литературное наследство», т. 59, стр. 632—633. По мнению М. К. Азадовского, о ней же идет речь и в книге Н. И. Тургенева. С этим мы не можем согласиться. Тургенев передает содержание вступительной речи. Тургеневская версия очень близка к «Арзамасским протоколам» и не похожа на вигелевскую.

<sup>72</sup> Н. И. Тургенев тоже произнес в «Арзамасе» две речи. Во второй он ратовал за просвещение (Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 31—34).

Усилия Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова придать «Арзамасу» политический характер, были тесно связаны с их стремлением создать тайное общество, которое бы руководило легальными обществами-филиалами, призванными воздействовать на общественное мнение. В этом аспекте их интересовал и «Арзамас», как один из возможных литературных филиалов замышлявшегося тайного общества.

Интерес к тайным обществам, проявлявшийся братьями Тургеневыми и Орловым в 1815—1816 годах, сохранился у них и в 1817 году. С. И. Тургенев, общавшийся с французскими и немецкими масонами, под их влиянием питал некоторые иллюзии о возможности использования масонства в политических целях.<sup>73</sup> По-видимому, такую мысль он не раз высказывал в письмах к Н. И. Тургеневу, — об этом свидетельствуют ответы Н. И. Тургенева.

С. И. Тургенев надеялся использовать масонские ложи как тайные политические общества. Поэтому он принимал энергичное участие в хлопотах по организации русской масонской ложи в корпусе М. С. Воронцова, в Мобеже.<sup>74</sup>

Интерес к масонству сочетался у С. И. Тургенева с пристальным изучением опыта Тугендбунда. 13/25 апреля 1818 года в дневнике записывалось: «Старынкевич дал мне рукопись немецкую о Тугендбунде. Автор похож на какого-нибудь канцелярского служителя. Рассказываемые им происшествия интересны и кажется справедливы отчасти, но его рассуждения чрезвычайно слабы. Он очень бранит тугендбундовцев и очень хвалит Гарденберга — и то и другое без достаточного основания. Тугендбундовцев сравнивает он с якобинцами, иллюминатами и проч. и для предупреждения вреда от них предлагает учредить общество наподобие частию тайного, частию явного, называющееся роялистским и весьма похожее на здешних ультров. Горе королю и земле, где надо завести королевскую партию . . . Одним из средств к усилению и распространению оных предлагает он — масонство . . . Цитирует Штейна, Гнейзенау, Грунера и Арндта и пр. и пр., не смея явно восставать против них, но хорошее говорит только о Шарнгорсте, вероятно потому, что он умер. Автор уверяет, что Тугендбунд сильнее в Пруссии, чем были иллюминаты, что он идет наряду с самим правительством и имеет довольно власти явно противиться тому; что глава его может сделаться Бонапартом и Валенштейном и эта предполагаемая глава — Гнейзенау».<sup>75</sup> С. И. Тургенев возмущался такими бреднями реакционеров, Тугендбунд и масонство вызывало его сочувствие.

Н. И. Тургенев относился к масонству более сдержанно. Интересуясь им, изучая сочинения его теоретиков, опыт деятельности масонских лож, Тургенев весьма скептически относился к перспективе превращения их в политические организации.

2 сентября 1817 года он писал С. И. Тургеневу: «. . . был я на банкете, который держали соединенные под директоральною □ Астреею, по случаю тезоименитства. Я хожу здесь в □ только при подобных торжествах, иначе не стоит труда. Некоторые из них порядочно работают, т. е. чинно, но нет истинного духа, который один только может сделать из масонства что-ни-

<sup>73</sup> Французское масонство периода Реставрации не отличалось в целом радикализмом. Но некоторые республиканцы пытались использовать масонские организации в политических целях. Так, в сентябре 1818 года возникла ложа «Друзья истины», одним из руководителей которой был Базар (Ж. Вейль). История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 год. М., 1906, стр. 12—14).

<sup>74</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 20, л. 47, запись от 2/14 февраля 1817 года.

<sup>75</sup> Там же, д. 23, лл. 64 об.—65.

будь».<sup>76</sup> Через несколько месяцев отрицательное отношение Тургенева к масонству выразилось еще определеннее. 11 февраля 1818 года в письме к С. И. Тургеневу сообщалось: «Князь Баратаев пишет мне, что завел в Симбирске □: ключ добродетели; в ней, между прочим, членом и Петр Никифорович. Баратаев предлагал мне титул почетного члена и представителя их □ у здешней директориальной. Я от всего отказался, видя, что масонство у нас процветать теперь не может, сколь бы, впрочем, для меня приятно не было соединить мысль родины с мыслью о масонстве. В здешних ложах я также не бываю, да они того, в теперешнем их церемониальном ничтожестве, и не стоят».<sup>77</sup>

Правда, А. Н. Шебунин считал, что это писалось лишь для того, «чтобы предостеречь брата, ввиду подозрительного отношения государя к корпусу Воронцова, при котором состоял Сергей Иванович, именно в отношении масонства».<sup>78</sup> А. Н. Шебунин ссылается на письмо Н. И. Тургенева брату от 25 апреля 1818 года: «О ложе я тебе писал, потому что мне здесь верно сказывали, что государь когда-то показывал неудовольствие как на масонство вообще, так и на дух свободомыслия, показывающийся будто бы через масонство в корпусе вашем. И я писал не из духа угодности к правительству, но потому, чтобы это не повредило когда-нибудь тебе».<sup>79</sup> Однако речь идет здесь не о письме от 11 февраля 1818 года (в котором о масонской ложе в воронцовском корпусе не сказано ни слова),<sup>80</sup> а о письме от 25 января: «О Вашей □ здесь есть некоторые толки, которые не в пользу вашу. У нас все умеют растолковать каждый по-своему. Я с здешними вв. кам.<sup>81</sup> не знаю, ибо ничего не вижу ни в них, ни в масонстве порядочного. Да я не знаю, стоит ли и у вас труда заниматься этим».<sup>82</sup> Однако, по мнению Н. И. Тургенева, масонские ложи могут принести пользу как филиалы тайного общества. В его письме к И. С. Тургеневу от 25 апреля 1818 года читаем: «Есть ли ваша ложа делает какое-нибудь истинное добро в нашем смысле, то надобно, хотя и с великою осторожностью, лелеять ее и ею заниматься, не взирая ни на что».<sup>83</sup>

Скептическое отношение к масонству как самостоятельной политической силе проявлялось у Н. И. Тургенева совершенно явственно. И даже посещение масонских лож лишь подкрепляет мнение Тургенева о необходимости тайных обществ, однако отнюдь не масонских. К тому же выводу вело его изучение сочинений одного из левых теоретиков масонства XVIII века, Вейсгаупта.

25 июня 1817 года в дневнике Тургенева появилась знаменательная запись: «Вчера был иванов день. Я был в ложе ... и вновь удостоверился, что соединения людей для доброй цели суть обильные источники удовольствий, а иногда и пользы для людей. В Вейсгаупте также ясно доказывается польза и необходимость тайных обществ для действий важных и полезных. *Некоторые должны действовать, все должны наслаждаться плодами действий*: вот девиз всех людей, стремящихся к добру; девиз, следующий необходимо из неперемennого порядка вещей, основанного на характере человеческого».<sup>84</sup>

<sup>76</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 231.

<sup>77</sup> Там же, стр. 252.

<sup>78</sup> Там же, стр. 48.

<sup>79</sup> Там же, стр. 257.

<sup>80</sup> Там же, стр. 252—253.

<sup>81</sup> Т. е. вольными каменщиками — масонами.

<sup>82</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 248.

<sup>83</sup> Там же, стр. 258.

<sup>84</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 37—38.

28 июня 1817 года Н. И. Тургенев выписал из сочинения Вейсгаупта «Das Verbesserte System der Illuminaten» (1787): «Все доброе неисполнимо до тех пор, пока человеческие страсти сохраняют перевес, пока они вмешиваются в игру, пока люди не объединяются вокруг одного великого руководящего принципа, пока нет больших людей, возвышающихся над всем низким».<sup>85</sup> По поводу этой сентенции Н. И. Тургенев заметил: «Орден есть школа сих людей».<sup>86</sup> Под «орденом» подразумевалось и название тайной организации, которую собирались создать Орлов и Тургенев (как уже отмечалось выше, она принципиально отличалась от «Ордена русских рыцарей», замышлявшегося Орловым и Дмитриевым-Мамоновым в 1814—1815 годах, но название это сохранялось и в 1817 году), и тайное общество вообще. Итак, по Тургеневу, тайное общество сможет подготовить «больших людей, возвышающихся над всем низким». И вслед за этим Тургенев выписывает из Вейсгаупта: «Удовольствуемся тем, что ныне только в сообществе можно делать добро». «Сообщества», тайные организации призваны не только воспитывать своих членов, но и распространять передовые идеи. Пропаганде их Тургенев придавал огромное значение. «Несовершенство вещей умножается по мере того, как мы удаляемся от естественных взглядов. Итак, несовершенство заключено не в самой природе, но в понятиях человека», — выписывает Тургенев из Вейсгаупта. Далее он приводит слова Вейсгаупта: «Видеть во всем совершенство в мире и благую цель», — выписывает Тургенев из того же сочинения, замечая, что эта «нравственная идея» «распространением своим увеличивает счастье людей. Каждый, принимая ее, действует полезно для всего света. Капли превращаются в ручьи, сии в реки, а сии, наконец, в целый океан». Но мало распространять передовые идеи — надо защищать их от наскоков реакционеров и эгоистов. Тургенев соглашается с мнением Вейсгаупта о том, что «все убеждения слабы и все добродетели шатки, если они боятся насмешек и лениности современников и если нет стойкого противодействия несправедливостям». А оказать его могут лишь тайные общества, воспитывающие подлинных борцов. Именно к тайным организациям Тургенев относит изречение Вейсгаупта: «Люди были бы способны на большие дела, если бы страсти и мелкие цели не примешались к их игре. Поэтому следует здесь ограничить страсти».<sup>87</sup>

Конечно, к идее создания тайных обществ Тургенев пришел раньше чтения сочинений Вейсгаупта. Но мысли масонского теоретика были использованы будущим декабристом как еще один аргумент в пользу тайных организаций.

Следует, однако, заметить, что тайное общество, по мнению Н. И. Тургенева, вовсе не обязательно должно быть антиправительственным. Об этом свидетельствует его резюме по поводу выписок из Вейсгаупта. Правда, оно написано явно не для себя, а для прочтения каким-то слушателем, которых Тургенев, видимо, пытался убедить в законности и целесообразности существования тайных обществ, — поэтому многое в данной записи могло быть продиктовано тактическими соображениями. И все же подвергать сомнению искренность главной идеи дневниковой записи нет оснований. Вот она: «Убедившись в необходимости тайных обществ, надобно в особенности заметить, что те из них, кои устроены на правилах нравственности и патриотизма, заслуживают не преследование, а одобрение правительств; тем более, что правительства часто не могут произвести

<sup>85</sup> Там же, стр. 79.

<sup>86</sup> Там же.

<sup>87</sup> Там же.



в действие того, что могут общества. Цель общества всегда может быть означена яснее, нежели сколько может быть цель Правительства. Общество может также приобрести более доверия от людей, нежели Правительство, потому самому, что Правительство, имея более власти, нежели всякое общество, не может внушать сего доверия: закон сильного — не то, что закон условный ... Сила уничтожает доверие».<sup>88</sup>

Тургенев упорно стремился к созданию тайного общества. На следующий день, 29 июня, он записывал в дневнике: «Всякое начало трудно — простая, но великая истина. Начинающим предлежат и ныне великие трудности, и сие тем более, что мнения могут быть различны в средствах — средствах, кои по важности своей бывают иногда целию. Но должны ли трудности сии устрашать нас? ... О нет! То, что мы принимаем, должно быть рано или поздно начато и совершено».<sup>89</sup>

Тургенев далее пишет: «Люди долго искали цели бытия своего и долго еще искать будут. Но придет наконец то время ... когда люди познают истинное свое назначение и найдут его в любви к отечеству, в стремлении к его благу, в пожертвовании себя и всего в его пользу. ... Мысль ... об отечестве всегда услаждала жертвования их, удовлетворяла влечениям сердечным, приближала их к совершенству».<sup>90</sup>

Мысли эти переключаются с выписками из Вейсгаупта, как бы продолжают их; нетрудно заметить даже текстуально-терминологическое сходство между ними. И те, и другие свидетельствуют о стремлении Тургенева твердо решить для себя вопрос о необходимости тайных обществ.

Итак, в июне 1817 года Н. И. Тургенев стремился теоретически обосновать необходимость создания тайного общества (не обязательно антиправительственного), которое бы способствовало воспитанию стойких борцов за «добро», за благоденствие человечества, распространяло бы в обществе передовые идеи и тем самым могло бы влиять на правящий класс и правительство, на его политику, заставило бы его проводить необходимые реформы.

Летом 1817 года Н. И. Тургенев работал и над уставно-программными документами тайного общества — об этом говорит запись в дневнике от 5 августа: «Я весьма доволен... написав 1½ листа — вступления к... в котором я излил чувства мои о любви к отечеству, давно волновавшие грудь мою».<sup>91</sup>

Какова же должна быть организационная структура этого тайного общества? Примерно такая же, как в Тугендбунде и будущем Союзе благоденствия.<sup>92</sup>

Тургенев мечтал о том, чтобы тайное общество обросло целой сетью легальных и полулегальных литературно-политических филиалов (например, «Арзамас»), влияло бы на художественную литературу, на журналы, на писателей, поэтов, экономистов, юристов, историков, публицистов и

<sup>88</sup> Там же, стр. 79—80. Выписки из Вейсгаупта даются в переводе с немецкого.

<sup>89</sup> Там же, стр. 80.

<sup>90</sup> Там же, стр. 81.

<sup>91</sup> Там же, стр. 41—42.

<sup>92</sup> «Зеленая книга», устав Союза благоденствия, почти дословно воспроизводит пункты устава Тугендбунда, посвященные организационной структуре. В свое время на это обратил внимание А. Н. Пыпин (А. Н. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908, стр. 372—380). В последние годы ряд историков пытался оспаривать наблюдения А. Н. Пыпина. К сожалению, они ограничились умозрительными рассуждениями, не сочтя нужным ознакомиться с уставом Тугендбунда. Сравнение же их («Freimüthige Blätter», 1815, Heft 4, стр. 113—143; 1816, Heft 1, стр. 1—44) убедило нас в правоте А. Н. Пыпина. Кстати, устав Тугендбунда также был рассчитан и на помощь правительству, и на воздействие на него.

таким путем воздействовало бы на общественное мнение страны и на правительство.

Подтверждение этому находим в дневниковой записи от 17 июля 1817 года, во многом повторяющей мысли о значении тайных организаций, «сообществ», высказанные в дневнике под 28 июня. Как ни длинна запись от 17 июля, мы приведем ее почти целиком — она слишком важна: «Заметно, что во всех государствах, в особенности же удаленных более или менее от свободных конституций, импульс всему дается сверху». Тургенев приводит в качестве примера Францию времен Людовика XIV и Польшу. Но совершенно очевидно, что его мысль относилась прежде всего к России. «Сие влияние правительства знаменуется также в литературе, науках и искусствах. — Редко направление, даваемое правительствами народам, бывает хорошо само по себе, а потому и полезно для государства, — продолжает Тургенев. — Исключая направления к усовершенствованию художеств, почти все направления другого рода были более вредны, нежели полезны; часто даже только что вредны ... Перемена правителей и вместе с тем являющиеся перемены систем правительств не позволяют народам иметь постоянного направления к одной цели. Это полезно, если цель не хороша сама по себе; вредно, если цель достойна подвигов народных. ... Какие средства должны употреблять народы для отвращения вредных действий влияния свыше на науки, художества, литературу, нравственность? — Средства сии можно только найти в соединении нескольких людей в отдельные общества». <sup>93</sup> Перед нами опять те же мысли, что и в записи от 28 июня, с одной лишь разницей: 28 июня говорилось о необходимости тайных обществ, в записи от 17 июля слово «тайное» отсутствует. Тургенев продолжает: «Общества не умирают; дух их сохраняется в течении времени, если цель их согласна с законами нравственности и с общею пользою. Общества, не представляющие такой цели и такой пользы, долго существовать не могут; первый довод здравого рассудка их разрушает; первое остроумное, но справедливое слово лишает их всей важности и полагает преграды дальнейшему распространению и усовершенствованию. Мысль сию находим мы в учреждении академий в Европе. Оне должны быть хранилищем, так сказать, всего ума, всех сведений народных. К несчастию, некоторые академии творят и сохраняют совсем противное, но справедливость идеи не опровергается сим печальным явлением. Итак, общества, и одни только общества могут приносить действительную и прочную пользу государствам в отношении нравственного их усовершенствования». <sup>94</sup>

Здесь уже явно речь идет о легальных, а не о тайных обществах. А между тем именно в это время Тургенев страстно мечтал о тайном обществе и приводил в его пользу те же аргументы, что и в данном случае, говоря о пользе легальных обществ, даже академий. В чем же дело?

Думается, что легальные общества рассматривались Тургеновым как филиалы тайного, которое должно направлять их деятельность. Но слово это отсутствует потому, что данная запись скорее всего представляет собою конспект речи, предназначенной для какого-то легального общества (скорее всего для «Арзамаса») или даже для печати. Этим объясняется и концовка записи: «Если мнение о влиянии свыше будет найдено неприличным, то можно вместо влияния свыше употреблять общее мнение такого-то или такого периода времени». <sup>95</sup>

<sup>93</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 39—40.

<sup>94</sup> Там же, стр. 40.

<sup>95</sup> Там же.

Легальные филиалы тайного общества призваны были распространять его идеи среди сравнительно широких кругов передовой общественности. И Тургенев, и Орлов основывались на уставе Тугендбунда. Засвидетельствованное Вигелем предложение Орлова организовать филиалы «Арзамаса» явно заимствовано из структуры Тугендбунда.

Так представляли себе Тургенев и Орлов организационную структуру тайного общества, превосходящая многие положения «Зеленой книги».

Насколько удачной оказалась попытка Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова создать тайное общество в 1817 году?

Большинство авторов считает, что это общество (отождествляемое ими с «Орденом русских рыцарей», задуманным Орловым и Дмитриевым-Мамоновым в 1814—1815 годах) было создано. Так думал А. Н. Шегунин.<sup>96</sup> В более осторожной форме эту мысль высказывает М. В. Нечкина.<sup>97</sup> Новейший исследователь Ю. М. Лотман полагает, что «„Орден русских рыцарей“ существовал сравнительно долго».<sup>98</sup>

На наш взгляд, было создано лишь ядро тайного общества. Об организации его договорились Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов. Их намерения полностью одобрял С. И. Тургенев и, по-видимому, собирался организовать филиал этого общества в русском оккупационном корпусе во Франции. Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов информировали его о своей деятельности. Н. И. Тургенев исправно сообщал брату новости об «Арзамасе», о деятельности в нем Орлова и своей собственной, о посещении масонских лож и т. д.<sup>99</sup> Было и еще несколько человек, на которых Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов смотрели как на единомышленников в деле создания тайного общества. Так, в дневниковых записях от 5 и 6 августа 1817 года Н. И. Тургенев говорит об ознакомлении со своим «вступлением» неких «В. И.» и «К. Б.». Точно расшифровать эти инициалы пока не удалось. А. Н. Шегунин предполагал, что «В. И.» — это декабрист В. П. Ивашев, земляк Тургенева, а «К. Б.» — князь М. П. Баратаев.<sup>100</sup>

М. В. Нечкина вместо М. П. Баратаева называет М. Невзорова.<sup>101</sup> Трудно сказать, кто прав. Да это и не так важно. Главное в том, что было несколько человек, рассматривавшихся Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым как члены (действительные или потенциальные) их общества. И к числу их относились не только «В. И.» и «К. Б.». Во «Второй оправдательной записке» Н. И. Тургенев назвал еще генерала «кн. М. . .» и «г. Б. . .».<sup>102</sup> В. И. Семевский расшифровал первые инициалы как инициалы князя А. С. Меншикова, а вторые как инициалы А. Х. Бенкендорфа, заметив, что «прикосновенность» последнего «могла быть одною из причин того, что эпизод этот не подвергся подробному исследованию следственной комиссией».<sup>103</sup> Относительно «прикосновенности» А. С. Меншикова последующие историки согласились с гипотезой В. И. Семевского. Она подкрепляется свидетельством С. П. Трубецкого о причастности А. С. Меншикова к «Ордену русских рыцарей».<sup>104</sup> Что же касается

<sup>96</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 45—50.

<sup>97</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 134.

<sup>98</sup> Ю. М. Лотман. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель.

<sup>99</sup> См.: А. Н. Шегунин. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи, стр. 42—45.

<sup>100</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 48.

<sup>101</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 134.

<sup>102</sup> «C'était deux aides de camp de l'empereur, le general P. M... et M. B...» (N. Tourguenneff. La Russie et les Russes, t. I. Bruxelles, 1847, стр. 161).

<sup>103</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, стр. 408.

<sup>104</sup> С. П. Трубецкой. Записки. М., 1906, стр. 34.

А. Х. Бенкендорфа, то предположение В. И. Семевского было оспорено А. Н. Шебуниным и Ю. М. Лотманом. По мнению А. Н. Шебунина, «вряд ли Орлов, настроенный резко националистически, пригласил бы» Бенкендорфа, немца, «в тайное общество». По мнению Шебунина, Н. И. Тургенев имел в виду Д. П. Бутурлина.<sup>105</sup> Ю. М. Лотман полагает, что «инициалы г. Б...» обозначают флигель-адъютанта И. М. Бибикова.<sup>106</sup>

Отвергая кандидатуру А. Х. Бенкендорфа, Ю. М. Лотман пишет: «Тургенев в своей книге обозначал инициалами лишь лиц, причастность которых к тайным обществам была неизвестна правительству. Какие у него основания были щадить Бенкендорфа? . . . Какой смысл хорошо осведомленному Грибовскому подавать через того же Бенкендорфа донос на „Орден русских рыцарей“?».

Мы не можем согласиться с доводами А. Н. Шебунина и Ю. М. Лотмана и вслед за В. И. Семевским думаем, что Н. И. Тургенев имел в виду А. Х. Бенкендорфа, сознательно намекая на его «соучастие» в попытке создать тайное общество в 1817 году. Ведь если бы Тургенев хотел скрыть участие А. С. Меншикова и А. Х. Бенкендорфа (или Д. П. Бутурлина и И. М. Бибикова — все равно), то он должен был бы укрыть их за более конспиративными инициалами. Между тем во «Второй оправдательной записке» сделано все, чтобы облегчить их расшифровку (называется чин, подчеркивается, что речь идет об адъютантах императора). Зачем же это делается? Неужели Тургенев не понимал, что выдает своих бывших товарищей? Думается, что понимал. Он явно намекал ставшему всемогущим А. Х. Бенкендорфу, что и его прошлое небезупречно и что, во избежание дальнейших разоблачений, он должен помочь в «реабилитации» Н. И. Тургенева.

Таким образом, упоминание имени «г. Б...» можно рассматривать не как стремление скрыть имя, неизвестное властям, а как угрозу разоблачения.<sup>107</sup> Любопытно утверждение Н. И. Тургенева в «России и русских», будто помощник Бенкендорфа фон Фок, прочтя «Вторую оправдательную записку», признал ее автора невиновным. Не сказало ли здесь влияние встревоженного Бенкендорфа? Заметим, что в агентурном донесении Грибовского—Бенкендорфа, представленном в 1821 году Александру I, ни слова не сказано об «Ордене русских рыцарей» — ни о 1814—1815, ни о 1817 годах. Между тем Грибовский не мог не знать обо всем этом. Вполне возможно, что именно благодаря А. Х. Бенкендорфу деятельность Орлова и Тургенева в 1817 году не освещена в донесении.<sup>108</sup>

Что касается замечания А. Н. Шебунина о несовместимости национализма Орлова с немецким происхождением А. Х. Бенкендорфа, то с ним можно было бы считаться, если бы речь шла о 1814—1815 годах. Но в 1817 году, пытаясь создать тайное общество, Тургенев и Орлов не выдвигали националистической программы, — возможно, Орлов пошел на уступки Тургеневу.

Все сказанное заставляет нас согласиться с В. И. Семевским, а не с его оппонентами.

<sup>105</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 49.

<sup>106</sup> Ю. М. Лотман и Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, стр. 27—28.

<sup>107</sup> Имя же Меншикова, законспирированное инициалами «кн. М», трудно было расшифровать как «А. С. Меншиков».

<sup>108</sup> Утверждение Ю. М. Лотмана, будто Грибовский донес об «Ордене русских рыцарей», основано на недоразумении. Агентурное донесение от 4 марта 1822 года (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 635, «Дело с правилами иллюминатского общества Союза благоденствия»), на которое ссылается исследователь, анонимно и представлено не через Бенкендорфа.

Были ли еще члены (или лица, готовые стать ими) «Ордена» в 1817 году? Может быть, и были, но мы их не знаем. Трудно согласиться с мнением М. В. Нечкиной об участии в «Ордене» М. В. Новикова. М. Ф. Орлов рассказывает лишь о попытке привлечь его к обществу и о том, что Новиков, уже бывший членом Союза спасения, пригласил вступить в него Орлова.<sup>109</sup> Что же касается утверждения М. В. Нечкиной о причастности к «Ордену» Д. В. Давыдова,<sup>110</sup> то и это верно применительно к 1814—1815 годам, но в 1817 году Денис Давыдов не имел никакого отношения к тайному обществу Тургенева—Орлова. М. А. Дмитриев-Мамонов, игравший первую скрипку в попытке создания «Ордена русских рыцарей», в 1817 году никакого отношения к деятельности Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова также не имел.

Итак, лишь несколько человек (менее десяти) вступили или готовы были вступить в тайное общество, которое Тургенев и Орлов создавали в 1817 году. Строго говоря, они организовали лишь ядро будущего тайного общества. Его программные и уставные документы, над которыми работали Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов, так и не были закончены.

Гораздо большего успеха добились Тургенев и Орлов в деле завоевания общественного мнения, воздействия на него в духе и целях тайного общества. Огромное внимание при этом уделялось привлечению на свою сторону талантливых литераторов, журналистов, публицистов. Большинство из них не вошло бы в тайную организацию, но вполне могло стать членами легальных филиалов, хотя идейно подчас и расходилось во многом с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым.

Что же это за литераторы, которые интересовали Орлова и Тургенева? Прежде всего А. С. Пушкин. Но о нем, о его взаимоотношениях с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым говорится подробно ниже. Пока же обратимся к другим именам, интересовавшим Тургенева и Орлова и составившим окружение Пушкина в 1817 году. К ним относится В. А. Жуковский. Политические взгляды его блестяще охарактеризованы Г. А. Гукковским: «Был ли Жуковский либералом даже в 1800—1810-х годах? Конечно, нет, если понимать под либерализмом того времени взгляды Н. Тургенева, Ф. Глинки, Катенина и им подобных ... Был ли он в эти годы реакционером? Конечно, не был реакционером, ни в 1800-м, ни в 1820-м году. Скорей уж он стоял ближе к либералам».<sup>111</sup> И у последних были серьезные надежды, что В. А. Жуковский станет их поэтом. Недаром в декабре 1817 года С. И. Тургенев писал В. А. Жуковскому: «Чем более читаю произведения русской словесности, те более обожаю вашу музу. Но не балуйте Вы ее. Помните, что талант ваш не весь вам принадлежит, но и отечеству. Употребляйте его не только для себя, но и к просвещению России.—Грешно другим писателям не употреблять его совсем в противную сторону—я укоряю в этом и Карамзина. Зачем не оставить Пеззаварию и подобным проповедывать мрак, деспотизм (по-русски самодержавие) и рабство?—Как бы приятно было видеть все дарования на стороне либеральных идей ... все невежество, всю скуку, всю глупость на стороне противной. Пишите же в пользу либеральности. Нельзя образовать ум лучше, как восхищая вместе дух, а кто читает спокойно стихи ваши, того нам и не на-

<sup>109</sup> М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов, стр. 4.

<sup>110</sup> М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I, стр. 133.

<sup>111</sup> Г. А. Гукковский. Очерки по истории русского реализма. Часть 1. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, стр. 16, см. также стр. 17—22, где дана характеристика общественно-политических взглядов Жуковского.

добно».<sup>112</sup> Думается, что С. И. Тургенев давал эти советы не только по собственной инициативе, но с ведома и согласия Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова. Братья Тургеневы знали об антикрепостнических настроениях поэта. В декабре 1806 года он писал А. И. Тургеневу о том, что из-за крепостного права «простой народ» не может чувствовать пафоса защиты Родины: «Вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию». В 1808 году он вновь писал о свободе крестьян, в 1809 году говорил об «убийственном чувстве рабства», в 1822 году освободил своих личных крепостных. Жуковский был на стороне защитников свободы. В 1820 году в дневнике он высказывается за свободу печати. Жуковский не хотел печатать свой перевод стихов Шиллера, в котором цензура не пропускала слова: «человек создан свободным, и он свободен, даже если родится в цепях».<sup>113</sup>

Знаменательно в этом отношении его послание «Императору Александру», стихотворения «Певец в Кремле» и «Песнь русскому царю от его воинов». Война с Наполеоном — это борьба за свободу. Такова концепция всех этих стихотворений. И победу одержали не цари, а народы.

Тогда явилось все величие народа,  
Спасаящего трон и святость алтарей, —<sup>114</sup>

провозглашается в послании «Императору Александру». А в «Певце в Кремле» на вопрос:

Цари — смутители земли...  
Кто были вы: друзья богов,  
Иль боги всемогущи?

дается смелый ответ:

О нет! Орудие одно  
В деснице Провиденья.<sup>115</sup>

В послании Александру I Жуковский выражает надежду на реформы, которых ожидает народ, «смиренно» совершивший «бессмертные дела»,

Преобразованный, исполнен жизни новой,  
По манию царя, на все, на все готовой.<sup>116</sup>

Те же мысли высказываются и в «Певце в Кремле»:

О, совершись, святой завет!  
В одну семью, народы!  
Цари, в один отцов совет!  
Будь, Сила, щит свободы!..  
... Трон власти, обратись в алтарь!  
В любовь повиненья!  
Утихни, ярый дух войны!  
Не жизни истребитель,  
Будь жизни благ и тишины —  
И вечных прав хранитель.<sup>117</sup>

Конечно, это свободолюбие было весьма неопределенным. Но оно дало основание и Тургеневым, и Орлову, и деятелям Союза благоденствия надеяться привлечь Жуковского на свою сторону. 5 августа 1817 года

<sup>112</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 485. Говорит о «Пеззаварии», С. И. Тургенев имел в виду журналиста П. П. Пеззаровиуса.

<sup>113</sup> Г. А. Жуковский. Очерки по истории русского реализма, часть 1, стр. 19; А. А. Веселовский. Жуковский, Пгр., 1918, стр. 337; К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия Жуковского. СПб., 1883, стр. 124—125.

<sup>114</sup> Стихотворения Василия Жуковского, изд. 2-е, ч. 1, СПб., 1818, стр. 67.

<sup>115</sup> Там же, ч. II, стр. 206.

<sup>116</sup> Там же, ч. I, стр. 83.

<sup>117</sup> Там же, ч. II, стр. 206.

Н. И. Тургенев информировал младшего брата о помощи Жуковского в редактировании «Опыта теории налогов».<sup>118</sup>

С. И. Тургенев пытался убедить Жуковского служить «либеральным идеям». Но братья Тургеневы и Орлов не добились желаемого результата. Тем больше заинтересовал их А. С. Пушкин. Кроме Пушкина и Жуковского, Тургенев и Орлов возлагали большие надежды на П. А. Вяземского. В письме Жуковскому в декабре 1817 года С. И. Тургенев заметил в связи с обсуждением вопроса об издании «Арзамасом» журнала: «Какая бы жатва для Блудова и Вяземского»,<sup>119</sup> — они пропагандировали бы свободолюбивые идеи.

Очень интересовал Н. Тургенева К. Н. Батюшков. И если в письме к С. Тургеневу от 29 октября 1816 года он назвал поэта «гасильником»,<sup>120</sup> то в дальнейшем тургеневские отзывы о Батюшкове неизменно благожелательны.<sup>121</sup>

Следует учесть, что в не дошедшем до нас четверостишии К. Н. Батюшков заявлял Александру I, что он должен вслед за освобождением Европы освободить русский народ.<sup>122</sup>

Сблизился Н. Тургенев и с «тористами» — так называются в письме к С. Тургеневу от 30 ноября 1816 года Блудов, Дашков и другие, в числе которых и А. И. Тургенев.<sup>123</sup> Помимо личной дружбы с А. И. Тургеневым, сближению Блудова, Дашкова, Уварова с Н. Тургеневым содействовали и их прогрессивные в общем для того времени политические взгляды.

Д. Н. Блудов в начале александровского царствования выступал ревностным сторонником реформ и противником «старинны». Сторонником реформ оставался он и после войны 1812—1814 гг. Он отстаивает необходимость конституционного правления, спорит по этому вопросу с Н. М. Карамзиным. Признавая монархическое правление лучшим, Блудов, однако, считал, что в «просвещенном» государстве должна быть представительная система, парламент. Неограниченное самодержавие хорошо лишь для ранних, «варварских» ступеней развития общества.<sup>124</sup> Ему нравится государственный строй Англии, ее законы. Живя в Лондоне, он внимательно наблюдает за английской литературой, журналистикой, борьбой партий.

О позиции Блудова тех лет дает некоторое представление его письмо к И. И. Дмитриеву от 27 июня 1820 года: «Сам наш историограф ... четвертый год корпит над одним девятым томом, и видно, что ему так же трудно описывать царствование Ивана Васильевича, как было современникам сносить его».<sup>125</sup>

Выступая за реформы, Блудов был противником революции. Это очень рельефно выразилось в его статье о книге Стурдзы «Consideration sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe», опубликованной анонимно в «Жур-

<sup>118</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 229.

<sup>119</sup> Там же, стр. 485. Характеристику политических взглядов П. А. Вяземского см. в статье Николая Кутанова (С. Н. Дурьлина) «Декабрист без декабря» (Декабристы и их время, т. II. М., 1932, стр. 201—290). См. также: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов. «Ученые записки Тартуского университета», вып. 98. 1960, стр. 24—142.

<sup>120</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 200.

<sup>121</sup> Там же, стр. 227, 235, 266.

<sup>122</sup> Сочинения кн. П. А. Вяземского, т. VII, СПб., 1882, стр. 418.

<sup>123</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 204.

<sup>124</sup> Е. П. Ковалевский. Граф Блудов и его время. Собрание сочинений, т. 1, СПб., 1871, стр. 266—267.

<sup>125</sup> Там же, стр. 253.

нале императорского человеколюбивого общества» за 1817 год.<sup>126</sup> Понятно, что между взглядами Блудова и Тургенева была существенная разница, и последний в письме к С. И. Тургеневу от 29 октября 1816 года назвал Блудова «гаильником». Однако постепенно между Н. И. Тургеневым и Блудовым образовался своеобразный тактический блок, направленный против явных реакционеров. 1 февраля 1817 года Н. И. Тургенев сообщил младшему брату, что «Опыт теории налогов» отдается «на прочтение Блудову и Дашкову; естли они скажут да, то буду печатать».<sup>127</sup> Конечно, здесь сказались и репутация Блудова и Дашкова как опытных и осторожных литераторов. Но любопытно другое. Они одобрили тургеневскую рукопись.<sup>128</sup> Следовательно, между взглядами Н. И. Тургенева, с одной стороны, и Д. Н. Блудова и Д. В. Дашкова, с другой, были и точки соприкосновения. То же самое относится и к С. С. Уварову.

Политические взгляды Уварова в 10-е годы XIX века были весьма своеобразны. В 1813 году он опубликовал брошюру «Eloge funèbre de Moreau».<sup>129</sup> По мнению Уварова, Моро к концу жизни, оставаясь республиканцем, пришел к правильному выводу о том, что идея республики скомпрометирована «ужасами и несчастиями революции». Поэтому Моро хотел для Франции «законного правительства, при котором могущественные барьеры обеспечили бы гражданскую свободу». Сам Уваров был полностью согласен с этим. В 1814 году появилась другая его брошюра «L'Empereur Alexandre et Buonaparte», в которой «система революции» противопоставляется «системе законности». Но революция не прошла бесследно. Народы познали свои силы и не забудут своей роли в разгроме Бонапарта: «Они имеют право на благодарность государей, которых они так ревностно защищали. Полные взаимного уважения и лучше просвещенные относительно своих собственных интересов, короли и народы совершают на могиле Бонапарта взаимное пожертвование деспотизмом и народной анархией».<sup>130</sup> Наступит эра свободы мысли, наук, литературы, торговли, которую Уваров предлагал назвать эрой Александра. Место силы должно занять идеологическое воздействие — «просвещение», понимаемое Уваровым весьма своеобразно. Это относится даже к внешней политике. 22 марта 1818 года выступая в торжественном собрании Главного педагогического института, Уваров заявил: «Времена завоеваний протекли. Можно нарушить мир; можно внести огонь и меч в пределы соседственных государств; но основать и удержать свое владычество одной силою меча» нельзя. Следует «побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благодеянием победенных».<sup>131</sup> С. С. Уваров призывал следовать примеру Англии, государственный строй которой чрезвычайно импонировал ему.

С братьями Тургеневыми Уварова связывали давнишние приятельские отношения. Н. И. Тургенев надеялся использовать Уварова для завоевания общественного мнения тайной организацией. И некоторые успехи были, видимо, достигнуты. В одном из уваровских писем к Н. И. Тургеневу в 1817 году говорилось: «Мы живем в столетии обманутых надежд.

<sup>126</sup> Авторство Д. Н. Блудова установлено А. Н. Шебуниным (см.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 40).

<sup>127</sup> Там же, стр. 211.

<sup>128</sup> Там же, стр. 219.

<sup>129</sup> S. Ouvargoff. Eloge funèbre de. Moreau. St-Petersbourg, 1813.

<sup>130</sup> S. Ouvargoff. L'Empereur Alexandre et Buonaparte. St.-Petersbourg, 1814, стр. 37.

В этом же году брошюра была издана на русском языке (СПб., 1814).

<sup>131</sup> Речь президента императорской Академии наук, попечителя СПб. учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г. СПб., 1818, стр. 22—23.



Трудно родиться на троне и быть одного достойным». <sup>132</sup> Речь шла, конечно, о разочаровании в политике Александра I.

Еще больше надежд возлагалось на другого «арзамасца», П. И. Полетику. 25 апреля 1818 года Н. И. Тургенев советовал младшему брату увидеться с ним: «Этот более (чем Блудов, — В. П.) на нашу статью». <sup>133</sup>

Некоторые надежды возлагались на Ф. Ф. Вигеля. 27 апреля 1818 г. Н. И. Тургенев писал Сергею Ивановичу: «Познакомься с Вигелем. Он один из арзамасцев; человек умный». <sup>134</sup> Своего уважения к Н. И. Тургеневу и М. Ф. Орлову Ф. Ф. Вигель не мог скрыть даже в мемуарах, обливавших грязью всех «либералов». <sup>135</sup> Там же Вигель признается: «Даже меня самого в это время так и тянуло все к тайным обществам».

Некоторое единство интересов наметилось у Н. И. Тургенева с С. П. Жихаревым. Последний в 1817 году писал Н. И. Тургеневу из Могилева: «Михаил Орлов уехал вчера в Киев; там надеюсь с ним долее побеседовать ... Здесь есть кое-какие анекдотцы домашние, особенно про Нашего общего приятеля, но я поберегу их, чтобы рассказать тебе по возвращении». <sup>136</sup> Под «Нашим общим приятелем» подразумевался Александр I. <sup>137</sup> Политический либерализм С. П. Жихарева в те годы несомненен. Б. М. Эйхенбаум утверждает даже, что «засвидетельствованная письмами дружба с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым заставляет думать, что он (Жихарев, — В. П.) знал об организации тайного общества». <sup>138</sup>

Н. И. Тургенев старался привлечь на свою сторону издателя «Сына отечества» Н. Н. Греча — и безуспешно. Если в арзамасской речи в начале января 1817 года Тургенев резко отзывался о Грече, то 10 мая 1817 года в письме С. И. Тургеневу говорилось: «Прошу с ним познакомиться и полюбить его, несмотря на его мнения о цензуре и о блаженстве России: впрочем, мнения официального». <sup>139</sup> Недаром в 1818 году на страницах «Сына отечества» появились статьи, пропагандирующие идеи Союза благоденствия. Сближается Тургенев и с Ф. В. Булгариным. 5 февраля 1817 года в дневнике отмечалось: «Сегодня утро опять отняли у меня Козлов и Булгарин». <sup>140</sup>

Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов стремились воздействовать на творчество этих и других поэтов, публицистов, журналистов, ученых и через них влиять на общественное мнение в желательном для тайной организации направлении. И они достигли некоторых успехов. Частично осуществлялась и попытка создания легальных литературно-политических филиалов замышлявшегося тайного общества.

Кипучая деятельность Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова в «Арзамасе» не прошла бесследно. Хотя им, как справедливо отмечает Ю. Г. Оксман,

<sup>132</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 83.

<sup>133</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 257.

<sup>134</sup> Там же, стр. 259.

<sup>135</sup> Воспоминания Ф. Ф. Вигеля, часть пятая, изд. «Русского архива», М., 1865, стр. 46—54.

<sup>136</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 82—83.

<sup>137</sup> Недаром слово «Нашего» написано с большой буквы. Любопытно, что в черновике письма Пушкина к К. Ф. Рылеву (вторая половина июля—август 1825 года) говорится: «Загляни в журналы, в течение 6-ти лет посмотри, сколько раз упоминали обо мне, сколько раз меня хвалили поделом и понапрасну — а об нашем приятеле ни гугу, как будто на свете его не было» (XIII, 219). «Наш приятель» — конечно, Александр I.

<sup>138</sup> Б. М. Эйхенбаум. С. П. Жихарев и его дневники. В кн. С. П. Жихарев. Записки современника, редакция Б. М. Эйхенбаума. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1955, стр. 645.

<sup>139</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 221.

<sup>140</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 26.

не удалось добиться «превращения этого дружеского литературного объединения в общественно-политическую организацию», все же на заседаниях «Арзамаса» наряду с чисто литературными стали обсуждаться и политические вопросы. Соответствующие орловско-тургеневские призывы не остались безответными. Как отмечалось выше, первая орловская речь произвела впечатление справедливостью упреков и советов. Но уже вторая речь Орлова вызвала споры.<sup>141</sup> По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, Орлову отвечал Блудов «также приготовленной речью . . . Он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам».<sup>142</sup>

Свидетельство Ф. Ф. Вигеля не совсем ясно. Трудно сказать, с чем не согласился Блудов. Многие авторы полагают, что речь идет о несогласии на издание журнала. Так поняв Вигеля, Е. П. Ковалевский счел нужным возразить ему: «Блудов спорил против программы журнала, а не против издания».<sup>143</sup> Нам кажется, что Вигель вовсе и не говорит о возражениях Блудова против издания журнала. Он рассказывает о возражениях Блудова в общих чертах, и скорее всего они действительно касались вопросов конкретной политической программы, а не издания журнала. Если Блудов возражал бы против издания, то как же понять его последующие намерения писать для журнала? Думается, что Блудов не совсем отверг орловские предложения, а лишь стремился смягчить свойственный им политический радикализм. Тогда становится понятным и заявление Вигеля о том, что «Орлов не показал ни малейшего неудовольствия».<sup>144</sup> Нежелание заняться политикой Вигель приписывает не Блудову, а каким-то другим, не названным арзамасцам, «кои шутя хотели заниматься литературой». К Блудову эта характеристика вряд ли подходит. По-видимому, к позиции Блудова присоединился и А. И. Тургенев, утверждавший, что «в руках благоразумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя».<sup>145</sup>

Ни Блудов, ни другие «тористы» не могли возражать против издания журнала, хотя бы потому, что, как показал А. Н. Шebuнин, идея эта родилась раньше орловского выступления.<sup>146</sup>

5 февраля 1816 года Н. И. Тургенев писал А. И. Тургеневу: «Если еще какое русское сочинение выйдет, то присылайте мне, особливо по законодательству, или Жуковского журнал. Я по нем бы учился по-русски. Много можно ожидать от Жуковского и Дашкова. А что Жихарев? Он хоть бы театральный журнал или коллекцию басен, подражание Хвостову выдал да сюда прислал».<sup>147</sup> И Тургеневы уже тогда стремились придать журналу политический характер. Еще 7/19 октября 1816 года С. И. Турге-

<sup>141</sup> См. о ней на стр. 108.

<sup>142</sup> Воспоминания Ф. Ф. Вигеля, часть пятая, стр. 52.

<sup>143</sup> Граф Блудов и его время. В кн.: Сочинения Е. П. Ковалевского, т. I, СПб., 1871, стр. 116.

<sup>144</sup> О правдоподобности свидетельства Ф. Ф. Вигеля см.: М. К. Азадовский. Затерянные и утраченные произведения декабристов. «Литературное наследство», т. 59, стр. 633—634. Мы не согласны лишь с отрицанием М. К. Азадовским слов Блудова о «зажигательстве». Исследователь ссылается на то, что они содержатся в речи А. И. Тургенева. Но разве два оратора не могли употребить одни и те же слова?

<sup>145</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 223.

<sup>146</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 44.

<sup>147</sup> ИРЛИ, архив братьев Тургеневых, д. 382, л. 130.

нев записал в дневник содержание письма А. И. Тургеневу: «Между прочим говорю я об издании журнала, конечно более политического, но в котором и словесности много будет».<sup>148</sup> О целях «политического» журнала можно догадаться, если сопоставить эту запись со следующим местом из дневника С. И. Тургенева от 16/28 декабря 1815 года: «„Сын отечества“ мог бы быть полезнее, чем он есть, особливо чем он был в начале 1814 года и в конце 1813. Он бы в это время должен был исследовать плоды освобождения в Германии, распространения мало-помалу либеральных идей, не говоря о России, но все только о чужих краях, приучать читателей своих думать о свободе, заниматься ею и проч. и проч. Теперь, если журнал умрет, никто его не помянет; тогда бы он был всей принесенною пользою началом хороших журналов».<sup>149</sup>

Весной 1817 года решено было издавать журнал, к сотрудничеству в котором надеялись привлечь и не членов «Арзамаса». 9 июня того же года Н. И. Тургенев сообщал брату Сергею Ивановичу: «Арзамасское общество решилось создавать журнал. Заготовь, брат, ты что-нибудь для журнала. Ты стоишь в числе вспомогателей, равно как и Старынкевич, от которого мы надеемся иметь пиесы о законодательстве, администрации и т. п. Мы пришлем вам программу журнала, когда она выйдет. Орлов очень рад журналу и обещает много помещать в него».<sup>150</sup>

Летом 1817 года Орловым и Вяземским была выработана программа журнала — своеобразный компромисс взглядов «Рейна» и его оппонентов. Большое место отводилось разделу политики, задачей которого ставилось «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее».<sup>151</sup>

13 августа 1817 года, на заседании, происходившем у Орлова, были подписаны «законы» «Арзамаса» — устав общества. Целью его провозглашалась «польза отечества», состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности и вообще мнений «ясных и правильных».<sup>152</sup> А. Н. Шебунин справедливо заметил, что под «ясными и правильными» мнениями подразумевались либеральные идеи.<sup>153</sup> 14 ноября 1817 года Н. И. Тургенев писал младшему брату по поводу «Арзамаса»: «Общества, один дух имеющие и оживотворенные одним или многими членами своими, могут много сделать доброго».<sup>154</sup>

В этом плане Тургенева интересовал не только «Арзамас». В том же письме читаем: «Ганеман, который иногда говорит дело, недавно говорил, что прекрасно было бы, есть ли бы какое-нибудь общество предположило себе, например, составить кодекс законов». Интересовался Тургенев и Библейским обществом. 27 мая 1817 года в дневнике записывалось: «Вчера был я в Библейском обществе. Я не имею точного мнения о сем учреждении, но не нахожу в нем ничего, кроме доброго».<sup>155</sup>

Подводя итоги, мы можем констатировать стремление Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова создать в 1817 году тайное общество, которое через легальные литературно-политические филиалы, поэтов, писателей, журнали-

<sup>148</sup> Там же, д. 20, л. 17 об.

<sup>149</sup> Там же, д. 18, лл. 25 об.—26.

<sup>150</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 224.

<sup>151</sup> Отчет имп. Публичной библиотеки за 1887 год. СПб., 1890, Приложения, стр. 82; см. также: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 год. СПб., 1887, Приложения. Бумаги Жуковского, стр. 158—160.

<sup>152</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 233 и 246.

<sup>153</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 50—51.

<sup>154</sup> Там же, стр. 239.

<sup>155</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 36.

стов, ученых влияло бы на общественное мнение страны, на господствующий класс и правительство. Организационная структура этого общества была близка к Тугендбунду, предвосхищала структуру и тактику Союза благоденствия. Тургеневу и Орлову удалось создать ядро тайной организации, они добились влияния в «Арзамасе», в журнале «Сын отечества», воздействовали на поэзию А. С. Пушкина и на творчество многих передовых литераторов.

В обстановке энергичных попыток Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова создать тайное общество под влиянием созданного ими ядра тайной организации и ее легального литературного филиала — «Арзамаса» и появилась пушкинская «Вольность». В ней отразились политические взгляды Н. И. Тургенева, его «программа-минимум», над которой он работал в 1817 году.

### Программа Н. И. Тургенева 1817 года и ода «Вольность»

Речь идет о «программе» статей Н. И. Тургенева для арзамасского журнала.<sup>156</sup> Впервые она читалась (в виде отдельных набросков) на 22-м заседании «Арзамаса» (август 1817 года). В протоколах его говорится: «Читано три программы — две членом Рейном (М. Ф. Орловым, — В. П.), одна — членом Варвиком (Н. И. Тургеневым, — В. П.), по поводу коей произошел страшный арзамасский язычный бой и свершилось вторичное по сотворении мира смешение языков».<sup>157</sup> Видимо, тургеньевская программа вызвала споры, но отклонена все же не была. 14 августа в дневнике Тургенева записывалось: «Вчера в „Арзамасе“ читали программы Р<ейн> и я. Не знаю, как за мою мне приняться».<sup>158</sup> 2 сентября Н. И. Тургенев сообщил младшему брату: «Орлов отсюда уехал в Киев. Он был одним из ревностнейших членов Арзамаса и в особенности подвинул его на серьезное дело».<sup>159</sup>

После споров, вызванных его программой, Н. И. Тургенев был настроен весьма оптимистически. В том же письме от 2 сентября говорилось: «Смех по сию пору был главным делом Арзамаса. Теперь захотели издавать журнал... Законы написаны. Выбраны представители „Арзамаса“, которые в особенности должны заниматься изданием: но были даже уже читаны и две или три программы для рассуждений. Подумай доставить нам что-нибудь от себя для журнала. Хорошо, если бы и Старынкевич, преодолев беспечность свою, сообщил нам что-нибудь для журнала». Сам Н. Тургенев продолжал работать над «программой».

Проблематика ее совпадает с орловской, — по-видимому, они действовали согласованно. Арзамасские протоколы регистрировали три «программы» Орлова: «Политика вообще и отрывки в прозе», «Образцы общественного мнения».<sup>160</sup> Наконец, перед отъездом в Киев Орлов, по свидетельству Н. Тургенева, «предложил программу: „показать, что представительная система заключает в себе все выгоды других форм правления, существовавших в древних и новых временах, не имея их недостатков и невыгод“. За сию программу также взялся сам Орлов».<sup>161</sup>

<sup>156</sup> М. К. Азадовский. Затерянные и утраченные произведения декабристов, стр. 634.

<sup>157</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 234.

<sup>158</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 43.

<sup>159</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 232.

<sup>160</sup> Арзамас и арзамасские протоколы, стр. 71—72.

<sup>161</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 233.

Тургеневская «программа» ставила вопросы о конституции, законности, отношении к революции. В ней нашли отражение — хотя и неполностью — тогдашние политические взгляды Н. Тургенева. Это была его своеобразная «программа-минимум». В конце 1816—1817 годов Н. Тургенев, как и раньше, мечтал об уничтожении крепостничества и введении конституции. Пропаганда конституционных идей Н. Тургеневым была неразрывно связана с полемикой с Н. М. Карамзиным. 30 ноября 1816 года Н. Тургенев писал брату Сергею: «Карамзина история началась печататься. ... Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотисмом, что здесь называют самодержавием, и, доказывая сие, заключает ..., что самодержавие одно только и может сохранить величие России. Я осмелился однажды заметить на слова его „мне хочется только, чтобы Россия подолее постояла“: „Да что прибыли в таком состоянии?“ и нашел сегодня в Арндте „Über den Bauerstand“: „Китайское спокойствие не есть счастье и находится дальше всего от того государства, которое заслуживает название человеческого“». <sup>162</sup>

Тургенев стремился теоретически развенчать самодержавие. В дневниковой записи от 29 ноября 1816 года, резко нападая на деспотическое и даже на «монархическое чистое» правление, Тургенев полемизирует с Монтескье: «Не от перемены ли правления из Республиканского в Деспотическое переменяются нравы из добрых в дурные, а не от таковой перемены нравов происходит таковое изменение образа правления, как обыкновенно думают?». <sup>163</sup>

Полемизировал Тургенев и с теми западноевропейскими публицистами, которые доказывали неподготовленность России к конституции. Он резко отзывается о книге Азаиса. «De la sagesse en politique Sociale ou de Mesure de Liberté qu'il est convenable en ce moment d'accorder aux principaux nations de l'Europe», автор которой, объясняя политическое устройство государства влиянием географических условий, считал, что конституционное правление не подходит для России с ее громадной территорией и неравномерностью развития отдельных ее областей. 15 декабря 1817 года Н. Тургенев с возмущением писал младшему брату: «Азаис рассуждает о свободе, не зная, что она такое. Свободу надобно не только разуметь, но и чувствовать: и тогда окажется, qu'il n'y a rien de si humain, de si naturel, qu'elle. <sup>164</sup> Слово „человек“ заключает уже в себе мысль о разуме и свободе. Все говорят, что человеку дана свободная воля. Отчего же не должен он иметь свободы?». <sup>165</sup>

Свобода, по Тургеневу, это прежде всего конституция. В дневниковой записи от 7 декабря 1817 года читаем: «Этот мусье Азаис говорит, что Россия, по причине ее пространства и различия образованности населяющих ее народов, не созрела еще для конституции, или — что все равно — для свободы. ... Все равно естли бы кто сказал о людях между снегов, в вечной ночи живущих: они еще не созрели для того, чтобы греться на солнышке». <sup>166</sup>

Н. И. Тургенев решительно не согласен с утверждением, будто свобода возможна лишь при определенной степени просвещения. 14 ноября 1817 г. он писал брату Сергею: «Естли верить словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения, ... то

<sup>162</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 203—204 (слова Арндта — в переводе с немецкого).

<sup>163</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 9—10.

<sup>164</sup> Перевод: «что нет ничего столь человеческого, столь естественного, как она» (франц.).

<sup>165</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 245.

<sup>166</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 170.

в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе... Свобода, устройство гражданское производит и образованность, и просвещение. Одно просвещение никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению».<sup>167</sup> (Ю. Г. Оксман справедливо отметил полемическую заостренность этих мыслей против рассуждений княгини Е. Р. Дашковой и Н. М. Карамзина<sup>168</sup>).

Спорил Тургенев и с некоторыми западноевропейскими публицистами. Мечтая о свободе, Тургенев имел в виду буржуазно-демократическую конституцию, аристократическая решительно отвергалась им. «Если сотворить аристократическую власть, не сотворя демократической, то государство надолго будет несчастно. Доказательство сему, что когда аристократическая сила во Франции, в особенности французские парламенты усилились, то власть демократическая не могла иначе возникнуть как посредством ужаснейшей революции»,<sup>169</sup> — читаем в одной из дневниковых записей 1817 года. По мнению Тургенева, аристократическая форма правления еще хуже самодержавия: «При сильной аристократической власти и вместе при слабой державной власти, состояние простого народа должно быть невыгодное и несчастное»,<sup>170</sup> — говорится в дневнике.

Но как добиться свободы? Н. Тургенев, как уже отмечалось, не полагался на силу времени.<sup>171</sup> Не верил он и в исключительную силу обличений.

3 декабря 1816 года в дневнике записывалось: «Сегодня был я в театре. Давали Митрофанушку... Я сделал печальное замечание, что и прежде говорили смело, что доказывает роль дяди, осмеивали и ругали жестокость помещиков и глупость воспитания — но какое впечатление сделало сие на Россию?».<sup>172</sup> Иногда появлялась вера, что общественное мнение в сочетании с реформаторскими намерениями Александра I обновит Россию. 12 ноября 1816 года в дневнике записывалось: «Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? — Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? — Есть; ибо такого правительства или, лучше сказать, правителя долго России не дожидаться. — Итак, из сего следует, что надобно делать — „держайте убо, держайте, людие божи“».<sup>173</sup>

Но эти иллюзии быстро проходили. С тем бóльшим вниманием изучал Тургенев опыт французской и английской революций. Он понимал, что революция не была случайностью и вполне возможно ее повторение. 25 июня 1817 года в дневнике записывалось: «Мир совсем не покоен. Бунты в Бразилии, заговоры в Португалии, борьба в Виртемберге продолжают доказывать, что последние происшествия в Европе были сильнее людей, которые их производили».<sup>174</sup>

26 декабря 1816 года он пишет в дневнике: «Читая историю du régime de la terreur мне даже гадко стало сие чтение, и почти сделалось как будто тошно. Какие уроки потомство может почерпнуть из сих ужасных происшествий французской революции? Я думаю никаких, ибо все это так дурно, так бессмысленно, так скверно, так ужасно, что ни к чему для

<sup>167</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 241.

<sup>168</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, стр. 66—70.

<sup>169</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 62—63.

<sup>170</sup> Там же, стр. 62.

<sup>171</sup> См. выше, стр. 105.

<sup>172</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 10.

<sup>173</sup> Там же, стр. 7.

<sup>174</sup> Там же, стр. 38.

потомства, ни для современников служить не может». <sup>175</sup> Цели и результаты французской революции были хороши. Но путь их осуществления неприемлем. Как же быть?

По мнению Тургенева, французскому пути развития следует предпочесть английский. В Англии, в отличие от Франции, всегда господствовало уважение к личности и закону. Читая сочинение Делольма «La Constitution de l'Angleterre ou l'état du gouvernement anglais, dans lequel il est comparé a la fois avec la forme républicaine de gouvernement et avec les autres monarchies de l'Europe», Тургенев записывает в дневнике: «Обыкновенно в государствах власть правительства почитается дотоле неограниченной, покада не положено известных определенных пределов в оной. В Англии напротив: не власть правительства, но свобода подданного почитается неограниченной». <sup>176</sup>

В письме к С. И. Тургеневу от 12 февраля 1817 года он называет английскую конституцию шедевром «ума или, лучше сказать, рассудка человеческого». <sup>177</sup> Она «произошла от обстоятельств, от борьбы народной с правительством». <sup>178</sup>

В «программе» Тургенев стремится показать преимущества английского государственного строя и, сравнивая английскую историю с французской, выдвигает проблемы конституции, законности, отношения к революции.

Первые наброски «программы» находим в дневниковой записи от 10 августа 1817 года: «1. Показать, какие заслуги оказала Европе или свету Англия и какие Франция. Здесь можно в особенности говорить о том, что Англия заставила Европу любить свободу, Франция ее ненавидеть . . . 2. Ход Англии внутри государства, т. е. внутреннее управление, конституция относительно к народу. И ход сей во Франции . . . В Англии правительство ясно существует для народа, а не народ для правительства. Во Франции сего никогда не было. Там всегда царствовал ужасный деспотизм, и цари считали народ собственностью своею. 3. В Англии . . . каждое действие деспотизма, своевольтва находило в парламенте строгих судей и неумолимых хулителей, подвиги же патриотов были благословляемы». <sup>179</sup>

Этот первый проспект «Программы» читался в «Арзамасе» 6 сентября. Н. Тургенев ознакомил слушателей с более отработанной «программой». В письме к С. И. Тургеневу от 8 сентября 1817 года говорится: «Третьего дня был у нас еще Арзамас. Были предлагаемы программы; все исключительно литературные, и эта исключительность мне совсем не нравится; я предложил следующую: „Показать заслуги Англии и Франции перед Европою“ . . . Англия заставила Европу любить свободу, Франция ее ненавидеть. Но надобно также упомянуть, что Франция своею революциею прочла, так сказать, для Европы полный курс науки управления государственного и т. д. Я сам взялся обработать сию программу». В конце характерная приписка: «Надо будет показать, что не вещи, а люди испортили французскую революцию, так, как они портят английскую свободу, а через то и общую европейскую». <sup>180</sup> Под «порчей людьми» английской свободы Тургенев подразумевал реакционную политику английского правительства, добившегося в 1817 году постановления парламента о приостановке действия «Habeas Corpus Act» (сначала до 1 июля 1817 года,

<sup>175</sup> Там же, стр. 13.

<sup>176</sup> Там же, стр. 75.

<sup>177</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 212.

<sup>178</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 62.

<sup>179</sup> Там же, стр. 42—43.

<sup>180</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 233

затем до 1 марта 1818 года). Тургенев усматривал в этом лишь следствие действий недальновидных политиков, но отнюдь не проявление особенностей английского государственного строя. 14 ноября 1817 года он писал брату Сергею: «Касательно Англии я совершенно согласен с тобою на счет правительства теперешнего. Но не соглашусь с тобою, чтобы Англия была близка к падению. С такою конституциею, какова английская, народы не так-то скоро упадают».<sup>181</sup> И «эксцессы» французской революции тоже были следствием действий людей, а не определялись логикой событий. Следовательно, нельзя опорочивать всю революцию на основе наблюдений над якобинской диктатурой и наполеоновским деспотизмом. Такова идейная направленность «второй редакции» тургеневской программы. Работа над ней началась 26 августа 1817 года и продолжалась в сентябре, после заседания 6 сентября. 16 сентября в дневнике записывалось: «Я намарал несколько листов о программе своей». По-видимому, речь идет о набросках, содержащихся в дневнике.<sup>182</sup>

В «программе», написанной в форме исторического этюда (с XVI по XIX век), где собственные мнения Тургенева перемежаются с выдержками из книги Дреша,<sup>183</sup> Тургенев бичует деспотизм, противопоставляя ему «правильные» формы правления, конституцию.

В своих восхвалениях английского государственного строя Тургенев явно следовал Монтескье. Англия — оплот свободы, это торговая страна, а «обширная торговля не может быть без свободы. Свобода торговли ведет за собой свободу политическую, а без сей последней нет счастья прочного для народов».<sup>184</sup>

Второй вопрос, затрагиваемый «программой», — отношение к французской революции, истолкование ее уроков. «Правила, принятые первым Народным Собранием во Франции, были одобрены всею Европою. Они состояли в уважении первобытных, вечных, неотъемлемых прав человеческого в отношении к каждому лицу; признание идеи государства как соединения многих к достижению одной цели: общей безопасности, ограждения общих прав и общего стремления к благоденствию всех и каждого; — равная обязанность для всех жертвовать на пользу общую; равная возможность для всех пользоваться благодеяниями государственными, смотря по заслугам и т. д. Все благомыслящие люди согласились с справедливостью сих правил».<sup>185</sup>

Осуждаются лишь якобинская диктатура и наполеоновский режим. Тургенев не согласен с утверждением, будто Франция имела нужду в сильном деспоте, который один только мог удержать народ в пределах повиновения. Наоборот, «деспотизм делает народы более и более дикими; одно только правление, умеющее с необходимою строгостию соединять доброту и любовь, может возбудить угнетенные или забытые народные добродетели».<sup>186</sup> Итак, во второй половине 1817 года Тургенев отнюдь не отождествлял французскую революцию с Наполеоном. Бонапарта он ненавидит, как деспота, как представителя той системы, которая «в завоеваниях, в распространении сил физических полагала все блаженство народов». Тургенев отмечает, что революция 1789 года оказала сильнейшее воздействие на все европейские государства. «Без междоусобных распрей, без

<sup>181</sup> Там же, стр. 239.

<sup>182</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 44—60.

<sup>183</sup> J. D : e s c h. Betrachtungen über das heilige Bündniss besonders in Vergleich mit ähnlichen Ereignissen des XVI Jahrhunderts. Weimar, 1814.

<sup>184</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 49.

<sup>185</sup> Там же, стр. 50.

<sup>186</sup> Там же, стр. 58.



внутренних потрясений совершился важный переворот в Европе. То, что прежде было собственностью некоторых избранных, умнейших людей и о чем народы имели только лишь некоторые нетвердые понятия, сделалось теперь собственностью и общим мнением всех образованных народов. Важнейшая часть великого переворота уже совершена. Понятия, стремление и дух народов сделались совершенно новыми и во многих отношениях лучшими, хотя различные обстоятельства и формы еще угнетают сие стремление и сей дух. Но дух восторгается над формами». Идеи 1789 года «распространились посредством собственной своей силы, своего превосходства — точно так, как правила реформации».<sup>187</sup>

Французская революция явилась серьезным историческим уроком и предостережением. «Судьба Лудовика XVI и Густава IV доказала сильным мира сего опасность, вред неограниченной власти. Пруссия, в падении и в возвышении своем, Испания, Россия показали, что в величайших опасностях не армии, а народы спасают государства; солдаты Наполеона показали опасность военного деспотизма. Происшествия показали дряхлость и негодность прежних политических систем и необходимость новых».<sup>188</sup> Избежать переворота нельзя. Но можно обойтись без кровопролитий, без «французского пути». И прежде всего это должна сделать Россия, которая может, «пользуясь примером и опытом других народов, как во внутреннем управлении, так и в отношении дипломатической ее системы, сотворить себе постоянные правила для первого и для сей последней. В других государствах опыт часто препятствует введению доброго. Россия мало испытала на политическом горизонте и может, без затруднения, избирать для себя лучшее. То, до чего другие народы достигали посредством тяжких революций, может быть сделано в России посредством одного именного указа и точного последования оному».<sup>189</sup> Тургенев ратует за «законность», способную избавить и от монархического деспотизма, и от «ужасов» народной революции.

Такова тургеневская «программа»,<sup>190</sup> идеи которой отразились в пушкинской «Вольности». Тургенев борется «на два фронта». Прежде всего против реакционного истолкования уроков французской революции. Она была неизбежна. Ее начальный этап и ее результаты оцениваются положительно. Якобинская диктатура и наполеоновский деспотизм были отнюдь не обязательны — «не вещи, а люди испортили французскую революцию». Она могла бы развиваться и по-другому. Тургенев подчеркивает, что и во всей остальной Европе принципы 1789 года победят. И если хотя бы избежать повторения кровавой якобинской диктатуры и наполеоновского деспотизма, нужно провести реформы и утвердить законность, как в Англии. С другой стороны, Тургенев осуждает якобинскую диктатуру, народную революцию. Не удивительно, что тургеневская «программа» вызвала «язычные бои» в «Арзамасе», свидетелем которых был А. С. Пушкин.

«Программа» Тургенева не затрагивала проблемы крепостничества — того, что больше всего интересовало Тургенева. По-видимому, это было вызвано опасениями Тургенева, как бы постановка вопроса о крепостном праве не вызвала ожесточенных споров о путях его ликвидации и не привела бы к расколу в оппозиционных кругах общественности. Тургенев же

<sup>187</sup> Там же, стр. 49—50.

<sup>188</sup> Там же, стр. 58.

<sup>189</sup> Там же, стр. 56.

<sup>190</sup> За недостатком места опущены рассуждения (очень важные) о внешней политике Англии и Франции. Не понятно, почему М. К. Азадовский отнес тургеневскую статью к числу «затерянных и утраченных» («Литературное наследство», т. 59, стр. 634—635). Тургенев и не начинал над ней работать, ограничившись набросками «программы».

стремился к консолидации всех оппозиционных элементов для создания легальных филиалов тайного общества. Поэтому вопрос о крепостном праве он поднимает в «Опыте теории налогов» (редактировавшемся в это время), но обходит в «программе». В ней выдвигаются лишь те проблемы (конституция, «законность»), которые могли заинтересовать и сплотить не только ближайших единомышленников Тургенева, но и Блудова, Уварова, «сановную оппозицию» (М. С. Воронцова, Н. С. Мордвинова и др.). При этом Тургенев избегает резких формулировок — вероятно, он учел опыт с речами и «программами» М. Ф. Орлова, вызывавшими острые дискуссии. Недаром С. И. Тургенев писал Жуковскому в декабре 1817 года: «Кажется, Рейн со своей статьей о представительном правлении слишком быстро потек. Вспомнить бы ему о Шафгаузенском водопаде».<sup>191</sup> Так появилась тургеневская «программа-минимум».

### Пушкин и Н. И. Тургенев в 1817 году

Основные положения тургеневской «программы» отразились в пушкинской «Вольности». И это не было случайным явлением. Автор «Опыта теории налогов» оказал огромное воздействие на развитие общественно-политических взглядов великого поэта. Ю. Г. Оксман установил, что оно имело место даже в период создания «Капитанской дочки» и статей о Радищеве.<sup>192</sup>

Именно с Н. И. Тургеневым «сблизился Пушкин в первые же месяцы своей петербургской жизни. На квартире Тургенева и начинается то политическое воспитание Пушкина, которое определило его дальнейший путь».<sup>193</sup> Знакомство и сближение с Н. И. Тургеневым началось в июне 1817 года, и с каждым месяцем их отношения становились короче.

28 июня 1817 года на квартире Тургеневых Пушкин познакомился с Н. И. Кривцовым. 21 ноября Н. И. Тургенев записывал в дневнике: «Сегодня по вечеру был у меня Баранов и Пушкин».<sup>194</sup> Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; ... к ним, то есть к меньшему Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы».<sup>195</sup> Естественно, что двадцативосьмилетний Н. И. Тургенев, выделявшийся умом, образованностью, ценным и передовой молодежью, и вельможами типа Н. С. Мордвинова, оказывал сильное влияние на восемнадцатилетнего поэта. Воздействие Н. И. Тургенева на передовую молодежь был вынужден признать даже Ф. Ф. Вигель, старавшийся в своих воспоминаниях всячески очернить лидера Союза благоденствия: «... он был одарен великою твердостью (обратившеюся после в ужасное упрямство), а это людям почти всегда дает верх над другими. ... Надобно признаться, что Тургенев имел в себе нечто вселяющее к нему почтительный страх и доверенность; он был рожден, чтобы властвовать над слабыми умами. Сколько раз случилось мне самому видеть военных и гражданских юношей, как Додонский лес, посещающих его кабинет, и с подобострастным вниманием принимающих непонятные для меня слова».<sup>196</sup>

<sup>191</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 485.

<sup>192</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, стр. 70—77.

<sup>193</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая, стр. 133.

<sup>194</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 106.

<sup>195</sup> Ф. Ф. Вигель. Записки, часть шестая, изд. «Русского архива», М., 1892, стр. 10.

<sup>196</sup> Там же, часть пятая, стр. 47.

В донесении Грибовского—Бенкендорфа также отмечалось, что тургеневскими «наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей».<sup>197</sup>

К числу этих «молодых людей» принадлежал и А. С. Пушкин. Как член «Арзамаса»,<sup>198</sup> он был знаком с «программой» Н. И. Тургенева и спорами, разгоревшимися вокруг нее. Вероятно, читал Пушкин и рукопись «Опыта теории налогов». В редактировании этой книги Тургеневу помогали В. А. Жуковский, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, А. И. Тургенев. Трудно допустить, чтобы Пушкин не ознакомился с ней в рукописи. Наконец, взгляды Тургенева были известны Пушкину и из разговоров с ним.

В беседах с единомышленниками Н. И. Тургенев высказывался весьма откровенно. 26 сентября 1817 года он записывал в дневнике: «Теперь был у меня Кривцов; мы беспрестанно говорили; не умолкали, потому что говорили о том, чем полна душа моя. . . только с такими людьми могу много и с жаром говорить о политических предметах, в коих предполагаю и нахожу сходные понятия и правила с моими. Тогда говорю я просто, то, что на уме, не стараюсь обделывать мыслей и вынимаю их прямо из сердца».<sup>199</sup>

Думается, что столь же откровенным Н. Тургенев был и с Пушкиным. Знакомство с Н. И. Тургеневым, с его общественно-политическими взглядами явилось хорошей теоретической и политической школой для Пушкина. Правда, судьба не впервые свела его с будущими декабристами — поэт был связан со «священной Артелью».<sup>200</sup>

Летом 1817 года (июль—август) лицейские товарищи Пушкина И. И. Пущин и В. Д. Вольховский вступили в Союз спасения.<sup>201</sup> В «Записках» Пущина есть очень важное для нас место: «Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского. . . Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или к несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался верить ему тайну, не мне одному принадлежащую».<sup>202</sup> Пушкин стремился стать членом тайного общества (о существовании которого подозревал). И Пущин успокаивал его (в январе—феврале 1818 года) «тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели».<sup>203</sup>

<sup>197</sup> Н. К. Шильдер. Император Александр первый. Его жизнь и царствование, т. IV. СПб., 1898, стр. 212.

<sup>198</sup> О времени вступления А. С. Пушкина в «Арзамас» см.: Б. В. Томашевский и И. Пушкин. Книга первая, стр. 109—110.

<sup>199</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 93.

<sup>200</sup> М. В. Нечкина. Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг. (Материалы к предистории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина). В кн.: Декабристы и их время, ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха. М.—Л., 1951, стр. 155—188.

<sup>201</sup> Восстание декабристов, т. II. М.—Л., 1926, стр. 232. О вступлении Пущина именно в Союз спасения см.: Ю. Г. Оксман. Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине. «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 631.

<sup>202</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. ГИЗ, 1927, стр. 74—75. См. также рецензию Ю. Г. Оксмана на «Записки» И. И. Пущина (М., 1934): «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 1, М.—Л., 1936, стр. 334.

<sup>203</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма, стр. 75.

11 июня 1817 года Пушкин познакомился с С. И. Муравьевым-Апостолом,<sup>204</sup> немного позже, в июле 1817 года, — с П. А. Катениным.<sup>205</sup> Однако среди знакомых Пушкина той поры не было ни одного политического деятеля и теоретика такого масштаба, как Н. И. Тургенев. Естественно, что его политическая программа и теоретические взгляды были восприняты и усвоены Пушкиным.<sup>206</sup> Они определили содержание «Вольности», политически активизировали Пушкина как поэта (хотя его политические взгляды той поры и были весьма умеренны).

Братья Тургеневы не одобряли «элегичности» поэзии Пушкина (что было характерно для него в год окончания Лицея) и настойчиво советовали ему обратиться к политически актуальной проблематике.<sup>207</sup> Соответствующие призывы А. И. Тургенева встретили слегка ироническое отношение поэта:

Не слишком счастливый гонитель<sup>208</sup>  
И езуитов и глупцов  
И лениности моей бесплодной, —

говорится в послании А. И. Тургеневу. Пушкин явно намекал на неудачи старшего Тургенева в борьбе за просвещение.

Иначе отнесся Пушкин к советам младших братьев Тургеневых. В ответ на пожелания С. И. Тургенева перестать оплакивать «самого себя» и создать «первую песнь» — «Свобода»<sup>209</sup> великий поэт в комнате Н. И. Тургенева написал свою знаменитую оду.

Общение с Н. Тургеневым способствовало быстрому росту политического мышления Пушкина. «Свободу» он стал понимать гораздо глубже, чем раньше. О «Свободе» говорилось и в прежних его произведениях. Термин этот встречается очень часто в лицейских стихотворениях. Достаточно назвать «К Лицинию», «На возвращение государя императора из Парижа». Однако «Свобода» понималась весьма расплывчато, не связывалась с конституционным правлением. Правда, Г. А. Гукровский справедливо отмечал, что «и здесь, в своем роде, хоть и не как у Жуковского, слово в меньшей степени означает предмет, объективное бытие, прямой объект называния, чем эмоцию — героическую и гражданскую, чем отношение к предмету, субъективное состояние... Слово соотносится с гневом, подъемом, дерзанием, величием души, родившим его, более чем с предметным объектом вне сознания, отблеском которого оно призвано служить».<sup>210</sup> Но все же определенное содержание в термин «свобода» вкладывалось. В стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа» говорится о войне за свободу против тирана — Наполеона, об Александре I как восстановителе свободы. Но особенно характерно в этом отношении стихотворение «К Лицинию». В нем бичуется деспотизм, вскользь говорится о нежелательности «народного волнения», прославляется «свобода». Но, хотя в объяснении причин гибели Рима Пушкин явно следует знаменитому трактату Монтескье «Размышления о причинах

<sup>204</sup> М. А. Цявловский. Летопись, стр. 126.

<sup>205</sup> Ю. Г. Оксман. Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине, стр. 635; см. там же, стр. 644, соображения Ю. Г. Оксмана о времени знакомства Пушкина с Катениным.

<sup>206</sup> Ю. Г. Оксман доказал, что именно под влиянием Н. И. Тургенева Пушкин разошелся по политическим вопросам с П. А. Катениным. («Литературное наследство», т. 16—18, стр. 625—626).

<sup>207</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая, стр. 143.

<sup>208</sup> Мы принимаем чтение, данное Ю. Г. Оксманом в докладе на XI Всесоюзной Пушкинской конференции (июнь 1959 года). В 1817 году А. И. Тургенев очень неудачно боролся с иезуитами.

<sup>209</sup> См. выше, стр. 94.

<sup>210</sup> Г. А. Гукровский. Пушкин и русские романтики, стр. 179.

величия и падения римлян» (исчезновение «добродетели» привело к деспотизму, «свободой Рим возрос, а рабством погублен»), в стихотворении отсутствует главная мысль французского философа — необходимость конституции. Н. Тургенев обратил на это внимание Пушкина. И в «Вольности» под «свободой» уже подразумевалась конституция.

Влияние Н. Тургенева сказалось и в своеобразной форме «Вольности» — стихотворной прокламации, адресованной передовому дворянству.

Осенью 1817 года Н. Тургенев выдвинул задачу создания популярных пропагандистских сочинений, рассчитанных на прогрессивные круги господствующего класса. Вечером 8 ноября 1817 года в дневнике записывалось: «На сих днях... я вздумал о катехизисе россиянина XIX в. Это была бы хоть какая-нибудь работа для меня».<sup>211</sup> В «Катехизисе» предполагалось поставить вопрос о причинах и уроках французской революции. Мысль о создании такого катехизиса свободолюбия возникла под влиянием немецкой антинаполеоновской публицистики 1806—1814 годов, в частности под влиянием Клейста.<sup>212</sup> Однако, в отличие от немецких публицистов и поэтов, Тургенев предполагал обратиться не ко всей нации, а лишь к передовым кругам дворянской общности. То же самое характерно и для Союза благоденствия.<sup>213</sup> Лишь во второй половине 1820 года в 16-й дивизии (которой командовал М. Ф. Орлов), а затем в Северном и Южном обществах декабристов были созданы агитационные произведения для солдат.<sup>214</sup>

Сам Н. И. Тургенев ни «катехизиса», ни другого популярно-пропагандистского сочинения в 1817 году не создал. Но задачу эту частично решил Пушкин в оде «Вольность». Она создавалась как стихотворная прокламация, оппозиционная, предназначенная не для печати, но по своему духу вполне «легальная». В ней пропагандировались идеи «программы-минимум» Н. И. Тургенева.

### Программно-политические установки оды «Вольность»

Влияние «программы» Н. И. Тургенева, его взглядов проявилось в пушкинской оде в ее лозунгах, политических установках и в государственно-правовых воззрениях поэта. Как и тургеневская «программа», пушкинское стихотворение выдвигает проблему отношения к французской революции, истолкования ее уроков, бичует деспотизм, пропагандирует преимущества конституционного правления. Как и Тургенев, Пушкин борется «на два фронта». Он полемизирует с реакционными идеологами, защитниками абсолютизма (Карамзиным, Бональдом, Галлером, Ж. де Местром) и в то же время оспаривает доктрину неограниченного суверенитета народа (Руссо, Радищев).

Поэт начинает с обращения к французской революции, с напоминания о «Марсельезе», приводившей в трепет феодальную Европу:

Беги, сокройся от очей,  
Цитеры слабая царица,  
Где ты, где ты, гроза царей,  
Свободы гордая певича?

<sup>211</sup> Дневники Н. И. Тургенева, т. III, стр. 103.

<sup>212</sup> Heinrich von Kleist. Katechismus der Deutschen. In: Sämtliche Werke, Band 4, Berlin und Stuttgart, 1885, стр. 320—330.

<sup>213</sup> Ю. Г. Оксман. Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века, стр. 462—463.

<sup>214</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника И. С. Тургенева», стр. 138—139; В. Г. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. М.—Л., 1949.

Ю. Г. Оксман убедительно показал, что «не какую-то отвлеченную и никому не ведомую „музу вольности“, а Марсельезу имел в виду Пушкин, когда ... вспомнил недавнюю „грозу царей, свободы гордую певицу“. Имени ее бессмертного автора посвящена была и вся строфа о „возвышенном галле“». <sup>215</sup> Ю. Г. Оксман справедливо замечает, что имя автора «Марсельезы» было настолько известным, <sup>216</sup> что не нуждалось в расшифровке; поэтому-то Пушкин и не назвал имени «возвышенного галла». Современники «Вольности» и без того понимали, что речь идет о Руже де Лилле. Об этом свидетельствует С. Д. Полторацкий, человек, близкий к Пушкину. Только к «Марсельезе» можно отнести такие эпитеты, как «гроза царей», «гимны смелые», «свободы гордая певица». Именно она устремала монархов в пору лозунга «мир хижинам, война дворцам». И недаром в пушкинской оде встречаются фразеология и тональность «Марсельезы»: «Тираны мира! трепещите», «Восстаньте, падшие рабы!». «Функция мотивов Марсельезы в оде „Вольность“ была примерно та же, что и звуков наполеоновского гимна в одной из строф „Германии“ Гейне», — пишет Ю. Г. Оксман. <sup>217</sup>

Напоминание о «Марсельезе» и ее авторе призвано было напомнить о французской революции и ее уроках. Гимн революции (а таковым и была «Марсельеза») должен был явиться серьезным предостережением всем реакционерам. Если они будут противиться прогрессу, реформам, неизбежна новая революция. Трудно согласиться с Б. В. Томашевским, полагавшим, что «Пушкин, написавший программную „Вольность“, конечно, имел в виду тех поэтов, которые излагали в своих гимнах идеологию революции. „Марсельеза“ же не является таким гимном. Это патриотический призыв к сопротивлению нападающему врагу». <sup>218</sup> Мы не можем согласиться с мнением маститого ученого. Во-первых, строфы «Вольности», в которых говорится о «грозе царей», «возвышенном галле», отнюдь не носят программно-политического характера. Политическая программа излагается лишь с третьей строфы. Первые две напоминают о французской революции и только. («Программны» же они в литературном плане — как прокламирование отказа от «изнеженной» лиры). Во-вторых, заимствовать политическую программу у поэтов не было необходимости. Пушкин использовал идеи Н. И. Тургенева, Б. Констана и других политических мыслителей. «Свободы гордая певица» понадобилась просто как *символ революции*. При помощи тональности и фразеологии «Марсельезы» Пушкин воссоздает эмоциональный колорит начального этапа французской революции:

Тираны мира! трепещите!  
А вы, мужайтесь и внемлите,  
Восстаньте, падшие рабы!

Как показал Б. В. Томашевский, слово «восстаньте» употреблено в значении «встать, воспрянуть, воскреснуть». <sup>219</sup> Французская революция про-

<sup>215</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, стр. 184.

<sup>216</sup> И. Д. Якушкин свидетельствует: «Жена его (А. Муравьева, — В. П.), бывши невестой, пала с ними „Марсельезу“» (И. Д. Якушкин. Записки, стр. 20). Это было до середины 1819 года.

<sup>217</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева, стр. 199; Г. А. Гукровский. Пушкин и русские романтики, стр. 150—151.

<sup>218</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая, стр. 11.

<sup>219</sup> Там же, стр. 170—171.

будила надежды на «воскресение» народов. Но упованиям этим не суждено было сбыться. Современный мир выглядит весьма печально:

Увы, куда ни брошу взор —  
 Везде бичи, везде железы,  
 Законов гибельный позор,  
 Невольи немощные слезы;  
 Везде неправедная Власть  
 В сгущенной мгле предрассуждений  
 Воссела — Рабства грозный гений  
 И славы роковая страсть.

Чтобы объяснить, как это случилось, поэт рисует ход французской революции. Причину ее Пушкин, как и Тургенев, усматривал в отсутствии «законов мощных сочтанья», королевском деспотизме, самовластье:

И горе, горе племенам...  
 Где иль народу, иль царям  
 Законом властвовать возможно!  
 Тебя в свидетели зову,  
 О мученик ошибок славных,  
 За предков в шуме бурь недавних  
 Сложивший царскую главу.

Б. В. Томашевский убедительно показал, что сентенция о Людовике XVI как «мученике ошибок славных» его предков перекликается с одним из тезисов «Опыта теории налогов» Н. Тургенева: «Все в течении ста лет правительством накопленные бедствия обрушились наконец на невинной главе Людовика XVI». <sup>220</sup> Вероятно, из рукописи книги и из разговоров с Тургеневым и заимствовано Пушкиным это положение.

Говоря о закономерности и неизбежности французской революции конца XVIII века, одобряя ее первый этап Пушкин стремился показать, что нарушение законности в период революции, «властвование» над законом со стороны народа привело к новому деспотизму — наполеоновскому.

Восходит к смерти Людовик  
 В виду безмольного потомства,  
 Главой развенчанной приник  
 К кровавой плахе вероломства.  
 Молчит Закон — народ молчит,  
 Падет преступная секира...  
 И се — злодейская порфира  
 На галлах скованных лежит.

Пушкин явно полемизировал при этом с «Общественным договором» Руссо, провозгласившим принцип неограниченного суверенитета народа, и с радищевской «Вольностью», пропагандировавшей основные положения знаменитого трактата женеvского философа. Вслед за Руссо Радищев отстаивал доктрину неограниченного суверенитета народа.

Для пользы всех мне можно все, —

говорит народ в радищевской оде. Здесь явная переключка с «Общественным договором» Руссо, провозгласившим, что «верховная власть неограниченна» и «не может преступить» лишь «границ общих согласений», т. е. сам общественный договор. «Противоречит природе политического организма наложение верховной властью на себя закона, который она не может нарушить». В противовес этому Пушкин заявлял:

И горе, горе племенам...  
 Где иль народу, иль царям  
 Законом властвовать возможно!

<sup>220</sup> Там же, стр. 166—167.

Любая власть — и монархическая, и народная — должна быть ограничена законом, иначе неизбежен деспотизм. Осуждение казни Людовика XVI тоже было явной полемикой с Радищевым, прославлявшим в «Вольности» казнь Карла I.

Однако, хотя Пушкин и полемизировал с Руссо и Радищевым, основной удар он направлял по идеологам реакции, по теоретикам абсолютизма:

Владыки! вам венец и трон  
 Дает Закон — а не природа;  
 Стоите выше вы народа,  
 Но вечный выше вас Закон.

Разоблачению деспотизма посвящены самые сильные строки «Вольности»:

Самовластительный злодей!  
 Тебя, твой трон я ненавижу,  
 Твою погибель, смерть детей  
 С жестокой радостью вижу.  
 Читают на твоём челе  
 Печатать проклятия народы,  
 Ты ужас мира, стыд природы,  
 Упрек ты богу на земле.

На наш взгляд, эти пламенные строки говорят о деспотизме вообще, об обобщенном образе деспотизма. Б. В. Томашевский доказал, что Пушкин вовсе не относил характеристику деспота к Александру I.<sup>221</sup> Мы полностью согласны с этим. Но никак нельзя согласиться с мнением Б. В. Томашевского, будто речь идет о Наполеоне. Стоило ли в конце 1817 года посвящать обличению Наполеона, давно пребывавшего в ссылке на острове Святой Елены, самые гневные строки оды? «Вольность» — пропагандистское стихотворение. Думается, что к концу 1817 года гораздо важнее было пропагандировать ненависть ко всякому деспотизму, чем к наполеоновскому. Между тем, если принять гипотезу Б. В. Томашевского, то окажется, что в пушкинской оде нет ни одной строфы, разоблачающей деспотизм как таковой. Непонятным окажется и переход в следующей строфе к описанию последствий правления другого тирана — Павла I.

Гораздо правдоподобнее представить другое толкование. Исторический экскурс, посвященный французской революции и Наполеону, кончается словами «на галлах скованных лежит». В следующей строфе разоблачается — притом с исключительной обличительной силой — всякий деспотизм, обобщенный образ «самовластительного злодея». А затем на примере Павла I Пушкин показывает, что всякий деспотизм ведет к перевороту, к гибели самого тирана. Павел I для Пушкина такой же тиран, как Калигула и Наполеон. О его гибели он ничуть не жалеет. Но характерно, что не только тиран, но и его беспринципные убийцы вызывают отвращение поэта:

О стыд! о ужас наших дней!  
 Как звери, вторглись янычары!..  
 Падут бесславные удары...  
 Погиб увенчанный злодей.

И деспотизм французских королей, и произвол Павла I приводят к одному выводу:

И днесь учитесь, о цари:  
 Ни наказанья, ни награды,  
 Ни кров темниц, ни алтари  
 Не верные для вас ограды.  
 Склонитесь первые главой

<sup>221</sup> Там же, стр. 167—170.



Под сень надежную Закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Так выдвигается лозунг конституции, конституционной монархии. Ее преимущества всячески подчеркивались Пушкиным:

Лишь там над царскою главой  
Народов не легло страданье,  
Где крепко с Вольностью святой  
Законов мощных сочетанье;  
Где всем простерт их твердый щит,  
Где сжатый верными руками  
Граждан над равными главами  
Их меч без выбора скользят  
И преступленье свысока  
Сражает праведным размахом;  
Где неподкупна их рука,  
Ни алчной скупостью, ни страхом.

Под свободой в «Вольности» Пушкин подразумевал конституцию (так же как Н. И. Тургенев). В этом отношении ода Пушкина принципиально отличается от всех его прежних произведений, в которых «свобода» понималась крайне расплывчато.

Итак, пушкинская «Вольность» поднимала те же проблемы, что и тургеневская «программа». И решая эти вопросы и Тургенев, и Пушкин одинаково. Поэт находился под явным влиянием будущего лидера Союза благоденствия. А так как взгляды Н. И. Тургенева влияли на политическую программу и тактику Союза благоденствия, то и пушкинская «Вольность» оказалась в числе произведений, пропагандировавших политические установки новой тайной организации декабристов. Именно с позиций Союза благоденствия пушкинская «Вольность» полемизировала с рядом стихотворений Г. Р. Державина и с «Вольностью» Радищева.

Мы не можем согласиться с В. Вальденбергом, утверждавшим, будто «все мысли о законе и законности, требования равенства перед законом и подчинения закону самой царской власти, которые мы находим у Пушкина, представляют, почти сплошь, повторение и развитие того, что гораздо раньше говорил Державин».<sup>222</sup> На самом деле Державин говорил о соблюдении законов при абсолютизме («просвещенном абсолютизме»), а Пушкин — о конституции, о конституционной монархии. Это можно проследить на тех же самых примерах, которые приводил Вальденберг. В стихотворении «Царевичу Хлору» читаем:

Нередко в ум тебе приходит,  
Что царь — законов только страж,  
Что он лишь в действо их приводит  
И ставит в том в пример себя,  
Что ты живешь лишь для народов,  
А не народы для тебя,  
И что не свыше ты законов.

Совершенно очевидно, что, в отличие от Пушкина, Державин не ставил вопроса о конституции. Самое большее, речь идет об «истинной монархии» (монархии, основанной на законе, — по Монтескье). Идея эта была широко

<sup>222</sup> В. Вальденберг. Природа и Закон в политических воззрениях Пушкина. «Slavia», Прага, 1925, Ročník IV, seš. 1, стр. 76.

распространена в России в начале XIX века.<sup>223</sup> В оде «Властителям и судиям» проводилась та же мысль о монархии, основанной на законе:

Ваш долг есть: сохранять законы.

Те же идеи встречаем и в державинском стихотворении «Вельможа»:

Блажен народ, где царь главой,  
Вельможи — здоровы члены тела,  
Прилежно долг все правят свой.

Прав был Б. В. Томашевский, отмечавший скрытую полемику Пушкина и с Радищевым и с Державиным.<sup>224</sup> Влияние Державина шло по поэтической, а не по политической линии.

Как и тургеневская «программа», пушкинская «Вольность» адресовалась передовому, «просвещенному» дворянству. Мы не можем согласиться с утверждением Б. В. Томашевского, будто Пушкин «обращался с обличением ... подобно Радищеву, непосредственно к верховной власти».<sup>225</sup> Вряд ли таким путем можно было «воспеть свободу миру». Воспевание свободы имело смысл лишь в том случае, если поэт адресовался к сочувствующей аудитории, а монархи к ней не принадлежали. Слова: «И днесь учитесь, о цари» — скорее всего просто риторическо-дидактический оборот речи. Мнение Б. В. Томашевского, будто «слова „Тираны мира! Трепещите!“ в русской обстановке могли быть понимаемы только как прямое обращение к самодержцу всероссийскому»,<sup>226</sup> также не кажется нам справедливым. В таком случае и оборот «А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы!» пришлось бы понимать как обращение к народу. Но против этого возражал и сам Б. В. Томашевский. Как говорилось выше, все эти строки означают не больше чем воссоздание эмоционального колорита времен «Марсельезы». Ни одного прямого обращения к верховной власти в «Вольности» нет. Пушкин апеллировал к той же аудитории, что и Н. Тургенев, — к передовым кругам дворянства. Отсюда и своеобразный «жанр» пушкинской оды. Она явилась, как уже говорилось, стихотворной прокламацией, пропагандировавшей идеи тургеневской «программы». Ее политические лозунги полностью отвечали задачам, выгвинутым в 1818 году Союзом благоденствия. И недаром новая декабристская организация взяла пушкинскую «Вольность» на свое идеологическое вооружение.

Влияние тургеневской «программы-минимум» обусловило и отсутствие в «Вольности» антикрепостнических положений. Пушкин, как и Тургенев, явно по тактическим соображениям уклонился от этой проблематики. Видимо, Тургенев не скрывал своего намерения именно под лозунгом конституции объединить все оппозиционные круги.

Тургеневское воздействие определило не только конкретные политические установки «Вольности». Оно проявилось и в политических взглядах Пушкина той поры вообще.

### Политико-теоретическая доктрина оды «Вольность»

На какое политическое учение опирался Пушкин в своей знаменитой оде? Исследователи по-разному отвечали на этот вопрос. А. Веселовский

<sup>223</sup> См. об этом: А. В. Предтеченский. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1957, стр. 53—55, 65—89, 100—104.

<sup>224</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая, стр. 152—156.

<sup>225</sup> Там же, стр. 155.

<sup>226</sup> Там же, стр. 172.

в статье «Период Зеленой лампы»<sup>227</sup> писал, что в оде Пушкина жив и силен дух Радищева. П. О. Морозов полагал, что на пушкинскую «Вольность» огромное влияние оказала радищевская.<sup>228</sup> А. Л. Слонимский отмечал использование Пушкиным теории «общественного договора», которую А. П. Куницын и Н. И. Тургенев вывели из Геттингена, заимствовав ее у Руссо и Канта.<sup>229</sup> Эти положения вызвали решительные возражения со стороны В. Вальденберга, доказывавшего, что политическая доктрина Пушкина прямо противоположна идеям Радищева и Куницына, расходитсся со школой естественного права, с теорией «общественного договора» вообще.<sup>230</sup> Б. В. Томашевский полагал, что «характерной чертой „Вольности“ является вера в закон».<sup>231</sup> При этом не совсем ясно, о каком законе идет речь — о так называемом «положительном» или «естественном».

Мы не можем полностью принять ни одну из этих точек зрения. Пушкин опирался на школу естественного права, на теорию «общественного договора». Однако из учения Руссо отвергалось главное — принцип неограниченного суверенитета народа. Вместо этого выдвигался принцип законности, провозглашенный в XVIII веке Монтескье и несколько обновленный в начале XIX века Б. Констаном. Такое своеобразное преломление идеи «общественного договора» характерно для передовой русской общественно-политической мысли начала XIX века.

В пушкинской оде такая концепция выражена прежде всего в словах:

Владыки! вам венец и трон  
 Дает Закон — а не природа;  
 Стоите выше вы народа,  
 Но вечный выше вас Закон.

В. Вальденберг справедливо усматривал в этих строках полемику с ультрареакционными публицистами начала XIX века (Бональдом, Галлером, Мюллером). Пушкин в «Вольности» выразил «свое отношение к реакционной или ультраконсервативной теории. Он отверг свойственный ей натурализм, т. е. стремление поставить власть впереди права, сделать право для нее необязательным, а следовательно, объявить власть в существе своем неограниченной. Такое положение власти разумеется само собою, раз только она выводится из природы».<sup>232</sup>

Нельзя согласиться с другим утверждением Вальденберга, будто Пушкин разошелся и со школой естественного права, с теорией «общественного договора»: «Пушкин выводит власть не из договора, а из закона... Было бы большой смелостью, разумеется, если бы кто-нибудь стал утверждать, что слово „закон“ составляет здесь поэтическую фигуру и что под ним скрывается неуклюжее и слишком прозаическое слово „договор“».<sup>233</sup> В. Вальденберг не учитывает различия, проводившегося Руссо между так называемым первоначальным «общественным договором» и законами, действующими уже после и во исполнение «общественного договора». Пушкин в данном случае говорит не о перво-

<sup>227</sup> Пушкин, Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. I, СПб., 1907, стр. 558.

<sup>228</sup> Там же, стр. 514—516.

<sup>229</sup> А. Слонимский, Пушкин и декабрьское движение. В кн.: Пушкин, Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. II, 1908, стр. 513—514.

<sup>230</sup> В. Вальденберг. 1) Природа и закон в политических воззрениях Пушкина. «Slavia», 1925, Ročník IV, seš. 1, стр. 70—76; 2) «Вольность», ода Пушкина и «Вольность» Радищева. «Slavia», 1939, Ročník XVI, seš. 2—3, стр. 269—276; 3) Пушкин и Куницын. «Slavia», 1937, Ročník XIV, seš. 3, стр. 321—328.

<sup>231</sup> Б. В. Томашевский, Пушкин. Книга первая, стр. 161.

<sup>232</sup> В. Вальденберг. Природа и закон в политических воззрениях Пушкина. «Slavia», Ročník IV, seš. I, стр. 66.

<sup>233</sup> Там же, стр. 67.

начальном «общественном договоре» (он его не интересуется), а о законе, определяющем структуру государственной власти. В этом смысле о законах писал и Руссо: «Я называю республикой всякое государство, управляемое законами ... Я разумею под этим словом не только аристократию или демократию, но вообще правительство, руководимое общей волей, которая есть закон».<sup>234</sup> Такие же законы имеет в виду и Пушкин. Вопросы происхождения государства поэт в данном случае не затрагивает. Поэтому нет никаких оснований утверждать, будто Пушкин отвергает договорную теорию Руссо (которая характерна не только для «жюневского философа», но и для многих предшествующих ему мыслителей, например для Гоббса). Пушкин расходится с Руссо по другому вопросу — о суверенитете народа. Неограниченный суверенитет нации отвергается поэтом. Превыше всего — закон. Пушкин явно использует многие положения Монтескье, в частности его утверждение: «Свобода есть право делать то, что дозволено законами».<sup>235</sup> С точки зрения Монтескье, недопустимо привлечение к суду верховной власти: «Свобода исчезла бы с того момента, как исполнительная власть подверглась бы обвинению или была бы привлечена к суду».<sup>236</sup> Подобным же образом Пушкин расценивает казнь Людовика XVI.

Помимо Монтескье, на идею «законности», пропагандировавшуюся Пушкиным, повлияло и политическое учение Бенжамена Констана, весьма популярное в декабристских кругах. Все это вносило коррективы в теорию «общественного договора» Руссо.

Такова политико-теоретическая доктрина «Вольности». Она аналогична взглядам Н. И. Тургенева, а установки и лозунги ее созвучны программе Союза благоденствия. Сходство это объясняется влиянием Н. И. Тургенева и ядра задуманного им и М. Ф. Орловым тайного общества, во многом предвосхищавшего программу, тактику и организационную структуру Союза благоденствия.

<sup>234</sup> Ж. Ж. Руссо. Об общественном договоре. СПб., 1907, стр. 68.

<sup>235</sup> Ш. Монтескье, Избранные произведения, М., 1955, стр. 289.

<sup>236</sup> Там же.



Л. Я. ГИНЗБУРГ

## ПУШКИН И ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ РУССКОГО РОМАНТИЗМА

### 1

Уже современники Пушкина считали необычайную многогранность одной из определяющих черт его творчества. В 1844 году (в пятой из статей о Пушкине) Белинский писал: «Мы уже говорили о разнообразии поэзии Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься в самые противоположные сферы жизни. В этом отношении, независимо от мыслительной глубины содержания, Пушкин напоминает Шекспира ... Превосходнейшие пьесы в антологическом роде, запечатленные духом древнеэллинской музыки, подражания корану, вполне передающие дух исламизма и красоты арабской поэзии, — блестящий алмаз в поэтическом венце Пушкина! „В крови горит огонь желанья“, „Вертоград моей сестры“, „Пророк“ ... представляют красоты восточной поэзии другого характера и высшего рода и принадлежит к величайшим произведениям пушкинского гения-протеея».<sup>1</sup>

Через два года, в 1846 году, Гоголь закончил статью «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», в которой Пушкин-поэт трактуется как «чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика».<sup>2</sup>

«Протеизм»<sup>3</sup> Пушкина и Белинский, и Гоголь связывают с проблемой выражения авторской личности. «Чем совершеннее становится Пушкин как художник, — писал Белинский в упомянутой статье, — тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний». «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность, — утверждает Гоголь. — У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди лови его характер как человека!».

Для Белинского и Гоголя Пушкин был, разумеется, величайшей творческой индивидуальностью. Речь шла о другом — об отсутствии в поэзии Пушкина того единого центрального образа, который на языке современного литературоведения принято называть лирическим героем.

В советской литературе о Пушкине вопрос этот уже ставился и решался отрицательно. Г. А. Гуковский писал по этому поводу: «У него автор-герой не один для всех произведений, а разный в разных произведе-

<sup>1</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М., 1955, стр. 352.

<sup>2</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. Академии наук СССР, М., 1952, стр. 382. Дальнейшим развитием этой традиции восприятия Пушкина явилась в какой-то мере мысль Достоевского о всечеловечности Пушкина — одно из основных положений его речи о Пушкине 1880 года.

<sup>3</sup> «Протеем» назвал Пушкина еще Н. И. Гнедич в послании 1832 года «А. С. Пушкину по прочтении сказки его о царе Салтане и проч.» (Н. И. Гнедич, Стихотворения, Л., 1956, стр. 148).

дениях, и разный он потому, что он образован, обусловлен разными социально-историческими условиями. У Пушкина ... нет того единства стиля и тона, которое характерно для Жуковского, нет и единого лирического героя».<sup>4</sup>

Недавно вопрос об образе автора в лирике Пушкина поставил Н. Л. Степанов в своей книге «Лирика Пушкина». Н. Л. Степанов не только стремится ограничить применение понятия лирический герой к поэзии Пушкина, но и вообще возражает против злоупотребления этим термином.<sup>5</sup> Склонность к этому несомненно существует сейчас в нашем литературоведении. Под единую категорию лирического героя подводятся самые разные способы выражения авторского сознания, тем самым стирается их специфика, ускользает их познавательный смысл.

В подлинной лирике, разумеется, всегда присутствует личность поэта, но говорить о лирическом герое имеет смысл только тогда, когда она облекается некими устойчивыми чертами — биографическими, психологическими, сюжетными.

В своем роде предельным случаем являются персонажи-мистификации, вроде знаменитого в свое время Жозефа Делорма, «бедного молодого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и неизвестности. Дружья покойника предлагали публике стихи и мысли, найденные в его бумагах, извиняя недостатки их и заблуждения самого Делорма его молодостью, болезненным состоянием души и физическими страданиями». Так писал Пушкин в заметке 1831 года, посвященной нашумевшей мистификации Сент-Бева.

Как отмечено выше, мистификации такого рода являются крайним случаем, потому что лирический персонаж полностью отделяется здесь от автора и живет собственной жизнью. Обычно лирический герой не создается столь крайними средствами. Методы его воплощения многообразны. Один из основных — циклизация с более или менее выраженным сюжетным, повествовательным элементом. Так обстоит дело в «Книге песен» Гейне или, например, у Аполлона Григорьева в цикле «Борьба», в автографе имевшем подзаголовок «лирический роман».<sup>6</sup> Сюжетные, драматургически-повествовательные элементы чрезвычайную интенсивность приобретают в лирике Некрасова, в частности в его любовной лирике.<sup>7</sup> На принципиально иной основе и в то же время аналогичным образом строятся стилизованные маски ранней лирики Блока. У Лермонтова лирический герой возникает из сосредоточенного, динамического единства авторской личности, единства, охватывающего всю совокупность ее поэтических проявлений.

Последнее условие особенно важно. Лирический герой не существует в отдельном стихотворении. Это непременно единство если не всего творчества, то периода, цикла, тематического комплекса.

В лирике Пушкина с ее принципиальной многогранностью, многогранностью единство такого рода не могло возникнуть. В ней существовало

<sup>4</sup> Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, стр. 109—110; см. также: Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 109—128.

<sup>5</sup> Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. Изд. «Советский писатель», М., 1959, стр. 106—110.

<sup>6</sup> См. примечания Б. О. Костелянца к стихотворениям А. Григорьева в кн.: Аполлон Григорьев, Избранные произведения, Л., 1959, стр. 547.

<sup>7</sup> На это обратил внимание Г. А. Гуковский в статье «Некрасов и Тютчев. К постановке вопроса» («Научный бюллетень Ленинградского государственного университета», № 16—17, Л., 1947, стр. 52).

иное внутреннее единство авторской точки зрения. Это было интенсивно развивающееся, динамическое единство; и в своем развитии творчество Пушкина вместило разные воплощения авторского Я.

Это большая тема, неоднократно у нас подымавшаяся. В пределах данной статьи я затрону лишь некоторые ее аспекты.

Исходная точка эстетического мышления юного Пушкина — это культура карамзинизма, сквозь которую преломлялось наследие французского классицизма XVII—XVIII веков. Это эстетика в существе своем еще рационалистическая, но уже перестроенная сентиментализмом; это сочетание рассудочности с чувствительностью, столь характерное для последних десятилетий XVIII века.

Вскоре в декабристских литературных кругах Пушкин также встретится с рационализмом просветительного толка, осложненным уже предромантическими веяниями.<sup>8</sup> Просветительский рационализм был глубоко органичен для духовной жизни передовых русских людей 1810—начала 1820-х годов. Вот почему традиции классицизма XVIII века являются в их эстетике, в их поэтической практике не случайным пережитком, но началом закономерным, еще жизнеспособным.

Чрезвычайно устойчивое наследие классицизма — мышление жанровыми категориями. Уже в 1820-х годах система жанров стала обременительной и интенсивно преодолевалась, но еще в 1810-х годах она во многом была плодотворна. В рамках ее вырабатывалась та ясность конструкции, та поразительная стилистическая точность, чувствительность к малейшим лексическим сдвигам, которые отличают русскую поэтическую школу начала века. Уроки этой школы, ее эстетический опыт (разумеется, бесконечно преображенный) Пушкин пронес сквозь всю свою творческую жизнь.

Классический жанр — это своего рода застывшая, стабилизовавшаяся поэтическая точка зрения на ту или иную жизненную сферу. В жанре заданы тема, сопровождающая тему эмоция, авторская оценка, отношение между темой и стилистическими средствами ее выражения.

В начале XIX века жанровые нормы смягчаются. Если «чистый» классицизм знал только крайне ограниченный круг беспримесных жанров (в лирике — ода, элегия, сатира, идиллия и т. п.), то сейчас появляются жанры новые (романс, например), промежуточные; они становятся менее четкими, более дробными и дифференцированными.

В 1820-х годах поэтика жанров сменяется поэтикой устойчивых стилей. Это ослабление, самоизживание жанрового принципа и в то же время его дальнейшее развитие, поскольку в устойчивых стилях сохраняется, хотя и в более расплывчатом виде, постоянное соотношение между темой и средствами выражения. В нашем литературоведении подробно, например, разработан вопрос о декабристских стилях 1810—1820-х годов (русский национально-исторический стиль, стили восточный, «библейский», гомеровский и т. д.).

Там, где существуют жанры или хотя бы жанровые тенденции, существует и включенный в структуру каждого жанра, определяющий эту структуру образ лирического субъекта, носителя лирических оценок, носителя эмоций, одических и элегических, сатирического гнева и пр.

<sup>8</sup> Романтизм байронического толка проникает в декабристскую поэзию только в последние два-три года перед восстанием, уже под воздействием южных поэтов Пушкина. Вопросам соотношения романтизма и просветительства в эстетике декабристов посвящена моя статья «О проблеме народности и личности в поэзии декабристов» (сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы», М.—Л., 1960, стр. 52—93).

Об этом у нас неоднократно писали. И все же на практике далеко не всегда проводится отчетливая граница между традиционным лирическим субъектом, включенным во внутреннюю структуру жанра, и принципиально иными способами лирического выявления личности.

Н. Л. Степанов в своей книге «Лирика Пушкина» справедливо протестует против неразборчивого применения к пушкинской лирике термина «лирический герой». Однако в той же работе, вразрез с собственными верными установками, Н. Л. Степанов говорит все же о «лирических героях» раннего Пушкина,<sup>9</sup> не указав при этом на принципиальную разницу между индивидуальным лирическим Я и жанровым образом поэта.

Отмечая условность элегической лицейской лирики Пушкина 1816—1817 годов, Б. В. Томашевский писал: «Конечно, эти слезы так же мало соответствовали действительности, как радости пиров и любви — действительности 1814—1815 годов. И от них неминуемо должен был освободиться Пушкин. Но полтора года они тяготели над его лирикой. Пушкин пишет одни элегии, притом элегии унылые».<sup>10</sup>

В послелицейский период диапазон лирики Пушкина становится все шире. Но возникающие в ней образы поэта все еще определяются если не всегда жанровой нормой, то во всяком случае устойчивыми поэтическими темами эпохи.

Авторский образ политической лирики Пушкина, образ поэта-гражданина, не принадлежит уже жанру в тесном, классическом смысле слова, но он и не индивидуален; он включен в тематическое и стилистическое единство вольнолюбивой поэзии 1810—1820-х годов, декабристской поэзии, выработавшей свои в высшей степени устойчивые стили, свои поэтические формулы, обладавшие чрезвычайной действенностью и агитационной силой.

Декабристский образ поэта сосуществует в поэзии Пушкина с аспектами авторского сознания совсем другой тональности — прежде всего с образом элегического поэта.

Поэты-декабристы, например Рылеев или Владимир Раевский, писали попутно любовные элегии в «батюшковском» духе. Но для них это было делом второстепенным, «случайным», не определявшим их творческого лица. Между тем в творчестве Пушкина до середины 20-х годов элегия — один из магистральных жанров. И не случайно. Сочетание в ранней пушкинской лирике стихов гражданских (в какой-то мере ориентирующихся на оду) с элегическими отражало двойственность, противоречивость сознания людей дворянской революции. Наряду с пафосом вольнолюбия и тираноборчества — разочарование, сомнения, скептицизм. Этих «онегинских» настроений не чужды даже некоторые активные участники декабристских организаций, а тем более многочисленные представители декабристской периферии.

Б. В. Томашевский отметил, что пушкинская элегия, углубляясь и усложняясь, постепенно смыкалась с новыми романтическими, байроническими мотивами начала 20-х годов. Б. В. Томашевский в этой связи подчеркивает значение стихотворения «Погасло дневное светило...» (1920), в котором, казалось бы, элегическими средствами строится образ, уже предвосхищающий героев пушкинских южных поэм.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина, стр. 112—115 и др.

<sup>10</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 96.

<sup>11</sup> Там же, стр. 388—391.



## 2

Пушкин, охвативший и сопереживший весь духовный опыт передовых своих современников, не мог пройти мимо романтического движения. Но он ни на мгновение в этом движении не растворился. В своем творчестве 20-х годов Пушкин воплотил романтизм как великий факт современной культуры, и в частности русской, но его авторское сознание никогда до конца не отождествлялось с изображенной им романтической личностью.

В поэзии Пушкина начала 20-х годов романтическая, «байроническая» тема существовала наряду с другими темами, с другими авторскими образами. Между тем одним из основных признаков романтического строя в поэзии является абсолютное единство романтической личности автора. Подобный строй в высшей степени, например, присущ поэзии Лермонтова. Сборник стихотворений Лермонтова Белинский подчеркнуто рассматривал как некое психологическое единство, как поэтические высказывания, получающие свой окончательный смысл в процессе их возведения к психологически определенной личности. «Читая ее (пиесу «1-е января») мы опять входим в совершенно новый мир, хотя и застаем в ней все ту же думу, то же сердце, словом, ту же личность, как и в прежних».<sup>12</sup> В сборнике Лермонтова стихотворения разной тональности — это не разные жанры, а разные грани внутренней жизни все той же могучей личности. И Белинский писал по поводу стихотворения «Молитва»: «Кто бы ни была эта дева — возлюбленная ли сердца, или милая сестра — не в этом дело; но сколько кроткой задушевности в тоне этого стихотворения, сколько нежности без всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогает в голубинной натуре человека, но в духе мощном и гордом, в натуре львиной — все это больше, чем умилительно».<sup>13</sup>

Так создаются условия для возникновения романтического лирического героя — единства личности, не только стоящего за текстом, но и воплощенного в самом поэтическом сюжете, наделенного определенной характеристикой. Все же характеристику эту не следует отождествлять с характером. Неточная терминология затемняет сущность явления. Литературный характер в его закономерностях и противоречиях едва ли может быть построен средствами лирики. Лирическая личность, даже самая разработанная, все же суммарна. Лирика вызывает ассоциации, молниеносно доводящие до сознания читателя образ, обычно уже существующий в культурном сознании эпохи. Лирика обогащает и варьирует этот образ, она может совершать психологические открытия, непредвиденным способом трактовать переживания человека. Но построение индивидуального характера оставалось обычно за пределами целей, которые ставила себе лирика, за пределами средств, которыми она располагала.

Романтическая лирика строит собирательный образ романтической личности, причем эта личность имеет несколько основных вариантов. Русский романтизм второй половины 20—30-х годов выдвинул два основных собирательных образа. С одной стороны, это протестующая, мощная, «демоническая» личность последекабристского революционного романтизма; с другой — это поэт-жрец философического романтизма молодых русских шеллингианцев.

Последекабристский протестующий романтизм наиболее законченное выражение нашел в творчестве раннего Лермонтова. Если в позднейших

<sup>12</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, Изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 529.

<sup>13</sup> Там же.

стихах Лермонтова авторский образ все более обобщается, смыкаясь с образом поколения, то в ранней лирике мощная личность еще непосредственно говорит о себе. Б. М. Эйхенбаум в свое время отметил, что юношеские стихи Лермонтова нередко представляют собой как бы фрагменты лирического дневника.<sup>14</sup> Однако и этот, казалось бы, столь индивидуальный лирический герой остается образом суммарным и собирательным.

Никто не дорожит мной на земле,  
И сам себе я в тягость, как другим;  
Тоска блуждает на моем челе,  
Я холоден и горд; и даже злым  
Толпе кажуся; но ужель она  
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?  
Зачем ей знать, что в нем заключено?  
Огонь иль сумрак там — ей все равно.

Под ношей бытия не устает  
И не хладеет гордая душа;  
Судьба ее так скоро не убьет,  
А лишь взбунтует; мщением дыша  
Против непобедимой, много зла  
Она свершить готова, хоть могла  
Составить счастье тысячи людей:  
С такой душой ты бог или злодей.

Всегда кипит и зреет что-нибудь  
В моем уме. Желанье и тоска  
Тревожат беспрестанно эту грудь.  
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка  
И все боюсь, что не успею я  
Свершить чего-то! — жажда бытия  
Во мне сильнее страданий роковых,  
Хотя я презираю жизнь других.

Я к состоянью этому привык,  
Но ясно выразить его б не мог  
Ни ангельский, ни демонский язык:  
Они таких не ведают тревог,  
В одном все чисто, а в другом все зло,  
Лишь в человеке встретиться могло  
Священное с порочным. Все его  
Мученья происходят оттого.<sup>15</sup>

(«1831-го июня 11 дня»).

Это замечательное стихотворение, программное для юношеской лирики Лермонтова, при его жизни не было напечатано. Но если бы оно дошло до читателей 30-х годов, они сразу бы узнали знакомые черты того протестующего героя, который овладел европейской литературой начала века под именем байронического героя, хотя возник он, в сущности, до Байрона. Скорбь, гордость и холодность, скрытые страсти и даже тайная нежность, неутоленное желание и вечный порыв к неосуществимой деятельности, противоречие между «ангельским» и «демонским» началами — все это читатель воспринял бы не как отдельные черты нового единичного характера, с которым ему предстояло познакомиться, но как знакомые признаки, за которыми сразу же возникал ряд образцов неукротимых романтических борцов и скитальцев, ряд, увенчанный Байроновым Люцифером.

<sup>14</sup> Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1961, стр. 289.

<sup>15</sup> М. Ю. Лермонтов, Сочинения в шести томах, т. I, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1954, стр. 179—184.

Именно принадлежность к этому уже знакомому ряду придавала смысл лирической личности ранних лермонтовских стихов. Мировая поэтическая мысль сообщила свой заряд этому образу. Остается удивляться тому, что семнадцатилетний мальчик как *равный* принял это наследие.

Лирическое Я Лермонтова суммарно, собирательно, а между тем к нему, без сомнения, применимо понятие лирического героя. Это объясняется чрезвычайным единством авторского сознания, сосредоточенностью его в определенном кругу проблем, настроений. Подобное единство является необходимым условием возникновения лирического героя; необходимым, но еще недостаточным.

Поэзию Фета, например, отличает чрезвычайное единство лирической тональности, притом единство в истоках своих романтическое. Авторское Я Фета несет в себе и внутренний строй романтического мировосприятия, и даже внешние черты романтической судьбы поэта. И все же только с натяжкой можно говорить о лирическом герое Фета. Для понимания лирического субъекта поэзии Фета этот термин просто является лишним; он ничего не прибавляет, не объясняет. И это потому, что в поэзии Фета личность существует как фокус авторского сознания, в котором преломляются темы природы, любви, смерти, но не существует в качестве самостоятельной темы. В лирике же Лермонтова, о которой только что шла речь, личность — не только субъект, но и объект произведения, и она раскрывается в самом движении поэтического сюжета.

В том и заключались соблазны мирового байронизма, его власть над молодыми умами, что личность стала основной темой — сформулированной, осознанной, тогда как в классической поэзии XVII—XVIII веков не личность порождала тему, но, напротив того, тема предопределяла образ лирического Я.

Если в творчестве Пушкина нет единого лирического героя, то в нем присутствует, разумеется, всеобъемлющее единство авторского сознания. Нередко это авторское Я воплощалось в конкретном биографическом образе Александра Сергеевича Пушкина, и рядом с ним возникали образы его друзей и знакомых — явление широко распространенное в начале века, когда создавалась литература, свободная от всякой официальности и парадности. Самое интимное, «домашнее» выражение жизни осуществлялось в дружеских посланиях с их горацанскими мотивами, с их культом беспечной независимости.

Возможность появления в печати произведений, насыщенных биографическими реалиями и личными намеками, в какой-то мере связана с тем, что в первой трети XIX века в России литературный круг был еще узок и в основном состоял из людей, лично знакомых друг другу. Но дело не только в этом. «Домашняя» поэзия явилась принципиальным утверждением частной жизни, утверждением, в определенный исторический момент прогрессивным. За всем этим стояла предпосылка: частная жизнь имеет общий интерес, потому что носители ее — люди передовой культуры, передового общественного сознания.

Романтизм, развившийся в России позднее, в последекабристскую пору, утверждал личность иначе. Для него невозможны биографические реалии в большой литературе. Романтический поэт строит себя поверх своей эмпирической биографии, как гигантский собирательный образ.

У Пушкина, вместе с ростом его дарования, биографические реалии получают новый смысл, становятся знаками исторической судьбы современного человека. Огромный путь предстоял Пушкину от юношеских лицейских посланий до стихотворений, посвященных лицейским годовщинам.

## 3

Если в начале 20-х годов в южных поэмах и в лирике Пушкин отдал дань байроническому герою, то через несколько лет он померялся силами с другим героем русского романтизма, с вдохновенным поэтом-жрецом «любомудров».

В работах наших литературоведов освещены уже в общих чертах отношения Пушкина с молодыми русскими приверженцами романтической философии. С достаточной ясностью установлено, что Пушкин и литераторы, группировавшиеся вокруг «Московского вестника», придерживались различных, отчасти даже враждебных взглядов, что кратковременное, в 1826—1827 годах, сближение Пушкина с группой «Московского вестника» вызвано было с той и с другой стороны соображениями тактического порядка, условиями литературной борьбы 20-х годов.<sup>16</sup> Справедливо говорилось и о том, что посвященные романтической теме поэта и толпы стихотворения Пушкина 1826—1830 годов направлены в основном против светской и бюрократической среды и против реакционной мещанской журналистики.<sup>17</sup>

Все же то обстоятельство, что Пушкин напечатал три стихотворения о назначении поэта («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» — журнальное заглавие «Чернь») в органе русских шеллингианцев, в свое время неоднократно истолковывалось как признак временного идейного сближения Пушкина с романтиками-«любомудрами».

«Пророк» появился в «Московском вестнике» в 1828 году, но написано это стихотворение, по-видимому, еще в начале сентября 1826 года, в напряженный и переломный момент, когда заканчивался для России период декабризма, а для Пушкина лично период михайловской ссылки. Стихотворение это тесно связано с декабристской традицией библейских аллюзий, с тем образом поэта-пророка, который разрабатывал Федор Глинка. Тематика и стилистика пушкинского «Пророка» определилась до знакомства его с «любомудрами».

Стихотворение 1828 года «Поэт и толпа» напечатано было в «Московском вестнике» в 1829 году, когда не только прервались идейные и даже деловые связи Пушкина с журналом, но и «Московский вестник» перестал, в сущности, быть органом «любомудров», что произошло уже в конце 1828 года. Это стихотворение, как и стихотворение 1830 года «Поэту» (опубликовано в «Северных цветах на 1831 год»), является polemическим ответом на нападки официальных кругов, светского общества, а затем и журналистов, предпринявших начиная с 1830 года организованную травлю Пушкина.

«Пока не требует поэта...» («Поэт») — единственное посвященное теме поэта стихотворение, которое Пушкин напечатал в разгаре своего непрочного сближения с «любомудрами» на страницах их журнала. Стихотворение напечатано в декабре 1827 года, написано в августе, а 2 марта того же года Пушкин писал Дельвигу по поводу «Московского вестника» и «немецкой метафизики»: «Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые, поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы...».

<sup>16</sup> См. об этом в статье М. И. Аронсона «Поэзия С. П. Шевырева» (С. П. Шевырев, Стихотворения, Л., 1939).

<sup>17</sup> На этих проблемах в поэзии Пушкина подробно останавливается Б. С. Мейлах в книге «Пушкин и русский романтизм» (М.—Л., 1937).

«Пока не требует поэта...», как и другие стихотворения Пушкина о поэте 20-х годов, несомненно отмечено печатью романтической эпохи, романтизмом подсказана проблематика этих произведений, самый разговор о поэтическом вдохновении. И все же пушкинская трактовка темы высокого поэта совершенно своеобразна и по существу своему не романтична. Это заметно в особенности, если сопоставить пушкинского «Поэта» 1827 года с аналогичными поэтическими высказываниями Хомякова.

И ты не призывай поэта!  
В волшебный круг свой не мани!  
Когда, вдали от шума света,  
Душа восторгами согрета:  
Тогда живет он. В эти дни  
Вмещает все существованье;  
Но вскоре, слаб и утомлен  
И вихрем света увлечен,  
Забыв высокие создания,  
То ловит темные мечтанья,  
То, как дитя, сквозь смутный сон,  
Смеется и лепечет он.<sup>18</sup>

(«Отзвѣв одной даме»).

И в другом стихотворении:

Лови минуту вдохновенья,  
Восторгов чашу жадно пей  
И сном ленивого забвенья  
Не убивай души своей!  
Лови минуту: пролетает,  
Как молнии яркая струя,  
Но годы многие вмещает  
Она земного бытия.  
Но если раз душой холодной  
Отринешь ты небесный дар  
И в суете земли бесплодной  
Потушишь вдохновенья жар;  
И если раз, в беспечной лени,  
Ничтожность мира полюбив,  
Ты свяжешь цепью наслаждений  
Души бунтующий порыв:  
К тебе поэзии священной  
Не снидет чистая роса,  
И пред зеницей ослепленной  
Не распахнутся небеса;  
Но сердце бедное иссохнет,  
И нива прежних дум твоих,  
Как степь безводная, заглохнет  
Под терном помыслов земных.<sup>19</sup>

(«Вдохновение»).

Оба приведенных здесь стихотворения Хомякова появились в печати позднее пушкинского «Поэта»: первое — в 1828 году, второе — в 1831. Хронологическое соотношение в данном случае не так уж существенно именно потому, что пушкинское понимание роли и значения поэта принципиально отличается от концепции Хомякова и других «любомудров».

Хомяков утверждает: достаточно раз отринуть «небесный дар», полюбив «ничтожность мира», чтобы убить в себе поэта:

Но сердце бедное иссохнет —  
И нива прежних дум твоих,  
Как степь безводная, заглохнет  
Под терном помыслов земных.

<sup>18</sup> А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. IV, М., 1900, стр. 193.

<sup>19</sup> Там же, стр. 212.

Земное, мирское непоправимо разрушает поэзию и ее жреца — поэта. Эта концепция порождена романтическим идеализмом, для которого жизнь — это религиозный акт и в то же время произведение искусства (по Шеллингу, самая вселенная — художественное творение бога). Жизнь, познание (а искусство для романтика — высшая форма познания), религиозное откровение в философском плане соотносятся между собой как ступени в процессе самораскрытия абсолюта. Отсюда убеждение в том, что поэт *всегда* обязан быть поэтом.

В 1826 году Веневитинов писал в стихотворении «Поэт»:

Пусть вокруг него, в чаду утех,  
 Бушует ветреная младость;  
 Безумный крик, нескромный смех  
 И необузданная радость,  
 Все чуждо, дико для него.  
 На все спокойно он взирает,  
 Лишь редко что-то с уст его  
 Улыбку беглую срывает.

О, если встретишь ты его  
 С раздумьем на челе суровом, —  
 Пройди без шума близ него,  
 Не нарушай холодным словом  
 Его священных, тихих снов;  
 Взгляни с слезой благоговенья  
 И молви: это сын богов,  
 Любимец муз и вдохновенья.<sup>20</sup>

В своем «Поэте» Пушкин, напротив, изобразил человека двойного бытия, который, в сущности, полемически противостоит поэту шеллингианцев, жрецу, пророку и провидцу, ни на мгновение не расстающемуся со своей божественной миссией:

Пока не требует поэта  
 К священной жертве Аполлон,  
 В заботах суетного света  
 Он малодушно погружен;  
 Молчит его святая лира;  
 Душа вкушает хладный сон,  
 И меж детей ничтожных мира,  
 Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол  
 До слуха чуткого коснется,  
 Душа поэта встрепенется,  
 Как пробудившийся орел.  
 Тоскует он в забавах мира,  
 Людской чуждается молвы,  
 К ногам народного кумира  
 Не клонит гордой головы;  
 Бежит он, дикий и суровый,  
 И звуков и смятенья полн,  
 На берега пустынных волн,  
 В широкошумные дубровы...

(III, 65).

Для Пушкина изображенный здесь творческий процесс — это нормальный творческий процесс (такова природа поэта, несовершенная, как природа каждого человека), тогда как для Хомякова подобное соотношение между поэтом и человеком невозможно или равносильно гибели поэта, его духовному падению. Вот что дает нам право утверждать, что пушкинский «Поэт» содержит скрытую полемику с «любомудрами». Это становится

<sup>20</sup> Д. В. Веневитинов, Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. «Сов. писатель», Л., 1960, стр. 89—90.

еще более вероятным, если присмотреться к непосредственным источникам тех представлений о роли поэта, которые господствовали в «Московском вестнике».

Немецкий романтизм был явлением сложным и многоплановым, и далеко не все его элементы понадобились русским романтикам конца 20-х годов. Так, например, им остался чужд Фридрих Шлегель с его теориями иронической игры и гениального произвола. Эстетическая доктрина «Московского вестника» восходит к Шиллеру, к шиллеровской гармонии и разрешению противоречий в искусстве,<sup>21</sup> к «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинга с его трактовкой гениальности как бессознательно творящей силы (также к работам немецких эстетиков-шеллингианцев Аста, Бахмана), наконец, прямо восходит к книге Ваккенродера и Тика. Переведенная на русский язык тремя «любомудрами» — Шевыревым, Титовым и Мельгуновым, она вышла в 1826 году в Москве под неточным заглавием: «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком». В этой книге особенно ясно была сформулирована романтическая идея единства жизни, искусства и религии. В ней говорилось о старых немецких живописцах: «Художество без их сознания долженствовало быть для них таинственным изображением всей жизни. Или, лучше сказать, художество и жизнь у них сливались в одно стремление, крепимые котормы, они тем тверже и вернее направляли свой корабль по беглым и переменчивым волнам мира окружающего».<sup>22</sup>

Книга Ваккенродера и Тика включала вымышленное жизнеописание музыканта Иосифа Берглингера — историю гибели художника, не вынесшего разлада между искусством и жизнью:

«Внутренний голос говорил ему: живи всегда в прекрасном очаровании Поэзии, и целая жизнь твоя да будет гармонией!

«Когда же он возвращался к обеду в дом своего родственника и принужден был делить беседу с обществом всегда веселым и шутивным, тогда мог ли быть доволен Иосиф, снова низринутый в среду жизни прозаической, когда очарование ее исчезало перед ним, подобно блестящему облаку.

«Во все дни Иосифа душа его терзалась сим прискорбным несогласием между врожденным ее небесным вдохновением и земным участием в жизни каждого человека, которое насильственно разрушает наши мечтания».<sup>23</sup>

Пушкин, в 1826—1827 годах постоянно общавшийся с «любомудрами», должен был знать эту книгу.

#### 4

Художественный опыт Пушкина ни в какой мере не опирался на шеллингианское тождество жизни и искусства. Убеждение в раздельности сфер эмпирической действительности и искусства в истоках своих восходило к рационалистической эстетике, по законам которой каждый объект, попадая в сферу искусства, становился принципиально иным.

Рационалистически-просветительская основа, на которой складывалось юношеское мировоззрение Пушкина, своеобразно перерабатывалась в процессе пушкинского движения к реализму. Для зрелого Пушкина объект —

<sup>21</sup> В этом отношении характерна напечатанная в первой книжке «Московского вестника» программная для журнала статья Шевырева «Разговор о возможности найти единый закон для изящного».

<sup>22</sup> Л. Тик. Об искусстве и художниках. М., 1826, стр. 161. К этой концепции чрезвычайно близок В. Одоевский в своей новелле «Себастьян Бах», написанной в 1834 году и напечатанной в 1835 (впоследствии вошла в «Русские ночи»). «Нет минут непоэтических в жизни поэта», — формулирует Одоевский (В. Ф. Одоевский. Русские ночи. М., 1913, стр. 247).

<sup>23</sup> Л. Тик. Об искусстве и художниках, стр. 212—213.

в том числе человек — также становится иным, поступая из эмпирической действительности в область искусства. И это вовсе не в порядке романтической сублимации, но потому что для Пушкина художественное познание очищало предмет от всего случайного и низменного.

Об этом писал Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святиня, — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоухание; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать».<sup>24</sup>

Едва ли можно найти образ поэта в большей степени антишеллингианский, нежели Чарский «Египетских ночей», употреблявший «всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище» поэта (VIII, 264). Между тем внутренняя связь стихотворения «Поэт» с «Египетскими ночами» несомненна и уже неоднократно отмечалась в пушкиноведческой литературе. Известно также, что «Египетские ночи», в свою очередь, связаны с автобиографическим «Отрывком» 1830 года. Это произведение возникло в обстановке ожесточенной травли Пушкина, которую возглавили в 1830 году Булгарин и Греч. «Отрывок» — такая же попытка самозащиты против нападков реакционно-мещанской журналистики, как и «Моя родословная» (1830), как и относящиеся к тому же 1830 году незавершенные статьи «Опровержение на критики» и «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

Героem «Отрывка» является некий «приятель» автора, однако маскировка умышленно прозрачна, и произведение имеет откровенно автобиографический смысл. Изображенный в нем поэт — обедневший потомок старинного дворянского рода. Сохранены автобиографические подробности. Например, на поэта «Отрывка» вдохновение находило «единожды в год, всегда осенью». «Он не любил общества своей братии литераторов, кроме весьма, весьма немногих. ... Иные казались ему скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу (намек на Булгарина, состоявшего агентом III отделения, — Л. Г.) ... Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров об литературе и от известного вопроса: не написали ли чего-нибудь новенького?» (VIII, 411). За этими ироническими строками стоит трагедия неразрешимых противоречий социального положения Пушкина. Журнальная травля 30-х годов побуждала Пушкина искать убежища в светском обществе, внутренне враждебном, хладнокровно подготавливавшем гибель поэта.

В 1835 году Пушкин использовал отрывок «Несмотря на великие преимущества...», создавая образ Чарского, героя «Египетских ночей». Работая над повестью, предназначавшейся для печати, Пушкин хотел, очевидно, уничтожить откровенно автобиографические черты, сохранив только аналогичную психологическую ситуацию. Но снимая автобиографизм, Пушкин разрушил также первоначальное соотношение между поэтом и обществом. Герой «Отрывка» беден, он враждует с низкопробными профессионалами и в то же время сам он профессионал, нуждающийся

<sup>24</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 382—383.



в гонорах издателей. Чарский, напротив, богатый и избалованный светский денди, хотя и истинный поэт. Сочетание — по сравнению с «Отрывком» — гораздо более искусственное. Из человека, связанного со «светом» сложными, противоречивыми отношениями, герой превращается в человека большого света.

Чарский задуман также как носитель важной для Пушкина темы, той самой, которой посвящено стихотворение «Поэт» 1827 года.

В «Отрывке» эта тема представлена одной, но в высшей степени весомой формулой: «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец» (VIII<sub>1</sub>, 410). Если принять во внимание, что речь идет о самом Пушкине, полемический смысл этой формулы становится особенно ясным. Она противостоит эстетической концепции романтического идеализма, получившего в России значительное развитие в годы, непосредственно следовавшие за крушением дворянской революции. Поэт — человек высоких и чистых вдохновений. Но вне творческого процесса он человек «простой и обыкновенный». Он не парит над толпой. Он изображает мир, которому сам принадлежит, разделяя тревоги, страсти, труды, интересы обыкновенных людей, своих современников, — мысль глубоко реалистическая.

В «Египетских ночах» произошел тематический сдвиг — герой превратился в человека большого света, и со своими современниками он разделяет его призрачные и суетные заботы.

В стихотворении 1827 года философски обобщены житейская суета и ничтожество.

В заботах суетного света  
Он малодушно погружен

И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он.

(III, 65).

В «Египетских ночах» эти понятия социально конкретизировались, облеклись плотью петербургского высшего света. Чарский «избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. ... Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, обедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима» (VIII<sub>1</sub>, 264).

Концепция личности здесь отнюдь не романтическая, это очевидно. Но в «Египетских ночах» представлен и романтический поэт — итальянец-импровизатор. В романтическом ключе изображен процесс его творчества: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога ... Он дал знак музыкантам играть ... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота ... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь ... музыка умолкла ... Импровизация началась» (VIII<sub>1</sub>, 277).

На общем стилистическом фоне «Египетских ночей» этот абзац звучит стилизацией. Он напоминает скорее прозу русских романтиков 30-х годов, нежели строгую и точную прозу Пушкина. В импровизаторе реализован романтический образ поэта. Тем самым Пушкин утверждает, что и романтизм только в теории провозгласил сверхчувственное единство личности поэта. На практике по тем или иным причинам совершается разрыв между поэтом и его житейской, эмпирической личностью. В импровизаторе, с его

угодливостью и жадностью, разрыв этот дан в гротескно-уродливой форме. И Чарский, и импровизатор — истинные поэты. Тот и другой вне своего высокого призвания «ничтожны» — Чарский потому, что он богат и испорчен светской суетой и тщеславием, импровизатор потому, что он нищ и безмерно унижен миром социальной несправедливости.

Социальная трагедия бедного итальянца в «Египетских ночах» раскрыта совершенно отчетливо. Социальную трагедию Чарского Пушкин затемнил, уничтожая в «Египетских ночах» следы явного автобиографизма, превратив Чарского в богатого светского денди. В автобиографическом же «Отрывке» 1830 года даны все предпосылки для социальной трагедии героя. Преследуемый темными силами, оскорбленный в своем достоинстве писателя, ограниченный в своей творческой свободе, герой «Отрывка» пытается найти выход то в светской жизни, то в своей принадлежности к старинному и просвещенному дворянству. Выход иллюзорный. Поэт чужд обществу, по законам которого он хочет жить. Эти законы поэтому для него губительны. Пушкина они убили.

В статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» Вяземский писал: «Пушкин ... не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин. Понимаю это. Но если уж и он, достигнувший славы сочинительством, как бы чуждался патента на нее, то каково же другим второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под номером».<sup>25</sup>

Эти строки написаны в 1847 году, в пору, когда Вяземский сознательно противопоставлял аристократический дилетантизм широкому демократическому движению русской литературы. В 1837 году, в частном письме, Вяземский откровеннее высказал свое понимание роковых противоречий общественного положения Пушкина. Вскоре после катастрофы Вяземский в письме к О. А. Долгорукой утверждал, что Пушкин был «жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию, временами раздражало его ... жертвою ... недоброжелательства салонов».<sup>26</sup>

В стихотворении «Поэт» трагические противоречия судьбы Пушкина уже заложены, хотя социальный конфликт еще не развернут. На первый план выдвинута здесь другая тема. В стихотворение о поэтическом вдохновении Пушкин вложил подтекст, направленный против шеллингианской концепции поэта.

Начиная с южных поэм Пушкин упорно подымал романтические проблемы, волновавшие умы его современников. Но очень скоро он стал решать их иначе, по-своему. Так было и с романтическими проблемами поэта и «толпы», поэта и общества, поэтического вдохновения.

«Египетскими ночами» Пушкин, понятно, не хотел сказать, что хорошо поэту «торчать на всех балах» и дипломатических обедах. Пушкин в этих вопросах мыслил иерархически. Для него мир поэта с его широкошумными дубрами неизмеримо выше мира обыденности, но он не отрицает мира обыденности как источника опыта. Иосиф Берглингер — это отрицание опыта, в котором не нуждается боговдохновенный художник. Но пушкинскому поэту нужен многообразный опыт действительности, в котором и прекрасное, и дурное, и даже чреватое гибелью.

В тридцатые годы, годы полной зрелости Пушкина, поэзия его все глубже проникает в исторические, социальные, психологические закономерности этого жизненного опыта.

<sup>25</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1879, стр. 349.

<sup>26</sup> «Красный архив», т. II, 1929, стр. 230.



А. Н. СОКОЛОВ

## «ПОЛТАВА» ПУШКИНА И ЖАНР РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

### 1

Жанровое своеобразие «Полтавы» стало предметом обсуждения и споров уже в ранних критических отзывах о поэме. Критик «Галатеи» недоумевал, почему автор «назвал . . . свою поэму *Полтавою*, которая поставлена у него почти в невидном уголке? Главное действие, — по мнению критика, — только скользит, так сказать, мимо Полтавы».<sup>1</sup> Как видим, критик ставил Пушкину в вину недостаточное развитие исторической сюжетной линии, соотнося, очевидно, «Полтаву» с традиционным жанром эпической поэмы. Через ряд лет в том же журнале был сформулирован и прямой вывод по данному вопросу: «Полтава» «слишком далека от эпопей», не удовлетворяя ее требованиям даже «вполовину».<sup>2</sup> Критик «Сына отечества» в оценке исторической поэмы Пушкина исходил из представления о «новом роде» поэзии, «сотворенном» гением (Байроном) и принятом его «последователем» (Пушкиным), т. е. из представления о романтической поэме. Недостатки нового произведения объясняются, по мнению критика, противоречием между «романтическим родом» поэмы, допускающим «все возможные вольности пиитические», и ее исторической тематикой, требующей «полноты характера» и изображения событий «в их настоящем, правдоподобном виде».<sup>3</sup> Критики опирались на установившиеся жанровые каноны и останавливались в недоумении перед новаторским произведением. Отсюда — толки о внутренней противоречивости «Полтавы», об отсутствии в ней сюжетно-тематического единства, о неудачном попытке Пушкина сочетать в своей поэме два различных жанра: классическую эпопею и романтическую поэму. «От нарушения единства действия разрушился эффект повести», — читаем в той же статье «Галатеи».<sup>4</sup>

Глубже и вернее других судил о «Полтаве» Ксенофонт Полевой. Проследив ход развития поэзии Пушкина, критик заключает, что «Полтава» — «это совершенно новый род поэзии, извлекаемый из русского взгляда поэта на предметы». «Новое направление» творчества Пушкина Полевой связывает с «великими политическими переменами на обоих полушариях земли и таким же великим движением в умственном мире», ознаменовавшими новую эпоху и послужившими причиной «всех новых изменений в мире литературы». Их сущность критик определяет так: «век требует самобытности»; «настает эпоха мыслей и чувствований, принадлежащих народам».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> «Галатея», 1829, ч. 3, № 16, стр. 256—257.

<sup>2</sup> «Галатея», 1839, ч. 3, № 26, стр. 643.

<sup>3</sup> «Сын отечества», 1829, т. III, № 15, стр. 38, 43, 46—47, 52.

<sup>4</sup> «Галатея», 1839, ч. 3, № 26, стр. 567.

<sup>5</sup> «Московский телеграф», 1829, ч. 27, № 10, стр. 234, 222, 223, 233, 235.

Традиционным представлениям о литературных жанрах в своих суждениях о «Полтаве» отдал дань и Белинский. Конечно, рассуждает критик, Пушкин «не мог понимать эпос по мерке» «Россиады» или «Генриады», «несчастливая форма» которых «слишком устарела и опошлалась для времени, когда он явился». Автор «Полтавы» не собирался писать новую «Петриаду». Однако, полагает критик, «от возможности эпической поэмы в новой форме он не мог совершенно отречься».<sup>6</sup> Чем же, по Белинскому, отличается «эпическая поэма в новой форме» или «в новом духе», как пишет он в другом месте той же статьи,<sup>7</sup> от классической эпопеи? Пушкинский «идеал эпической поэмы заключался в неоклассицизме, или классицизме, подновленном так называемым романтизмом».<sup>8</sup> Но такой жанр Белинский считал невозможным. В стремлении «связать романтическое действие с эпопеею» критик усмотрел главную ошибку поэта.<sup>9</sup> «Полтава», «великое произведение по ее частностям», лишена «единства мысли и плана».<sup>10</sup>

Мнение о «Полтаве» как своеобразном «смешанном» жанре, что создает известную двойственность поэмы, встречается и в научной литературе о Пушкине.<sup>11</sup> В работах недавнего времени говорится не о смешанном, а о синтетическом жанре «Полтавы», в котором глубоко сочлелись обе жанровые традиции — и классическая, и романтическая. Однако в решении конкретных вопросов, связанных с этим общим выводом, между отдельными исследователями наблюдаются известные разногласия. Некоторые положения, высказанные в работах о жанре «Полтавы», представляются недостаточно раскрытыми или малообоснованными. Различно, например, решается вопрос об отношении «Полтавы» к жанру классической эпопеи. Г. А. Гуковский считает, что в пушкинской поэме «отразилась и классическая эпопея — от Вергилия до Грузинцева».<sup>12</sup> Эту точку зрения разделяет и Д. Д. Благой, полагающий, что Пушкин, не ставя своей задачей создание новой эпопеи, тем не менее «воспользовался многим из длительного опыта не только своих больших, но и малых предшественников».<sup>13</sup> Напротив, Н. В. Измайлов находит в пушкинской поэме «решительное отрицание классической эпопеи», хотя и усматривает в ней «ряд приемов поэтики классицизма».<sup>14</sup>

Различные суждения высказывались и по вопросу о связи «Полтавы» с жанром романтической поэмы. Так, по мнению Н. В. Измайлова, «литературный генезис „Полтавы“ определяется как отход от романтической, т. е. субъективной и лирической поэмы».<sup>15</sup> Другие исследователи признают преемственность «Полтавы» по отношению к романтической поэме.

<sup>6</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Изд. Академии наук СССР, т. VII, М., 1955, стр. 407.

<sup>7</sup> Там же, стр. 403.

<sup>8</sup> Там же, стр. 407.

<sup>9</sup> Там же, стр. 412.

<sup>10</sup> Там же, стр. 425.

<sup>11</sup> См., например, «Путеводитель по Пушкину» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. VI, ГИХЛ, М.—Л., 1931, стр. 288).

<sup>12</sup> Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Гослитиздат, М., 1957, стр. 93. Первоначально в статье «О стиле „Полтавы“ Пушкина». «Ученые записки ЛГУ, Серия филологических наук», вып. 9, Л., 1944 (обл. 1945), стр. 29.

<sup>13</sup> Д. Д. Благой. Историческая поэма Пушкина («Полтава»). «Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции», Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 243.

<sup>14</sup> Н. В. Измайлов. К истории создания «Полтавы» Пушкина. «Ученые записки Чкаловского государственного педагогического института им. Чкалова, Серия филологических наук», вып. 3, 1949, стр. 72, 77.

<sup>15</sup> Там же, стр. 72.

В. М. Жирмунский, впервые путем тщательного анализа художественной структуры «Полтавы» раскрывший «новый для Пушкина замысел героической поэмы», находит здесь и «частичное возвращение» поэта к привычным мотивам и особенностям романтического жанра.<sup>16</sup> Б. В. Томашевский пишет о «Полтаве»: «Во многих отношениях эта поэма является последней в серии поэм 20-х годов. В ней еще имеются следы байронической структуры поэмы».<sup>17</sup> По мнению Г. А. Гуковского, в «Полтаве» отразилась не только классическая эпопея, но и «лирическая поэма романтического типа».<sup>18</sup> Д. Д. Благой признает, что «Полтава» включает элементы не только эпопеи, но и романтической поэмы.<sup>19</sup>

В такой общей формулировке это положение нет оснований оспаривать. Следует только подчеркнуть, что традиции романтизма присутствуют в «Полтаве» не как некие «элементы» и тем более не как «пережитки», которые поэт не сумел «преодолеть», но — если воспользоваться философской терминологией — в снятом виде, в органическом синтезе с новым художественным методом, на путях которого развивалось в эту пору творчество Пушкина, — с реализмом. По справедливому суждению Г. А. Гуковского, работая над «Полтавой», Пушкин не отказывался от «завоеваний своего романтизма» периода южных поэм, «а использовал их в новой связи, обогатил их новыми открытиями, изменявшими самую их идейную функцию».<sup>20</sup> Различные формы сочетания романтизма и реализма закономерно возникали в русской литературе 20—30-х годов, что подтверждается творчеством не только больших писателей (Гоголь, Лермонтов), но и многих менее крупных их современников.

Но мы не можем ограничиться признанием этого общего положения. Возникновение в русском романтизме существенно различных течений, идейная и жанровая дифференциация русской романтической поэмы — это столь важные факторы, определяемые, в свою очередь, идейно-политическими расхождениями среди русских романтиков, что игнорировать их при решении данного вопроса никак нельзя. *Какой романтизм включает в себя «Полтава»? С какой разновидностью романтической поэмы связана историческая поэма Пушкина? Такой дифференцированной постановки вопроса в пушкиноведении мы не находим. Речь идет обычно о романтизме и романтической поэме в целом, причем в первую очередь имеются в виду южные поэмы самого Пушкина и жанр лирической поэмы вообще.*

Г. А. Гуковский не разграничивает разновидностей романтической поэмы применительно к вопросу о «Полтаве», хотя сам же он много потрудился для обоснования понятия гражданского романтизма как особого течения в русском романтическом движении и признал большое значение этого течения для Пушкина. Там же, где исследователь подходит к этому вопросу, он подчеркивает связь «Полтавы» не с гражданским, а с «психологическим романтизмом»: «Поскольку „Полтава“ — поэма в центральном своем образе психологическая и посвященная изображению характера, она вырастает непосредственно из того течения русского романтизма, которое стремилось к раскрытию внутреннего мира человека». Но то, что не

<sup>16</sup> В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Изд. «Academia», Л., 1924, стр. 175.

<sup>17</sup> Б. Томашевский. Поэтическое наследие Пушкина (лирика и поэмы). «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». Сборник научно-исследовательских работ под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кирпотина, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 295.

<sup>18</sup> Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, стр. 93.

<sup>19</sup> Д. Д. Благой. Историческая поэма Пушкина («Полтава»), стр. 244.

<sup>20</sup> Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, стр. 95.

удалось Пушкину-романтику, «в психологическом рисунке зависевшему от традиции Жуковского», было достигнуто в «Полтаве», где психологическая тема стала исторической.<sup>21</sup> Казалось бы, здесь было уместно поставить вопрос о значении для «Полтавы» того жанра исторической поэмы, который стремились создать поэты-декабристы, и прежде всего Рылеев. Между тем, по мнению Г. А. Гуковского, «„Войнаровский“ остается „байронической“ поэмой без историзма»,<sup>22</sup> и исследователь не ставит вопроса о том, в каком отношении находится «Полтава» к традициям русского гражданского романтизма.

Такую же оценку поэмы Рылеева в связи с вопросом о «Полтаве» мы встречаем и у других исследователей. По мнению Н. В. Измайлова, Пушкину «нужно было знакомство с декабристской историко-политической поэзией — с думами и поэмами Рылеева, чтобы оттолкнуться от них, от их романтического псевдоисторизма».<sup>23</sup> Среди тех литературных традиций, от которых Пушкин отталкивается в «Полтаве», Д. Д. Благой называет и «антиисторический романтизм рылеевской поэмы о Войнаровском».<sup>24</sup> Автор монографии о Рылееве А. Г. Цейтлин также говорит о «романтическом антиисторизме рылеевской поэмы»,<sup>25</sup> хотя в других случаях он смягчает резкость этой формулировки, признавая историзм Рылеева ограниченным.<sup>26</sup> Другие исследователи не отрицают известного значения «Войнаровского» для «Полтавы». Б. В. Томашевский признает, что поэма Рылеева, которая явилась «чем-то новым» по отношению к южным поэмам, «оказала обратное влияние на Пушкина. Замысел „Полтавы“, — продолжает исследователь, — явился отчасти в зависимости от „Войнаровского“».<sup>27</sup> Сопоставляя «Полтаву» с «Войнаровским», Н. Л. Бродский приходит к выводу: «Элементы историзма в поэме Рылеева ... автор „Полтавы“ углубил, довел до конца в реалистической оправе».<sup>28</sup> О заметном росте историзма в поэмах Рылеева по сравнению с его «думами» справедливо говорит В. Г. Базанов.<sup>29</sup>

Все это заставляет еще и еще раз возвращаться к вопросу о жанровых традициях, с которыми связана пушкинская историческая поэма, в частности к вопросу о связях «Полтавы» с жанром романтической поэмы. Более точному решению этого вопроса может помочь рассмотрение пушкинского произведения на широком фоне многочисленных исторических поэм, написанных русскими — и крупными, и мелкими — романтиками. Массовая литература, так или иначе связанная с высоко поднимающимся над ней шедевром, позволяет, как правило, многое понять и в самом шедевре.

## 2

В судьбе русской исторической поэмы, долгое время существовавшей в форме классической эпопеи, важную роль сыграло появление южных

<sup>21</sup> Там же, стр. 93.

<sup>22</sup> Там же, стр. 94.

<sup>23</sup> Н. В. Измайлов. К истории создания «Полтавы» Пушкина, стр. 55—56.

<sup>24</sup> Д. Д. Благой. Историческая поэма Пушкина («Полтава»), стр. 260.

<sup>25</sup> А. Г. Цейтлин. Творчество Рылеева. Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 117, стр. 115.

<sup>26</sup> Там же, стр. 105, 117.

<sup>27</sup> Б. Томашевский. Поэтическое наследие Пушкина (лирика и поэмы), стр. 281.

<sup>28</sup> Н. Л. Бродский. А. С. Пушкин. Биография, ГИХЛ, М., 1937, стр. 584. Ср. новейшую работу: Г. Ленобль. У истоков «Полтавы». «Новый мир», 1959, № 10; в более полном виде: Г. Ленобль. История и литература. Сборник статей. Изд. «Советский писатель», М., 1960.

<sup>29</sup> В. Г. Базанов. Поэты-декабристы К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1950, стр. 64 и сл.

поэм Пушкина. Небывалый успех нового жанра привел к тому, что историческая тематика начинает разрабатываться в жанре романтической поэмы. Около трети всех романтических поэм 20—40-х годов написано на историческом материале, охватывающем различные эпохи русской истории: Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие, Московское государство, «смутное время», эпоха Петра I и т. д.

«Полтава» была написана в том году (1828), когда поток романтических поэм — если говорить о количестве написанных произведений — поднялся до высшей точки: в печати появилось более пятнадцати произведений этого жанра. При этом преобладающая часть поэм и отрывков имеет историческое содержание: «Андрей, князь Переяславский, повесть» А. А. Бестужева-Марлинского, «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» И. И. Козлова, «Чека, уральская повесть» Федора Алексеева, «Пещера Кудеяра, повесть в стихах» С. Степанова, «Хиосский сирота» Платона Ободовского, «Разбойник» Петра Машкова, «Ксения Годунова. Отрывок» (в книге: «Три стихотворения барона Г. Розена». М., 1828), «Отрывок из повести: Андрей, или Забавы россиян» (в книге: «Песни золотого рожка. Отысканная рукопись неизвестного сочинителя». М., 1828. Предисловие подписано Новиковым), «Из второй песни поэмы: Вадим» А. С. Хомякова («Московский вестник», 1828, ч. XI, № 18; в ч. I за 1829 г. был напечатан второй отрывок из той же поэмы), «Отрывок из поэмы: Гайдамаки» А. И. Подолинского («Альбом северных муз. Альманах на 1828 год»), «Переговоры в Белой Церкви (Черта из жизни Богдана Хмельницкого)» Ф. Глинки (альманах «Северные цветы на 1828 год»). К поэмам и отрывкам из поэм примыкают исторические баллады «Ермак» С. Степанова (в его же книге «Пещера Кудеяра, повесть в стихах») и «Меченосец Аран» Н. М. Языкова («Альбом северных муз. Альманах на 1828 год»). В том же году посмертно публикуется отрывок из поэмы Рылеева «Партизаны» (альманах «Северные цветы на 1828 год»). Концом 1828 года датировано цензурное разрешение исторической поэмы А. П—ского «Витязь мести. Батурицкий рассказ». Добавим, что тогда же начинается работа над поэмой «Василько» А. Одоевский. Почти столь же обильно романтическими и, в частности, историческими поэмами и ближайшее пятилетие, после чего количество их сильно снижается.

Таким образом, «Полтава» предстает перед нами в широком окружении романтических поэм на исторические сюжеты. Это обстоятельство, не привлекавшее доселе внимания исследователей «Полтавы», помогает более точному решению вопроса о значении жанра романтической поэмы для интересующего нас произведения.

Но для этого необходимо отказаться от представления о романтической поэме как едином жанре. Сложность и противоречивость романтизма как идейно-художественного явления, наличие в нем различных течений не могли не отразиться и на одном из основных жанров, созданных романтизмом, — на романтической поэме. Если говорить о двух основных течениях романтизма — прогрессивном и консервативном, то в каждом из них жанр романтической поэмы получил своеобразное выражение. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить две поэмы, появившиеся в 1825 году: «Войнаровский» Рылеева и «Чернец» Козлова. При общности ряда жанровых особенностей, присущих романтической поэме, эти произведения глубоко различны в отношении идейно-политического содержания, героя, сюжета, композиционно-стилистической формы. Посвященная общественно-политической теме, воспевающая борца за свободу (Войнаровский), полная гражданского пафоса, ставящая форму поэмы-исповеди на службу эпическому изложению событий, поэма поэта-декабриста существенно отличается

от лирической по композиции и манере изложения поэмы романтика школы Жуковского, поэмы, поэтизирующей героя морального подвига, проповедующей религиозное примирение как путь преодоления общественных противоречий.

Подчеркивая зависимость жанрового своеобразия поэмы от принадлежности ее к тому или иному течению романтизма, мы не должны понимать эту зависимость слишком прямолинейно. Жанры — это специфические категории литературного процесса, самостоятельные в своей природе и потому обладающие относительной самостоятельностью в своем формировании и развитии. Однако определяющую роль в процессе жанрового формирования играют литературные направления и течения в их идейно-художественном своеобразии. Имея в виду основные тенденции двух разновидностей романтической поэмы, сложившихся в русской литературе, мы можем утверждать, что в консервативном романтизме возобладали те черты нового жанра поэмы, которые дали основание назвать ее поэмой *лирической*. Здесь с особенной силой проявился уход во внутренний мир личности, характерный для данного романтического течения. Наоборот, поэма прогрессивного, особенно революционного, романтизма развивала эпические тенденции нового жанра, отвечавшие общественно-политическим темам и сюжетам, привлекавшим внимание прогрессивных романтиков. Наиболее отчетливо это проявилось в декабристской поэме с ее историко-политической темой, национально-историческим сюжетом, исторически приуроченным героем, с ее эпической по своим принципам композицией, объективно-повествовательными тенденциями в трактовке материала и в манере изложения. Этому не противоречат и южные поэмы Пушкина, лиризм которых никогда не переходил в полное отождествление автора с героем и в которых объективное начало — эпическое и драматическое — выражено с достаточной определенностью. Разграничивая в пределах сложившегося в русском романтизме лирико-эпического жанра лирическую и эпическую его разновидности, мы не должны забывать об известной условности этого разграничения и его терминологического обозначения, поскольку *всякая* романтическая поэма, будучи поэмой, содержит в себе эпический элемент, а являясь поэмой романтической, включает элемент лирический. Мы можем говорить только о преобладающей или определяющей роли того или другого элемента.<sup>30</sup>

Различие двух типов романтической поэмы особенно отчетливо проявилось, пожалуй, в произведениях на исторические темы.

Лирическая поэма исторического содержания, строго говоря, не ставит исторической темы. В ней не чувствуется стремления сколько-нибудь широко показать исторические события, раскрыть личность исторического героя. Интерес лирической поэмы сосредоточен на характере и психологии романтического героя, на коллизиях романтического сюжета, на переживаемой героем личной драме. Некоторые авторы, отнеся действие к тому или иному историческому моменту, ограничиваются изображением частных лиц и их судьбы, касаясь исторических событий лишь постольку, поскольку они вторгаются в жизнь героя. Так, в поэме А. П.—ского «Витязь мести» (1829) воин, потерявший любимую девушку, виновниками гибели которой были «буйные татары», считает своим долгом отомстить им. Только как причина и следствие личной драмы выступают в поэме общественные события, историческое приурочение которых крайне неотчетливо, а политическое значение никак не освещается. В эпилоге, рисуя мирную

<sup>30</sup> Подробнее о разновидностях жанра романтической поэмы см. в моей книге «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века» (изд. МГУ, 1955).



Украину, эпизодически появляется образ Мазепы, донныне, как пишет автор, памятного своим коварством и проклинаемого народом. Судя по времени появления поэмы в печати, это только случайная параллель к «Полтаве». Другие авторы шире вводят исторические имена и факты, но и у них в центре художественного внимания остается личное и частное. Такова, например, поэма «Пещера Кудеяра» С. Степанова, который заимствовал имена главных действующих лиц и содержание поэмы из IX тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, но не заинтересовался общественным смыслом использованного материала и свел сюжет к типичной для романтической поэмы любви двух героев к одной героине.

При отсутствии интереса к истории сюжет в поэме этого типа носит не общественно-политический, а романтический, бытовой характер. В этом отношении показательна поэма Ефрема Барышова «Еврей» (М., 1837), по материалу сближающаяся с «Полтавой». Проследим фабулу поэмы. Яков Самойлович, приняв на себя вид еврея-звездочета, является к Мазепе с целью отомстить ему за отца и брата, погубленных гетманом, и за сестру, им обольщенную. Но, желая свершить месть в минуту торжества Мазепы, Самойлович до времени сохраняет инкогнито. Полтавский бой разрушил замыслы Мазепы, и он бежит в Бендеры. Здесь его находит Самойлович, который больше не откладывает задуманной мести, заставляя Мазепу выпить яд. Но несчастье подстерегает и самого Самойловича: умирает его единственная дочь, и он кончает самоубийством. Затрагивая тему Мазепы после «Полтавы», автор, естественно, не мог не отдать дани пушкинской поэме. Самойлович высказывает Мазепе свое отношение к выстулению украинского гетмана против русского царя:

Тебе ль, старик, бороться с ним,  
С таким могучим великаном!

Здесь перефразированы слова, сказанные пушкинским Мазепой о Карле XII:

Но не ему вести борьбу  
С самодержавным великаном.

Как видим, автор не совсем обходит политические замыслы Мазепы, трактуя их как измену, а гетмана сравнивая с Иудой (как и в «Полтаве»). Задержанная месть как сюжетный мотив заставляет Барышова вводить в ход действия общественно-политические события. Упоминается в поэме и Полтавский бой. Но эти события играют в сюжете совершенно подчиненную роль. Поэтому автор и ограничивается простым упоминанием их, не делая их предметом сколько-нибудь широкого изображения.

Не воссоздавая исторической эпохи, такая поэма не воспроизводит и исторических лиц. Персонажи носят характерные черты романтического героя, изображенного Пушкиным в южных поэмах. С настроениями мрачной разочарованности, душевного «хлада», с печатью страданий на челе проходят перед читателем представители разнообразных эпох и различных социальных слоев: киевский воевода Вышата (Духовской. «Ослепленный». СПб., 1825), московский царь Борис Годунов (Федор Соловьев. Отрывок из неоконченной поэмы. «Метеор, альманах на 1831 год», М., 1831), украинский гетман Дорошенко («Дорошенко». М., 1830; поэма вышла анонимно) и многие другие. Таков, например, герой первой из названных поэм:

... на лице его печали  
Черты страданий начертали.

В поэме Степанова «Пещера Кудеяра» современник Грозного, находясь в плену у разбойника Кудеяра, не отвечает «пол-омертвелою душою» на

проявленное к нему участие. Героя поэмы А. П—ского «Витязь мести», сражающегося с татарами, «в пылу кипящей брани», по его собственным словам, «томила пустота души».

Отсутствие интереса к истории, характерное для лирической поэмы, проявляется и в ее композиции. Не случайно эффектные драматизированные сцены, составляющие композиционную основу романтической поэмы, посвящаются не историческим, а частным событиям или, в лучшем случае, частным результатам общественных событий. История же как раз попадает в те композиционные разрывы сюжетной линии, которые характерны для романтической композиции. Если же сюжетное значение исторического события не позволяет полностью обойти его, то оно становится предметом тех кратких повествовательных компонентов, которые в лирической поэме связывают драматизированные «вершины» действия. Такова, например, композиция одного из первых образцов интересующего нас жанра — поэмы Духовского «Ослепленный», вышедшей в один год с «Войнаровским» Рылеева. Быстро схватив новую композиционную манеру южных поэм Пушкина, Духовской в рассказе о судьбе своего героя, киевского воеводы XI века Вышаты, всю историческую часть дает в виде неотчетливых намеков или кратких сообщений. Так и автор поэмы «Дорошенко» в исповеди Гетмана, мотивируя бессвязность повествования смятенным состоянием души героя, опускает как раз исторические события:

Я пропущу в молчаньи мои годы,  
Когда врагов с Тетерей я громил.

Как композиционный прием, выполняющий ту же функцию, можно отметить и отнесение исторических событий в предысторию, которая и здесь служит только для мотивировки личной судьбы героя, его биографии.

В исторических поэмах данного типа сохраняет все свое значение лирически-субъективное начало, определяющее трактовку материала и манеру изложения в романтической поэме. Это не могло не отразиться и на историзме поэмы. Замкнутый в пределах своего субъективного мира, автор переносит в историческое прошлое свои видения, свои мечты, свои переживания. Глубоко войти в сферу исторической объективности он бессилен, да и не стремится к этому. В этом смысле показательно признание одного из русских романтиков. В предисловии к «Пещере Кудеяра» Степанов пишет: «Я позволил себе, сделав отступление от рассказа жителей, изобразить Симона пленником Кудеяра, а некоторыми историческими событиями украсить повесть мою, которую предлагаю читателям, как игру свободного воображения».

Все сказанное приводит к выводу, что романтическая поэма лирического типа, затрагивая историческую тематику, не только не разрешала, но, по существу, и не ставила проблемы художественного историзма, т. е. исторической правды в искусстве, реализма в воспроизведении исторических характеров и событий. Лирическая поэма более или менее успешно разрешала поставленную романтиками задачу создания местного колорита, что объяснялось их интересом к национальному своеобразию культуры, быта, искусства. Но этнографизм здесь не сочетался с историзмом. Консервативный, а нередко и реакционный, характер романтизма многочисленных поэтов-подражателей лишал их «исторические» поэмы действительного историзма. В этом отношении подобные поэмы разделяли судьбу исторических романов, повестей, драм, писавшихся реакционными романтиками 30-х годов.

Иное мы находим в исторических поэмах с эпическим уклоном. Особенно отчетливо этот тип поэмы представлен в творчестве Рылеева и других поэтов-декабристов. Исторический материал играет здесь совершенно иную роль, чем в лирической поэме.

Известен интерес декабристов к истории. Общеизвестно, что пропаганда историко-героической тематики занимала важное место в их литературной политике. Много раз указывалось на преобладание исторических сюжетов в эпической поэзии декабристских и близких к декабризму поэтов. Их внимание привлекала не судьба одинокой личности, не личная драма, переживаемая героем, а общественная борьба и роль ее участников в периоды ее особого обострения. В отличие от лирической поэмы общественно-политические события прошлого становились темой декабристской поэзии.

Этим определялся характер сюжета в поэме декабристов: на первый план выдвигались общественно-политические события. Так, в «Войнаровском» сюжетом становится «борьба свободы с самовластьем», а любовная интрига играет эпизодическую роль. Так же складывался, судя по плану и сохранившимся наброскам, и сюжет поэмы «Наливайко». Исторические события, общественная борьба определяли сюжетное развитие в поэмах и других декабристов: «Андрей князь Переяславский» Бестужева-Марлинского, «Василько» А. Одоевского, поэмы Кюхельбекера; сюда примыкает и ранняя декабристская поэма — «Мстислав Мстиславич» Катенина. Показательно, что в «Карелии» Ф. Глинки романтическая сюжетная линия, в противоположность лирической поэме, оттеснена в предысторию, а в центре событий, изображенных в этой «описательной поэме», оказывается судьба политической ссыльной Марфы Иоанновны Романовой и борьба недовольного «годуновщиной» крестьянина Никанора за ее освобождение.

Подобно этому и в своем романтическом герое декабристы на первый план выдвигали черты, свойственные ему как общественному деятелю и борцу. В декабристской поэме воспевается не хладный и разочарованный отщепенец, не находящий и даже не ищущий выхода из своего одиночества, оказывающийся внутренне чуждым тем общественно-историческим событиям, в которые его вовлекает переживаемое им время, а пламенный и самоотверженный борец за общественное дело, исторический герой, принимающий живое участие в событиях эпохи. Таковы Войнаровский, Наливайко, Хмельницкий, Василько, Андрей Переяславский, Мстислав Мстиславич, Зоровавель (в поэме Кюхельбекера) и другие.

Преобладание историко-героического начала в содержании декабристской поэмы побуждало авторов-декабристов искать новых, не знакомых лирической поэме форм эпической композиции и манеры изложения. Субъективно-лирическое начало перестает играть доминирующую роль в поэме. Композиция ее определяется ходом изображаемых исторических событий, которые излагаются в их причинно-временной связи и последовательности. Эпической в своей основе композиции декабристской поэмы соответствует и ее объективно-повествовательная манера изложения, существенно отличающаяся от субъективно-лирической манеры исторической поэмы рассмотренного выше типа.

Таким образом, в исторической поэме романтического направления следует различать два типа, две разновидности: поэму лирическую и эпическую, — если иметь в виду основные тенденции. Первая была связана преимущественно с консервативно-романтическим течением, вторая — преимущественно с прогрессивным, и прежде всего декабристским, романтизмом. Существенно различные в своих жанровых особенностях, эти два типа

поэмы столь же существенно различаются и в характере разработки исторической тематики. Лирическая поэма консервативного романтизма, подчиняя исторический материал бытовому, романтическим сюжетам, не могла сколько-нибудь широко и правдиво раскрыть факты и процессы исторического прошлого. Лишь эпической поэме прогрессивного романтизма, в меру сильных сторон мировоззрения и художественного метода этого литературного течения, была доступна некоторая степень историзма.

## 3

Каково же соотношение «Полтавы» с романтической поэмой в ее двух разновидностях?<sup>31</sup>

Художественный опыт южных поэм не прошел бесследно для исторической поэмы Пушкина. В самом деле, интерес к исторической личности (в отличие от идеализированного образа героя в классической эпопее), внимание к ее конкретной психологии (в отличие от абстрактных, «общих» чувств, изображавшихся в «классической» поэзии) — эти особенности художественного метода «Полтавы» явились развитием романтического психологизма. Работа Пушкина над романтическими сюжетами подготовила его к пониманию сложных сюжетных коллизий, с которыми он столкнулся в своем новом эпическом произведении. Пушкина в замысле «Полтавы» увлекла, по его собственным словам, «глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы».<sup>32</sup> Небесполезным был и опыт построения в поэме новеллистического сюжета, что облегчило Пушкину развитие в «Полтаве» романтической сюжетной линии. В эпической поэме Пушкина нашла развитие и новая композиционная форма «быстрого», сжатого повествования, отличающего романтическую поэму от медлительной эпопеи. С романтическим лиризмом генетически связан и тот взволнованный, приподнятый, патетический тон, который звучит на многих страницах «Полтавы».

Но развивая художественные достижения жанра лирической поэмы, Пушкин устраняет те ее особенности, которые мешали ей стать поэмой исторической. И здесь для автора «Полтавы» оказался далеко не бесполезным опыт исторической поэзии революционного романтизма. Подчеркнем, что речь идет не о влиянии Рылеева и других поэтов-декабристов на Пушкина, автора «Полтавы», а о жанровых соотношениях. Поэтому то обстоятельство, что Пушкин, естественно, не располагал в 1828 году декабристской эпической поэзией во всем ее объеме, не имеет решающего значения. Жанровые особенности этой поэзии с достаточной отчетливостью обнаружались в творчестве Рылеева, которое неоднократно было предметом раздумий и суждений Пушкина, и отчасти в поэме Катенина «Мстислав Мстиславич» (1820), которую автор «Полтавы» в статье 1833 года защищал от нападок, как «стихотворение, исполненное огня и движения» (XI, 221).

В «Полтаве» изображаются большие события русской истории, рассказ о которых Пушкин начинает известными словами:

Была та смутная пора,  
Когда Россия молодая,

<sup>31</sup> В научной литературе затрагивался вопрос об отношении «Полтавы» к исторической поэме романтического жанра в зарубежных литературах (упоминавшиеся работы В. М. Жирмунского, Г. А. Гуковского, Н. В. Измайлова), но это особая тема, обращение к которой обязательно для поставленной нами проблемы.

<sup>32</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XI, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 160. В дальнейшем ссылки даются на это издание (тт. I—XVI и справочный том, 1937—1949, 1960).

В бореньях силы напрягая,  
Мужала с гением Петра.

Осознавая основную тему своего исторического повествования, Пушкин заглавием «Полтава», вместо первоначального «Мазепа», утверждает доминирующее значение в поэме общественно-исторических событий над личной судьбой героев. В этом отношении Пушкин решительно отходит от лирической поэмы, оттеснявшей исторические события на задний план, и сближается с поэмой декабристской, для которой наличие исторической темы становилось жанровым признаком. Роль художественной разработки исторических тем поэтами-декабристами становится особенно наглядной при сопоставлении «Полтавы» с «Бахчисарайским фонтаном». И здесь действие относится к прошлому (к XVIII веку), но эту типично романтическую поэму трудно назвать исторической.

Историческая по тематике, «Полтава» по своей проблематике является поэмой политической. И здесь путь поэта от южных поэм, в центре которых стоит судьба личности, к «Полтаве», ставящей вопрос об исторических судьбах страны, лежал через эпические опыты декабристов, художественное внимание которых привлекали эпохи обострения общественной борьбы. И Пушкина в «Полтаве» интересует «смутная пора». И Пушкин, подобно декабристам, подходит к истории как политический мыслитель, как человек своей эпохи, как участник современной политической жизни, хотя реалистическая «Полтава» по сравнению с романтическим эпосом дворянских революционеров иначе выражает политические идеи, без прямых «аллюзий».

В изображении действующих лиц «Полтавы» присутствуют еще некоторые черты романтизма. Пушкин сам засвидетельствовал, что его увлекли «сильные характеры», ставшие предметом его творческого внимания. Эти сильные характеры обрисованы в «Полтаве» резкими чертами, яркими красками. В особенности это относится к Мазепе, в характеристике которого сгущенно даны отрицательные свойства персонажа, и к Марии, портрет которой нарисован с романтической красочностью. Но в целом задача изображения исторических лиц решена Пушкиным на основе нового художественного метода, далеко уводящего «Полтаву» от романтической поэмы, особенно в ее лирической разновидности. В пушкинской поэме перед нами предстают не просто исторические имена, носителями которых являются внеисторические характеры романтических героев, но исторические характеры, созданные методом реализма. Далеко вперед ушел автор «Полтавы» и от поэтов-декабристов, не поднявшихся над романтическим методом создания характеров. Однако и здесь опыты Катенина и Рылеева, особенно если учесть эволюцию последнего от «дум» через «Войнаровского» к замыслам последних, незавершенных поэм — эволюцию, не ускользнувшую и от внимания Пушкина, сыграли свою роль и явились некоторым этапом на пути к «Полтаве».

Стремление Пушкина раскрыть в «Полтаве» исторически-объективные характеры повело к устранению того отождествления автора с героем, которое характерно для романтической, особенно лирической, поэмы. Это дало возможность автору критически проверить своего героя с точки зрения его общественно-исторической ценности, подвергнуть его общественно-моральному суду. В этом, как известно, смысл эпилога поэмы:

Прошло сто лет — и что ж осталось  
От сильных, гордых сих мужей,  
Столь полных волею страстей?

Протекшее столетие, послужившее проверкой исторического значения деятельности героев поэмы, и позволяет государственно мыслящему поэту-историку сделать объективные выводы. Но такой подход наметился уже в поэмах декабристов, судивших об историческом деятеле в свете своего идеала «прямого гражданина» (слова Мазепы о Войнаровском), выражавших в своей личной оценке героя общественное сознание дворянских революционеров.

Тематикой пушкинской поэмы определяется и характер ее сюжета. Попытка честолюбца и изменника Мазепы разорвать связи украинского народа с братским русским народом, его выступление против Петра на стороне Карла, его поражение и бесславный конец — эти события, определяющие и личную судьбу героев, придают сюжету «Полтавы» общественно-историческое значение. Отличаясь и здесь от лирической поэмы, «Полтава» обнаруживает родство с поэмой эпической, как она сложилась в прогрессивном романтизме.

В «Полтаве», как показал В. М. Жирмунский, Пушкин изменяет композиционную манеру романтической поэмы, переходя от лирического к эпическому принципу композиции.<sup>33</sup> Последовательность изложения, стремление автора раскрыть причинную обусловленность событий, преобладание эпического начала над лирическим и драматическим, плавное и широкое течение рассказа — эти особенности композиции «Полтавы» свидетельствовали о решительном отходе Пушкина от принципов лирико-романтического построения поэмы. Отсутствие в «Полтаве» романтической недоговоренности, неясности было подмечено критиком «Атеней»: «Везде (это не последнее достоинство) многое оставлено на догадку читателя; но не думаю, чтобы для кого-нибудь и что-нибудь в сей поэме показалось темным».<sup>34</sup> К наблюдениям критика и исследователя следует добавить, что новизна композиционных приемов «Полтавы» особенно выступает в развертывании исторической темы, освобождающейся, вопреки традиции лирической поэмы, от своего подчиненного значения и становящейся основной эпической композицией.

Новые композиционные принципы, отличающие «Полтаву» от лирико-романтической поэмы, наметились и в эпической поэзии декабристов. Это можно обнаружить уже в первой декабристской поэме — «Войнаровском» Рылеева. Несмотря на то, что рассказ о сюжетных событиях ведется здесь от первого лица. В отличие от лирической отрывочности и несвязности, от обращения повествователя сразу *in medias res* с последующим возвращением к предыстории, что было характерно для композиции романтических произведений, изложение событий в «Войнаровском» начинается *ab ovo* (с младенческих лет героя) и ведется в последовательно-хронологическом порядке. Небольшое количество драматизированных сцен, естественно выделенных в эпическом повествовании (бегство Мазепы от крымцев и появление юной казачки, посвящение Войнаровского Мазепой в свои планы и т. д.), неизменно связывается повествовательными компонентами, устраняющими романтическую отрывочность и недосказанность. Изложение в целом носит эпический характер. Еще более строго принцип эпическиследовательного изложения должен был осуществиться в «Наливайко», о чем можно судить по сохранившимся отрывкам и плану поэмы. Широкое эпическое движение отличает поэмы Катенина, Бестужева-Марлинского, А. Одоевского, Кюхельбекера. «Полтава» в этом отношении развивала те общие тенденции, которые можно наблюдать в поэмах Катенина и Ры-

<sup>33</sup> См.: В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы, стр. 177—181.

<sup>34</sup> «Атеней», 1829, ч. 2, апрель, стр. 182

лева и которые еще более отчетливо проявились в поэмах А. Одоевского, А. Бестужева и — по-своему — в поэмах Кюхельбекера.

В том же направлении изменяется по сравнению с лирической поэмой и манера изложения в «Полтаве». Лирическая взволнованность и формы ее выражения (восклицания, вопросы, обращения) сохраняются и здесь. Но наполняются эти формы иным содержанием: не субъективно-личным, а объективно-общественным, выражающим историческую и моральную оценку героев и их деятельности, что уже было отмечено исследователями. До Пушкина и вместе с ним на этот путь стали поэты-декабристы, для которых романтический лиризм был средством выразить общественный пафос дворянских революционеров.

В целом «Полтава» явилась своеобразным решением поставленной декабристами задачи создания высоких поэтических жанров. К этому декабристы призывали и Пушкина. Декабристскому идеалу исторического героя отвечала и фигура Петра I. «Что может быть поэтичнее *Петра*? — писал А. Бестужев Пушкину 9 марта 1825 года. — И кто написал его сносно?» (XIII, 149). «Мудрый Петр», «дивный свету царь» — так называл Петра в своих стихотворениях Рылеев (думы «Меньшиков», «Петр Великий в Острогжске»). Еще в самом начале своей литературной деятельности Ф. Глинка выступил с небольшой поэмой в духе классицизма «Смерть Петра Первого» («Русский вестник», 1808, № 10), выражая чувство высокого уважения к герою, кончина которого оплакивается. Самый страстный среди декабристов пропагандист высоких жанров, Кюхельбекер писал Пушкину 20 октября 1830 года: «...я тебя не только люблю, как всегда любил; но за твою Полтаву уважаю, сколько только можно уважать» (XIV, 117).<sup>35</sup>

Значения высоких жанров для русской литературы не отрицал и Пушкин. 23 февраля 1825 года поэт писал Н. И. Гнедичу: «Я жду от вас эпической поэмы. *Тень Святослава скитается не воспетая*, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской, а Ермак? а Пожарской? История народа принадлежит поэту» (XIII, 145). «Войнаровского» Пушкин признал поэмой, которая «нужна» была для русской словесности (XIII, 134). Огромное историческое значение воспетого в «Полтаве» события и великие заслуги перед страной опозитизированного в поэме исторического лица позволяют связать пушкинскую поэму к Петре I с творчеством декабристов на путях развития героического эпоса.

Таким образом, в формировании нового жанра исторической поэмы — пушкинской «Полтавы» — декабристская поэма сыграла более значительную роль, чем обычно представляется. Глубокий интерес к истории, политическая проблематика произведения, поиски положительного героя в истории родной страны, определяющее значение общественной линии сюжета, эпическая в основе композиция и манера изложения, общие очертания поэмы как высокого жанра — все эти черты сближают «Полтаву» с поэмой гражданского, декабристского романтизма. И это было закономерно для Пушкина — поэта декабризма.

Однако не только лирическая, но и эпическая поэма, поэма декабристская явилась для Пушкина лишь ступенью к новому жанру. Автор «Полтавы» ушел далеко вперед и от исторической поэмы революционных романтиков. «Полтава» обогатила русскую литературу исторической поэмой нового типа. Эта новизна в своей основе определялась новым художественным методом, в русле которого протекало творчество Пушкина после 1825 года. Реалистический художественный метод в произведении на исто-

<sup>35</sup> Ср.: Дневник В. К. Кюхельбекера. Изд. «Прибой», 1929, стр. 204.

рическую тему — в этом заключалось главное, что отличало «Полтаву» от романтической поэмы и определяло ее основные жанровые особенности. Такое понимание художественного метода пушкинской исторической поэмы достаточно обосновано в упоминавшихся работах Н. Л. Бродского, Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, Н. В. Измайлова, и мы, рассмотрев те тенденции исторической поэмы декабристов, которые нашли новаторское развитие в «Полтаве», можем ограничиться кратким указанием на основные результаты этого развития.

Овладение реалистическими принципами творчества дало возможность Пушкину разрешить поставленную, но не разрешенную романтиками задачу создания исторической поэмы. Лирико-романтическая поэма, обращавшаяся к истории, оставалась, в сущности, внеисторической. Эпическая поэма прогрессивных романтиков овладевала историзмом только частично. В «Полтаве» Пушкин стоит на той же, высшей для того времени ступени историзма, на которую он поднялся в «Борисе Годунове». Реалистический историзм «Полтавы» выразился в том, что Пушкин гораздо вернее и глубже революционного романтика Рылеева понял и раскрыл смысл общественно-политической борьбы изображаемой эпохи. Противопоставление жегерю подлинно великого национального деятеля, понимающего исторические задачи страны и в момент решающего сражения охваченного политическим вдохновением, государственным пафосом, историчнее, глубже, чем антитеза свободы и самовластья в «Войнаровском». В специальных работах об историзме «Полтавы» показано, какой широкий круг исторических источников был использован Пушкиным в работе над поэмой.<sup>36</sup>

Реалистический историзм «Полтавы» помог Пушкину найти решение и другой идейно-художественной проблемы, поставленной и только частично решенной романтизмом, — проблемы народности литературы. В статье о поэме Шихматова «Петр Великий» Кюхельбекер, усматривая главный недостаток этого «лирического песнопения» в том, что здесь «мало эпического», пришел к выводу, что в русской литературе нет еще «истинной народной эпопеи».<sup>37</sup> Такое жанровое обозначение хорошо выражает декабристскую концепцию эпической поэзии. Однако полностью реализовать эту концепцию ни Рылееву, ни Кюхельбекеру, ни другим поэтам-декабристам не удалось. Декабристы и теоретически, и практически боролись за народность литературы. Но романтический художественный метод и идеология дворянской революционности ставили определенные границы их успехам в этой борьбе. Применяя к произведениям Рылеева критерий народности как национального своеобразия творчества, Пушкин в его «думах» не находит ничего «национального, русского», «кроме имен» (XIII, 175), но «Войнаровский» ему «очень нравится» (XIII, 174).<sup>38</sup> Пушкин, очевидно, считал, что эта поэма в той или иной мере свободна от упрека в отсутствии народности. Еще большее одобрение вызывали у Пушкина новые эпические опыты Рылеева, отрывки из которых успели попасть в печать. И свою «Полтаву» Пушкин связывал с общей борьбой передовых литераторов за национальную самостоятельность русской литературы. «Это сочинение, — писал он о «Полтаве», — совсем оригинальное, а мы из

<sup>36</sup> См.: Н. В. Измайлов. К вопросу об исторических источниках «Полтавы». «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. 4—5, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1939, стр. 435—452. Ср.: М. М. Шишкевич. Историзм и народность поэмы Пушкина «Полтава». «Пушкин в школе, Сборник статей», Изд. Академии педагогических наук, М., 1951, стр. 318—332.

<sup>37</sup> «Сын отечества», 1825, № 15, стр. 383, 385.

<sup>38</sup> Известны и другие положительные высказывания Пушкина о «Войнаровском».



того и бьемся» (XI, 164).<sup>39</sup> В «Полтаве» Пушкин стремился воплотить то «национальное», «русское», чего не было в должной мере у его предшественников. Более высокий уровень народности «Полтавы» по сравнению с «Войнаровским» обуславливается более верной исторической концепцией Пушкина, более глубоким пониманием русского социально-исторического процесса. В поэме Рылеева мотив осуждения изменника Мазепы народом, вложенный поэтом в уста пленного, остался неразвитым и не определил собою трактовку образа украинского гетмана. Напротив, Пушкин раскрыл инородность дела Мазепы национально-освободительному движению украинского народа. Пушкин показал, что Мазепа в личных интересах не только сепаратистски отложился от России, но и перешел на сторону интервентов. Эта измена родине вызвала возмущение народа:

Он перешел, он изменил,  
К ногам он Карлу положил  
Бунчук покорный,

такая «весть на крыльях полетела» по Украине. Именно теперь

Встает кровавая заря  
Войны народной...

Народу нужен другой вождь:

На шумной раде, в вольных спорах  
Другого гетмана творят.

Развивая сильные стороны обеих разновидностей романтической поэмы, Пушкин в «Полтаве» новаторски решает и вопрос об историческом сюжете. В статье «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1830) Пушкин признал одним из достоинств романа Загоскина то, что здесь «романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического» (XI, 92). Этого не было в романтической поэме. В ее лирической разновидности «романическое происшествие» заслоняло собой «происшествие историческое». В поэме с эпическим уклоном соотношение сюжетных линий было обратное: на первый план выступало «происшествие историческое», а события частной жизни мало интересовали эпического поэта. Так было, например, в «Войнаровском», что заставило Пушкина выразить удивление, как мог Рылеев пройти мимо «истории обольщенной дочери и казненного отца» — «столь страшного обстоятельства» (XI, 160). В «Полтаве», вопреки утвержденному авторитетом Белинского мнению о двойственности сюжета, при ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем органическое сочетание событий общественной и частной жизни.<sup>40</sup> «Романическое происшествие» здесь — используем выражение Пушкина — «без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического». Сюжетная коллизия построена на столкновении личных интересов Мазепы с его политическими замыслами. Общественная борьба врывается в частные отношения героев. А эти отношения вносят большие осложнения в общественную борьбу. Если в результате внутренних колебаний Мазепа решает, что «любовник гетману уступит», то политическая деятельность «гетмана» разрушает счастье «любownika». Но покупаемое этой ценой общественное «счастье» оказывается недостижимым. Неразрывность, взаимо-

<sup>39</sup> Курсив мой, — А. С.

<sup>40</sup> Этот вопрос нашел правильное освещение в докладе П. Н. Беркова на Шестой Всесоюзной Пушкинской конференции, происходившей 5—7 июня 1954 года в Ленинграде. См. отчет о конференции в «Известиях Академии наук СССР. Отделение литературы и языка» (т. XIII, вып. 5, М., 1954, стр. 494).

зависимость обеих сюжетных линий и составляет особенность сюжета «Полтавы». Пушкин создает сюжет нового качества, отходя от романтической поэмы обоих типов — и лирической, и эпической. Широта охвата и тесная связь в сюжете общественной и частной жизни героев отвечала реалистическому художественному методу, позволившему отразить объективную связь общественно-исторического и личного.<sup>41</sup>

Идеологические основы пушкинского реализма, историзма, народности достаточно раскрыты нашей наукой. Преодолевая политическую «романтику» дворянских революционеров, Пушкин стремился понять объективные закономерности исторического развития, осознать роль народа как движущей силы истории, определить место и значение политических действий в ходе исторических событий. Такая идейная проблематика творчества определила и его художественный метод, и его жанровые особенности. Это мы и наблюдаем в «Полтаве».

## 4

Существует мнение, что «Полтава», в отличие от романтических поэм Пушкина, не нашла отражения в широкой литературе. «Из пушкинских поэм только „Полтава“ не имела своих подражаний», — пишет В. М. Жирмунский.<sup>42</sup> О том же говорит и Н. В. Измайлов.<sup>43</sup> Б. В. Томашевский уточняет: «Полтава» не нашла «достойных подражателей и последователей».<sup>44</sup> Действительно, как большая часть шедевров Пушкина, его историческая поэма не породила литературной традиции в узком смысле слова. Догадку о причинах этого в свое время высказал И. В. Киреевский. «Словесность наша, — писал он в обзоре литературы за 1829 год, — еще не доросла до господствующего направления „Полтавы“».<sup>45</sup> В ближайшие годы после появления «Полтавы» русская романтическая поэма продолжает жить традициями южных поэм. Однако в поэмах на исторические темы наблюдаются следы воздействия новой поэмы Пушкина.

Еще В. М. Жирмунский отметил в этом материале ряд прямых реминисценций из «Полтавы».<sup>46</sup> Иногда здесь речь может идти не только об отдельных мотивах и фразеологических оборотах, но и о целых сценах, образах. Так, драматически напряженный диалог между героем и героиней в поэме Д. фон Лизандера «Запорожцы» (М., 1840), несомненно, навеян сценой решающего объяснения Мазепы и Марии перед открытым выступлением гетмана. В поэме М. Павлова «Иван и Марья» (М. Павлов. Повести в стихах. СПб., 1838) мы встречаем ситуацию, возникшую по контрасту к «Полтаве»: старый украинский атаман полюбил казачку Марию, а она любит молодого казака. Образ угрюмого и сурового старика, снедаемого страстью, сидящего «не смыкая очи» (то же выражение и в «Полтаве»), восходит к пушкинскому Мазепе. В «Зальмаре» Павла Иноземцева (Харьков, 1837) мы встречаем сцену сумасшествия героини, напоминающую сцену появления сумасшедшей Марии в «Полтаве».

<sup>41</sup> Вопрос о *стиле* «Полтавы», освещавшийся в ряде исследований (работы В. В. Виноградова, Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Д. Д. Благого и других), все еще требует своего изучения.

<sup>42</sup> В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы, стр. 208, ср. стр. 265.

<sup>43</sup> Н. В. Измайлов. К истории создания «Полтавы» Пушкина, стр. 78.

<sup>44</sup> Б. В. Томашевский. Поэтическое наследие Пушкина, стр. 295 (курсив мой, — А. С.).

<sup>45</sup> «Денница». Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем, М., 1830. стр. XXXIX.

<sup>46</sup> В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы, стр. 230, 256, 258, 273, 287.

В некоторых поэмах отзвуки «Полтавы» слышатся в батальных описаниях, например в «Пустыннике» М. Павлова (в книге «Повести в стихах»):

Разят повсюду супостатов —  
Их рубят, колют, режут, бьют

(ср. в «Полтаве»: «швед, русский — колет, рубит, режет»).

Иногда в исторических поэмах можно подметить воздействие пушкинских идей. Так, Трилунный в «Отрывке из поэмы: Суд Петра над сыном» («Атеней», 1830, ч. I) развивает мысль о державных и военных трудах царя-преобразователя, подготовивших Полтавскую победу, и этим мотивирует суровое отношение Петра к недостойному наследнику. Используют авторы и высказанную в эпилоге «Полтавы» идею исторической проверки деяний героя (см. ниже о поэмах Косяровского и Максимовича). И вообще под влиянием «Полтавы» усиливается тенденция заключать поэмы историческим эпилогом.

Но помимо подобных частных откликов на пушкинскую поэму, можно констатировать попытки некоторых авторов романтических поэм на исторические темы усвоить общие особенности нового жанра поэмы, созданного Пушкиным.

Показательно, что Г. Розен, типичный эпигон, способный только повторять других, в 1828 году, т. е. до «Полтавы», выступил с шаблонным романтическим «отрывком» под заголовком «Ксения Годунова» (Три стихотворения барона Г. Розена. М., 1828), в котором исторические события даны в форме лирического воспоминания, а затем вещего сна героини. А в 1830 году, т. е. уже после «Полтавы», Розен печатает историческую поэму в трех частях «Рождение Иоанна Грозного» (СПб., 1830), в которой стремится нарисовать довольно широкую историко-бытовую картину. Автор хочет соблюсти исторический колорит. Он изображает сцену царской охоты, описывает царское одеяние, свадебный обряд и т. д. Композиции поэмы свойственны последовательность и обстоятельность изложения. Воздействие «Полтавы» подтверждается и наличием прямых реминисценций из пушкинской поэмы: «И день настал» (то же и в «Полтаве»), «Кто ездит поздней порой» и т. д. с рифмами «луне — коне» (ср. в «Полтаве» эпизод поездки молодого казака). Подобную смену жанра наблюдаем и у Н. Елагина, который в 1829 году публикует отрывок из романтической поэмы «Владимир Великий» под заглавием «Днепровский берег» («Московский телеграф», 1829, № 20), написанный в сказочной манере «Руслана и Людмилы», а в 1830 году печатает «Начало поэтической фантазии: Ксения Годунова» («Московский вестник», 1830, ч. IV), написанный в реально-бытовой манере, со ссылками на историков, с чертами эпической композиции, что едва ли можно рассматривать как простую случайность.

О более глубоком воздействии «Полтавы» можно говорить применительно к следующим произведениям: «Переметчик. Историческая повесть, относящаяся ко второй половине прошлого столетия» И. Косяровского (Одесса, 1832), «Богдан Хмельницкий», анонимно вышедшая поэма в шести песнях М. А. Максимовича (СПб., 1833), «Вступление на престол князя Александра Тверского. Историческая повесть в стихах» Константина Бахтурина (М., 1833), «Богдан» Е. П. Гребенки, переводчика «Полтавы» на украинский язык (отрывки печатались в «Современнике», 1839, т. XIV, 1840, т. XVII; полностью см.: Сочинения Е. П. Гребенки, т. 5. СПб., 1862), «Бренко» С. Костарева (М., 1848). Влияние «Полтавы» в перечисленных поэмах выражается в ряде их особенностей.

Авторы этих исторических поэм пытаются широко охватить изображаемую эпоху и развернуто показать исторические события, отводя рома-

ническому сюжету подчиненную роль. Таковы картины народного движения, возглавленного Богданом Хмельницким, у Максимовича и Гребенки. В поэме «Бренко» (это любимец Дмитрия Донского, поменявший с ним одеждой перед боем) целая глава отдана Куликовской битве, являющейся, как и Полтавский бой у Пушкина, сюжетной кульминацией.

Композиция этих поэм тяготеет к эпичности, к широкому и последовательному изложению событий. Здесь отсутствует характерная для лирической поэмы отрывочность, недоговоренность. По мере необходимости авторы дают исторические пояснения к своему рассказу. Например, описывая приезд Хмельницкого в Запорожскую Сечь, Максимович сопровождает это сообщение историческими сведениями о Сечи:

Там козаки не знали рабства  
Еще дотоль; и кошевой  
Был только в битвах их главой.

Черты эпической композиции можно отметить и в поэмах, не столь отчетливо связанных с «Полтавой», например в поэме казанской поэтессы Александры Фукс «Основание города Казани. Повесть в стихах, взятая из татарских преданий» (Казань, 1836).

Рассказывая об исторических событиях, авторы стремятся передать исторический колорит эпохи, обрисовать бытовую обстановку. Максимович подробно описывает запорожскую раду, говорит об украинских вечерниках, плясках, веснянках. Бахтурин детально изображает сцену приношения русскими князьями даров татарскому хану:

Ведут волов, ведут коней,  
Несут камку и соболей,  
Жемчуг, сосуды золотые,  
Атласы, ткани парчевые,  
И на серебряных досках  
Рубли и золото в кусках.

Интерес к прошлому, к историческим процессам и явлениям в рассматриваемых поэмах усиливает, по сравнению с жанром лирической поэмы, элементы историзма. Если у Бахтурина, близкого к декабристским кругам, можно заметить следы характерной для революционного романтизма манеры «приноравливать» изложение исторических событий к политическим задачам современности, то у Максимовича, Гребенки, Костарева борьба за национальную свободу освещается более исторично, без романтической модернизации.

В соответствии с этим и в персонажах традиционные черты романтического героя уступают место более или менее верно схваченным чертам исторического характера. Чувствуется стремление к правдоподобию в обрисовке душевных переживаний и их внешнего выражения. Так, Хмельницкий у Максимовича, заключенный в тюрьму, после пережитого подъема душевных сил чувствует естественную реакцию: «...сил душевных напряженье ослабло». В той же поэме так говорится о кошевом, которого низложила рада:

И он дрожащими руками  
На шапку палицу кладет  
И, поклонясь, в курень идет.

Общее влияние «Полтавы» подтверждается наличием в этих поэмах и прямых реминисценций из Пушкина. Такова отмеченная В. М. Жирмунским ситуация в поэме Максимовича «Богдан Хмельницкий»: Хмельницкий, подобно Кочубею, заключен в темницу и предается грустным размышлениям:

Заутра — казнь его, он знал;  
Но вестью сей неустрашенный

· · · · ·  
 Так мыслит он, с собой в борьбе:  
 Что смерть мне? . . . . .  
 Вдруг . . . ключ в замке поворотился . . .

Автор перефразирует здесь соответствующее место «Полтавы». В батальной сцене поэмы «Переметчик» образцом для Косяровского послужило, несомненно, описание Полтавского боя у Пушкина:

За цепью огненной стрелков  
 Ступает твердая пехота,  
 Отряды конные с боков . . .

Заключительное сообщение автора о судьбе героини напоминает слова Пушкина о загадочном исчезновении Марии:

Но с девой что? . . . . .  
 Никто, никто о легковерной  
 Не знает. Но рассказ неверной,  
 Преданье темное тех дней  
 Запало в памяти моей.

По образцу Пушкина Косяровский вводит мотив исторической проверки деяний героев:

. . . есть история веков, —  
 И внукам скажут без обмана  
 Деянья давние отцов.

Отмеченные факты воздействия «Полтавы» на романтическую поэму 30—40-х годов, при всей малозначительности относящихся сюда произведений, приобретают интерес как показатель художественно значительных и прогрессивных тенденций пушкинской исторической поэмы, не оставшихся бесследными для жанра русской романтической поэмы.



А. С. СИДЯКОВ

## К ИЗУЧЕНИЮ «ЕГИПЕТСКИХ НОЧЕЙ»

«Египетские ночи» — одно из наиболее интересных и значительных произведений Пушкина 30-х годов, смысл и значение которого раскрыты далеко еще не полностью. Исследователи повести нередко сосредоточивали внимание на второстепенных деталях, в частности на вопросе о ее возможном окончании. Замысел «Египетских ночей» не критически связывался с предшествующим повести отрывком «Мы проводили вечер на даче», и в результате возникла версия, будто Пушкин и здесь ставил задачей изобразить «повторение „египетского анекдота“ в современных условиях жизни», как формулировал вероятный замысел развития упомянутого фрагмента В. Я. Брюсов.<sup>1</sup> Это ложный путь; текст «Египетских ночей» при отсутствии иных, прямых и косвенных, источников не позволяет с какой-либо долей вероятности судить о продолжении повести, поэтому отождествлять оба замысла нет никаких оснований.

Незавершенность «Египетских ночей» не исключает, однако, других путей исследования; известные нам три главы повести позволяют изучать ее независимо от разрешения вопроса о ее возможном окончании. Можно согласиться с П. В. Анненковым, когда он говорит, что в «Египетских ночах» «мы имеем произведение в художественной полноте и оконченности»;<sup>2</sup> основание для этого дает нам поставленная здесь проблема поэта и его отношения к обществу. В написанных Пушкиным главах повести эта проблема занимает центральное место и вокруг нее сосредоточено все их содержание.<sup>3</sup> Еще В. Г. Белинский, говоря о «Египетских ночах», останавливал свое внимание на образах Чарского и импровизатора и на изобра-

---

<sup>1</sup> В. Брюсов. *Мой Пушкин*. ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 118. В разделе о Пушкине в шестом томе «Истории русской литературы» (Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 304) мы читаем: «Так же как в отрывке „Мы проводили вечер“ (1835), в „Египетских ночах“ продолжались попытки дать сатирическую картину „света“ в соединении с античной темой». См. также: М. Л. Гофман. *Египетские ночи с полным текстом импровизации Итальянца, с новой четвертой главой — Пушкина и с Приложением (заключительная пятая глава)*. Париж, 1935; ср. в кн.: Pouchkine. *Romans et nouvelles*. Doubrovsky. *La Dame de pique. Les nuits égyptiennes. Avec des introductions de M. Hofman*. Paris, 1947, стр. 205 (здесь М. Л. Гофман говорит уже не о пяти, но о семи главах, из которых, по его мнению, предположительно могла состоять повесть Пушкина).

<sup>2</sup> Пушкин, *Сочинения*, т. I, изд. П. В. Анненкова, СПб., 1855, стр. 401; перепечатано: П. В. Анненков. *А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений*. Изд. «Общественная польза», СПб., 1873, стр. 393.

<sup>3</sup> При анализе «Египетских ночей» необходимо избегать и другой крайности — перенесения на весь неизвестный нам до конца замысел повести результатов исследования лишь ее завершенной части. Между тем именно так поступил П. И. Новицкий; в своей статье «„Египетские ночи“ Пушкина» он категорически утверждал: «Не любовь в большом свете, а положение поэта в большом свете, — такова новая сюжетная установка» (А. Пушкин. *Египетские ночи*. Изд. «Academia», Л., 1927, стр. 42). Отсутствие окончания и планов повести делает невозможным суждение о ней в целом.

женных в повести «странных отношениях» «большого света» к искусству,<sup>4</sup> и, действительно, это единственный реальный путь исследования пушкинской повести.

Спешим оговориться, что наша статья не является попыткой всестороннего анализа рассматриваемой повести; ее задача — поставить некоторые вопросы, связанные с изучением «Египетских ночей» в том направлении, которое здесь намечено.

## 1

В болдинскую осень 1830 года в разгар полемики со своими литературными противниками Пушкин написал «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества»), в котором сетовал на положение поэта в современном обществе, чуждом и враждебном ему. Этот «Отрывок» был, по-видимому, намечен для печати. Тематически он соответствует полемическим статьям и заметкам, над которыми Пушкин работал во второй половине 1830 года. В образ «известного стихотворца», якобы своего «приятеля»,<sup>5</sup> и в предваряющие его характеристику строки Пушкин вложил глубоко личное содержание. На этом основании И. Л. Фейнберг предложил даже исключить «Отрывок» из корпуса художественной прозы Пушкина, поскольку, по его мнению, произведение это могло в той или иной форме войти в автобиографические записки поэта. И. Л. Фейнберг утверждает, что «Отрывок» относится не к художественной, а к автобиографической прозе Пушкина «в точном смысле этого слова».<sup>6</sup>

Вывод И. Л. Фейнберга представляется нам слишком поспешным. Сам Пушкин, как известно, определил свой «Отрывок» как «предисловие к повести, не написанной или потерянной» (VIII, 411).<sup>7</sup> Конечно, это лишь условное наименование: перед нами очевидный факт художественной мистификации. Это дало С. М. Бонди повод к сближению «Отрывка» с «Повестями Белкина», так как в заключение его, объясняя причины столь подробного рассказа о своем «приятеле», Пушкин замечал: «повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана нами от него» (VIII, 411). «Повесть» — это, конечно, та «не написанная или потерянная» повесть, в качестве предисловия к которой мыслился «Отрывок». В «Повестях Белкина» мы встречаемся с аналогичным приемом: каждая из приписанных Белкину повестей восходит к определенному рассказчику.<sup>8</sup> Можно провести эту параллель дальше и сопоставить «Отрывок» с предисловием («От издателя») к «Повестям Белкина» — произведением, несомненно, художественным. Таким образом, созданный в одно время с «Повестями Белкина» «Отрывок» вобрал в себя нечто от их художественной системы; это уже достаточное основание для того, чтобы рассматривать его как художественное произведение.<sup>9</sup>

И. Л. Фейнберг не согласен с этим, но единственным аргументом для него служит автобиографический характер «Отрывка». Однако этого еще

<sup>4</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 552—553.

<sup>5</sup> Ср.: «Онегин, добрый мой приятель».

<sup>6</sup> И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 268—270.

<sup>7</sup> Все цитаты из произведений Пушкина и ссылки на них даются по Полному собранию сочинений (тт. I—XVI и справочный том, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949, 1960).

<sup>8</sup> См.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 198.

<sup>9</sup> Не считает «Отрывок» художественным произведением и Б. С. Мейлах (Пушкин и его эпоха. Гослитиздат, М., 1958, стр. 510); по его мнению, это произведение публицистическое. Думается, что наличие здесь художественного образа «приятеля»-стихотворца противоречит и этому выводу.

недостаточно для его столь категорических утверждений. Да и едва ли все то, что говорит Пушкин о своем «приятеле», целиком автобиографично, несомненно здесь и участие художественного вымысла; полное отождествление героя «Отрывка» с личностью его автора явилось бы поэтому недопустимой натяжкой.

Кроме того, еще одно обстоятельство говорит, на наш взгляд, в пользу признания художественной природы «Отрывка». Произведение это в несколько переработанном виде вошло в состав «Египетских ночей» (1835), и характеристика его героя легла в основу характеристики Чарского. При всей автобиографичности этого образа,<sup>10</sup> при всей близости ряда заявлений Чарского задушевным мыслям поэта<sup>11</sup> мы, конечно, не станем, вслед за Д. Н. Овсяннико-Куликовским, утверждать, что Чарский — это Пушкин;<sup>12</sup> вряд ли поэтому возможно, чтобы Пушкин так легко мог воспользоваться отрывком автобиографической прозы для характеристики вымышленного героя повести.<sup>13</sup>

Но вернемся к «Отрывку». Пушкин говорит здесь о тех «невыгодах» и «неприятностях», которым в светском обществе подвергаются «стихотворцы». Считая поэтов и их творчество своей собственностью, оно ежеминутно пытается предьявить им свои необоснованные претензии: «Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне — при возвращении его первый встречный спрашивает: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? .. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека — тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно изволите сочинять. — Влюбится ли он? — красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии» (VIII<sub>1</sub>, 409).

Таково положение поэта; эти обстоятельства вынуждают «приятеля» автора, вдохновенного поэта, в обычное время избегать «общества своей братьи литераторов» и не напоминать о своем звании. Подобными же чертами Пушкин затем наделяет и Чарского.

Связь «Отрывка» с другими произведениями Пушкина не ограничивается только «Египетскими ночами». Самое появление «Отрывка» мы можем расценить даже как развитие одного из задушевнейших лирических стихотворений поэта — «Ответ анониму», написанного ровно за месяц до него, 26 сентября 1830 года («Отрывок» датирован 26 октября). В этом стихотворении мы нашли свое выражение затаенная боль поэта, отвергнутого даже теми, кто недавно еще расточал восторженные похвалы его таланту. Это, как и скрытые политические обвинения, исходившие от давних врагов

<sup>10</sup> «В Чарском, — писал, основываясь на личных воспоминаниях, С. П. Шевырев, — Пушкин едва ли не представил собственных своих отношений к свету: он не любил, когда в гостиной обращением напоминали ему о высоком его звании, и предпочитал обыкновенное обхождение светское» («Москвитянин», 1841, ч. V, № 9, стр. 264).

<sup>11</sup> Ср. например, реплику Чарского: «Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери) этого не знают, то тем хуже для них» (VIII<sub>1</sub>, 266) — с отрывком из письма Пушкина к А. А. Бестужеву (1825): «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равным. Вот чего подлец Воронцов не понимает» (XIII, 179).

<sup>12</sup> «В лице отщепенца Чарского Пушкин изобразил самого себя, свое собственное отщепенство» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Собрание сочинений, т. IV, А. С. Пушкин, изд. 5-е, ГИЗ, М.—Пгр., 1924, стр. 130—131).

<sup>13</sup> «Не все в этом образе автобиографично, — правильно замечает Б. С. Мейлах, — Пушкину, в частности, были чужды свойственные Чарскому дендизм, аристократическое предубеждение против отношения к поэзии как профессии и т. д.» (Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 513).



поэта, и обусловило остроту реакции Пушкина, усугубило его конфликт с современным обществом:

К доброжелательству досель я не привык —  
И странен мне его приветливый язык.  
Смешон, участия кто требует у света!

И далее, говоря об одиночестве поэта в «свете», Пушкин вкладывает в стихотворные строки то же содержание, которое позднее он иными средствами воплотит в прозе:

Постигнет ли певца незапное волнение,  
Утрата скорбная, изгнание, заточенье, —  
«Тем лучше, — говорят любители искусств, —  
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств  
И нам их передаст».

(III, 229).

Сопоставив приведенные отрывки обоих произведений, мы приходим к выводу об их очевидной связи; ее легко объяснить близостью времени их написания — созданные недавно стихи были еще свежи в памяти Пушкина, когда он писал свой «Отрывок». Создавая его, Пушкин, таким образом, выражает свою мысль почти в полном соответствии, насколько позволяла разница средств, с написанным месяцем назад произведением.

Итак, уже при первом сопоставлении «Отрывка» 1830 года с лирическими произведениями поэта мы нашли точки соприкосновения между ними. Они, в свою очередь, поведут нас далее — «Ответ анониму» входит в цикл стихотворений Пушкина о поэте и поэзии. Не случайно поэтому, что и в «Египетских ночах», повести, органически включившей в себя написанный ранее «Отрывок» и по своей проблематике совпадающей с этим циклом, мы найдем не одно свидетельство их близости, иногда даже выходящей за пределы простых соответствий.

## 2

Самый вопрос о связи «Египетских ночей» с циклом стихотворений Пушкина о поэте и поэзии не прошел мимо внимания исследователей.<sup>14</sup> Однако, будучи поставлен лишь в самой общей форме, он сравнительно мало раскрыт на материале повести; поэтому нам и представляется нелишним высказать некоторые дополнительные соображения, способствующие более полному разрешению этого вопроса.

Прежде всего несомненно, что к циклу стихотворений о поэте непосредственно относится первая импровизация итальянца.<sup>15</sup> Ее тема, предложенная импровизатору Чарским: «*поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением*» (VIII, 268), — совпадает со стихотворением 1828 года «Поэт и толпа»; но в той или иной

<sup>14</sup> По словам Б. С. Мейлаха, в «Египетских ночах» «размышления Пушкина о роли поэта и поэзии впервые воплотились не в форме общих лирических деклараций, а в конкретном образе петербургского стихотворца» (Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 513). Ср. у Б. Вальбе: «Образом Чарского Пушкин уясняет весь цикл стихов о поэте» (Б. Вальбе. «Египетские ночи». «Звезда», 1937, № 3, стр. 152). В упомянутых работах проводятся и некоторые (в последней — не всегда удачные) сопоставления повести с отдельными стихотворениями указанного цикла.

<sup>15</sup> Как известно, текст этой импровизации («Поэт идет: открыты вежды») представляет собой переработку Пушкиным двух строф поэмы «Езерский»; принято считать, что она предназначалась именно для «Египетских ночей» (см.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма, стр. 192—197). Однако подробнее останавливаться на соотношении этого стихотворения с теми, которые входят в упомянутый цикл, здесь нет необходимости; для нас более важны те соответствия, которые можно найти в тексте самой повести.

мере она связана едва ли не со всеми стихотворениями, входящими в цикл.

Таким образом, в эпизоде «Египетских ночей», описывающем первую импровизацию итальянца (вторая глава повести), как Чарский, так и импровизатор оказываются проводниками той идеи, которая проходит через ряд лирических произведений поэта, и тем самым практически осуществляют живую связь между повестью и стихотворениями Пушкина. В образах Чарского и импровизатора и следует поэтому прежде всего искать занимающих нас соответствий между «Египетскими ночами» и лирическим циклом стихов о поэте.

Как уже было отмечено, характеристика Чарского, которой открываются «Египетские ночи», является в значительной своей части переработкой «Отрывка» 1830 года. Поэтому, говоря о Чарском, мы так или иначе возвращаемся к этому произведению, и наш анализ в известной мере равно относится и к «Египетским ночам», и к «Отрывку».

Однако при этом следует также иметь в виду и различия между ними, имеющие для нас немаловажное значение. Помимо ряда редакционных изменений, внесенных Пушкиным, а также изъятия некоторых потерявших свою злободневность деталей, переработка «Отрывка» для «Египетских ночей» коснулась и других моментов. Так, в отличие от «приятеля» автора в «Отрывке», Чарский поставлен в несколько иные общественные условия. Первый, «будучи беден», замечает Пушкин, имел «поминутную нужду в деньгах» (VIII, 410). Чарский же богат, и рядом деталей Пушкин раскрывает аристократические склонности героя «Египетских ночей». <sup>16</sup> Поэтому мотив, так сказать, «двойной жизни» или, вернее, раздвоенности героя, намеченный уже в «Отрывке», еще более подчеркнут в повести.

В основе характеристики Чарского лежит видимое противоречие между его положением в свете и его «ремеслом» поэта. Сознвая сопряженные с ним «невыгоды и неприятности», Чарский тщательно скрывает свой талант; с одной стороны, это «надменный dandy», предающийся всем развлечением светского общества, стремящийся во всем следовать его установлениям, с другой — искренний и вдохновенный поэт, всей душой отдающийся любимому искусству и тем самым противопоставляющий себя «свету».

На этом контрасте построены и взаимоотношения Чарского и импровизатора. Чарского корбит, когда полунищий итальянец в потрепанной одежде, подходящий на шарлатана, называет его собратом. Однако стоило Чарскому убедиться, что перед ним подлинный поэт, и он искренне восхищается его замечательным искусством.

Вспомним основные моменты характеристики Чарского (в первой своей части приводимые строки почти не связаны с «Отрывком»):

«Чарский, — пишет Пушкин, — употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не

<sup>16</sup> Следует также подчеркнуть, что в тексте «Египетских ночей» Пушкин опускает и существенно для него важную деталь, встречающуюся в «Отрывке» 1830 года: «Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3-м(я) строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3-м(я) звездами двоюродного своего дяди» и т. д. (VIII, 410).

напоминало писателя ... Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках...

«Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье» (VIII, 264).

Такова ситуация, составляющая жизненную основу образа Чарского. В ней как бы реально воплотились мысли, задолго до того выраженные Пушкиным в его стихотворении «Поэт» (1827), одним из первых в цикле.

Образ поэта рисуется в этом стихотворении в том же двойственном плане, что и образ Чарского; Пушкин подчеркивает внешнюю заурядность поэта как человека, сочетающуюся с глубоким внутренним горением в часы творчества:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон,  
В заботах суетного света  
Он малодушно погружен...  
Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,  
Как пробудившийся орел.

(III, 65).

Близкое соответствие идеи этого стихотворения Пушкина и характеристики Чарского позволяет утверждать, что в «Египетских ночах» поэт продолжает линию, намеченную рядом его стихотворений. Однако, войдя в характеристику героя прозаического произведения, эта прежде чисто лирическая тема приобретает и новое звучание. Пушкин теперь находит иные слова, он как бы переводит возвышенные образы своего стихотворения в земной, реальный план, порою даже подчеркнуто снижая их («божественный глагол» — и «такая дрянь», в ироническом определении Чарского); однако сама мысль, выраженная в стихотворении «Поэт» и впоследствии вновь возникшая в «Египетских ночах», в целом остается неизменной.

Подчеркивая в образе Чарского его стремление уберечь свое искусство от посягательств «света», Пушкин уже решает основную проблему, поставленную в первых главах «Египетских ночей», — поэт и общество. проблему, которая, как уже отмечено, красной нитью проходит и через весь цикл стихов о поэте («Поэт и толпа», «Поэту», «Эхо» и др.). Светское общество враждебно искусству, которое ему чуждо и непонятно: именно поэтому Чарский так боится обнаружить в себе поэта — он хорошо знает цену «света» и его мнений.

Несомненно, что «Египетские ночи» Пушкина связаны с определенной традицией современной ему прозы; однако тема романтических «повестей о художниках» переводится здесь в социальный план. Художник оказывается в конфликте с обществом уже не потому лишь, что он якобы в силу своей исключительности возвышается вообще над людьми и они оказываются поэтому неспособными понять и признать его. Пушкин, напротив, настаивает на том, что в обыденной жизни поэт не поднимается над своим окружением, более того, он даже подчиняется ему; но истинные отношения поэта к «свету» связаны с тем, что это — аристократическое общество («чернь», «толпа», по терминологии стихов о поэте). В силу известных социальных условий оно враждебно искусству, и именно они, эти условия, приводят к трагическому несоответствию между вдохновением поэта и его положением в обществе.

Это несоответствие еще более остро проявляется в образе импровизатора, который, при всем своем внешнем несходстве с Чарским (их противопоставление проводится через весь текст повести), в то же время, как поэт, глубоко родственен ему.

Вернемся к сцене первой импровизации. Чарский задает импровизатору тему, и эта тема воплощается итальянцем во вдохновенных стихах. Импровизатор говорит о независимости поэта, и мы чувствуем, что эта тема глубоко волнует его; она звучит как его личная, лирическая тема.

«Как! — изумляется Чарский. — Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрепятственно» (VIII, 270).

Но если для Чарского эта тема связана с его личным положением — богатый аристократ, он может быть независим, — то в устах бедняка-итальянца пламенный гимн свободе поэтического творчества звучит горькой иронией над его же собственной судьбой. Ведь именно он, импровизатор, превратив свое искусство в забаву для праздных бездельников, как раз и лишен возможности «сам избирать предметы для своих песен». Отсюда и его жадность к деньгам, вызывающая негодование Чарского, который сперва отказывается понять, каким образом поэтическое вдохновение может совмещаться с «меркантильными расчетами», «дикой жадностью» и «простодушной любовью к прибыли» (VIII, 270).

Пушкин вновь подчеркивает, таким образом, земные черты характера поэта, отличающие его от идеализированных образов романтических «повестей о художниках».

Импровизатор чужд и неприятен Чарскому как человек, тем более человек иного мира и иных понятий, но черты, присущие ему как поэту, роднят их. И Чарский, и импровизатор опять-таки по-разному, но равно противостоят светскому обществу, своего рода коллективный образ которого (правда, еще очень блгло очерченный) возникает в повести как их противоположность.

Здесь мы опять можем говорить о прямом воплощении в «Египетских ночах» мотивов лирических стихотворений Пушкина о поэте; в частности, мы легко убедимся в этом, если вновь сопоставим повесть со стихотворением «Поэт и толпа».

«Поэт» и «толпа» — это как раз та ситуация, с которой мы сталкиваемся в последней из известных нам глав повести. В сцене второй импровизации реально воплощены взаимоотношения поэта и светского общества; истинный поэт, импровизатор в глазах мнимых ценителей искусства, наполняющих «залу княгини», лишь модная забава, он для них занимателен — и только.

Мы видим в этой сцене, как оправдываются язвительные реплики Чарского, аттестующего итальянцу «свет», в той «комедии», которая разыгрывается жеманящейся публикой на концерте импровизатора. И естественно, что все блестящее искусство итальянца не найдет отклика в этой среде.

Он пел — а хладный и надменный  
Кругом народ непосвященный  
Ему бессмысленно внимал.

(III, 141).

Эта экспозиция стихотворения «Поэт и толпа» находит реальное соответствие в том положении, в каком находятся поэт-импровизатор и его публика в сцене второй импровизации.

Впрочем, и сам импровизатор знает, к кому он вынужден обращаться; рассчитывая наполнить за ее счет свой карман, он не в этой публике видит

истинных ценителей своего дарования. «...ваше тихое одобрение, — говорит он Чарскому, — дороже мне целой бури рукоплесканий» (VIII, 268).

Но в том-то и заключена жизненная трагедия бедного итальянца, что, зная все это, он все же вынужден свой талант, свое вдохновение растратить перед теми, кто заведомо не способен понять его.

Смешон, участия кто требует у света!  
Холодная толпа взирает на поэта,  
Как на заезжего фигляра...

(III, 229).

Характерно, что образ стихотворения «Ответ анониму» — «заезжий фигляр» — вновь возникает в «Египетских ночах»; Пушкин и здесь прибегает к нему, для того чтобы подчеркнуть противоречие между поэтом и чуждым его таланту обществом. Чарский встречает импровизатора накануне его выступления и, как и при первой встрече с ним, критически оценивает его внешность: «Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра» (VIII, 271).

В глазах той публики, перед которой должен выступить импровизатор, он и является «заезжим фигляром» чуть ли не в буквальном смысле этого слова, и его театральный наряд вполне соответствует той роли, которую он взял на себя; но Чарский, видя в нем поэта, болезненно реагирует на то унижение, с которым примиряется, думая о своей «прибыли», бедный итальянец. Так Пушкин еще раз подчеркивает мысль о противоречии между искусством и светским обществом, «поэтом» и «толпой»: служа ей, поэт лишается своей независимости и должен довольствоваться унижительной ролью «заезжего фигляра».

Связь этой детали «Египетских ночей» со стихотворением «Ответ анониму», возможно, будет удовлетворительно объяснена, если мы вспомним о соотношении этого стихотворения с «Отрывком» 1830 года. Перерабатывая последний, Пушкин вновь вошел в атмосферу своей «болдинской» лирики, и не случайно поэтому обращение его именно к тому стихотворению из цикла о поэте, которое, возникнув почти одновременно с «Отрывком», было тесно с ним связано. В результате к тем соответствиям, которые мы уже наблюдали, говоря об «Отрывке», прибавляется еще одна выразительная деталь.

Подобное текстуальное соответствие «Египетских ночей» с написанными ранее стихотворениями не единично. Для подтверждения этого необходимо обратиться еще к одной теме, занимающей здесь определенное место, — к вопросу о психологии поэтического творчества, уже возникавшему прежде в лирике Пушкина.

И Чарский, и импровизатор, предстая перед нами как поэты, изображены Пушкиным и в момент их творчества; при этом, как и в других случаях, они противостоят друг другу и здесь. Чарскому любопытен и вместе с тем чужд творческий процесс итальянца. Склонный к внешнему эффекту, темпераментный и страстный, импровизатор весь преобразается, творя свои стихи, «выражение мгновенного чувства» (VIII, 268).

«Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота...

и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась» (VIII<sub>1</sub>, 274).

Чарскому непонятно, каким образом для импровизатора «не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению» (VIII<sub>1</sub>, 270); его собственная поэтическая практика слишком отлична от этого. В то же время им обоим присуща способность перерождаться в момент творчества; отвлекаясь от всего мелочного и житейского, создают они стихи, подчиняясь только своему вдохновению. Однако внешне у Чарского все выглядит иначе, и даже спокойное и сдержанное описание его вдохновения должно само по себе противостоять эффектным сценам импровизации.

«Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут на встречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. — Он писал стихи» (VIII<sub>1</sub>, 264).

Таков Чарский-поэт. Передавая его лирическую взволнованность, Пушкин вкладывает в эту сцену очень много личного. Описывая создание Чарским стихов, он, несомненно, воссоздает свой собственный творческий процесс, и это подтверждается сравнением приведенного отрывка с лирическими строками «Осени», стихотворения, написанного незадолго до «Египетских ночей» (в 1833 году) и примыкающего к циклу стихов о поэте и поэзии.

Стихотворение не было закончено. Строфы, на которых оно обрывается, посвящены как раз интересующей нас теме — Пушкин воплощает в них процесс своего поэтического творчества:

#### X

И забываю мир — и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем —  
И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

#### XI

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута — и стихи свободно потекут.

(111, 321).

Если мы эти строфы «Осени» сопоставим с приведенным выше отрывком из «Египетских ночей», то увидим, что они, в сущности, говорят о том же. Чарский, пишет Пушкин, «погружен был душою в сладостное забвение» (ср. «Я сладко усыплен моим воображеньем»). В «Египетских ночах» Пушкин говорит о «мечтаниях», которые «явственно рисуются перед поэтом, о его «видениях», для воплощения которых он находит «живые, неожиданные слова»; этому мы также находим соответствие в «Осени»:

И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Наконец, — и это наиболее примечательно — Пушкин, почти дословно повторяя стихотворные строки «Осени», пишет в своей повести: «...стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут на встречу стройной мысли».

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут.

Варианты стихотворения дают основание полагать, что второй из приведенных стихов, вначале, по-видимому, читался «И рифмы звучные навстречу им бегут» (III<sub>2</sub>, 932). Такое прочтение, естественно, усиливает впечатление близости, возникающее уже при сравнении текста «Египетских ночей» с окончательным текстом «Осени».

Эта параллель дает еще одно, и очень убедительное, доказательство близости «Египетских ночей» Пушкина к его стихотворениям, посвященным теме поэта.

Конечно, все эти соответствия не были бы интересны сами по себе, если бы за ними не стояло нечто большее — идейное и тематическое единство «Египетских ночей» и лирического цикла стихов о поэте. Правда, не следует полагать, что в «Египетских нощах» Пушкин лишь повторил себя; форма прозаической повести раскрывала перед ним новые возможности решения прежде чисто лирической темы, и Пушкин в полной мере эти возможности реализует. Идейное и образное содержание «Египетских ночей» опирается на уже достигнутое в пушкинской лирике, и это придает здесь неповторимое своеобразие его прозе. Мы определили бы это как обогащение возможностей пушкинской прозы средствами его поэзии, если бы это не казалось противоречием и взглядам Пушкина на прозу, и его собственной художественной практике. Но это лишь мнимое противоречие Пушкин и в «Египетских нощах» в целом остается верен своей прозаической манере. Только, будучи самым лирическим его произведением в прозе, эта повесть все же несколько выходит за привычные для пушкинской прозы границы.

Именно поэтому наблюдения, которыми мы поделились в этой статье, могут способствовать дальнейшему и более глубокому изучению «Египетских ночей», повести, в которой Пушкин-прозаик неожиданно тесно соприкоснулся с Пушкиным-поэтом.



Н. В. КОРОЛЕВА

## ТЮТЧЕВ И ПУШКИН

Острые и не решенные когда-то литературоведческие вопросы имеют свойство как бы затухать, терять свою остроту с годами. К числу таких вопросов, сейчас как будто забытых, а в 1920—1930-х годах возбуждавших острые споры, относится вопрос о Пушкине и Тютчеве. Являются ли эти два крупнейших поэта своего времени представителями одного направления в поэзии или, напротив, их направления различны настолько, что исключает всякую возможность признания одного поэта другим, — такова сущность спора. В наши дни спор забыт; в статьях о Тютчеве этому вопросу уделяется обычно не более одного-двух абзацев, в которых приводится факт напечатания тютчевских стихов в журнале Пушкина «Современник» и цитируются давно вошедшие в литературоведческий обиход воспоминания П. А. Плетнева или Ю. Ф. Самарина о благожелательном, даже восторженном отношении Пушкина к печатаемым стихам;<sup>1</sup> в литературе о Пушкине этого вопроса как бы не существует вовсе. Чтобы сейчас восстановить степень его остроты, надо обратиться к работам, отделенным от нас десятилетиями.

«Тютчев принадлежал бесспорно к так называемой пушкинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им всем почти сверстник по летам, но особенно потому, что на его стихах лежит тот же исторический признак, которым отличается и определяется поэзия этой эпохи», — писал И. С. Аксаков.<sup>2</sup>

«Вообще зависимость Тютчева от Пушкина ограничивается такими мелочами, а различие между этими поэтами так велико, что мы не находим достаточного основания причислять Тютчева к последователям Пушкина, расходясь в этом отношении с мнением Аксакова и признаем за Тютчевым право на самостоятельное место в истории русской поэзии, не особенно, правда, видное», — возражает Н. Ф. Сумцов.<sup>3</sup>

Ю. Н. Тынянов исследует вопрос об отношении Пушкина к Тютчеву в исторической последовательности фактов и также не соглашается с Аксаковым: «Резюмирую: принятие в „Современнике“ стихов Тютчева было вовсе не актом признания, тем паче „благословением“ со стороны старшего поэта по отношению к *новому* гениальному поэту. Тютчев прежде всего был вовсе не новым и не молодым поэтом для Пушкина, а достаточно ему известным и притом таким поэтом, о котором он уже раз отозвался и

---

<sup>1</sup> См.: К. В. Пигарев. Ф. И. Тютчев. В кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. Гослитиздат, М., 1957, стр. 7; Б. Я. Бухштаб. Ф. И. Тютчев. В кн.: Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, Изд. «Советский писатель», Л., 1957, стр. 6.

<sup>2</sup> И. С. Аксаков. Биография Феодора Ивановича Тютчева. М., 1886, стр. 77.

<sup>3</sup> Н. Ф. Сумцов. Исследования о Пушкине. «Харьковский университетский сборник. В память А. С. Пушкина (1799—1899)», Харьков, 1900, стр. 346.



отозвался неблагоприятно,<sup>4</sup> за шесть лет до того. Затем, стихи Тютчева были „приняты“ *Вяземским* и *Жуковским* (а не Пушкиным, — Н. К.). И, наконец, в „Современник“ к тому времени принимался всякий, притом третьеразрядный стиховой материал».<sup>5</sup>

Серьезно аргументированной концепции Ю. Н. Тынянова была противопоставлена столь же серьезно аргументированная противоположная концепция: «В этой краткой заметке, — писал Г. И. Чулков, — я не намерен критиковать по существу работу Ю. Н. Тынянова: мое задание иное: во-первых, показать, что некоторые психологические и биографические аргументы, выдвинутые Ю. Н. Тыняновым в доказательство его теории о враждебном отношении Пушкина к Тютчеву, недостаточно обоснованы, и, во-вторых, что вопрос об отношении Пушкина к Тютчеву не может быть разрешен в плане эволюции литературных жанров без привлечения к этой теме иных данных — социального и культурного содержания — прежде всего вопроса о Гете...».<sup>6</sup>

Новая концепция о близости Пушкина и Тютчева была доказана не менее убедительно, чем предыдущая; вопрос остался открытым.

Итак, из каких же фактов слагается вопрос о Пушкине и Тютчеве? Прежде чем мы приступим к их изложению, отметим с самого начала одну сторону рассматриваемого вопроса, которая ускользнула из поля зрения исследователей: если поэт Тютчев, по имеющимся у нас данным, был замечен Пушкиным лишь в 1830 году и, естественно, не сыграл никакой роли в формировании Пушкина-поэта, то чтение Тютчевым Пушкина уже в 1820 году явилось важнейшим звеном в формировании этого поэта, родившегося позже Пушкина лишь четырьмя годами и начинавшего писать стихи одновременно с ним. Именно с этого начального периода в развитии их взаимоотношений (если можно так назвать отношения друг к другу людей, никогда не бывших знакомыми лично) и представляется необходимым начать рассмотрение вопроса о Пушкине и Тютчеве.

## 1

Стихи Пушкина были не первым чтением и не первым литературным увлечением его молодого современника. С первых своих шагов в поэзии Тютчев оказался в среде литераторов Московского университета и Общества любителей российской словесности при Московском университете, принципиально стоявших в стороне от жарких литературных боев своего времени и ставивших своей целью воспитание в юношестве гражданских чувств прежде всего на чтении высоких образцов русской одической поэзии XVIII века. Первым учителем Тютчева стал профессор и поэт А. Ф. Мерзляков, наиболее крупная и самобытная фигура и на словесном отделении Московского университета, где он читал курс российского красноречия и поэзии, и в Обществе любителей российской словесности. «Некогда довольно счастливый лирик, изрядный переводчик древних, знаток языков русского и славянского... но отставший по крайней мере на двадцать лет от общего хода ума человеческого...», — как писал о нем

<sup>4</sup> Тынянов имеет в виду слова Пушкина в рецензии на альманах «Денница» в «Литературной газете» (1830, № 8, стр. 64): «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим».

<sup>5</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 350.

<sup>6</sup> Г. Чулков. Стихотворения, присланные из Германии. (К вопросу об отношении Пушкина к Тютчеву). «Звенья», сб. II, Изд. «Academia», М.—Л., 1933, стр. 255.

В. К. Кюхельбекер в «Обзрении российской словесности 1824 года»,<sup>7</sup> — Мерзляков воспитывал у своих учеников любовь к русской поэзии XVIII века, прежде всего к Ломоносову и Державину, а из современной поэзии признавал И. Дмитриева скорее, чем Карамзина, и уж совсем не признавал ни Батюшкова, ни Пушкина, ни Жуковского. Три «незабвенно дорогих» поэта, «Жуковский, Пушкин, Карамзин», которых называет Тютчев в стихотворении «На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского»<sup>8</sup> в качестве учителей и кумиров юности своего поколения, могли стать таковыми лишь вопреки влиянию Мерзлякова и Московского университета. Тютчев принадлежал к числу той университетской молодежи, которую А. А. Прокопович-Антонский, председатель Общества любителей российской словесности, «заставлял . . . перед торжественными собраниями сочинять „гимны к истине“, оды „на невинность“, „на счастье“,», но которая, «к удовольствию того же Прокоповича-Антонского, с увлечением декламировала стихи Жуковского, горячо сочувствовала Карамзину, увлекалась Шиллером».<sup>9</sup> Отношение московских профессоров к новой поэтической стихии 10—20-х годов XIX века и к новому понятию поэтического, уверенно утверждавшемуся в творчестве Жуковского, Батюшкова и молодого Пушкина, было сложным. С одной стороны, растерянность, неприятие: «Было слово о романтизме и классицизме, — записывает в дневнике о заседании Общества любителей российской словесности И. М. Снегирев. — Мерзляков с жаром витийствовал против первых, а Каченовский грозился палкою на князя Вяземского».<sup>10</sup> Но, с другой стороны, в разделении литературных сил 1810-х годов, в острой тогдашней борьбе карамзинско-арзамасского лагеря с шишковистами Мерзляков если и был противником первых, то не с позиций вторых. Архаистические теории шишковистов были ему столь же чужды, как лирический субъективизм карамзинистов или мечтательный романтизм Жуковского. Основные его требования к поэзии определяло нечто другое. Заслуга Мерзлякова, позволившая ему стать любимцем университетской молодежи, была в том, что, будучи чужд новых веяний в литературе, он не остался в стороне от них, искал новые принципы критического подхода к произведениям нового направления и находил их в рационалистическом и скрупулезном отыскивании в произведении логики поэтического рассуждения, которая еще заменяла ему требование логики жизни в поэзии. Мерзляков искал не соблюдения законов жанра (требование литературной теории классицизма), а соответствия изображаемого своеобразно понятой правде. «Чувства имеют свой ход натуральный как в величайшем своем исступлении, так и в спокойном», — заявлял Мерзляков.<sup>11</sup> Поэтому писатель должен уметь наблюдать, познавать человеческое сердце, характер и знать, какие стороны характера «суть подлинные источники мыслей, чувствований и поступков человека».<sup>12</sup> «Пуускай говорят, — пишет Мерзляков, — что чувства свободны от всякого плана, от всякого стеснения; это не справедливо. Природа в самую бурю, когда все, кажется, готово разрушиться, не теряет своей стройности, или, лучше, самая буря имеет свои законы, начало, переходы и конец; почему же не должны иметь сего порядка, сих законов бури сердечные? — В порывах чувств есть своя система, постоянная и верная: ее-то должен

<sup>7</sup> Литературные портфели. I. Время Пушкина. Изд. «Атеней». Пгр., 1923, стр. 73.

<sup>8</sup> Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, стр. 214.

<sup>9</sup> Общество любителей российской словесности при Московском университете. 1811—1911. Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911, стр. 7.

<sup>10</sup> И. М. Снегирев. Дневник, т. I. М., 1904, стр. 70.

<sup>11</sup> «Труды Общества любителей российской словесности», М., 1817, ч. VII, стр. 56.

<sup>12</sup> А. Мерзляков. Краткая риторика, или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. М., 1809, стр. 63.

открыть и исполнить стихотворец». <sup>13</sup> Если человеческое сердце подобно морю, то писатель должен «проникнуть сию бездну и определить источники перемен ее: где они заключаются, в ней ли самой, или зависят от влияния земли и неба, от бурь и непогод внешних; ты должен заметить ход каждой страсти, порывы чувствований, их переливы быстрые или медленные или внезапные от одного в другое; ты должен знать, в какой мере действовать может предмет на человека в определенное время, в определенном характере, в определенном месте и в определенных обстоятельствах». <sup>14</sup>

Все эти требования глубоко рационалистичны в подходе к человеческой душе. Они давали прочную рационалистическую закалку молодежи, которая на них воспитывалась, не позволяла ей утонуть в море иррационального, исполненного фантастики, в море романтизма. Рационалистические начала этих требований не позволяли и самому Мерзлякову принять субъективизм карамзинизма или антирационалистические начала поэтики Жуковского. В этом архаичность, историческая ограниченность Мерзлякова, хотя в этом же и его сильная сторона. «Можно ли не заметить порывов неуместных отчаяния там, где его быть не могло, восторга, когда леденеют вместе сочинитель и слушатель?», — спрашивал Мерзляков <sup>15</sup> и в своих литературных «разборах» был «беспощадным критиком и в этом отношении смелым нововводителем». <sup>16</sup> Молодежь была увлечена его лекциями, хотя недостаточность объективной историко-литературной оценки в его «критике вкуса» постепенно начинала вызывать недовольство наиболее думающих его учеников. Одним из первых недовольных был Тютчев. 13 октября 1920 года М. П. Погодин записывает в дневнике слова Тютчева о том, что Мерзляков должен был бы «показать нам историю рус<ской> слов<есности>, должен показать, какое влияние каждый наш писатель имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличался от другого и проч.». <sup>17</sup> Этого в лекциях Мерзлякова не было. И, может быть, в воспитании своих учеников (а у Мерзлякова, кроме Тютчева, учились и Веневитинов, и Шевырев, и Полежаев, и Лермонтов) Мерзляков сыграл положительную роль не столько тем, чему он их учил, сколько тем, чему не мешал учиться. Не принимая целый ряд новейших явлений в поэзии, Мерзляков был в курсе их: он мог плакать над пушкинским «Кавказским пленником», мог часами в своих лекциях говорить о переводах Жуковского из Байрона, пусть оценивая их отрицательно, но уже самим фактом своей лекции заставляя слушателей задуматься над оценкой нового в литературе.

Сохранились не опубликованные до сих пор воспоминания М. П. Погодина, ученика Мерзлякова и университетского товарища Тютчева, о лекции Мерзлякова, посвященной выходу в 1822 году «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского, т. е. ярчайшему явлению новой романтической школы:

«„Вышла, господа, новая поэма модного нынешнего поэта, лорда Байрона, «Шильонский узник», переведенная по-русски Жуковским. Мы займемся ее разбором в следующий раз“. Весь университет возволновался и, считая минуты, ожидал следующего раза. Лишь только кончилась

<sup>13</sup> «Амфион», 1815, № 7, стр. 103.

<sup>14</sup> А. Мерзляков. Сочинения в прозе и стихах, ч. II, кн. IV, М., 1822, стр. 26—27.

<sup>15</sup> Там же, стр. 28.

<sup>16</sup> Д. Н. Свербеев. Записки (1799—1826), т. I, М., 1899, стр. 86.

<sup>17</sup> Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (далее сокращение: ЛБ), Пог. I.30.1.

лекция, предшествовавшая Мерзлякову в 5 часов, и вышел профессор из аудитории, как студенты со всех сторон бросились туда, точно на приступ, спеша занять места. . . Какое молчание воцарилось, когда он сел наконец за кафедру. Мы все дрожали, сердце билось, слух был напряжен. И он начал:

Взгляните на меня, я сед,  
Но не от старости и лет,  
Не страх внезапный в ночь одну  
До срока дал мне седину.  
Я сгорблен, лоб наморщен мой,  
Но не труды, не хлад, не зной —  
Тюрьма разрушила меня.

„Что это за лицо рассказывает о своем положении? Каких слушателей мы должны себе представить? Почему предполагает он их участие? Что за манера рассказывать без всякого вступления и предупреждения? Что за выражение: тюрьма разрушила? Как она разрушила, если он может говорить; разрушить можно здание, но человек разрушен быть не может. Вот эти модные поэты! Не спрашивайте у них логики! Они пренебрегают языком“ и т. д. . . Мы слушали его разбор с почтением, соглашались с верностью многих его замечаний; но все-таки были в восторге от Байроновой поэмы и даже начали, украдкой от самих себя и от Мерзлякова, восхищаться „Русланом и Людмилой“ Пушкина, которая вышла в 1821 году». <sup>18</sup>

Тютчев был одним из тех студентов, о которых рассказывает Погодин: с одной стороны, правоверный ученик Мерзлякова (и раннее творчество Тютчева, и, как мы увидим ниже, каждый шаг в жизни Тютчева-студента, в том числе и история не совсем обычного окончания им университета, теснейшим образом связаны с именем Мерзлякова); с другой стороны, начинающий поэт, жадно впитывающий в себя все новое в литературе, который, разумеется, не мог пройти мимо пушкинских стихов. Поэму «Руслан и Людмила» Тютчев и Погодин прочли еще осенью 1820 года. «Вот вам и Тик и Руслан», — писал Тютчев Погодину в это время. <sup>19</sup> 6 октября 1820 года Погодин записывает в дневнике: «Говорил с Тютчевым о новой поэме Людмила и Руслан» <sup>20</sup> (так называлась поэма при ее публикации в «Сыне отечества»). И, наконец, запись в дневнике Погодина от 1 ноября 1820 года раскрывает мнение о пушкинской поэме Тютчева и его собеседника: «Говорил . . . с Тютчевым о молодом Пушкине . . . Восхищался некоторыми описаниями в пушк<инском> Руслане; — в целом же такие несообразности, нелепости, что я не понимаю, каким образом они <могли> придти ему в голову». <sup>21</sup> Трактовка этой не вполне ясной фразы может быть двоякой: либо это Тютчев восхищался некоторыми описаниями в пушкинской поэме, а в целом высказывал о ней «несообразности» и «нелепости», т. е., по-видимому, отрицательные суждения; либо таково мнение о поэме обоих беседующих, т. е. что «несообразности» и «нелепости», по их мнению, содержатся в самой поэме. В обоих случаях очевиден отенок отрицательности в отношении Тютчева к произведению.

И если мы вдумаемся в особенности начала творческого пути студента Московского университета Тютчева, то поймем, что, пожалуй, и не могло быть иначе.

<sup>18</sup> ЛБ, Пог., I.51.1. Погодин ошибся в дате: поэма Пушкина вышла в 1820 году.

<sup>19</sup> «Красный архив», т. IV, 1923, стр. 387.

<sup>20</sup> ЛБ, Пог., I.30.1.

<sup>21</sup> Там же.

1810—1820-е годы в развитии русской поэзии были переломным этапом. Все более острая борьба за социальное и политическое освобождение человека вела в литературе к тому, что в поэзию, в частности, начал гораздо полнее, чем в XVIII веке, входить человек с его индивидуальностью, с неизвестным до сих пор поэзии сложным и противоречивым внутренним миром, с той реальной жизнью, которая его окружала. Поэзия приобрела способность изображать не только предмет или событие, вызвавшие переживание, но само это переживание, которое для каждого поэта оказывалось единственно неповторимым и в то же время общечеловеческим. В связи с новым содержанием распадалась и видоизменялись старые классические жанры, возникало новое жанровое образование — лирическая поэзия. Теряла свое значение, превращаясь в прикладной жанр торжественного красноречия, ода «на случай», столь широко распространенная в поэзии классицизма; стирались грани между торжественно-созерцательной одой, рассказывающей о героическом, космическом или «божественном», и медитативной элегией. Нравоучительные мысли все чаще высказывались не в форме сатирической или нравоучительной оды, а в форме дружеского послания, с одной стороны, и патетической гражданской лирики, с другой. При этом рационализм поэтического мышления классицизма не мог быть изжит сразу. На смену четкой иерархии жанров классицизма приходит новая система жанров, менее четкая, но все же определенно требующая соответствия душевного состояния человека, изображаемого поэтом, избранному им для этого жанру: в элегии поэт уныл или задумчив, в дружеском послании весел, интимен или проникнут скепсисом и т. д. И когда под пером Карамзина, Жуковского и Батюшкова элегия и послание сделались господствующими жанрами поэзии, то вдруг оказалось, что вся поэзия прониклась двумя основными настроениями — унылой задумчивостью и веселой интимностью. Эти настроения вызываются определенными жизненными ситуациями: человек будет уныло задумчив, думая о смерти, об уехавшем друге, об умерших близких или о далекой любимой, созерцая осеннюю унылую природу, и, может быть, в немногих случаях еще. И раз унылое состояние признано поэтическим, вызывающие его жизненные ситуации начинают повторяться у разных поэтов, жизненная правда исчезает, подмененная литературной традицией, штампом.

Таково было общее состояние поэзии, когда Пушкин в Царскосельском лицее, а Тютчев в Московском университете делали в поэзии свои первые шаги. Можно было, интересуясь всей полнотой гражданской и частной жизни человека, обратиться к жанрам, хотя и превратившимся в литературный штамп, но лучше всего годившимся для передачи живого человеческого, гражданского и бытового содержания, — к элегии и дружескому посланию, как это сделал Пушкин. Можно было, уходя от постановки и решения злободневных социальных, политических и моральных тем в мир космического созерцания, характерный для поэзии русского классицизма, для которого человек наедине с космосом и богом — явление гораздо более естественное, чем человек наедине, скажем, со злом царского произвола или личного бесправия, — начать с оды, которая умирала, но еще не умерла, как начал свой творческий путь Тютчев. И этот, казалось бы, незначительный факт начала творческого пути разделил двух поэтов целой литературной эпохой, потому что за выбором жанров стоял весь комплекс политических взглядов, литературных симпатий, литературной учебы у тех, а не иных авторов, поэтического представления о человеке. Употребляя термин «ода» в самом широком смысле слова, мы можем сказать, что Пушкин не писал од, как ни сильные одические настроения в его произведениях «Александрю», «Воспоминания в Царском Селе» или «Наполеон на

Эльбе».<sup>22</sup> Ода в поэзии молодого Пушкина присутствует лишь там, где она еще долго будет сохранять живые черты: как жанр гражданской лирики, гражданской патетической дидактики, обращенной к самым живо-трепещущим вопросам времени (ода «Вольность»).

Студент Московского университета Тютчев начал с торжественной оды «на случай», горадианской оды нравоучительного и космического содержания и медитативной элегии.

Если Пушкин «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» (VI, 165), то Тютчев вырос на чтении Цицерона и предпочитал его многим авторам. Пушкин зачитывался французами, его непосредственными учителями-предшественниками в русской поэзии были Жуковский и Батюшков. Тютчев с увлечением переводил римских классиков, интересовался немцами, а из всей французской поэзии симпатизировал рассудочному элигику Ламартину. Его учителями в русской поэзии можно назвать Карамзина скорее, чем Жуковского, а также И. Дмитриева и Мерзлякова, учившего его на примерах од Державина и Ломоносова и на собственных одах, в которых Тютчев должен был видеть образец современной ему поэзии. И для Пушкина, и для Тютчева очень важен факт знакомства с поэтическим богатством русского XVIII века; но Пушкин искал в поэзии прошлого правду жизненной ситуации, бытовой детали, правду изображения человеческого характера, обличительно-сатирический пафос, в то время как Тютчев усваивал свойственный русской оде взгляд на мир как на нечто космически-грандиозное, овладевал поэзией «сверхчеловеческих», невещных тем: течения времени, грандиозности мироздания, особой красоты и святости звездной ночи и т. д., соприкасаясь при этом с обширной областью поэзии русских одописцев, перелагавших Клопштока и Юнга, начиная от М. М. Хераскова и С. С. Боброва и кончая П. И. Голенищевым-Кутузовым и С. А. Шихматовым. Именно на эту национальную основу будут накладываться впоследствии впечатления от знакомства Тютчева с поэзией немецкого романтизма, в которой перечисленные выше темы представлены особенно широко.

В поэзии юного Тютчева полностью отсутствует бытовая деталь, столь яркая у Пушкина. «И в лиру превращать не смею мое — гусиное перо!» (I, 50), — с улыбкой заявляет юноша Пушкин, в руках которого действительно гусиное перо. «Кто, отроку, мне дал парение орла! — Се муз бесценный дар! — Се вдохновенья крыла!», — возвещает юный Тютчев.<sup>23</sup> Вот одно из ранних сравнений в стихотворениях Пушкина:

Не ведал я покоя  
Увы! ни на часок,  
Как будто у налоя  
В великой четверток  
Измученный дьячок.  
(I, 95).

Тютчев употребляет сравнения там, где и речи нет ни о каких бытовых деталях или жизненных ситуациях. В оде «Уралия» он описывает, например, «превыспренних селения чудесны», т. е. некие эфирные пространства, где

... в светлой лазури спокойных валов  
С горящими небо пылает звездами,  
Как в чистом сердце — лик богов.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> «Пушкин не писал торжественных од в собственном смысле слова», — говорит Б. В. Томашевский в своей книге «Пушкин». Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 61.

<sup>23</sup> Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений, стр. 59.

<sup>24</sup> Там же, стр. 59—60.

Зримая картина сравнивается с абсолютно незримым — с человеческим состоянием: звезды так отражаются в воде, как в чистом сердце лик бога. Человек, увидевший эти эфирные пространства, испытал бы такое же ощущение чистоты и святости, как в миг осознания чистым сердцем присутствия в себе бога. Совершенно очевидно отличие этого сравнения от пушкинского по самому типу.

Со временем Пушкин будет достигать все большего мастерства в обрисовке человеческого характера и жизненной ситуации, в замечательной точности эпитета, реалистической детальности описания и остроумной афористичности мысли. А Тютчев будет совершенствовать свой невещный, лишенный всякой бытовой реалистичности, но абсолютно точный по передаче человеческого ощущения стих:

Как верим верю живую,  
Как сердцу радостно, светло!  
Как бы эфирною струєю  
По жилам небо протекло!<sup>25</sup>

«Понятное» — человеческая радость — сравнивается с совершенно необъяснимым логически, поэтически прекрасным, но абсолютно невозможным в поэтической системе Пушкина.

Началось формирование двух различных творческих индивидуальностей. Тютчевская гамма человеческих переживаний несравненно беднее пушкинской, но она не повторяет ее. Пушкин рисует человека, живущего кипучей, реальной, подчас даже будничной жизнью, Тютчев — человека вне будней, иногда даже вне реальности, вслушивающегося в мгновенный звон золотой арфы, впитывающегося в себя красоту природы и преклоняющегося перед нею, тоскующего перед «глухими времени стенами». При этом, может быть, в поэзии раннего Тютчева слишком много «неба» и «бога», что может показаться странным, так как он был очень мало религиозен (см. «Не дай нам духу празднословия» или «Противникам вина»). Но дело в том, что это «небо» пришло в его поэзию из торжественно-космической русской оды с ее трепетом человека перед мирозданием, поэзией полета времени, вечными темами жизни и смерти и, наконец, с ее героем — человеком-смертным, а не человеком в полноте его жизни. Связь поэзии Тютчева с поэзией русского классицизма неоднократно подчеркивает Ю. Н. Тынянов: «... преемник Державина, воспитанник Раича и ученик Мерзлякова, Тютчев воспринимается именно на державинском фоне как наследник философской и политической оды и интимной лирики XVIII века».<sup>26</sup>

Ввиду всего изложенного становится понятным, что при условии даже самого живого интереса Тютчева к поэзии Пушкина в 20-е годы он не мог понять до конца новаторства автора «Руслана и Людмилы» — понять и полюбить Пушкина ему еще предстояло впоследствии.

Прежде чем перейти к новому этапу в развитии отношений двух поэтов, вернемся еще раз к университетскому учителю Тютчева Мерзлякову. Мы не случайно говорим о Мерзлякове так много именно при анализе истоков тютчевского творчества: целый ряд не опубликованных до сих пор документов позволяет нам утверждать, что именно учеба у Мерзлякова была решающим фактором в формировании литературных вкусов Тютчева, начинающего поэта. Документы эти излагают историю поступления, учебы и окончания Тютчевым университета, которая не совсем обычна.

Тютчев и Мерзляков знакомы, по-видимому, с 1816 года, когда Тютчев начинает посещать университетские лекции в качестве вольного слушателя.

<sup>25</sup> Там же, стр. 80.

<sup>26</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 397.

К весне 1817 года Тютчев уже является членом «маленькой академии» Мерзлякова: приносит ему на суд свои сочинения, учится под его руководством писать стихи. В это время стихотворения четырнадцатилетнего поэта должны были читаться в Обществе любителей российской словесности. Мы узнаем об этом из письма А. Ф. Мерзлякова к П. А. Новикову от 3 июля 1817 года: «Приезжайте к возобновлению нашего общества: тогда прочтем и ваше, опять что случится. В торжественном собрании, по уставу, читаться могут одни только сочинения действительных членов... Тютчев в деревне. Маленькая моя академия расстроилась. Пиесы его также не читаны и по той же причине лежат у меня до будущего своего воскресения».<sup>27</sup>

Мерзляков же принимает у Тютчева вступительный экзамен при переходе его из вольных слушателей в студенты, о чем докладывает правлению университета 30 октября 1819 года: «По препоручению одного правления мы испытывали дворянина Федора Тютчева в российском, латинском, немецком и французском языках, в истории, географии и арифметике и нашли его способным к слушанию профессорских в университете лекций, о чем имеем честь чрез сие донести правлению университета».<sup>28</sup>

И, наконец, Мерзляков принимает активное участие в дальнейшей судьбе Тютчева-студента.

По уставу университета, студент, желающий держать экзамен на аттестат об окончании университета, должен проучиться в нем обязательный срок — три года, в число которых не засчитывается срок пребывания вольным слушателем. Поэтому Тютчев, ставший студентом лишь осенью 1819 года, имел право держать выпускной экзамен не ранее осени 1822 года. Однако менее чем через год после поступления в студенты, в июне 1820 года, Тютчев уже подает прошение о разрешении ему держать выпускной экзамен. Словесное отделение в лице Мерзлякова поддерживает его прошение, ссылаясь, во-первых, на то, что он с «особенной прилежностью» в продолжение трех лет слушал профессорские лекции, и, во-вторых, на особые его успехи «в стихотворстве, за которые он удостоен звания сотрудника в Обществе любителей российской словесности». Это был совершенно исключительный случай в большом количестве студенческих прошений, поступавших в совет университета, и совет, по-видимому несколько обескураженный, отказал в этой необычно аргументированной просьбе, предложив словесному отделению наградить Тютчева за успехи похвальным листом в торжественном собрании университета.<sup>29</sup> Награда была вручена Тютчеву 6 июля 1820 года в торжественном собрании, где читалась его ода «Урания». Это чтение и награда были официальным признанием Тютчева лучшим университетским пиитом, учеником и преемником Мерзлякова, обычно читавшего в торжественных собраниях свои оды. Из доклада попечителя Московского учебного округа А. П. Оболенского министру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыну мы узнаем о той обстановке, в которой проходило чтение: «... в пять часов пополудни, по прибытии в большую университетскую аудиторию его сиятельства г. московского военного генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына и других знаменитых особ, как духовных, так и светских, приглашенных программы, торжество открыто хором, после чего читаны

<sup>27</sup> «Русская старина», 1879, т. 26, октябрь, стр. 349—350. Мерзляков несколько раз писал фамилию своего ученика «Тутчев», например в надписи на его прошении о допущении к вступительному экзамену в университет.

<sup>28</sup> Архив Московского государственного университета, стол 2, д. 278, 1819 г.

<sup>29</sup> Там же, журнал совета за 1820 год, стр. 224.



речи: на латинском языке экстраординарным профессором Давыдовым: о духе философии греческой и римской; на русском языке ординарным профессором Сандуновым: о необходимости знать законы гражданские и о способе учить и учиться российскому законоведению. За сим следовала вторая часть хора, потом магистр Маслов прочел сочиненные студентом Тютчевым стихи „Уrania“, а секретарь совета профессор Двигубский краткую историю университета за прошлый год». <sup>30</sup>

На первом курсе в 1819 году, Тютчев-студент интересовался очень многим: он посещал класс статистики профессора И. А. Гейма, где проявлял «очень хорошие» прилежность, успехи и поведение; класс физики профессора И. А. Двигубского, где, по отзыву профессора, «прилежен и успевает изрядно», изучая науку «о протяжении, фигуре тел, непроницаемости, делимости, скважности, сродстве химическом, сцеплении тел, упругости, тяжести, притяжении» и т. д. <sup>31</sup> К 1820 году картина резко меняется: Тютчев забрасывает почти все классы, кроме руководимого Мерзляковым. И. А. Двигубский обводит в ведомости общей скобкой фамилии нескольких нерадивых своих учеников, в числе которых и Федор Тютчев, и пишет общую резолюцию: «Не были, не известно каковы». «Посредственных успехов и прилежания», — пишет о Тютчеве И. А. Гейм. И только Мерзляков дает именно Тютчеву из многих десятков своих учеников самую лучшую аттестацию. Вот самые высокие его аттестации, данные другим ученикам, кроме Тютчева: «один из лучших», «очень хорош по прилежанию и успехам», «один из отличных по прилежанию и успехам». И только о Тютчеве, единственном из всех, он пишет: «Отличный по прилежанию, успехам и дарованию». <sup>32</sup> Кроме класса Мерзлякова, в 1820 году Тютчев отлично успевает в классе теории изящных искусств и археологии профессора М. Т. Каченовского, в классе латинской словесности профессора И. И. Давыдова, т. е. круг его интересов замыкается в некую цельную картину. Его интересуют история изящных искусств и пиитика, литература и искусства древних народов: «резьба на камнях и металлах», живопись и архитектура, речи Цицерона и оды Горация. Его интересует проблема «разделения римлян на состояния», сведения «о правах римских граждан и народных собраниях».

Летом 1821 года, за год до истечения необходимого трехгодичного срока пребывания в университете, Тютчев вновь подает прошение о разрешении ему держать выпускной экзамен. На этот раз разрешение было дано. Попечитель Московского учебного округа дал это разрешение «во уважение известных ему отличных успехов в науках своекоштного студента Федора Тютчева». <sup>33</sup> Экзамен произошел 8 октября 1821 года. Комиссия состояла из профессоров Мерзлякова (декана), И. А. Гейма, Н. Е. Черепанова, М. Г. Гаврилова, М. Т. Каченовского и И. И. Давыдова. «Члены комиссии приступили к испытанию означенного студента и предлагали ему каждый по своей части изо всех предметов, к отделению принадлежащих, вопросы, на которые отвечал он весьма основательно, ясно и удовлетворительно», — докладывал совету университета Мерзляков. А так как Тютчев не только студент успевающий, но «сверх того отличившийся своими упражнениями в сочинении», — писал Мерзляков, — то он и «до-

<sup>30</sup> Московский областной исторический архив, ф. 459, оп. 1, т. 8, св. 59, д. 1393. д. 1393.

<sup>31</sup> Там же, т. 7, св. 52, д. 1236; т. 8, св. 60, д. 1433; т. 9, св. 65, д. 1588; т. 10, св. 72, д. 1804.

<sup>32</sup> Там же, т. 8, св. 60, д. 1433.

<sup>33</sup> Архив Московского государственного университета, журнал совета за 1821 год, стр. 324—325.

степени кандидата».<sup>34</sup> И степень кандидата Тютчеву была присуждена. При этом особо подчеркивалось, что разрешение держать экзамен досрочно дано Тютчеву лишь в виде исключения; министр духовных дел и народного просвещения специально писал о том попечителю Московского учебного округа: «Но как таковое позволение может послужить поводом к послаблению общих правил в отношении к другим, не имеющим подобных достоинств, то впредь допускать сего не следует».<sup>35</sup> Когда вслед за Тютчевым попросил о подобном же разрешении его товарищ, студент М. С. Ширай, успевавший не хуже Тютчева, но лишенный его блестящего дара сочинительства, ему было отказано.

Подобное выдвигание Тютчева-поэта профессорами Московского университета еще раз свидетельствует, что его раннее творчество полностью отвечало требованиям университетских профессоров, и Мерзлякова прежде всего, в среде которых воспитывались поэтические вкусы начинающего поэта. И чтение стихов Пушкина в литературной учебе Тютчева играет на этом этапе хотя и важную, но далеко не решающую роль, только предвещая будущее освобождение его вкусов от университетских канонов, но, что самое важное, заставляя его обратиться к решению важнейших политических и нравственных вопросов времени, заставляя задуматься о месте и роли поэта в жизни страны. Мы имеем в виду историю возникновения осенью 1820 года стихотворного ответа Тютчева на пушкинскую оду «Вольность», на примере которого лучше всего можно проследить разницу политических устремлений обоих поэтов.

## 2

В центре внимания молодежи 1820-х годов — не только Пушкин-поэт, но и Пушкин — политический поэт. Имя Пушкина возникает в беседах Погодина и Тютчева при обсуждении ими самых важных событий и вопросов, в том числе политических. При этом уже в 1820-е годы выявляется разница во взглядах поэтов, во многом определившая и разницу в их дальнейших литературных путях.

Стихотворение Тютчева «К оде Пушкина на вольность» было написано в дни восстания солдат Семеновского полка — события, оживленно обсуждавшегося друзьями Тютчева и поставившего перед ними вопрос о пути — мирном или революционном — к преобразованиям в стране.

Если для Пушкина 1820-х годов характерны ярко выраженное вольнолюбие и гражданский пафос, то взгляды Тютчева и его московских друзей хотя и отличаются в этот период известным либерализмом, в достаточной мере расплывчаты и юношески незрелы.

Среди ближайших друзей Пушкина — будущие декабристы Н. И. Тургенев, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер, он оживленно обсуждает с ними и конституционные обещания Александра I при открытии польского сейма, и проблему отмены крепостного права в России, и т. д.

В жизни Тютчева 20-е годы также характеризуются известным интересом к формирующейся идеологии декабризма, но интерес этот несравненно слабее и задолго до 1825 года теряет свою политическую окраску. Речь идет о близости Тютчева к двум последовательно сменившим друг друга организациям московской либеральной молодежи 1810—20-х годов: неизвестному до сих пор Обществу громкого смеха (1815—1822), собиравшемуся под председательством сначала М. А. Дмитриева, потом декаб-

<sup>34</sup> Там же, стр. 428—429.

<sup>35</sup> Там же. Распоряжение министра духовных дел и народного просвещения князя А. Голицына от 20 августа 1821 года.

риста князя Ф. П. Шаховского, и Обществу друзей (1822—1825) под председательством С. Е. Раича.

Исследователям давно известно, что С. Е. Раич, учитель и друг Тютчева, учитель Полежаева, Лермонтова и других поэтов, был членом Союза благоденствия. Об этом показали на следствии декабристы Н. М. Муравьев и И. Г. Бурцов, хорошо осведомленные в делах ранних организаций тайного общества. Однако до сих пор не было ясно, кем и как принят в общество Раич и насколько серьезным и продолжительным было его участие в работе общества. История Общества громкого смеха проливает некоторый свет на эти вопросы.

В неопубликованных «Главах из воспоминаний моей жизни» М. А. Дмитриева<sup>36</sup> рассказывается о том, как «году в 15» студенты Московского университета вздумали завести у себя «подражание Арзамасскому обществу» и учредили Общество громкого смеха. Председателем был избран М. А. Дмитриев, секретарем — А. Д. Курбатов. Членами общества были П. А. Новиков, М. А. Волков, С. Е. Раич, Д. Панчулидзе, Философов, Попов и другие, которых М. А. Дмитриев не помнит. Двое из названных Дмитриевым, С. Е. Раич и М. А. Волков, были упомянуты на следствии в 1826 году как члены Союза благоденствия. Члены общества писали сатирические и шуточные произведения, в которых высмеивались чаще всего университетские профессора, граф Хвостов и другие. Произведения эти член общества Философов переписывал в тетрадь, где первое место занимала поэма самого Философова «Гавририада» — сатира на профессора М. Г. Гаврилова. Самыми остроумными, по воспоминанию М. А. Дмитриева, были произведения А. Д. Курбатова «Смотр профессоров», «Распря профессоров» (написанная как пародия на отрывок из «Илиады» в переводе Гнедича «Распря вождей»), кантата «Рождение графа Хвостова» и другие. Эта тетрадь была широко известна в университетском пансионе, где она была переписана с виньетками пансионером Бруевичем. Тетрадь заинтересовались профессора Мерзляков и Давыдов. «Мы дали, несмотря на то что тут было и о Мерзлякове», — они прочли, «посмеялись» и возвратили. «Что было бы с этим, — восклицает М. А. Дмитриев, — если бы это безвредное общество и эта тетрадь стихов и прозы существовали в царствование незабвенного Николая Павловича! Мы были бы все в солдатах!»<sup>37</sup>

Дальнейшие события развертывались следующим образом. В 1818 году М. А. Дмитриев, закончив университет, уезжает в Симбирск. В этом году, в связи с пребыванием гвардии в Москве, именно здесь развертывается деятельность Союза благоденствия. «Ко мне писали Новиков и Курбатов, — рассказывает Дмитриев, — что общество наше хочет принять серьезное направление и более широкие размеры, что в него вошли другие члены, в том числе князь Федор Шаховской; что они хотят заниматься политическими науками и издавать журнал вроде Французской Минервы,<sup>38</sup> но что они без меня не хотят приступать к этому и положили испросить моего согласия. Я ответил, что серьезному направлению я рад, но сомневаюсь в их силах и способностях; что издавать подобие Минервы им не по силам, да и не позволят; что согласия моего не нужно и они могут выбрать другого председателя, но что, пока я лично не удостоверюсь в направлении общества, я в члены его вступать не могу. Так это и осталось, без всякого ответного уведомления. По приезде в Москву я вспом-

<sup>36</sup> ЛБ, ф. 178, М., 8184-1, стр. 179—210.

<sup>37</sup> Там же, стр. 180.

<sup>38</sup> «La Minerve française» — еженедельный журнал либерального направления, выходивший в 1818—1820 годах во Франции.

нил об этом и спросил. Мне ответили, что они выбрали в председатели князя Федора Шаховского; что было два заседания; что во второе Шаховской пригласил двоих посетителей, Фон-Визина и Муравьева,<sup>39</sup> но произошло что-то странное. Во-первых, гости во время заседания закурили трубки; потом вышли в другую комнату и о чем-то шептались; потом, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьезны и пр., и начали давать советы. Шаховской покраснел; члены обиделись, что посторонние вступились учить их; заседание кончилось, и больше не было. А между тем члены подписали уже какой-то устав, предложенный Шаховским».<sup>40</sup>

Так неудачно закончилась попытка Ф. П. Шаховского присоединить к Союзу благоденствия членов Общества громкого смеха. По-видимому, сам Шаховской видел в этой неудаче лишь недоразумение, так как позднее он настоятельно хотел познакомиться с самим М. А. Дмитриевым через их общего знакомого декабриста А. О. Корниловича (знакомство по случайному стечению обстоятельств не состоялось). Это знакомство «было в связи с неудавшимся преобразованием нашего общества и объяснилось мне спустя шесть лет после, 14 декабря 1825 года, — пишет М. А. Дмитриев. — Шаховской был член тайных обществ; в нашем молодом обществе он видел готовый элемент для набора в члены их политического общества; Муравьев и Фон-Визин приглашены были удостовериться своими глазами в способностях молодых людей, но нашли их слишком незрелыми; а устав, подписанный ими, была первая часть устава, известного по донесению следственной комиссии».<sup>41</sup>

В 1826 году, когда начались аресты, ожидали арестов и члены Общества громкого смеха, поставившие под уставом свои имена. «Но, по счастью, еще прежде было какое-то подозрение на Шаховского и обыск у него в деревенском доме; но ему дали знать заранее, и он успел сжечь свои бумаги, в том числе и этот экземпляр устава».<sup>42</sup>

Такова история Общества громкого смеха. Его члены не стали декабристами, во всяком случае большинство из них, но это был тот круг сочувствующих, либерально настроенных или просто фрондирующих молодых людей, который декабристы учитывали в своих планах, привлекали к участию в своих изданиях, наличие которого помогало им создавать граждански настроенное оппозиционное общественное мнение.

Старик М. А. Дмитриев, пишущий воспоминания в 1864 году и злобствующий против идеи декабризма и «демократического угара» в России 1860-х годов, сильно отличается по своим убеждениям от Дмитриева-юноши, либерального поэта-сатирика и элегика 20-х годов, о стихах которого писал А. А. Бестужев: «Полуразвернувшиеся розы стихотворений Михайла Дмитриева обещают в нем образованного поэта, с душою огненной».<sup>43</sup> В своих воспоминаниях Дмитриев начисто отмежевывается от своего творчества 20-х годов, хотя объективности ради приводит небезынтересный факт из истории своих взаимоотношений с издателями «Полярной звезды»: «... в 1823 же году от 28 апреля получил я в Симбирске письмо от издателей этого альманаха Бестужева и Рылеева (из которых впоследствии первый был сослан, а второй повешен). Они

<sup>39</sup> М. А. Фонвизин и Н. М. Муравьев — активные участники Союза спасения и Союза благоденствия.

<sup>40</sup> ЛБ, ф. 178, 8184-1, стр. 208—209.

<sup>41</sup> Там же, стр. 210.

<sup>42</sup> Там же.

<sup>43</sup> «Полярная звезда на 1823 год», стр. 31.

отыскали меня в моем уединении и просили моих стихов для будущей книжки своего альманаха». <sup>44</sup>

Тютчев был во всех этих событиях ближайшим другом Раича и, очевидно, если и не присутствовал сам на заседаниях Общества громкого смеха, то во всяком случае был в курсе их (см., например, строки о службе Раича «кумиру» свободы в стихотворении Тютчева этого времени «На камень жизни роковой»). <sup>45</sup> Но безусловно членом Тютчев был в другом обществе, возникшем под председательством Раича в 1822 году, — Обществе друзей.

Это общество, возникшее, очевидно, в связи с распадом первого, также объединяет воспитанников университетского пансиона, студентов и окончивших Московский университет, который не случайно расценивается рядом исследователей как «питомник декабристов» в александровской России. <sup>46</sup> «Дух якобинства вошел в основу воспитания; оттого юноши-старцы дерзки и своевольны: проповедуют свободу, а любят властвовать», — записывает в марте 1823 года в дневнике И. М. Снегирев. <sup>47</sup>

Общество зародилось как литературно-просветительное — пожалуй, это самая характерная его черта. В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) имеется записная книжка С. Е. Раича, заполнявшаяся, видимо, во время недолгого пребывания в Одессе в 1823 году и позже, в Москве. Здесь записаны планы самого Раича и раичевского общества: «1. Составить курс литературы, основав его на истории литературной. 2. Издать для учащихся Овидия, выкинув *absurditates*. <sup>48</sup> 3. Обществом перевести классических историков, мне — историю Флоренции Макиавелли. 4. Поручить NN сделать литературное описание достопримечательностей Москвы. 5. В Одессе заняться и занять цветниками ботанически. 6. Обществом составить: 1. Антологию русскую, 2. Избранные места из греческих и римских писателей в стихах и прозе с русским переводом по образцу *Noë'l'я*. <sup>49</sup> Сходные мысли о программе общества мы встречаем и у других его членов. Так, М. Погодин примерно за два года до организации общества записывает в дневнике, как однажды он представил себя государем. Что бы он предпринял? Оказывается, в числе первых его шагов было бы решение «составить общество молодых людей, занимающихся историею отечественной и словесностью» под председательством Карамзина и Дмитриева. <sup>50</sup> Мысли о характере занятий будущего общества встречаются в его дневнике неоднократно: «Не дурно было бы собрать мнения или лучше мысли из всех авторов древних и новых о боге, о бессмертии души, Иисусе Христе, о религии, счастья и пр. и предложить их в письмах от ссылочного в Сибирь». Или: «Давно думаю, как бы составить общество, которое имело бы целью войну с этою челядью французскою». <sup>51</sup>

Особое внимание основателей будущего общества к просвещению, воспитанию и литературным изысканиям не случайно. Программа Общества друзей вкратце сводилась к тому, что Россия должна перейти от нынешнего состояния деспотизма и рабства к «золотому веку» свободы и равенства путем распространения просвещения и поднятия самосознания народа,

<sup>44</sup> ЛБ, ф. 178, М, 8184-1, стр. 272.

<sup>45</sup> Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, стр. 70.

<sup>46</sup> М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы, изд. 2-е. Изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 80.

<sup>47</sup> И. М. Снегирев. Дневник, т. I, стр. 6.

<sup>48</sup> Нелепости (лат.)

<sup>49</sup> ИРЛИ, 4218. XIII с. 49, л. 3.

<sup>50</sup> ЛБ, Пог., I.30.1, запись от 23 июля 1820 года.

<sup>51</sup> Там же, записи от 13 августа и 5 сентября 1820 года.

для чего и необходимо общество. Эти задачи Общества друзей близко перекликаются с программой Союза благоденствия в ее разделе «образование», которая призывает заниматься сочинением и переводом книг, «касающихся особенно до обязанностей человека», а также «переводом новой педагогической литературы, соответствующей духу общества, составлением и изданием новых оригинальных педагогических работ и критическим разбором и разоблачением устаревших».<sup>52</sup>

Преобразования, по мнению либералов-москвичей, обязательно должны быть, но путь к ним — не революционный. В дневнике Погодина нередки такие записи: «Говорил с Геништою о ходе ума, о правлении. Наш пустоголовый (т. е. Александр I, — Н. К.) издерживает 5 мил<лионов> каждый месяц. Через 100 лет или немного больше ни в одном государстве не будет монархического правления; через 1000 лет не будет богатых; все сравняются. Французы начали было так, да кончили худо. Они отнимали имения у богачей не для того, чтобы разделить их поровну, а чтобы передать другим. Я восхищаюсь мыслию, что у нас все пойдет своим чередом. Какой-нибудь Петр откажется от престола,<sup>53</sup> дворяне откажутся от крестьян, в тысячу лет имение дворян (от земли) разойдется потихоньку вместе с просвещением по всем и наступит золотой век».<sup>54</sup>

Таковы мысли о будущем. Существующий в России порядок — деспотизм, крепостное право, положение солдат в армии, темнота народа — вызывает резкое осуждение. «Думал о сочинении обозрения российской истории. Я кончу его только Петром. Хвалить А<лександра> грешно», — записывает Погодин 24 января 1821 года. После разговора «о всеобщих возмущениях в Европе» новая запись: «Государь хочет подавать помощь австрийцам и неап<олитанскому> королю против неаполитанцев. Какое безрассудство! Что нам до них за дело? какое право имеем мы вступаться в чужие дела? И можно ли брать сторону неаполитанского короля? Государь избирают народом, они должны быть только исполнителями воли народной . . . Если бы всякий у нас мог подать голос, этого бы и не было. Но много ли у нас таких, которые бы понимали это вполне и могли подавать голос. Рано, рано еще думать о всеобщих переменах».<sup>55</sup> Сам выходец из крестьян, Погодин особенно часто обращается к вопросу о необходимости отмены крепостного права, но и эта перемена, по его мнению, не должна быть немедленной. Решение крестьянского вопроса также ставится в зависимость от распространения в народе просвещения. «Был у Ширая, — гласит запись от 29 августа 1820 года. — [Есть много необходимых перемен в правлении, кроме свободы крепостных людей. Последняя] Она (свобода, — Н. К.), кажется, не должна быть введена у нас теперь, по крайней мере в некоторых губерниях. Доказательство очевидно. Казенные крестьяне живут не лучше помещичьих. Это зависит от управления. Народ не может еще пользоваться свободою, как должно . . . К этому должно приступать исподволь. Должно ограничить права помещиков, определить обязанности крестьян».<sup>56</sup> Через некоторое время в дневнике же Погодин излагает программу освобождения крестьян. Эти мысли кажутся ему «превосходными»: «Определить, сколько в какой губернии крестьянин должен платить господину, и назначить сумму, взнеся которую ему, крестьянин делается вольным и получает участок земли. Это будет важнейший и величайший шаг к счастью России». Предполагается, что, когда помещичья

<sup>52</sup> История Москвы, т. III. Изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 372, 363.

<sup>53</sup> Далее зачеркнуто: отнимет у.

<sup>54</sup> ЛБ, Пог., I.30.1, запись от 24 февраля 1821 года.

<sup>55</sup> Там же, запись от 3 октября 1820 года.

<sup>56</sup> Там же. В квадратных скобках — текст, зачеркнутый автором

земля будет поделена между крестьянами, а дворяне будут получать проценты со своего капитала, мелкие дворяне должны будут изыскивать средства существования, и от этого распространится просвещение.<sup>57</sup>

Мысли Погодина, ближайшего университетского приятеля Тютчева, перекликаются с мыслями самого Тютчева. Сходные с погодинскими мнения о необходимости отмены крепостного права и о том, что «не только народная интеллигенция, но и весь народ имеет право участвовать в правительстве», высказывает в 1823 году в Мюнхене только что покинувший Москву Ф. И. Тютчев в споре совместно с Д. Н. Свербеевым с одним из депутатов Баварских штатов. Об этом мы узнаем из «Записок» Д. Н. Свербеева: «Наши с Тютчевым религиозные убеждения и политические мнения приводили его в неистовство, а политическое мнение о том, что не только народная интеллигенция, но и весь народ имеет право участвовать в правительстве, представлялось этому барону феодалу-католику равносильным с учением французского террора; он отстаивал вопреки нам наше крепостное право. Наша веротерпимость казалась ему атеизмом».<sup>58</sup>

Однако и у Тютчева, как мы увидим ниже, все недовольство деспотизмом и общественным устройством России выливается в программу отнюдь не революционную. Даже признавая неизбежность революции и вспоминая в разговорах слова Мирабо, что революция кончится лишь тогда, когда обойдет весь свет, Погодин и его друзья упорно исключают Россию из общего ряда: «...я желаю, — пишет Погодин, — чтоб наши перемены были сделаны без шума, постепенно, чтоб все было плодом здравого рассуждения, без всякого принуждения со стороны властей, или чтоб у нас было негодное подражание испанцам, которые с оружием в руках вытребовали себе конституцию и пр., но тихое, крепкое, основательное, всеми властями единодушно принятое торжественное постановление, долженствующее утвердить навек счастье России. Какая слава государю, который исполнит это».<sup>59</sup>

Боязнь революции и классовой борьбы, которая усиливалась с годами и способствовала формированию тютчевских панславистских утопий, подчеркивает, говоря о Погодине и славянофилах, Г. В. Плеханов: «Если их так радовало свидетельство летописца о *мирном* пришествии Рюрика с братьями; если они, утверждая, что в России не было и нет места для классовой борьбы, находили, что именно в этом-то и состоит чрезвычайно выгодное для нас отличие нашей истории от западноевропейской, так как этим-то и обеспечивается нам возможность такого разумного развития, какое немислимо при общественном строе Запада, то все это происходило потому, что они боялись *классовой борьбы*».<sup>60</sup>

Если, по мнению Тютчева и его друзей, характер законодательства и государственного устройства зависит в первую очередь от уровня образования народа и распространения просвещения, то первая и главная задача времени — всемерно содействовать развитию просвещения. В дневнике Погодина читаем: «Говорил с Тютчевым» ... о состоянии просвещения в России»; «Мысли о будущем просвещенном обществе»; «...был у Тютчева, говорил с ним о просвещении в Германии, о будущем просвещении у нас»; «К Ранчу ... Толковали об обществе. Мало людей, — говорит

<sup>57</sup> Там же, запись от 13 марта 1821 года; см. также: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1. СПб., 1888, стр. 88.

<sup>58</sup> Д. Н. Свербеев. Записки (1799—1826). т. II. М., 1899, стр. 143.

<sup>59</sup> ЛБ, Пог., I.30.1, запись от 29 августа 1820 года.

<sup>60</sup> Г. В. Плеханов. М. П. Погодин и борьба классов. Сочинения, т. XXIII, ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 68—69.

он, — а если собираться, то собираться должно дельным и значительным, чтобы труды были заслуживающие внимания. Толковали о состоянии просвещения в России». <sup>61</sup>

Следовательно, литературное Общество друзей Раича воспринималось его участниками прежде всего как средство для содействия распространению просвещения в России, в чем они видели единственный путь к будущим преобразованиям. В связи с этим члены общества создавали многочисленные художественные произведения и много переводили, были активными критиками, стремились обосновать свою собственную эстетическую позицию в литературе, интересовались вопросами воспитания молодого поколения. Обществу нужен был свой печатный орган: «Положили собраться для беседы о журнале в четверг», — записывает Погодин 24 апреля 1823 года. После принятия решения об издании журнала каждое новое знакомство с литератором воспринимается как удача будущего дитища: «Попался Оболенский, сказывал о знакомстве Раича с Пушкиным в Одессе; — выигрыш для журнала». <sup>62</sup>

Возвращаемся вновь к событиям, непосредственно вызвавшим появление ответа Тютчева на пушкинскую оду «Вольность».

Как уже было сказано выше, событием, потрясшим в 1820-е годы Тютчева и его друзей, было восстание солдат Семеновского полка. Любопытно, как отнеслись они к этому событию, если учесть их внимание и сочувствие ко всем европейским освободительным движениям, с одной стороны, и особое мнение о России и ее нереволюционном пути, с другой.

«Солдаты Семеновского полка после возмущения, когда часть их была пощажена, сами пошли в крепость, без оружия пошли туда. Офицеры не имели никакого участия. Прекрасная черта, делающая честь русским солдатам. Они не такие деревья, какими их почитают: умеют чувствовать и чувствовать благородно». <sup>63</sup> Такова первая запись в дневнике Погодина. Подчеркивается мирный характер и благородство протеста солдат; из дальнейших записей выясняется, что это протест справедливый, протест против тиранства. «Мы не бунтуем, мы требуем справедливости», — цитирует Погодин слова семеновцев, отмечая у них «прекраснейшие черты», «чувство собственного достоинства», «благородство». «Возмущение их самое благородное, великодушное, достойное русских», но при всем том они «дали плохой пример». <sup>64</sup> В своей оценке этих событий Погодин осуждает семеновцев: «Нынешнее просвещение есть дорога, на конце которой находится то просвещение, о котором говорил я в одном из предыдущих журн<алов>. След<овательно>, оно необходимо. Вдруг перескочить к тому невозможно». <sup>65</sup>

Интерес к пушкинской оде возникает именно в свете обсуждения этих событий: «Говорил с Загряжским, Ждан<овским>, Кандорским, Троицким о семеновцах; с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его „Вольность“, о свободном, благородном духе мыслей, появляющемся у нас с некоторого времени». <sup>66</sup>

Разговоры о пушкинской оде и ответ Тютчева на нее являются, по видимому, косвенным откликом на события в Семеновском полку. При этом очевидно, что не угроза царям судьбой Калигулы привлекает Тютчева в пушкинской оде: в бумагах Тютчева 1820 года имеются переписан-

<sup>61</sup> ЛБ, Погод., I.30.1, записи от 15 и 29 октября, 2 декабря 1820 года и 13 марта 1822 года.

<sup>62</sup> Там же, запись от лета 1823 года.

<sup>63</sup> Там же, запись от 28 октября 1820 года.

<sup>64</sup> Там же, запись от 30 октября 1820 года.

<sup>65</sup> Там же.

<sup>66</sup> Там же, запись от 1 ноября 1820 года.



ные его рукой двенадцать заключительных строк пушкинской оды, которые оказались наиболее близкими взглядам самого Тютчева:

О стыд! о ужас наших дней!  
 Как звери, вторглись янычары!..  
 Падут бесславные удары...  
 Погиб увенчанный злодей.  
 И днесь учитесь, о цари:  
 Ни наказанья, ни награды,  
 Ни кров темниц, ни алтари  
 Не верные для вас огады.  
 Склонитесь первые главой  
 Под сень надежную Закона,  
 И станут вечной стражей трона  
 Народов вольность и покой.

(II, 47—48).

Восторженно сопоставляя Пушкина с Алкеем, древнегреческим поэтом, обличителем тиранов, преклоняясь перед пушкинской лирой, чьи звуки заглушают «звук цепей» и, «как пламень божий», ниспадают «на чела бледные царей», утверждая, что вещать тиранам закоснелым святые истины это «великий удел», Тютчев тем не менее возражает поэту:

Воспой и силой сладкогласья  
 Разнежь, растрогай, преврати  
 Друзей холодных самовластья  
 В друзей добра и красоты!  
 Но граждан не смущай покою  
 И блеска не мрачи венца,  
 Певец! Под царскою парчою  
 Своей волшебною струною  
 Смягчай, а не тревожь сердца!<sup>67</sup>

Мысль Тютчева становится понятной и закономерной в свете изложенных выше представлений его и его московских друзей о мирном пути России к «золотому веку» будущего просвещения. Той же самой мыслью продиктован целый стихотворный цикл одного из ближайших друзей Тютчева в Москве 20-х годов — С. Е. Раича, внесенный им в упомянутую выше записную книжку: это наставления царям заботиться о благе народа и о продлении мира, а не о ведении войн:

Но если, позабыв и сан,  
 И долг, и жребий свой высокий,  
 К народам вверенных им стран  
 Они безжалостны, жестоки,  
 Тогда им горе: царь царей  
 На них воздвигнет гнев свой ярый  
 И нет царей, нет их детей,  
 Все стали жертвой вечной кары.<sup>68</sup>

Право на кару предоставляется только богу, сами народы карать не должны, цари должны быть благоразумны, чтоб не вызвать нарушением законов народного возмущения, которое крайне нежелательно. Такова программа объединившихся в Общество друзей московских либералов, к которым в эти годы близок Тютчев. В ней очень мало общего с боевым и действенным гражданским пафосом пушкинских стихов. Именно здесь, в основах мировоззрения и политических платформ, кроется объяснение разницы направлений дальнейших творческих поисков обоих поэтов: обращенное к жизни, к раскрытию закономерностей объективной действительности 1820—1830-х годов и типического человеческого характера

<sup>67</sup> Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, стр. 65.

<sup>68</sup> ИРЛИ, 4218. XIII с. 49, л. 13 об.

этого времени творчество Пушкина — и уводящее от злободневных проблем в тайны «вечных» вопросов жизни и смерти творчество Тютчева, прочно опирающееся на традиции русской оды в раскрытии этих тем, обогатившееся изучением богатств немецкой лирики XVIII—XIX веков и в то же время насквозь проникнутое ощущением беспомощности и потерянности человека 1830—1850-х годов перед лицом неотвратимых политических катастроф и личной неустроенности. Вспомним ранние тютчевские оды:

О Время! Вечности подвижное зеркало! —  
 Все рушится, падет под дланию твоей!..  
 Сокрыт предел твой и начало  
 От слабых смертного очей!..<sup>69</sup>

А много лет спустя Л. Н. Толстой будет восхищаться стихотворением Тютчева 1838 года «Весна», в котором, если вдуматься в него, можно найти ту же самую мысль о человеке и неотвратимом течении времени, что и в приведенном четверостишии, только мысль эта стала более земной, человеческой и тонкой: весна пройдет, как прошла бывшая до нее (ср. «Века рождаются и исчезают снова»), но в отличие от человека весенняя природа умеет жить мгновенным настоящим, «как океан безбрежный», разливаться жизнью в настоящем, — учиться у нее Тютчев призывает человека, смертного и страдающего (невольнo вспоминается герой русской классической оды — человек-смертный перед лицом вечности и «глагола времен»):

Игра и жертва жизни частной!  
 Приди ж, отвергни чувств обман  
 И ринься, бодрый, самовластный,  
 В сей животворный океан!  
 Приди, струей его эфирной  
 Омой страдальческую грудь —  
 И жизни божеско-всемирной  
 Хотя на миг причастен будь!<sup>70</sup>

Тип художественного мышления восходит к оде, но в оде человек — жертва общей «судьбины», смертной своей природы; в «Весне» тоже есть «страх кончины неизбежной», но главное другое: человек — это жертва «жизни частной», он стал конкретным во времени и судьбе, он поселен в XIX веке, прошел и социальные потрясения — революции, и «чувств обман», и единственное, что ему осталось, — это отдаться мигу настоящего, не заглядывая в будущее. То, чем и как измучен человек в своей «жизни частной», осталось за пределами стихотворения, в подтексте; взаимоотношения же страдающего человека и животворного океана «жизни божеско-всемирной» стали материалом стихотворения. У Пушкина было бы наоборот. Вспомним хотя бы заключительную сцену «Евгения Онегина»: ясны все объективные и субъективные предпосылки положения и состояния героев, их «жизнь частная» есть материал произведения, и лишь не ясен выход, не ясен путь к умиротворению, нет счастья ни в каком забвении в миге настоящего, которое столь характерно для трагического героя лирики Тютчева.

Разницу между собой и литераторами типа Тютчева косвенно отметил и сам Пушкин, говоря в 1830-е годы о характерной черте литераторов «московской школы», во многом выросшей из Общества друзей Раича: занятия философией и литературой удалили московскую молодежь «от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения».<sup>71</sup> Очевидно, что сам Пушкин

<sup>69</sup> Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, стр. 55.

<sup>70</sup> Там же, стр. 157.

<sup>71</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 248.

по своему отношению к действительности гораздо ближе к «предшествовавшему поколению», т. е. декабристам, чем к «московской школе», к которой в этом отношении близок Тютчев.

Таковы точки соприкосновения начала творческого пути Тютчева с поэзией Пушкина. Имя Пушкина возникает в самые важнейшие моменты формирования творческого облика Тютчева-поэта, хотя само это формирование идет в направлении, глубоко отличном от направления творческих поисков Пушкина.

Следующие известные нам факты взаимоотношений двух поэтов относятся уже к последним годам жизни Пушкина. Это необыкновенно важный этап, так как именно сейчас взаимоотношения становятся двусторонними, и именно на фактах 1836—1837 годов можно решить спор о том, было ли направление Тютчева в поэзии враждебным и неприемлемым для Пушкина или интерес поэтов друг к другу становится взаимным.

### 3

В начале 1836 года И. С. Гагарин послал Тютчеву из Петербурга только что вышедшую книгу стихов В. Г. Бенедиктова. Чтение книги, по свидетельству жены поэта, доставило Тютчеву удовольствие, в связи с чем Гагарин сообщил Тютчеву отзыв Пушкина о новомодном поэте: «Пушкин, который молчит при посторонних, нападает на него в маленьком кружке с ожесточением и несправедливостью, которые служат пробным камнем действительной ценности Бенедиктова. Впрочем, вы должны знать, что Пушкин предпринял издание трехмесячного журнала под названием „Современник“, ему придется определить свои суждения и защищать их. Мы часто говорили о месте, занимаемом Пушкиным в поэтическом мире...»<sup>72</sup> Возможно, в какой-то связи с сообщением Гагарина о будущем пушкинском журнале, а может быть, просто потому, что в минуты душевной депрессии у прославленного остролиста и дипломата не осталось никакой опоры, кроме собственного творчества, и он нуждался в участии и дружеском отзыве о своих стихах, Тютчев посылает их Гагарину в письме от 2—3 мая 1836 года: «Очень благодарен за присланную вами книгу стихотворений (Бенедиктова, — Н. К.) ... Замечательно, что вся Европа наводнена потоком лиризма, а происходит это главным образом от очень простого обстоятельство, от усовершенствованного механизма языков и стихосложения. Всякий человек в известном возрасте жизни лирический поэт. Стоит только развязать ему язык.

«Вы просили меня прислать вам мой бумажный хлам. Я поймал вас на слове. Воспользовался этим случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним что хотите. Я питаю отвращение к старой исписанной бумаге, особливо исписанной мною. От нее до тошноты пахнет затхлостью».<sup>73</sup>

Стихи Тютчева через Амалию Крюденер были переданы в Петербург. О впечатлении, которое они произвели, мы знаем из ответного письма Гагарина к Тютчеву от 12 (24) июня 1836 года: «До сих пор, любезнейший друг, я лишь вскользь писал вам о тетради, которую вы прислали мне с Крюденерами. Я провел над нею приятнейшие часы. Тут вновь встречаешься в поэтическом образе с теми ощущениями, которые сродни всему человечеству и которые более или менее переживались каждым из

<sup>72</sup> «Книжки недели», 1899, № 1, стр. 229.

<sup>73</sup> Ф. И. Тютчев. Переписка. Труды Музея-усадьбы Ф. И. Тютчева «Мураново». Подготовили к печати Н. И. Тютчев и К. В. Пигарев, т. I. Подлинники цитируемых здесь и ниже писем Тютчева и Гагарина на французском языке. (Рукопись; хранится в личном архиве К. В. Пигарева).

нас; но, сверх того, для меня это чтение соединилось с усладой, совершенно особенной, ибо на каждой странице мне живо припоминались вы и ваша душа, которую, бывало, мы вдвоем столь часто и столь тщательно разбирали. Мне недоставало одного, я не мог ни с кем разделить своего восторга и меня страшила мысль, что я ослеплен дружескими чувствами. Наконец, намерен я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною; через несколько дней невзначай захожу к нему около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, коим дышат ваши стихи. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание, в особенности Жуковского, все более убеждало меня, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала, т. е. появятся через три или четыре месяца, и что затем постараются издать ваши стихотворения небольшой книжкою. Пушкин также знаком с ними, — я его видел после этого, он ценит ваши стихи как должно и отзывается мне о них весьма сочувственно. . . Доверьте мне почетную миссию быть вашим издателем — пришлите мне еще несколько стихотворений и укажите подходящее заглавие. . . Я счастлив, что могу сообщить вам эти известия. По-моему, мало что может сравниться со счастьем внушать мысль и доставлять умственное наслаждение людям с дарованием и вкусом».<sup>74</sup>

Таково первое свидетельство о впечатлении, произведенном на Пушкина и его друзей тютчевскими стихами. Ю. Ф. Самарин и П. А. Плетнев приводят тот же эпизод как пример восторженного отношения Пушкина к тютчевским стихам,<sup>75</sup> хотя, возможно, с некоторым преувеличением.

7 (19) июля 1836 года Тютчев радостно откликается на сообщение Гагарина о впечатлении лучших русских поэтов от его стихов: «Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие, — не удовольствие тщеславия и самолюбия (такого рода радости отжили для меня свой век), но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего. . . И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой». Далее Тютчев заявляет, что в России теперь «каждое полугодие печатаются бесконечно лучшие произведения, в которых обнаруживается «совершеннолетие русской мысли», при решении «роковых общественных вопросов» не утрачивающей «художественного беспристрастия», и обращается мыслью к Пушкину: «Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторике, которая составляет язву или, скорее, первородный грех французского ума. Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами».<sup>76</sup>

В Петербурге в это время события развивались следующим образом. Для третьего тома пушкинского «Современника» были отобраны семнадцать стихотворений Тютчева и представлены на рассмотрение Петербургского цензурного комитета. Внимание цензуры привлекли два стихотворения: «Не то, что мните вы, природа» и «Два демона ему служили». В журнале заседания Петербургского цензурного комитета от 14 июля 1836 года пунктом третьим было записано: «Донесение г. цензора Крылова о поступившем к нему на рассмотрение для периодического издания

<sup>74</sup> Там же.

<sup>75</sup> «Звенья», сб. II. Изд. «Academia», М.—Л., 1933, стр. 259; «Ученые записки второго отделения императорской Академии наук», СПб., 1859, кн. V, стр. LVII.

<sup>76</sup> Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма, стр. 375—376.

„Современник“ стихотворении Ф. Т. под № XVI, доставленном к издателю из Мюнхена ... В означенном стихотворении две средние строфы, по мнению г. цензора, подлежат исключению на основании 1-го пункта цензурного устава... Положено: в стихотворении Ф. Т. под № 16-м исключить две средние строфы...»<sup>77</sup> Речь идет о стихотворении «Не то, что мните вы, природа». 25 июля 1836 года цензор А. Л. Крылов сообщил Пушкину о том, что председатель Петербургского цензурного комитета и попечитель Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков желает видеть тексты стихотворений Тютчева под №№ XV и XVI, пропущенные комитетом в его отсутствие: «Потому прошу вас всепокорнейше доставить эти №№ или прямо к его сиятельству или прислать их для доставления на мое имя».<sup>78</sup> В заседании цензурного комитета от 28 июля стихотворение «Два демона...» было запрещено, о чем в тот же день А. Л. Крылов писал Пушкину:

«Стихотворение под № XVI: *Два демона и пр.* предложено было князем Михаилом Александровичем снова в сегодняшнем заседании, и Комитет признал справедливее не допустить сего стихотворения за неясностью мысли автора, которая может вести к толкам весьма неопределенным.

«Относительно замечания вашего на предполагаемые в № XVII точки, „что цензура не тайком вымарывает и в том не прячется“, долгом почитаю присоединить, с своей стороны, что цензура не в праве сама публиковать о своих действиях; тем более она не в праве дозволить посторонние на это намеки, в которых смысл может быть не одинаков. По крайней мере я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками цензурные исключения, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства».<sup>79</sup>

Итак, в этом письме цензора Крылова содержится процитированное им высказывание Пушкина в защиту тютчевских стихов; очевидно, это строка из записки Пушкина, где он требует, по-видимому, обозначения точками выпущенных восьми строк в стихотворении Тютчева «Не то, что мните вы, природа». Из этого следует, что Пушкин не только сочувственно отзывался о стихах Тютчева и печатал их, но и активно отстаивал их перед цензурой, стремясь сохранить законченность произведения и настаивая на необходимости обозначить цензурные купюры. Мимоходом отметим, что едва ли было справедливым поэтому утверждение Ю. Н. Тынянова, что прежде всего фрагментарность тютчевской формы должна была ощущаться Пушкиным, мастером формы, как признак дилетантства, и вызывать у него неизбежную враждебность к тютчевским стихам.

Среди бумаг Пушкина имя Тютчева, написанное его рукой, встречается дважды: в набросках планов третьего и четвертого томов «Современника», сделанных в августе и октябре 1836 года, где Пушкин, размечая листах помещаемых в журнале материалов, отводит стихотворениям Тютчева один печатный лист в третьем томе и половину печатного листа в четвертом.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> ИРЛИ, № 244, оп. 16, № 78.

<sup>78</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 143. По-видимому, речь идет о тех же стихотворениях: № XV — «Два демона...» (в дальнейшей переписке оно получило № XVI) и № XVI — «Не то, что мните вы, природа...» (в дальнейшем № XVII). При публикации в III томе «Современника» № XV — стихотворение «Сон на море», по-видимому, не встретившее цензурных затруднений; № XVI — «Не то, что мните вы, природа...».

<sup>79</sup> Там же, стр. 144.

<sup>80</sup> Рукою Пушкина. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 268—270.

Выполнялась и вторая часть намерений Жуковского, Вяземского и Гагарина — издать стихотворения Тютчева отдельной книжкой. Непосредственное участие в подготовке издания приняли друзья Тютчева — С. Е. Раич и С. П. Шевырев; предполагалось и участие Пушкина в подготовке этого издания. Вот что пишет об этом С. П. Шевырев И. С. Гагарину 2 ноября 1836 года: «Вот собрание стихотворений Тютчева в том виде, как оно было мне доставлено от Раича. При издании призовите на помощь какого-нибудь опытного стихотворца, который взялся бы сверить с подлинником, чтоб не испортить текста, писанного в иных местах связной рукой. Это будет прекрасное собрание: Тютчев имеет особенный характер в своих разбросанных отрывках... Поклонитесь Одоевскому, Вяземскому и Пушкину. Хорошо, если бы Пушкин в корректуре взглянул на стихотворения Тютчева».<sup>81</sup>

Это намерение не было выполнено. Но сам факт благожелательного отношения Пушкина к тютчевским стихам несомненен: иначе едва ли Шевырев стал бы в такой сугубо деловой форме высказывать предложение о просмотре Пушкиным тютчевской корректуры.

Все приведенные выше факты показывают, что должны быть признаны несостоятельными некоторые доказательства, используемые Ю. Н. Тыняновым для подтверждения положения о враждебном отношении Пушкина к тютчевским стихам, — прежде всего положение Тынянова, что не сам Пушкин, а его друзья, Вяземский и Жуковский, «приняли» стихи Тютчева в журнал «Современник».<sup>82</sup> Как мы видели, Пушкин не только отвел «Стихотворениям, присланным из Германии» первое место в своем журнале, но и отстаивал их перед цензурой.

Едва ли также прав Ю. Н. Тынянов, объясняя печатание тютчевских стихов тем, что в журнале «Современник» ощущался к тому времени острый недостаток в поэтическом материале, почему там печатались всякие, притом третьеразрядные поэты. Печатаемая огромная по тому времени количество стихотворений Тютчева, журнал «Современник» одновременно, в том же самом третьем номере, укоряет поэтов в бездействии, утверждает Ю. Н. Тынянов и приводит в доказательство фразу из «Письма к издателю по поводу статьи „О движении журнальной литературы“», в котором Пушкин под псевдонимом «А. Б.» возражает Н. В. Гоголю, автору статьи «О движении журнальной литературы», напечатанной в том же «Современнике» незадолго перед тем: «И где подметили вы это равнодушие (публики, — Н. К.)? Скорее можно укорить наших поэтов в бездействии, нежели публику в охлаждении».<sup>83</sup> Однако весь контекст статьи свидетельствует о том, что упрека современной поэзии в бездействии в этой фразе нет: в дружеской, а отнюдь не враждебной полемике с Гоголем Пушкин утверждает лишь то, что поэзия всегда была наслаждением малого числа избранных, и поэтому жизнь поэтическая идет своим чередом, несмотря на увлечение публики повестями и романами: «Державин вышел в свет третьим изданием; слышно, готовится четвертое. На заглавном листе басен Крылова (изданных в прошлом году) выставлено: тридцатая тысяча. Новые поэты Кукольник и Бенедиктов приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание».<sup>84</sup> В журнале «Современник» печатаются в это время Баратынский и Языков, Кольцов и Д. Давыдов, князь Вяземский и сам Пушкин: имя Тютчева

<sup>81</sup> «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 132.

<sup>82</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 350.

<sup>83</sup> «Современник», 1836, № 3, стр. 328.

<sup>84</sup> Там же.

попадает, таким образом, в когорту лучших, а отнюдь не третьестепенных поэтов.

Наконец, если мы вспомним высказывания пушкинского журнала по вопросам поэзии, то и в программе журнала, и во взглядах Пушкина на поэзию этого времени мы не найдем ничего такого, что бы делало тютчевские стихи для Пушкина принципиально неприемлемыми. «Истина и простота — вот две главные стихии поэзии», — утверждается в рецензии на новую поэму Э. Кине «Наполеон».<sup>85</sup> Наше время — время коротких лирических стихов, а не эпических поэм: «Эпическая поэма требует в поэте и в читателе богатырской силы; а наше поколение скоро задыхается: можно сказать, что оно запалено».<sup>86</sup> Против напыщенности и однообразия в поэзии протестует Пушкин, разбирая «Фракийские элегии» Теплякова; в целом симпатичные ему. Но вывод Пушкина строг: «... везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств».<sup>87</sup> Стихи Тютчева, которые печатает Пушкин, не всегда гармоничны, но зато всегда проникнуты абсолютной истиной чувства и никак не могут заслужить упрека в «надутости», напыщенности или неточности описания.

И наконец, сама близость Тютчева к немецкой, а не французской поэтической стихии в это время должна была быть отмечена Пушкиным: его журнал боролся с чопорностью и неестественностью французской поэзии — «делиевой музыки», которая в своем стремлении к изысканному украшательству никогда не назовет слона — слоном, а лошадь — лошадью, надевает шелковые перчатки, срывая землянику, и с увлечением играет в игру «отгадай — не скажу».<sup>88</sup> В статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» А. С. Пушкин прямо заявляет о современной русской поэзии, что она «осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружится с поэзией германской и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики».<sup>89</sup>

Следовательно, печатание в журнале тютчевских стихов никак не является фактом, идущим вразрез со взглядами Пушкина этого времени на поэзию.

Через несколько месяцев после появления «Стихотворений, присланных из Германии» Тютчев откликнется горестным посланием на смерть Пушкина, и послание это увидит свет лишь через два года после смерти самого Тютчева.

Таковы факты взаимоотношений двух поэтов.

Однако, чтобы картина была полной, мы должны остановиться еще на одном положении Ю. Н. Тынянова: к 1836 году «Тютчев прежде всего был не новым и не молодым поэтом для Пушкина, а достаточно ему известным и притом таким поэтом, о котором он уже раз отозвался и отозвался неблагоприятно, за шесть лет до того».<sup>90</sup> Именно этому этапу, а не 1836 году уделяет основное внимание Тынянов, доказывая в статье о Пушкине и Тютчеве факт непреодолимой враждебности поэтов друг другу, в особенности Пушкина — Тютчеву.

В 1826—1827 годах стихотворения Тютчева появляются в погодинском альманахе «Уrania», в альманахе Раича и Ознобишина «Северная лира» и других изданиях, несомненно известных Пушкину. Тем не менее Пушкин не заметил их, во всяком случае ни разу не высказал своего мнения о сти-

<sup>85</sup> Там же, № 2, стр. 275.

<sup>86</sup> Там же, стр. 271.

<sup>87</sup> Там же, № 3, стр. 183.

<sup>88</sup> Там же, № 2, стр. 276.

<sup>89</sup> Там же, № 3, стр. 101.

<sup>90</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 350.

хотворениях Тютчева. Причины этого и анализирует Ю. Н. Тынянов в своей статье. Исходя из характерной особенности литературного процесса 1820—1830-х годов, когда «поэзия все более и более совлекает с себя искусственную форму, она почти уже не имеет никакой формы, кроме себя самой»,<sup>91</sup> когда вместо старых жанров появляется свободная, почти внелитературная форма «фрагмента», Ю. Н. Тынянов разделяет пути двух поэтов. За Тютчевым признается лишь заслуга создания «в атмосфере западного и русского дилетантства» нового жанра: «почти внелитературного отрывка, фрагмента, стихотворения по поводу». «Фрагментарность Тютчева ощущалась как внелитературный признак, как признак дилетантизма, и поэтому резче всего бросалось в глаза то, что было у Тютчева общим с эпигонами: предельное разложение формы в малую; для Пушкина-мастера тонкий дилетантизм Тютчева был сомнительным явлением».<sup>92</sup>

Однако вспомним, что все вышесказанное не помешало Пушкину в 1836 году отстаивать именно целостность формы стихотворения Тютчева, исковерканного цензурой.

Другая причина неприятия, по мнению Ю. Н. Тынянова, Пушкиным тютчевских стихов — это их «литературность», «отраженность», близость тютчевских образов к целому ряду образов Ознобишина, Глинки, Карамзина, Жуковского, Ротчева и т. д. Однако и это качество тютчевских стихов, не исчезнувшее к 1836 году, не помешало их напечатанию.


На наш взгляд, в рецензии на альманах «Денница» в «Литературной газете» № 8 за 1830 год Пушкин действительно ставит под сомнение «истинный талант» поэта Тютчева: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». Однако объяснение этого факта может быть значительно более простым, чем предлагает Тынянов. Существует прежде всего факт личного незнательства поэтов, в то время как Шевырев и Хомяков были в эти годы ближайшими сотрудниками Пушкина по журналу «Московский вестник» и по литературной борьбе с лагерем Булгарина—Греча. Творчество их было известно Пушкину гораздо шире, чем тютчевское, и не только по печатным источникам. В 1836 году факт личного незнательства Тютчева и Пушкина был как бы устранен тем, что в руки Пушкина попали не случайные печатные стихи, а целая неопубликованная тетрадь, раскрывшая перед ним душу незнакомого поэта. Кроме того, в 1820-е годы Пушкин вполне мог слышать неблагоприятные отзывы о друге Раича, в то время издателя журнала «Галатейя», к которому Пушкин относился довольно пренебрежительно, и процветающем мюнхенском дипломате в кругу знающих Тютчева и близких в эту пору Пушкину московских «любомудров». Вспомним, что П. Киреевский, узнавший Тютчева в эти годы в Мюнхене лично, был очарован им особенно сильно потому, что до этого был настроен против него их общими московскими знакомыми.

Итак, по нашему глубокому убеждению, не существует почвы для враждебности ни двух направлений в поэзии — пушкинского и тютчевского, ни двух поэтов — Пушкина и Тютчева, что мы и пытались доказать в настоящей статье. Однако безусловно существует — и это мы также пытались показать — разница их направлений и творческих индивидуальностей. Корни этой разницы прежде всего в разнице мировоззрений двух поэтов, в разнице их представлений о поэтическом, их литературных вкусов и, наконец, их литературного воспитания.

<sup>91</sup> Цитата из статьи Ламартина «Voyage en Orient» («Телескоп», 1834, т. 20), которую приводит Тынянов (Архаисты и новаторы, стр. 338).

<sup>92</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 359.





С. Л. АБРАМОВИЧ

## КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В СТАТЬЕ ПУШКИНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ»

«Путешествие из Москвы в Петербург» занимает особое место в творчестве Пушкина 30-х годов. Это публицистическая статья, посвященная злободневным вопросам современности. «Путешествие» было единственной попыткой поэта высказать в печати свое мнение о внутривосточном положении страны в царствование Николая I.

В центре статьи — крестьянский вопрос, поставленный очень широко: речь идет об условиях существования русского крестьянина, о его бесправии, о взаимоотношениях помещиков и крепостных, о рекрутчине, о возмущении крепостных рабов и убийстве ими тирана-помещика. В статье также говорится намеками, а иногда и прямо о политике правительства, о необходимости важных преобразований в государстве, о судьбах старинного русского дворянства и т. д. Даже главы историко-литературного характера (о Ломоносове, о происхождении цензуры) приобретают в этой статье острое политическое звучание: сильнейшее впечатление производят те места, где поэт страстно и убедительно пишет о громадной роли печатного слова, о влиянии литературы на общественную жизнь, о положении писателя в обществе.

Никакая другая статья Пушкина не может сравниться с «Путешествием» по остроте политической проблематики. В какой-то мере по направлению и задачам примыкают к «Путешествию из Москвы в Петербург» статьи, написанные позже: «Александр Радищев», «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», «Джон Теннер», — но в них Пушкин не затрагивает непосредственно тех жгучих вопросов, которые стоят в центре разбираемой статьи.

В последние годы это произведение Пушкина вновь привлекло к себе внимание исследователей: о «Путешествии» писали в общих работах, посвященных теме «Пушкин и Радищев», в юбилейных статьях и брошюрах 1949 года, в диссертациях, связанных с творчеством Пушкина 30-х годов, и, наконец, ему посвящены специальные работы Б. С. Мейлаха<sup>1</sup> и Б. П. Городецкого.<sup>2</sup>

Такой обостренный интерес к «Путешествию» понятен: это произведение до последнего времени оставалось одним из наименее изученных, и необходимость его тщательного исследования стала очевидной, ибо невозможно судить о политической позиции Пушкина в 30-е годы, не рас-

---

<sup>1</sup> Б. С. Мейлах. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина. «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», т. 8, вып. 3, 1949, стр. 216—228.

<sup>2</sup> Б. П. Городецкий. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина. В сб. «Пушкин. Исследования и материалы», т. III, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1960, стр. 218—267.

путав клубка противоречий, который связан с «Путешествием из Москвы в Петербург».

Работа Б. С. Мейлаха, опубликованная в 1949 году, по существу, является первым научным исследованием «Путешествия», предпринятым в советское время. Б. С. Мейлах анализирует наиболее спорные и сложные проблемы статьи, уделяя особое внимание вопросу об отношении Пушкина к крестьянской революции. Ему удалось дать убедительное, аргументированное объяснение труднейших мест этой статьи. Недавно вышла из печати и вторая работа на эту тему — статья Б. П. Городецкого, где предпринято монографическое изучение пушкинского «Путешествия» на широком историко-литературном фоне.

После этих специальных работ пушкинская статья перестала быть такой «загадочной», какой она казалась раньше, когда во всех комментариях приводились диаметрально противоположные точки зрения П. Н. Сакулина и В. Е. Якушкина<sup>3</sup> без какого-либо обоснованного вывода. Но тем не менее целый ряд важных и интересных вопросов, связанных с этой статьей, еще нельзя считать вполне решенным.

До сих пор неясно, что послужило непосредственным толчком к замыслу такой статьи, какую роль в ней играет образ путешественника, к кому обращается Пушкин со своими призывами и предложениями. Еще не получили убедительного истолкования некоторые очень сложные для понимания места статьи, и подчас мы не можем объяснить, что именно хотел сказать Пушкин в том или ином случае. Как справедливо отмечал Б. В. Томашевский, «Путешествие из Москвы в Петербург» — произведение, «требующее новых и новых разысканий».<sup>4</sup>

## 1

Очень интересно разобраться в том, почему возник у Пушкина такой беспрецедентный замысел. Что заставило поэта отказаться от обычной для этих лет сдержанности, когда он старался «хранить свой образ мыслей про себя», и взяться в декабре 1833 года за *публицистическую* статью, в которой решился прямо говорить об острейших политических вопросах современности?

Очевидно, непосредственным толчком к такому замыслу послужили впечатления, которые вынес поэт из путешествия по России осенью 1833 года. Чтобы судить об этих впечатлениях, нужно учесть особые условия 1833 года. Это был тяжелый, бедственный, неурожайный год. Давно Россия не знала такого голода, как в эту зиму.

Даже в записках Бенкендорфа говорится о неурожае 1833 года как о колоссальном бедствии общегосударственного масштаба. «Империя, — писал он, — почти на всем ее пространстве была постигнута неурожаем, а в некоторых губерниях земля не дала ровно ничего. Травы погорели,

<sup>3</sup> В. Е. Якушкин в работах 1886—1889 годов утверждал, что все противоречия статьи нужно отнести за счет цензурных условий. По его мнению, Пушкин в статьях «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев» пользовался «эзоповским языком» для «иносказательной проповеди прогрессивных идей». П. Н. Сакулин считает, что Пушкин в статьях о Радищеве «вышел перед нами с открытым забралом, говорит то, что именно хотел сказать», без всякой задней мысли. Сакулин убежден, что Пушкин полностью осуждал Радищева за его «образ мыслей» и «образ действий», что «светлый гармоничный и мудрый Пушкин, изрекший своим творчеством великое поэтическое „да“, отверг в лице Радищева мятежное „нет“». (См.: В. Е. Якушкин. О Пушкине. М., 1899, стр. 68; П. Н. Сакулин. Пушкин и Радищев. М., 1920, стр. 33, 75).

<sup>4</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин и Петербург. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. т. III, стр. 44.

хлеб не уродился, огороды стояли пустые, и даже картофель весь погиб. Многочисленные стада овец ... гибли тысячами от недостатка корма. Рогатый скотдох, и малороссийские крестьяне теряли с ним последние средства к существованию ... Везде сельское население было доведено до крайности, и жителям многих местностей грозили все ужасы голодной смерти».<sup>5</sup>

Автор исследования о русских неурожаях А. С. Ермолов сообщает: «Уже осень 1832 года, сопровождавшаяся во многих губерниях, особенно северных, крайними холодами, неблагоприятной погодой, неумеренными дождями, частыми инеями и несвоевременно выпавшим снегом, давала повод опасаться за состояние посевов. Весна 1833 года отличалась почти повсюду необыкновенными холодами, препятствовавшими росту хлебов; непосредственно за холодным временем наступила продолжительная засуха<sup>6</sup> с сильными палящими ветрами».<sup>7</sup>

Губительная засуха поразила почти всю европейскую часть страны.<sup>8</sup>

Наглядное представление о состоянии крестьянских хозяйств в неурожайный год дают документы из архива помещицы Ю. П. Самойловой. Осенью 1833 года вотчинное начальство доносило в московскую контору помещицы, что «урожай в имении чрезвычайно плохой ... у большинства крестьян не осталось даже зерна на обсеменение полей ... во многих селениях озимая рожь совершенно не взошла и даже не показала никакого на полях знака».<sup>9</sup> Управляющий помещьем сообщал о положении крестьян: «Несчастные последствия времени свергнули крестьян в бедность такую, коей примеров и самые старожилы не запомнят».<sup>10</sup> Эти сведения особенно интересны, потому что деревни Ю. П. Самойловой были расположены в непосредственной близости от имения Пушкиных — в Муромском уезде Владимирской губернии, смежном с Арзамасским уездом Нижегородской губернии. Все, что сказано о состоянии крепостных в этой вотчине, очень напоминает положение в Болдине и Кистеневе.

Пушкин в дневнике 1833—1834 годов трижды упоминает о голоде 27 ноября 1833 года, через несколько дней после возвращения из Болдина, поэт записывает: «Осуждают очень дамские мундиры — бархатные, шитые золотом, особенно в настоящее время, бедное и бедственное»<sup>11</sup> (XII, 314). В записи от 14 декабря Пушкин высмеивает мероприятия николаевского правительства, о которых Бенкендорф в своих записках вспоминал с верноподданническим умилением, утверждая, что голод «дал государю новый случай обнаружить свою деятельность и свою отеческую заботливость о вверенной ему стране».<sup>12</sup> Пушкин раскрывает истинный смысл этих «благоденствий» царя: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян, эти четверста

<sup>5</sup> В кн.: Н. К. Шильдер. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование, т. II, СПб., 1903, Приложение, стр. 669.

<sup>6</sup> О засухе упоминает А. С. Пушкин в письме к жене от 2 октября 1833 года: «Надобно тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XV, Изд. Академии наук СССР, 1948, стр. 83. В дальнейшем тексты Пушкина цитируются по этому изданию: тт. I—XVI, 1937—1949).

<sup>7</sup> А. С. Ермолов. Наши неурожай и продовольственный вопрос. СПб., 1909, стр. 43—44.

<sup>8</sup> А. С. Ермолов в своей книге указывает, что от неурожая особенно пострадали Белоруссия, Украина, Новороссия, область войска Донского, а также губернии Воронежская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская, Смоленская и некоторые уезды Нижегородской, Костромской, Тверской, Калужской и Псковской (курсивом выделены те губернии, в которых в 1833 году побывал Пушкин, — С. А.).

<sup>9</sup> «Труды Государственного исторического музея», вып. 27, М., 1955, стр. 78.

<sup>10</sup> Там же, стр. 76.

<sup>11</sup> Курсив мой. — С. А.

<sup>12</sup> Н. К. Шильдер. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. т. II, стр. 669.

тысяч останутся в их карманах... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубей будут балы — (что также есть способ льстить двору)». А через два дня поэт лаконично отметил по поводу бала у Кочубея: «Бал был очень блистателен» (XII, 317).

В откликах Пушкина на события петербургской жизни этого года сквозь сдержанные намеки и замечания подчас прорывается открытое возмущение. Так, 17 марта поэт записал в своем дневнике: «Праздников будет на полмиллиона. *Что скажет народ, умирающий с голоду?*»<sup>13</sup> (XII, 322).

Скупые записи в дневнике — лишь глухой отзвук того, что передумал и перечувствовал Пушкин, непосредственно соприкоснувшись с жизнью и бытом голодающего крестьянства. Больше в бумагах поэта нет прямых откликов на голод 1833—1834 годов. Но о его впечатлениях можно судить и по косвенным источникам. Опубликованные в 1936 году документы болдинского архива воссоздают перед нами картины жизни нижегородской крепостной деревни, в которой Пушкин провел полтора месяца. Сопоставляя материалы подворной описи, тщательно составленной в январе 1834 года новым управляющим имением И. М. Пеньковским, с данными ревизской сказки, челобитными крестьян, донесениями управляющего, можно судить о положении почти каждой крестьянской семьи в имении Пушкиных.

Неурожай подкосил под корень полуразоренное хозяйство болдинских крестьян. И барщинные, и оброчные крестьяне встретили зиму почти без всяких запасов. Уже в декабре 1833 года И. М. Пеньковский доносил Сергею Львовичу Пушкину: «Очень многие крестьяне не имеют ни зерна хлеба». В январе 1834 года, познакомившись поближе с положением болдинских крепостных, управляющий писал: «Хлеб у редких крестьян находится».<sup>14</sup>

В описи, составленной управляющим в январе 1834 года, числится 152 крестьянских хозяйства. Из них 43 семьи (162 человека) имело всего 45 четвертей зерна.<sup>15</sup> В переводе на привычные нам меры это означало в среднем по 5 кг зерна в месяц на человека. По официальным данным того времени, на продовольствие одному крестьянину считалось необходимым иметь в год около трех четвертей зерна,<sup>16</sup> не считая того, что нужно на посев. А в Болдине в 43 семьях на человека приходилось менее 0,3 четверти, т. е. в 10 раз меньше.<sup>17</sup>

Но была в Болдине еще менее обеспеченная группа крестьян.

40 семей уже в январе не имели никаких запасов зерна: ни ржи, ни гречи, ни овса. 20 крестьянских семейств из числа этих сорока были нищими в полном смысле слова и находились на пороге голодной смерти, ибо у них не было ни хлеба, ни домашнего скота (например, семьи крестьян А. Т. Шумова, К. М. Соцкого, Никиты Торгашева, С. Н. Кашкина и др.) Из данных ревизской сказки (март 1834 года) узнаем, что у Андрея Те-

<sup>13</sup> Курсив мой. — С. А.

<sup>14</sup> Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин, кн. I, М., 1936, стр. 117, 123.

<sup>15</sup> Четверть хлеба в XIX веке составляла примерно 8—9 пудов. В четверти было 8 четвериков (четверик — около 18 килограммов).

<sup>16</sup> Эти данные взяты из работ В. Преображенского «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» (СПб., 1854) и Я. Соловьева «Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии» (М., 1855). Преображенский приводит такой расчет помещика Вилькинса: «2 четверти 2 четверика ржи на хлеб, 1/2 четверика круп гречневых, житных или овсяных на кашу, 3 четверика гречневой, житной или пшеничной муки на пироги и блины и 2 четверика 3 гарнца солода на пиво».

<sup>17</sup> Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин, кн. I, стр. 86—194.

рентьевича Шумова было четверо детей, а у Торгашевых — семеро; двадцатишестилетний Козьма Максимович Агапов, по прозвищу Соцкий, имел трех малолетних ребятишек, семья Сергея Никитича Кашкина состояла из восьми человек и т. д. Все это были не оброчные, а барщинные крестьяне, у которых не было побочных доходов. Страшно подумать о том, как сложилась их жизнь в эту голодную зиму.

Таким образом, 83 семьи (около 55% всех указанных в описи Пеньковского) были обречены на голод и полное разорение. Не многим лучше было положение остальных. Из 152 семейств только 16 можно было бы на общем фоне назвать «зажиточными» — это те, у кого было от 10 до 20 четвертей зерна в запасе (кстати, 14 из этих семей были на оброке). Эти крестьяне имели возможность 3—4 четверти оставить на посев, остального должно было хватить на пропитание без угрозы голода.<sup>18</sup>

Сами болдинские крестьяне так описывали свое бедственное положение в челобитной, которая была подана Александру Сергеевичу в ноябре 1833 года: «...ныне не более на счет как-то 15-ти человек находится в состоянии, что нынешнюю зиму имели свой хлеб, а прочие крестьяне и прошлого года покупали рожь для засева своей земли. Все распродали крестьяне для прокормления своих семейств: скот и строение» (XV, 92).

Голод угрожал болдинским крестьянам и в следующем году, так как озимые осенью посеяли немногие, у большинства же поля оставались незасеянными или были запроданы чужим крестьянам.

В эти тяжелые годы не выручали и традиционные промыслы: выделка саней и тканье рогож и кулей, которые обычно служили подспорьем для малоземельных болдинских крестьян. Пеньковский зимой писал Сергею Львовичу: «Промысел оных в тканью рогоз не требуется, за самую малую цену должны продавать ... сани, которые себя стоят рубль, продают за 60 копеек и менее».<sup>19</sup>

Положение крепостных нижегородского имения Пушкиных усугублялось еще и тем, что над ними тяготел громадный долг в 1400 руб. за подушную подать и посторонним лицам. Из мирских денег ежегодно выплачивалось несколько сот рублей процентов в счет долга. Крестьяне десятки лет не могли выпутаться из долгов: в 1849 году помещик Г. В. Бобоедов сообщал П. П. Ланскому, побывав в сельце Кистеневе: «теперь на этих крестьянах с лишком 9000 рублей этого долгу».<sup>20</sup>

Летом 1834 года агроном К. Рейхман, который по просьбе Александра Сергеевича посетил Болдино, писал ему: «...крестьяне ваши совсем разорились» (XV, 163).

Все эти материалы дают представление о том, что увидел Пушкин в Болдине осенью 1833 года: запасов хлеба у большинства крестьян не хватит на прокормление семейств, многие пошли по миру, поля стоят незасеянные, надвигается голод. . .

Никогда еще поэт не сталкивался так близко с крестьянской нищетой. В Михайловском, где он провел свыше двух лет, уровень жизни крепостных существенно отличался от того, что было в имении Сергея Львовича. Псковские крепостные Пушкиных были гораздо зажиточнее нижегородских. В Михайловском в крестьянских хозяйствах было в 2—3 раза больше

<sup>18</sup> Была в Болдине и особая группа крестьян, сельских богатеев, которые даже в неурожайный год имели от 30 до 40 четвертей хлеба в запасе, причем у каждого из них было 4—5 лошадей и 3—4 коровы. Таких хозяйств, по данным Пеньковского, было 5, они имели вместе 165 (!) четвертей зерна, что составляло около 1/4 всех запасов хлеба, указанного в подворной описи.

<sup>19</sup> Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин, кн. I, стр. 123.

<sup>20</sup> П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 88.

лошадей, чем в Болдине и Кистеневе (считая в среднем на душу населения), в 5 раз больше коров и овец.<sup>21</sup> Там не было такой страшной бедности, такого разорения, как в нижегородском имении. Более благополучное положение крепостных в Михайловском объяснялось главным образом тем, что в псковском имении было больше земли, а болдинские крестьяне чрезвычайно страдали от малоземелья. В Болдине на одну ревизскую душу приходилось примерно по 2 десятины земли, а в Михайловском — около 9,7 десятин, т. е. почти в 5 раз больше.<sup>22</sup> К тому же Сергей Львович и его жена, мало вникая в хозяйство, сохраняли почти во всем ранее заведенные порядки. По традиции в Михайловском барская запашка составляла менее 10% всей пахотной земли, а в Болдине — свыше 40% (из 1755 десятин 720 было в барской запашке). Этим и объясняется сравнительное благополучие крепостных в имении Надежды Осиповны.

В свете этих материалов становится понятным, почему знакомство с бытом болдинских крестьян в 1830 году произвело на Пушкина такое сильное впечатление. «История села Горюхина» и стихотворение «Румяный критик...» навеяны именно болдинской действительностью. А пребывание в нижегородском имении в голодный год оставило неизгладимый след в сознании Пушкина.

Приехав осенью 1833 года в Болдино, Пушкин оказался втянутым в еще более тесное общение с крестьянами, чем в прошлый раз. Крепостные и управляющий видели в нем барина: к нему обращались с просьбами и жалобами, приходили старики с челобитной, от него ждали распоряжений в связи с рекрутским набором и по хозяйству, так как новый управляющий И. М. Пеньковский только приступал к делам. Кроме того, А. С. Пушкин в этот момент уже понял, что ему придется взять на себя управление имением, иначе оно будет совершенно разорено и родители останутся без средств.<sup>23</sup>

Жизнь поставила перед поэтом во всей сложности и противоречивости самые жгучие социальные проблемы эпохи: он видел ужасную бедность крепостного крестьянина и в то же время его глубоко волновало неуклонное разорение старинного русского дворянства, кровную связь с которым Пушкин ощущал всегда. В тот голодный год поэт особенно остро почувствовал, какой кризис назревает в стране.

Это ощущение надвигающегося кризиса и заставило поэта сразу же после возвращения из Болдина взяться за публицистическую статью, в центре которой стоял крестьянский вопрос.

Такой замысел не был чем-то случайным или неожиданным в творчестве Пушкина 30-х годов. Мысль о создании публицистического произведе-

<sup>21</sup> Эти данные получаются при сопоставлении материалов подворной описи села Михайловского с итоговыми подсчетами, сделанными П. Е. Щеголевым на основании подворной описи сельца Кистенева (части А. С. Пушкина). См.: П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики, стр. 89, 265—278.

<sup>22</sup> В имении Надежды Осиповны на 80 ревизских душ (мужского пола) приходилось 858 десятин пахотной земли. Господская запашка составляла 71 десятину, а остальные 787 десятин были в крестьянской запашке. По Нижегородскому имену наиболее точные данные имеются относительно сельца Кистенева. В Кистеневе 1088 десятин пахотной земли приходилось на 524 ревизские души, т. е. около 2,06 десятины на душу (господской запашки не было; кистеневские крестьяне все были на оброке). Есть данные, что в числе этих 1088 десятин были также и неудобные земли. В Болдине же 1035 десятин пахотной земли приходилось на 567 ревизских душ, т. е. менее 2 десятин на душу. См.: П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики, стр. 11—12, 69, 71, 259—263.

<sup>23</sup> Об этом своем намерении А. С. Пушкин говорил с отцом, как только вернулся в Петербург (уже 24 ноября 1833 года поэт в письме к П. В. Нащокину сообщал: «Отца видел, он очень рад моему предложению взять Болдино» — XV, 96).

дения по вопросам внутренней политики появилась у него задолго до начала работы над «Путешествием». Еще 16 марта 1830 года в письме, poslanном с оказией, Пушкин писал Вяземскому о своем намерении «пуститься в политическую прозу» в связи с известиями о намечавшихся правительственных законопроектах и советовал ему воспользоваться удобным случаем, чтобы «писать политический памфлет и даже его напечатать» (XIV, 69).

В 1833 году после длительного перерыва вновь оживилась законодательная деятельность правительства и возобновили свои заседания некоторые секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Очевидно, это и внушило Пушкину надежду на возможность опубликования статьи.

## 2

Самое важное в этом замысле то, что Пушкин *безусловно готовил статью к печати* (в этом существенное отличие «Путешествия» от «Замечаний о бунте», которые Пушкин считал невозможным напечатать, но доставил через Бенкендорфа царю).

Попытка гласной постановки крестьянского вопроса в условиях 30-х годов прошлого века была смелым политическим шагом. Ведь самой характерной чертой николаевского политического режима была полнейшая безгласность. Показательно, что все проекты преобразований, новых законов всегда обсуждались в секретных комитетах, куда имели доступ лишь очень немногие люди, облеченные особым доверием Николая. Фактически все секретные комитеты, которые в 30—40-е годы изыскивали «средства к улучшению состояния крестьян разных званий», включали в себя не более десятка человек из личного окружения царя.

«Крестьянский вопрос решался при нем (Николае I, — С. А.) чисто бюрократическим путем, оставаясь тайною для общества, совершенно изъятой со страниц печати»,<sup>24</sup> — пишет исследователь этой эпохи М. Полиевктов. Николай I требовал нерушимого соблюдения тайны заседаний от всех членов секретных комитетов и чиновников канцелярии. В своей речи от 30 марта 1842 года он даже обратился с особым предупреждением к членам Государственного Совета, угрожая высоким сановникам: «...если бы сверх ожидания опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виноватых по строгости законов, как за государственное преступление».<sup>25</sup>

Пушкин же считал «гласность прений» «одним из условий высокообразованных обществ» и ратовал за «могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота нравов». Поэт стремился своей статьей сделать крестьянский вопрос предметом обсуждения в печати.

Осведомленный, как никто, обо всех возможных цензурных препятствиях, поэт отлично понимал, как трудно будет опубликовать подобное произведение. И он с самого начала работы над «Путешествием» стремился приспособить его к существующим цензурным условиям.

Прежде всего он решает печатать статью анонимно. В связи с этим в статье и появился образ мнимого автора-путешественника. Кроме того, не рассчитывая на опубликование чисто политического произведения, поэт избрал форму путевых записей, широко распространенную в литературе того времени. Однако пушкинскую статью лишь условно можно назвать

<sup>24</sup> М. Полиевктов. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918, стр. 302.

<sup>25</sup> Эпоха Николая I. Под ред. Гершензона, М., 1911, стр. 63.

«путешествием». Как уже было отмечено Б. С. Мейлахом,<sup>26</sup> в этом очень своеобразном по жанру произведении нет непосредственных впечатлений от поездки и нет записей дневникового характера, за исключением первых вступительных фраз. Самый мотив путешествия введен для того, чтобы сделать возможным обсуждение в печати тех же вопросов, которые были подняты в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву». Проезжая по тем же местам, о которых рассказано в «Путешествии из Петербурга в Москву», с открытой книгой в руках, автор путевых записок совершенно естественно приводит цитаты из этой книги, ссылается на нее, спорит с Радищевым или размышляет по поводу прочитанного. Все это дает возможность привлечь внимание читателей к важнейшим политическим проблемам современности. Избрав своим «дорожным товарищем» книгу Радищева, Пушкин нашел чрезвычайно удачную форму для задуманной публицистической статьи, ибо прямо говорить о современной политической жизни России можно было лишь в духе панегирика николаевскому правительству. Внутренним психологическим стимулом к такому построению статьи могло послужить желание Пушкина и для себя самого уяснить свое отношение к поставленной Радищевым проблеме взаимоотношений дворянства и крестьянства, проверить с точки зрения полувекового опыта истории правильность идей и пути первого русского революционера.<sup>27</sup>

Мотив мнимого путешествия — это лишь один из многих «эзоповских» приемов, при помощи которых Пушкин пытался осуществить в условиях тогдашней цензуры обсуждение острых политических вопросов. Больше всего он использовал приемы «эзоповского» стиля в главах, посвященных крестьянской тематике.

Так, пушкинский путешественник почти никогда прямо не говорит о бедствиях народа. Чтобы дать представление о положении крепостного крестьянства, он обычно ссылается на разнообразные печатные и устные источники: чаще всего цитирует или пересказывает отрывки из «Путешествия» Радищева, а также использует произведения Крылова, Фонвизина, Княжнина; ссылается на русские народные песни, «анекдоты», рассказанные кем-то и т. п. Характерен самый подбор источников: они либо прямо выражают народную точку зрения, либо это мнения защитников угнетенного крестьянства. О гнусных обычаях крепостничества, о фактах насилий, злоупотреблений путешественник часто упоминает в форме вставных коротких рассказов, будто бы слышанных от кого-то, или воспоминаний. Обобщения, комментарии путешественника по поводу этих фактов обычно очень лаконичны, очень сдержанны по тону: почти никогда в них не слышится возмущения или негодования, в крайнем случае авторская оценка событий дается средствами иронии.

Эти приемы рассчитаны на передового, проницательного читателя, который сумеет понять и осмыслить *правду фактов*. Наиболее удачно они применены в главах «Медное», «Шлюзы», «Шоссе», «Браки», построенных так, что факты говорят сами за себя, не требуя длинных комментариев.

Но там, где Пушкин переходил к прямым рассуждениям («Русская изба», «Рекрутство»), правильное прочтение текста становится затруднительным. Выводы и предположения путешественника облечены в чрезвычайно сложную форму, полны противоречий, иносказаний, намеков.

<sup>26</sup> Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 394.

<sup>27</sup> Ю. Г. Оксман считает, что интерес к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева вновь оживился у Пушкина в процессе работы над «Историей Пугачева» (Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, стр. 43, 49).



Именно здесь особенно сказалась автоцензура, здесь более всего вариантов.

Уже на первом этапе работы мысль поэта была скована. Создавая первый черновой вариант «Путешествия», Пушкин тщательно выбирал наиболее приемлемые выражения, зачеркивая то, что могло показаться цензорам крамоллой. Так, зачеркнуто было следующее начало фразы в главе «Торжок»: «Свобода человеческая священна, и да будет проклят тот...».

Большая часть правок от черновой редакции к белой идет в одном направлении: исключаются те места, которые могут вызвать придирки цензуры. Таким образом, в беловую редакцию не попали рассуждения об упадке старинного русского дворянства, о злоупотреблениях цензуры, о судьбе французского крестьянства после революции 1789 г. и т. д. Глава «Русская изба», которая вызывает до сих пор самые бурные споры, в белой редакции оказалась наполовину переделанной.

Кроме того, в «Путешествии» имеются и некоторые вставки, появившиеся в силу тех же причин. С целью доказать «благонадежность» автора путевых записок и самого произведения поэт намеренно подбирает резкие, пренебрежительные эпитеты для характеристики Радищева: его отношение к верховной власти — «безумная дерзость»; рассуждения — «пустословие», «модное краснословие»; мечты — «надутые», «дерзкие»; мысли — «ложные», «пошлые», «мятежные».

В результате многочисленных правок отдельные места в статье оказались очень неясными, трудными для понимания; они подчас вызывают прямо противоположные толкования.

Однако, говоря об автоцензуре, о тех приемах «эзоповского» стиля, к которым Пушкин прибегал сознательно, нельзя забывать о противоречиях в мировоззрении поэта, которые не могли не сказаться в «Путешествии из Москвы в Петербург». Поэтому необходим тщательный, детальный анализ в каждом конкретном случае, чтобы решить, искажена ли мысль в целях маскировки или отражает искреннее мнение поэта.

### 3

Истолкование очень трудного текста этой статьи осложняется и тем, что еще не решен окончательно вопрос о роли образа путешественника в идейно-художественной структуре этого произведения. В научной литературе последних лет образ путешественника интерпретируется по-разному.

На то, что в пушкинском «Путешествии» имеется образ рассказчика, не тождественный автору статьи, первым обратил внимание Г. П. Макогоненко в своей студенческой работе 1939 года.<sup>28</sup> Б. С. Мейлах в статье 1949 года подробно рассматривает вопрос об образе путешественника. По мнению Б. С. Мейлаха, путешественник — это «смиранный обыватель», «тишайший домосед», человек типа Ивана Петровича Белкина. Б. С. Мейлах считает, что, благодаря такому образу повествователя, в пушкинском «Путешествии» получилось два плана: один отражает распространённые обывательские суждения, другой — взгляды самого поэта. «Наряду с чуждым Пушкину голосом „путешественника“, здесь должен был звучать и другой голос — голос самого Пушкина. — пишет Б. С. Мейлах. — Отсюда та противоречивость суждений, которая изумляла исследователей этого произведения и которая была вызвана особенностями замысла».<sup>29</sup>

<sup>28</sup> «Ученые записки Ленинградского государственного университета, серия филологических наук», 1939, № 33, вып. 2, стр. 110—133.

<sup>29</sup> «Известия Академии наук СССР, Отделение языка и литературы», т. VIII, вып. 3, стр. 218, а также в кн.: Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 398—400.

Эту точку зрения поддержал Ю. Г. Оксман, который причисляет образ путешественника к ряду образов «бесхитростных выразителей охранительной идеологии», созданных Пушкиным в 1833—1836 годах.<sup>30</sup>

В недавно опубликованной статье Б. П. Городецкого образ путешественника получил иное истолкование. Путешественник охарактеризован как «простоватый, но отнюдь не невежественный московский дворянин, старожил и домосед, к тому же большой любитель отечественной словесности», «не пугающийся опальной книжки Радищева, случайно попавшей ему в руки».<sup>31</sup> Б. П. Городецкий считает путешественника человеком образованным, с независимыми мнениями, «уважающим правительство, что не исключает и достаточно критического отношения к нему, когда это бывает надо».<sup>32</sup>

Как видим, расхождения оказались значительными. Обратимся к тексту статьи Пушкина.

О личности самого путешественника в этой статье очень мало данных, его образ лишь намечен несколькими выразительными штрихами, но не завершен. О себе путешественник рассказывает лишь в начале первой главы, как бы представляясь читателю. Он сообщает, что вздумал после пятнадцатилетнего безвыездного пребывания в Москве съездить в Петербург, когда узнал об окончании новой шоссейной дороги. В воспоминаниях путешественника о предыдущей поездке слышатся нотки старческого брюзжания. Чувствуется, что это тяжелый на подъем человек, дорожащий своим покоем и привычными удобствами.

«Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно, — рассказывает он. — Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моею изнеженностью, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство, и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал» (XI, 243).

Жалобы путешественника производят скорее комическое впечатление, чем вызывают сочувствие. Комично намеренное нагромождение деталей, указывающих на дорожные неприятности: *коляска требовала поминутно починки, кузнецы притесняли, рытвины и деревянная мостовая совершенно измучили*; это впечатление усиливается нагнетением эмоциональных эпитетов: путешествие было *неблагополучно*, дорога *несносная*, коляска *проклятая*, приехал в Петербург *полумертвый*. Московский барин-домосед настолько раздосадован и раздражен обычными для того времени трудностями путешествия, что после этой поездки не решался больше выезжать из города.

Как видим, в первой главе намечается в какой-то мере сниженный образ рассказчика, вызывающий у читателя чуть ироническое отношение.

Во второй главе только одна фраза напоминает читателю о москвиче-домоседе. Путешественник говорит: «...ныне покидая *смирненную* Москву и готовясь увидеть *блестящий* Петербург, я заранее *встревожен* при мысли

<sup>30</sup> Ю. Оксман. Пушкин в работе над «Капитанской дочкой». «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 230—231.

<sup>31</sup> Б. П. Городецкий. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина, стр. 232, 236.

<sup>32</sup> Там же, стр. 236.

переменить мой тихий образ жизни на *вихрь и шум*, ожидающий меня; голова моя *заранее кружится*»<sup>33</sup> (XI, 245).

В этом отрывке сохраняется та же манера повествования, что и в начале первой главы. Волнение путешественника, вызванное переменой обычного распорядка жизни, явно гиперболизировано: оживленная столичная жизнь нашему москвичу представляется каким-то «вихрем»; дважды повторяются простодушные и забавные жалобы: «я заранее встревожен», «голова моя заранее кружится».

Никаких других данных о вымышленном рассказчике в «Путешествии из Москвы в Петербург» нет. Эти немногие факты позволяют судить лишь о привычках и образе жизни московского дворянина, но не больше. Ясно, что путешественник — немолодой человек, привыкший к комфорту и спокойствию, целиком погруженный в свою частную жизнь. В обоих отрывках варьируется один и тот же мотив — тихий образ жизни, отсутствие какого-либо геройства (не только «фельдъегерского»).

По-видимому, Пушкин не считал нужным в этой статье давать более подробную характеристику своему рассказчику; ему было важно лишь подчеркнуть, что мнимый автор путевых записок — человек безобидный, далекий от каких бы то ни было политических кругов, не способный ни на какие бунтарские поступки.

Такой образ понадобился Пушкину лишь для персонификации анонима, но он не определяет собой сказовую манеру всего произведения. С образом путешественника связана лишь та своеобразная стилистическая струя, которая выделяется из общего строя повествования в главах «Шоссе» и «Москва», но она занимает крайне незначительное место в статье: уловить ее присутствие можно лишь в первых двух главах, а потом эта стилистическая струя исчезает. Больше нигде мы не найдем специфических примет рассказчика, о которых сказано выше. Изложение в статье ведется не от лица путешественника, а от лица самого поэта,<sup>34</sup> передового человека своего времени, который активно вторгается в политику и высказывает обо всем свои взгляды и суждения, очень далекие от официальной правительственной программы. Автор путевых записок — человек с необычайной широтой интересов, стоящий на высоте современного образования и проявляющий редкую осведомленность в различных областях знания. О чем бы он ни писал: об участии крепостного крестьянства или о судьбах русского дворянства, о положении писателя в обществе или о влиянии печатного слова, об английском парламенте или о способах рекрутского набора в европейских странах — во всем чувствуется пушкинский политический кругозор, пушкинский ум и глубина проникновения в действительность.

Нет оснований говорить о двух планах статьи, о двух перемежающихся голосах: обывательском и собственно пушкинском. Если бы в статье звучали два голоса, то это, безусловно, должно было как-то сказаться в стилистической структуре произведения. Между тем стиль «Путешествия из Москвы в Петербург» в целом однороден, но в начале и в конце почти

<sup>33</sup> Курсив мой. — С. А.

<sup>34</sup> Совершенно очевидным это становится в главе «Шлюзы», в которой последовательно выдержан рассказ от первого лица. Автор вспоминает о помещике-тиране, которого он знал лет пятнадцать тому назад: «Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить». Глава написана в конце 1834 года, следовательно, воспоминание это относится к 1819—1820 годам. Вне всякого сомнения, здесь Пушкин говорит о себе, вспоминает о своей юности, ибо известно из первой главы, что наш путешественник, который пятнадцать лет назад с такими мучениями добирался до Петербурга, был в те годы уже немолодым человеком.

каждой главы имеются отдельные фразы или обороты речи, которые выпадают из всего стилистического строя произведения и кажутся чужеродными. Однако этот стилистический слой имеет иной характер, чем тот, который связан с образом путешественника.

Вот начало главы «Слепой»: «Слепой старик поет стих об Алексее, божем человеке. Крестьяне плачут; Радищев рыдает вслед за ямским собранием ... о природа! колико ты властительна! Крестьяне дают старику милостыню. Радищев дрожащею рукою дает ему рубль. Старик отказывается от него, потому что Радищев дворянин» (XI, 258).

Содержание главы пересказано с язвительной иронией; цитаты из Радищева, введенные в формы несобственной прямой речи, выделены как объект для насмешек.

Еще резче тон в начале главы «Ломоносов»: «В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *Росского Пиндара*. Достоин замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение *улочками* уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властью, на которую напал с такой *безумной дерзостью*»<sup>35</sup> (XI, 248). Это не литературная критика, а скорее нападки на злоумышленника. Такой обвиняющий тон и нарочитый подбор негативных эпитетов несвойственны Пушкину.

В главе «Москва» в первых строчках читаем: «Радищев ... бросает желчью *напитанное перо*» (XI, 245), а в конце главы о немецкой философии сказано так: «Она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и *вредных мечтаний*, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!»<sup>36</sup>

«Желчь напоитанное перо», «ужасное влияние», «вредные мечтания», «мятежные строки», «безумная дерзость» — это вкрапленные в пушкинский текст официальные формулы. Б. С. Мейлах убедительно доказал, что большую часть отрицательных формулировок, относящихся к Радищеву, Пушкин заимствовал из замечаний Екатерины на полях «Путешествия из Пестербурга в Москву» и из официальных правительственных документов.

Подобные фразы встречаются почти в каждой главе пушкинской статьи; они имеют свою стилистическую окраску и явственно отличаются от остального текста. Этот стилистический слой насыщен оборотами речи, характерными для официозной журналистики, эмоционально-оценочными эпитетами, пренебрежительно или враждебно характеризующими Радищева и его книгу (кстати, такой прием Пушкин применял неоднократно, он встречается и в статье «Александр Радищев», и в «Записке о народном воспитании»); иногда впечатление неоднородности стиля создают книжная и архаическая лексика и тяжеловесные устаревшие синтаксические конструкции (главы «О цензуре», «Этикет»).

Такого рода вставки введены в начале или в конце глав; они должны подчеркивать, что путешественник ничего общего не имеет с дерзким бунтовщиком Радищевым. Но стиль статьи в целом — это стиль пушкинской политической прозы, на фоне которого выделяются две инородные струи: первая связана с личностью путешественника, вторая вводит в пушкинское «Путешествие» тон и фразеологию официозной печати. Функция этих инородных стилистических элементов одна и та же: они присут-

<sup>35</sup> *Росского Пиндара* — курсив Пушкина, остальное — курсив мой, — С. А.

<sup>36</sup> Курсив мой, — С. А.

ствуют почти в каждой главе статьи как своеобразное обрамление и создают впечатление о политической благонадежности автора.

Все сказанное подтверждает мысль о том, что образ путешественника введен в статью как обрамляющий мотив: он должен был лишь объяснить выход в свет произведения, подписанного новым, неизвестным до тех пор именем, и внушить цензорам впечатление, что автор ничем не опасен для правительства.

Нельзя относить трудные места статьи, которые кажутся не соответствующими пушкинским взглядам, за счет путешественника, если они не имеют соответствующей стилистической окраски. Анализируя сложный, во многом неясный и противоречивый текст «Путешествия из Москвы в Петербург», нужно исходить из того, что в нем отразились взгляды самого Пушкина в той форме, в какой это удалось сделать в подцензурной статье.

## 4

Интересные данные для уяснения замысла Пушкина дает изучение творческой истории «Путешествия из Москвы в Петербург».

Все, что нам известно о датировке черновых и беловых автографов «Путешествия»,<sup>37</sup> дает возможность говорить о трех этапах работы Пушкина над этой статьей.

Первый комплекс глав («Шоссе», «Браки», «Ломоносов», «Русская изба», «Городня», «Клин») был написан в короткий срок в начале декабря 1833 года. В этот период Пушкин работал над статьей быстро, увлеченно, его не отвлекали никакие другие литературные замыслы (параллельно с «Путешествием» он занимался лишь «Дневником»). В главах, написанных в первые недели декабря 1833 года, центральное место занимает крестьянская тема. В середине месяца работа над «Путешествием» была прервана, по-видимому в связи с запрещением «Медного всадника». Неудача с «Медным всадником» была для Пушкина непредвиденным ударом, который лишил его душевного спокойствия и уверенности в том, что он сможет литературными трудами обеспечить семью. Состояние творческого подъема, с которым он вернулся из Болдина, надолго оставило поэта. Теперь издание «Истории Пугачева» становится для него жизненно важным делом. Пушкина чрезвычайно волнует судьба рукописи «История Пугачева», переданной на просмотр царю. «Если не пропустят Историю Пугачева, — пишет он в середине декабря Нащокину, — мне придется ехать в деревню» (XV, 99). И в довершение всего 30 декабря Пушкин узнает о «высочайшей милости», о том, что он пожалован в камер-юнкеры. Поэт воспринял это как оскорбление. По словам П. В. Нащокина, «Вельгорский и Жуковский должны были обливать холодной водой нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием. Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю».<sup>38</sup>

Все эти волнения, тягостные материальные заботы и хлопоты по изданию «Истории Пугачева» отвлекли Пушкина от его публицистической статьи.

Поэт продолжил работу над ней зимой 1834 года. Теперь в черновой рукописи новые главы «Путешествия» перемежаются со статьей «О ничто-

<sup>37</sup> О датировке «Путешествия» см.: В. Гиппиус. Пушкин и Гоголь. «Ученые записки Пермского Государственного университета», 1931, вып. 2, стр. 81—86.

<sup>38</sup> Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей Бартеневым в 1851—1860 годах. [М.—Л.], 1925, стр. 42—43.

жестве литературы русской» и набросками других произведений («Я возмужал...», «Папесса Иоанна»). Вернувшись к работе над статьей после значительного перерыва, Пушкин пишет урывками. Очень любопытен выбор материала на этом этапе работы. Прежде всего поэт обратился к главе «Ломоносов», которую он ранее считал законченной, и написал вторую часть главы. Затем, пропустив четыре раздела радищевского «Путешествия» («Завидово», «Тверь», «Медное», «Торжок»), обратился к главе «Выдропуск», причем использовал из нее только один мотив — рассуждение об этикете. Последняя глава «Путешествия из Москвы в Петербург», содержащаяся в этой черновой тетради, — «О цензуре».

Эти страницы пушкинского «Путешествия» отражают переживания последних месяцев. Вторая часть главы «Ломоносов» и глава «Этикет», несомненно, вызваны толками по поводу придворного чина поэта. Защищая Ломоносова от обвинений в лести, Пушкин горячо доказывает, что выполнение общепринятых форм этикета не может унижить писателя в глазах общества и не мешает ему сохранить свою независимость. В этих взволнованных строках чувствуется личное, наблевшее. Используя вольную форму сюжетно не связанных между собою главок, Пушкин вносил в статью все то, что волновало его, что он хотел сказать русскому обществу.

К концу 1834—началу 1835 года относится последний этап работы над статьей. В это время написаны главы «Тверь», «Медное», «Шлюзы», отредактированы, переработаны и переписаны набело все черновые страницы; рукопись сдана переписчику.

По материалу, тону и общей направленности главы, написанные Пушкиным в конце 1834 года, существенно отличаются от тех, которые были созданы ранее. В процессе работы над статьей не только расширялся замысел Пушкина, но в какой-то мере менялась и его политическая позиция.

Эволюция мировоззрения Пушкина после 1825 года еще мало изучена. В большинстве случаев исследователи не идут дальше общих утверждений о том, что Пушкин и после разгрома декабрьского восстания находился в русле декабристской идеологии или что он «пошел дальше» декабристов. Но еще не сделано попытки на основе всех известных нам фактов изучить, как складывались и эволюционировали политические взгляды Пушкина после 1825 года, а ведь они не были застывшими и неизменными. В сложнейших условиях эпохи реакции Пушкин шел вперед отнюдь не гладким и прямым путем. Изучение творческой истории «Путешествия из Москвы в Петербург» и приоткрывает нам один из моментов эволюции политических взглядов поэта. Последние страницы «Путешествия из Москвы в Петербург», написанные после того кризиса, который поэт пережил летом 1834 года, имеют особый характер и дают важный материал для уяснения политической позиции Пушкина этого периода.

## 5

Рассмотрим прежде всего датированные декабрем 1833 года главы, в которых поэт касается крестьянского вопроса или выражает свое отношение к политике николаевского правительства.

Уже вступительная глава («Шоссе») вводит нас в круг тех больших вопросов современности, которые являются предметом внимания пушкинского путешественника. Автор «Путешествия из Москвы в Петербург»

с первых же страниц берет на себя смелость выступать как публицист, оценивающий мероприятия правительства, государственные законы и даже общее направление внутренней политики.

Первая часть главы «Шоссе»<sup>39</sup> представляет собой рассуждение о дорогах, которое при поверхностном чтении может показаться незначительным, но на самом деле дает возможность Пушкину выступить с важным политическим заявлением.

Рассуждение о дорогах мастерски построено. Вначале автор записок сообщает о том, что он «вздумал съездить в Петербург», узнав об окончании новой московской дороги. В связи с этим путешественник вспоминает о своей последней поездке в столицу, когда он «шесть дней тащился по несносной дороге» и добрался до места «полумертвый» от усталости. Теперь же путешествие по «великолепному» «гладкому» шоссе стало быстрым и удобным и не грозит никакими неприятностями. От этих личных наблюдений и воспоминаний автор записок естественно и непринужденно переходит к более серьезным вопросам и делает такие выводы: «Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: *правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться*» (XI, 244).<sup>40</sup> Фраза, которая началась с восхваления, заканчивается поучением. Путешественник в сдержанной форме выражает свое пожелание: правительство во всем должно быть инициатором прогрессивных начинаний. Так от частного случая Пушкин переходит к обсуждению политики правительства и далее делает еще более широкие обобщения: «Не могу не заметить, что со времен возведения на престол Романовых правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно». В главе «Шоссе» эти слова, обращенные русским дворянином непосредственно к правительству, звучат как призыв к прогрессивным преобразованиям.<sup>41</sup> Призывая правительство идти по пути прогресса и просвещения, Пушкин ссылается на опыт истории. Он уверяет, что для

<sup>39</sup> Во второй части главы путешественник говорит о преимуществе скучных книг, к числу которых он относит и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Он уверяет, что книга эта уже потеряла свою заманчивость, не вызывает прежнего интереса у читающей публики, и ее можно лишь случайно встретить «на пыльной полке библиомана». Это длинное отступление было необходимо в первой главе, чтобы иметь право в дальнейшем открыто говорить о произведении Радищева.

<sup>40</sup> Курсив мой. — С. А.

<sup>41</sup> Слова «правительство у нас всегда впереди» буквально повторяются в бумагах поэта трижды: в этой статье (1833), в «Материалах для истории Петра» (1835—1836) и в «Заметках при чтении Шлецера» (1836). С другой стороны, в записях Пушкина не только 20-х, но и 30-х годов встречается немало рассуждений, прямо противоположных этому утверждению. Известно, что эта формула была широко распространена в публицистике того времени. Она встречается в произведениях Герцена, Белинского, Чаадаева, В. Ф. Одоевского, Погодина и других публицистов 30—начала 40-х годов. Наиболее полный комментарий по этому вопросу дан в рецензии Ю. Г. Оксмана «Новое издание Герцена» (см.: «Известия АН СССР, отд. языка и литературы», 1956, т. XV, вып. 2, стр. 169—170). Ю. Г. Оксман считает слова Пушкина в главе «Шоссе» перефразировкой мысли П. Я. Чаадаева, высказанной в проекте докладной записки, подложившей представлению Бенкендорфу после закрытия в 1832 году журнала «Европеец»: «Везде правительства следовали импульсу, который им давали народы, и поныне следуют оному, между тем как у нас правительство всегда шло впереди нации и всякое движение вперед было его делом» (Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, т. II, 1914, стр. 306—307). См. также комментарии к этим строкам «Путешествия» в работах Б. П. Городецкого (Пушкин. Исследования и материалы, т. III, стр. 234—235), Б. С. Мейлаха (Пушкин и его эпоха, стр. 399) Н. Л. Бродского (Пушкин. ГИХЛ, М., 1937, стр. 747—779).

всех Романовых политика просвещения была традиционной и стремится убедить императора Николая не отступать от этой традиции.

В черновой редакции эта же мысль высказана более полно, но в очень сложной форме: «Я начал записки свои не для того, чтобы льстить властям, товарищ, избранный мной, худой внушитель ласкательства, но не могу не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму» (XI, 223).

Основной смысл здесь тот же: «правительство всегда впереди», но заключительные строчки, которые не попали в окончательный текст, придают всему высказыванию неожиданно новое звучание. Здесь содержится не только призыв к политике прогресса и просвещения, но и грозное предостережение. Сила русского самодержавия, пытается убедить Пушкин царя, в том, что оно впереди народа на поприще просвещения. Если же правительство окажется «позади народа», его может постигнуть такая же участь, как и Бурбоны во Франции. Характерна выразительная деталь: Пушкин пишет, что Бурбоны были изгнаны «вилами и каменьями»; вилы — это скорее атрибут русского крестьянского бунта, чем восстания парижан. При пушкинской точности и скупости деталей это очень многозначительно.

В этом отрывке намеренно нарушена логическая связь, так как Пушкину пришлось направить обращение не по адресу: «Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину». Ясно, что не к давно казненным королям обращается поэт с запоздалым советом, а к ныне царствующему монарху. Эту в какой-то мере двусмысленную фразу Пушкин опустил в белой редакции, учитывая прежде всего, что такое сопоставление судьбы Бурбонов и Романовых не могло появиться в печати. В окончательном тексте обращение путешественника к правительству выглядит осторожным и благонамеренным.

Как видим, Пушкин начал свою статью с очень осторожного по форме обращения к правительству, призывая его действовать в духе просвещения.

## 6

Важнейшее место в пушкинском «Путешествии» заняла крестьянская тема, которой посвящены шесть из двенадцати главок статьи. В годы николаевского царствования крестьянский вопрос обсуждался на страницах печати лишь с точки зрения рационализации помещичьего хозяйства: как спастись помещику от разорения и добиться, чтобы мужик был «исправным», — все это без малейшего намека на изменение системы, на тяжесть крепостного права для крестьянства.<sup>42</sup> Авторами всех этих статей и писем были убежденные крепостники, они рассматривают положение в деревне лишь с узко классового, сугубо деляческой, помещичьей точки

<sup>42</sup> Лишь дважды за тридцать лет (с 1825 по 1855 год), в 1842 и 1847 годах, в «Отечественных записках» появились статьи, в которых была сделана попытка в завуалированной форме намекнуть на невыгодность, неэкономичность крепостного труда. В обоих случаях последовали специальные указания правительства не пропускать ничего подобного, хотя обе работы были чисто научного характера и могли быть доступны очень ограниченному кругу читателей. См.: В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. II. СПб., 1888; «Отечественные записки», 1842, т. 25, отд. IV, стр. 1—12 и 1847, т. 52, отд. IV, стр. 1—30.



зрения. Бедность и разорение крестьян они объясняют «падением нравов», тягой крепостных к «роскоши». Дворянские публицисты николаевской эпохи больше всего опасаются каких-либо перемен. «Да не коснется же нас никакой помысел или желание нововведений», — заклинают они.<sup>43</sup>

В отличие от всей этой благонамеренной публицистики в статье Пушкина во весь голос ставится вопрос о бедственном положении народа, о жестокостях крепостного права, о настоятельной необходимости политических преобразований. Опираясь главным образом на книгу Радищева, Пушкин в «Путешествии» дает такой подбор фактов, который отражает наиболее тягостные стороны существования подневольного, бесправного крепостного крестьянина. В своих главах-очерках поэт пишет о *жесточайшей эксплуатации* крепостных помещиками («Шлюзы»); о *бесправии* крестьянина, доходящем до того, что человек в XIX столетии продолжает быть предметом купли-продажи («Медное»); о несчастиях «жизни семейственной», происходящих от *подневольных браков* («Браки»); о *тягчайших повинностях* в пользу государства, которые приходится только на долю крестьянина, таких, как рекрутчина или натуральная дорожная повинность («Рекрутство», «Шоссе»). Наконец, самое характерное: именно в главе «Русская изба», где дана потрясающая картина *крестьянской нищеты, голода, разорения*, мы находим рассуждения о размерах податей, о барщине и оброке: в сознании поэта нищета крестьянина естественно связывается со степенью крепостнической эксплуатации.

Ненависть к крепостничеству во всех его проявлениях определила такой подбор материала.

Пушкин пользуется любым предлогом, чтобы сказать о необходимости преобразований. В первой главе, как мы уже видели, по поводу постройки нового шоссе, начатого «по повелению императора Александра», поэт замечает, что Романовы «всегда были впереди на поприще образованности и просвещения», и призывает Николая I тоже следовать по пути прогрессивных начинаний.

Комментируя новый закон, запрещавший вступать в брак ранее 18 лет, Пушкин называет его лишь «шагом к улучшению». В контексте это звучит так: «Неволя браков давнее зло. Недавно правительство обратило внимание на лета вступающих в супружество, это уже шаг к улучшению»<sup>44</sup> (XI, 256). Здесь опять та же позиция: Пушкин ждет от правительства дальнейших шагов к улучшению положения крестьян, ведь новый закон не устранил главного зла — *неволи браков*.

В заключительной части следующей главы — «Русская изба», где дан общий взгляд на положение русского крестьянства, Пушкин прямо утверждает: «Конечно: должны еще произойти великие перемены». Смысл этого заявления не могут затемнить последующие осторожные замечания: «...но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного».

Даже говоря о рекрутчине, которую Пушкин считал «тягчайшей из повинностей народных», он предлагает новый порядок поставки рекрутов. По мнению Пушкина, помещики не должны придерживаться очереди при наборе, как это было принято, а сдавать в солдаты воров и провинившихся перед миром людей. Он пишет в главе «Рекрутство»: «Очередь, к которой придерживаются некоторые помещики-филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Лучше употребить сии

<sup>43</sup> См.: Ф. Дурасов. Взгляд на положение крестьян в России и сравнение их с классом рабочего народа в иностранных государствах. В кн.: Труды имп. Вольного экономического общества за 1842 год, треть последняя, СПб., 1843, стр. 136—155.

<sup>44</sup> Курсив мой, — С. А.

права в пользу наших крестьян<sup>45</sup> и, удаляя от среды их вредных негодяев, людей, заслуживших тяжкое наказание и проч., делать из них полезных членов общества» (XI, 261). Эта мысль возникла у Пушкина осенью 1833 года в Болдине, где как раз проходил рекрутский набор. Крестьяне настоятельно просили его поставить в рекруты от Болдина пятерых воров, с которыми не было никакого сладу. Пушкин просьбу крестьян выполнил. Правда, в конечном итоге эта попытка окончилась неудачей,<sup>46</sup> но важно, что поэт попытался поднять вопрос об изменении поставки рекрутов в интересах крестьян. Лейтмотивом каждой главки, посвященной крестьянской теме, звучащим то громче, то тише, является призыв к преобразованиям. Повсюду сквозит ухищрения подцензурной печати до нас доносится голос подлинного защитника народных интересов. Но с другой стороны, в главах, написанных в декабре 1833 года, наиболее отчетливо проявились иллюзии Пушкина, что можно убедить Николая I и его правительство действовать в духе прогресса и просвещения. Эти иллюзии и лежат в основе тех утопических, половинчатых и противоречивых предложений, которые кое-где пробует высказать поэт.

## 7

В работе Б. П. Городецкого есть очень интересное мнение о том, что в статье «Александр Радищев» Пушкин сам сказал о целях и программе своего «Путешествия». Действительно, это так. Поэт начал свою публицистическую статью, с тем чтобы указать верховной власти «на благо, которое она в состоянии сотворить», и «представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян» (XII, 36). Очевидно, так представлял себе сам Пушкин вначале цель своего труда. Однако он не смог удержаться в рамках этой благоразумной программы.

После кризиса, который пережил поэт летом 1834 года, в его политической позиции происходит заметный сдвиг. Пушкин осознает к этому времени полную бесперспективность тех надежд, которые он когда-то связывал с воцарением Николая I. Еще 21 мая 1834 года поэт записал в дневнике о Николае как государственном деятеле: «В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого» (XII, 330). В письмах и дневниковых записях этого периода Пушкин отзывается о царе с негодованием и презрением: «Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене, и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудроно быть самодержавным» (запись в дневнике от 10 мая 1834 года — XII, 329). А в письме к Наталье Николаевне от 11 июня поэт весьма своеобразно оправдывает царя: «На того я перестал сердиться, потому что, toute réflexion faite, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, по неволе привыкнешь к <---->, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух кабы мне удрать на чистый воздух» (XV, 159).

Попытка поэта порвать с официальным Петербургом, уйти в отставку закончилась крахом — Бенкендорф и Николай считали: «Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе».<sup>47</sup> Вынужденный против

<sup>45</sup> Курсив мой. — С. А.

<sup>46</sup> Рекруты от Болдина не были приняты «за самое дурное поведение» (см.: Летописи Государственного Литературного Музея, кн. I, стр. 114, 116, 118).

<sup>47</sup> Выписки из писем гр. А. Х. Бенкендорфа к императору Николаю I о Пушкине. СПб., 1903, стр. 9.

воли остаться на государственной службе и носить придворный мундир. Пушкин, однако, с этого времени больше не считает себя обязанным сохранять лояльность по отношению к николаевскому правительству. В 1834 году поэт сказал Алексею Вольфу, что он «возвращается к оппозиции».<sup>48</sup>

В последних главах «Путешествия», написанных в конце 1834 года, отчетливо сказался этот поворот в политической позиции Пушкина. В них явственно меняется адрес статьи. Здесь поэт обращается уже не к царю и власть имущим, а к широкому демократическим кругам русского общества. В главах «Медное» и «Шлюзы» нет обращений к правительству, нет и осторожных предложений, которые могли быть приняты «умными» помещиками. В последних разделах статьи подобран такой материал, который должен был оказать эмоциональное воздействие на читателей, вызвать негодование к возмущению, заставить задуматься об ужасах крепостного права и порядках в стране.

В главе «Медное»<sup>49</sup> Пушкин, отказавшись от прежней осторожности, открыто обличает крепостное право. Он прямо и недвусмысленно выступает против позорнейшего обычая крепостнической эпохи — против торговли людьми.<sup>50</sup>

Приводя отрывок из радищевского «Путешествия», Пушкин называет картину публичного торга, где с аукциона распродают крестьянские семейства, ужасной. Более того, он считает все это правдоподобным и для своего времени и может лишь мечтать, как и Радищев, об уничтожении этого гнусного обычая рабства. «Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях, с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле»,<sup>51</sup> — так заканчивает поэт главу «Медное».

Политический смысл этого выступления Пушкина можно понять лишь при учете всех тех фактов живой действительности, на которые поэт откликнулся в статье.

Дело в том, что Пушкин выступает против купли-продажи крепостных примерно через год-полтора после опубликования закона 2 мая 1833 года, запрещавшего продажу крестьян без земли в уплату частных долгов и продажу с раздроблением семейств. А в главе «Медное» говорится о продаже крепостных так, как будто закона 2 мая не существовало и положение за 45 лет после издания книги Радищева несколько не изменилось.

Такое умолчание не могло быть случайным — оно своеобразно выражало мнение Пушкина об этом законе.

<sup>48</sup> А. Вольф. Дневники. М., «Федерация», 1929, стр. 373.

<sup>49</sup> В черновой редакции эта часть имела другой заголовок: «Рабство»; из цензурных соображений Пушкин вынужден был его заменить, и поэтому в белой редакции из всех двенадцати глав «Путешествия» только в этом заголовке сохранилось первоначальное (как у Радищева) название почтовой станции, все остальные части имеют тематические заглавия (ср., например: «Рекрутство» вместо «Городня», «Русская изба» вместо «Пешки» и т. д.).

<sup>50</sup> По мнению виднейших историков крестьянского движения, этот обычай сближал русское крепостное право с рабовладением. «Одним из сильнейших признаков почти полного слияния понятия крепостного и раба служило право помещика на куплю и продажу крепостных», — пишет И. И. Игнатович в монографии «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (Л., 1925, стр. 41).

<sup>51</sup> Эта фраза неоднократно цитировалась в литературе о Пушкине. Некоторые исследователи полагают, что ее можно непосредственно отнести к заключительным словам радищевской главы «Медное»: «... все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Против этих строк Екатерина II пометила: «Надежду полагает на бунт от мужиков». Но это явная натяжка. Все, что нам известно о Пушкине, не позволяет предполагать, что он в 30-е годы мог мечтать о крестьянском восстании. Истолковывать в таком смысле концовку главы нельзя.

Закон 2 мая 1833 года имел длинную предысторию. Обсуждение вопроса о запрещении продажи крестьян без земли началось в 1826 году в так называемом Секретном комитете 6 декабря по инициативе М. М. Сперанского, который в своей записке по крестьянскому вопросу предложил ряд постепенных и осторожных преобразований<sup>52</sup> с целью предотвращения назревавшего кризиса крепостнической системы. В частности, Сперанский предложил запретить продажу крестьян без земли. Он считал, что такой закон будет иметь очень важные последствия: крестьяне будут тогда «крепкими владельцу по земле, а не лицу». Отстаивая предложенные им законодательные меры, Сперанский утверждал, что они «прекратят личную продажу их (крестьян, — С. А.) в виде собственности или движимого имущества; уничтожат то унижительное понятие, какое внутри и вне России имеют о рабстве крестьян».<sup>53</sup> Он полагал, что закон о запрещении продажи крестьян без земли приведет к уничтожению личной зависимости крестьянина от владельца, к тому, что вместо рабства будет «законное» крепостное право.

Комитет в основном одобрил записку Сперанского. В 1827 году был создан даже особый Комитет, который должен был специально заняться подготовкой законопроекта о запрещении продажи крестьян без земли. Но деятельность этих комитетов не привела к реальным результатам. Эти совещательные органы были бессильны что-либо сделать для практического осуществления выработанных ими проектов. Более трех лет длилось обсуждение новых законопроектов в секретных комитетах, и наконец 6 марта 1830 года в Государственный совет был представлен «Проект дополнительного закона о состояниях», куда входил, в частности, пункт о запрещении продажи крестьян без земли.

Пушкин с напряженным интересом ловил все сведения о действиях секретных комитетов и, по-видимому, надеялся, что правительство Николая I пойдет по пути необходимых для государства преобразований. Вспомним строчки из стихотворения «Друзьям»: «Россию вдруг он оживил войной, надеждами,<sup>54</sup> трудами». 16 марта 1830 года Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Огражденные дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу. . . Москва утихла и присмирела. Жду концертов и шуму за проект» (XIV, 69—70). Это письмо написано через несколько дней после того, как законопроекты из Секретного комитета поступили на обсуждение в Государственный совет. Как видим, Пушкин был очень хорошо осведомлен о всех попытках преобразований, намечавшихся в правительственных сферах. Он с горячим одобрением встретил эти проекты, нетерпеливо ждал их опубликования, считая, что правительство встало на путь политических преобразований.

Как известно, дальнейшая история этих законопроектов была смехотворно нелепой: Государственный совет в июне 1830 года передал их на

<sup>52</sup> Сперанский предлагал в этой записке: 1) начать преобразования с устройства казенных крестьян, чтобы их улучшившееся благосостояние и новая система управления послужили в будущем образцом для устройства помещичьих крестьян; 2) запретить продажу крестьян без земли; 3) пересмотреть порядок откупа крепостных на волю. Собственно, это были те вопросы, которые в течение последующих 25 лет бесплодно обсуждали секретные комитеты николаевского царствования.

<sup>53</sup> Цитирую по кн.: И. Н. Жданов, Сочинения, том II, СПб., 1907, стр. 316—318.

<sup>54</sup> Курсив мой, — А. С.

утверждение Николаю, который, не высказав определенного мнения, отослал проекты в Варшаву на рассмотрение великому князю Константину Павловичу. Константин увидел в них повод для волнений и смут и высказал решительное возражение против «введения перемен вдруг во многих предметах». Замечания великого князя были переданы председателю Государственного совета Васильчикову, тот подготовил объяснения, но дальнейшего хода этому делу не было дано.

В связи с польскими событиями и холерными бунтами обсуждение крестьянского вопроса было прервано на неопределенное время. Лишь в 1833 году Государственный совет вновь вернулся к рассмотрению законопроекта о запрещении безземельной продажи крестьян. Однако Государственный совет не решился запретить вообще продажу крестьян без земли, и дело было отложено «до более благоприятных обстоятельств». Результатом дебатов 1833 года явился лишь именной указ сенату «О запрещении принимать крепостных людей в обеспечение и удовлетворение частных долгов и отчуждать их по купчим и дарованным записям отдельно от семейства их»,<sup>55</sup> который, в сущности, только восстанавливал в силе соответствующие указы 1771 и 1788 годов, не выполнявшиеся ни в XVIII ни в XIX столетии. Закон 2 мая 1833 года оказался жалкой пародией на первоначальный проект Сперанского.

Понятно, какое впечатление мог произвести на поэта этот жалкий указ, изданный, наконец, после стольких оттяжек, многолетних обсуждений, явившийся результатом секретных совещаний и длительных прений в Государственном совете. Причем нужно учесть, что Пушкин вполне представлял себе, каким был первоначальный вариант законопроекта. Помимо тех сведений, которые он обычно получал от лиц, близких к правительственным кругам, Пушкин мог знать лично от Сперанского о его записке 1826 года. В 1834 году поэт неоднократно встречался со Сперанским,<sup>56</sup> бывал у него дома. В беседах Пушкина и Сперанского большое место занимали вопросы современной политики.

Можно с достаточным основанием предполагать, что Пушкин отчетливо представлял себе разницу между первоначальным проектом и окончательной редакцией закона о запрещении безземельной продажи крепостных. Естественно, что он воспринял закон 2 мая 1833 года как новое свидетельство бессилия правительства, его неспособности провести в жизнь даже те преобразования, необходимость которых безусловно признали в высших государственных сферах. К тому же этот «именный указ Сенату» вряд ли имел практическое применение. В. И. Семевский, один из лучших знатоков крестьянского вопроса в России, полагал, что закон 2 мая не соблюдался, так как в 1846 году пришлось снова подтверждать его в связи с частыми нарушениями.<sup>57</sup>

Очевидно, поэт считал новый закон, так же как и другие правительственные указы этого времени, «одной из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства» (Дневник, запись от 30 мая 1834 года). Поэтому он и умолчал о нем в главе «Медное», хотя в других главах откликнулся и на менее важные постановления (например, комментировал закон, определяющий

<sup>55</sup> Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, т. VIII, отд. I, СПб., 1834, стр. 246, № 6163.

<sup>56</sup> Пушкин упоминает о встречах со Сперанским в дневнике (запись от 2 апреля 1834 года) и в письме к жене от 29 мая 1834 года. М. А. Корф в биографии Сперанского указывает, что поэт посещал его в 1834 году, когда печаталась «История Пугачева» (типография II отделения была в ведении Сперанского).

<sup>57</sup> В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. II, стр. 555—556.

возраст, с которого разрешено вступать в брак). Глава «Медное», в сущности, построена так, что становится ясно: правительственный указ не уничтожил торговли крепостными; об искоренении рабства путешественник — современник Пушкина — может только мечтать.

Глава «Медное» говорит о все усиливающемся скептицизме поэта по отношению к преобразовательным возможностям николаевского правительства. Здесь во весь голос высказана ненависть к рабству.

## 8

Пафосом негодования против помещиков-мучителей проникнута глава «Шлюзы». В ней Пушкин откровенно и безоговорочно выражает свое согласие с Радищевым. Из главы «Вышний Волочок» радищевского «Путешествия» Пушкин использует самый обличительный материал — рассказ о помещике, который перевел своих крепостных на месячину и заставил их все дни года работать на себя. В этой главе Пушкин не только отказывается от какой бы то ни было полемики с Радищевым, но даже усиливает обличительный смысл этого рассказа, дополняя его аналогичными фактами. Непосредственно после отрывка из главы «Вышний Волочок» поэт помещает потрясающий рассказ о помещике-мучителе, убитом своими крепостными.

Этот помещик хозяйничал так же, как и землевладелец, описанный в «Путешествии из Петербурга в Москву», и «в три года привел крестьян в жестокое положение». «Крестьянин не имел никакой собственности, — пишет Пушкин, — он пахал барской сохой, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина. — словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика» (XI, 267).

Поэт без обиняков называет этого помещика «тираном» и «мучителем», но в отличие от Радищева Пушкин от начала до конца сохраняет бесстрастный тон нравоописателя и только средствами иронии дает почувствовать авторскую оценку событий.

Великолепная пародийная концовка взрывает изнутри этот внешне бесстрастный тон и с полной очевидностью раскрывает отношение поэта к помещику-тирану. О смерти помещика Пушкин сообщает так: «Судьба не позволила ему исполнить его предназначения. Он был убит своими крестьянами во время пожара». Высокая лексика (поэт пародирует жизнеописания выдающихся деятелей) и эпически спокойный тон повествования резко противоречат реальному содержанию события: позорной смерти мучителя от рук собственных крестьян. Убийственная ирония Пушкина производит не менее сильное впечатление, чем прямые обличения Радищева.

Вся логика изложения свидетельствует о том, что поэт считает свершившееся возмездие справедливым. С таким же чувством и почти в тех же выражениях писал он в это же время о бесславной кончине палача крестьян — екатерининского генерала Кара: «Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел однако же смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью».<sup>58</sup>

То, что Пушкин окончил свой рассказ о помещике-мучителе сообщением о бунте, имело особый смысл. История о владельце двух тысяч душ, несомненно, была подсказана Пушкину какими-то жизненными впечатле-

<sup>58</sup> См. «Замечания о бунте» (§ 7), написанные в декабре 1834 года (IX, 372).

ниями, ибо именно в 30-е годы участились случаи перевода крестьян на месячину. Все наиболее авторитетные историки крестьянства утверждают, что месячина, которая в XVIII веке была еще очень редким явлением, получила наибольшее распространение в 30—50-е годы XIX века.<sup>59</sup>

Пушкин со свойственной ему зоркостью подметил, что месячина, самая тягостная форма крепостнической эксплуатации, имеет тенденцию к развитию. Несомненно, он сам и в молодости на Украине, и позднее в великорусских губерниях встречался с помещиками, которые вводили у себя новую систему хозяйничания. Было бы, конечно, очень интересно установить, кто именно был прототипом помещика-тирана из главы «Шлюзы», но можно заранее сказать, что в истории о владельце двух тысяч душ Пушкин дал художественно обобщенную картину, а не описание одного частного факта. Смысл этой маленькой притчи в ее концовке, которая предупреждает о зреющем народном гневе, о том, что народ не прощает своим мучителям. И судя по всем известным нам данным, этот эпилог привнесен в историю о крестьянах-месячниках самим Пушкиным. Нужно учесть, что в 20—30-е годы случаи таких серьезных крестьянских волнений, где дело доходило до пожара и убийства помещика только по причине перевода на месячину, были крайне редки. Гораздо чаще волнения крестьян-месячников заканчивались тем, что посылали ходяков с жалобой, и обычно губернские власти такие имения брали в опеку. Подобные факты описаны в работе И. И. Игнатович «Месячина в России в первой половине XIX века».<sup>60</sup> Опекой окончилось дело о помещике Повало-Швейковском, о котором сообщается в отчете III отделения за 1833 год: «...открыто, что Повало-Швейковский, введя в имении своем новую систему управления, по которой ни один крестьянин не имел своей собственности, принуждал поселян к непомерным работам, ежегодно отбирал у них снятый с полей хлеб, складывал в общий магазин и выдавал из оного весьма недостаточное количество для прокормления, отчего некоторые крестьяне принуждены были питаться подаванием. По судебному приговору имение Повало-Швейковского взято в опеку».<sup>61</sup>

Из всех описанных в литературе волнений крестьян-месячников, имевших место при жизни Пушкина, можно указать лишь на одно, которое произошло в крупном поместье, где насчитывалось около двух тысяч душ крепостных. Речь идет о волнениях в деревнях помещика Стремеухова.<sup>62</sup> Это было громкое дело, на шумевшее в начале 20-х годов. Но и в этом случае после расследования имение было взято в опеку, до убийства помещика дело не дошло.

Пушкинский финал рассказа о помещике-мучителе скорее всего подсказан не каким-то одним конкретным фактом, а отражает то ощущение назревающих в России народных мятежей, которое не оставляло поэта после 1831 года. Всякий раз, когда он начинал писать о русском кре-

<sup>59</sup> В работе Ю. В. Кожухова «Помещичье хозяйство центрального земледельческого района России в годы кризиса крепостной системы» указано: «Месячина, получившая особенное распространение в 30—50-е годы XIX века, представляла собою крайнюю степень крепостного рабства. Ее развитие является ярким свидетельством разложения крепостного хозяйства» («Ученые записки Ленинградского педагогического института им. Герцена, исторический факультет», т. 102, Л., 1955, стр. 91). См. также: И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Л., 1925, стр. 157; Е. А. Мороховец. Крестьянская реформа. М., 1937, стр. 28—29.

<sup>60</sup> «Историк-марксист», 1927, т. III, стр. 90—116.

<sup>61</sup> Крестьянское движение 1827—1869 годов, вып. I. Подготовил к печати Е. А. Мороховец. Соцэкиз, М., 1931, стр. 15.

<sup>62</sup> Приношу сердечную благодарность И. И. Игнатович, которая указала мне на дело Стремеухова и разрешила использовать материалы ее неопубликованной работы «Крестьянское движение в первой четверти XIX века».

постном крестьянстве, повествование заканчивается бунтом: так было в «Истории села Горюхина», в «Дубровском», так завершается крестьянская тема и в «Путешествии из Москвы в Петербург».

## 9

Главы «Медное» и «Шлюзы» были написаны примерно в то же время, когда создавалась беловая редакция статьи. Переписывая набело страницы «Путешествия», Пушкин смягчал тон там, где приходилось прямо говорить о политике правительства; он существенно переработал главы «Русская изба», «О цензуре», стремясь сделать их доступными для печати. Однако не все правки в беловой редакции носили такой характер.

Очень любопытна вставка к главе «Шоссе», сделанная на полях белой рукописи. В ней идет речь о состоянии русских дорог и о бестолковой организации дорожного строительства. Рассказ о «мудром воеводе» дает представление о том, как обстояло дело с прокладкой дорог в русской провинции. Здесь путешественник с тонкой иронией противопоставляет здравый ум любого мужика полной несостоятельности царских чиновников: «Возьмите первого мужика полной несостоятельности и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророеет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники вынуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы» (XI, 243—244).

Кстати, по таким дорогам ездили все, кому случалась нужда, именно в 30-е годы, в царствование императора Николая I. Осенью 1830 года А. С. Пушкин писал из Болдина своей невесте: «Если что и может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы: представьте себе насыпи с обеих сторон, — ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью, — зато пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам и сменяются над увязшими экипажами» (XIV, 114, 416). Похожий на анекдот рассказ о незадачливом воеводе, как видим, основан на реальных фактах. В самой статье Пушкин многозначительной концовкой дает понять, что речь идет не о далеком прошлом, а о настоящем: «Таких воевод на Руси весьма довольно».

Рассуждая о дорогах, путешественник роняет и такое замечание: «Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы о них менее заботились» (XI, 243). Такой странный взгляд на вещи тут же поясняется: «Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам». Очевидно, Пушкин пришел к такому выводу в какой-то мере и на основе болдинских наблюдений.

У болдинских крестьян дорожная повинность поглощала львиную долю всех общинных расходов. Так, если судить по «Книге для записей расходов мирских денег» за 1824 год,<sup>63</sup> то в этом году было израсходовано на рытье канав и постройку мостов 342 рубля 32 копейки, а все прочие расходы (кроме выплаты долга) составляли 471 рубль 45 копеек. Если обычно разовый расход мирских денег составлял в среднем 2—3 рубля,

<sup>63</sup> П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики, Приложения, стр. 245—251.



то на починку дорог приходилось сразу тратить по 100—200 рублей. Кроме того, в связи с дорожными работами крестьяне вынуждены были давать исправнику и секретарю крупные взятки (20—25, а иногда и свыше 100 рублей).

В рассуждении о дорогах Пушкин продолжает декабристскую традицию. Известно, что Пестель считал самыми тягостными личными повинностями исправление дорог.<sup>64</sup> В солдатской песне Бестужева и Рылеева имеются строки:

Нас поборами царь  
Иссушил, как сухарь,  
То дороги,  
То налоги  
Разорили нас вконец.<sup>65</sup>

А. А. Бестужев в свое время писал: «Устройство непрочных дорог занимало руки трети России, а хлеб гнил на корню».<sup>66</sup> И. Д. Якушкин в своих записках упоминает о дорожной повинности в ряду случаев бесчеловечного угнетения крестьян. По его словам, Александр I, заботясь об устройстве дорог, «не жалел ни денег, ни пота, ни крови своих подданных».<sup>67</sup> И при этом дороги «так были устроены, что в последнее десятилетие его царствования ни по одной из них в скверную погоду не было проезда».<sup>68</sup>

Пушкин упоминает о дорогах в 10-й главе «Онегина» в таком контексте:

Авось, по манью Николая  
Семействам возвратит Сибирь  
.....  
Авось, дороги нам исправят.  
(VI, 522).

Но оказалось, что, когда николаевское правительство вплотную занялось исправлением дорог, это не вызвало одобрения Пушкина. Не случайно именно в это время поэт сделал попытку указать в печати на тяготы дорожной повинности. Как раз в эти годы в России усилилось строительство шоссеиных дорог. 24 марта 1833 года был издан закон об устройстве и содержании дорог в государстве, который намечал шоссирование главных государственных дорог и упорядочение почтовых, уездных и сельских трактов.<sup>69</sup> Согласно этому закону, лишь главные государственные дороги проводились за счет казны, а все остальные строились силами крестьян близлежащих деревень. Усиленное строительство новых дорог увеличило тяготы дорожной повинности для крестьян. Отказываясь от дополнительных дорожных работ, крестьяне шли даже на открытое неповиновение властям. Так, в Ижемской волости Архангельской губернии волнения крестьян, отказавшихся идти на строительство Мезенской дороги, длилось с 1833 по 1838 год.<sup>70</sup>

Как видим, в рассказе о мудром воеводе, внешне как будто безобидном, высказан открытый протест против натуральной дорожной повин-

<sup>64</sup> В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 540.

<sup>65</sup> К. Ф. Рылеев, Полное собрание сочинений, Изд. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 270.

<sup>66</sup> Декабристы. Материалы и документы. 1926, стр. 14.

<sup>67</sup> И. Д. Якушкин, Записки. М., 1905, стр. 12.

<sup>68</sup> Там же, стр. 21.

<sup>69</sup> См.: Краткий исторический обзор развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900, стр. 340—343.

<sup>70</sup> См.: Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 209—211.

ности. Разящая ирония этого рассказа рассчитана на передового читателя. Здесь Пушкин уже не уговаривает, а издевательски высмеивает, давая волю своим истинным чувствам.

Итак, те страницы «Путешествия из Москвы в Петербург», которые были заново написаны Пушкиным в конце 1834 года, явно отличаются и по тону, и по характеру изложения. В них чувствуется непосредственное обращение к передовому общественному мнению. Здесь почти открыто звучит голос врага рабства, защитника народных интересов. Характерно также, что в этих разделах мы не находим никакой полемики с Радищевым. Даже в главе «Русское стихосложение», где упоминается об оде «Вольность», нет никаких реплик «для цензуры». О радищевской оде Пушкин замечает только: «В ней много сильных стихов». В последних главах «Путешествия» выражены те же мысли и настроения, которые несколько позже излились в поэтических строчках «Памятника»: «... вслед Радищеву восславил я свободу».

Однако, исследуя этот этап работы Пушкина над статьей, нельзя впадать в преувеличения. Особый характер глав, написанных в конце 1834 года, никак не может служить доказательством того, что Пушкин во всем солидаризуется с Радищевым, что он призывает к революционным мерам. Таких выводов делать нельзя. В целом в статье, как в фокусе, сосредоточились противоречия мировоззрения Пушкина 30-х годов: его раздумья об участии крепостных и судьбе дворянства; попытки воззвать к верховной власти и скептицизм по отношению к законодательной деятельности правительства; желание предотвратить крестьянский бунт и признание законности, справедливости возмездия тирану-помещику. Тем не менее последние страницы «Путешествия» с документальной точностью свидетельствуют о тенденциях развития политических взглядов поэта, о том, в каком направлении шли его искания в сложнейших условиях эпохи реакции.

Большой интерес в связи с нашей темой представляет характер правок в главе «Русская изба», которая является самым сложным и противоречивым разделом «Путешествия». И черновая, и беловая рукописи свидетельствуют о том, как нелегко давалась Пушкину эта часть статьи, как упорно искал он формулировок, приемлемых для цензуры и не искажающих до основания его мыслей. Сопоставляя автографы, можно заметить, что поэт не менее четырех раз возвращался к уже было законченной главе, причем на каждом новом этапе работы он вносил очень существенные коррективы или в значительной степени перерабатывал текст. В конце концов, говоря словами Герцена, Пушкин «перехитрил» и в ряде случаев настолько затемнил смысл и направленность своих рассуждений, что читателю оказалось не под силу в них разобраться. Больше всего правок во второй части главы, где выражен взгляд на положение русского крепостного крестьянства в целом.

В черновой редакции вторая часть главы представляла собой разговор русского путешественника с англичанином. В этом диалоге Пушкин попытался в очень сложной форме высказать свое отношение к целому ряду важнейших социальных и политических проблем своего времени: путешественники говорят о свободе и гражданских правах человека, сопоставляют судьбу русских крепостных с жизнью английских пролетариев, беседуют об условиях, необходимых для благополучия народного, и т. д. Англичанин доказывает, что пролетарии в его стране несчастнее русских рабов; хотя и считаются свободными гражданами. Они живут в страшной бедности, под угрозой безработицы, трудятся, как каторжные; народ англий-

ский не участвует в законодательстве, парламент не исполняет его требований и т. п. Эта мысль, вложенная в уста английского путешественника, несомненно, отражает искреннее мнение самого Пушкина. Она упорно повторяется во всех трех вариантах главы. Поэт считал, что ужасная жизнь английских рабочих еще хуже рабства (т. е. крепостного права), и его мнение для 30-х годов было вполне справедливо. Пушкин был убежден в эти годы, что конституционная государственная система, декларировавшая свободу и равноправие всех граждан, не дала народам ни гражданских прав, ни материального благополучия. Та свобода, которой добились народы буржуазных стран, не кажется ему теперь идеалом, как это было в юношеские годы. Мысль поэта бьется в неразрешимых противоречиях: подлинной свободы, по его мнению, нет нигде:

Он. Что такое свобода?

Я. Свобода есть возможность поступать по своей воле.

Он. Следовательно, свободы нет нигде, ибо везде есть или законы или естественные препятствия.

Я. Так, но разница покоряться предписанным нами самими законам или повиноваться чужой воле.

Он. Ваша правда. [Но разве народ английский участвует в законодательстве? Разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?] (XI, 231).

Пушкинское представление о свободе здесь гораздо глубже, чем в пору создания самых пламенных юношеских произведений, таких, как «Вольность», «Деревня». Теперь поэт считает, что в свободной стране народ должен участвовать в законодательстве, посылать в правительство своих поверенных и повиноваться законам, им самим составленным. Однако он уже не надеется на скорое осуществление своих идеалов, в то время как стихи 1818—1822 годов были одушевлены верой в победу свободы над деспотизмом и тиранией и пронизаны призывами к революционному действию. В статье разговор о свободе круто обрывается: сейчас об этом нельзя, да и не к чему говорить.

Нелепо было бы считать эти рассуждения Пушкина свидетельством его политического консерватизма, отказа от освободительных идей. Наоборот, мысль о подлинной свободе, о гражданских правах человека пронизывает всю эту главу. В ответ на заявления англичанина о несчастной жизни английских рабочих следует вопрос: «Свободный англичанин несчастнее русского раба?»<sup>71</sup> Пушкин не представлял себе большего несчастья, чем рабство. Еще в первом черновом варианте поэт указывал, что французский земледелец, получивший после великой французской революции гражданские права, ныне счастливее русского крестьянина. В заключительной части главы Пушкин с особой гордостью говорит о свободлюбии русского крестьянина. Он отмечает как наиболее замечательные национальные черты именно те, которые развились вопреки рабству: «Что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?». Мечта о подлинной гражданской свободе присутствует во всей главе, но говорить в печати об освобождении крестьян невозможно, и поэтому Пушкин переходит дальше к разговору об экономических проблемах, считая, что сейчас нужно в первую очередь по крайней мере избавить крестьян от ужасов голода и беспросветной нужды. По-видимому, поэт считал, что это то реальное, о чем можно в настоящий момент хотя бы упомянуть в печати. В главе «Русская изба» эта тема на-

<sup>71</sup> Курсив мой, — С. А.

чалась с радищевского отрывка, в котором запечатлена потрясающая картина повседневной крестьянской нищеты. А в диалоге она прозвучала так:

**Я.** В чем вы полагаете народное благополучие?

**Он.** В умеренности и соразмерности податей.

Это очень своеобразная постановка вопроса. Формула Пушкина диаметрально противоположна основным тезисам дворянских публицистов и экономистов той поры, которые из кожи лезли вон, чтобы придумать, как увеличить доходность помещичьих хозяйств. У Пушкина, наоборот, речь идет об *умеренности*, т. е. *ограничении* поборов, и от этого, по его мнению, зависит благополучие народа.

Как известно, переработка разговора с англичанином в форму монолога привела к тому, что в этой части статьи появились благонамеренные сентенции, констатирующие благополучие в отношениях между помещиками и крестьянами («Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен» — XI, 257), тогда как в черновой редакции в осторожной форме ставился вопрос о крестьянских повинностях.

Но в то же время, работая над белой редакцией, Пушкин вносил в нее некоторые изменения совсем иного характера. Остановимся на самом важном из них. Поэт очень последовательно, очень целеустремленно изъясился из белого текста все места, где сравнение жизни русского крепостного и английского пролетария первоначально имело такой оттенок: англичанин, *несмотря на то, что свободен*, несчастнее русского крестьянина. Теперь, сопоставляя судьбу английского и русского труженика, Пушкин говорит в основном лишь об условиях их труда, не заостряя внимания на гражданских правах того и другого.

Это чрезвычайно важная поправка, имеющая принципиальное значение. По черновой рукописи можно проследить, когда появилась у поэта мысль о таком характере правок. Здесь глава «Подсолнечная» заканчивается словами: «Англичанин мой разгорячился и совсем отдалился от предмета нашего разговора. Я перестал следовать за его мыслями — и мы приехали в *Клин*». Работа над главой была завершена, и Пушкин поставил под этими строчками дату: «9 дек.». Внизу осталось незаполненное место: новая глава должна была начинаться на следующей странице. Но запись, которая сделана на обороте листа сверху, тоже относится к «Подсолнечной». Это запись взволнованная, торопливая, со вставками над строкой, с перечеркнутыми, недописанными и зачеркнутыми словами: «[Избави меня боже быть поборником и проповедником рабства] — я говорю только, что] [но я говорю прямо, что состояние наших крестьян не есть] Благосостояние наших крестьян тесно связано с пользой помещиков — и это очевидно для всякого. Злоупотребления [есть] встречаются везде» (XI, 467).

По-видимому, перечитав (возможно, после какого-то перерыва) «Разговор с англичанином», Пушкин почувствовал, что читатель может усмотреть в рассуждениях об иллюзорности свободы в конституционной Англии оправдание крепостного права. Вот почему уже после окончания главы в рукописи появились эти слова, идущие из глубины сердца: «Избави меня боже быть поборником и проповедником рабства!». На какие бы уступки ни шел поэт из-за цензурных условий, он ни в коем случае не мог допустить, чтобы его статья была использована защитниками крепостничества. Именно в связи с этим в белом тексте опущено рассуждение о свободе, которое начиналось с вопроса: «Как? Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?». Изъятые также двусмысленные фразы о личной независимости оброчных крестьян:

## Черновая редакция

«Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньги. *И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать»* (XI, 231—232).

## Беловая редакция

«Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньги» (XI, 257).

Характеристика русского крестьянина, которая была дана в диалоге от имени англичанина, полностью перешла в окончательную редакцию, за исключением слов английского путешественника о «свободе» русских крепостных. В черновой рукописи эта часть диалога звучала так:

*Я.* Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

*Он.* Его опрятность, смышленность и свобода.


*Я.* Справедливо; но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

*Он.* Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения? Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? . . . (XI, 232).

В беловой редакции слова «свобода», «свободный» в применении к крепостному крестьянину не встречаются ни в каком контексте.

Такой характер правок лишний раз убеждает нас в том, что и в 30-е годы Пушкин был убежденным врагом крепостничества и в этом отношении не шел ни на какие компромиссы.

Статья Пушкина с критикой крепостного права, обращенной к общественному мнению, занимает совершенно особое место среди документов николаевской эпохи по крестьянскому вопросу. Не как «свой среди своих», тайно, келейно хотел обсуждать великий поэт дела государственные и крестьянский вопрос, а гласно, в печати, ибо он был убежден, что «никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда» (XI, 264).



И. Ф. БЭЛЗА

## МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

(ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ТРАГЕДИИ ПУШКИНА)

### 1

Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» занимает особое место не только в русской, но и во всей мировой литературе. Ее значение определяется высочайшими поэтическими достоинствами, глубиной философско-этических обобщений и таким проникновенным раскрытием образа великого мастера, какого мы не найдем ни в одном из известных нам литературных произведений, героями которых являются писатели, музыканты, художники и зодчие.

Примечательно, что внимание авторов многих из этих произведений привлекал и продолжает привлекать именно Моцарт, с именем которого связаны вдохновенные страницы гофмановских «музыкальных рассказов», эпопея Алоиса Йираска «Ф. Л. Век» (описание пражской премьеры «Дон-Жуана»), прекрасные новеллы Э. Мерике («Моцарт на пути в Прагу») и К. Г. Паустовского («Старый повар»). Тысячи книг содержат жизнеописание создателя «Реквиема», но все же «лучшей биографией» Моцарта прославленный русский музыкант А. К. Лядов назвал трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери».<sup>1</sup>

Как уже приходилось отмечать,<sup>2</sup> такая характеристика пушкинской трагедии могла быть дана только потому, что Лядов в должной мере оценил ее психологическую и фактическую достоверность. Если бы эта пьеса увлекла Лядова лишь своей поэтичностью, драматизмом или даже тонкостью музыкальных характеристик, то он вряд ли говорил бы о биографии Моцарта. И едва ли Н. А. Римский-Корсаков, учитель Лядова, с особенной строгостью относившийся ко всем морально-этическим проблемам, положил бы на музыку «Моцарта и Сальери», если бы считал, что время опровергло то тягчайшее обвинение в убийстве Моцарта, с которым бесстрашно выступил Пушкин в те годы, когда Сальери называли «единственным в своем роде сочинителем музыки», «почтенным мужем»<sup>3</sup> и даже «великим композитором». Такой эпитет был применен не кем иным, как А. Д. Улыбышевым, поместившим в начале 1826 года в петер-

<sup>1</sup> Сб. «Ан. К. Лядов», Пгр., 1916, стр. 199.

<sup>2</sup> На заключительном заседании четвертой Всесоюзной Пушкинской конференции, организованной Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР в июне 1952 года в Ленинграде, автор прочитал доклад «Новые данные о „Моцарте и Сальери“ Пушкина». В «Известиях Академии наук СССР, отделение литературы и языка» (1952, т. XI, вып. 6, стр. 570—571) был опубликован реферат этого доклада, положенного затем в основу первой части книги «Моцарт и Сальери. Трагедия Пушкина. Драматические сцены Римского-Корсакова» (М., 1953).

<sup>3</sup> Лирический музей, содержащий в себе краткое начертание истории музыки, изданный Кушеновым-Дмитревским. СПб.. 1831, стр. 182, 183.

бургской прессе заметку о смерти Сальери.<sup>4</sup> Мы можем заключить по этому, что будущий автор «Новой биографии Моцарта» тогда безусловно не знал о признаниях, сделанных Сальери на своем смертном одре, в противном случае он никогда не писал бы так об отравителе того мастера, которого он, Улыбышев, считал венцом славы музыкального искусства.

М. П. Алексеев в своей работе о «Моцарте и Сальери» убедительно показал, что создание образа Моцарта явилось результатом того сложного процесса творческого обобщения, который, вообще говоря, был типичен для Пушкина-мыслителя. «Он раскрывался ему и в театре, и в концертной зале, и, вероятно, из рассказов друзей-меломанов, наконец из печатных источников».<sup>5</sup> В этих словах советского исследователя очень точно указаны и разграничены два круга импульсов, обусловивших зарождение замысла и создание трагедии «Моцарт и Сальери». Одним из этих импульсов, неразрывно связанных друг с другом, было чуткое восприятие Пушкиным музыки Моцарта, другим — глубокое постижение облика великого композитора.

Нельзя не заметить в связи с этим, что на Западе вплоть до самого последнего времени нередко высказываются суждения о русской литературе, свидетельствующие либо о непонимании ее, либо о тенденции к сознательному принижению ее бессмертных творений. Именно такие суждения встречаются в статье английского музыковеда Эрика Блома, заявившего по поводу трагедии «Моцарт и Сальери», что «Пушкин не предпринял ни малейших усилий, чтобы ознакомиться с установленными биографическими фактами или чтобы представить своих двух персонажей такими, какими они были».<sup>6</sup>

Этот упрек Пушкину был брошен через четверть века после того, как В. А. Францев пришел к диаметрально противоположному выводу: «Надо проследить ход действия пушкинской трагедии стюка за строкой, чтобы убедиться, насколько тщательно и добросовестно Пушкин отразил в двух кратких сценах действительное знание множества тончайших подробностей, необходимо важных для разумения хода действия и для исторически верной, подлинной характеристики обоих действующих лиц...»

«Из последовательного обозрения и внимательного анализа содержания обеих сцен, в коих каждая строчка драгоценна для полноты характеристики двух знаменитых музыкантов, мы убедимся, как добросовестно изучил Пушкин необходимые источники, с каким усердием и искусством собрал он в единое целое мелкие черточки и подробности и как гениально создал из них большие и цельные портреты, поразительные по своей правдивости и сходству с живыми подлинниками, т. е. исторически верные образы Моцарта и Сальери».<sup>7</sup>

Нам придется еще вернуться к статье Э. Блома. Что же касается выводов В. А. Францева, с работой которого, так же как и с работой М. П. Алексеева, Блом, видимо, не был знаком, то каждый непредубежденный исследователь неминуемо должен будет согласиться с этими выводами, подкрепляемыми изысканиями последних лет.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> «Journal de St. Pétersbourg», 1826, № 8, стр. 30.

<sup>5</sup> М. П. Алексеев. Моцарт и Сальери. В кн.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, 1935, стр. 532.

<sup>6</sup> Eric Blom. Mozart's Death. «Music and Letters», vol. 38, № 4, October, 1957, стр. 320.

<sup>7</sup> В. А. Францев. К творческой истории «Моцарта и Сальери». «Slavia», Praha, 1931, Ročník X, Seš. 2, стр. 323.

<sup>8</sup> Следует, впрочем, отметить, что в процессе этих изысканий были обнаружены и некоторые фактические ошибки, допущенные В. А. Францевым; см., например: М. П. Алексеев. Моцарт и Сальери, стр. 528.

## 2

Обратившись к величайшим творениям Моцарта, Пушкин ввел в свою трагедию мелодии из «Свадьбы Фигаро» («Voi che sapete»), «Дон-Жуана» (строки из этой оперы поэт взял также в качестве эпиграфа к «Каменному гостю») и «Реквиема». Значительную роль в трагедии играет история возникновения «Реквиема», хорошо известная Пушкину, как это явствует из диалога в начале второй сцены трагедии. Мы знаем теперь, что «черный человек» не был плодом воображения композитора. То был Антон Лейтгеб (Leitgeb, 1747—1812), венский юрист, заискивавший перед австрийской знатью и оказывавший ей услуги весьма сомнительного свойства.<sup>9</sup> В данном случае Лейтгеб взялся помочь одному из магнатов в очередном плагиате.

Граф Франц Вальзег цу Штуппах (1763—1827), игравший, подобно своему соседу Лейтгебу, на нескольких инструментах и выступавший даже в качестве дирижера на устраивавшихся у него в венском дворце или в имении музыкальных вечерах, желал во что бы то ни стало прослыть еще и композитором. С этой целью он заказывал различным мастерам произведения, собственноручно переписывал партитуры и выдавал за свои, нередко принимая участие в их исполнении. Так было и с «Реквиемом» Моцарта.

Выбор жанра заупокойной мессы на этот раз был обусловлен тем, что в феврале 1791 года умерла юная графиня Анна, супруга меломана-«композитора», решившего почтить ее память исполнением «собственного» произведения, которое должно было продемонстрировать всем друзьям графа глубину его скорби, благородство чувств, силу творческого дарования и блистательную законченность мастерства. 14 декабря 1793 года в Винер-Нейштадт «автор», перед которым лежала тщательно переписанная им партитура последнего моцартовского творения, дирижировал им в присутствии всех приглашенных. Надпись на партитуре гласила: «Requiem composto del conte Walsegg» («Реквием, сочиненный графом Вальзег»). Это глумление над памятью Моцарта продолжалось недолго, и вскоре имя мастера засияло на партитуре «Реквиема», который он сам считал «своей погребальной песнью» («il mio canto funebre»).

Моцарт действительно был убежден в том, что «Реквием» он пишет для себя, и в последние дни своей недолгой и горькой жизни находился в таком подавленном состоянии, в каком изобразил его Пушкин во второй сцене трагедии:

Мне день и ночь покоя не дает  
Мой черный человек. За мною всюду  
Как тень он гонится.

(VII, 131).

Эти строки показывают, что Пушкин знал, какими неотвязными были «мысли черные» Моцарта о «Реквиеме» и о приближающейся смерти, вестником которой, как он считал, был «черный человек». Появился Лейтгеб незадолго до отъезда Моцарта в Прагу, а подавленное состояние мастера, заставившее его увидеть в посетителе «вестника смерти» («und der unbekannte Bote wurde mir aus dem Jenseits deschickt»<sup>10</sup>), объясняется тем,

<sup>9</sup> Недавно профессор Венского университета Эрих Шенк опубликовал в своей монографии о Моцарте (Erich Schenk. Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Biographie. Amalthea-Verlag. Zürich, Leipzig, Wien, 1955) портрет Лейтгеба.

<sup>10</sup> Franz Farga. Mozart, Wien, 1947, стр. 120.



что именно летом 1791 года ему уже давали небольшие дозы яда «в тайной надежде на то, что он уже больше не вернется из Праги».<sup>11</sup>

Итак, психологическое раскрытие образа Моцарта во второй сцене трагедии основывается на точном и достоверном фактическом материале. Моцарта действительно преследовали мысли о надвигающейся смерти и о заупокойной мессе, заказанной ему «черным человеком». И Сальери, зорко наблюдающий за своей жертвой, осведомляется:

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?

Высказывалось, однако, сомнение по поводу возможности встречи Моцарта с Сальери, который смертельно ненавидел его, как это было известно чуть ли не всей Вене. «Сальери действительно занимал в Вене позицию, враждебную Моцарту, и между ними не существовало даже тех внешних дружеских отношений, которые рисует в своих драматических сценах Пушкин. Ни одно жизнеописание Моцарта не дает и намека на возможность их дружеской встречи в трактире», — пишет профессор Е. М. Браудо, добавляя, впрочем: «Но совершенно поразительно, что некоторые отзывы Сальери о Моцарте, передаваемые биографами последнего, точно послужили материалом для пушкинской драмы».<sup>12</sup>

Но и в данном случае Пушкин не допустил никакой натяжки, так как из письма Моцарта к жене от 14 октября 1791 года мы знаем, что накануне вечером он заезжал за Сальери (следовательно, был у него дома, — вспомним место действия первой сцены трагедии!) и вместе с ним сидел в ложе «Фрайхаузтеатра» на представлении «Волшебной флейты». Моцарт пишет далее: «Он (Сальери, — И. Б.) слушал и смотрел с полным вниманием, и, начиная от увертюры и кончая последним хором, не было ни одного номера, который не вызвал бы у него вскридания Bravo или Bello».<sup>13</sup> Итак, «внешние дружеские отношения» с Сальери у Моцарта были, во всяком случае в последние месяцы его жизни. И приведенный нами отрывок его письма к жене невольно вызывает в памяти образ пушкинского Сальери, восторгающегося тем произведением Моцарта, дивное совершенство которого ускорило решение императорского капельмейстера отравить великого мастера. Но только в действительности Моцарту была дана смертельная доза яда не в тот день, когда он «восторгом дивно упоил» Сальери, а несколько позже — 18 ноября, как считает Дитер Кернер.<sup>14</sup>

«В драмах эпизоды кратки, в эпосе они растянуты»,<sup>15</sup> — читаем мы в «Поэтике» Аристотеля. В «Маленьких трагедиях» Пушкин достиг истине беспримерного драматического лаконизма в результате не только «уплотнения» времени действия, но и предельной конденсации эмоционального содержания. Это относится, в частности, к напряженному, стремительно раскрытию образа Моцарта. На первый взгляд может показаться чрезмерно резким контраст между двумя психологическими полюсами этого образа, между, казалось бы, безмятежным весельем, овладевающим Моцартом в первой сцене, и его угнетенным состоянием во второй сцене, отделенной от первой часом или двумя. Но связаны эти сцены зловещим

<sup>11</sup> Dr. D. Kerner. Starb W. A. Mozart eines natürlichen Todes? «Wiener Medizinische Wochenschrift», Wien, 22 Dezember 1956, № 51—52, стр. 1071.

<sup>12</sup> Евр. Браудо. Моцарт и Сальери. «Орфей», кн. I, Пб., 1922, стр. 106.

<sup>13</sup> На это письмо обращают внимание и Ф. Фарга (Franz Farga. Mozart стр. 123). Э. Шенк (Frich Schenk. Wolfgang Amadeus Mozart, стр. 775—777).

<sup>14</sup> Dr. D. Kerner. Starb W. A. Mozart eines natürlichen Todes? стр. 1071.

<sup>15</sup> Аристотель. Поэтика. Изд. «Academia», Л., 1927, стр. 61.

завершением клавирной пьесы Моцарта, которую он играет Сальери. Возникла эта пьеса ночью, когда, как говорит Моцарт,

Бессонница моя меня томила,  
И в голову пришли мне две, три мысли.

(VII, 126).

В эти мысли Моцарта, в его ночные раздумья врывается «незапный мрак иль что-нибудь такое». Итак, «черный человек» незримо присутствует не только во второй, но и в первой сцене трагедии.

И вместе с тем Пушкин показывает Моцарта в первой сцене таким, каким он обычно был в жизни: обаятельным, приветливым, отзывчивым, добрым, находящим ласковое слово даже для нищего слепого скрипача. Это простой и пленительный человеческий облик гения, чья безграничная сила раскрывается в музыке, которую слушает потрясенный Сальери. Вспомним программу пьесы Моцарта, вложенную Пушкиным в его уста:

Представь себе . . . кого бы?  
Ну, хоть меня — немного помоложе;  
Влюбленного — не слишком, а слегка —  
С красоткой, или с другом — хоть с тобой —  
Я весел . . . Вдруг: виденье гробовое,  
Незапный мрак иль что-нибудь такое . . .

(VII, 126—127).

И вспомним также, что строки эти были написаны никак не позже осени 1830 года, того самого года, который принес «Фантастическую симфонию» Берлиоза, впервые прозвучавшую 5 декабря в Париже. Но ведь Пушкин, по существу, изложил содержание программной фортепьянной пьесы, хотя ни у Моцарта, ни даже у Бетховена мы не найдем ни одной инструментальной миниатюры с такой четкой программой. На это обстоятельство комментаторы трагедии не обращали особого внимания, так как жанры программной музыки давно уже получили широчайшее распространение. Давно, но все же не в то время, когда писалась пушкинская трагедия.

Можем ли мы считать поэтому, что Пушкин допустил здесь сознательный анахронизм, чутко уловив приметы жанра, только нарождавшегося тогда в музыке, и приписав Моцарту обращение к этому жанру? В конце концов такой прием был бы вполне закономерным, так как и Моцарт, и Пушкин смотрели далеко вперед, и недаром Бернард Шоу заявил, что «моцартовский Дон-Жуан был первым байроническим героем в музыке»<sup>16</sup> и что моцартовская песня «Das Veilchen» была истоком вокальной лирики Шуберта, Шумана и Мендельсона.<sup>17</sup> Но, вчитываясь в приведенные пушкинские строки, мы никак не можем сделать вывод, что Моцарт выведен в трагедии — притом без достаточных оснований — как «*praesensor maximus*» в области программной музыки.

Дело в том, что клавирная пьеса, созданная воображением Пушкина, является таким же музыкальным центром первой сцены, каким во второй сцене является «Реквием». Это обусловило значительность содержания пьесы, которое оказалось органически связанным со всей музыкальной тканью трагедии. Можно смело утверждать, что программа пьесы представляет собою изложение той заключительной сцены «Дон-Жуана», в которой перед весело пирующим героем, вновь испытывающим чувство

<sup>16</sup> London Music in 1888—1889 as heard by Corno di Bassetto (Later known as Bernard Shaw). London, 1937, стр. 190.

<sup>17</sup> Music in London 1890—1894 by Bernard Shaw, vol. I. London, 1932, стр. 295.

16 Пушкин. Исследования и материалы. IV

влюбленности («не слишком, а слегка») в Донну Анну, появляется статуя Командора.

Таким образом, Пушкин, изложив программу клавирной пьесы Моцарта, ввел в трагедию образы одного из величайших творений композитора.<sup>18</sup> Но правомерным ли было перенесение этих образов в сферу инструментальной музыки? Если задуматься над этим вопросом, то и в данном случае нужно будет признать не только оправданность, но и глубокий смысл этого приема. И необходимо в связи с этим напомнить, что с давних пор исследователи творчества Моцарта подчеркивают его особую склонность к сценической выразительности музыки, к рельефной пластичности ее образов.

Существует целая литература о музыкально-драматических произведениях Моцарта.<sup>19</sup> Но «театральность» отмечалась и в других его сочинениях, включая даже «Реквием», исполнение которого именно в силу этого католическая церковь разрешала с крайней неохотой. Известно, например, что тело Шопена две недели дождалось погребения, так как друзья «польского Моцарта» с трудом получили согласие архиепископа парижского на то, чтобы, в соответствии с предсмертным желанием почившего мастера, на его похоронах прозвучал «Реквием». Интересно, что Жан Шантавуан обнаружил в «Реквиеме» многочисленные реминисценции из «Дон-Жуана».<sup>20</sup> Впрочем, еще Цельтер в письме к Гете от 19 августа 1827 года писал о «театральности» «Реквиема». Один из немецких теологов, не без иронии комментируя слова Гайдна, преклонявшегося перед этим произведением, заметил, что «Реквием» предназначен для концертного зала, а не для церкви.<sup>21</sup> Пушкин не обронил ни слова о культовом начале «Реквиема», а ввел его музыку в трагедию как тему прощания Моцарта с жизнью. Это так же закономерно, как программность клавирной пьесы, входящей к «Дон-Жуану».

Итак, образ Моцарта в трагедии отличается жизненной и творческой достоверностью. «В образе Моцарта Пушкин отразил самые глубокие и близкие ему представления об истинном художнике, жизнь и искусство которого составляют единое и неразрывное целое», — замечает Б. П. Городецкий, очень точно характеризуя контраст между двумя образами трагедии: «Пушкин сознательно и настойчиво подчеркивает в создаваемом им образе Моцарта именно эти черты жизненной простоты и глубокой человечности, столь далекие от жреческого отношения к жизни и искусству со стороны Сальери».<sup>22</sup>

Этот сильный контраст достигается путем не только смысловой и лексической индивидуализации обоих персонажей. Даже излагая содержание трагически кончающейся клавирной пьесы, даже рассказывая о работе над «Реквиемом», о призраке «черного человека» и о своих недобрых предчувствиях, Моцарт ни разу не выходит за пределы той подкупающей естественности, которая характеризует весь строй его речи. Достаточно

<sup>18</sup> Б. В. Томашевский в комментариях к «Каменному гостю», законченному, как известно, через несколько дней после «Моцарта и Сальери», указывает на связь «Каменного гостя» с моцартовским «Дон-Жуаном», который произвел сильное впечатление на поэта (см.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, 1935, стр. 566).

<sup>19</sup> См., например: Ernst Lert. Mozart auf dem Theater. Berlin, 1918 (и следующие издания); Roland Tenschert. Mozart. Ein Leben für die Oper. Wien, 1941.

<sup>20</sup> Jean Chantavoine. Mozart dans Mozart. Paris, 1948, стр. 78—79, 83, 88—89, 92—93, 99—100, 109—111, 118—119. Заметим также, что сцена появления статуи Командора написана в рекевиемном ре-миноре.

<sup>21</sup> Dr. Karl Weinmann. Geschichte der Kirchenmusik. Kempten—München, 1906, стр. 163.

<sup>22</sup> Б. П. Городецкий. Драматургия Пушкина. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 284.

прочитать хотя бы несколько писем Моцарта, чтобы убедиться в том, что Пушкин воссоздал этот строй с поразительной психологической достоверностью. Здесь в полном блеске проявилась гениальная интуиция поэта. Вряд ли он читал письма Моцарта, но, бесспорно, вполне отчетливо представлял себе облик великого мастера, который благодаря этому приобрел в трагедии волнующую жизненность.

## 3

Не менее достоверен у Пушкина хищный облик Антонио Сальери (1750—1825). Творческий путь его очерчен лаконично, но точно. Прав М. П. Алексеев, когда указывает на статью Бомарше, предпосланную его либретто оперы «Тарар», как на один из источников, которым пользовался Пушкин (в его библиотеке сохранилось собрание сочинений Бомарше, включающее и том, содержащий данную статью<sup>23</sup>), создавая образ Сальери.<sup>24</sup> Опера эта («вещь славная», по определению пушкинского Моцарта) упоминается в тексте трагедии. Но, как справедливо указывает М. П. Алексеев, панегирическая статья Бомарше была, конечно, далеко не единственным материалом, содержащим сведения, которыми располагал Пушкин, работая над трагедией.

Ни в этой статье, ни в «Лирическом музее», содержащем биографии Моцарта и Сальери, нет, например, даже упоминания о том переломе в творчестве Сальери, который описан в первом его монологе:<sup>25</sup>

Когда великий Глюк  
Явился и открыл нам новы тайны  
(Глубокие, пленительные тайны),  
Не бросил ли я все, что прежде знал,  
Что так любил, чему так жарко верил,  
И не пошел ли бодро вслед за ним  
Безропотно, как тот, кто заблуждался  
И встречным послан в сторону иную?

(VII, 124).

Независимо от того, черпал ли сведения Пушкин из зарубежной литературы (на русском языке в то время ни одной творческой биографии Сальери не было) или из бесед с Н. Б. Юсуповым либо какими-нибудь другими лицами, приходится признать, что он был прекрасно осведомлен о том, что Сальери примкнул к школе Глюка, уже будучи зрелым музыкантом («обращение» Сальери произошло, как известно, в 80-е годы XVIII века).

Пушкин знал и о борьбе глюкистов и пиччинистов, о временном успехе Пиччини, который «пленить умел слух диких парижан», и о триумфах Глюка, открывшего новую эпоху в истории музыкально-сценического искусства. Не уточнено, правда, о какой опере Глюка идет речь в монологе Сальери. Но «Ифигении начальны звуки» могли потрясти его и тогда, когда он слушал сосредоточенно-скорбное вступление к «Ифигении в Авлиде», построенное на теме того монолога Агамемнона, которым начи-

<sup>23</sup> Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 155, № 588.

<sup>24</sup> М. П. Алексеев. Моцарт и Сальери, стр. 535—537.

<sup>25</sup> «Лирический музей», изданный Д. Ф. Кушеновым-Дмитревским, датирован 1831 годом, но цензурное разрешение помечено 11 августа 1830 года. Вряд ли, впрочем, Пушкин был знаком с «Музеем» до болдинской осени. Что касается перелома в творчестве Сальери, то об этом не пишет даже Герман Кремчар в своей «Истории оперы» (русский перевод: Л., 1925); он ограничивается тем, что называет Сальери учеником Глюка, и констатирует, что музыка его «весьма рутинна и представляет интерес только в моменты, по характеру своему относящиеся к комической опере» (стр. 298).

нается эта лирическая трагедия, и тогда, когда идиллическая картина природы переходила в яростные порывы бури, выбрасывающей Ореста и Пилада на берег в начале «Ифигении в Тавриде».

В первом монологе Сальери называет Глюка великим, говорит о том, как «наслаждался... трудами и успехами друзей», а во втором монологе выражено чувство преклонения перед гением Гайдна.<sup>26</sup> И в обоих монологах подчеркивается, что интересы Сальери ограничиваются сферой искусства:

Отверг я рано праздные забавы;  
Науки, чуждые музыке, были  
Постылы мне; упрямо и надменно  
От них отрекся я и предался  
Одной музыке.

(VII, 123).

Во втором монологе Сальери признается, что он мало любит жизнь, с которой не расстается лишь потому, что она когда-нибудь принесет ему «незапные дары»:

Быть может, посетит меня восторг  
И творческая ночь и вдохновенье;  
Быть может, новый Гайдн сотворит  
Великое — и наслажуся им.

(VII, 128).

Эти строки поучительно сопоставить с «Элегией» («Безумных лет угасшее веселье»), написанной той же болдинской осенью, которая принесла «Моцарта и Сальери». В «Элегии», так же как в монологе Сальери, отвергается «жажда смерти»:

Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  
И ведаю, мне будут наслажденья  
Меж горестей, забот и тревоженья:  
Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(III, 228).

Здесь также возникают образы искусства, зовущие в будущее. Но будущее это, которое сулило поэту «труд и горе», он видел заполненным не только гармонией и творческим вымыслом, пусть даже волнующим до слез, а прежде всего высокими помыслами, раздумьями, несущими страданье (в том же сентябре 1830 года Пушкин прославил «выстраданный стих», обладающий «неведомою силой»). «Элегия» — одно из пленительнейших стихотворений Пушкина — согрета проникновенной человечностью чувств и озарена в последних строках «улыбкою прощальной» любви.

Пушкинский Сальери совершенно лишен этой человечности, и, перечисляя то, что заставляет его нести бремя жизни, он остается только в сфере «чистого» искусства, мечтая о создании новых произведений и о том наслаждении, которое ему, быть может, принесет «новый Гайдн». Но поймет ли эти грядущие шедевры Сальери, не вознамерится ли он и их «развять, как труп»?

Такой вопрос невольно возникает, когда вникаешь в монологи Сальери и начинаешь ощущать, какая злоба кипит в них, прорываясь сквозь торжественность речи «жреца, служителя музыки». И странные вещи узнаем

<sup>26</sup> В отличие от составителя «Лирического музеума» Пушкин применяет форму «Гайдн», которая соответствует первоначальной транскрипции (Hajden) и произношению фамилии композитора, хорвата по происхождению.

мы из второго монолога: оказывается, не раз пировал он «с гостем ненавистным», не раз лицемерно встречался «с врагом беспечным за одной трапезой» и не раз слышал «шопот искушения» стать убийцей. И если воздерживался Сальери от того, чтобы попотчевать своих доверчивых сотрапезников ядом, который он восемнадцать лет носил с собою, то вовсе не из-за каких-либо моральных побуждений, а только потому, что размышлял о том, когда ему будет выгоднее пустить в ход этот яд:

Быть может, мнил я, злейшего врага  
Найду; быть может, злейшая обида  
В меня с надменной грянет высоты —  
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.  
(VII, 123).

Обратим попутно внимание на эпитет, свидетельствующий о безупречной осведомленности Пушкина обо всем, касавшемся персонажей трагедии. Сальери занимал пост «императорского и королевского капельмейстера» при венском дворе, и его решение, содержащееся в приведенных словах, можно, в переводе на «уголовную прозу» (выражаясь словами П. А. Катенина<sup>27</sup>), истолковать как угрозу Сальери отравить того музыканта, которого вдруг пожелал бы назначить на его место император, — только оттуда, только с «надменной высоты» трона может грянуть «злейшая обида».

Но если и в данном случае мы поражаемся точности эпитета, примененного Пушкиным и вплетающегося в цепь доказательств фактической обоснованности трагедии, то уже здесь возникает вопрос о психологической достоверности характеристики Сальери, рассуждающего о том, кого ему следует отравить. Так как апологеты Сальери, упрекающие Пушкина в том, что он позволил себе — вспомним еще раз Катенина — «чернить перед потомством память художника, даже посредственного»,<sup>28</sup> обычно умалчивают о некоторых страницах биографии Сальери, то не лишне будет здесь привести некоторые факты, характеризующие эту биографию.

31 октября 1814 года известный чешский композитор Вацлав Ян Томашек (1774—1850) сделал в Вене запись о том, что ему сообщили там о краже рукописей Глюка, совершенной Сальери, который выдал затем произведения Глюка за свои. Запись эта была опубликована еще при жизни Томашка.<sup>29</sup> Позже было напечатано письмо Бетховена, посланное издательству Брейткопф и Гертель 7 января 1809 года и содержащее сообщение об интригах, затеянных против великого композитора из ненависти к нему («aus Hass gegen mich»), причем, по утверждению Бетховена, главным его врагом был Сальери («worunter Herr Salieri der erste»). Бетховен пишет именно о врагах («persönliche Feinde»), а другие современники Сальери считали этого «хитрого и ловкого человека» способным на всякие темные дела.<sup>30</sup>

Биографы Шуберта до сих пор недоумевают, почему он не получил места преподавателя музыки в Люблянах, называвшихся тогда Лайбахом и входивших в состав империи Габсбургов, той самой империи, первым музыкантом которой официально именовался Сальери. Известно, что Шуберт, учившийся одно время у Сальери, обратился к нему с просьбой дать рекомендацию, и тот написал по-итальянски несколько скупых и, по су-

<sup>27</sup> «Литературное наследство», кн. 16—18, М., 1934, стр. 641.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> См. пражский альманах «Libussa», 1846, стр. 415.

<sup>30</sup> См., например: Walter Vetter. Der Klassiker Schubert, Bd. 1. Leipzig, 1953, стр. 103.

шеству, ничего не говорящих слов, хотя в его власти было избавить Шуберта от голода и нужды.<sup>31</sup>

Существует версия, что Сальери был недоволен тогда одной из месс, написанных Шубертом.<sup>32</sup> Но существует и другая версия, обвиняющая Сальери в том, что он помешал Шуберту получить это место.<sup>33</sup> И версия эта гораздо более правдоподобна, потому что если даже Сальери действительно был недоволен шубертовской мессой, то разве он хоть на минуту мог допустить, что его ученик (который к тому времени был уже автором «Лесного царя») не справится с обязанностями скромного преподавателя музыки? И разве не в его власти было помочь Шуберту в это трудное время? Но первые гениальные произведения Шуберта были уже написаны, и Сальери понимал, что вслед за Моцартом и Бетховеном на него надвигался еще один грозный соперник.

И, видимо, даже такой наивный и доверчивый человек, как Шуберт, начал отдавать себе отчет в том, какого рода «покровительство» оказывал ему Сальери, потому что вскоре порвал с ним. Но незадолго до разрыва с Сальери Шуберт посетил его, присутствовал на домашнем торжестве, устроенном по случаю пятидесятилетия его службы в Вене, и слышал, как юбиляр уверял собравшихся в том, что он «во всяком случае не нанес бесчестия своей родине, своей семье и своим друзьям».<sup>34</sup> «Qui s'excuse, s'accuse» (кто извиняется, обвиняет себя) — гласит мудрая французская поговорка, справедливость которой подтвердилась и в данном случае. Ибо осенью 1823 года Антонио Сальери перерезал себе горло бритвой и, после того как врачам удалось спасти ему жизнь, заявил окружающим, что он отравил Моцарта и что угрызения совести стали невыносимыми. «Жажда смерти» начала с непреодолимой силой мучить Сальери.

В те годы Бетховен уже был совершенно глухим и вел беседу при помощи разговорных тетрадей, в которых делали записи его собеседники. В ноябре 1823 года венский журналист Иоганн Шикх (Schickh) сделал первую запись, извещавшую Бетховена о предпринятой Сальери попытке самоубийства,<sup>35</sup> а несколько позже — вторую, в которой высказывал убеждение, что Сальери сказал на этот раз правду, ибо симптомы смертельной болезни Моцарта подтверждают, что он был отравлен.

В 1825 году племянник Бетховена Карл также оставил в разговорной тетради запись о признании Сальери («Salieri behauptet, er habe Mozart vergiftet»). Антон Шиндлер записал: «Сальери опять очень плохо. Он в полном расстройстве. Он беспрерывно твердит, что виновен в смерти Моцарта. Это — правда, ибо он хочет поведать ее на исповеди, — поэтому правда также, что за всем приходит возмездие (alles seinen Lohn erhält)».

После смерти Сальери, последовавшей 7 мая 1825 года, в той же тетради Бетховена, впоследствии помеченной № 125, имеется еще одна запись племянника Карла: «И сейчас упорно (sehr stark) говорят, что Сальери был убийцей Моцарта». Еще позже, 11 сентября 1825 года, Бетховен встретился с каким-то лицом, имени которого мы не знаем, так как не удалось установить, чьей рукой сделаны записи. Беседа вновь шла о Сальери, о том, что он перерезал себе горло бритвой. Одна из записей гласит: «Es stand in allen Journalen».<sup>36</sup> Видимо, европейская пресса того

<sup>31</sup> См.: Гарри Гольдшмидт. Франц Шуберт. Музгиз, 1960, стр. 109—110.

<sup>32</sup> См.: Paul Stefan. Franz Schubert. Wien, 1947, стр. 136.

<sup>33</sup> См.: Franz Farga. Salieri und Mozart. Stuttgart, 1937, стр. 260.

<sup>34</sup> Гарри Гольдшмидт. Франц Шуберт, стр. 111.

<sup>35</sup> Обзор записей, сделанных в разговорных тетрадях Бетховена различными лицами, знавшими об этой попытке и признаниях Сальери, см. в книге: Dr. med. Gunther Duda, «Gewiss, man hat mir Gift gegeben». Pähl, 1958, стр. 150.

<sup>36</sup> «Об этом было во всех журналах» (нем.).

времени отводила много места попытке самоубийства Сальери, его предсмертным признаниям и тайне смерти Моцарта. Но встречающееся иногда в литературе утверждение, что версия об отравлении Моцарта возникла только после этих признаний, глубоко ошибочна, ибо первое сообщение прессы о том, что Моцарт был отравлен, датировано 12 декабря 1791 года.<sup>37</sup> Как известно, незадолго до смерти Моцарт сам сказал жене, что его отравили, и, судя по письму Констанцы, датированному 25 августа 1837 года, она не сомневалась в этом, считая, что убийцей ее мужа был завистник.<sup>38</sup>

Первоначальная редакция пушкинской трагедии (одно время поэт предполагал дать ей название «Зависть») или во всяком случае ее набросок относится еще к 1826 году. Следовательно, замысел пьесы возник вскоре после смерти Сальери, в годы, когда его признания в совершенном преступлении стали достоянием широких кругов европейской общественности. Но еще до этого, как явствует из приведенных данных, истинная репутация Сальери сильно отличалась от официальной, обусловленной его положением при габсбургском дворе.

Мы не можем перечислить все источники, которые были доступны Пушкину, и вряд ли когда-нибудь будем в состоянии сделать это. Следует, однако, напомнить слова самого Пушкина из его незаконченной статьи «Опровержение на критики», писавшейся той же болдинской осенью, которая принесла его трагедию: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальной» (XI, 160). Но ведь Моцарт и Сальери были именно «историческими характерами», вполне реальными лицами. Следовательно, если Пушкин решил дать Сальери такую характеристику, какая содержится в трагедии, то отнюдь не считал ее «непохвальной» клеветой, а основывался на данных, представлявших ему достаточно убедительными.

В эти данные могли входить сведения об интригах Сальери против Моцарта, Бетховена и Шуберта, о признаниях императорского капельмейстера, сделанных на смертном одре, о похищении им рукописей Глюка. К фразе Пушкина: «Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца» (XI, 218), мы, основываясь на свидетельстве Томашка, можем добавить: «Человек, обокрашивший своего мертвого учителя, мог отравить своего живого соперника». Непреложных доказательств плагиата, совершенного Сальери, у нас нет. Но неужели на него клеветали все: и Бетховен, и Пушкин, и Томашек, и, наконец, он сам?

#### 4

Как известно, у Пушкина одно время возникла мысль издать «маленькие трагедии», включая «Моцарта и Сальери», анонимно или, во избежание упреков, сопроводить эту трагедию пометкой: «С немецкого». Комментируя найденную в бумагах Пушкина заметку, в которой он писал о Сальери: «Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта», — М. П. Алексеев справедливо считает, что «указание на „некоторые немецкие журналы“ нельзя принимать в смысле непреложного свидетельства на источник замысла пьесы; Пушкин мог и здесь с определенной целью дезориентировать своих оппонентов, критикующих легендар-

<sup>37</sup> Полный текст этого сообщения см.: W. A. Mozart, von Hermann A b e r t. Neubearbeitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart, Teil II. Leipzig, 1936, стр. 696.

<sup>38</sup> Там же, стр. 693.



ную основу его драматического сюжета, и перенести ответственность за нее на „некоторые немецкие журналы“, не указанные более точно.<sup>39</sup>

Пушкин достаточно критически относился к сенсационным сообщениям прессы. И коль скоро он создал «Моцарта и Сальери», то, видимо, был совершенно убежден в виновности Сальери. Эта уверенность обусловила и решение Пушкина выступить с таким тягчайшим обвинением — не анонимно, а с поднятым забралом — в защиту погибшего мастера. Нельзя не заметить, что именно в 1830 году, когда создавалась эта трагедия, в творчестве Пушкина приобретает особое звучание «тема яда», проходящая и в «Моцарте и Сальери», и в «Скупом рыцаре», и врывающаяся даже в любовную лирику («Паж или Пятнадцатый год»).

Нельзя не обратить также внимания на одно, казалось бы, странное обстоятельство. Если не считать замечания Катенина, никто не порывается выступить в защиту Сальери. Прочитав «Моцарта и Сальери», Жуковский написал Пушкину, что в этой трагедии, так же как и в «Скупом рыцаре», кое-что «еще можно усилить» (XIV, 203). Гоголь в письме к А. С. Данилевскому от 1 января 1832 года назвал «Моцарта и Сальери» «чудной пьесой».<sup>40</sup> Жуковский и Гоголь были чрезвычайно близки к миру музыки, и творец «Портрета» в статье «Скульптура, живопись и музыка» тревожно вопрошал: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?».<sup>41</sup> А в своей трагедии Пушкин непосредственно обращался к судьбам музыки.

Далее. Трагедия «Моцарт и Сальери» выходит из печати, ставится на сцене, и на ней появляется преступник, бросающий яд в стакан, который подносит к губам великий композитор. И преступник этот, волею великого поэта, носит свое собственное имя, Антонио Сальери, свыше полувека прослужившего при том императорском дворе, с которым поддерживает дипломатические и дружеские отношения российский императорский двор. Куда же смотрит свирепая николаевская цензура? Разве не боится она высочайшего гнева или хотя бы демарша австрийского посла?

Но вот вопрос — и он был поставлен на обсуждении публикуемой работы авторитетнейшими пушкинистами нашего времени М. П. Алексеевым, Б. П. Городецким, Т. Г. Зенгер-Цявловской: не в салоне ли самого австрийского посла графа Фикельмона, женатого на Дарье Федоровне (Долли), дочери Е. М. Хитрово и, следовательно, внучке фельдмаршала Кутузова, получил Пушкин достовернейшие сведения об истинном облике Сальери и о тайне смерти Моцарта? Такому источнику, конечно, можно было доверять куда больше, чем статьям в «некоторых немецких журналах».

Тогда становится понятным, почему Пушкин так смело назвал действующих лиц трагедии их подлинными именами, а не вымышленными. Иначе поступил немецкий писатель Густав Николаи, который в своей новелле «Враг музыки» («Der Musikfeind. Ein Nachtstück») <sup>42</sup> разработал тот же сюжет, но вывел Сальери под именем Antonio Doloroso, ein Venetianer von Geburt.<sup>43</sup>

Сообщения, появившиеся в печати, всевозможные слухи и споры о преступлении Сальери, о его попытке покончить с собою и о последовавших

<sup>39</sup> М. П. Алексеев. Моцарт и Сальери, стр. 525.

<sup>40</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. X, Изд. Академии наук СССР, 1940, стр. 217.

<sup>41</sup> Там же, т. VIII, 1952, стр. 13.

<sup>42</sup> «Arabesken für Musikfreunde», Theil 1, Leipzig, 1825. В цитированной работе В. А. Францева (стр. 331) эта новелла датируется 1835 годом (?).

<sup>43</sup> Т. е. уроженец Венеции. В действительности Сальери родился неподалеку от Венеции, в городе Леньяго.

за этим его признаниях неминусемо воскрешали в памяти загадочные обстоятельства смерти и погребения Моцарта. В официальном свидетельстве о смерти мастера было сказано, что он скончался от «просянки» («hitziger Frieselfieber»), т. е. от болезни, симптомы которой абсолютно не соответствуют симптомам смертельного заболевания Моцарта. Но такой диагноз, видимо, понадобился для того, чтобы объяснить наличие сыпи на теле умершего. В дальнейшем в различных статьях и биографиях Моцарта в качестве причины его смерти называли водянку (для того чтобы объяснить отечность тела, вызвавшую подозрение, что Моцарт был отравлен), базедову болезнью, туберкулез, уремию и другие болезни. Так, Джузеппе Карпани («Biblioteca Italiana»), защищая Сальери потоком напыщенных фраз («vielen Deklamationen»<sup>44</sup>), привел нелепое «врачебное свидетельство» о том, что Моцарт умер от воспаления мозга. Эта версия была удобна тем, что позволяла считать горячечным бредом собственные слова Моцарта о том, что его отравили.<sup>45</sup> Однако, после того как Моцарт сказал жене эти слова, он дирижировал своим новым произведением на собрании масонской ложи 18 ноября 1791 года. И буквально до последнего дня болезни Моцарт был в полном сознании, давая указания Зюсмайеру об инструментовке «Реквиема».<sup>46</sup> Таким образом, версия о воспалении мозга не выдерживает никакой критики. Все диагнозы смертельного заболевания Моцарта оказались до крайности противоречивыми и запутанными.

Моцарт умер в ночь с 4 на 5 декабря 1791 года. Совершенно естественно было предположить, что его семья и близкие дадут возможность венцам попрощаться с прославленным мастером. Но весть о смерти Моцарта разнеслась не сразу, а уже днем 6 декабря Моцарта повезли хоронить на кладбище св. Марка, причем в этот последний путь провожало его всего несколько человек, в том числе Сальери и барон ван Свитен, высоко ценивший гений композитора, но давший указание похоронить его «по третьему разряду».

В соответствии с этим тело Моцарта, привезенное в мертвецкую кладбища св. Марка в гробу из некрашенных досок, ночью, а быть может на следующий день, т. е. 7 декабря, было брошено в общую могилу и закопано там вместе с телами четырнадцати бродяг, самоубийц и нищих. Констанце, которая обезумела от горя, не разъяснили, что значит «погребение по третьему разряду», и сказали, что на могиле Моцарта поставлен крест. Как оказалось, ее обманули. Оказалось также, что единственным человеком, знавшим место погребения Моцарта, был могильщик, который вскоре после этого умер, и уже в 1799 году один английский путешественник печатно выразил сожаление по поводу того, что могила Моцарта затеряна.<sup>47</sup>

Бесследно исчезла также статуя Моцарта из известного всей Вене кабинета восковых фигур Мюллера. То был псевдоним графа Йозефа Дейма фон Штритец, который явился тотчас же после смерти Моцарта и снял с его лица гипсовую маску, использовав ее затем для сооружения восковой фигуры, одетой в платья композитора, приобретенные графом. Существуют сведения, что слепок с посмертной маски Моцарта хранился у вдовы ком-

<sup>44</sup> Otto Jahn. W. A. Mozart, стр. 639.

<sup>45</sup> Уже в первой биографии Моцарта содержался недвусмысленный намек на то, что он умер насильственной смертью (см.: F. Niemetschek. Leben des K. K. Kapellmeisters W. Mozart. Prag, 1798, стр. 67).

<sup>46</sup> Otto Jahn. W. A. Mozart, стр. 642—643.

<sup>47</sup> Erich Schenk. Wolfgang Amadeus Mozart, стр. 784.

позитора и был случайно разбит ею, причем она выбросила затем осколки, не попытавшись склеить их.<sup>48</sup>

Трудно объяснить такой странный поступок Констанцы. Еще более странным представляется нам недостойное поведение миллионера ван Свигтена и покорно послушавших его советов членов семьи Моцарта, включая его шуринов, которые отнюдь не были нищими. Версия о полном отсутствии денег в доме категорически опровергается официальным актом, засвидетельствовавшим наличие после смерти Моцарта сумм, более чем достаточных для организации похорон хотя бы по второму разряду.<sup>49</sup> Достаточно было прибавить несколько гульденов к потраченной сумме (11 гульденов 36 крейцеров), чтобы Моцарт был погребен в отдельной могиле.

Совершенно непонятной должна казаться и та поспешность, с которой тело Моцарта увезли из дому. Если его фактически хоронили 7 декабря, то спрашивается, зачем гроб с телом мастера отправили в мертвецкую за день до этого, лишив тем самым тысячи людей возможности попрощаться с ним? И судя по тому, что катафалк сопровождало не более десяти человек, Вена не знала, когда состоится похороны. Кому понадобилось скрывать день и час выноса тела? И, наконец, почему никто из близких и друзей Моцарта не проводил его до могилы?

Биографы композитора уже свыше ста лет отвечают на последний вопрос, ссылаясь на то, что 6 декабря шел настолько сильный дождь, переходивший в снег («ein heftiges Regen- und Schneewetter»), что все, сопровождавшие катафалк, шли под зонтиками, а затем погода еще более ухудшилась («das Wetter sich immer mehr verschlechterte»), заставив даже этих немногих отстать от катафалка. Впервые упоминание о плохой погоде, якобы помешавшей венской общественности достойно проводить Моцарта на кладбище, встречается<sup>50</sup> в труде Отто Яна,<sup>51</sup> вышедшем в 1856—1859 годах, и отсюда перешло в сотни книг о Моцарте, включая и работы автора этих строк.

В самое последнее время американский музыковед Николай Слонимский решил проверить версию о снеге, дожде и буре в день похорон Моцарта и обратился с соответствующим запросом в Вену в Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 9 июля 1959 года профессор Ф. Штейнхаузер выслал официальную справку, в которой уведомлял Н. Слонимского, что, как явствует из сохранившихся записей, 6 декабря 1791 года утром в Вене было 2,6 градуса тепла по Реомюру, а днем и вечером — 3 градуса тепла, причем в 8 часов утра, в 3 часа дня (именно в это время отпевали тело Моцарта у собора св. Стефана!) и в 10 часов вечера отмечался лишь «слабый восточный ветер».<sup>52</sup> Никаких осадков! Помимо этого, Н. Слонимский получил выписку из хранящегося в Австрийском государственном архиве дневника графа Карла Цинцендорфа (т. 36, стр. 287), отметившего 6 декабря 1791 года: «Temps doux et brouillard fréquent (погода теплая и густой туман)».<sup>53</sup> Итак, в этот день в Вене было тепло, и лишь туман окутывал время от времени столицу. Впрочем, каждый, бывавший в Вене, знает, что жители ее настолько привыкли к туманам

<sup>48</sup> Otto Jahn. W. A. Mozart, стр. 643.

<sup>49</sup> Там же, стр. 646; см. также цитированную книгу Шенка, стр. 785.

<sup>50</sup> Со ссылкой на статью, появившуюся в газете «Wiener Morgenpost» 28 января 1856 года к сотой годовщине со дня рождения Моцарта.

<sup>51</sup> См. последнее издание 1956 года (т. II, стр. 697).

<sup>52</sup> Nicolas Slonimsky. The weather at Mozart's funeral. «The Musical Quarterly», January, 1960, vol. XLVI, № 1, стр. 16.

<sup>53</sup> Там же, стр. 17; см. также: Dr. med. Gunther Duda. «Gewiss, man hat mir Cift gegeben», стр. 106.

в это время года, что нелепо было бы искать в них объяснения малочисленности людей, провожавших гроб Моцарта, и их странного поведения. Кстати сказать, дневник графа Цинцендорфа и до публикации Слонимского был хорошо известен австрийским моцартоведам,<sup>54</sup> от внимания которых ускользнула, однако, приведенная запись, подтвержденная и метеорологическими сводками. Следовательно, причиной того, что никто из участников убогой похоронной процессии не дошел до монастырского кладбища, были не дождь, не снег и не ветер.

О смерти Моцарта берлинская «National-Zeitung» писала 25 января 1957 года: «Удивительной загадочностью, которая казалась стечением странных обстоятельств, были последние часы жизни композитора... Новейшие данные позволяют считать эту загадку логическим завершением хладнокровно осуществленного чудовищного преступления, жертвой которого пал Моцарт». Автор статьи пишет далее об интуиции Пушкина, излагая содержание трагедии «Моцарт и Сальери». Нет сомнения, что интуиция гения может заменить многое. Но трудно также сомневаться в том, что, создавая эту трагедию, Пушкин опирался и на фактические данные, достоверность которых делается нам все более и более очевидной.

## 5

Двухсотлетие со дня рождения Моцарта, отмечавшееся в 1956 году, получившем название «моцартовского года», ознаменовалось значительным пополнением литературы об авторе «Реквиема». На юбилейную дату откликнулись не только музыковеды, но и врачи. И если некоторые статьи, появившиеся в медицинской прессе, оказались пересказами чужих работ, сделанными «с ученым видом знатока»,<sup>55</sup> то наряду с этим были опубликованы и серьезные исследования, которые привлекли пристальное внимание моцартоведов.

Университет им. Иоганна Гутенберга в Майнце отметил «моцартовский год» изданием работы доктора медицины Дитера Кернера «Моцарт как пациент».<sup>56</sup> В этой работе автор, основываясь на анализе симптомов смертельной болезни Моцарта, приковавшей его к постели с 20 ноября 1791 года, показывает несостоятельность диагнозов и приходит к выводу, что Моцарт умер не от «просянки» (*Febris miliaris*), не от менингита, не от туберкулеза, не от сердечной недостаточности и не от уремии. Далее Кернер касается вопроса об отравлении Моцарта и указывает, что если таковое имело место, то в данном случае, судя по совокупности симптомов, речь может идти о ртутном соединении.

В связи с этим следует отметить, что еще в 1952 году известный советский ученый, доктор медицины профессор И. М. Саркизов-Серазини, ознакомившись со всеми обстоятельствами смерти Моцарта, пришел к заключению, что он был отравлен двуххлористой ртутью, т. е. сулемой. Это мнение И. М. Саркизова-Серазини тогда же было сообщено в докладе, сделанном автором статьи на четвертой Всесоюзной Пушкинской конференции в Ленинграде.

Продолжая изучать историю болезни и смерти Моцарта, Дитер Кернер обратил особое внимание на то, что, несмотря на запутанность и противо-

<sup>54</sup> См., например: Erich Schenk. Wolfgang Amadeus Mozart, стр. 94.

<sup>55</sup> В качестве примера такой поверхностной компиляции можно назвать статью: Maurice Pestel. Les douloureuses rencontres de Mozart de la médecine et des médecins. «La Presse Médicale», 25 Decembre 1956. Гвидо Адлера автор этой статьи называет почему-то Адлереном.

<sup>56</sup> Dr. Dieter Kerger. Mozart als Patient. Mainz, 1956. Экземпляр этой работы д-р Кернер любезно прислал автору статьи.

речивость диагнозов, не было произведено вскрытия тела мастера, и подтвердил в статье, опубликованной в Вене в декабре 1956 года, что Моцарт был, по-видимому, отравлен ртутным соединением, вызвавшим типичные симптомы («akute degenerative Nierenparenchymschädigung»).<sup>57</sup>

Статья Дитера Кернера вызвала множество откликов в зарубежной печати, причем такой выдающийся моцартовед, как Эгон Коморжинский, отметив ее дискуссионность, признал необходимым учесть в дальнейшем исследования д-ра Кернера.<sup>58</sup> В 1956—1958 годах Дитер Кернер опубликовал результаты своих изысканий в четырнадцати<sup>59</sup> медицинских и музыкальных журналах Европы. Работы Дитера Кернера вызвали громадное количество откликов, перечислить которые нет никакой возможности.

В 1958 году вышла из печати интереснейшая книга о Моцарте доктора медицины Гунтера Дуды, опубликовавшего результаты своего многолетнего исследовательского труда, посвященного тайне смерти Моцарта.<sup>60</sup> В качестве заглавия своей книги доктор Дуда взял слова, сказанные незадолго до смерти самим Моцартом Констанце. Книга эта представляет повествование о жизни и смерти великого композитора, который, как полагает Дуда, «был отравлен ртутным соединением».<sup>61</sup> Автор книги указывает, что еще в прошлом столетии версия об отравлении Моцарта получила широчайшее распространение, приводя, в частности, упоминавшиеся нами записи в разговорных тетрадях Бетховена. Дуда напоминает также, что 23 мая 1824 года, во время второго исполнения Девятой симфонии Бетховена в Вене, слушателям раздавали листовки, на которых был изображен Сальери, подносящий Моцарту кубок с ядом.<sup>62</sup>

Дуда указывает далее, что, вопреки утверждениям некоторых биографов Моцарта, с Сальери никогда не было снято подозрение в убийстве великого композитора. Наоборот, многие авторы в разное время печатно заявляли о том, что Моцарт действительно был отравлен. В своих выводах Дуда, считающий, что Сальери применил сулему,<sup>63</sup> присоединяется к тем из этих авторов, которые утверждали, что Моцарт, так же как император Леопольд II, был отравлен по решению масонской организации, как «непокорный брат», и что Сальери действовал не только из личных побуждений.<sup>64</sup>

Пушкинский Сальери, как известно, также прикрывается весьма высокими побуждениями, выступая, однако, как представитель не масонской ложи, а своей корпорации: «Мы все, жрецы, служители музыки» (VII, 128). В нашей работе нет возможности входить в рассмотрение чрезвы-

<sup>57</sup> Dr. D. Kerner. Starb W. A. Mozart eines natürlichen Todes? Итоги всех его исследований суммированы им в книге: Dieter Kerner. Mozarts Todeskrankheit. Berlin—Mainz, 1961.

<sup>58</sup> Dr. Egon Komorzynski. Mozarts Tod. «Salzburger Volksblatt», 7 Februar, 1957, стр. 4.

<sup>59</sup> Эта цифра взята из письма д-ра Кернера к автору данной работы от 10 января 1959 года.

<sup>60</sup> Dr. med. Gunther Duda. «Gewiss, man hat mir Gift gegeben».

<sup>61</sup> Там же, стр. 143.

<sup>62</sup> Там же, стр. 150.

<sup>63</sup> Необходимо заметить в связи с этим, что сулема с давних пор была одним из самых распространенных в Италии ядов. Свою тяжелую и длительную болезнь, подробно описанную в автобиографии (La vita..., кн. II, §§ CIV—CVI), Бенвенуто Челлини объясняет именно попыткой отравить его сулемой («di modo che io sonobbi per certissimo che con quella detta salsa eglino mi avevano dato quel poco del silimato» — «таким образом, я знаю наверное, что в этом соусе они дали мне немного сулемы»), хотя в данном случае симптомы заболевания если и наводят на мысль об отравлении, подкрепляемую подозрительным поведением хозяйки дома, где накануне ужина Бенвенуто, то во всяком случае не сулемой.

<sup>64</sup> Dr. med. Gunther Duda. «Gewiss, man hat mir Gift gegeben», стр. 151.

чайно сложного и запутанного вопроса о взаимоотношениях Моцарта с масонской организацией, членом которой он сделался вскоре после переезда в Вену. Но если даже и предположить, что эта организация в силу мотивов, подробно излагаемых Дудой, обрекла на смерть Моцарта, то нельзя все же отрицать, что в его гибели был лично заинтересован именно Сальери, крайне опасавшийся, кстати сказать, и Леопольда II, неодобрительно относившегося к фаворитам своего предшественника.

Гунтер Дуда обратился в ординариат (управление делами) архиепископа венского с просьбой сообщить что-либо о местонахождении той записи исповеди Сальери, о которой Гвидо Адлер рассказывал некоторым своим ученикам и коллегам. Публикуемый в книге Дуды ответ ординариата настолько поразителен, что мы воспроизводим цитируемый Дудой фрагмент письма полностью: *Ausserdem besitzt das Erzbischöfliche Archiv nirgendwo den geringsten Schriftverkehr über diese Angelegenheit, die reine Erfindung des Stürmers und Schwarzen Korps darstellt und jetzt von der Nationalzeitung umfrisirt und mit Puschkinschen Reiseskizzen gemixt wird, um die geistige Priorität der Russen zu beweisen und die Herkunft aus nazistischen Archiven und Tendenzmärchen zu verschleiern.*<sup>65</sup>

Конечно, автору этого письма не делает чести, что пушкинскую трагедию он считает «путевыми заметками». Но еще более удивительно то, что в письме этом, написанном в раздраженном тоне, отсутствует какая бы то ни было последовательность. В самом деле, если все то, что говорилось, писалось и печаталось о преступлении Сальери, — «чистая выдумка», то чем же провинилась «National-Zeitung», стремящаяся, по словам автора письма, «доказать духовный приоритет русских»? В какой области приоритет? В области «чистой выдумки»?

Но дело в том, что даже в этом письме не отрицается факт существования документа, уличающего Сальери в отравлении Моцарта. Такого документа нет в архиепископском архиве Вены, — заявляет автор письма. Но он знает, что содержание этого документа уже стало достоянием гласности, и хочет дезавуировать его, утверждая, что он (несуществующий документ?) «происходит из нацистских архивов». Возможно, конечно, что архив покойного Гвидо Адлера побывал в руках фашистов. О действиях фашистов в Вене и об их отношениях с примасом Австрии, который был, как известно, великим магистром ордена тевтонских рыцарей, нет надобности распространяться. Но даже если материалы адлеровского архива и попали к гитлеровцам, то это еще не дает права называть этот архив «нацистским», тем более что профессор Адлер знакомил своих коллег (в частности, зарубежных) с открытиями, сделанными им еще до «аншлюса».<sup>66</sup>

Если же говорить об австрийской прессе нашего времени, то можно только порадоваться тому, что имя величайшего русского поэта появляется на ее страницах и произносится, как может засвидетельствовать автор этих строк, с любовью и уважением. То, что Пушкин заклеил убицу Моцарта, воспринимается передовой австрийской общественностью как волнующая дань памяти бессмертного венского мастера. Разве речь может идти о какой-то сенсации или «приоритете»? Трагедия Пушкина появилась через сорок лет после первых печатных свидетельств об отравлении Моцарта.

<sup>65</sup> Там же, стр. 150. Перевод: «Кроме того, архиепископский архив не содержит никакой переписки об этом деле, которое представляет чистую выдумку штурмовика и черной сотни [??], а теперь запутано „Национальной газетой“ и связывается с пушкинскими путевыми заметками, для того чтобы доказать духовный приоритет русских и замаскировать происхождение его из нацистских архивов и тенденциозных сказок».

<sup>66</sup> См.: Игорь Бэлэа. Моцарт и Сальери. Музгиз, 1953, стр. 59 и сл.

Но пушкинское творение пронизано такой потрясающей обличительной силой и чувством убежденности, что каждый раз, когда появляются новые свидетельства о преступлении Сальери, великое имя русского поэта вспоминается всеми исследователями. К изложению содержания дневника супругов Новелло, помещенному в западногерманском ежемесячнике «Cesra-Säule» (1960, № 11—12), приложены, например, немецкий перевод пушкинской трагедии и рисунок, являющийся иллюстрацией к словам Моцарта, произносимым во второй сцене:

Мне день и ночь покоя не дает  
 Мой черный человек. За мною всюду  
 Как тень он гонится. Вот и теперь  
 Мне кажется, он с нами сам-третей  
 Сидит.

(VII, 131).

Винцент Новелло (1781—1861), известный английский композитор,<sup>67</sup> музыкальный и общественный деятель и основатель всемирно известной издательской фирмы, летом 1829 года предпринял вместе со своей женой Мэри путешествие в Австрию с целью посетить Марианну фон Зонненбург (1751—1829), сестру Моцарта. За несколько лет до этого потерявшая зрение, Наннерль, как ее называли родители и брат, жила после смерти мужа в Зальцбурге, влача почти нищенское существование, о чем стало известно в Англии. Собрав среди почитателей Моцарта некоторую сумму, Новелло решил лично вручить ее сестре композитора, а заодно побеседовать с ней и посетить места, связанные с памятью о мастере, перед гением которого он преклонялся. И поэтому дневники супругов Новелло, найденные лишь в 1945 году в итальянском городке Фермо, были изданы под названием «Паломничество к Моцарту».<sup>68</sup>

Записи в дневнике супругов Новелло, вне всякого сомнения, привлекают пристальное внимание всех исследователей жизни и творчества не только Моцарта, но и Гайдна и Бетховена, имена которых упоминала Констанца во время бесед с лондонскими гостями, посетившими Зальцбург за несколько недель до смерти Наннерль (29 октября того же 1829 года). Нам важно особо выделить здесь категорическое утверждение вдовы Моцарта, что сам он был убежден в том, что его отравил Сальери, а также ее слова о признании самого Сальери, сделанном незадолго до смерти.<sup>69</sup>

В том, что такое признание было сделано и записано исповедником убийцы Моцарта, не сомневаются в наше время даже те исследователи, которые упоминают о находке Гвидо Адлера, но осторожно задают вопрос, не было ли это признание «горячным бредом умирающего».<sup>70</sup> Однако чем более весомым становится груз доказательств виновности Сальери, тем более возрастает удивление как русских, так и зарубежных авторов, поражающихся осведомленности Пушкина.

<sup>67</sup> Отец его был итальянцем по происхождению, мать — англичанкой. Сведения о Новелло и его семье можно найти во всех изданиях «Grove's Dictionary of Music and Musicians».

<sup>68</sup> Wallfahrt zu Mozart. Verlag Boosey and Hawkes. Bonn, 1959. Первое издание дневников вышло в Англии: Novello Vincent and Mary. A. Mozart Pilgrimage. Transcribed and compiled by Nerina Medici dis Marignano, edited by Rosemary Hughes. First printed in 1955, Copyright by Novello and Company, London.

<sup>69</sup> Eine Wallfahrt zu Mozart. Sonderdruck aus «Cesra-Säule», 1960, № 11—12, стр. 4. См. также: Игорь Бэлза. Паломничество к Моцарту. «Советская культура», 1962, 26 мая.

<sup>70</sup> Wolfgang Amadeus Mozart, Sein Leben in Bildern. Textteil Richard Petsoldt. Bildteil Eduard Grass. VEB Verlag Encyclopädie. Leipzig, 1961 (комментарий к рисунку 89).

В связи с этим нельзя не присоединиться к чрезвычайно правильному, с нашей точки зрения, замечанию академика М. П. Алексеева: «Осведомленность людей пушкинской поры русской литературы в исторических источниках все еще недостаточно принимается во внимание исследователями. Не подлежит сомнению, что многие русские литераторы 20—30-х годов были подлинными архивистами; они не только внимательно знакомились со всеми историческими материалами, публиковавшимися тогда в изобилии в книгах и журналах, но знакомились также и непосредственно с различными подлинными рукописями прошлых времен. Через их руки прошли многие исторические источники, впоследствии забытые на долгие годы или недоступные ближайшим поколениям».<sup>71</sup>

Имя Пушкина здесь вспоминается прежде всего. И хотя мы не в состоянии еще назвать все источники, которыми он пользовался, создавая трагедию «Моцарт и Сальери», но вряд ли можно отрицать широту круга этих источников и проницательность пушкинской оценки степени их достоверности.

Имя Пушкина, естественно, постоянно упоминается в статьях о гибели Моцарта, причем во многих из этих статей, в которых говорится о том, что преступление Сальери можно считать в настоящее время доказанным, речь идет не только о поэтической интуиции Пушкина, но и о его постижении творчества Моцарта. На фоне всех этих высказываний более чем странной представляется попытка опорочить художественные достоинства трагедии Пушкина, которую предпринял известный английский музыковед Эрик Блом.

## 6

Статья Блома «Смерть Моцарта» появилась осенью 1957 года как своего рода послесловие к английскому прозаическому переводу пушкинской трагедии<sup>72</sup> и как реплика на статью Кернера. Что касается перевода «Моцарта и Сальери», выполненного Дж.-М. Ли,<sup>73</sup> то, как известно, прозаические переводы поэтических произведений предпринимаются с целью достижения максимальной точности. «Le temps des traductions infidèles est passé», — так начинается издательское предисловие к переводу гомеровской «Илиады», сделанному Леконтом де Лилем в прозе.<sup>74</sup> Увы, новый английский перевод великого пушкинского творения не дает повода для такого оптимистического вывода, и нам уже приходилось отмечать,<sup>75</sup> что перевод Дж.-М. Ли порою воспринимается как неточный и небрежный пересказ «Моцарта и Сальери».

Эрик Блом утверждает, что тема пушкинской трагедии «трактована слабо», психологию ее называет «незрелой» («Its theme is feebly handled and its psychology crude»), а Пушкина, как уже говорилось, упрекает в том, что он не пожелал «представить своих двух персонажей такими, какими они были».

<sup>71</sup> М. П. Алексеев. Из истории русских рукописных собраний. В кн.: Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков из ленинградских рукописных собраний. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1960, стр. 103.

<sup>72</sup> Alexander Pushkin. Mozart and Salieri. Translated by G. M. Lee; Eric Bloom. Mozart's Death. «Music and Letters», 1957, October, vol. 38, № 4, стр. 315—326.

<sup>73</sup> В английском переводе трагедия Пушкина появилась еще за сорок лет до этого, <sup>74</sup> «Время неверных переводов прошло» (Homère. Iliade. Traduction nouvelle par в 1917 году (С. Е. Bechhofer). Leconte de Lisle, Paris, 6. г., стр. I.

<sup>75</sup> См.: Игорь Бэлза. Еще о «Моцарте и Сальери». «Литературная газета», 1958, № 125, 18 октября.



Такое суждение о гениальной трагедии Пушкина (которая, впрочем, по мнению Блома, «is not a better work»<sup>76</sup>) тем более поразительно, что высказано оно автором монографии о Моцарте, выдержавшей несколько изданий.

Надо полагать, что Эрик Блом читал переписку Моцарта с отцом, в которой речь идет об интригах Сальери, и, хотя бы частично, литературу, указанную в библиографическом указателе, приложенном к упомянутой монографии. Чем же объяснить в таком случае то, что, «опровергая» Пушкина, Эрик Блом заявляет, что Сальери не мог завидовать Моцарту, так как «был хорошо устроен, имел надежно обеспеченный заработок, а после ухода с придворной службы его ожидала пенсия. Почему он должен был завидовать человеку, о котором было известно, что у него нет ничего? . . .».

Неужели Эрик Блом действительно полагал, что у Моцарта «нет ничего», чему мог бы завидовать Сальери? В таком случае остается лишь еще раз напомнить, что А. К. Лядов называл трагедию Пушкина «лучшей биографией» Моцарта. Эрик Блом, видимо, многое проглядел в этой биографии, но зато все время помнил о высоком официальном положении Сальери. Именно поэтому Блом полемизирует с Кернером, иронически отвергая малейшее подозрение, что «первый императорский музыкант» («the imperial musician-in-chief») мог подмешать яд в пищу Моцарта.

Эрик Блом, датчанин по происхождению, всю жизнь провел в Англии и, надо полагать, хорошо знал Шекспира. Но автор «Гамлета» показал, как прибегали к яду персонажи значительно более высокопоставленные, чем императорский капельмейстер. И если Эрик Блом подчеркивает, что Сальери был психически невменяемым человеком, который мог и оклеветать себя, то следовало бы вспомнить и другую трагедию Шекспира, создавшего потрясающую картину смерти от угрызений совести, после того как преступник убедился, что никакие арабийские благоговия не очистят его рук от пятен крови . . . или яда, думаем мы, вспоминая о Сальери.

«Я говорю тебе еще раз, что Банко похоронен; он не может выйти из могилы». Это слова леди Макбет, которая произносит их в сцене галлюцинации, открывающей пятый акт трагедии. Почему мы знаем, какие галлюцинации были у Сальери перед тем, как он перерезал себе горло бритвой осенью 1823 года, а затем мучился еще почти два года. Эрик Блом знает об этой попытке самоубийства<sup>77</sup> и задает вопрос: «Почему не пожалеть немного Сальери?». Ответом на это служит эпитафия, предпосланный работе Кернера «Mozart als Patient»: «De mortuis nil nisi verum!» [О мертвых (нужно говорить) правду или ничего (не говорить) — лат.].

И, наконец, еще один аргумент Блома в защиту Сальери: «. . . ни при каких обстоятельствах не нарушил бы католический священник тайну исповеди».<sup>78</sup> Действительно, нормы канонического права охраняют эту тайну, вплоть до того, что если священник не считает себя в праве дать отпущение грехов кающемуся, то не должен называть его имени даже в письменном обращении к епископу (так называемый casus reservatus). Но в силу тех же норм (параграф 886 церковных установлений) священник имеет право принимать исповедь душевнобольного человека только в «минуту просветления». Следовательно, если у исповедника Сальери были сомнения по этому поводу, то он, как подчеркивают Кернер и другие авторы, имел формальное право не соблюдать тайну исповеди. Именно в силу этого могла возникнуть запись, найденная Адлером.

<sup>76</sup> «Не лучшее его произведение» (англ.).

<sup>77</sup> E. Blom. Mozart's Death, стр. 326.

<sup>78</sup> Это усердно подчеркивает и польский фельетонист, анонимно выступивший в газете «Kulisy», 1957, № 40, 24 Listopada.

Эрик Блом ничего не сказал об этом. Все же он понимал, что ему трудно вступать в спор с доктором Кернером на медицинскую тему и даже допустил, что тот был прав, говоря о ртутном отравлении. Однако, замечает Блом, венские врачи широко пользовались ртутью для лечения различных болезней, в особенности венерических. Этот многозначительный и, скажем прямо, не делающий чести Эрику Блому намек мы находим на стр. 324 того номера журнала, в котором напечатана его статья. А на стр. 322 того же номера Блом, защищая Сальери, задает вопрос — откуда тот мог достать ртуть: «Разве венские химики того времени продавали ее первому встречному?».

Итак, для Блома Сальери — то «первый встречный» («first comer»), то ... «первый императорский музыкант», который не мог снизойти до того, чтобы бросить яд в тарелку или бокал Моцарта. А ртутные соединения, оказывается, в Вене, с одной стороны, применялись чуть ли не на каждом шагу («Doctors in Vienna prescribed it freely, especially for venereal diseases, but also for other illnesses»), а с другой стороны, достать их было необычайно трудно. Поразительная логика!

Но если бы Эрик Блом посоветовался с любым врачом, то он узнал бы, что в то время для лечения венерических болезней применялся каломель (HCl), а не сулема. А именно о сулеме писал Дитер Кернер, указывая, что токсичность ее возрастает во много раз, если ее подмешать к какому-либо спиртному напитку: смертельная доза равна тогда уже не 0.5 грамма, а несколькими миллиграммами.<sup>79</sup>

#### Обед хороший, славное вино ...

Эти слова Пушкин вложил в уста «синьора Бонбоньери». Кстати сказать, эту кличку отравителя («конфетник») Эдуард Эррио приводит в своей книге о Бетховене — в конце абзаца, которому предшествует абзац, начинающийся словами: «В конце 1791 года, когда останки Моцарта исчезли в общей могиле для бедняков на кладбище св. Марка...».<sup>80</sup> А в краткой летописи недолгой жизни мастера, изданной в Венгрии в наши дни, пражская корреспонденция от 12 декабря 1791 года, в которой впервые говорится об отравлении Моцарта, непосредственно сопоставляется со словами Сальери: «Хоть и жаль такого великого гения, но благо нам, что он мертв. Ибо поживи он дольше, — поистине никто в мире не дал бы нам куска хлеба за наши произведения».<sup>81</sup> Академик М. П. Алексеев и другие исследователи с полным основанием считают, что Пушкин знал это высказывание, парафразой которого являются слова, вложенные им в уста Сальери:

... я избран, чтоб его  
Остановить, — не то, мы все погибли,  
Мы все, жрецы, служители музыки,  
Не я один с моей глухою славой ...

(VII, 128).

Но, как мы уже не раз отмечали, Пушкин знал не только это, а и многое другое — биографические факты, творчество и психологию великого мастера и его убийцы. И утверждение Эрика Блома, что «Пушкин не предпринял ни малейших усилий, чтобы ознакомиться с установленными биографическими фактами или чтобы представить себе двух персонажей

<sup>79</sup> D. Kerner. Mozarts Todeskrankheit. «Ärztliche Sammelblätter», Stuttgart, 1958, Oktober, Bd. 47, Heft 13, Sonderdruck.

<sup>80</sup> Эдуард Эррио. Жизнь Бетховена. Перевод Георгия Эдельмана. Музгиз, М., 1959, стр. 59—60.

<sup>81</sup> Wenn Mozart ein Tagebuch geführt hätte... Budapest, 1955, стр. 107—108.

17 Пушкин. Исследования и материалы. IV

такими, какими они были», свидетельствует об отсутствии у Блома того, что Уайлд называл «чувством моральной ответственности».

В еще большей степени это относится к гейдельбергскому врачу Алоису Грейтеру, позволившему себе недостойный выпад против Пушкина. Если Кернер и Дуда полемизируют с защитниками Сальери чрезвычайно корректно и сдержанно, то Грейтер высказывается с крайней раздражительностью и апломбом, нередко попадая из-за этого в смешное положение. Достаточно сказать, что Грейтер пытается уверить читателей, что Сальери никогда не завидовал Моцарту, что оперы его «пользовались значительно большим успехом, чем оперы Моцарта», и что вообще Сальери отличался честностью («Er war von lauterem Charakter»). Грейтер утверждает также, что «музыкально-историческая наука путем тщательного анализа разобралась в личности Сальери».<sup>82</sup>

Последнее утверждение трудно оспаривать, разумеется. Но если бы Грейтер дал себе труд заглянуть хотя бы в энциклопедические словари, например в авторитетный «Grove's Dictionary of Music and Musicians» (ed. 4, vol. IV, стр. 509), экземпляр которого, вероятно, имеется в Гейдельберге, то удостоверился бы, что там говорится не только об интригах Сальери, но и о том, что Моцарт знал об этих интригах и жаловался на них в своих письмах. С этими письмами, так же как и с цитировавшимся нами письмом Бетховена (а заодно и с его разговорными тетрадами), Грейтеру полезно было бы познакомиться, прежде чем печатно выступать с характеристикой Сальери.

Грейтер нашел, однако, время прочитать переведенную в 1956 году на немецкий язык работу автора этих строк «Моцарт и Сальери». Внимание его привлекло заключение первой части этой работы, в которой трагедия Пушкина характеризуется как «вдохновенная философская поэма о бессмертии гения, творения которого приносят радость и счастье человечеству».<sup>83</sup> Далее говорится: «Таким гением был Моцарт, отравленный пригретым при дворе Габсбургов чужеземцем. Таким гением был и наш Пушкин, погибший от пули иноземного выродка, преступную руку которого направляло русское самодержавие».<sup>84</sup>

Прочитав приведенные слова, Грейтер с иронией пишет: «Этим „иноземным выродком“ был голландский посол при царском дворе барон Геккерен (Бэлза, конечно, не решается назвать его имя); он послал смертельную пулю на дуэли, которую Пушкин и барон Геккерен затеяли из-за жены Пушкина. Как Бэлза применил бы свою версию, если бы Пушкин стрелял лучше, чем его противник?».

Автор столь сурово осужденной Грейтером «версии» должен признать, что, действительно, он, так же как, казалось бы, и всякий другой человек, берущий на себя смелость писать о Пушкине, никогда не решился бы назвать убийцей великого поэта не Дантеса, а «голландского посла при царском дворе», как это рискнул сделать Грейтер. И остается лишь констатировать, что в процессе полемики о «Моцарте и Сальери» пушкиноведение обогатилось двумя сенсационными открытиями: ординариат примаса Австрии отнес эту трагедию к жанру «путевых заметок», а гейдельбергский врач информировал австрийскую общественность о том, что поклонником Натальи Николаевны и участником дуэли с Пушкиным был барон

<sup>82</sup> Aloys Greither. Mozart ist nicht vergiftet worden. «Neues Osterreich», 1957, 11 August, стр. 22. Редакция газеты сопроводила эту статью многозначительной концовкой, как бы опровергающей утверждение, содержащееся в заголовке. На этой концовке изображены шприц и два флакончика с ядом.

<sup>83</sup> Л. П. Гроссман присоединился к этой характеристике (Леонид Гроссман. Пушкин. М., 1958, стр. 365).

<sup>84</sup> Игорь Бэлза. Моцарт и Сальери, стр. 68.

Людвиг Геккерен. Видимо, о биографии Пушкина Грейтер имеет такое же смутное представление, как о биографии Моцарта и «синьора Бонбоньери». А в ответ на последнее замечание Грейтера можно напомнить, что ответный выстрел даже смертельно раненного Пушкина был чрезвычайно метким, и только пуговица спасла жизнь убийцы поэта.

Необходимо подчеркнуть, однако, что выпады Блома и анекдотические замечания Грейтера представляют собою единичные явления в той необозримой литературе о тайне смерти Моцарта, которая возникла на Западе на протяжении последних нескольких лет. Почти все авторы, участвующие в этой полемике, с глубочайшим уважением высказываются о великом создателе трагедии «Моцарт и Сальери».<sup>85</sup> В некоторых работах приводятся даже малоизвестные данные, которыми мог располагать Пушкин, работая над трагедией. Так, Николай Слонимский напоминает о том, что слухи о «безумии» Сальери, якобы оклеветавшего себя, начали распространяться еще в 1822 году, когда Бетховен спросил Россини: «Как Вы посмели прийти ко мне с отравителем Моцарта?».<sup>86</sup> Берлинский исследователь Э. Мюллер фон Азов прислал Гунтеру Дуде фотокопию рукописи, найденной в архиве Карла Моцарта (сына композитора). В рукописи этой, датированной 1825 годом, говорится о том, что Сальери признался в отравлении Моцарта.<sup>87</sup>

В процессе изучения архивных материалов были добыты и другие ценные сведения. Выяснилось, например, что Дж. Карпани, основной апологет Сальери и, кстати сказать, сотрудник венской тайной полиции, поселился в Вене лишь в 1796 году, а доктор Гульднер фон Лобес, написавший по его поручению в 1824 году медицинское заключение о смерти Моцарта, кончавшееся словами: «При осмотре трупа не было обнаружено ничего необычайного», — только в 1802 году!<sup>88</sup> Итак, тайная полиция Габсбургов воспользовалась услугами врача, приехавшего в Вену через одиннадцать лет после смерти Моцарта, но удостоверившего «естественность» этой загадочной смерти, последовавшей якобы от воспаления мозга, которое сопровождалось «обычными симптомами». И далее: «Болезнь приняла обычное течение, и смерть многих людей сопровождалась теми же симптомами».<sup>89</sup> Как тщательно подчеркивается здесь «обычность» болезни и смерти мастера — вопреки всему тому, что нам известно!

Вмешательство тайной полиции объясняется в данном случае теми же мотивами, что и вмешательство ван Свитена в организацию похорон Моцарта. Ван Свитен не мог быть заинтересован в смерти мастера, которого он считал гениальным. Но он, безусловно, был заинтересован в том, чтобы могила Моцарта затерялась и чтобы тем самым была исключена возможность эксгумации тела мастера, которая могла бы привести к констатации факта отравления. Такая констатация могла бы вызвать серьезные волнения в столице империи не только в разгар событий французской революции, но и в 20-е годы XIX века, когда агенты полиции делали все возможное, чтобы было снято несмываемое пятно с репутации человека, более полувека состоявшего верным слугою престола Габсбургов.

<sup>85</sup> См., например, многочисленные работы Кернера, книгу Дуды, а также: *Das Geheimnis um Mozart Tod*, «Volksecho Hollabrunn», 1955, 30 Juni; Dr. Wilfried Lange. *Ein Geheimnis wird gelüftet*. «Dresdner Vorschau», 1956, № 12, стр. 8—9; *Mozart wurde ermordet*. «National-Zeitung», Berlin, 1957, 25 Januar, № 21, и др.

<sup>86</sup> Nicolas Slonimsky. *The weather at Mozart's funeral*, стр. 18.

<sup>87</sup> Dr. med. Gunther Duda. «Gewiss, man hat mir Gift gegeben», стр. 100—101.

<sup>88</sup> Там же, стр. 100—101, 159, 163.

<sup>89</sup> Там же, стр. 101.

## 7

На протяжении последних лет появился ряд новых работ советских музыковедов. Почти во всех этих работах объективно говорится о полемике, развернувшейся вокруг достоверности фактической основы пушкинской трагедии. Poleмика эта освещена, например, в книгах Е. С. Берлянд-Черной<sup>90</sup> и Б. Г. Кремнева,<sup>91</sup> причем некоторые из приводимых цитат свидетельствуют о слабости аргументации апологетов Сальери. Так, например, профессор Ганс Мозер в предисловии к книге О. Шнейдера «Моцарт в действительности», изданной в Вене в 1955 году, пишет: «Уже в „Разговорных тетрадах“ Бетховена благодаря одному из посетителей всплыла тогдашняя венская сплетня о том, что придворный капельмейстер Антонио Сальери обвинил себя в том, что из зависти отравил своего конкурента Моцарта... На самом же деле смерть Моцарта произошла вследствие многолетней хронической болезни почек».<sup>92</sup> Эти строки были написаны до появления работ Кернера и Дуды. Однако профессору Мозеру следовало бы знать, что «сплетня» эта зафиксирована в разговорных тетрадах Бетховена не «одним из посетителей», а, как мы видели, несколькими и что слухи об отравлении Моцарта распространились задолго до признания Сальери.<sup>93</sup>

Профессор Т. Н. Ливанова, отметив в 1956 году, что «в настоящее время существуют попытки доказать, что Сальери действительно отравил Моцарта, и Пушкин тем самым был более документален в своем замысле, нежели можно было предполагать», признала далее «всю убедительность и остроумие в системе доводов»,<sup>94</sup> изложенных в работе автора этих строк — «Моцарт и Сальери». Откликом на эту работу явилась и статья В. А. Каверина. Констатируя, что уже собраны данные, устраняющие сомнения в исторической достоверности сюжета пушкинской трагедии, писатель присоединился к выводам автора, «доказавшего, что гениальная пушкинская формула: „Гений и злодейство две вещи несовместные“ — основана на исторической правде».<sup>95</sup>

Систематизация свидетельств о злодеянии, совершенном Сальери, и новых данных, собранных исследователями, обращавшимися к тайне смерти Моцарта на протяжении последних лет, привела, как указывает польский моцартовед Кароль Мусял, «к полной реабилитации Пушкина, который, как показывают факты, не пал жертвой „исторической сплетни“, создавая концепцию своей драмы».<sup>96</sup>

Единственным советским автором, предпринявшим попытку реабилитировать Сальери, оказался музыковед Б. Штейнпресс. Правда, в то

<sup>90</sup> Е. Берлянд-Черная. Моцарт. Жизнь и творчество. Музгиз, 1956, стр. 281—282, 295.

<sup>91</sup> Б. Кремнев. Вольфганг Амадей Моцарт. Изд. «Молодая гвардия», М., 1958, стр. 277—278.

<sup>92</sup> Там же, стр. 278.

<sup>93</sup> Это обстоятельство отмечают как Берлянд-Черная и Кремнев, так и другие советские авторы; см., например: Т. Попова. Моцарт. Музгиз, 1957, стр. 224. Что касается зарубежных авторов, то некоторые из них вообще не касаются вопроса о причине смерти Моцарта; см., например: Bohumil Kařasek. W. A. Mozart. Praha, 1956.

<sup>94</sup> Т. Ливанова. Моцарт и русская музыкальная культура. Музгиз, М., 1956, стр. 20—21.

<sup>95</sup> В. Каверин. Виновен ли Сальери? «Литературная газета», 1954, 15 апреля, № 45.

<sup>96</sup> Вступительная статья к сборнику «Wolfgang Amadeusz Mozart. 1756—1956» (Katowice, б. г., стр. 9).

время, когда он писал свою статью,<sup>97</sup> не были опубликованы еще ни многочисленные работы Кернера, ни книга Дуды с сообщением о находке рукописи в архиве сына Моцарта, ни многие другие материалы. Утверждению Б. Штейнпресса: «Ни один врач, лечивший Моцарта, и никто из специалистов-медиков, позднее исследовавших болезнь композитора по документам и свидетельствам, не отметил никаких признаков отравления»<sup>98</sup> — в настоящее время противостоят появившиеся в печати выводы нескольких докторов медицины и многочисленных исследователей, признавших убедительность этих выводов.

Приводя отрывок одной (из известных нам шести!) записи в разговорных тетрадях Бетховена, Б. Штейнпресс упускает из виду, что слово «phantasiert», примененное Шиндлером в этой записи, значит не только «фантазирует», а и «бредит». И окончание записи, которого Б. Штейнпресс не приводит, содержит, как уже указывалось, категорическое утверждение Шиндлера: «Dies ist Wahrheit» («Это — правда»).

Далее автор статьи утверждает, что австрийский ученый Гвидо Адлер, обнаруживший запись исповеди Сальери (как уже было сказано, факта наличия такой записи теперь уже не отрицают даже представители примаса Австрии), и академик Б. А. Асафьев, которому Адлер рассказывал о своем открытии, «никогда публично не заявляли о существовании такого документа».<sup>99</sup> Однако Б. В. Асафьев говорил об этом документе не только пишущему эти строки, но и А. Н. Дмитриеву, Л. А. Соловцовой и другим ныне здравствующим своим ученикам, высказывая полную уверенность в том, что Сальери действительно отравил Моцарта.<sup>100</sup>

Называя имя венского музыковеда и писателя Франца Фарги, много лет занимающегося изучением взаимоотношений Моцарта и Сальери, Б. Штейнпресс пишет: «Впрочем, версию об отравлении сам Ф. Фарга решительно отверг еще в своем романе „Сальери и Моцарт“ (1937)».<sup>101</sup> Однако Е. С. Берлянд-Черная, внимательно проштудировавшая книгу Фарги, пришла к диаметрально противоположному и, на наш взгляд, совершенно правильному выводу, отметив: «...убежденность автора в виновности Сальери здесь не высказана открыто, но обнаруживается в сюжетном построении романа, в названиях глав и деталях описания отношений обоих композиторов и подробностей смерти Моцарта».<sup>102</sup>

Заметим попутно, что упоминавшаяся уже нами книга Фарги — венского автора — была издана не в Австрии, а в Германии.<sup>103</sup> Это крайне симптоматично, так как католическая реакция в Вене нашла бы возможность помешать изданию книги, в которой затрагивается щекотливый вопрос о «тайне исповеди». Более того, такой известный музыковед, как профессор Георг Кнеплер (ГДР), на авторитет которого, кстати сказать, ссылается в своей статье Б. Штейнпресс, во время беседы с автором данной работы на Шопеновском конгрессе в Варшаве в феврале 1960 года, обратил внимание на одно, казалось бы, чрезвычайно странное обстоятельство: Гвидо Адлер рассказывал о тексте предсмертной исповеди

<sup>97</sup> Б. Штейнпресс. Новый вариант старой легенды. «Советская музыка», 1954, № 11, стр. 141—144.

<sup>98</sup> Там же, стр. 143.

<sup>99</sup> Там же, стр. 141.

<sup>100</sup> А. Н. Глумов отмечает, что «многие выдающиеся музыковеды нашего времени убеждены в виновности Сальери» (А. Глумов. Музыкальный мир Пушкина. Музгиз, М.—Л., 1950, стр. 210).

<sup>101</sup> «Советская музыка», 1954, № 11, стр. 142.

<sup>102</sup> Е. Берлянд-Черная. Моцарт. Жизнь и творчество, стр. 295.

<sup>103</sup> Franz Farga. Salieri und Mozart. Stuttgart, 1937.

Сальери, как правило, своим зарубежным ученикам<sup>104</sup> и коллегам, считая, видимо, своим долгом предать гласности этот текст, но опасаясь в то время делать это в *Vene ex cathedra*.

Подчеркнем, однако, еще раз, что тогда, когда писалась статья Б. Штейнпресса, автору ее не были знакомы многие факты; иначе он, разумеется, не отнес бы к числу «лиц, близко знавших итальянского маэстро и семью Моцарта»,<sup>105</sup> Дж. Карпани, приехавшего в Вену через пять лет после смерти Моцарта и воспользовавшегося для составления апологии Сальери указаниями венской охранки. Но помимо всего прочего, статья Б. Штейнпресса оставляет без ответа вопросы, возникающие в связи с загадочными обстоятельствами смерти и похорон Моцарта, исчезновения следов могилы, в которой он был погребен, его восковой фигуры и обоих экземпляров посмертной маски, которая могла бы помочь идентификации останков великого композитора в случае, если бы решено было предпринять их поиски.

Б. Штейнпресс пишет: «Напрашивается вопрос: почему население Вены, столь возбужденное уже распространившимися слухами об отравлении Моцарта, не проявило беспокойства по этому поводу во время самих похорон? Ведь о смерти композитора было известно всему городу и толпы людей приходили прощаться с ним».<sup>106</sup> Нет, это не так. Люди, приходившие на Рауэнштайнгассе, с ужасом глядели на обезображенное отеками и странной сыпью тело Моцарта. Разговоры об отравлении (получившие затем отражение и в печати) нужно было прекратить как можно быстрее. Венской общественности не дали попрощаться с мастером, не позволили проводить его в последний путь и в такой спешке отвезли гроб в мертвецкую кладбища св. Марка (за день до похорон), что даже не вносили его в храм, а наскоро отпели Моцарта в тесной наружной пристройке (Kreuzkapelle) собора св. Стефана.

Далее в статье говорится, что «сам по себе факт отсутствия родных и знакомых при погребении Моцарта можно подтвердить: в тот день свирепствовала вьюга; никто из участников процессии не решился сопровождать гроб до кладбища».<sup>107</sup> Никакой вьюги, как уже говорилось, в тот день не было. Так же как автор данной работы и сотни других биографов Моцарта, Б. Штейнпресс был введен в заблуждение версией, придуманной для того, чтобы хоть чем-то объяснить совершенно непостижимый, невероятный, казалось бы, факт, что никто из родных и близких Моцарта не сопровождал его гроб до монастырского кладбища.

Очень странно, однако, что Б. Штейнпресс не счел нужным упомянуть об интригах Сальери, ограничившись лишь деликатной констатацией того, что он «как человек был не свободен от многих недостатков».<sup>108</sup> В чем заключались эти «недостатки», Б. Штейнпресс не пишет, хотя он мог бы многое почерпнуть, например, из писем Моцарта и Бетховена, из записи Томашка и прочих свидетельств современников «синьора Бонбонвери».

Даже такой в общем апологетически настроенный по отношению к Сальери исследователь, как Гарри Гольдшмидт, признает: «Если даже окончательно отнести к области фантазии распространившуюся благодаря известной маленькой трагедии Пушкина легенду о том, что Сальери тайно отравил Моцарта, то все же нельзя оспаривать того, что Сальери успешно использовал свое положение придворного капельмейстера, чтобы заго-

<sup>104</sup> К их числу принадлежал, например, польский композитор и теоретик Юзеф Кофлер, защищавший докторскую диссертацию в Вене.

<sup>105</sup> «Советская музыка», 1954, № 11, стр. 144.

<sup>106</sup> Там же, стр. 143.

<sup>107</sup> Там же, стр. 142.

<sup>108</sup> Там же.

родить дорогу Моцарту».<sup>109</sup> Редактор русского перевода музыковед Ю. Н. Хохлов счел нужным снабдить эту фразу примечанием, в котором указал, что в настоящее время ряд зарубежных и советских исследователей придерживается иного взгляда на эту «легенду», относя ее отнюдь не к области фантазии.<sup>110</sup>

В отличие от Б. Штейнпресса, все же говорящего о «многих недостатках» Сальери, Г. Гольдшмидт утверждает: «На его совести лишь одно темное пятно — соперничество с Моцартом».<sup>111</sup> Бетховен придерживался, правда, иного мнения. Да и «соперником Моцарта» Сальери может считаться в такой же мере, как Фаддей Булгарин — соперником Пушкина. В обоих случаях перед нами — величины несравнимые. Но в одном отношении Гольдшмидт безусловно прав. Несмотря на то что, строго говоря, сведения об отравлении Моцарта возникли задолго до появления пушкинской трагедии, все же именно благодаря великому русскому поэту, гениально постигнувшему сокровенную сущность этого преступления, Сальери навеки остался в памяти человеческой

... завистником презренным,  
Змеей, людьми растоптанною, вживе  
Песок и пыль грызущею бессильно.

(VII, 124).

Изучая историческую достоверность сюжетной основы «Моцарта и Сальери», нельзя ограничиться лишь констатацией того, что Пушкину известны были биографии обоих персонажей трагедии и что он располагал фактическими данными, обусловившими непоколебимую уверенность поэта в моральном праве назвать этих персонажей их настоящими именами.

Необходимо подчеркнуть, насколько пронизательным и мудрым было решение Пушкина сделать в трагедии Моцарта носителем высокого этического начала.

... гений и злодейство,  
Две вещи несовместные.

(VII, 132).

Этот тезис, вложенный Пушкиным в уста Моцарта, несомненно воспринимается как предельно конденсированная этическая концепция, положенная в основу трагедии и, в частности, того противопоставления двух образов, о котором мы уже говорили. Утверждая данную концепцию, Пушкин тем самым предрек судьбу творчества Моцарта — бессмертие в веках — и судьбу произведений Сальери с его «глухой славой», перешедшей в забвение.

Но такая участь музыки Сальери — вовсе не следствие какой-то таинственной силы, несущей возмездие за совершенное преступление. Если человек способен на злодейство, то в нем нет того чувства любви к людям, которое рождает истинно великие произведения искусства. Такое чувство отличало, как мы знаем, Моцарта, и Пушкин запечатлел это несколькими тонкими штрихами в своей трагедии. А сквозь «жреческие» интонации в монологах Сальери пробивается ненависть к людям, высокомерное презрение к жизни, которую так любили Моцарт и Пушкин.

«Все „маленькие трагедии“ несут на себя неизгладимую печать реальной действительности. В „Моцарте и Сальери“, в предельно обобщенной форме, отразились характерные особенности личной судьбы

<sup>109</sup> Гарри Гольдшмидт. Франц Шуберт, стр. 83—84.

<sup>110</sup> Там же, стр. 83.

<sup>111</sup> Там же. А. Грейтер, как мы видели, не желает видеть даже этого пятна, надеясь, по всей вероятности, на полную неосведомленность своих читателей.



Пушкина и его взаимоотношений с обществом на рубеже тридцатых годов», — пишет Б. П. Городецкий, подчеркивая далее, что за пять дней до начала работы над «Моцартом и Сальери» Пушкин сжег десятую главу «Евгения Онегина».<sup>112</sup>

Создание трагедии, задуманной, видимо, вскоре после смерти Сальери и получения тех достоверных сведений о его признании, которые проникли и в бетховенские разговорные тетради, стало настоящей потребностью для поэта. Плагиат, совершенный Булгариным,<sup>113</sup> был одним из толчков, побудивших Пушкина сосредоточить внимание на вопросе о морально-этическом облике художника. Нет сомнения в том, что вопрос этот вставал перед Пушкиным и тогда, когда он знакомился с доступными ему материалами, обвинявшими Сальери в отравлении величайшего композитора Запада, и тогда, когда взор поэта обращался к светлому облику Моцарта.

Ни один из музыкантов до Моцарта, насколько нам известно, не предавался таким глубоким и напряженным размышлениям над этическими проблемами. Если на протяжении нескольких лет Моцарт был связан с австрийским масонством,<sup>114</sup> то именно потому, что в ложах, к которым он принадлежал, он надеялся найти решение этих проблем. Он не увлеклся показной стороной «легального» масонства, не участвовал в сложной и запутанной политической игре, которую конспиративно вели руководители ордена. Он мечтал о моральном совершенствовании человечества, прославлял возвышенные идеи братства и равенства людей в своих масонских кантатах и в «Волшебной флейте», в которой воспевал царство мудреца Заратро. Храмы Мудрости, Природы и Разума возвышаются в этом царстве, противостоящем темным силам Царства Ночи и побеждающим мрак невежества и социальный гнет.<sup>115</sup>

В одной из лучших работ, посвященных «Волшебной флейте», советский исследователь пишет: «Легко, прозрачно, без тяжелых метафизических одеяний, без шумной риторики раскрывает она последнюю, наиболее сокровенную идею Моцарта — идею всеобщего братства людей на основе разума. В высшей степени поучительно сравнить „Волшебную флейту“ с другим величайшим музыкальным произведением, где речь также идет о миллионах, объединяющихся в экстатическом признании братства, — Девятой симфонией Бетховена».<sup>116</sup>

Конечно, финал Девятой симфонии мы можем живо представить себе звучащим в сцене посвящения Тамино, от которой тянутся нити не только к гениальному творению Бетховена, но и к дерзновенным замыслам Скрябина. И какими бы утопическими ни казались нам эти замыслы, все же нельзя не признать, что рождены они были той же моцартовской верой в этическую силу искусства, призванного морально возвышать человечество, воодушевлять его на борьбу за благородные идеалы разума и прогресса.

Трудно сказать, каким именно было представление Моцарта об этой борьбе, но, видимо, оно отличалось от учения, к которому он приобщился

<sup>112</sup> Б. П. Городецкий. Драматургия Пушкина, стр. 282.

<sup>113</sup> См. там же, стр. 220—230.

<sup>114</sup> См.: G. Schubert. Mozart und die Freimaurerei. Berlin, 1890; R. Koch. Mozart. Freimaurer und Illuminaten. Reichenhall, 1911; P. Netti. Musik und Freimaurerei. Mozart und die Königliche Kunst. Esslingen, 1956, а также монографию Яна и Аберта и книгу Дуды.

<sup>115</sup> Как нам приходилось уже отмечать, именно этическая направленность пушкинской трагедии, в которой с такой силой утверждается идея моральной красоты Моцарта, привлекла Римского-Корсакова, положившего на музыку почти неизменный текст трагедии.

<sup>116</sup> И. Соллертинский. Музыкально-исторические этюды. Музгиз, Л., 1956, стр. 61.

в венских ложах «Венчанной надежды» и «Вновь увенчанной надежды», судя по тому, что у композитора возникла мысль об основании нового ордена. Но содержание траурной речи на заседании ложи, посвященном памяти Моцарта, свидетельствует о глубоком уважении к его памяти. И кстати сказать, факт опубликования этой речи в Вене в 1792 году, равно как и тот факт, что вплоть до 30-х годов нашего столетия в Германии существовали четыре масонские ложи, носившие имя Моцарта, противоречат версии, что Сальери действовал, руководствуясь не завистью, а решением казнить «непокорного брата».<sup>117</sup>

Но не только творческая и масонская деятельность Моцарта, а и весь его облик, рисующийся в переписке мастера, в воспоминаниях о нем, позволяет сделать вывод, что Пушкин, наделяя своего Моцарта верой в несовместимость «гения и злодейства», сохранил в неприкосновенности основную черту мировоззрения зальцбургского мастера. Именно вокруг этого стержня концентрируется все остальное. Нет ни одного непродуманного штриха. Даже эпитет «моя», примененный к «бессоннице» (VII, 126), оказывается поразительно точным, так как Моцарта действительно мучила бессонница, та бессонница, рожденная тревожными мыслями, которая была хорошо знакома Пушкину. Но нельзя пройти и мимо того обстоятельства, что Пушкин хорошо знал процесс композиторского творчества. Он знал, что такое абсолютный внутренний слух, позволяющий композитору сочинять, не импровизируя за инструментом, не напевая и раскачиваясь в такт, а уйдя в себя, погружаясь в течение мыслей и образов. Так сочинялось «Милосердие Тита» (в дорожной карете, которая в последний раз уносила Моцарта из Вены в Прагу), так сочинялся и «Реквием».

Нет в «Моцарте и Сальери» ни одного штриха, который мог бы считаться случайным. Все опирается на фактическую основу, все поражает своей психологической достоверностью и вместе с тем все подчинено замыслу, выходящему далеко за пределы сюжетной конкретности. Глубоко прав М. П. Алексеев, когда пишет, что уже первые читатели «Моцарта и Сальери» почувствовали в трагедии «великие обобщения, контуры большого философского замысла».<sup>118</sup>

Именно философско-этические обобщения пушкинской «чудной пьесы» положили начало восходящей к ним традиции, вплоть до наших дней развивающейся в мировой литературе. И первым мастером, постигшим и творчески продолжившим концепцию Пушкина, был, бесспорно, Гоголь.

«Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою». Эти строки из гоголевского «Портрета», работу над которым писатель начал в 1831 году, тотчас же после болдинской осени, принесшей «Моцарта и Сальери», воспринимаются как торжественный отклик на слова пушкинского Моцарта:

А гений и злодейство,  
Две вещи несовместные.

Подобно Пушкину, Гоголь показывает нераздельность личности мастера и его творений: «Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника», — сказано в «Портрете» о картине, которая так поразила Чарткова и открыла ему глаз на искусство, профанировавшееся им столько лет. Андрей Чартков испытывает

<sup>117</sup> Сведения об обширной масонской литературе, посвященной Моцарту, о речах и церемониях на собраниях, организованных в его честь многими ложами на протяжении полутора столетий, см.: A. Wolfstiegl. Bibliographie der Freimaurerischen Literatur, Bd. 1—2, Leipzig, 1923; Ergänzungsband (B. Beyer), Leipzig, 1926.

<sup>118</sup> М. П. Алексеев. Моцарт и Сальери, стр. 544.

«ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства».<sup>119</sup> И гибель владельца страшного портрета, вторгающегося в его жизнь, воспринимается как неизбежное возмездие за нарушение завета об истинном мастере, который «чище всех должен быть душою». Разве «почтенный наш Андрей Петрович, заслуженный наш Андрей Петрович» не сделал карьеру, позволяющую самодовольно сказать: «Слава мне улыбнулась»? Но разве не постигла его картины такая же судьба, какая постигла оперы Сальери?

Тема, затронутая нами, требует специального исследования. Высокий этический пафос неизменно присущ русской литературе, и работы наших исследователей достаточно убедительно показали, что это одна из ее отличительнейших черт, прочно связанных с духовной красотой и благородством чувств русского человека. Плодотворно изучаются взаимоотношения литературы и искусства, и прекраснейшей главой в истории этих взаимоотношений навсегда остается «Моцарт и Сальери».

Образ Моцарта в рассказе К. Г. Паустовского «Старый повар» — это образ художника, приносящего счастье людям своим искусством. Такое счастье приносит людям музыка и в многочисленных произведениях Франца Верфеля, австрийского писателя, который, по собственному признанию, еще в юные годы зачитывался трагедией Пушкина и старался постичь ее «глубокие, пленительные тайны». И если говорить о современных писателях, в произведениях которых образы музыки занимают едва ли не первенствующее место, то нужно назвать имя и Ярослава Ивашкевича, автора поэтических книг о Шопене и Шимановском. Подобно Верфелю, Ивашкевич еще в юные годы был потрясен пушкинской трагедией, образы которой не перестают волновать уже много поколений.

Гений Пушкина со страшной обличительной силой показал отталкивающую сущность «сальеризма». Гибель Андрея Чарткова в гоголевском «Портрете» воспринимается как смертный приговор всем, в ком бушует это недостойное чувство. Советский писатель Вениамин Каверин в повести «Кусок стекла» возвысил голос, осуждая проявления «сальеризма» (именно это слово применено в повести<sup>120</sup>), которые уродливо вторгаются в нашу действительность, утверждающую светлые идеалы нового человека, нового общества. И в борьбе за эти идеалы мы многое черпаем из драгоценного наследия русских классиков.

Изучение событий, ускользавших от взглядов многих современников и позднейших исследователей, Пушкин сочетал с гениальным обобщением не только фактов и психологических контрастов, но и этических норм. Пытливый взор его проникал всюду. Энциклопедичность его обширнейших познаний, его интересов уже показали советские пушкиноведы в своих работах. И нельзя не поражаться величию творческих и философских подвигов Пушкина — мыслителя и художника, нельзя нам, русским, не гордиться им так же, как итальянцы гордятся Леонардо, как австрийцы — Моцартом.

<sup>119</sup> Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. III, 1938, стр. 136, 112, 115.

<sup>120</sup> «Новый мир», 1960, № 8, стр. 17.



Л. В. КРЕСТОВА

## ПОЧЕМУ ПУШКИН НАЗЫВАЛ СЕБЯ «РУССКИМ ДАНЖО»?

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЛКОВАНИИ «ДНЕВНИКА»)

### 1

1 января 1834 года Пушкин записал в «Дневнике»: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau» (XII, 318).<sup>1</sup>

Маркиз де Данжо (Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, 1638—1720), о котором упоминает Пушкин, — один из приближенных Людовика XIV, пользовавшийся его особым доверием и входивший в интимный круг лиц, составлявших постоянное общество короля. В молодости Данжо — военный, затем — дипломат, расчетливый игрок «au jeu des reines». Не чужд Данжо и стихотворству, за что в 1668 году он был избран в члены Французской академии. Известность Данжо принесли его «Мемуары» — ежедневные записи, которые он вел начиная с 1684 года в течение 36 лет. В них французский мемуарист с протокольной точностью сообщал мелочные подробности о частной жизни короля. Внимание Данжо сосредоточено главным образом на изображении придворного быта, торжественных празднеств и церемоний.<sup>2</sup>

Что же общего нашел Пушкин между этим французским царедворцем, посредственным поэтом, сдержанно сухим мемуаристом и самим собою? Где причина, которая позволила русскому писателю не только сопоставлять свое имя с именем французского мемуариста, но и угрожать: «Так я же сделаюсь русским Dangeau»?

### 2

Исследователи творчества Пушкина несколько раз и по-разному подходили к решению вопроса, почему Пушкин назвал себя «русским Данжо». Так, по взгляду В. Ф. Саводника, «в 30-е годы, когда он был поставлен лицом к лицу с той средой, которая тогда „делала историю“, сознание, что он является в весьма выгодном положении наблюдателя этих „исто-

<sup>1</sup> Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1949, т. XII, стр. 318. (В дальнейшем при ссылках на это издание указывается только номер тома и страница).

<sup>2</sup> См.: Дневник Пушкина (1833—1835 гг.). Под редакцией В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского, ГИЗ, М.—Пгр., 1923, стр. 242—243; Дневник Пушкина (1833—1835 гг.). Под редакцией и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского и со статьей П. Е. Щеголева, М.—Пгр., 1923, стр. 81—82.

рических“ событий... поддерживало в нем уверенность, что и его наблюдения могут представить интерес для потомства, как одного из непосредственных свидетелей событий... след именно такого взгляда на свои записи (по крайней мере на многие из них) остался и на страницах его „Дневника“... в записи о намерении его стать „русским Dangeau“.<sup>3</sup> В. Ф. Саводник, так же как и Б. Л. Модзалевский, полагает, что о своем намерении стать «русским Данжо», т. е. мемуаристом «придворного стиля», Пушкин пишет «иронически» в связи с пожалованием камер-юнкером, заполняя затем свой «Дневник» записями придворного характера.<sup>4</sup>

Рассматривая тот же вопрос, Д. П. Якубович переносит его в план личной жизни поэта. По указанию исследователя, «в библиотеке Пушкина, помимо „Мемуаров и журнала маркиза де Данжо“, имелись „Мемуары герцога де Сен-Симона“»;<sup>5</sup> в первом томе последних лежала закладка между страницами 274 и 275, относящимися к разделу, носящему заголовок: «1696. Данжо, кавалер особых поручений при короле, дядька Монсиньора, придворный кавалер госпожи герцогини Бургонской». «Здесь, — пишет Д. П. Якубович, — Пушкин нашел трактовку Данжо как третиrowавшейся фигуры... как посредственности, писавшей плохие стихи». Но главное, «здесь же рассказывается, что у супруги дофина была фрейлина „прекрасная как день, стройная как нимфа“ и безупречной добродетели. Она нравилась королю и госпоже Ментенон. Данжо хотел жениться на ней, но она решительно воспротивилась этому. Король и вельможи вмешались. Она согласилась. Этим рассказом еще более подчеркнута ничтожность Данжо в глазах короля, интересующегося его красавицей-женой». По мнению Д. П. Якубовича, параллель ясна. Пушкин отметил в «Мемуарах» Сен-Симона характеристику Данжо по сходству с собственным униженным положением при дворе, как намека на отношение Николая I к жене поэта. «А, так, вы смотрите на меня, как на ничтожного Данжо, неразборчивую преданность которого можно купить любым, хотя бы и смешным титулом, а красавицу-жену которого можно заставить плясать во дворе на ролях первой придворной дамы? Хорошо же, я буду посмешищем-Данжо, но вы увидите, что я сделаюсь *русским Данжо!*».<sup>6</sup> Упрощая суждение Д. П. Якубовича, сочувствующий ему критик еще определеннее указывал: «Особенно ценна расшифровка неразгаданной до сих пор фразы: „Так я же сделаюсь русским Dangeau“, так как она объясняется сходством положения Пушкина «с участью придворного рогоносца».<sup>7</sup> Между тем в «Мемуарах» Сен-Симона нет ни речи, ни даже намека на то, что жена Данжо была любовницей Людовика XIV. Наоборот, подчеркивается, что она обладала репутацией вне всяких подозрений («une vertu sans soupçon») и после брака вела себя как ангел («a vécu comme un ange»)<sup>8</sup>.

Таким образом, связь между угрозой стать русским Данжо и содержанием «Дневника» остается неразъясненной, тем более что Данжо представлен ничтожным описателем событий при королевском дворе, а «Дневник» Пушкина свидетельствует, по мнению Д. П. Якубовича, «о либе-

<sup>3</sup> Дневник Пушкина (1833—1835). Под редакцией В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского, стр. 20.

<sup>4</sup> Там же, стр. 30; Дневник Пушкина (1833—1835). Под редакцией Б. Л. Модзалевского, стр. IV.

<sup>5</sup> Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 217, № 846; стр. 328, № 1345.

<sup>6</sup> Д. Якубович. «Дневник» Пушкина. В сб. «Пушкин 1834 год», Изд. Пушкинского общества, Л., 1934, стр. 31—32, 33, 34, 35.

<sup>7</sup> Рецензия А. Грушкина на сб. «Пушкин 1834 год». «Звезда», № 3, стр. 251.

<sup>8</sup> Mémoires du duc de Saint-Simon, t. 1. Paris, 1818, стр. 272—275.

рально-оппозиционных элементах пушкинского мировоззрения даже и в последние годы». <sup>9</sup> Подчеркивая значение «Дневника» как исторического и голитического документа, Д. П. Якубович полагает также, что записи имеют двойной план, подчас ключом для его понимания является прием «подозрительной смежности» записываемых происшествий, а подчас и зашифровка их.

Подобное истолкование «Дневника» Пушкина вызвало решительные возражения со стороны Б. В. Казанского, отвергшего сопоставление Д. П. Якубовичем в личном плане Пушкина и Данжо, которое нельзя принять и как противопоставление: «Оскорбленный придворным званием, Пушкин противопоставляет себя гордющемуся и наслаждающемуся своим придворным положением Данжо . . . это невозможная натяжка». Б. В. Казанский доказывает затем, что Пушкин, «может быть . . . и не представлял себе Данжо . . . жалким посмешищем», ибо мемуарист «вовсе не был ничтожным в глазах того времени и даже позднейшего, так как он был образованным человеком и покровителем литературы (Буало посвятил ему одну из своих сатир)». <sup>10</sup> Это правильное указание Б. В. Казанского можно дополнить и еще другими положительными отзывами о Данжо.

Так, Фонтенель в своей «Похвале маркизу Данжо» писал: «Он умел оценить значение незапятнанной и безупречной репутации, то значение, которое часто или не ценят или которым пренебрегают. Понимая это, Данжо стремился сохранить ее. Это немалая и нелегкая заслуга, особенно при дворе, где совершенно не верят в честность и добродетель, где достаточно само слабого повода, чтобы вынести решительный осуждающий приговор. В его речи, его манерах была вежливость не столько представителя высшего света, сколько человека, по характеру своему желающего быть полезным людям и благосклонного к ним». <sup>11</sup> Добродетельно отзываясь о Данжо также Дюкло, учившийся в одном из пансионов, учрежденных Данжо для молодых людей из высшей знати. <sup>12</sup> Но, опровергнув часть необоснованных положений Д. П. Якубовича (особенно вопрос о смежности и зашифровке записей), Б. В. Казанский, в свою очередь, тоже пошел по ложному пути. Так, отметив, что «Дневник имеет уж очень узко придворный круг зрения», что в программе его — «описание балов и сообщение придворных новостей и сплетен», исследователь приходит к выводу, что «господствующий взгляд преувеличивает общественно-историческую ценность Дневника», что «до подлинного политического обличения Дневник не поднимается почти никогда». <sup>13</sup>

Что же касается желания Пушкина стать русским Данжо, то Б. В. Казанский совершенно неубедительно утверждает, что оно объясняется очень просто: «Пушкин читал дневник Данжо не ради описания церемоний и празднеств версальского двора и не для того, чтобы знать, как проводил свои дни король и придворные, а из любопытства к нравам этой среды, к интимной жизни прошлого, т. е. ради того „анекдотического“ содержания дневника Данжо, которое интересовало его и в других воспоминаниях, записках и рассказах о прошлом и которому принадлежит главное место и в его собственном Дневнике. Подобные записи заключают всегда много

<sup>9</sup> Д. П. Якубович. Еще о Дневнике Пушкина. (Ответ Б. В. Казанскому). «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, М.—Л., 1936, стр. 283.

<sup>10</sup> Б. В. Казанский. Дневник Пушкина. (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича). «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, стр. 265—282, см. также стр. 280, 281.

<sup>11</sup> Fontenelle, Oeuvres, t. II, Paris, 1825, стр. 59.

<sup>12</sup> Mémoires de Duclos, écrits lui-même. In.: Oeuvres de Duclos, t. I, part. 1, Paris, 1821, стр. 8—9.

<sup>13</sup> Б. В. Казанский. Дневник Пушкина, стр. 273, 272, 268, 282.

сообщений, сплетен и анекдотов о частной жизни и личности более или менее известных персонажей и имели в этом отношении характер скандальной хроники».<sup>14</sup>

Итак, изучение истории вопроса наглядно показывает, что смысл утверждения Пушкина: «Так я же сделаюсь русским Dangeau» — остается неясным. Неясна связь этого высказывания с характером записей в «Дневнике» и значение последних, в которых Б. В. Казанский не находит «политического обличения». Между тем от решения этого частного, на первый взгляд, вопроса зависит, как правильно указал Д. П. Якубович, вопрос об эволюции пушкинского мировоззрения: отходил ли Пушкин после декабря 1825 года «вправо, прочь от либерализма своей юности», пошел ли «на кондидии с ненавистным ему государственным строем»,<sup>15</sup> «писал ли свой дневник „sine ira et studio“ или дневник этот, как письма и черновые рукописи, свидетельствует о либерально-оппозиционных элементах пушкинского мировоззрения даже и в последние годы?»<sup>16</sup>

### 3

Значение «Мемуаров» Данжо установилось в историографии не сразу. Так, писатели XVIII века, пользуясь материалами «Мемуаров», относились к ним неблагоприятно и скептически. Наглядным подтверждением является письмо Вольтера к д'Аржанталю от 1 июля 1756 года: «Если когда-нибудь напечатают „Мемуары“ маркиза де Данжо, будет ясно, насколько я был прав, говоря, что он записывает новости со слов своего лакея. Бедняга был так опьянен двором, что думал, будто для потомства необходимо отмечать, в котором часу министр входил в комнату короля. Четырнадцать томов наполнены такими подробностями. Привратник найдет там много поучительного, а историк — почти ничего».<sup>17</sup>

Однако отрицательное мнение Вольтера было решительно отвергнуто последующими французскими историками. Подлинное значение «Мемуаров» Данжо как исторического источника установил в конце 10-х годов XIX века французский исследователь и писатель П.-Э. Лемонте (1762—1826). Выступив в 1818 году как издатель неопубликованной части «Мемуаров» Данжо, Лемонте написал предисловие, в котором указывал: «Чтение Данжо требует много вдумчивости, так как низменные подробности и плоский стиль у него постоянно прикрывают любопытные и важные факты, которые напрасно ищешь у других. Характер человека и его писательская манера являются также составной частью повествования. Этот своеобразный Светоний XVII века<sup>18</sup> свидетель тем более ценный, что он невольно дает свои свидетельские показания». Иногда, указывает Лемонте, достаточно одного слова Данжо, чтобы «составить представление о степени права собственности в ту эпоху и объяснить приверженность фаворитов к абсолютизму. Для того, кто сумеет его прочесть, Данжо наполнен наблюдениями, богатыми по своим результатам».<sup>19</sup>

Кроме предисловия, Лемонте в той же книге поместил свое исследование «Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV».

<sup>14</sup> Там же, стр. 281.

<sup>15</sup> «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, стр. 283.

<sup>16</sup> Сб. «Пушкин 1834 год», стр. 25.

<sup>17</sup> Voltaire, Oeuvres complètes, t. IX, part. 2, Paris, 1817, стр. 977.

<sup>18</sup> Светоний Транквилл (около 70—160) — автор «Жизнеописания двенадцати Цезарей», написанного на основе свидетельств современников и отличающегося фактической точностью.

<sup>19</sup> P.-E. Lémontey. Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV ... précédé de nouveaux mémoires de Dangeau. Paris, 1818, Avertissement, стр. 2, 3.

Характеризуя деятельность Лемонте-писателя, французский историк Вильмен указывал, что автору «Essai...» были свойственны «мысли о социальных реформах, гуманности, уничтожении крепостной зависимости, религиозная терпимость, защита гражданской свободы».<sup>20</sup> Все эти качества Лемонте-ученого сказались и в его блестящем исследовании, посвященном веку Людовика XIV.

Разносторонне изобразив «век славы», как его звали французы, на основе точных фактических материалов, в том числе и «Мемуаров» Данжо, Лемонте решительно осуждает «политику надменности и великолепия», свойственную абсолютизму. Писатель отмечает развращающее влияние монархического правления на широкие слои общества, и в первую очередь на дворянство. Лемонте клеймит моральное разложение всех слоев общества, начиная с верховной власти («la royauté elle-même se dégrade et se trempe dans les couleurs du vice»<sup>21</sup>). Он осуждает борьбу короля с национальными свободами («libertés nationales»), суровую политику по отношению к народу, религиозную нетерпимость, вызвавшую отмену Нантского эдикта. Касаясь экономической политики абсолютизма, Лемонте отмечает резкие противоречия. Развитие крупной промышленности и индустриализация страны противоречили политике протекционизма и опеки, проводившейся Людовиком XIV и Кольбером. Окончательный вывод Лемонте мрачен: в блистательном, на первый взгляд, царствовании Людовика XIV усматривает он черты обреченности абсолютизма. «Лемонте, — пишет Вильмен, — внушает любовь к законам и установлениям, показывая, что ошибки благородного государя — результат неограниченной власти и, так сказать, закономерное следствие абсолютизма».<sup>22</sup>

Вслед за Лемонте разоблачающий характер записей Данжо был воспринят современниками Пушкина — иностранными журналистами.

Так, интересующее нас имя Данжо несколько раз встречается на страницах журнала «Revue Britannique». В статье «Du journalisme en Angleterre», перепечатанной из английского журнала «Metropolitain», автор пишет: «Масса публики не видит ничего, кроме костюмов и внешности, больших празднеств, протоколов и манифестов. Прокопии (les Procope) и Данжэ (les Dangeau) проходят за занавес, проникают за кулисы, смешиваются с участниками представления, наблюдают действия машин и видят, какими отвратительными средствами, какими размалеванными полотнищами бумаги и какими обманами достигаются все эти замечательные эффекты».<sup>23</sup>

Для английского журналиста имя Данжо имеет, оказывается, вовсе не конкретное, а нарицательное значение — les Dangeau. Характер записей Данжо воспринят как мемуары определенного вида, они сопоставлены с именем византийского историка VI века Прокопия. Участник похода Велисария в Италию против остготов, Прокопий известен двумя работами: официальной «Историей войн» и знаменитой «Тайной историей», названной им «Анекдота». В этой последней Прокопий «наглядно показывает ожесточенную политическую борьбу внутри господствующего класса Восточно-Римской империи, распушенность и полное разложение „верхов“ рабовладельческого общества». Автор яростно нападает на правительство Юстиниана, разоблачает различные стороны придворной жизни и политики, рисует мрачные картины деспотизма и развращенности, изливая чувства негодования, долго таившиеся под маской лести и восхваления.

<sup>20</sup> M. Villemain. Discours prononcé à la réception de M. Fourier. In.: Discours et mélanges littéraires, nouvelle édition. Paris, 1873, стр. 243.

<sup>21</sup> P.-E. Lémontey. Essai..., стр. 433—434.

<sup>22</sup> M. Villemain. Discours prononcé à la réception de M. Fourier, стр. 241.

<sup>23</sup> «Revue Britannique», Bruxelles, 1833, № 3, стр. 201.



Его «Тайная история» — «ценнейший материал для изучения жизни народных масс», их положения и невыносимых страданий «в период приближения новой волны революционного движения рабов и колоннов в Восточно-Римской империи».<sup>24</sup>

Итак, для зарубежных журналистов, современников Пушкина, Данжо и Прокопий — мемуаристы одного и того же типа: наблюдатели закулисной стороны происходящих явлений, обличители темных сторон придворной жизни, отмечавшие также бедственное положение народных масс.

Правда, третий номер «Revue Britannique» за 1833 год, имевшийся в библиотеке поэта, не был разрезан. Но кто поручится, что Пушкин не прочитал очередной выпуск еще до приобретения журнала, в кофейной Вольфа, где получалась западноевропейская пресса, или в гостиной Д. Ф. Фикельмон? Важно установить главное: восприятие Данжо-мемуариста как обличителя прочно укрепилось в тогдашней западноевропейской журналистике. Недаром в декабрьском номере того же «Revue Britannique» за 1830 год, который имелся в библиотеке Пушкина и был прочитан и изучен писателем, находилась другая статья — «Caractère et vie de George IV, roi d'Angleterre» (из «Westminster Review»), где также сопоставлялись имена Данжо и Прокопия: «Кто бы знал двор Людовика XIV без сплетен Данжо... историю Византии без злоязычия Прокопия?» — спрашивает журналист. Выясняя значение мемуарной литературы, он высказал несколько мыслей, также небезынтересных для понимания «Дневника» Пушкина в целом. Основу истории автор английской статьи видит в хронике современности: «Ее главный материал — анекдот, источник иногда более правильный для уяснения действительности, чем официальные документы. Следует записывать самые мелочные факты, даже скандальные. Возмутителен порок, огромную опасность представляет тайна, которой он окружает себя. Заклеймить порок, сорвать покров тайны — оказать услугу человечеству». Общественное мнение это «верховный суд над горделивыми актерами» (т. е. королями).<sup>25</sup>

Таким образом, в представлении современников Пушкина Данжо был не просто сухим и точным регистратором фактов эпохи Людовика XIV, а обличителем ее, хотя бы и невольным. Кроме того, «Мемуары» Данжо представляют, по их мнению, интересный материал, на основе которого исследователь может сделать выводы, имеющие историческое и политическое значение. Так, Лемонте, начав с «Мемуаров» Данжо, пришел к выводу о закономерности падения абсолютной монархии Людовика XIV.

#### 4

«Мемуары» Данжо, а также исследование Лемонте с его антимонархической направленностью были вскоре по их выходе в свет отмечены в русской прессе. В рецензии, помещенной в «Сыне отечества» за 1819 год, читаем: «Долгое время люди ослеплялись ложным блеском победителей и высокомерною пышностью деспотов. Они почитали власть величием, а шум славою. Слава Людовика XIV много пострадала в течение полувека от перемены, произведенной в мыслях философию, поставляющею людей и вещи на истинные их места. При свете ее факела г. Лемонтей оценил великого короля и великий век, как говорили прежде. „Опыт о монархическом правлении Лудовика XIV“ есть исторический

<sup>24</sup> Э. В. Удадьцова. Прокопий Кесарийский и его «История войны с готами». В кн.: Прокопий из Кесарии. Война с готами. Изд. Академии наук СССР, М., 1950, стр. 15, 18.

<sup>25</sup> «Revue Britannique», Bruxelles, 1830, № 12, стр. 510—511.

отрывок, достойный внимания и по справедливым замечаниям, в нем содержащимся, и по свободным мнениям автора».<sup>26</sup>

О сильном впечатлении от книги Лемонте пишет А. И. Тургенев. 19 января 1821 года он спрашивает П. А. Вяземского: «Читал ли ты „Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV“ par Lémontey? Опыт прекрасный! Сколько умных замечаний, и прекрасно написанных! Его за один этот отрывок приняли в Академию. Перевод на русский был бы наставителен для русских любовников монархического правления в духе Лудовика XIV».<sup>27</sup>

В библиотеке Пушкина, как указано выше, «Мемуары» Данжо имелись в книге Лемонте, где они помещены вместе с «Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV».<sup>28</sup> Ознакомившись с этим исследованием, Пушкин в письме к Вяземскому от 5 декабря 1824 года следующим образом охарактеризовал труд французского историка: «... Лемонте есть гений 19-го столетия — прочти его Обзорение царствования Людовика XIV и ты поставишь его выше Юма и Робертсона» (XIII, 102). Подобная оценка гениальности Лемонте — свидетельство правильного понимания Пушкиным и антимоноархической направленности книги, и ее метода. Ставя Лемонте выше Юма и Робертсона, Пушкин тем самым осуждал английских историков за теорию «малых причин» в объяснении великих событий и считал правильным метод французского исследователя, который, обосновывая свою работу на фактах, кажущихся подчас мелкими, вроде записей Данжо, устанавливал общие закономерности исторического процесса.<sup>29</sup>

Итак, Пушкин воспринимал «Мемуары» Данжо в аспекте Лемонте,<sup>30</sup> убедительно доказавшего первостепенное значение их для историка — исследователя материалов изучаемой им эпохи. Такое отношение не противоречило взгляду Пушкина, говорившего А. Н. Вульф: «Непреренно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас сылаться».<sup>31</sup> Отсюда достоверность и точность записанных Пушкиным фактов, отмеченные советскими исследователями.

По своему замыслу, записи Пушкина в «Дневнике» — подлинная хроника современности. Ее основной жанр — анекдот, «не подлежащее широкому оглашению приватное, интимное сообщение», жанр, который был хорошо известен писателю по русским и зарубежным источникам.<sup>32</sup> Отбор фактов определяется, как и в «Мемуарах» Данжо, жизнью двора с той только особенностью, что образ Данжо воспринят Пушкиным в духе современности. Это образ писателя-обличителя, что подтверждают записи «Дневника», к анализу которых переходим.

<sup>26</sup> «Сын отечства», 1819, ч. 57, № XLIII, стр. 137.

<sup>27</sup> Остафьевский архив князей Вяземских, т. II. СПб., 1899, стр. 142. В том же году книгу Лемонте читал и делал из нее выписки Н. И. Тургенев (см.: Архив братьев Тургеневых, вып. 5. Пгр., 1921, стр. 261, 287—288).

<sup>28</sup> Пушкин и его современники, вып. IX—X, стр. 272, № 1089, и отдельное издание (4 тома) 1830 года (№ 846). Кроме того, в библиотеке Пушкина (№ 1088) имелся еще один труд Лемонте: Histoire de la régence et de minorité de Louis XV jusqu'au ministère du cardinal de Fleury. Paris, 1832 (2 тома).

<sup>29</sup> Ср.: Б. Г. Рейзов. Французская романтическая историография (1815—1830). Изд. Ленинградского государственного университета, 1956, стр. 67—68.

<sup>30</sup> В 1825 г. Пушкин написал статью «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», где Лемонте назван «знаменитым писателем».

<sup>31</sup> А. Н. Вульф. Дневник. Изд. «Федерация», М., 1929, стр. 137 (запись от 16 сентября 1827 года).

<sup>32</sup> Ср.: Л. Гроссман. Искусство анекдота у Пушкина. В кн.: Этюды о Пушкине. М.—Пгр., 1923, стр. 39—45.

## 5

Существует мнение, что записи Пушкина сухи, не имеют оценок и не позволяют составить представление об отношении писателя к тем или иным явлениям действительности. «Фактическая насыщенность дневника и отсутствие оценок лишают возможности даже поставить вопрос о действительных взглядах автора», — утверждает П. Е. Щеголев.<sup>33</sup> Однако внимательное чтение «Дневника» показывает, что наряду с записями фактического характера в нем имеются хотя и немногие, но вместе с тем весьма важные оценки. К числу таких оценок относится в первую очередь суждение, дающее общую характеристику 30-х годов XIX века в России: «время, бедное и бедственное» (27 XI 1833; XII, 314).

Только сквозь призму этого суждения становятся понятны записи Пушкина, касающиеся жизни двора. В них очень много говорится об увеселениях: балах придворных и частных, раутах, обедах, вечерах с картинами, гуляньях и торжествах. Писатель считает нужным рассказать о господствующей в верхах дворянского общества роскоши, о придворных, изысканно одетых в бархат и шелк, разукрашенных драгоценными камнями. Он повествует о празднествах, которые должно дать дворянство и купечество по случаю совершеннолетия наследника и которые обойдутся в полмиллиона. И тут же, отметив этот факт, спрашивает: «Что скажет народ, умирающий с голода?» (17 III 1834) — или записывает в «Дневнике»: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. — Эти четыреста тысяч останутся в их карманах» (14 XII 1833; XII, 322, 317).

Поездка на восток в 1833 году по путям Пугачева позволила Пушкину воочию ознакомиться со стихийными неурожаями, начавшимися в плодородных губерниях России в 1832 году и продолжавшимися вплоть до 1834 года. Характеризуя 30-е годы как время народного бедствия, Пушкин противопоставляет жизни верхов, утопающих в роскоши, жизнь низов, обреченных на вымирание от голода. И чем больше рука автора «Дневника» отмечает подробностей увеселений двора и дворянского круга, тем отчетливее выступает социальный контраст в жизни государства, а собственная роль Пушкина вырисовывается как роль политического обличителя.

Отношения Пушкина к Николаю I достаточно подробно рассмотрены в упомянутой статье П. Е. Щеголева. В 1833—1835 годах Пушкин ставит в вину царю выбор недостойных сановников (29 XI 1833), неправильное и суровое обращение с дворянством (3 V и 5 XII 1834), осуждает императора за неумение поддержать свой престиж (8 I 1835 и 5 XII 1834). Три суждения «Дневника» показательны: первое — «государь не рыцарь» (29 XI 1833); второе — мнение Полетики, которое Пушкин счел нужным сохранить: «У него (императора Николая, — Л. К.) ... ложные идеи, как у его брата» (21 V 1834); третье — «кто-то сказал о государе: в нем много от прапорщика и немножко от Петра Великого» (21 V 1834; XII, 315, 330). Так вырисовывается образ самодержца всероссийского как образ ограниченного, развратного, грубого, невысокой культуры мелочного человека, лишённого широкого государственного размаха. Чего стоит, например, обращение к императору в связи с делом Р. Е. Бринкена, которого лифляндское дворянство, несмотря на приказ Николая, отказалось судить: «Вот тебе шиш, и поделом» (3 V 1834; XII, 328). Однако ни одно из приведен-

<sup>33</sup> П. Е. Щеголев. Из комментариев к дневнику Пушкина. Пушкин о Николае I. В кн.: Дневник Пушкина. 1833—1835. Под редакцией Б. Л. Модзалевского, стр. XIII.

ных суждений не имеет такого существенного значения для определения мировоззрения Пушкина в этот период, как запись от 10 мая 1834 года: «...какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII, 329).

Помимо полного неуважения к императору, поступок которого Пушкин приравнивает к поступку сыщика Видока и ненавистного ему соглядатая и доносчика Булгарина, особое звучание в этой записи имеет ее концовка. Признавая, что «мудрено быть самодержавным», Пушкин выходит за пределы оценки единичного, частного факта, высказывается по поводу самого принципа абсолютизма, не ограниченной никакими законами власти, развращающей в первую очередь ее верховного носителя. Именно в этом вопросе Пушкин дальше всего ушел в «Дневнике» по путям оппозиции. Отрицательное отношение к абсолютизму соединяется в «Дневнике» с резкими высказываниями против царствующего дома. И. Л. Фейнберг правильно отметил, что «на страницах „Дневника“ Пушкин стремился заперить скрываемые официальной историографией черты кровавого императорского периода русской истории».<sup>34</sup> Неспроста повторяются в «Дневнике» записи о лицах, участвовавших в убийстве Павла I, — Я. Ф. Скарятине, Ф. П. Уварове, Д. Н. Болховском. Сообщая подробности удушения императора, Пушкин как бы снова приводит яркую иллюстрацию к «славной шутке» госпожи де Сталь, запомнившейся поэту с юности: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой» (2 августа 1822; XI, 17). Намекает Пушкин и на ложное положение Александра I, возведенного на престол убийцами его отца. Данная в «Дневнике» характеристика Александра I как человека слабохарактерного, прекраснотушные мечтания которого дисгармонировали с поведением в жизни, перекликается с характеристикой в десятой главе «Евгения Онегина»: «Властитель слабый и лукавый» (VI, 521).

Выступая в «Дневнике» против абсолютизма как обличитель неограниченной власти, Пушкин указывает на развращающую силу последней, сказывающуюся также на выборе лиц, призванных осуществлять волю правителя. Писателя поражает «бедность России в государственных людях». Либо это развратник вроде генерала Сухтелена, либо ничтожество наподобие князя Кочубея. А между тем, узнав о смерти последнего, «государь был неутешен», а «новые министры повесили голову» (19 VI 1834; XII, 331).

Еще более резки по своей сатирической силе встречающиеся в «Дневнике» портреты отдельных вельмож. Вот знаменитый Аракчеев, создатель военных поселений, которого писатель считал «самодержцем» (25 IV 1834) и даже сам Николай I, по словам Пушкина, называл «извергом» (8 III 1834; XII, 327, 321). Вот министр просвещения граф С. С. Уваров, о котором в «Дневнике» записано: «...большой подлец... это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрин был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой и попал в президенты Академии наук... Он крал казенные дрова» (II 1835; XII, 337).

Развращающая сила самодержавия сказывается, по взгляду Пушкина, и на широких кругах дворянства. Моральный уровень этих кругов, после ссылки декабристов, кажется Пушкину весьма низким: «...надобно при-

<sup>34</sup> И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. «Советский писатель», М., 1955, стр. 331.

знаться, — пишет он в «Дневнике», — что мы в благопристойности общественной не очень тверды» (14 IV 1834; XII, 326). Это положение подтверждено множеством записей — упоминанием скандала в семье С. Д. Бездобразова и фрейлины Л. В. Суворовой, «соблазнительной связи» графа М. С. Воронцова, разврата дам высшего круга: княгиня Е. Ф. Долгорукая — «наложница кн. Потемкина и любовница всех итальянских кастратов», графиня Т. И. Шувалова — «кокетка польская, т. е. очень неблагопристойная» (14 IV 1834; XII, 326).

Пушкин осуждает корыстолюбие, господствующее в придворных сферах, притворство и лесть, свойственные им. Так, повествуя о торжественной присяге великого князя, автор «Дневника», вспоминая сцену избрания в своей драме «Борис Годунов», пишет: «Все были в восхищении от необыкновенного зрелища — многие плакали; а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, сиясь выжать несколько слез» (Среда на святой неделе — 25 IV 1834; XII, 327). Пушкин отмечает отсутствие чувства чести в дворянской среде, о чем свидетельствует придворный бал 6 января 1835 года: «Двор в мундирах времен Павла I-го; граф Панин (товарищ министра) одет дитятей. Бобринский Брызгаловым (кастеланом Михайловского замка; полуумный старик, щеголяющий в шутовском своем мундире в сопровождении двух калек-сыновей, одетых скоморохами...). Последнюю подробность Пушкин-обличитель считает особенно нужным подчеркнуть, как «замечание для потомства» (8 I 1835; XII, 336).

Сатирически-обличительный характер носят в «Дневнике» также записи бытового характера, где вместо торжественного выступает смешное. Так, например, о службе на случай присяги наследника, где упоминались «тысячники, и сотники, и евнухи», «в городе, — как рассказывает Пушкин, — стали говорить, что во время службы будут молиться за евнухов» (25 IV 1834; XII, 327). Иногда Пушкин, не скрывая своих намерений, откровенно пишет: «Давайте злословить (5 XII 1834; 8 I 1835) — или, не будучи в силах удержать свое негодование, восклицает: «В каком веке мы живем!» (5 XII 1834; XII, 333).

Обличительный характер записей Пушкина чувствуется также и в его замечаниях о наличии дворянской оппозиции верховной власти, существовавшей с конца XVIII века. Негодовали во время Екатерины II, «конец ее царствования был отвратителен... воцарился Павел, и негодование увеличилось» (21 V 1834; XII, 329). Многократно пишет Пушкин в своем «Дневнике» о недовольстве дворянских кругов правительством Николая I, иногда облекая свою мысль в общую форму: «осуждают», «ропщут», «в свете очень шумят», «в городе шум», «находят все это неприличным», а иногда высказываясь и более откровенно. Так, сообщая об указе, запрещающем русским подданным пребывать за границей более пяти лет, Пушкин отмечает: «...но так как допускаются исключения, то <указ> и будет одною из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства» (3 V 1834; XII, 328). Тревожно воспринимаемая настоящая, Пушкин предвидит волнения и в будущем. Следуя своей теории о роли среднего сословия («tiers état»), место которого занимает в России старинное дворянство, писатель полагает, что «эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе», и считает возможным «новое возмущение» (22 XII 1834; XII, 334—335).

Осуждая в своем «Дневнике» самый принцип абсолютизма в лице его носителей, резко выступая против верхов дворянства, не способных на подлинную государственную деятельность, повествуя о тяжелых бедствиях народных масс, Пушкин сознательно выполнил ту роль, которую Данжо осуществил непреднамеренно. Интересным при оценке «Дневника»

является для нас также вопрос о роли, какую предназначал Пушкин своим записям. И. Л. Фейнберг высказал заманчивую мысль, что Пушкин, ведя свой «Дневник», подготавливал «большую историю своего времени», которую он сам хотел написать.<sup>35</sup> Однако все признания Пушкина свидетельствуют о том, что записи эти он делал для потомства, имея в виду историка типа Лемонте, который, собрав отдельные факты, отметил бы в них черты неизбежного грядущего падения российской монархии.

## 6

Итак, обобщая материал, можно сказать, что намерение Пушкина стать «русским Данжо» далеко выходит за пределы беспристрастного описания действительности, как думали, например, Б. Л. Модзалевский и В. Ф. Саводник.


Это намерение не следует объяснять и биографией писателя, как это сделал Д. П. Якубович, проводивший необоснованные параллели между личным и семейным положением камер-юнкера Пушкина при Николае I и придворным Людовика XIV Данжо.<sup>36</sup> Стремление стать «русским Данжо» объясняется, во-первых, восприятием французского мемуариста как писателя-обличителя, что было свойственно современникам Пушкина; во-вторых, оценкой его «Мемуаров» как источника для дальнейших широких историко-политических выводов, что доказал в своей работе Лемонте. Неправильным является поэтому мнение Б. В. Казанского, который отрицает общественно-политическое значение «Дневника», сводя его содержание к записям придворных сплетен и увеселений. Справедливее судит Д. П. Якубович, утверждая, что ненависть к абсолютистскому строю Пушкин сохранил и в последние годы своей жизни.<sup>37</sup>

Отбор фактов, занесенных на страницы «Дневника», а главное их оценка, дает отчетливое представление о политических и общественных позициях Пушкина. Как и в годы юности, поэт находится в оппозиции к власти, высшему свету, сановникам, глупцам, развратникам, льстецам, одетым в расшитые мундиры, всеми способами добивающимся положения при дворе. Никакой блеск, никакие наряды не скрывают от Пушкина низости, пороков и разврата двора и высшего дворянства. Торжественные празднества не позволяют ему забыть бедствий народа. Среди балов и увеселений, как мрачная тень, встает перед Пушкиным воспоминание о казненных и сосланных декабристах. Наряженный волею царя в камер-юнкерский мундир, проходит Пушкин за кулисы двора и, оставаясь человеком в самом высоком значении этого слова, показывает, обращаясь к потомству, какими обманами достигались внешние эффекты николаевского царствования. Так выполнил Пушкин-обличитель свою угрозу «стать русским Данжо».

<sup>35</sup> Там же, стр. 333.

<sup>36</sup> Точку зрения Д. П. Якубовича поддерживает и М. А. Цявловский в статье «Записи в дневнике Пушкина об истории Безобразовых» («Звенья», т. VIII, М., 1950, стр. 1—15).

<sup>37</sup> Ср. запись в «Дневнике» А. Н. Вульфа от 19 февраля 1834 года: «Он (Пушкин, — Л. К.) говорит, что возвращается к оппозиции» (стр. 372).



А. В. ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ

## ДНЕВНИК ПУШКИНА 1833—1835 ГОДОВ

За десятилетия, прошедшие со времени опубликования полностью петербургского «Дневника» Пушкина, было высказано немало соображений по поводу замысла этого произведения. Он толковался исследователями по-разному. По мнению Б. Л. Модзалевского, Пушкин смотрел на свой «Дневник» как на материал для истории, которую напишет либо он сам, либо кто-нибудь другой. Точно такой же точки зрения держался П. Е. Щеголев, выступивший с ней в печати одновременно с Б. Л. Модзалевским.<sup>1</sup> Оба эти ученые не сопроводили свое толкование «Дневника» Пушкина никакими примечаниями, которые могли бы внести в это толкование некоторую долю условности или какие-либо ограничения, вытекающие из самого материала «Дневника».

Еще более определен в характеристике «Дневника» Д. П. Якубович. Пушкин, как говорит Д. П. Якубович, обращается через головы современников к потомству, которое сумеет понять намеки и разгадать умолчания «Дневника». «Можно подумать, что Пушкин вспоминал своего „Бориса Годунова“, — пишет Д. П. Якубович и цитирует строки из монолога Самозванца: «... отшельник в темной келье / Здесь на тебя донос ужасный пишет», не оставляя у читателя сомнений в том, что для него, Якубовича, обличительная сила пушкинского «Дневника» равнозначна сказанию Пимена.<sup>2</sup>

В 1936 году появилась посвященная «Дневнику» работа Б. В. Казанского. Она носит ярко полемический характер: автор ставил своей целью опровергнуть мнение о «Дневнике», высказанное Д. П. Якубовичем. Б. В. Казанский справедливо утверждает, что содержание «Дневника» не дает права Д. П. Якубовичу говорить о нем «как о летописи подлинно исторического значения и тем более — политически обличительной».<sup>3</sup> Д. П. Якубович не принял возражений Б. В. Казанского и в том же выпуске «Временника Пушкинской комиссии» поместил статью, в которой пытался еще раз доказать правильность своей интерпретации «Дневника».<sup>4</sup> Некоторые неверные положения Б. В. Казанского и столь же неверные приемы исследования им материала «Дневника» удачно подмечены Д. П. Якубовичем при общей ошибочности его концепции.

Напечатавший совсем недавно свое исследование о «Дневнике» Пушкина И. Л. Фейнберг рассматривает его как «набросок или подготовитель-

---

<sup>1</sup> Дневник Пушкина. 1833—1835. Под редакцией и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского и со статьей П. Е. Щеголева. М.—Пгр., 1923, стр. III—IV, XIII.

<sup>2</sup> Сб. «Пушкин. 1834 год». Изд. Пушкинского общества, Л., 1934, стр. 48—49.

<sup>3</sup> Б. В. Казанский. Дневник Пушкина. (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича). «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, М.—Л., 1936, стр. 267.

<sup>4</sup> Д. П. Якубович. Еще о Дневнике Пушкина. (Ответ Б. В. Казанскому). «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, стр. 283—291.

ные этюды» к задуманной Пушкиным картине «большой Истории своего времени».<sup>5</sup> Как думает И. Л. Фейнберг, Пушкин в «Дневнике» выступил в качестве подлинного историка в современном ему, Пушкину, смысле этого понятия. От роли поставщика материалов для будущего историка, утверждает И. Л. Фейнберг, Пушкин отказался, ибо он сам принял на себя роль историка. Столь ясно и категорично о «Дневнике» как о готовой уже истории, а не материале для историка не говорил ни один из исследователей «Дневника».

Наиболее близок к истине в стремлении установить историко-литературное значение «Дневника» М. Н. Сперанский. Он увидел в «Дневнике» отражение не одного, а нескольких тематических напластований. В «Дневник» Пушкин заносил события, безусловно принадлежавшие истории. Но нашлось в нем место и непритязательным анекдотам, и сведениям, почерпнутым из ходивших в среде петербургской аристократии слухов и сплетен. Часть этого материала попала в «Дневник», говоря словами М. Н. Сперанского, вследствие нравственной потребности Пушкина выразить «хотя бы и только про себя и для себя свой протест против сокрушающегося кругом».<sup>6</sup>

Однако М. Н. Сперанский все же не довел свою мысль до конца. А он мог бы это сделать, если бы поставил вопрос о природе жанра того произведения, которое он взялся исследовать.

По-видимому, самая большая ошибка исследователей, писавших о «Дневнике», заключается в том, что они забыли о специфике жанра дневника и рассматривали произведение Пушкина, по аналогии с его художественными и историческими произведениями, как обладающее внутренней законченностью замысла. В дневнике этой внутренней законченности и не может быть, ибо в нем нет логики, присутствующей в литературно-художественных и научных произведениях. В дневнике есть только та логика, которая управляет жизнью. Автор дневника не может иметь никакого замысла или даже плана, ибо он не подчиняется имманентным законам художественного творчества, а идет вслед за жизнью. Логика жизни же во многом еще остается скрытой от нашего проникновения.

Забвение этой специфики дневникового жанра привело к тому, что упомянутые авторы оказались бессильными разрешить множество стоявших перед ними задач. Что им делать с той грудой помещенного в дневнике материала, который ни в понимании Пушкина, ни в понимании их самих не входит в категорию исторических событий? В какой раздел истории отнести многие записи Пушкина совершенно личного характера, повествующие о неповторимых событиях его личной жизни, не поддающихся обобщениям? Как объяснить некоторые противоречия между отдельными высказываниями Пушкина? Все эти недоумения останутся, если не отнестись к «Дневнику» так, как требует этого самый материал дневника. Но все станет на свои места, если попытаться наметить задачи, действительно ставившиеся Пушкиным перед собой, а не навязанные ему не всегда осторожными исследователями.

Дело с решением многих вопросов, возникающих при изучении «Дневника», упрощается, если принять во внимание одно обстоятельство, упускаемое, кстати сказать, многими исследователями. В пушкинское время писать дневники было литературной традицией, и то, что Пушкин не хотел отступать от нее, он доказывал на протяжении всей своей литературной

<sup>5</sup> И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина, изд. 2-е. М., 1958, стр. 358—359.

<sup>6</sup> «Труды Государственного Румянцевского музея», вып. I, Дневник А. С. Пушкина, М., 1923, стр. 18—22.



деятельности. Дневники вели в 20—30-х годах очень многие. И Пушкин обратился к дневнику вовсе не в поисках какой-то новой формы, которая должна была облечь новое литературное и общественное содержание. Дневник для Пушкина оставался всегда тем же, чем он был для всех других людей.

При первом же знакомстве с «Дневником» Пушкина бросается в глаза удивительная пестрота его записей. О чем только не говорится на этих нескольких десятках страниц, написанных с необычной даже для Пушкина лаконичностью! Здесь помещены чрезвычайно важные для выяснения политических взглядов Пушкина высказывания о революции, о третьем сословии, о природе русского самодержавия, о роли дворянской аристократии в России, о корпоративной дворянской чести, об отдельных государственных деятелях. Много интереснейших записей сделано по поводу убийства Павла, подробностей, относящихся к Николаю I, Михаилу Павловичу, М. М. Сперанскому. В «Дневнике» читатель найдет немало мыслей Пушкина о дворе и императорском доме, о цензурной политике Николая I, о некоторых государственных деятелях, вызывавших симпатии Пушкина, о своем горьком камер-юнкерстве, о внешней политике и о многих других предметах, имеющих первоклассную важность для биографии Пушкина.

Наряду с такими записями читатель будет постоянно наталкиваться на сведения о том, что вчерашняя карточная игра закончилась для Пушкина выигрышем, что он разговаривал с Михаилом Павловичем о причинах плешивости в семье Романовых, что некий Карцев выстрелил в свою жену из пистолета, что из кареты Пушкина украли подушки, но оставили медвежий ковер, что в одном из домов Конюшенного ведомства «мебели вздумали двигаться и прыгать», что С. А. Соболевский в разговоре с Л. В. Суворовой очень неловко обмолвился, что тогда-то был бал у графа А. П. Шувалова, а тогда-то — у графа А. А. Бобринского, что Д. Н. Бологовский видел императрицу Екатерину в день ее смерти в таком виде, в каком подданным не приличествует видеть своих монархов, и т. д. и т. п. Таких записей в «Дневнике» громадное количество. Они-то и дали основание В. В. Сиповскому увидеть в «Дневнике» «большею частью светские сплетни и ничего более». Эта квалификация «Дневника», безусловно, неверна в целом, но в какой-то степени она отвечает действительности. Высказывать какие-либо глубокомысленные суждения по поводу сокровенного смысла такого рода записей значит рисковать пробудить в читателе не совсем лестные для исследователя ассоциации с хемницеровским «Метафизиком».

Разнообразие записей пушкинского «Дневника» прежде всего дало право относиться к этому произведению именно как к дневнику, т. е. видеть в нем то, что на всех языках во все времена называлось дневником. Пушкин совсем не ставил перед собой задачу *писать историю*. Наиболее прямолинейно и решительно из всех исследователей «Дневника» положение о том, что Пушкин писал историю, провозгласил И. Л. Фейнберг. Но история пропускает попадающие в ее распоряжение факты и события через гораздо более частое сито, чем это делал в «Дневнике» Пушкин. Совершенно незначительные мелочи, занесенные в «Дневник», не могли расцениваться Пушкиным как материал для истории. Он прекрасно знал, что такое история и как нужно для нее отбирать факты и события. Это он убедительно доказал в написанных почти одновременно с «Дневником» «Истории Пугачева» и «Истории Петра». В этих двух трудах и намека нет на тот подход к записываемым событиям, который столь щедро представлен в «Дневнике».

Но тогда возникает вопрос, зачем же Пушкин заносил в «Дневник» такие ничтожные по своему значению факты? Дело в том, что они записывались Пушкиным для него самого, а не для истории. Как улягутся в его памяти эти факты, какое место они займут в общем потоке жизненных впечатлений, проходящих через его сознание, каким станет соотношение этих фактов с теми мыслями и чувствами, которые составляют самое сокровенное и самое важное в «Дневнике», — всего этого Пушкин не знал, когда записывал светские сплетни, слухи, анекдоты и всякие другие пустяки. Пока же он не пренебрегал ничем, что могло для него представить хоть какой-нибудь интерес. В этом коллекционировании светских «приспешивий» Пушкин становился, как он сам подметил, похожим на Данжо, но от Данжо его отделяла непреходимая черта: Данжо был придворным хронистом, писавшим свою хронику по поручению короля, Пушкин же — автором дневника.

Дневниковые записи, если только автор их не лжет и не лицемерит — а в этом трудно заподозрить Пушкина, — всегда носят сугубо личный характер. На этом свойстве «Дневника» Пушкина следует остановиться особо.

В «Дневнике» очень мало лирики. Ее гораздо больше в письмах, написанных одновременно с «Дневником». Видимо, «Дневник» не был для Пушкина местом лирических признаний. Потребность в них удовлетворялась поэтом иными путями. Точно так же нет в «Дневнике» и намек на настроения грусти, печали. Но зато весь «Дневник» наполнен яростным негодованием. Пушкин зол, зол на царя, на глупое и реакционное чиновничество, «на молокососов в камер-юнкерских мундирах», на «самодержавие Петра и Милорадовича глупость», на «подлеца» Уварова, на бестактность и холопство придворных и на множество всяких других явлений, которые остановили на себе острый, пронизательный и насмешливый взор поэта.

Да он и сам не скрывал, что стал вести «Дневник» не для жалоб и излияний (какими бы мотивами они не вызывались!), а для того, чтобы дать выход душившему его гневу. «Покаместь давайте злословить», — обращается он к самому себе в записи от 5 декабря 1834 года.<sup>7</sup> Проходит месяц, и под 8 января 1835 года он пишет: «Начнем новый год злословием» (стр. 61).

Вот в эти личные настроения гнева и раздражения окрасился весь материал «Дневника». Можно с уверенностью утверждать, что таков его лейтмотив. Нужды нет говорить, что иногда у Пушкина появляется просто веселая улыбка. Он готов расхохотаться над забавным анекдотом, над смешным приключением, в котором и сам он принял участие. Таких пушкинских улыбок много в «Дневнике». Точно так же не заглушают лейтмотива «Дневника» и те незначительные по содержанию записи, которые заполняя собой очень многие страницы и о которых уже шла речь выше.

Весьма заметно просвечивает личность Пушкина в записях, которые представляют бесспорный исторический интерес. Эти записи можно разделить на две категории: справки фактического порядка, сообщенные Пушкину в беседах со встреченными им людьми, и размышления Пушкина о прошлом и настоящем России, заключающие в себе оценки и характеристики. Записей, относящихся к первой категории, сравнительно немного. К главнейшим из них следует причислить такие, как сведения об убийстве Павла, подробности поведения Николая I в день казни декабря

<sup>7</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, Изд. Академии наук СССР, т. VIII, М.—Л., 1951, стр. 56. (В дальнейшем при ссылках на напечатанный в этом томе «Дневник» будут указываться лишь страницы).

стов, рассказы Ланжерона об Александре I, разговор Пушкина со Сперанским о Полном Собрании Законов, об Александре I, о Пугачеве, об А. П. Ермолове (в «Дневник» занесен только самый факт этого разговора, без всяких подробностей), сведения о том, как прошел праздник совершеннолетия наследника (запись об этом очень подробна), сообщения, что Н. В. Гоголь начал по совету Пушкина писать историю русской критики, что у Н. И. Греча состоялось совещание литераторов по поводу издания энциклопедического словаря, по-видимому, имевшее какое-то значение в глазах Пушкина сведения, что последний частный дом в Кремле был куплен в казну при Екатерине II. Таковы записанные Пушкиным наиболее значительные факты и события, которые составляют достойные истории. Таких фактов, как видим, немного.

Но и в этих записях, наполненных, казалось бы, совершенно объективным содержанием, заключена доля личного. Записи об Александре I пронизаны личной неприязнью Пушкина к этому царю. Он записал под 21 мая 1834 года: «В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку» (стр. 52). Презрение к «нечаянно пригрозитому славой» монарху, столь часто запечатлеваемое в различных высказываниях Пушкина, отразилось и в этой записи «Дневника». Насквозь субъективно описание праздника совершеннолетия наследника, записанное Пушкиным к тому же с чужих слов (стр. 47). Очень значительная доля личной неприязни заключена в словах, которыми Пушкин описал «литературное сборище» у Греча, — Пушкин необъективно отнесся к самой идее издания энциклопедического словаря. Даже в остром любопытстве Пушкина к Аракчееву, нашедшем себе выражение в записях, появившихся в «Дневнике» в связи со смертью александровского временщика, сказалось субъективное отношение Пушкина к заносимым в «Дневник» событиям.

Во вторую категорию записей, представляющих исторический интерес, входят, как уже было упомянуто, характеристики и оценки различных явлений, связанных отчасти с историей России, а главным образом с ее текущей жизнью. Эта группа записей — самая значительная, самая важная и самая трудная для понимания среди всех материалов «Дневника». Вместе с тем она и наиболее субъективна по своему характеру. Исследование этих записей — дело нелегкое, требующее кропотливой и длительной работы. Здесь предлагаются лишь самые общие соображения по поводу наиболее важных вопросов этой категории записей, являющейся сердцем «Дневника».

Мысль исследователя обращается прежде всего к записям, касающимся самодержавия, Николая I и императорского дома. Пушкин ненавидит самодержавие. Для него самодержавие и деспотизм — понятия идентичные. Пушкин ясно представляет, что русское самодержавие — это строй, единственной конституцией которого является воля монарха. В самодержавном государстве не существует пределов власти монарха.

В «Дневнике» Пушкин не раз указывает на такие подробности самодержавного правления, которые особенно сильно дают почувствовать все его зло. Хорошо известно негодование Пушкина по поводу перлюстрации его писем к жене, отраженное в «Дневнике». Из всех записей «Дневника» о самодержавии эта запись наиболее непримирима и негодующа. Она заканчивается словами: «Что ни говори, мудрено быть самодержавным» (стр. 50). Совершенно очевидно, что эту фразу нужно понимать не буквально, ибо, чтобы быть самодержцем, никакой мудрости не требуется. А вот хорошим самодержцем быть «мудрено», т. е., если отбросить заключенную в этом определении иронию, просто невозможно. Это, по-видимому,

и имел в виду Пушкин, когда подводил итог своим горьким думам об учиненной по отношению к нему подлости. Иными словами, самодержавие есть всегда зло, независимо от личности самодержца, независимо от того, кто в данное время занимает престол.

Самодержавие родит вопиющие нелепости. Пушкин записал рассказ М. М. Сперанского, как в 1812 году сопровождавший его в ссылку полицейский чиновник на одной из станций, где долго не давали лошадей, обратился за помощью к своему арестанту: «Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти каналы лошадей нам не дают» (стр. 42). Рассказ этот не только смешон, но только характеризует глупость бездарного чиновника, но будит и горькие мысли: до какой же степени непригоден строй, порождающий подобные нелепости.

Самодержавие создает возможность для таких людей, как князь В. П. Кочубей и граф К. В. Нессельроде, получить по 200 тысяч рублей на прокормление своих голодных крестьян и истратить эти деньги на балы, «что также есть способ льстить двору», — замечает Пушкин (стр. 32). При самодержавии отрезаны пути для развития талантливых государственных деятелей. Судя по «Дневнику», Пушкин считал графа П. Ф. Киселева и М. М. Сперанского самыми выдающимися государственными людьми. Остальные ему казались столь ничтожными, что среди них некем было заменить даже такую посредственность, как умерший князь В. П. Кочубей (стр. 53, 42, 53—54). Самодержавие создает цензоров, самым страшным пороком которых является безграничная и беспримерная глупость. Образцы этой глупости, занесенные в «Дневник», давно уже стали хрестоматийным материалом.

Тысячи мелких подлостей и глупостей творит самодержавие. Оно выдумывает дамские мундиры, встреченные, насколько можно судить по «Дневнику», всеобщим возмущением, оно делает возможным назначение человека, которому уже за тридцать, камер-юнкером и тем самым дает повод смеяться над ним. Только при самодержавии возможно падение нравов, при котором великий князь Константин Павлович, по его собственным словам, «в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабушку с графом Зубовым» (стр. 51). Самодержавие не только допускает, но и поощряет такие действия администрации, как принятие на себя роли перодегетого сыщика даже крупным чиновником Канцелярии московского генерал-губернатора князем И. Ф. Голицыным. Пушкин, записав это в «Дневник», добавил: «В каком веке мы живем!» (стр. 57).

Из всех зол, порожденных самодержавием, едва ли не самое большое заключается в том, что оно развращает дворянство, воспитывая в нем холопство и низкопоклонство перед самодержцем и убивая в дворянстве честь и достоинство. А дворянская честь — для Пушкина отнюдь не пустой звук. В «Дневнике» рассыпано этому немало доказательств.

Даже в таком мелком деле, как баллотирование в члены Английского клуба, правительство должно считаться с корпоративной дворянской честью и не оказывать над дворянством насилия. Поэтому Пушкин явно неодобрительно относится к тому, что военный министр граф А. И. Чернышев и петербургский обер-полицеймейстер И. В. Гладков, не прошедшие в члены клуба при первом голосовании, все-таки были избраны «по желанию правительства» (стр. 41—42). В глазах Пушкина дворянство, согласившись на это, поступило своей честью.

Сознания собственного достоинства явно не хватает дворянству. «Надобно признаться, что мы в благопристойности общественной не очень тверды», — записывает Пушкин 14 апреля 1834 года (стр. 46). Члены Государственного совета вели себя так, что Совет «иногда превращался

только что не в драку». Один В. П. Кочубей мог заставить членов Совета вспомнить о чести и достоинстве дворянина. «Он был человек хорошо воспитанный, — и это у нас редко» (стр. 54).

Пушкин не хочет, чтобы продолжалась та дифференциация внутри дворянства, которая происходит ныне. Он полагает, что в России рядовое, неаристократическое дворянство способно сыграть роль той революционной силы, какой во Франции явилось третье сословие. Поэтому надо приостановить процесс дифференциации дворянства, к обоим полюсам которого, т. е. к аристократии и к рядовой массе, Пушкин относится одинаково отрицательно. Нужно создать немногочисленное, но единое, проникнутое развитым корпоративным духом, высококультурное дворянство. В его среде не останется места для тех пустых, жадных и жестоких бездельников, о которых много говорится в «Дневнике». Правительство же в своей политике по отношению к дворянству находится на неверном пути. Романовы, всячески разлагая и развращая дворянство, приближают революцию, т. е. являются *революционерами и уравнителями*, как сказал Пушкин в разговоре с Михаилом Павловичем, чем вызвал занесенную в «Дневник» ироническую реплику великого князя: «Этой репутации мне как раз не хватало!».

В записях «Дневника» звучит откровенная неприязнь по отношению к Николаю I. Таковы все записи, в которых идет речь о камер-юнкерстве. Это было большим местом Пушкина, и можно себе представить, какая буря подымалась в нем при одной только мысли о нанесенном оскорблении. Мало хорошего по адресу Николая I заключено и в чем-то афоризме, занесенном в «Дневник»: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» (стр. 52).

Но наряду с этим Пушкин пишет о «дельных» замечаниях царя по поводу «Истории Пугачева», о простоте его в обращении, о хорошем его языке и о некоторых других подробностях, создающих в целом впечатлительные желания Пушкина отнести к Николаю I с возможной объективностью. Такая двойственность в оценках царя проходит через весь «Дневник».

В «Дневнике» заключено немало мыслей Пушкина по другим вопросам. Чтобы верно понять эти мысли, необходимо привлечь материал, входящий за пределы дневникового. Таковы вопросы крестьянский, о внешней политике, об Аракчееве и некоторые другие. В силу указанной причины здесь они затрагиваться не будут.

Все высказывания Пушкина, занесенные в «Дневник», имеют одну примечательную черту — они все лишены догматизма. Эти высказывания — мысли человека, задумывающегося над судьбами своей родины и желающего ей помочь, а вовсе не ученого, занятого решением проблем исторической науки и «позволяющего себе думать», что его мнения отражают объективную истину. Пушкин никому своих мнений не навязывает и доверительно высказывает их, т. е. ведет дневник, а не пишет историю.

Если теперь подвести итог всему, что говорилось о «Дневнике», то он может быть выражен в следующих положениях.

«Дневник» Пушкина есть дневник и не больше. Ему присущи все признаки этого историко-литературного жанра: переплетение важного со второстепенным, отсутствие всяких конструктивных элементов, кроме хронологии, субъективизм при отборе и изложении материала. Записи в «Дневнике» Пушкина, представляющие исторический интерес, можно разделить на две категории: фактические справки о минувших и происходящих событиях и взгляды Пушкина на различные социально-политические вопросы прошлого и настоящего. Из записей, относимых ко второй

категории, наибольший интерес представляют те, в которых идет речь о самодержавии. В силу этого «Дневник» представляет один из самых важных документов, иллюстрирующих политическую позицию Пушкина 30-х годов.

Идеология Пушкина раскрывается на очень разнообразном материале. Но больше всего и чаще всего Пушкин в «Дневнике» говорит о Петербурге, точнее говоря, о петербургском дворянстве, а еще точнее — о придворной среде. Совершенно естественно, что Пушкин писал о тех людях и по поводу тех людей, в среде которых он вращался, т. е. петербургского света. Властная рука самодержца втянула Пушкина и в тот уже совсем узкий круг, к которому он не принадлежал и к которому тяги никакой не чувствовал, — в круг придворных. Последние годы жизни Пушкин провел в среде этих людей.

Что он в ней увидел? «Дневник» отвечает на это с исчерпывающей полнотой. Балы сменяются раутами, рауты — ужинами, ужины — живыми картинами и т. д. Пушкин показал пустую жизнь петербургской знати во всей неприкрытой наготе. Пушкину тяжело следовать канонам придворного этикета, и он идет на их нарушение, о чем несколько раз упоминает в «Дневнике». Придворный мир занят сплетнями, интригами, семейными ссорами четы Безобразовых, назначением И. О. Сухозанета, нездоровьем императрицы, каламбурами Михаила Павловича и многими другими подобной же важности делами.

«Дневник» не сохранил, за исключением двух-трех случаев, никаких упоминаний о встречах Пушкина с писателями, театральными деятелями, музыкантами. Если подобные встречи и происходили, то во всяком случае они не оставляли в сознании Пушкина таких следов, чтобы он почувствовал потребность занести их в «Дневник». Если бы Пушкин имел в виду выступать в роли историка своего времени или подготовить материал для будущего историка, он, конечно, писал бы о делах и людях Петербурга гораздо больше, чем об этом написано в «Дневнике». Бедность петербургского колорита «Дневника» — одно из дополнительных доказательств того, что Пушкин был далек от мысли придавать своим записям значение готового исторического повествования.

Итак, рассмотрение «Дневника» в разных аспектах убеждает в неверности такого толкования этого произведения Пушкина, какого придерживается большинство исследователей. «Дневник» Пушкина есть обыкновенный дневник со всей спецификой, присущей этому историко-литературному жанру. Он отличается от всех прочих дневников, написанных другими людьми, столько же, сколько творчество Пушкина отличается от творчества всех других писателей. В этом смысле он единственный и неповторимый. Но он все же остается дневником, и попытки видеть в нем нечто качественно отличное от дневника не могут, по-видимому, привести к положительным результатам.

При такой интерпретации «Дневника» возникает еще одно недоумение. Пушкин несколько раз упоминает о потомстве. В записи 18 декабря 1834 года читаем: «Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу все в подробности, в пользу будущего Вальтер-Скотта» (стр. 57), — и дальше следует описание бала в Аничковом дворце, включающее в себя такие подробности, как то, что царь был в кавалергардском мундире, а царица «очень похорошела». 8 января 1835 года Пушкин упомянул о придворном маскараде, на котором граф А. А. Бобринский был одет комендантом Михайловского замка И. С. Брызгаловым. Этот последний вызвал такое «замечание для потомства» (эти два слова подчеркнуты Пушкиным): «Полуумный старик, щеголявший в шутовском своем мун-

дире, в сопровождении двух калек-сыновей, одетых скomoroxами» (стр. 62). Наконец, в первой февральской записи 1835 года (она точной даты не имеет) Пушкин поместил такие слова: «С генваря очень я занят Петром ... Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству» (там же).

Все эти упоминания о потомстве — не более чем ирония. Какое значение для отношения Пушкина к окружающей жизни, для его мировоззрения, для его жизненной практики, словом для него лично, имели те записи «Дневника», которые наполнены светскими и придворными пустячками, разгадать пока невозможно. Но Пушкин не писал истории своего времени и не собирал материалов для нее. Это Николай I хотел из Пушкина сделать придворного поэта и хрониста. А Пушкин смеялся над ним и ему, а не потомству показывал шиш. Сам же он хотел только одного: чтобы его не трогали, ничего от него не требовали. Ведь в это же самое время было написано стихотворение «Пора, мой друг, пора!»: «Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег», — писал он. А его заставляют присутствовать на шутовских маскарадах, или на придворных балах, или слушать разговоры о назначениях и наградах. Как мог Пушкин отнестись к тому, чтобы стать летописцем всех подобных событий, иначе, чем иронически?

Вчитываясь в «Дневник» Пушкина, убеждаешься в том, что это человеческий документ, что это частица жизни того, кто его создал. Великий ум поэта светится в каждой строчке «Дневника». Негодование бурлит в нем, на многих его страницах проступает едкая пушкинская ирония. Множество пушкински глубоких и ясных мыслей заключено в нем. Насыщенность «Дневника» мыслью и чувством поразительна.

Изучение его еще только начинается. Можно быть уверенным, что когда советские исследователи вплотную возьмутся за выполнение давно стоящей перед ними задачи создания монументальной биографии Пушкина, они отнесутся к «Дневнику» с тем вниманием, какого требует к себе этот совершенно исключительный по своему значению документ.

# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ



М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

## МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ АРЗАМАССКОГО БРАТСТВА<sup>1</sup>

### 1

Фронт дворянской оппозиции самодержавию в 10-е и 20-е годы XIX века был весьма широк, и борьба карамзинистов с шишковистами, а также последующая полемика между романтиками и классиками должны рассматриваться как отражение в литературе общественных разногласий.

Своеобразное место в этой борьбе занимали карамзинисты. Обычно, говоря о карамзинизме, не отмечают тот факт, что во втором десятилетии XIX века это литературное течение претерпевает значительные изменения, которые приводят к возникновению внутри его оппозиционного крыла. В конце XVIII и в первом десятилетии XIX века карамзинисты, выступая против сторонников классицизма, а затем сражаясь с шишковистами, придерживались в основном правительственной ориентации. Оппозиционный дух проявлялся в те годы главным образом в произведениях Радищева, Новикова, Державина. Но шло время, исчезали надежды на конституционные преобразования сверху, столь сильные в начале царствования Александра I. Соответственно с поправением правительственного курса происходит консолидация реакционных сил в литературе: в 1811 году возникает «Беседа любителей русского слова». В то же время в произведениях эпигонов Карамзина сентиментализм мельчал и вырождался; бездарные последователи Карамзина — как в литературном, так и в общественном отношении — все ближе смыкались с шишковистами, в творчестве которых, в свою очередь, все сильнее проявлялись черты сентиментальной чувствительности и языковой реформы Карамзина.

Однако к концу 1800-х годов дает себя знать и противоположная тенденция: вокруг карамзинского знамени собирается плеяда писателей, не пожелавшая уступить пальму первенства литературной реакции; эти писатели, которые в дальнейшем образовали литературное объединение «Арзамас», придают иное направление карамзинизму: вопреки личному желанию Карамзина обостряется полемика с шишковистами, а наиболее талантливые карамзинисты оказываются в лагере дворянской оппозиции.

В развитии оппозиционных настроений среди сторонников Карамзина большую роль сыграла Отечественная война. Атмосфера освободительной войны, личное участие во всенародной борьбе с иноземными захватчиками (Давыдов, Батюшков, Орлов, Вяземский, Воейков — кто в большей, а кто в меньшей степени — сражались в рядах русской армии), несомненно, наложили отпечаток на общественные воззрения будущих арзамасцев.

Кроме того, будущие арзамасцы испытали плодотворное влияние идей русского Просвещения. В ходе создания национальной культуры ради-

<sup>1</sup> Рукописные материалы, использованные в настоящей статье, были приведены в моем докладе на заседании сектора пушкиноведения ИРЛИ 11 июня 1957 года.



кально-просветительская (радищевская) и умеренно-просветительская (карамзинская) традиции оказывали перекрестное действие друг на друга. Так, например, как справедливо отметил Г. П. Макогоненко в книге «Радищев и его время», на творчество поэтов Вольного общества оказал воздействие сентиментализм карамзинской школы.<sup>2</sup> Говоря же о формировании мировоззрения арзамасцев, необходимо подчеркнуть глубоко положительное влияние на них радикальных просветительских идей. Доказательством этого положения может служить отношение Вяземского к сатире, его пропаганда сатирического творчества русских писателей XVIII и начала XIX века, его собственные сатирические произведения. Среди карамзинистов внимание к сатире проявляет в начале 1810-х годов не только Вяземский. Жуковский публикует «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще»;<sup>3</sup> М. В. Милонов печатает в 1810-е годы шесть сатир, из которых наиболее резкая по своему обличительному тону «К Рубеллию. Сатира Персиева» (1810).<sup>4</sup>

Отказ правительства от социальных реформ, усиление литературной реакции, благотворное влияние Отечественной войны 1812 года и радикальных идей русского Просвещения — таковы были общественные и литературные факторы, приведшие в 1810-х годах к значительной эволюции карамзинизма.

Среди оппозиционно настроенных писателей, близких Карамзину, видное место принадлежит П. А. Вяземскому.

Критическая и поэтическая деятельность Вяземского в 10—20-е годы является убедительным доказательством того, как поэзия и критика, черпая свое вдохновение в накаленной атмосфере общественной жизни, способствовали росту оппозиционных и революционных настроений среди передовой части русского дворянства.

Первые критические выступления Вяземского в конце 1810-х годов, и в частности его статья «Два слова постороннего», напечатанная без подписи в журнале «Цветник» за 1808 год, не привлекли особого внимания современников. Впрочем, прав Ю. М. Лотман, который на анализе этой статьи доказал, что уже в конце 1800-х годов у Вяземского проступает

<sup>2</sup> Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. Гослитиздат, М., 1956, стр. 685—700.

<sup>3</sup> «Вестник Европы», 1810, №№ 3 и 6.

<sup>4</sup> Сатирическая линия творчества карамзинистов и их оценка писателей-сатириков — тема особого исследования; здесь лишь перечислим некоторые произведения на эту тему. Так, например, интерес к Кантемиру проявил Батюшков, написавший «Вечер у Кантемира» (1816); А. Ф. Воейков пишет «Сатиру к Сперанскому» об истинном благородстве» («Вестник Европы», 1806, № 19), а в 1810-е годы ходит по рукам его стихотворный памфлет «Дом сумасшедших»; бурную полемическую деятельность проявляет в начале 1810-х годов А. Е. Измайлов — изучение его рукописей показывает, что не все его сатирические произведения до сего времени опубликованы: его стихотворные сатиры на идейного вдохновителя «Беседы» А. С. Шишкова, «Раскольник Аввакум» (1811) и «Калмык оратор» (1811), а также сатирический диалог в стихах «Князь Шкаховской» и Актриса Ежова» (1812) ждут своего напечатания; Батюшков пишет «Видение на берегах Леты» (1809) и, вместе с А. Е. Измайловым, пародию «Певец в Беседе любителей русского слова» (1813); эпиграммы Батюшкова и Вяземского — в отличие от традиции раннего карамзинизма — имеют, как правило, персональных адресатов: они беспощадно высмеивают литературных ретроградов; Вяземский, помимо эпиграмм, пишет острое сатирическое стихотворение «Сравнение Петербурга с Москвой» (1810), нозль «Спасителя рождением» (между 1814—1817 годами). Приведенный список не претендует на полноту, — нам хотелось лишь указать на обилие сатирических произведений у карамзинистов в 1810-е годы.

критическое отношение к принципам карамзинизма начала века.<sup>5</sup> Однако не эта анонимная статья, а эпиграммы принесли Вяземскому первый литературный успех. Из «Записок» Ф. Ф. Вигеля видно, какое сильное впечатление произвели выступления Вяземского-эпиграмматиста: «В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед, и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их. . . Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовь же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть его тешится; а дитя куда тяжел был на руку. Как Иван-царевич, бывало князь Петр Андреевич кого за руку, рука прочь, кого за голову, голова прочь».<sup>6</sup>

Уже в 1810 году, восемнадцатилетним юношей, Вяземский печатает в «Вестнике Европы» эпиграммы на шишковиста С. С. Боброва: «К портрету Бибриса» и «Быль в преисподней» (последняя вольный перевод вольтеровской эпиграммы «Sur la mort de M. d'Aube»). В 1810—1815 годах Вяземский пишет также эпиграммы на Д. И. Хвостова, П. И. Голенищева-Кутузова, А. Н. Грузинцева, А. С. Шишкова.

Особенно активно участвовал Вяземский в борьбе против членов «Беседы» в период обострения литературной полемики между карамзинистами и шишковистами в 1815 году, когда А. А. Шаховской поставил на сцене свою пьесу «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В этой пьесе под именем балладника Фиалкина автор осмеял Жуковского. В ответ на «Липецкие воды» Д. В. Дашков пишет «Письмо к новейшему Аристофану», Д. Н. Блудов — «Видение в какой-то огаде, изданное обществом ученых мужей», а Вяземский — множество эпиграмм: «Я разлился потоком эпиграмм, и кажется первый прозвал Шаховского Шутовским».<sup>7</sup> В цикл «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги» входит девять эпиграмм Вяземского. Кроме того, Вяземский пишет «Письмо с Липецких вод»,<sup>8</sup> в котором зло высмеивает действующих лиц комедии Шаховского и самого автора комедии.

Не ограничиваясь полемическими выступлениями, Вяземский призывал друзей создать литературное содружество для противодействия реакционной «Беседе». В письме к А. И. Тургеневу от 29 октября 1813 года он писал: «Зачем нашей братии скитаться, как жидам? И отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в одной конюшне и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку?».<sup>9</sup>

Учитывая роль Вяземского как одного из инициаторов создания «Арзамаса», необходимо исследовать его участие в этом обществе и его арзамасские связи.

Историки русской литературы по-разному оценивают значение «Арзамаса».<sup>10</sup> Автор настоящей работы присоединяется к тем исследователям,

<sup>5</sup> Ю. М. Лотман. «Два слова постороннего» — неизвестная статья П. А. Вяземского. В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. Сборник, посвященный 80-летию Н. К. Пиксанова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 304.

<sup>6</sup> Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 3, М., 1892, стр. 141—142.

<sup>7</sup> П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 283.

<sup>8</sup> «Российский музеум», 1815, № 12.

<sup>9</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1. СПб., 1899, стр. 19.

<sup>10</sup> По этому вопросу см.: Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. Гослитиздат, М., 1958, стр. 261—262.

которые придавали большое литературно-общественное значение этому обществу. Б. С. Мейлах справедливо отмечает, что из обозрения полемических произведений В. Л. Пушкина, Вяземского, Жуковского, Батюшкова, А. С. Пушкина, Дашкова, Блудова «можно сделать вывод о сплоченности основного ядра будущих арзамасцев, начавших свои выступления под общими лозунгами почти за пять лет до организационного оформления своего кружка».<sup>11</sup> После этого вполне справедливого суждения, которое расширяет наше представление об «Арзамасе» путем постановки вопроса о предыстории этого общества, кажется мало убедительным высказанное вслед за тем мнение о том, что положительная работа «Арзамаса», «по-видимому, была весьма ограниченной».<sup>12</sup> Вряд ли, например, чтение глав из неопубликованного еще в то время труда Карамзина «История государства Российского» «происходило в атмосфере арзамасских шуточек».<sup>13</sup> Такое предположение кажется тем более маловероятным, что эти главы читал арзамасцам сам Карамзин; в письме к жене из Петербурга от 2 марта 1816 года Карамзин писал: «Не мудрено, что выведу ни с чем, и что моя История останется в пыли. А *propos d'histoire*: читал ее Арзамасцам два раза у Катерины Федоровны (тут был и Оленин); еще помемногу раза три канцлеру: действие удовлетворяло моему самолюбию. Сказать правду, здесь не знаю ничего умнее Арзамасцев: с ними бы жить и умереть».<sup>14</sup> Судя по письму Карамзина, арзамасцы с полной серьезностью отнеслись к его труду и, по-видимому, высказывали дельные суждения по поводу прочитанного. Думается, что были и другие случаи, когда члены «Арзамаса» всерьез обсуждали литературные, исторические и политические вопросы; шутливый тон протоколов не должен вводить нас в заблуждение, и прав, конечно, Б. С. Мейлах, который пишет: «Эти протоколы не дают представления о существе, а только о предметах занятий».<sup>15</sup>

Полагая, что деятельность «Арзамаса» не ограничивается шутивными протоколами, при ее изучении следует сосредоточить внимание на истинном существе арзамасских связей в период между 1810 и 1825 годами. Для правильной оценки значения арзамасских связей обратимся к мемуарным и эпистолярным источникам. В статье «По поводу бумаг В. А. Жуковского» (1875) Вяземский дает следующую характеристику арзамасского братства: «Мы уже были Арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания — все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и Арзамасцы пришедшие и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу».<sup>16</sup> В «Старой записной книжке» у Вяземского есть еще одно любопытное свидетельство об «Арзамасе»: «... это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества».<sup>17</sup>

<sup>11</sup> История русской литературы, т. 5. Изд. АН СССР, М., 1941, стр. 331.

<sup>12</sup> Там же, стр. 334.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Н. М. Карамзин, Неизданные сочинения и переписка, ч. I, СПб., 1862, стр. 165.

<sup>15</sup> Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 268.

<sup>16</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. 7, СПб., 1882, стр. 411—412.

<sup>17</sup> П. А. Вяземский. Старая записная книжка, стр. 239.

Таким образом, из высказываний Вяземского следует, что шутовской церемониал был лишь частью — и отнюдь не самой существенной — деятельностью арзамасского братства. Признания Вяземского показывают истинное лицо «Арзамаса», а из его замечания об «Арзамасе» как школе взаимного литературного обучения естественно сделать вывод о том, что о деятельности этого общества надо судить в первую очередь не по шутовым протоколам, а по тем произведениям, которые вышли из-под пера участников «Арзамаса» в эти годы.

Если отойти от традиционного взгляда на «Арзамас», согласно которому его деятельность ограничивается сохранившимися протоколами, то проясняются многие места из мемуарной литературы и из писем современников, свидетельствующие о том, что собрания арзамасцев происходили не только в Петербурге, но и в Москве. Ф. Ф. Вигель писал в своих «Записках» о московских собраниях «Арзамаса»: «По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем „Ахилла“, и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем „Армянина“. Первый следующей осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве; там вместе с Вяземским и Пушкиным (Василием Львовичем, — М. Г.) составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горняго „Арзамаса“, не имея на то права».<sup>18</sup> Сын Давыдова в «Известии о жизни Д. В. Давыдова» также указывает, что арзамасцы собирались в Москве: «Общество это собиралось попеременно в Петербурге и Москве».<sup>19</sup> Библиограф М. Н. Лонгинов, всеведение которого подтверждал Вяземский, писал об «Арзамасе»: «Общество со временем увеличилось новыми членами и собиралось в Петербурге, а иногда и в Москве, когда там съезжалось много членов».<sup>20</sup> 4 июня 1816 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я на днях еду в Остафьево и со мною весь московский Арзамас».<sup>21</sup> Таким образом, воспоминания и письма современников позволяют категорически утверждать, что собрания «Арзамаса» происходили и в Москве и что шутовые протоколы не охватывают собой все собрания общества.

Далее отметим, что дата окончания протоколов (1818), которая обычно принимается исследователями за конец «Арзамаса», не совпадает со временем распада арзамасских связей, продолжавшихся и в последующие годы; в доказательство этого утверждения можно привести переписку членов «Арзамаса», и в первую очередь переписку Вяземского с А. И. Тургеневым, А. С. Пушкиным, М. Ф. Орловым, Д. В. Дашковым и Жуковским.

30 марта 1819 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Посылаю тебе сыноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге».<sup>22</sup> В ответном письме от 9 апреля 1819 года А. И. Тургенев сообщил Вяземскому: «Вчера поздно ввечеру получил письмо твое, милый друг, с розгами Каченовскому и вчера же прочел одним Карамзиным, потому что прочей арзамасской братии не случилось».<sup>23</sup> 15 ноября 1819 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Мало-помалу Арзамас соберется на невском пепелище, или леднике, а меня все-таки не будет».<sup>24</sup> Наконец, в письме А. И. Турге-

<sup>18</sup> Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 5, 1892, стр. 45.

<sup>19</sup> Д. В. Давыдов, Сочинения, ч. 3, М., 1860, стр. 101.

<sup>20</sup> М. Н. Лонгинов, Сочинения, т. 1, М., 1915, стр. 163.

<sup>21</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 47.

<sup>22</sup> Там же, стр. 208.

<sup>23</sup> Там же, стр. 213.

<sup>24</sup> Там же, стр. 353.

нева к Вяземскому от 30 марта 1821 года имеется прямое упоминание о существовании общества: «Один из наших арзамасцев, Кавелин, сделался совершенным Пальясом Пальяса Магницкого: кидает своею грязью в убитого Куницына, обвиняет его в своей вине, то есть в том, что взбунтовались ученики его пансиона, и утверждает, что политическую экономию должно основать на Евангелии. Я предложу выключить его формально из Арзамаса».<sup>25</sup>

Если считать, что арзамасское братство прекратило свою деятельность в 1818 году, то как мог А. И. Тургенев в марте 1821 года ставить вопрос об исключении Кавелина<sup>26</sup> из несуществующего общества? По-видимому, отсутствие протоколов еще не может служить доказательством того, что арзамасское братство перестало существовать; ведь собрания арзамасцев в Петербурге в 20-е годы могли происходить и без протоколов, как это и было при московских собраниях «Арзамаса» в середине 10-х годов; для положительного решения вопроса о существовании арзамасского братства в конце 10-х и в первой половине 20-х годов решающим аргументом является то, что в сознании самих арзамасцев их встречи между собой были не просто дружескими сходками приятелей, а встречами арзамасцев, связанных, в большей или меньшей степени, общностью литературно-общественных интересов.

Письма Вяземского к А. И. Тургеневу, опубликованные в первых двух томах Остафьевского архива, предназначались для чтения среди арзамасцев; и действительно, арзамасцы читали и обсуждали сообща эти письма, в которых Вяземский затрагивал самые злободневные вопросы: о конституционных замыслах Александра I, об отходе царя от либеральных идей, о Священном союзе, о крепостном праве и т. д. До последнего времени эти письма использовались лишь как справочный и подсобный материал при разработке историко-литературных проблем того времени. Между тем переписка Вяземского с А. И. Тургеневым имеет и самостоятельное значение, свидетельствуя о литературно-общественной значимости и длительности арзамасских связей.

В письме из Варшавы от 7 января 1821 года, посылая А. И. Тургеневу стихотворение «Негодование», Вяземский указывал на радищевскую неправильность своих мыслей: «Угодил ли своим „Негодованием“ Николаю Ивановичу? Пусть возьмет он один список с собою в diligence и читает его по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и далее, как Радищеву».<sup>27</sup> В ответном письме от 19 января 1821 года А. И. Тургенев сообщал Вяземскому: «Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твоё „Негодование“. В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. „Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?“».<sup>28</sup> И действительно, было от чего дрожать верноподданному чиновнику-поэту при чтении стихотворения Вяземского, в котором автор клеймил позором светскую и духовную власти:

<sup>25</sup> Там же, т. 2, стр. 185.

<sup>26</sup> Г. В. Ермакова-Битнер опубликовала в книге «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» (Л., 1959) сатирическое послание А. Ф. Воейкова «К Бурдину», адресатом которого, по ее вполне правдоподобной догадке, является Д. А. Кавелин. Это послание лишний раз подтверждает, что на собраниях «Арзамаса» обсуждались самые злободневные политические вопросы. В конце послания, говоря о разрыве Д. А. Кавелина с кругом арзамасцев («Ты с нами разорвал приятельскую связь»), А. Ф. Воейков прямо называет его Иудой Искаротским.

<sup>27</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 137.

<sup>28</sup> Там же, стр. 142.

Печальную главу посыпав скорбным прахом,  
 Я зрел: изгнанницей поруганную честь,  
 Доступным торжищем — святыню правосудья,  
 Служенье истине — коварства торжеством,  
 Законы, правоты священные орудья,  
 Щитом могучему и слабому ярмом.  
 Зрел промышляющих спасительным глаголом,  
 Ханжей, торгующих учением святым,  
 В забвеньи бога душ — одним земным престолом  
 Кадящих трепетно, одним богам земным.

С гневом обращается Вяземский к вельможной знати и к высшим иерархам церкви, он называет их слугами властолюбия и призывает на них суд неба:

Твердыней, правде неприступной,  
 Надменно к облакам вознесся ваш чертог,  
 И непорочность, зря дней ваших блеск преступный,  
 Смущаясь говорит: «Где ж он, где ж казни бог?  
 Где ж судия необольстимый?  
 Что ж медлит он земле суд истины изречь?  
 Когда ж в руке его заблещет ярый меч  
 И поразит порок удар неотразимый?»<sup>29</sup>

Стихотворение Вяземского по своей художественной форме несовершенно: оно слишком растянуто. Однако этот недостаток не может заслонить его значения как документа гражданской поэзии декабристской эпохи.

Несмотря на то что Вяземский в этом стихотворении, как и Пушкин в оде «Вольность», провозглашает идею союза закона и трона, все содержание «Негодования» служило делу революционизирования передового дворянства. Вольнолюбивая патетика этого стихотворения, продолжавшая радищевскую традицию, указывает, на какую высоту гражданского чувства был способен Вяземский в те годы.

Именно с этим вольнолюбивым стихотворением Вяземского знакомит друзей А. И. Тургенев. 2 февраля 1821 года А. И. Тургенев сообщал Вяземскому: «Ко мне ездят слушать „Негодование“, и я уже его вытвердил наизусть, но ни одной копии не выдал и не выдам».<sup>30</sup> Но сам Вяземский стремился, чтобы «Негодование» разошлось в списках по рукам — 24 мая 1821 года он писал из Царского Села А. И. Тургеневу: «Да кстати, приготовь мне три списка моего „Негодования“, или не видать тебе никогда ни полустишия моего».<sup>31</sup>

Говоря о деятельности арзамасского братства, следует упомянуть о чтении басни Вяземского «Доведь» В. Л. Пушкиным на заседании Общества российской словесности 24 февраля 1817 года. Вот эта басня:

Попавшись в доведи на шашечной доске,  
 Зазналась шашка пред другими,  
 Забыв что из одной она и кости с ними  
 И на одном сработана станке.  
 Игрок по прихоти сменил ее другую  
 И продолжал игру, не думая о ней.  
 При счастье чванство впрок бывает у людей;  
 Но что, скажите, в нем, как счастье к нам спиною?

<sup>29</sup> П. А. Вяземский, Стихотворения. Изд. «Советский писатель», Л., 1958, стр. 137, 138. Все содержание стихотворения, его гражданственная приподнятость, чередование четырехстопного и шестистопного ямба вызывают в памяти стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Хотя «Негодование» в те годы «презрело печать», но надо думать, что Лермонтов читал его — с декабристской литературой он, как и вся передовая молодежь 30-х годов, знакомился по рукописным спискам. По-видимому, и «Негодование» — одно из наиболее сильных по своей оппозиционной настроенности стихотворений — было известно Лермонтову.

<sup>30</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 153.

<sup>31</sup> Там же, стр. 190.

О доведи-временщики  
 На шахматном паркете!  
 Не забывайте, что на свете  
 Игрушки царской вы руки.<sup>32</sup>

Басня «Доведь», помимо просветительской тенденции — признания равенства всех людей от рождения, интересна двойной моралью: в общечеловеческом плане она осуждает чванство, а в политическом аспекте — фаворитов самодержавия и в первую очередь (если учесть год ее написания) Аракчеева.

Ноэль Вяземского «Спасителя рождением» (между 1814 и 1817 годами), наиболее исправный и полный текст которого был опубликован Л. Я. Гинзбург по списку А. И. Тургенева,<sup>33</sup> заострен против Государственного совета, царских министров и членов «Беседы». Когда Пушкин в 1818 году писал свой остро политический ноэль «Ура! в Россию скачет», обличающий Александра I, то он, помимо французской традиции, ориентировался и на русские образцы ноэля — Д. П. Горчакова и П. А. Вяземского.<sup>34</sup>

Об успехе антиправительственного стихотворения Вяземского «Сравнение Москвы с Петербургом» писал Д. П. Северин в неопубликованном письме к Вяземскому от 2 февраля 1811 года: «Стихи твои прекрасны, любезный друг, разумеется те, в которых ты сравниваешь Москву с Петербургом, а не помещенные в Вестнике в честь Валберховой».<sup>35</sup> Тема этого стихотворения Вяземского — сравнение двух столиц — была подхвачена и получила дальнейшее развитие в произведениях многих русских писателей XIX века (Гоголь, Белинский, Герцен, К. С. Аксаков, Аполлон Григорьев, Н. А. Мельгунов, М. А. Дмитриев). Характерно, что в своем окончательном выводе — осуждение и Петербурга, и Москвы — молодой Вяземский сошелся с Герценом, который, полемизируя в 1846 году с москвофильской позицией К. С. Аксакова, в «Станции Едрово» утверждал ту же мысль.

К вольнолюбивым стихотворениям Вяземского относится и «Петербург (отрывок 1818 года)», напечатанный Бестужевым и Рылеевым в «Полярной звезде на 1824 год». В рукописном сборнике произведений Вяземского на полях этого стихотворения имеется авторская приписка: «Отрывок из стихотворения, которое кончается воззванием к императору Александру I о даровании свободы крестьянам и прочих льгот».<sup>36</sup> В советских изданиях стихотворений Вяземского опубликованы не печатавшиеся ранее по цензурным условиям 40 строк из «Петербурга», которые полностью подтверждают эту запись. Вяземский выступает против призола самодержавия («Народных бед творец — слепое самовластье») и призывает к освобождению крестьян верховной властью («С чела оратая сотрется пот неволи»).

Присутствую мечтой торжеств великолепью,  
 Свободный гражданин свободных земель!  
 О царь! судьбы своей призванию внимай,  
 И Александров век светилом незакатным  
 Торжественно взойдет на русский небосклон,

<sup>32</sup> П. А. Вяземский, Стихотворения, стр. 103.

<sup>33</sup> Там же, стр. 98—103.

<sup>34</sup> Вызывает недоумение, что ноэль «Спасителя рождением» перепечатан в числе стихотворений Д. П. Горчакова в книге «Поэты-сатирики концы XVIII—начала XIX в.» (Л., 1959). Аргументация В. С. Нечаевой и Л. Я. Гинзбург, как мне кажется, окончательно решает вопрос об авторстве Вяземского.

<sup>35</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2727, л. 24.

<sup>36</sup> ЛБ, фонд Муз., шифр 7281, стр. 147.

Приветствуя, как друг, сияньем благодатным  
Грядущего еще не пробужденный сон.<sup>37</sup>

С цензурными купюрами было напечатано и в таком виде дошло до нас стихотворение Вяземского «Послание к И. И. Дмитриеву», о чем свидетельствует авторская приписка в рукописном сборнике на полях этого стихотворения: «Здесь несколько стихов выкинуто ценсурой. Полного списка у меня нет. Нельзя ли справиться у Мих(аила) Алек(сандровича), не найдется ли подлинник в бумагах Ив(ана) Ив(ановича)? Не помню что было, но вероятно ничего такого, что теперь не было одобрено».<sup>38</sup>

Однако и в напечатанном тексте этого стихотворения были строки, которые врезались в память современников. Так, например, С. Д. Полторацкий писал в библиографических заметках: «... стих 56-й сделался с тех пор поговоркой: „И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать“; стих 83-й также: „Но истины язык не вяжен для ушей“».<sup>39</sup>

Возмущаясь купюрами в стихотворении «Ухаб», Вяземский писал А. И. Тургеневу 7 ноября 1821 года: «Зачем „Сын“ засыпал два куплета моего „Ухаба“? Неужели и тут ценсура отмежевала?».<sup>40</sup>

Если часть произведений Вяземского печаталась с цензурными купюрами, то некоторые его стихотворения вовсе не могли быть опубликованы в то время, так как в них резко обличалось самодержавие. К таким произведениям, помимо «Сравнения Москвы с Петербургом», «Спасителя рождением» и «Негодования», принадлежало «Поздравление В. Л. Пушкина на Новый год» (1820), в котором Вяземский писал:

Пусть нашим ценсорам дозволят  
Дозволить мысли вход в печать;  
Пусть баре варварства не холят  
И не невежничает знать.  
Будь в этот год, другим не равный:  
Все наши умники умны,  
Менандры невские забавны,  
А Еврипиды не смешны,  
Исправники в судах исправны,  
Полковники не палачи,  
Министры не самодержавны,  
А стражи света не сычи.  
Пусть щук поболее народится,  
Чтоб не дремали караси;  
Пусть белых негров прекратится  
Продажа на святой Руси.<sup>41</sup>

Сравнение последних изданий стихотворений Вяземского (1935, 1958) с журнальными публикациями и с текстом его дореволюционного собрания сочинений показывает, что наиболее оппозиционные стихотворения, а также самые свободолобивые строки из ряда его произведений до последнего времени были под спудом. Если рассмотреть восстановленный от цензурных изъятий корпус стихотворений Вяземского, то станвится вполне понятной его запись в одной из рукописей: «Liberté! plein noble ardeur, c'est moi qui le premier auteur d'adresser des chants Russes».<sup>42</sup>

Эта же мысль высказана Вяземским в стихотворении «Негодование»:

<sup>37</sup> П. А. Вяземский, Стихотворения, стр. 114.

<sup>38</sup> ЛБ, фонд Муз., шифр 7291, стр. 289. Михаил Александрович — Дмитриев, племянник Ивана Ивановича Дмитриева.

<sup>39</sup> ГПБ, Q.XVIII.25<sup>11</sup>, л. 93.

<sup>40</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 224.

<sup>41</sup> П. А. Вяземский, Стихотворения, стр. 145.

<sup>42</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1010, л. 1. Перевод: «Свобода! полный благородного пыла, я первый приветствовал тебя русским стихом» (франц.).



Свобода! пылким вдохновеньем,  
Я первый русским песнопеньем  
Тебя приветствовать дерзал.<sup>43</sup>

Заканчивая обзор вольнолюбивых стихотворений Вяземского, уместно привести мнение Ю. Г. Оксмана по данному поводу: «Вяземский был не только одним из известнейших передовых писателей этой поры, но и автором многочисленных политических сатир, рассуждений в стихах и эпиграмм (из них наиболее популярны «Ноэль», «Сравнение Москвы с Петербургом», «Петербург», «Негодование»), имевших широкое нелегальное распространение в кругах оппозиционной общественности десятых и двадцатых годов».<sup>44</sup>

15 октября 1815 года на первом заседании «Арзамаса» Вяземский был заочно выбран членом общества; весть об организации «Арзамаса» и об избрании его в члены нового литературного содружества Вяземский встретил с большим удовлетворением: исполнилась его заветная мечта о создании прогрессивного литературного общества карамзинистов. В письме к А. И. Тургеневу от 22 января 1816 года Вяземский подчеркивал общественное значение «Арзамаса»: «Наша российская жизнь есть смерть... Я приеду освежиться в Арзамас и отдохнуть от смерти».<sup>45</sup> Вскоре, в феврале 1816 года, Вяземский приехал в Петербург и 24 февраля впервые присутствовал на заседании «Арзамаса» на квартире Д. Н. Блудова. На этом заседании Вяземский произнес обличительную речь, посвященную «отпеванию» попечителя Московского университета, сенатора П. И. Голенищева-Кутузова, известного своими нападками на Карамзина и передовых писателей.

На протяжении 1816—1817 годов Вяземский участвует во встречах арзамасцев в Москве, а в июне 1817 года снова присутствует на нескольких заседаниях «Арзамаса» в Петербурге. Наиболее ярким документом арзамасской деятельности Вяземского является его проект создания журнала, в котором он писал: «Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина... Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов и разделить издание на три разряда: Нравы, Словесность и Политика. В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям... Во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но вместе с тем, отучая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу разрушающую и созидательную. В политике довольствоваться простодушным изложением полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*».<sup>46</sup>

Характерно, что наряду с Карамзиным Вяземский ставит Н. И. Новикова, что лишний раз подчеркивает большое влияние на него русского Просвещения XVIII века. Журнальная и издательская деятельность Новикова была понятна и близка оппозиционеру Вяземскому. Несомненно, что именно Новиков-издатель стоял перед умственным взором Вяземского, когда он в первой половине 20-х годов задумал организовать общество для издания книг. А. Бестужев, который понимал невозможность

<sup>43</sup> П. А. Вяземский, Стихотворения, стр. 138.

<sup>44</sup> «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 76—79.

<sup>45</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 38.

<sup>46</sup> Арзамас и арзамасские протоколы. Под ред. М. С. Боровковой-Майковой. Л., 1933, стр. 240—241. Текст сверен по рукописи.

осуществления в тех условиях замысла Вяземского, писал ему 17 июля 1824 года: «Мысль Ваша, любезный князь, о составлении общества для издания книг принадлежит к мечтам поэта, а не к прозаической истине нашего быту».<sup>47</sup>

Проект Вяземского об арзамасском журнале подвел итог его неоднократным высказываниям о состоянии журнального дела в России в 1810-е годы. В неопубликованном письме к Д. В. Дашкову от 10 ноября 1814 года Вяземский писал: «Как жаль, что теперь нет ни одного журнала, где бы нам, честным людям, можно было сказывать свои мысли».<sup>48</sup> На основании переписки арзамасцев Н. И. Мордовченко пришел к следующему выводу: «Уже в первые месяцы существования „Арзамаса“ возникла идея организации журнала, горячим сторонником которого стал Вяземский».<sup>49</sup>

План Вяземского, касающийся издания журнала и его направления, совпал с аналогичными проектами М. Ф. Орлова и Н. И. Тургенева. Естественно, что Вяземский с сочувствием отнесся к проекту реорганизации «Арзамаса» и к плану издания журнала, которые были предложены ими. 29 июля 1817 года он писал А. И. Тургеневу: «Пришлите мне скорее арзамасские новые положения, если вы только в состоянии сделать когда-нибудь порядочное дело».<sup>50</sup>

В неопубликованном письме к Н. И. Тургеневу из Варшавы от 23 апреля 1818 года Вяземский снова интересуется планом издания арзамасского журнала и деятельностью М. Ф. Орлова:

Не зная, где найти любезную Эолу Арфу (А. И. Тургенева, — М. Г.), за петербургскими устрицами или московскими кулебяками, посылаю вам, любезнейший Николай Иванович, продолжение журнала варшавского сейма. Что скажите вы о наших законоположительных речах и законо-свободных обещаниях? Да придет царствие твое! не так ли? *Va t'en voir, s'ils viennent, Jean, va t'en voir, s'ils viennent.*<sup>51</sup> Впрочем, на нынешнем сейме только что говорили: но министерство одержало победу. Один только проект о разводах не устоял: уголовный, который, как сказывают, никуда не годится, был принят вопреки общему ожиданию. Министерство тут, говорят, крепко сшаило, распустив слух, что введут русское уголовное право, если предложенный проект не будет принят. Дураки испугались и согласились: правду сказать, было чего и испугаться. Сделайте одолжение заплатите мне журналом за журнал: я криком просил от Тургенева Сына Отечества и Благонамеренного; он обещался и ничего не сделал, как водится. Сжальтесь надо мною и поручите Нагибину, чтобы он за меня подписался на тот и другой и присылал их ко мне. Прилагаю сто рублей на чету: я думаю более не стоит. А что делает наш арзамасский журнал и журнальный бунтовщик Рейн (М. Ф. Орлов, — М. Г.)? Пишет ли он к вам? Мне сказывали, что он затопил сердитыми валами своими глиняные полы русской истории Глинки. Не дошло ли до вас чего-нибудь? Я здесь в пустыню удалился и ничего русского не вижу, не слышу: за стих Хвостова *in naturalibus* дал бы я пять лет жизни.

<sup>47</sup> «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1957, стр. 219—220.

<sup>48</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 24, л. 6.

<sup>49</sup> Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века, изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 283.

<sup>50</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 77.

<sup>51</sup> «Поди-ка посмотри, идут ли они, Жан, поди-ка посмотри, идут ли они» (франц.).

Простите, любезнейший Варвик. Будьте здоровы, счастливы и не забывайте вовсе преданного вам Асмодея.

Ради бога, по приезде Александра из Москвы велите хорошенько ему опростать желудок: он там совсем окулебячится и остерлядится.

Варшава 23-го апреля 1818-й год.<sup>52</sup>

В письме, помимо запроса Вяземского об арзамасском журнале и о М. Ф. Орлове, знаменателен отрицательный отзыв Вяземского о русском уголовном праве. Кроме того, из письма видно, что Вяземский из первых рук сообщал арзамасцам самые свежие политические новости из Варшавы.

В 1819 году предполагалось участие Вяземского в журнале «Россиянин XIX века», издание которого было задумано Н. И. Тургеневым, однако и этот проект остался неосуществленным.

В 1820 году М. Ф. Орлов снова обратился к Вяземскому с предложением издавать журнал; в письме от 22 марта он писал Вяземскому: «Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава. Там отголосок европейского просвещения более отдается... Форма журнала должна быть та же, что и французских ежедневных газет. Имя журнала предлагаю: *Российский наблюдатель в Варшаве*. На предприятие я сам внесу значительную вкладку. Остальной капитал можно набрать акциями.

«Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев*. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным. Я, Николай Тургенев, Дашков и Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками. Таким образом, самое рассеяние наше послужит к успеху».<sup>53</sup>

Из письма Вяземского к С. И. Тургеневу от 18 сентября 1820 года видно, что Вяземский пытался осуществить в Варшаве план М. Ф. Орлова в отношении издания арзамасского журнала, но потерпел неудачу: «Я было намеревался доставлять в Россию *вести о свободе*, весьма умеренной и обузданной, вести о действиях здешнего сейма, нам не чуждых, ибо, как ни говори, а они у нас не только под носом, но часто могут быть и на носу, но, как я писал Орлову, в обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело провести не мог».<sup>54</sup>

Узнав об отставке Вяземского, М. Ф. Орлов писал ему 9 сентября 1821 года: «Вооружись пером и сядь за работу. Судя по тому, как ты написал жизнь Озерова, я уверен, что ты можешь сделать оборот в прозе нашей и дать ей более точности и остроты. Займись прозою, вот чего не достает у нас... Пора предпринимать образование словесности нашей в большом виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами. Вот поприще, открытое перед тобою. Цензура не всегда будет препятствием... Ежели ты примешь мой совет, то напиши, какой изберешь предмет. Я сочинением твоим буду весьма заниматься, ибо, по всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел и ты готов к обработке важнейших политических предметов».<sup>55</sup>

Интерес Вяземского к плану реорганизации «Арзамаса», составленный им проект журнала, его переписка с М. Ф. Орловым об издании журнала, а также характеристика Вяземского в только что цитированном письме М. Ф. Орлова (совпадающая с аналогичными высказываниями А. С. Пушкина

<sup>52</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 36, лл. 1—2.

<sup>53</sup> «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, стр. 26—28.

<sup>54</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пгр., 1921, стр. 8.

<sup>55</sup> «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, стр. 33.

кина) свидетельствуют о том, что он вместе с М. Ф. Орловым и Н. И. Тургеневым принадлежал к радикальному крылу арзамасского братства. Безусловно прав Н. И. Мордовченко, который писал: «В „Арзамасе“ Вяземский не только активно боролся с „Беседой“, сатирически изображая ее деятелей в эпиграммах, пародиях, памфлетах в прозе и стихах, но вместе с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым стремился направить арзамасцев на путь серьезной политической и культурной работы в духе либерализма».<sup>56</sup>

Идейные разногласия внутри «Арзамаса», трудные цензурные условия, а также жизненные обстоятельства, разбросавшие арзамасцев по России и за границей, помешали реорганизации «Арзамаса» и изданию арзамасского журнала. Вяземский болезненно переживал «распыление» арзамасцев. Вот неопубликованное письмо к Д. В. Дашкову:

Варшава 2/14 ноября 1818.

Алла! алла! алла! Слава и благодарение великому Пророку благоверных арзамасцев за письмо, розу воспоминания, жемчужинку радости! Читая в Варшаве строки, написанные в Буюкдере любезнейшим Дмитрием Васильевичем оглядываюсь с головы до ног, дотрагиваюсь и спрашиваю у себя: он ли ко мне пишет? я ли его читаю? на земной ли мы еще планете, или, выпавши сон жизни, не очнулись мы уже в мире духовном? Но число, выставленное на письме от 23 апреля/5 мая и полученном мною 1/12 ноября спускает меня на землю, уверен, что почта должна идти скорее от одной планеты к другой. Но шутки в сторону, кто мог бы предвидеть год тому назад, что черт, верно околдованный волхвами Беседы, рассеет, как жидов, верных чад православного Арзамаса. И когда явится Мессия и соберет свою дружину? Я здесь, в жидовской Польше, или, если хотите, польской Иудее, начинаю быть их веры и ожидаю второго пришествия. Авось тогда будет лучше. Авось арзамасцы тогда будут вместе, а беседчики порознь. Как часто, хотя и далеко от России, жалею я о том, что вас в России нет. Вы не поверите, что делает Каченовский? Вы один могли бы надеть намордник этой бешеной собаке, которая в Вестнике с цепи сорвалась на Карамзина. Карамзин молчит, это его дело; но кому-нибудь надобно бы прикрикнуть, а вам уже не впервые возиться с собаками. Не одна поджала от вас хвост. Вы как покойный князь Дашков (это видно какой-нибудь талисман, сокрытый в таинственном имени вашем), который выходил обезоруженный на самых злых собак и, смотря им прямо в глаза, усмирлял их злость и заставлял их ласкаться около него. Иван Иванович писал ко мне недавно, что Историографа берется защищать один только Василий Львович своим Бильбоке, яко Давид своею пращью.

<sup>56</sup> Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века, стр. 281—282. Дружеские чувства к Н. И. Тургеневу и М. Ф. Орлову Вяземский сохранил на многие годы. В его письмах к А. И. Тургеневу встречаются многочисленные сочувственные упоминания о Н. И. Тургеневе. В неопубликованном письме Вяземского к Н. И. Тургеневу от 20 мая 1868 года он писал ему в Париж: «Давно не виделись мы с вами, и, вероятно, не придется нам свидеться на земле, разве под землею или, если бог даст, повыше».

«Там, там, за синим океаном».

Мы с вами устарели, мы Мафусанлы некогда благословенного Арзамаса» (ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 36, лл. 4—5. Копия письма, не имеющая окончания, писана писарской рукой с карандашными пометками Вяземского). О дружбе Вяземского с М. Ф. Орловым в 20—30-е годы свидетельствуют письма Орлова к Вяземскому (см. 16 писем за период 1819—1829 годов в «Литературном наследстве», т. 60, кн. 1, стр. 21—46, и 9 писем за период 1832—1834 годов в «Записках отдела рукописей библиотеки им. Ленина», вып. 17, М., 1955, стр. 214—247). Из писем 30-х годов видно, что Вяземский помогал М. Ф. Орлову в публикации его труда «О государственном кредите».

Но для шутки велите на досуге прислать себе ругательства Каченовского и на основании либеральной Конституции выпременной Отоманской Порты отляпайте ему голову хотя en effigie. Знаете ли, что эта голова, прибитая к Царьградским воротам, пойдет в Историю наряду с Олеговым щитом. Вы спрашиваете меня о моем житье-бытье? Последнее-то есть, а первого-то нет. Я здесь прозябаю, а не живу. Впрочем все к лучшему в лучшем из миров. Только жаль, что Польша не лучшая часть лучшего мира. Счастливец Батюшков едет в Неаполь. Хорошо тому, у кого семья составлена из нескольких элегий, а будущее потомство в зародышах рифм. Тот едет себе, куда глаза глядят, а еще лучше и того, и глядеть ему незачем. Но наш брат грешник тяжел на подъем. Дочь, да еще дочь, да сын, не говоря о надежде *будущих талантов и прочих за труды наград*, приковывают к месту. В частом ли вы сношении с Россиею и родимым Арзамасом? Я здесь только и дышу что русским воздухом, и подивитесь, кто мой постояннейший отдушник — Тургенев! Клянусь вам его Библиею, вашим Алкораном и моим Талмудом. Вам можно будет поместить это в какие-нибудь чудеса арабской сказки. Ничего не знаю о Блудове, но, по несчастию, знаю о Северине. Не сомневаюсь, что у вас бывают частые сношения с Петербургом, не посылаю вам требуемого моего адреса, а советую и униженно прошу, когда придет такой счастливый час, надписывать для доставления ко мне письма свои к преобразенному Тургеневу, который не по-прежнему пожирает все, что под руки ему попадет, а сделался человек обстоятельный, умница, спит не более пяти часов в сутки, спрашиваете вы? нет! погодите: а в день обедает не более двух раз, а ужинает с трудом три раза. Зато Жуковский? сперва он писал ко мне редко, теперь никогда. Сперва писал он для немногих, теперь не для кого. Но бог вступился за меня, и его упрятали в российскую Академию, с кем же? с Филаретом?

Прочь кощунны! Есть бог!

Я вижу отсюда, как их повезут в одной карете. Один девственник по званию, другой по склонности. *C'est à dire l'un artiste puceau et l'autre amateur puceau.*<sup>57</sup> Жуковский отрекается от Сатаны (вот от чего он не пишет к Асмодею) и всех дел его. Жуковский пишет послание: к Старцу Шишкову под пару к посланию *Старцу Еверсу*. Жуковский говорит:

Шишков брат! так, я сказать дерзаю,  
Что имени сего всю цену знаю!

И начинает врать. И мы хотим Жуковского усювестить, а он показывает на Академию и говорит:

Там мне Шишков на братство руку дал.

И мы принуждены молчать. И Жуковский нам читает стихи в Арзамасе, и мы ему говорим со слезами: Жуковский! Жуковский! мы тебя не узнаем! а он стихи в карман и, подразнивая нас, говорит нам:

Что мрачно здесь, то будет ясно там.

И потом скажет:

Не унывать хотя и смысла нет —  
Вот правило для брата Филарета.

Но, кажется, я не унываю, хотя не имею чести быть академиком. И как подумаю, какой путь предлежит вранью моему, то право краснею

<sup>57</sup> Французский перевод предыдущей русской фразы.

от стыда. Прошептать глупость соседу за столом простительно; но дурачиться так во все горло из Варшавы в Царьград бесстыдно. Впрочем, разведывайтесь с вашим турецким предопределением, которое или вас назначило слушать мой вздор или меня посвятило в болтуны. А я не могу удержаться: здесь я такой выдерживаю карантин, что как помешанный кидаюсь при малейшем случае настезь растворить двери закупоренному своему вранью. Пора, однако же, двери на замок, и поговорить о деле. Жена уже давно получила с благодарностью присланную кисею; не понимаю, как письмо от нее отстало. Но, впрочем, я надеюсь, что Булгаков или Тургенев уведомили вас о получении письма. Жена моя кланяется вам от всего сердца. Она здорова и дети также. Я начинаю думать, что одного счастья в жизни не довольно: к нему нужны и удовольствия. Это хлеб, который надобно для вкуса посолить. Я здесь счастлив, потому что все, меня окружающее, здорово, но со всем тем скучаю, как изгнанник на скале св. Елены:

И пред изгнанником зияет  
Неумолимый океан.

То есть неумолимая толпа, которая, как я ее ни упрашиваю, не понимает меня и ничего не говорит сердцу. Простите любезнейший брат! Питайте иногда меня выписками из Алкорана и в мечетях молитесь о мне великому Пророку, а мой Талмуд всегда к вашим услугам, и в Синагоге раздадутся всегда клики радости и благодарности с молитвами о долгом здравии вашем при получении дружеской грамотки. Падаю до ног по-польски, кланяясь, берусь за голову по-турецки,\* а обнимаю по-русски, т. е. от всего сердца.

Простите.

\* Ради бога не подумайте, что обнимаю по-турецки. Сила крестная с нами.<sup>58</sup>

Письмо к Дашкову было послано Вяземским через Петербург, что явствует из его письма к А. И. Тургеневу от 2 ноября 1818 года: «Посылаю тебе письма к Воейкову и к Дашкову, которые прошу взять на свое попечение, не могу решиться их запечатать: я так доволен твоим поведением, что потешу тебя ими. Я был в духе».<sup>59</sup>

Посылая письмо к Д. В. Дашкову через Петербург, Вяземский рассчитывал на то, что оно будет прочтено петербургскими арзамасцами, и надо полагать, что А. И. Тургенев показал им это письмо; по-видимому, читал это письмо и Жуковский, которого Вяземский так остроумно осмеял за его отход от боевого духа «Арзамаса».

Сообщая Д. В. Дашкову о выступлениях Каченовского против Карамзина, Вяземский имеет в виду две статьи, напечатанные в «Вестнике Европы». В одной из них под названием «К господам издателям „Украинского вестника“» Каченовский язвительно отозвался о статье Карамзина «Записка о достопамятностях Москвы», а также непочтительно охарактеризовал его поэтическую деятельность: «Сочинитель помнит, что почтеннейший Н<иколай> М<ихайлович> в молодости любил читателей, а более читателей, располагать к сладкой меланхолии, любил иногда и сам плакать. Но тогда совсем другое. Кто молод не бывал! Из вас же, господа издатели, один сказал недавно, и сказал весьма справедливо, что плаксивые пташки теперь уже переводятся».<sup>60</sup> Возмущенный этой статьей,

<sup>58</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 24, лл. 1—4.

<sup>59</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 138.

<sup>60</sup> «Вестник Европы», 1818, ч. 100, стр. 47.

А. И. Тургенев писал Вяземскому 30 июля 1818 года: «Читал ли плюгавое произведение плюгавого Каченовского в „Вестнике Европы“?»<sup>61</sup>

В статье «От Киевского жителя к его другу» (подпись: «Ф») нападкам подверглись исторические труды Карамзина: «Но отдавая должную справедливость труду и таланту, я весьма не согласен с закоренелыми поклонниками, которые хлопочут о том единственно, чтобы божок их всем и каждому казался совершен, непогрешителен, как тибетский Далай-Лама. . . Вышла *История государства Российского*, и тотчас господа редакторы журналов, каждый в свою очередь, отдали честь ей высокопарным приветием, как военные караулы мимо едущему генералу отдают честь игнанием на трубах или барабанным боем. Генерал проехал, и все затихло. Ни один из редакторов не взял на себя труда, прочитавши творение, сказать что-нибудь дельное, полезное или хоть занимательное для публики (если не для автора, ибо он может и не читать рецензий!)».<sup>62</sup>

Выступления в «Вестнике Европы» против Карамзина вызвали негодование Вяземского, который 31 августа 1818 года писал А. И. Тургеневу: «Скажи поэту Пушкину, что ему непременно должно высечь мстительным стихом мерзавца Каченовского».<sup>63</sup> Не прошло и месяца, как 18 сентября А. И. Тургенев послал Вяземскому известную эпиграмму Пушкина на Каченовского «Бессмертною рукой раздавленный зюл. . .». В ответ Вяземский сообщил А. И. Тургеневу свои две эпиграммы на Каченовского.

Обращаясь к Д. В. Дашкову с предложением вступить в защиту Карамзина, Вяземский стремился завербовать опытного литератора для борьбы с Каченовским; в его памяти были свежи удачные выступления Д. В. Дашкова против членов «Беседы»: разбор «Двух статей из Лагарпа» (1810); книга «О легчайшем способе возражать на критику» (1811); речь против Д. И. Хвостова, произнесенная в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств (1812); «Письмо к новейшему Аристофану» (1815); речи в «Арзамасе» (1815—1816). Однако Д. В. Дашков не отозвался на призыв Вяземского ополчиться против Каченовского.

О намерении В. Л. Пушкина выступить в защиту Карамзина Вяземский знал из писем друзей. Так, например, А. И. Тургенев писал ему 28 сентября 1818 года: «Василий Львович храбрится в Москве против Каченовского и пишет ко мне, что „хотя и печатает он свои сочинения зимою, но смело бросает ему перчатку и отделает его не хуже славенской братии“».<sup>64</sup> Однако В. Л. Пушкин не сдержал своего обещания: борьба с Каченовским не вдохновила его «билбоке», как иронически называет Вяземский поэтический талант В. Л. Пушкина.

Выступить против Каченовского пришлось самому Вяземскому: в 1821 году в «Сыне отечества» появилось его «Послание к Каченовскому» (с цензурными купюрами). Вместе с Вяземским Каченовского продолжал осмеивать и А. С. Пушкин в эпиграммах «Хаврониус! ругатель закоснейший» (1820), «Клеветник без дарованья» (1821), «Охотник до журнальной драки» (1824) и др.

В публикуемом письме к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1818 года Вяземский пародирует стихотворение Жуковского к «Старцу Еверсу» (1815), обращенное к профессору богословия Дерптского университета Лоренцу Еверсу (1742—1830). Эта дружеская пародия как бы ответ Вяземского на стихотворную пародию Жуковского, который в шутовском тоне представил выступления М. Ф. Орлова и Вяземского по поводу преобразования обще-

<sup>61</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 111.

<sup>62</sup> «Вестник Европы», 1818, ч. 101, стр. 125.

<sup>63</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 118.

<sup>64</sup> Там же, стр. 126.

ства и издания журнала на заседании «Арзамаса». В дружеских взаимных пародиях уже явственно проступают намечающиеся расхождения между умеренными и радикальными арзамасцами. В строке письма: «Сперва писал он для немногих, теперь не для кого» — заключен иронический намек Вяземского на сборники Жуковского «Für Wenige» («Для немногих»), которые издавались в ограниченном тираже для придворного круга.

Заканчивая обзор письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1818 года, необходимо отметить, что оно в полной мере характеризует крайнюю неудовлетворенность Вяземского общественной и литературной обстановкой тех лет.

Идейное развитие Вяземского в эти годы ознаменовано ростом оппозиционного настроения. Дарование конституции Польше и работа в канцелярии Новосильцева над проектом конституции для России то усиливали надежды Вяземского на установление сверху конституционного порядка в России, то давали повод для сомнений и разочарований, так как Вяземский видел, какие ничтожества окружают Александра I и пользуются его доверием, в то время как просвещенные и свободолюбивые дворяне не занимают подобающего им положения в государстве.

Надежды и сомнения, волновавшие в эти годы Вяземского, отразились в его неопубликованной рукописи:

Благоговею перед этою поучительною рукою Провидения, которая поражает высокомерие в самую ее крепость. Не крестьяне, брошенные на произвол алчности помещиков; не мы, бедная шляхта, оплеванная, пресыщенная уничижительным презрением, уничтоженная, явно обращенная в подножие колосса воинственного, напоминает уму надменному, что есть предел терпению, граница нравственным безобразностям! Нет! Этот голос пробудительный грянул из уст тех самых, для коих все было принесено в жертву. Не знаю, как Вы смотрите на это вблизи; но в отдаленности мне кажется это одним из важнейших событий нашего времени. Эта русская строка современной истории по мне плодотворнее страниц гишпанской и неапольской. Это стих пророка беременный грядущим: зародыш в минуту образования своего ничем не сказывается: но придет час разрешения. Дева Самовластия проломлена. Держите ее под замками, прячьте от взоров людей, от самого наития воздуха, если хотите: ничего не поможет. Посвященные слышали глас архангела: благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших! Но вы теперь, ответчики перед богом, наблюдайте прилежно за беременностью этою. От Ваших попечений зависит теперь, каким быть родам: счастливым или злосчастливым, насильственным или естественным. Это такой удар судьбы, что чем более прислушиваешься, тем звучнее, тем шире он раздается. Мы, если и воображали когда русский мятеж, то вооруженного топором, восплаемого пьянством и грабедом, разбивающего кабаки; но вдруг видеть мятеж хладнокровный, на душе своей положивший намерение достигнуть цели твердостью и спокойствием и в ком же, не в людях, которые, так сказать, поступают в глазах Европы и потомства — взявших умеренность себе за правило более по расчетам рассудка; но в людях, ничего не обдумавших, никакого влияния не желающих, никакой строки ни в газетах, ни в истории не требующих, а решившись просто единственно свергнуть иго, потому что оно сделалось уже нестерпимым. Опомниться не могу. Вот прекрасная диверсия тропавским действиям. Эта выскочка не хуже высадки во время Венского конгресса. Та высадка выкинула мертвого недоноска: наша выскочка принесет младенца,



еще во чреве окропленного живою водою и коему расти не по годам, а по часам. Не могу притом без ужаса и уныния подумать об одиночестве государя в такую важную минуту. Кто отзовется на его голос? Раздраженное самолюбие, бедственный советник; или ничтожные холопы, еще бедственнее и того. Вот плоды ложного расчета самолюбия, которое побуждает отдалять все, что немного превышает казенную меру. Да чего бояться тебе? Ты довольно умен, довольно возвышен душою, чтобы мериться с умом и великодушием. За что такое смирение, исчадие гордости? К чему эта недоверчивость к себе, которая вовлекает в недоверчивость к другим? У тебя довольно своего света не пугайся, свет чужой не затмит его, напротив, придаст новый блеск твоему, сольется с твоим и разольет пространнейшее сияние, которое на тебе же одном отразится. Не забывайте, что Вы баловни неба! История даже и за то Вам сказывает спасибо, что при жизни Вашей в областях, Вам подвластных, родились великие люди, в коих Вы ни душою, ни телом не виноваты. Никогда еще царя, ни царствования не хвалили за неурожай людей отличных; напротив, обвиняли, ибо, с другой стороны, знают, что как небо ни туго на возвышенные достоинства, а все со свечкою можно приискать их несколько. Что Вам хорошего в припадок решительный скажут Волконские и Ожаровские, которых Вы за колесницею своею тащите по белому свету, как будто с тем, чтобы похвастаться в глазах людей бесплодием земли Вашей? Конечно, не самолюбие говорит в нас: мы не алчем их мест почетных: мне блеска Вашего не надобно, природа худо или хорошо, но зажгла мне во лбу звезду, огонешек малешенек, который и без Вашего заимобразного сияния не потухнет и с гроба моего будет еще, быть может, отсвечиваться на памяти моей и весело играть в глаза потомков, познавших меня не по календарю придворному. Но призрите, усыновите чувство наше: научите языку его детей Вашего сердца, Вашей любви. Мы за себя не стоим: Вам с нами скучно, неловко: верю; но не знайтесь с нами, а по крайней слушайте нас, хоть в слуховое окно. За речи свои стоим; ибо голос совести не обманчив и мы носим убеждение, что говорит в нас нечто свыше нас, не человеческая опытность, которая при самом решении задачи часто обсчитывается, но истина врожденная, но природное чутьё блага, природная изгага от всего низкого, нелепого, безобразного. (Продолжение впереди).<sup>65</sup>

## V.

Упоминание об испанской и неаполитанской революциях («эта русская строка современной истории по мне плодovitее страниц гишпанской и неапольской»), а также фраза о конгрессе в Троппау («Вот прекрасная диверсия тропанским действиям») позволяют датировать рукопись концом 1820 года.

Но о какой русской строке современной истории пишет Вяземский? Что следует понимать под словами о мятеже хладнокровном? Какое событие, происшедшее в то время в России, показало, «что есть предел терпению, граница нравственным безобразностям!»? Таким событием было восстание Семеновского полка в Петербурге; это чрезвычайное происшествие и имеет в виду Вяземский в своей рукописи, именно это событие и побудило Вяземского взяться за перо.

Восстание Семеновского полка произвело сильное впечатление на современников. Н. И. Тургенев записал в своем дневнике 18 октября 1820 года: «В Совете говорили о происшествии Семеновского полка. Все

<sup>65</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 13, лл. 1—2.

с негодованием, ужасом отзываясь о Шварце. В клобе только об этом и говорили. Весь полк в крепости. Офицеры также. Все это кончится бедствием многих солдат. Солдаты показали необыкновенное благородство во время всего происшествия. Все им удивляются, все о них сожалеют. Члены клоба, часто столь пустые, в сем смысле изъявляют свое мнение. Я не могу без душевной горести думать о солдатах. Поутру полк проходил по Фонтанке. „Куда?“, — спрашивали у солдат. — „В крепость“. — „Зачем?“. — „Под арест“. — „За что?“. — „За Шварца“. Тысячи людей, исполненных благородства, гибнут за человека, которого человечество отвергает!».<sup>66</sup>

В полном согласии с Н. И. Тургеневым Вяземский с восхищением пишет о семеновцах; он полагает, что восстание Семеновского полка — мятеж хладнокровный, как он его окрестил, — доказало, что пробил час неограниченного самовластья; он считает, что настало время преобразований, и, обращаясь к передовым дворянам, пишет, что от их энергии и предприимчивости зависит, «каким быть родам: счастливым или злочастным, насильственным или естественным», другими словами, будет ли народное восстание или конституционное преобразование страны верховной властью.

В своей рукописи Вяземский убеждает царя не приближать к престолу ничтожных холопов наподобие начальника Главного штаба князя Петра Михайловича Волконского (1776—1852) или генерал-адъютанта графа Адама Петровича Ожаровского (1776—1855), сопровождавших Александра I на конгресс в Троппау. Взамен этих придворных Вяземский советует царю возвышать просвещенных и передовых дворян. Эта часть рукописи Вяземского по своей основной мысли перекликается со строчками из стихотворения Пушкина «Друзьям» (1828):

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу.

У нас нет доказательств, свидетельствующих о том, что Пушкин читал эту рукопись Вяземского; скорее всего, он не был знаком с нею. Однако мечта о конституционной монархии, которая воодушевляла Вяземского, была близка большинству передовых дворян того времени, в том числе Пушкину и многим декабристам. Совпадение точки зрения Пушкина и Вяземского по данному вопросу и предопределило идейную близость стихотворения Пушкина «Друзьям» с заключительной частью рукописи Вяземского.

Однако при всей своей оппозиционности Вяземский в этой рукописи высказывается против революционных преобразований в России; он даже выставляет в качестве образца пассивную тактику семеновцев, противопоставляя ее революционным действиям. Резкая оппозиция царизму при одновременном отказе от революционных мер — таково общественное кредо Вяземского на протяжении ряда лет.

К началу 20-х годов Вяземский окончательно распознает показной характер либерализма Александра I; в письме к С. И. Тургеневу от 13 февраля 1820 года он пишет с гневным сарказмом: «Неприкрытый характер деспотизма, как все, что явно, в каком-то отношении является положительным качеством, и благодаря этому по крайней мере знаешь, с чем имеешь дело. Но упаси нас бог от лицемерия либерализма, филантропии и толерантности и всего, что с этим связано.

«Вот моя молитва богу, дополненная „Не введи нас во искушение, но воля твоя! Избави нас от лукавого“.

<sup>66</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 5, Пгр., 1921, стр. 244.

«Я умоляю вас не сообщать это кощунственное добавление капитулу, а то каноник (А. И. Тургенев, — М. Г.) в порыве библейского благочестия обвинит меня в бумагомарании и фарисействе.

«Примите мои искренние пожелания полного благополучия, если благополучие возможно, когда нет родины».<sup>67</sup>

Столь же отрицательно отзываясь Вяземский о самодержавии в письме к А. И. Тургеневу, написанном во второй половине апреля 1820 года: «А ты еще меня зовешь в Петербург, на пытку всех и всякого рода домовых деспотизма! Vous у êtes tous sous un cauchemar inquisitorial».<sup>68</sup>

В те годы Петербург, цитадель самодержавия, казался адом для представителей дворянской оппозиции. Н. И. Тургенев в письме к С. И. Тургеневу писал 11 февраля 1818 года: «Сказывал ли тебе когда-нибудь князь Гагарин о проекте своем нарисовать петербургской шлагбаум с надписью: *Lasciate ogni speranza, voi chi entrate!*<sup>69</sup> Надпись Дантова над шлагбаумом ада».<sup>70</sup> Теми же словами характеризует Петербург Вяземский в июне 1820 года: «И до сей поры адская надпись Данта блещит еще в полном сиянии на заставе Петербургской».<sup>71</sup>

Крах конституционных иллюзий, деятельное участие Александра I в Священном союзе, возвышение Аракчеева, организация военных поселений — все это приводит Вяземского в резкую оппозицию к самодержавию. В письме к А. И. Тургеневу он с возмущением писал 4 января 1820 года: «Не только словом и делом, но и молчанием, и бездействием потакать не хочу ненавистному ходу вещей и в списке ливреи быть гнушаюсь».<sup>72</sup>

Разочаровавшись в Александре I, Вяземский приходит к выводу, что передовые дворяне по собственной инициативе должны поставить перед правительством вопрос о ликвидации крепостного права в России. В письме к А. И. Тургеневу Вяземский писал 6 февраля 1820 года: «Правительство не дает ни приветов, ни ответов: народ всегда, пока не взбесится, дремлет. Кому же, как не тем, которым дано прозрение неминуемого и средства действовать в смысле этого грядущего и тем самым угодить ему дорогу и устранить препятствия, пагубные и для ездоков, и для мимоходов, кому же, как не тем приступить к делу или, по крайности, к рассмотрению дела, коего событие неотменно и, так сказать, в естественном ходе вещей? Ибо там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. ... Рабство — на теле государства Российского нарост; не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию, и начнем толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее».<sup>73</sup>

Программное письмо Вяземского об уничтожении крепостного права писалось им, как и другие его письма друзьям, с расчетом на чтение их в арзамасском кругу. Так, например, в письме к М. Ф. Орлову в марте

<sup>67</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 6, 1921, стр. 3 (подлинник от слов: «Я умоляю...» — на французском языке).

<sup>68</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 1, стр. 222. Перевод: «Вы все там находитесь под чудовищным гнетом инквизиции» (франц.).

<sup>69</sup> «Оставьте всякую надежду, входящие сюда» (итал.).

<sup>70</sup> Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 253.

<sup>71</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 6, стр. 6.

<sup>72</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 2.

<sup>73</sup> Там же, стр. 15—16.

1820 года Вяземский, ссылаясь на это письмо, писал: «Я напишу к Тургеневу, чтобы он тебе мое письмо прислал».<sup>74</sup>

Письмо Вяземского об уничтожении рабства было одним из толчков к составлению в Петербурге записки о создании общества для разработки вопроса об освобождении крестьян. Эта записка, подписанная Вяземским и другими передовыми дворянами, была подана Александру I в 1820 году; она вызвала сильный общественный резонанс, что видно из неопубликованной записки Вяземского к А. И. Тургеневу: «Сделай одолжение, пришли мне завтрашнюю почтою или другим посредством письмо мое к вам из Варшавы о рабстве. Н. М. (Карамзин, — М. Г.) знает о нашем проекте, и везде говорит о нем. Прости. Ожидаем тебя в понедельник. Царское. Суббота. В.».<sup>75</sup>

Проект об освобождении крестьян не встретил сочувствия у Александра I. Отказ царя поставить вопрос об отмене крепостного права усилил оппозиционное настроение Вяземского и привел его в конце концов к острому конфликту с самодержавием; в 1821 году, после запрещения возвратиться в Варшаву, он демонстративно попадает в отставку; за ним был установлен тайный политический надзор.

В начале 20-х годов Вяземский с предельной ясностью осознает зависимость литературы от общественных событий. В письме к А. И. Тургеневу он писал 30 января 1822 года: «Я в письме к Карамзину называю некоторые свои пятна родимыми пятнами. Этих стирать не должно, а не то сотрешь кожу и будешь ободранною рожею. . . Benjamin, Etienne, Guizot, Kératry, Vignon так ли пишут, как блаженные памяти Batteux и другие писатели légitimes? Тут делать нечего: политические события и перья очинили на другой лад. Живописный, неровный, остроконечный слог Монтаня более подобает нам, чем другой, округленный, чинный и вытягивающий пальцы по квартирам. Образ политических мнений невольно отзывается и в образе излагать мысли свои и не политические».<sup>76</sup>

Вяземский противопоставляет Батте и другим легитимистам передовых деятелей французской культуры. Общественные и литературные симпатии Вяземского на стороне французского философа Мишеля де Монтаня, скептика, борца против церковных авторитетов, теологии и схоластики; Вяземский с сочувствием пишет о французском общественном деятеле и историке Гизо, который в 1822 году по решению монархического правительства Франции был лишен профессорской кафедры в Сорбонне за свои умеренные, но прогрессивные взгляды; наконец, Вяземский положительно отзывался о Бенжамене Констане, являвшемся с 1819 года одним из лидеров буржуазно-либеральной оппозиции во французском парламенте.

Политические взгляды Вяземского первой половины 20-х годов заставляли его мечтать о воскрешении «Арзамаса» и изменении общественного строя в России. В неопубликованном письме к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 года Вяземский подробно описывает литературную и общественную атмосферу того времени:

Остафьево. 30 мая.

La représaille est juste!<sup>77</sup> Только я вас кажется уже перещеголял, отвечая сегодня на письмо от 8 апреля. Да, скажите сами, любезнейший Дмитрий Васильевич, до вас ли было мне дело, когда черт дернул меня иметь дело с дураками? Как отвечать мне было творцу книжки: *O lei-*

<sup>74</sup> Архив братьев Тургеневых, вып. 6, стр. 377.

<sup>75</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 34, л. 1.

<sup>76</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 242.

<sup>77</sup> «Справедливое возмездие!» (франц.).

чайшем способе возражать на критики (quel nom, dans ma retraite osais-je rponocer? <sup>78</sup> — у вас теперь, верно, книги этой и в помине нет! — Да и мне не лучше ли сжечь ее?), — когда я принялся за труднейший и за неприятнейший и, так сказать, принял к себе на хлеба и кормил ничтожность лже-Дмитриева! Потом были у меня хлопоты другого рода и проводы жены, отправившейся в Одессу. Извиняться, однако же, никогда не поздно, и я извиняюсь перед вами не в молчании, которое, может быть, охотно простите, но в том что я вас отяготил глупым занятием по ответу моему Самозванцу-Булгарину. Простите, вперед, кажется, не буду! Кажется! — а головою отвечать не стану. Бог знает, что лучше: отмолчаться или отбраниваться? Конечно, полемика наша самое поганое ремесло, ибо вводит в сношения с людьми, не стоящими уважения; но общее мнение или по крайней мере то, что заменяет у нас общее мнение, стоит уважения. Хорошо Карамзину пренебрегать тем, что мыслит о нем Каченовский и вследствие его мыслей, что мыслит о нем часть публики нашей, но не каждому дано право брать пример с великих подлинников. *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*; от великодушного презрения к ничтожным оскорблениям до малодушного претерпения христианских пощечин тоже один только шаг. Поди после разбейрай, по какую сторону стал ты едва означенной черты. Беда только в том, что я один если не из хороших, то по крайней мере из честных полемиков, и потому всегда или сам должен наскочить на какого-нибудь плюгавца, или какому-нибудь плюгавцу дать наскочить на себя. И в том и в другом случае накладно если не бокам, то имени, которое должно схлеститься с именами позорными и быть вывешено на псарне наших журналов! — Кстати, не помните ли о французском стихотворении под именем *disputes littéraires*? оно должно быть в виде поэмы или *d'un discours en vers*. Разумеется, говорю не о Рюльберовом стихотворении. На днях обедал я в городе у Ив. Ив. (Дмитриева, — М. Г.), и мы говорили о лени вашей и лени Блудова, которые лишают нас много хорошего. Не уже ли и Воейков не усовестил вас? Ожидаю с нетерпением ех-каноника Тургенева. Остается ли он хотя в Библейском и женском обществах? Вот до чего мы дожили! И то ли еще будет? — Доживем и до новых и глупейших глупостей? думаете вы — нет, а до того, что и Арзамас воскреснет и выдет в люди! Помяните мое слово! *Si du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*, не забудьте же, что и *du ridicule au sublime il n'y en a qu'un aussi*.<sup>79</sup> Моя логика не худа, даром что Михаил Дмитриев утверждает за Александром Воейковым, что я без логики. Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет арзамасно! Это неоспоримо, как и то, что дважды два четыре! Но мы доживем ли до того, или только дети наши, а если мы, то считать ли в этом мы и Василия Львовича? Вот тут запятая, которую разрешу, глядя по тому, что новое Министерство разрешит ли точки! ах! бедный наш Василий Львович! он точно на точке отпепели физической и нравственной. Читали ли вы его последние стихи в Дамском журнале, где он оборотьясь задом к Вьельгорскому говорит ему смиренно, что если он на глаза его еще не совсем *урод и если я для вас гожусь*, то еще может наслаждаться жизнью! Советую вам отыскать их! Давал ли вам Тургенев читать в письме моем описание сцены, которую застал у него с Игнатием, когда барин увещевал своего

<sup>78</sup> «Какое имя в моем уединении осмелился бы я произнести?» (франц.).

<sup>79</sup> «Если от великого до смешного только один шаг, то и от смешного до великого тоже один шаг» (франц.).

каммер-динера сносить терпеливо рога свои, подкрепляя увещевания собственным своим примером. Много видал я комических сцен у Васил. Льв., но эта была из лучших.

Я в самом тошном расположении духа по отъезде жены и смерти Байрона. Без нее пусто мне в домашнем мире, а без него в литературном. После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его. Наш век есть точно век мирмидонов; кто только немножко перерастет головою казенную меру посредственности, тот сей час людьми или Судьбою выключается из списков. Простите, любезнейший друг. Когда увидимся? Не грянет ли и на вас какой-нибудь благодетельный донос, который поворотит оглобли ваши в нашу сторону! а не то мало надежды мне увидеться с вами. Пока обнимаю вас от души. — Где Блудов? Поехал ли он в Европу?

В.<sup>80</sup>

Письмо датируется 1824 годом на основании упоминания о смерти Байрона и отъезда Веры Федоровны, жены Вяземского, в Одессу.

Слова «принял к себе на хлеба и кормил ничтожность лже-Дмитриева» имеют в виду полемику Вяземского с М. А. Дмитриевым по поводу предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Иронически назвав М. А. Дмитриева «лже-Дмитриевым», Вяземский как бы противопоставляет его истинному писателю — И. И. Дмитриеву. Сложность и даже, можно сказать, парадоксальность литературных отношений того времени проявилась в том, что противник романтического учения И. И. Дмитриев поссорился со своим племянником М. А. Дмитриевым за то, что последний напал в «Вестнике Европы» на Вяземского, напечатавшего в качестве предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» боевой манифест русских прогрессивных романтиков — «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

Образ «лже-Дмитриева» по своей семантической аналогии (лже-Дмитрий) вызывает последующий образ «Самозванца-Булгарина». Таким стилистическим приемом Вяземский объединяет М. А. Дмитриева и Булгарина в одну категорию лжеписателей.

Письмо Вяземского к Д. В. Дашкову, в котором он давал последнему поручение по поводу своего ответа «Самозванцу-Булгарину», до нас не дошло. По-видимому, эта просьба имела отношение к выступлениям Булгарина против Вяземского. В «Литературных листках» (1824, № 2) появилась критика Булгарина на предисловие Вяземского «Известие о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева». Вяземский ответил статьей «Несколько вынужденных слов» («Сын отечества», 1824, ч. 92, № 14). Однако Булгарин не успокоился: он публикует статью «Маленький разговор о новостях литературы» («Литературные листки», 1824, № 8), в которой в пику Вяземскому Булгарин с похвалой отозвался о полемических статьях М. А. Дмитриева.

Фраза в письме Вяземского о том, что он ожидает «с нетерпением ех-каноника Тургенева», связана с только что полученным им известием об отставке А. Н. Голицына и А. И. Тургенева, смещенных по проискам и доносам Аракчеева, митрополита Серафима, архимандрита Фотия и М. Л. Магницкого.

Проводя в последние годы своего царствования все более реакционную политику, Александр I отстранял от государственных должностей лиц, известных ему своим либеральным образом мыслей. К таким вольномыслящим чиновникам принадлежали в первую очередь три брата Тургеневых:

<sup>80</sup> ГПБ, фонд Вяземского, ед. хр. 24, лл. 7—8.

Николай Иванович, Александр Иванович и Сергей Иванович. Из письма А. И. Тургенева к Николаю I от 11 июля 1826 года известно, что перед отъездом Н. И. Тургенева на излечение за границу в начале 1824 года «граф Аракчеев, именем государя императора, объявил ему, что его величество советует ему, как христианин, оставить все либеральности».<sup>81</sup> В эти годы А. И. Тургенев также был не в чести у Александра I. Когда в конце 1824 года он ехал в Москву к умирающей матери, то Аракчеев писал московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну 10 ноября 1824 года: «Дошло до сведения государя императора, что помощник статс-секретаря, действительный статский советник Александр Тургенев, получил вторично отпуск для пребывания в Москве по случаю будто бы болезни матери его.

«Его величество, подозревая, что поводом такого г. Тургенева желанья пользоваться новым отпуском для пребывания в Москве может быть его неудовольствие на случавшиеся в службе его перемены и, затем, расположение к каким-либо неблагоприятным для правительства разглашениям насчет бывших здесь на сих днях несчастий от наводнения, — высочайше повелеть мне соизволил уведомить о сем ваше сиятельство, дабы вы приняли по вашему званию секретные меры как к разведанию о сем предмете, так и к предупреждению последствий оного, донеся о всем непосредственно его императорскому величеству в собственные руки».<sup>82</sup>

Не будучи в силах снести быстро надвигающуюся реакцию, А. И. и С. И. Тургеневы, вслед за Н. И. Тургеневым, уезжают за границу. Отъезд Тургеневых в Западную Европу был вызван их расхождениями с Александром I по коренным вопросам внутренней политики. 14 июля 1825 года А. И. Тургенев записал в дневнике: «14 июля 5 час(ов) утра. В 6 — переехал границу и выехал в Пруссию. Прости Россия, обожаемое отечество. — Что бы ни было со мною, в тебе и вне пределов твоих, везде я сын твой, везде будет биться русское сердце во мне и жизнь 25 лет службе твоей посвященная — тебе же посвятится, где бы я ни был. Пусть Фотий и г(осударь) А(лександр) безумствуют и преследуют сынов твоих».<sup>83</sup>

Но и за границей царское правительство по мере возможности чинило препятствия Тургеневым: распустили слухи о том, что Тургеневы — тайные агенты русского царя. А. И. Тургенев записал в дневнике 9 декабря 1825 года: «Странно! Cousin не хочет нас видеть, будучи уверен, что мы посланы правительством узнавать все, что есть примечательного во Франции, и доносить ему. Мнение сие о нашем путешествии я уже здесь не в первый раз слышу. И Гизо то же думал; но он ничего не опасался. Cousin — пуганая ворона или, может быть, и — орел, но опасющийся своего двуглавого собрата! Мы лишены удовольствия и пользы, которую надеялись от его беседы! Я честью уверял Г(изо), что одна любовь к изящному, к пользе России влечет нас всюду, где надеемся найти или наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общепользных открытий, заведений: от адвокатов до Гумбольдта, от богодельни до Академии; мы ничего и никого не чуждаемся. Везде ищем пользы; везде ищем извлекать ее для отечества, которое для нас выше и дороже всего».<sup>84</sup>

Дорогой ценой заплатили Тургеневы за свою оппозицию Александру I. Н. И. Тургенев был приговорен по делу декабристов к смертной казни;

<sup>81</sup> «Русская старина», 1907, т. 129, стр. 529.

<sup>82</sup> Там же, 1904, т. 117, стр. 232.

<sup>83</sup> ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 3, л. 4.

<sup>84</sup> Там же, ед. хр. 6, л. 83. Cousin — Кузен, Виктор (1792—1867), французский философ-эклектик.

его пытались схватить за границей, но он укрылся в Англии от николаевских жандармов; только несколько лет спустя он смог переехать во Францию, где и жил несколько десятилетий в эмиграции.

С. И. Тургенев тоже был на сильном подозрении у царя. Вспоминая о бурных событиях конца 1825 и начала 1826 года, А. И. Тургенев записал в дневнике 1832 года свой разговор с князем Гагариным: «24 сентября ... я узнал от него, как Штакельберг прислал 4-х человек схватить брата Сережу, в случае есть ли бы он вздумал противиться... чему?... и как ... уговорил Штакельберга не принимать жестоких мер против больного брата: смерть его на вас, глупые злодеи!».<sup>85</sup> Из этой записи видно, что С. И. Тургенев также пытались арестовать за границей и только болезнь спасла его от заключения. Разгром восстания декабристов, осуждение брата Николая, крах всех вольнолюбивых надежд тяжело подействовали на впечатлительную натуру С. И. Тургенева: он заболевает и умирает в Париже в 1827 году.

Наконец, и сам Александр Иванович — «ех-каноник Тургенев», как его назвал Вяземский в письме к Д. В. Дашкову, тяжело поплатился: смерть брата, изгнание другого брата и собственное полуопальное положение; почти двадцать лет — с небольшими перерывами — скитался по Европе А. И. Тургенев.

В письме к Д. В. Дашкову Вяземский писал, что он «в самом тошном расположении духа по отъезде жены и смерти Байрона». О кончине английского поэта Вяземский также писал А. И. Тургеневу 26 мая 1824 года: «Какая поэтическая смерть, — смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы европейской. Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину. Вот случай Жуковскому! Если он им не воспользуется, то дело кончено: звать пламенный его погас. Греция древняя, Греция наших дней и Байрон мертвый — это океан поэзии! Надеюсь и на Пушкина».<sup>86</sup>

В письмах к Вере Федоровне в Одессу, которые Пушкин, конечно, читал, Вяземский несколько раз писал о том, что ждет стихотворного отклика Пушкина на смерть Байрона: «Кланяйся Пушкину и заставь его тотчас писать на смерть Байрона, а то и денег не пришлю»,<sup>87</sup> — с шутливой угрозой писал Вяземский 6 июня жене. 16 июня вновь в письме к Вере Федоровне читаем: «Кланяюсь Пушкину и ожидаю его надгробной песни Байрону».<sup>88</sup> Далее 21 июня: «Пушкин, я чаю, сердится, что не присылаю ему денег. Пускай он мне пришлет скорее стихи на смерть Байрона; я и сам хочу прозою написать о том же. Вместе напечатает».<sup>89</sup> Потом 6 июля: «Кланяйся Пушкину. Что же Байрона? И Дашков пишет ко мне, что он надеется на него».<sup>90</sup>

Пушкин откликнулся на призыв Вяземского и написал, как известно, стихотворение «К морю». Однако план стихотворения, предложенный Вяземским, Пушкин категорически отверг: «Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песне его Героя прелестна — но мне не по силам — Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братья негров, <и> можно тем и другим желать освобождения от рабства

<sup>85</sup> Там же, ед. хр. 13, л. 19. Штакельберг Густав Оттонович (1766—1850) — граф, в 1820-е годы был русским чрезвычайным посланником и полномочным министром в Неаполе.

<sup>86</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 3, СПб., 1899, стр. 48—49.

<sup>87</sup> Там же, т. 5, вып. 1, СПб., 1909, стр. 11.

<sup>88</sup> Там же, стр. 15.

<sup>89</sup> Там же, стр. 17.

<sup>90</sup> Там же, стр. 26.



нестерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество ... Обещаю тебе однако ж вирши на смерть его превосходительства (т. е. Байрона, — М. Г.).<sup>91</sup> Этими «виршами» и явилось стихотворение Пушкина «К морю». Но, разойдясь с Вяземским в отношении плана стихотворения, Пушкин сошелся с ним в одной характерной частности: в письме к Д. В. Дашкову Вяземский писал о кончине Байрона, что «после смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его»; смерть Наполеона и смерть Байрона сопоставлены и в стихотворении Пушкина:

Одна скала, гробница славы...  
Там погружались в хладный сон  
Воспоминая величавы:  
Там угасал Наполеон.  
Там он почил среди мучений.  
И вслед за ним, как бури шум,  
Другой от нас умчался гений,  
Другой властитель наших дум.

(II, 332).

Творчество Байрона привлекало Вяземского и в последующие годы. В 1825—1827 годах он энергично пропагандировал поэзию Байрона в «Московском телеграфе», за что заслужил резкий окрик со стороны Бенкендорфа и Николая I.<sup>92</sup>

Письмо Вяземского к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 года примечательно еще в том отношении, что оно дает ясный ответ на следующее место из письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 17 июня 1824 года. «Третьего дня обедали у нас на Черной речке: Жуковский, Блудов, Дашков, слепой Козлов, а потом пришли Греч, Баратынский и Дельвиг. Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу. Дашков прочел нам (не всем) твое письмо к нему».<sup>93</sup> А. И. Тургенев писал Вяземскому 17 июня, чтение письма Вяземского к Д. В. Дашкову было за два дня до этого, т. е. 15 июня, а публикуемое выше письмо Вяземского к Д. В. Дашкову датировано 30 мая; из сопоставления этих дат следует, что А. И. Тургенев имел в виду именно данное письмо Вяземского, в котором последний выражал свое недовольство литературными и общественными делами. Оппозиционный тон письма был настолько явствен, что не представлялось возможным прочитать его вне узкого арзамасского круга: недаром Д. В. Дашков ознакомил с письмом не всех присутствовавших на обеде у Тургеньевых.

Письма-послания Вяземского не только сообщались читались арзамасцами, но некоторые из них даже ходили по рукам подобно другим нелегальным произведениям той эпохи. Так, например, обеспокоенный отставкой А. И. Тургенева, Вяземский писал ему 26 мая 1824 года: «Сделай милость, не забудь собрать все мои письма и обрывки писем из тех, которые готовились на известное употребление, и даже те, которые уже были в употреблении: осторожность не лишняя».<sup>94</sup> Эти строки свидетельствуют о том, что письма Вяземского к арзамасцам имели не только личное, но и общественное значение; Вяземский опасался и, по-видимому, не без оснований, что его письма могут навлечь на него правительственные гонения.

<sup>91</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 16 томах, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949, т. XIII, стр. 99.

<sup>92</sup> По этому вопросу см. мою статью: Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 418—429.

<sup>93</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 3, стр. 55.

<sup>94</sup> Там же, стр. 49.

Заканчивая рассмотрение письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 года, отметим, что декабристское движение, от активного участия в котором Вяземский отказался, тем не менее наложило отпечаток на бодрый тон его высказываний. Не революционер, но ярый оппозиционер, Вяземский в 1824 году был настроен исключительно оптимистически, что явствует из его утверждения: «Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет арзамасно!». Знаменательно, что аналогично, в том же политическом аспекте оценивал положение в России и Пушкин в письме к Вяземскому от 24—25 июня 1824 года: «Давно девиз всякого русского есть *чем хуже, тем лучше*» (XIII, 99).

Подобная оценка политической ситуации в России Пушкиным и Вяземским была причиной того, что многие их письма носили явно неблагоприятный характер; осторожность вынуждала их посылать корреспонденцию минуя почту, с оказией. Используя каламбурно фамилии своих знакомых Туманского и Солнцева, Вяземский писал А. И. Тургеневу 15 сентября 1821 года: «По почте будь со мной *Туманский*, но ищи случаев быть со мною иногда и *Солнцевым*».<sup>95</sup> Пушкинские письма к Вяземскому также в ряде случаев посылались с оказией, во избежание негласной цензуры почтового ведомства. Так, например, И. П. Липранди в воспоминаниях о Пушкине пишет: «... так как из Кишинева я должен был заехать прежде в Херсон и по всему вероятно продолжать путь через Москву, то (Пушкин, — М. Г.) дал мне еще два письма в этот последний город, на имя князя Вяземского и Чаадаева, одинаково прося передать лично. ... Из Херсона я уведомил однако же Пушкина об изменившемся направлении и в Киеве нашел от него письмо с подтверждением того же, что было сказано и прежде, и с присовокуплением, что если на возвратном пути я не проеду чрез Москву, то привез бы письма на имя Вяземского и Чаадаева обратно, спраывая однако у брата, не случится ли кто из них в мое время в Петербурге и пр.»<sup>96</sup> Из сообщения И. П. Липранди видно, что содержание писем Пушкина к Вяземскому и Чаадаеву было настолько секретным, что он должен был передать их из рук в руки только самим адресатам.

Рассмотрение материалов, связанных с историей «Арзамаса» и арзамасского братства, приводит к следующим выводам:

1. Необходимо разграничить понятия «Арзамаса» и арзамасского братства. Литературное сообщество «Арзамас» лишь этап в развитии арзамасского братства.

2. Арзамасское братство не было монолитным: внутри него все время шла борьба между оппозиционным и лояльным направлениями. Эта борьба — по мере нарастания в стране общественных противоречий — закономерно привела к раслоению арзамасского братства на два крыла: на умеренное крыло во главе с Карамзиным, Жуковским и Блудовым и на радикальное крыло, состоявшее из А. С. Пушкина, М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева и Вяземского.

3. Временем существования арзамасского братства следует считать 1810—1825 годы. Возникновение этого литературного содружества явилось рубежом между старыми традициями и новыми веяниями внутри карамзинизма. Конец арзамасского братства совпадает с разгромом восстания декабристов — в области политики оказались развеянными в прах все надежды на конституционное преобразование страны верховной властью при поддержке передовых дворян; в области литературной шло

<sup>95</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 211.

<sup>96</sup> «Русский архив», 1866, столб. 1481—1482.

стремительное движение к реализму. Таким образом, к середине 20-х годов идеология арзамасского братства целиком себя изжила, и оно уступило место новым литературным группировкам.

## 2

Дух пытливого критики во всех областях жизни, и в первую очередь в области литературы и языка, свойственный гениальной натуре Пушкина, под влиянием встреч с арзамасцами с поразительной быстротой развивался в поэте. Здесь уместно привести воспоминание С. С. Уварова об «Арзамасе», напечатанное в 1851 году в «Современнике»: «Направление этого общества или, лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно критическое. Лица, составлявшие его, занимались: строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словестности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, самостоятельной теории языка, и пр. Чем разнообразнее была цель общества, тем менее было последовательности в его занятиях. В то время и под влиянием *Арзамаса* писались стихи Жуковского, Батюшкова, Пушкина; и это влияние отразилось, может быть, и на иных странах Карамзина».<sup>97</sup>

О приверженности Пушкина арзамасскому братству свидетельствуют как многие лицейские стихи Пушкина («Угрюмых тройка есть певцов», «Тень Фонвизина», «Из письма к П. А. Вяземскому», «Из письма к В. Л. Пушкину», «К Жуковскому», эпиграммы на Пучкову, «Пожарский, Минин и Гермоген»), так и письма поэта, в которых на протяжении ряда лет встречается арзамасская фразеология: от черновика шуточного письма арзамасцам в сентябре 1820 года вплоть до письма Вяземскому из Царского Села в конце августа 1831 года, в котором Пушкин писал о том, что арзамасцы поминали В. Л. Пушкина. При выборе псевдонимов Пушкин также дважды использовал свое звание арзамасца: в 1825 году под статьей «О г-же Сталь и о г. А. Муханове» он ставит псевдоним «Ст. ар.», т. е. старый арзамасец, а эпиграмму на Д. И. Хвостова «Седой Свистов! ты царствовал со славой» («Северные цветы на 1830 год») подписывает «Арз.», т. е. арзамасец. Все это свидетельствует о том, что Пушкин долгие годы считал себя арзамасцем.

Отметим также, что анаграмма под стихотворениями Пушкина в «Литературной газете» (1830, т. I, № 3, с. 21; т. II, № 38, стр. 11—12) представляет собой зеркальную зашифровку арзамасской клички Пушкина «Сверчок» (И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов... т. II. Изд. Всесоюзной книжной палаты, М., 1957, стр. 43).

Авторы последних капитальных трудов о Пушкине (Б. В. Томашевский, Б. С. Мейлах) уделили внимание и вопросу «Пушкин в кругу арзамасцев», в частности они утвердили мысль о том, что фактическое участие Пушкина в «Арзамасе» следует считать не с 1817 года, а с момента основания общества. Однако для более полного уяснения проблемы «Пушкин и арзамасское братство» необходимо, помимо привлеченного этими учеными материала, исследовать произведения арзамасцев и показать, какое значение имела их литературная деятельность для Пушкина.

Из всей литературной продукции арзамасцев (если оставить в стороне творчество Жуковского и Батюшкова-лирика) наибольшее значение имели для молодого Пушкина их сатирические и критические выступления,

<sup>97</sup> «Современник», 1851, № 6, отд. II, стр. 38.

в первую очередь полемические статьи Д. Дашкова, сатирические стихотворения и критические статьи Вяземского.

25 марта 1816 года Вяземский вместе с Карамзиным, Жуковским, А. И. Тургеневым, С. Л. и В. Л. Пушкиными посетил Царскосельский лицей и познакомился с Пушкиным. Благодаря общности литературных интересов их знакомство быстро перешло в дружбу. 17 апреля 1816 года Василий Львович сообщил Пушкину: «Вяземский тебя любит и писать к тебе будет» (XIII, 4). В свою очередь, Пушкин в письме к Василию Львовичу сделал в декабре 1816 года стихотворную приписку для Вяземского:

Шапель Андреевич конечно  
 Меня забыл давным давно,  
 Но я люблю его сердечно  
 За то, что любит он беспечно  
 И пить и есть свое вино,  
 И над всемирными глупцами  
 Своими резвыми стихами  
 Смеяться — право, пресмешно.

(XIII, 6).

В этих стихах Пушкин особо отметил сатирический дар Вяземского.

Эпиграммы Вяземского, в которых он осмеивал шишковистов, конечно, сыграли немалую роль в формировании Пушкина-эпиграмматиста; ноэль Вяземского «Спасителя рождением» наряду с ноэлями Д. П. Горчакова и французскими образцами этой стихотворной формы возбудили интерес Пушкина к ноэлю и побудили его испытать свои силы в этом жанре.

Со второй половины 10-х годов, по мере расцвета писательской деятельности Вяземского, Пушкин стал ценить его лирический и в особенности критический талант. Споря и не соглашаясь с ним по частным вопросам, Пушкин в то же время утверждал, что Вяземский — выдающийся русский критик и стилист. 1 сентября 1822 года Пушкин писал Вяземскому из Кишинева: «...лета клонят к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию. Впрочем, чего тебе дожидаться? неужели тебя пленяет ежемесячная слава Прудтов? Предприми постоянный труд <пиши ?> в тиши самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, — а там что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою более сблизиться» (XIII, 44).

Следует отметить, что критические статьи Вяземского, столь ценившиеся Пушкиным, наиболее ярко отразили эволюцию карамзинизма в области литературной критики.

Если в 1808 году Жуковский повторяет, вслед за Карамзиным, что критика — роскошь для отечественной литературы, то в 1810 году в статье «О критике» он уже признает необходимость критики. Проходит еще два года, и Д. В. Дашков в статье «Нечто о журналах» пишет о том, что критика должна занять центральное место в литературном журнале: «Все может входить в состав такого журнала: словесность, известия о важных открытиях в науках и искусствах, и проч.; но главною целию оного должна быть — критика. Издатель знакомит читателей своих с новейшими произведениями отечественной словесности (а иногда разбирает и старые, когда почтет их достойными особенного внимания), показывает их красоты и недостатки, сравнивает и т. п. Суд его должен всегда быть умерен и беспристрастен. Смело и с удовольствием хвалит он что есть хорошего в посредственных писателях; смело, но с прискорбием и уважением замечает недостатки в известных. Он никого не оскорбляет язвительными словами

или презрением и весьма осторожно употребляет опасное оружие насмешки: но ничто не удержит истинного литератора восставать против злоупотреблений и расколов, вводимых в язык наш». <sup>98</sup>

Наряду с признанием большого значения критики для развития литературы изменяются и принципиальные положения, лежащие в основе критики. Литературная критика раннего карамзинизма считала своим первейшим долгом дать оценку тому или иному произведению словесности с учетом того, насколько оно соответствует или не соответствует понятию вкуса, как его воспринимали и представляли себе сентименталисты.

В 1810-е годы наблюдается трансформация эстетического канона карамзинистов. Заметное изменение в отношении задач критики мы встречаем уже в критических статьях Жуковского. Хотя понятие вкуса остается у него основным критерием критики, но наряду с этим в его рассуждениях обнаруживается новая, весьма важная тенденция. В статье «О басне и баснях Крылова» (1809) <sup>99</sup> Жуковский, указывая жанровые особенности басни, кратко излагает историю басни (прозаической, а затем поэтической), а в статье «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще» (1810), определяет особенности сатиры как жанра и, касаясь истории сатиры, характеризует отличие сатиры Горация от сатиры Ювенала. Введение исторической перспективы позволило Жуковскому точнее определить историко-литературное значение творчества Крылова и Кантемира. Подобный подход к задачам критики не был присущ раннему карамзинизму. Нельзя не согласиться с Н. Л. Степановым, который пишет: «Критические высказывания Жуковского нередко шире эстетического кредо сентиментализма». <sup>100</sup>

Со своей стороны добавим, что именно элементы историзма, а не отдельные конкретные высказывания, как бы интересны они ни были, имеют наиболее существенное значение в статьях Жуковского с точки зрения поступательного развития русской критики; именно элементы историзма в этих статьях указывают на основное направление эволюции карамзинской критики 1810-х годов.

Общественные потрясения конца XVIII—начала XIX века (французская революция 1789 года, наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года) расшатали метафизические концепции и дали мощный толчок для развития исторического мышления. Карамзин с середины 1800-х годов целиком посвятил себя сочинению «Истории государства Российского», и, конечно, это обстоятельство также усиливало интерес карамзинистов к истории. Кроме того, борьба с антиисторической концепцией Шишкова еще более обострила внимание карамзинистов к историческим проблемам языка и литературы.

Д. В. Дашков, полемизируя с концепцией Шишкова, писал о «Переводе двух статей из Лагарпа, с примечаниями переводчика»: «Я не отвергаю,

<sup>98</sup> «Санктпетербургский вестник», 1812, ч. I, № 1, стр. 2—3. В начале 1810-х годов Д. В. Дашков неоднократно выступал и как передовой театральный критик (см. «Вестник Европы», 1811, т. LVIII, стр. 230—234; т. LIX, стр. 64—72, 236—241; т. LX, стр. 62—64, 147—154, 221—231, 324—327; 1812, т. LXI, стр. 58—62, 156—158, 245—246, 323—329; т. LXII, стр. 63—71; т. LXIV, стр. 59—66).

<sup>99</sup> Расцвет русской басни в начале XIX века способствовал привлечению внимания критиков к жанру басни и к истории этого жанра. Помимо статьи Жуковского, появляется статья А. Бенитцкого «Нечто о басне» («Цветник», 1809, ч. III, стр. 226—237), статья «Басня» из «Словаря новой и древней поэзии» Н. Остолопова («Вестник Европы», 1815, ч. LXXXI, стр. 110—122), сочинение А. Измайлова «О рассказе басни» (1817). Вся эта критическая литература о басне была, конечно, прекрасно известна Пушкину и учитывалась им при написании статьи «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825).

<sup>100</sup> История русской критики, т. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 168.

чтобы язык наш не был весьма близок к славенскому и чтоб сей последний не был главным основанием его; но не слишком ли много смешивать сии два языка и почитать за один и тот же? Российский происходит от славенского точно так же, как французский от латинского, смешанного с цельтским, или вельхским. . .».<sup>101</sup>

Стремление к историзму сказалось и в замысле Батюшкова создать курс истории русской литературы. В своем конспекте он писал: «Словесность надлежит разделить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонвизина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до времен наших».<sup>102</sup>

Элементы историзма имеются и в статье А. Воейкова о сочинениях И. И. Дмитриева: «Библия есть сокровище языка славенского; но всегда ли можем заимствовать из нее слова и выражения в том смысле, в каком они там поставлены? Слова и выражения, говорит Гораций, цветут и опадают, как древесные листья: для них есть своя весна и осень».<sup>103</sup>

Наконец, можно указать и на известное послание В. Л. Пушкина к Жуковскому, в конце которого автор, полемизируя с шишковистами, противопоставил язык французской литературы XVI века языку произведений XVII и XVIII веков:

Расин и Лафонтен, Вольтер, Руссо, Ламотт  
Писали уж не так, как писывал Марот.<sup>104</sup>

Если в высказываниях Д. В. Дашкова, А. Ф. Воейкова, В. Л. Пушкина историческая точка зрения применена к проблеме языка, то в статьях А. И. Тургенева было уже сформулировано требование соблюдения исторической истины в самом содержании художественного произведения. В 1804 году он прислал из Геттингена в журнал «Северный вестник» статью «Критические примечания, касающиеся до древней славянорусской истории». Ратуя в этой статье за создание картин на сюжеты, заимствованные из отечественной истории, А. И. Тургенев писал: «Давно бы пора нашим артистам, вместо разорения Трои, представить разорение Новгорода; вместо той героической спартанки, радующейся, что сын ее убит за отечество, представить Марфу посадницу, которая не хочет пережить вольности новгородской».<sup>105</sup>

А. И. Тургенев призывал живописцев соблюдать верность истории даже в мелочах, быть историками, пропускать «сквозь чистилище критики каждое сказанное слово, каждое историческое известие, застарелое ли или новое, не полагаясь на авторитет славного писателя».<sup>106</sup>

Развивая это положение, А. И. Тургенев в рецензии на постановку трагедии «Ксения и Темир» энергично протестовал против несоблюдения исторической истины в трагедиях: «Одним из самых несчастнейших почитаю ныне усиливающееся обыкновение украшать историческими лицами происшествия совсем неисторические . . . Были и у древних трагедии, в которых все от начала до конца состояло из вымыслов; были и такие, в которых при исторических главных лицах являлись вымышленные: но ни

<sup>101</sup> «Цветник», 1810, ч. VIII, стр. 259.

<sup>102</sup> К. Н. Б а т ю ш к о в, Сочинения, Гослитиздат, М., 1955, стр. 397. Показательно, что Батюшков уже чувствовал разницу между эпохой Карамзина и литературой 1810-х годов, предлагая выделить отдельно эпоху раннего карамзинизма.

<sup>103</sup> «Цветник», 1810, ч. VIII, стр. 107—108.

<sup>104</sup> Там же, стр. 362.

<sup>105</sup> «Северный вестник», 1804, ч. II, стр. 268 (вся статья на стр. 267—293). В последнее время эта статья А. И. Тургенева получила положительную оценку в труде В. А. Бочкарева «Русская историческая драматургия начала века (1800—1815 гг.)» («Ученые записки Куйбышевского государственного педагогического института», вып. 25, 1959, стр. 53—56).

<sup>106</sup> «Северный вестник», 1804, ч. II, стр. 293.

в одной хорошей трагедии не переименовано главное историческое происшествие; ни один хороший стихотворец не отважился восставать против общей уверенности и против преданий всем известных». <sup>107</sup>

Исторический подход к литературе получил дальнейшее развитие в статьях ведущего критика карамзинистов второй половины 1810-х годов П. А. Вяземского. В его статьях историзм наряду с просветительством становится основой литературной критики.

В 1817 году Вяземский пишет предисловие «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», в котором, помимо разбора произведений Озерова, имеются общие принципиальные рассуждения о литературе. Вяземский утверждал, что распространение просвещения является основной причиной изменений языка и литературы. Просветительский историзм Вяземского способствовал тому, что критик рассматривал литературу в процессе ее развития. Так, например, до анализа трагедий Озерова Вяземский обратился к разбору творчества его предшественников (Сумарокова и Княжнина).

Историзм Вяземского сказался как в стремлении рассматривать произведения словесности в их литературном ряду (в аспекте развития литературы), так и в требовании соответствия литературных произведений той действительности, которую они описывают. Вслед за А. И. Тургеневым, писавшим, что «ни в одной хорошей трагедии не переименовано главное историческое происшествие», Вяземский в предисловии «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» следующим образом излагал свою точку зрения: «Древние позволяли себе изменять хронологической истине истории, смешанной у них всегда почти с баснословными преданиями, не менее уважаемыми. Мне кажется, что и новейшие трагики могут отступать от частной исторической истины, с тем только, чтобы быть ей верным в общем смысле. Трагику, например, позволено изменять истории в подробностях и по желанию своему переносить героя за двадцать лет вперед или назад в его жизни, забывать о семейственных связях его; но характер исторический героя должен быть для него святынею, до которой не может он дотрагиваться своенравною рукою. Трагик, представивший нам тирана благотворителем своих подданных или друга свободы рабом пресмыкающимся, равно виновен перед историею и перед трагедиею». <sup>108</sup>

Несомненно, что это высказывание арзамасца Вяземского находится в основном русле исторических взглядов будущих декабристов.

Историзм Вяземского сказался и в его суждениях об эволюции языка. Значительно развивая все то, что было высказано по этому поводу Д. В. Дашковым, А. Ф. Воейковым, В. Л. Пушкиным, Вяземский, решительно осуждая слог русских писателей XVIII века, писал в 1823 году в статье «Известия о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева»: «Языки, прославленные творениями Данта, Шекспира и других, несмотря на славу своих образователей и ненарушимость прав ее на уважение потомства, не могли пребыть неизменными у народов зрелейших в образованности: зачем же на нас одних налагать неподвижность и задерживать естественный ход языка, который только что начинает выходить из отроческого возраста и нуждается еще в правилах, утвержденных употреблением или законною властью?... Нет сомнения, что и самый наш язык, уже изменившийся, изменится еще, по мере как мы будем непосредственное и действительнее участвовать в общем ходе образованности и просвещения». <sup>109</sup>

<sup>107</sup> «Вестник Европы», 1811, ч. LVI, стр. 46—47.

<sup>108</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. I, СПб., 1878, стр. 43—44.

<sup>109</sup> Там же, стр. 127—128.

Высказывание Вяземского о том, что русский язык будет изменяться и в дальнейшем, чрезвычайно важно для уточнения его литературной позиции; это высказывание опровергает мнение о том, что в вопросах языка и стиля Вяземский послушно следовал за Карамзиным. Мысль Вяземского о непрерывном развитии языка направлена не только и не столько против шишковистов, которые в 1823 году уже не представляли серьезного противника, а против самого Карамзина и умеренных арзамасцев, что видно из письма Вяземского к Жуковскому от 9 сентября 1824 года: «Воля ваша, наш язык совсем не смел. Не говоря уже о немецком, который своеволен, но и самый французский дерзает более нашего. Оставь французских романтиков, как испытателей еще не одержавшихся, возьми в одном роде Монтаня, в другом Боссюета avec sa voix qui tombe, Расина с своими собаками, да у нас затравят собаками, т. е. Каченовскими, да, по несчастю, и Карамзины, и Блудовы к ним пристанут, чтобы заесть смельчака, который позволит себе такие дерзости и deboширства».<sup>110</sup>

Из переписки Вяземского с А. И. Тургеневым видно, что различный подход к вопросам языка, грамматики и стиля зависел от различия общественных взглядов членов арзамасского братства: умеренные арзамасцы выступали за увековечение стиля Карамзина; оппозиционно настроенный Вяземский, напротив, ратовал за непрерывную эволюцию языка и стиля. В ожесточенной схватке старого и нового, академических блюстителей порядка и стилистических санкюлотов Пушкин был целиком на стороне Вяземского. В XXVIII строфе третьей главы «Евгения Онегина» мы читаем:

Не дай мне бог сойтись на бале  
Иль при разъезде на крыльце  
С семинаристом в желтой шале  
Иль с академиком в чепце!  
Как уст румяных без улыбки,  
Без грамматической ошибки  
Я русской речи не люблю.  
Быть может, на беду мою,  
Красавиц новых поколение,  
Журналов вняв молящий глас,  
К грамматике приучит нас;  
Стихи введут в употребление;  
Но я... какое дело мне?  
Я верен буду старине.

Л. А. Булаховский видит в этой строфе «Евгения Онегина» только шутовское, добродушно-непокорное отношение Пушкина к нормативной грамматике, важное значение которой поэт, конечно, не думал отрицать.<sup>111</sup> Думается, что данная строфа, несмотря на ее шутивно-иронический тон, имеет более серьезный характер, нежели предполагает Л. А. Булаховский. Пушкин, как и Вяземский в письмах к А. И. Тургеневу, выступает не против грамматики, а против тех пуристов, которые пытались использовать грамматику как несокрушимый заслон против языкового экспериментирования. Разница между позицией Пушкина и Вяземского заключается лишь в способе аргументации; Вяземский писал 3 июля 1822 года А. И. Тургеневу, посылая ему свою статью «О биографическом похвальном слове г-же Сталь-Гольштейн»: «„Сталь“ отдаю на твое рассмотрение и исправление только в грубых ошибках против языка и ее величества благочестивейшей государыни нашей (нет, вашей), законно царствующей

<sup>110</sup> П. П. Вяземский. А. С. Пушкин (1816—1825) по документам Остафьевского архива. СПб., 1880, стр. 61—62.

<sup>111</sup> Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Учпедгиз, М., 1954, стр. 44.



грамматики и его высокопревосходительства Алексея Андреевича Синтаксиса. Но, ради бога, не касайтесь мыслей и своевольных их оболочек... Живописнейший, ощутительнейший, остроконечнейший, горелiefeйнейший способ выразить свою мысль есть и выгоднейший».<sup>112</sup> Таким образом, Вяземский писал без обиняков, что новые мысли требуют новых способов их выражения. Как было отмечено выше, Пушкин высоко ценил усилия Вяземского, направленные к созданию русского метафизического языка, языка понятий и философских обобщений. В то же время в указанной строфе «Евгения Онегина» Пушкин мотивирует право на языковые вольности своей приверженностью к старине — нельзя сомневаться в полемической направленности подобной аргументации. Таким образом, по существу, позиция Пушкина и Вяземского в данном вопросе одинакова.

Близость позиции Пушкина и Вяземского не ограничивается областью языка. Просветительский историзм Вяземского был близок мышлению и творческому сознанию Пушкина во второй половине 1810—начале 1820-х годов. Б. В. Томашевский в статье «Историзм Пушкина» утверждал, что историзм не был свойствен Пушкину до 1823 года. Ход аргументации исследователя таков: «Историзм предполагает понимание исторической изменяемости действительности, поступательного хода развития общественного уклада, причинной обусловленности в смене общественных форм»;<sup>113</sup> понимая под историзмом Пушкина только эту высшую форму историзма, которая стала складываться в воззрениях Пушкина с 1823 года, Б. В. Томашевский подробно разбирает, как она развивалась и углублялась в произведениях Пушкина, написанных в 1823—1837 годах. В этой части статьи много правильных и ценных наблюдений. Однако никак нельзя согласиться с исходным тезисом статьи, который декларирует отсутствие историзма в мышлении Пушкина до 1823 года.

Историзм бывает разный. Отсутствие высшей формы историзма в произведениях Пушкина до 1823 года не может служить доказательством антиисторизма воззрений молодого Пушкина. Наоборот, именно просветительский историзм, который объяснял изменимость действительности и смену общественных форм непрерывной борьбой просвещения с невежеством, помог впоследствии Пушкину перейти к высшей форме историзма. Иная постановка вопроса нарушает последовательный ход развития мировоззрения Пушкина, искусственно изолирует его мировоззрение от общественных взглядов его учителей, сверстников и друзей. Прав Б. С. Мейлах, который, разбирая содержание курса «Право государственное», читанного в Лицее А. П. Куницыным, пришел к выводу, что в нем «сквозь идеалистическое понимание общества и государства отчетливо видны проблески трезвого историзма».<sup>114</sup> Проанализировав всю систему лицейского образования, Б. С. Мейлах констатирует: «Каковы бы ни были различия во взглядах Куницына и Кайданова, Кошанского и Георгиевского, их лекции, читанные в Лицее Пушкину и его сверстникам, отражали многие существенные стороны русского просветительства и передовой русской общественной мысли той поры».<sup>115</sup>

В том же плане преддекабристских идей следует рассматривать и взгляды оппозиционных арзамасцев. Так, например, М. Ф. Орлов в речи, произнесенной 11 августа 1819 года в Киевском отделении Библейского общества, представил всю современную историю как единоборство

<sup>112</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. 2, стр. 268.

<sup>113</sup> «Ученые записки Ленинградского государственного университета, № 173, серия филологических наук», вып. 20, 1954, стр. 42.

<sup>114</sup> Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха. Гослитиздат, М., 1958, стр. 78.

<sup>115</sup> Там же, стр. 114.

просвещения с невежеством: «Во всяком времени, во всякой земле родится несколько людей, образованных как бы нарочно природою, чтоб быть противниками всего изящного и защитниками невежества ... Они везде отличаются одними и теми же нравственными чертами. Любители не древности, но старины, не добродетели, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков. Во Франции они противятся свободомыслию и введению представительного правления; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они торжествуют, и каждый из них приносит радостно свое дряблое полено для сооружения костров инквизиции; в Италии они восстают против распространения священного писания и проклинают громогласно библейские собрания; в Турции они превозмогли и остановили навсегда успехи просвещения. Наконец, история наша полна их покушений против возрождения России».<sup>116</sup>

Подобные мысли высказывал в своих статьях и Вяземский. Таким образом, и лицейские учителя Пушкина, и его арзамасские друзья придерживались идей просветительского историзма. Учитывая эти обстоятельства, трудно предположить, что Пушкин остался чужд этого влияния. И действительно, в творчестве молодого Пушкина мы можем обнаружить влияние идей просветительского историзма. Наиболее характерными в этом отношении являются его стихотворения «Лицинию» и «Вольность».

Эти же идеи высказывал Пушкин в своих статьях. Так, например, С. М. Петров справедливо пишет об исторических заметках 1822 года: «Основной их идеей, которая навсегда останется в историческом мировоззрении Пушкина, является мысль о том, что со времени Петра I Россия вступила на общеевропейский путь развития, что успехи просвещения неминуемо приведут к народной свободе, к ликвидации крепостного строя».<sup>117</sup> Идеи просветительского историзма были близки Пушкину и в более поздние годы, что видно хотя бы из его записки «О народном воспитании», в которой он, полемизируя с высочайшим манифестом, писал: «Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI, 44). Напомним, что весь комплекс идей Пушкина о роли просвещенного дворянства в России закономерно вытекает из теории просветительского историзма.

Таким образом, не антиисторизм воззрений молодого Пушкина следует противопоставлять глубокому историзму его зрелых творений, а различать надо степень историзма, присущую мировоззрению Пушкина на том и ином этапе его развития. Ранний, просветительский историзм Пушкина сложился в кругу преддекабристских идей, воспринятых поэтом от своих лицейских учителей и от друзей-арзамасцев.

Неотъемлемой стороной историзма в оценке литературных явлений должна быть постановка вопроса о национальном своеобразии той или иной литературы, о необходимости искать особые художественные средства для отображения в переводе этого своеобразия. Естественно, что арзамасцы придавали большое значение данной проблеме. В этом отношении значительный интерес для нас представляют высказывания С. С. Уварова и его полемика с В. В. Капнистом о греческом гекзаметре.

В 1813 году С. С. Уваров опубликовал «Письмо к Николаю Ивановичу Гнедичу о греческом экзаметре».<sup>118</sup> В этом письме он энергично восстал

<sup>116</sup> Сборник императорского Русского исторического общества, т. 78, СПб., 1891, стр. 523—524.

<sup>117</sup> С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 8.

<sup>118</sup> «Чтение в Беседе любителей русского слова», СПб., 1813, чт. 13, стр. 56—68.

против перевода Гомера на русский язык александрийским стихом и ратовал за перевод гекзаметром: «Когда вместо плавного, величественного экзаметра я слышу скучной и сухой александрийский стих, рифмою прикрашенный, то мне кажется, что я вижу божественного Ахиллеса во французском платье <!>», — восклицал С. С. Уваров. Н. И. Гнедич согласился с аргументацией С. С. Уварова, поддержанного А. Н. Олениным, и стал переводить «Илиаду» гекзаметром. Однако против перевода гекзаметром выступил В. В. Капнист, предложивший делать перевод размером русских народных песен.<sup>119</sup> В своем ответе В. В. Капнисту С. С. Уваров писал: «Позвольте мне прибавить еще несколько слов о переводе древних, а именно о предполагаемом переводе Омера русским народным размером. Не в том дело состоит, чтобы написать поэму с поэмы или чтоб сохранить впечатление, производимое чтением Омера или всех древних вообще над несколькими только читателями. Мы должны стараться утвердить впечатление, производимое чтением их надо всеми просвещенными умами: следственно, представить *отлепок* творения Омерова в духе оригинала, с его формами и со всеми оттенками, таким образом, чтоб мы имели в глазах не Кострова, не Гнедича, но Омера — Омера в чистейшем созерцании природной его красоты, Омера в том виде, в каком он пленял законодателя Спарты, победителя Азии, александрийских мудрецов и весь, одним словом, блистательный ряд его любителей в древнем и новом мире. Вот в каком отношении могут древние действовать над нами; но, чтоб достигнуть сей цели, чтоб распространить благодетельное их влияние, необходимо нужно признать первым правилом, что *формы* в поэзии неразлучны с *духом*, что между формами и духом поэзии находится та же самая таинственная связь, как между телом и душою; что обоюдное их влияние и действие — формы на мысль, а мысли на форму — так тесны, что никак нельзя определить истинных границ их, а еще менее расторгнуть их союз, не жертвуя тою или другою».<sup>120</sup>

Подобные высказывания вряд ли могли пройти мимо внимания Пушкина. Ведь именно в его творчестве нашло свое блистательное воплощение правило о неразрывной связи формы и мысли; ведь именно Пушкин, привлекая для своей поэзии материал из жизни других народов, находил для него форму, наиболее адекватную национальному содержанию. Естественно предположить, что полемика С. С. Уварова с В. Капнистом о греческом гекзаметре помогла 16-летнему поэту в выработке его творческого метода.

В 1820 году Уваров и Батюшков анонимно издали книгу под названием «О греческой антологии» (дата цензурного разрешения 7 ноября 1819 года). Обращаясь от имени вымышленного издателя к читателям, авторы писали, что рукопись книги они якобы получили от арзамасского трактирщика, ставшего случайным обладателем этих бумаг, причем «статья была подписана так: Ст... и А...»,<sup>121</sup> т. е. арзамасскими прозвищами Уварова («Старушка») и Батюшкова («Ахилл»). Таким образом, авторы пожелали представить свой труд как плод совместных арзамасских занятий.<sup>122</sup> В текст статьи были включены античные эпиграммы в переводе Батюшкова, а в приложении — перевод этих же эпиграмм на фран-

<sup>119</sup> Там же, 1815, чт. 17, стр. 18—42 («Письмо В. В. Капниста к С. С. Уварову о экзаметрах»).

<sup>120</sup> Там же, стр. 56—57 (весь ответ С. С. Уварова на стр. 47—66).

<sup>121</sup> О греческой антологии. СПб., 1820, стр. II.

<sup>122</sup> Позднее С. С. Уваров писал: «Говорят, что арзамасский кружок намеревался издавать журнал и что помещенная к сочинениям Батюшкова статья: О греческой антологии была написана именно для этого журнала» («Современник», 1851, № 6, отд. II, стр. 38).

пузский язык, сделанный Уваровым. Сама статья написана, по-видимому, Уваровым, который и до этого времени и после усиленно занимался античностью.<sup>123</sup>

В этой статье С. С. Уваров, характеризуя особенность античной поэзии, писал, что она «потеряет свою цену, если мы не станем смотреть на нее глазами древних». Собственно, вся статья и представляет собой попытку посмотреть на античную антологию «глазами древних». Этой же цели служили и переводы эпиграмм на русский и французский языки, помещенные в книге. Подобное отношение к античной культуре, полемически заостренное против системы аллюзий классицизма, было близко и понятно Пушкину — его антологические стихотворения 1830-х годов ярко воссоздают неповторимый колорит античной цивилизации, «глазами древних» показан в них античный мир.

Именно за подобное же восприятие античности особенно ценил Пушкин творчество Дельвига и Гнедича. Об идиллиях Дельвига Пушкин писал: «Идиллии Дельвига для меня удивительны. Какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях!» (XI, 58).

Высоко оценив перевод «Илиады», выполненный Гнедичем по совету С. С. Уварова гекзаметром, Пушкин писал о нем в «Литературной газете»: «Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частью устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительно труду, бескорыстному вдохновению, и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами» (XI, 88).

Как видно из письма Пушкина к Гнедичу, только незнание им греческого языка помешало ему заняться подробным разбором перевода, который, по его мнению, должен был «иметь столь важное влияние на отечественную словесность» (XI, 88).

Новое, принципиально отличное восприятие античной культуры, отмечавшее «античный маскарад» классицизма, сочеталось в те годы с повышенным интересом к литературам Востока, которые ранее вообще выпадали из поля зрения историков литературы. Уже в 1810 году С. С. Уваровым был написан и напечатан «Projet d'une Académie Asiatique»,<sup>124</sup> в котором одним из аргументов в пользу учреждения в России Азиатской академии был сформулирован тезис о важном значении литератур Востока для мировой цивилизации. Добившись в 1818 году создания двух кафедр

<sup>123</sup> См. его работы: *Essai sur les Mystères d'Eleusis*. St. Petersburg, 1812 (русский перевод см.: «Современник», 1847, № 2, отд. II, стр. 77—108); *Nannos von Rapopolis der Dichter*. St. Petersburg, 1817 (книга посвящена Гете); *Un examen critique de la fable d'Hercule, commentée par Dupuis*. St. Petersburg, 1819; *Ueber das vorhome-rische Zeitalter*. St. Petersburg, 1821; *Mémoire sur les Tragiques Grecs* (1824). В кн.: *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Petersburg*, t. X, St. Petersburg, 1826, стр. 429—444.

<sup>124</sup> Перевод проекта С. С. Уварова, сделанный Жуковским, опубликован под названием «Мысли о введении в России Академии Азиатской» (см.: «Вестник Европы», 1811, ч. LV, стр. 27—52, 96—120).

восточных языков при Главном педагогическом институте в Петербурге, С. С. Уваров выступил с речью, в которой вновь подтвердил высокую оценку восточных литератур: «Словесность арабов ... имеет свой отличный характер. Их поэзия пылает, как их степь; она чудесна, как их история ... Арабы не уступали ни одному народу в любви к турнирам, к рыцарству, к поэзии. Следы пребывания их в Испании произвели Ариоста и рыцарскую литературу ... Персы имеют во всех родах превосходных поэтов: *Фир-Дуси* их *Омер*, *Гафи* их *Пиндар* и *Анакреон* ... *Сверх того, принадлежат к первой степени: Саади*, его подражатель *Джами*, *Джелаледин* и несколько других ... Но из всех литератур Востока первая, важнейшая, обширнейшая есть, без сомнения, литература Индии. ... Кто не захочет познакомиться с сим богатым рудником; вникнуть в философию, в законодательство, в поэзию, в науки народа, столь еще мало известного, но которому, может быть, принадлежит первое место в просвещенном мире; пройти сквозь сей безмолвный ряд веков; внести свитильник в мрачное жилище давно истлевших племен и поколений; одним словом, привязать свой ничтожный, быстротечный век к сим неподвижным памятникам отцветшего просвещения и забытой, но чудесной славы?».<sup>125</sup>

Протеизм гения Пушкина сказался и при его обращении к восточной теме. Девять стихотворений «Подражания Корану» (1824), «Из Гафиза» (1829), «Подражание арабскому» (1835) свидетельствуют об исключительном даре перевоплощения, умении схватить и передать в переводе национальное своеобразие психики, образа мыслей и выражений, присущих восточным литературам.

Разновидностью восточной темы в русской литературе являлась, как известно, библейская тема. Однако интерпретация библейской темы Пушкиным (например, в «Пророке») ведет свое начало от поэтов-декабристов (Кюхельбекер) и поэтов декабристской ориентации (Ф. Глинка), а не от С. С. Уварова, который считал Библию идеологическим оружием против неверия французских философов XVIII века. Хотя в понимании библейской темы Пушкин резко разошелся с Уваровым, тем не менее надо признать, что высказывания последнего о восточных литературах, по-видимому, наряду с другими факторами возбудили интерес Пушкина к этим литературам.

Одним из проявлений внимания к новым, ранее не известным литературам было увлечение Оссианом, который в конце XVIII—начале XIX века неоднократно переводился на русский язык. В этой связи необходимо указать на забытую рецензию А. И. Тургенева «Стихотворения Эрские, или Ирландские»,<sup>126</sup> написанную в связи с выходом в свет прозаического перевода «Поэмы Оссиана...» (СПб., 1810, перевод С. Филатова). В этой развернутой рецензии А. И. Тургенев подробно излагает оссиановский вопрос, разбирает доводы pro и contra подлинности песен, опубликованных Макферсоном. Автор приходит к выводу, что в основе этих песен лежит подлинный народный эпос. Рецензия А. И. Тургенева наряду с заключительными страницами предведомления Е. Кострова к его переводу «Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: гальские стихотворения» (1792) была одним из первых изложений оссиановского вопроса в русской печати; по-видимому, по книге Е. Кострова и по этой рецензии, а возможно, и из бесед с А. И. Тургеневым знакомился молодой Пушкин со спорами об Оссиане. Во всяком случае, — через четыре года после по-

<sup>125</sup> Речь президента императорской Академии наук, попечителя Санктпетербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института, 22 марта 1818 года. СПб., 1818, стр. 7—14.

<sup>126</sup> «Вестник Европы», 1810, ч. 4, стр. 297—306.

явления рецензии А. И. Тургенева — Пушкин пишет два стихотворения, связанные с Оссианом: «Кольна» и «Осгар». В этом же ряду стоит и стихотворение «Эвлега» — перевод эпизода из поэмы Парни «Иснель и Аслега». Как тонко подмечено Б. В. Томашевским, влияние Оссиана сказалось и в описании пейзажа Пушкиным во многих лицейских стихотворениях.<sup>127</sup>

Новое восприятие античной культуры, вовлечение в круг наблюдения и изучения многих ранее не известных исследователям литератур (литературы Востока, Оссиан), естественно, пробуждали интерес к проблеме народного (национального) характера литературы. Догматизм и схематизм рассуждений теоретиков классицизма сменялся универсализмом нарождавшегося романтизма, который учитывал специфические особенности и национальный колорит той или иной литературы. Этот общеевропейский процесс получил свое отражение и в русской литературной критике. Первые наиболее развернутые высказывания о народном (национальном) характере литературы мы встречаем в критических статьях Вяземского. Уже в 1817 году в предисловии «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» он писал: «Вернейшее подражание древним трагикам, согласно с правилами, которые они завещали нам своим примером, было бы не подражать им; можно решительно сказать, что они никогда не избрали бы для своих творений содержания, совершенно чуждого народу своему и образу его мыслей».<sup>128</sup>

До нас дошли заметки Пушкина на полях предисловия Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова». В этих заметках, сделанных Пушкиным в середине 1820-х годов, возражения касаются лишь оценки творчества Озерова, а высказывания Вяземского о народности литературы и другие теоретические суждения не вызвали ни одного неодобрительного замечания Пушкина.

Напомним, что, как установил М. К. Азадовский, сам термин «народность» был в те годы неологизмом, впервые примененным Вяземским в его письме к А. И. Тургеневу в 1819 году. Введя это важнейшее понятие в обиход литературной критики, Вяземский в статье «Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822 года» (1823) четко сформулировал тезис о народности литературы: «Литература должна быть выражением характера и мнений народа».<sup>129</sup> Затем в 1824 году в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Вяземский связал воедино проблему народности литературы с проблемой романтизма.

Пушкин, как и поэты декабристского лагеря, был полностью согласен с Вяземским в том, что литература должна быть выражением характерных черт народа. Статьи Вяземского наряду с другими источниками побудили Пушкина изложить свои мысли о народности в литературе. В статье «О народности в литературе» Пушкин, цитируя слова Вяземского из предисловия к «Бахчисарайскому фонтану», писал: «...что есть народного в *Рос<сиаде>* и в *Петриаде*, кроме имен», как справедливо заметил <кн. Вяземский>?» (XI, 40).

Суждения Вяземского о народности литературы предвосхищали и во многом совпадали с высказываниями декабристов по этому вопросу. Эти суждения Вяземского наряду с трудами западноевропейских теоретиков литературы, и в первую очередь мадам де Сталь, оказали заметное влияние на становление взгляда Пушкина по этому важнейшему вопросу лите-

<sup>127</sup> Б. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. АН СССР. М.—Л., 1956, стр. 87—90.

<sup>128</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 35.

<sup>129</sup> Там же, стр. 103.

ратурной критики. В дальнейшем, к середине 1820-х годов, пушкинское понимание народности становится значительно глубже, чем у Вяземского и у других теоретиков литературы того времени. Пушкин стремительно обгоняет своих современников. Но дальнейшая значительная эволюция взгляда Пушкина по данному вопросу не снимает проблемы историко-литературной преемственности его воззрений в молодости.

Данный обзор не является исчерпывающим исследованием проблемы «Пушкин и арзамасское братство». Воздействием арзамасцев на молодого Пушкина было более разносторонним, чем это показано в настоящей статье. Достаточно сказать, что оставлено без рассмотрения влияние поэтического творчества Жуковского, Батюшкова и Д. Давыдова на поэзию Пушкина. Но и рассмотренные аспекты проблемы — обоснование перво-степенной роли литературной критики, историзм, новое восприятие античной культуры, расширение рамок мирового историко-литературного процесса, народность литературы — со всей очевидностью показывают, что литературно-критическая деятельность арзамасцев должна быть учтена среди фактов, способствовавших быстрому возмужанию творчества Пушкина.

А. Л. СЛОНИМСКИЙ

## О КАКОМ «ВОЗВЫШЕННОМ ГАЛЛЕ» ГОВОРИТСЯ В ОДЕ ПУШКИНА «ВОЛЬНОСТЬ»?

Ода «Вольность» Пушкина начинается патетическим призывом к «грозе дарей» — «Свободы гордой певиче». Далее, во второй строфе, идет такое обращение к ней:

Открой мне благородный след  
Того возвышенного галла,  
Кому сама среди славных бед<sup>1</sup>  
Ты гимны смелые внушала.<sup>2</sup>

(II, 45).

Кто же этот неназванный «возвышенный галл», автор «смелых гимнов»? В заграничном издании запрещенных стихотворений Пушкина Н. В. Гербель без всяких объяснений поставил в примечании имя Андре Шенье,<sup>3</sup> так как ни у кого — ни у издателя, ни в эмигрантских кругах — не возникало ни малейших сомнений, что речь идет об Андре Шенье.

Шенье был одним из крупнейших поэтов Франции (к тому же единственный поэт, погибший на гильотине). Слава Шенье с течением времени только возрастала. «L'admirable auteur de *l'Aveugle*, — писал Леконт де Лиль в 1864 году, — n'appartient à son temps ni par l'inspiration, ni par la facture et la qualite du vers».<sup>4</sup>

Сюлли Прюдом считал себя преемником Шенье. Он писал в 1878 году в стихотворении «La Justice» («Справедливость»):

Je t'invoque, o Chénier, pour juge et pour modèle...  
O maître, tour à tour si tendre et si robuste,  
Rassure, aide et défends, par ton grand souvenir,  
Quiconque sur ta tombe ose rêver d'unir  
Le laurier du poète à la palme du juste.<sup>5</sup>

В Париже, в саду Пикпюс (Picpus), где, по преданию, было положено тело обезглавленного поэта, в 1897 году была поставлена плита с надписью, высеченной на мраморе: «Андре де Шенье, сын Греции и Франции, 1762—1794. Служил Музам. Любил Мудрость. Умер за правду».

Все это показывает, как чтилась память Шенье во Франции до конца XIX века. Неудивительно поэтому, что в 1861 году Н. В. Гербель без всяких аргументов, с полной уверенностью назвал в качестве «возвышен-

<sup>1</sup> Обычное обозначение террора. «Славных» — в смысле «знаменитых».

<sup>2</sup> Курсив мой, — А. С. Здесь и далее цитаты из произведений Пушкина приводятся по академическому изданию его сочинений в 16 томах (М.—Л., 1937—1949).

<sup>3</sup> Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, 1861, стр. 13.

<sup>4</sup> «Удивительный автор „Слепца“ (А. Шенье, — А. С.) не принадлежит своему времени ни по вдохновению, ни по фактуре и качеству стиха».

<sup>5</sup> Перевод:

Я призываю тебя, о Шенье, как судью и образец...  
О учитель, то нежный, то суровый,  
Укрепи, помоги и защити величием своей памяти  
Всякого, кто на твоей могиле посмеет мечтать о соединении  
Лавра поэта с пальмою справедливости.



ного галла» Шенье. В самом деле, кому иному из поэтов того времени могли так хорошо пристать эпитеты «благородный» и «возвышенный»?

В пушкинской элегии 1825 года Шенье представлен в том же виде, что и анонимный поэт «Вольности». Пушкинский Шенье — певец свободы.

Завтра казнь, привычный пир народу;  
Но лира юного певца  
О чем поет? *Пост она свободу*;  
Не изменилась до конца!

Он смел в своих обличениях:

Ты презрел мощного злодея;  
Твой светоч грозно пламенея,  
Жестоким блеском озарил  
Совет правителей бесславных;  
Твой бич настигнул их, казнили  
Сих палачей *самодержавных*;  
Твой стих свистал по их глазам;  
Ты звал на них, ты славил Немезиду;  
Ты пел Маратовым жрецам  
Кинжал и деву-эвмениду!

(II, 397, 401).

Пушкин чувствовал в Шенье поэта, родственного ему по духу и по убеждениям. Шенье стал постоянным его спутником. В двух строфах «Кинжала» (1821), шестой и седьмой, он повторяет оду Шенье в честь Шарлотты Кордэ (1793). В элегии 1825 года он изображает Шенье в героическом свете. Шенье сопровождал его до последних лет (перевод «Из А. Шенье», 1835). Вполне понятно поэтому, что расшифровка Н. В. Гербея была без всякой критики принята и П. А. Ефремовым, и П. О. Морозовым, и С. А. Венгеровым.

Но явилось затруднение хронологического порядка. Пушкин дважды датировал «Вольность» 1817 годом: в тургеневском автографе и в написанном для себя воображаемом разговоре с Александром I (где поэт говорит о том, что «Вольность» была написана им в семнадцатилетнем возрасте, т. е. в начале 1817 года). Между тем считалось, что ознакомиться с Шенье Пушкин мог не раньше осени 1819 года, когда впервые были изданы сочинения Шенье.

Однако уверенность, что «возвышенным галлом» может быть только Шенье, была так сильна, что датировка «Вольности» главным образом по этой причине была переставлена на 1819 год, наперекор прямым свидетельствам самого Пушкина (которые оспаривались путем натяжек).

В связи с этим хронологическим недоразумением в 1917 году выдвинута была кандидатура другого поэта — Экушара Лебрена (прозванного «Пиндаром»), имя которого нашлось в трех копиях (в отметках, восходивших, по-видимому, к одной и той же копии; см. II, 1029—1030). В двух случаях предполагаемый «возвышенный галл» ошибочно назван именем Пиго-Лебрена (в третьей копии просто Лебрен). Как разъяснил Б. В. Томашевский, автор копии спутал Пиго-Лебрена (журналиста) с Экушаром Лебреном, который действительно писал революционные оды.<sup>6</sup> Так родилась легенда об Экушаре Лебрене. В 1940 году Б. В. Томашевский посвятил Экушару Лебрену обстоятельную, добросовестнейшим образом аргументированную статью, чтобы рассеять недоумения, какие вызывала у многих эта новая кандидатура.<sup>7</sup> Но некоторые сомнения все же оставались.

<sup>6</sup> См.: Пушкин и его современники, вып. XXVIII, Пг., 1917, стр. 71—72.

<sup>7</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин и французская революционная ода (Экушар Лебрен), «Известия Академии наук СССР, отделение литературы и языка», 1940, № 2, стр. 25—55.

Имя Лебрена только раз упомянуто Пушкиным — в ноябре 1824 года в письме к брату (XIII, 118), причем из контекста не ясно, читал ли его Пушкин раньше или впервые узнал о нем из биографии А. Шенье в издании 1819 года (написанной Латушем). Что же мог знать Пушкин о Лебрене в 1817 году, когда писалась «Вольность»? В альманахах начала века (1799—1812) было несколько переводов стихов Лебрена — невысокого качества и отнюдь не революционного содержания. Сочинения Лебрена были изданы в 1811 году, но революционных од там не было — они оставались погребенными в старых брошюрах и газетах революционного времени. Лебрен несколько раз, в зависимости от политических перемен, менял свои позиции. При королях он придерживался ходячих умеренно-либеральных взглядов. Революция застала его в шестидесятилетнем возрасте. При якобинцах он воспевал казнь короля и королевы, а закончил жизнь пенсионером Наполеона, которому посвящал свои хвалебные оды. У него в последние годы была своя школа профессиональных одописцев (к которой, между прочим, принадлежал его панегирист Бульи). Имя его фигурировало в списке «флюгеров» («girouettes») в изданном в Париже в 1815 году «Dictionnaire des girouettes» («Словарь флюгеров»). Известна была эпиграмма Дезорга, где «лира» Лебрена называлась «банальной» и «продажной»:

Oui, le fléau le plus funeste  
D'une lyre banale obtiendrait les accords;  
Si la peste avait des trésors,  
Lebrun serait soudain le chantre de la peste.<sup>8</sup>

В самом прозвании «Пиндар» (Lebrun — Pindar) заключался некоторый иронический оттенок. Известно было по всем древним биографиям, что Пиндар был придворным поэтом тирана Гиерона Сиракузского и писал свои хвалебные оды («эпиникии») исключительно за высокую плату. «Пиндарический» слог отличался высокопарностью и темнотой выражения вследствие обилия риторических украшений. Этими же свойствами отличались и оды Лебрена. За Лебреном раз и навсегда установилась репутация беспринципного приспособленца. Так характеризуется он в большом словаре Ларусса и во многих французских учебных пособиях вплоть до XX века. Пусть, как разъяряет Б. В. Томашевский, все это было клеветой: анонимный составитель «Словаря флюгеров» был пристрастен, потому что был роялист, а Дезорг сам был приспособленцем и поэтому является «плохим судьей». Все это доказывается Б. В. Томашевским путем кропотливых изысканий. Но известно ли это было юноше Пушкину? Вопрос не в том, каков был Лебрен на самом деле, а в том, какие сведения мог иметь о нем Пушкин в 1817 году. Так или иначе, справедливо или не справедливо, репутация у Лебрена была плохая, и если Пушкин и знал о нем (а это не доказано), то едва ли что-нибудь такое, что давало бы повод для безоговорочного провозглашения его «возвышенным галлом». Было бы странно со стороны Пушкина рассчитывать, что читатель без всяких комментариев угадает в анонимном «возвышенном галле» Лебрена.

Пушкин никогда не допускал и мысли, что гражданское направление в какой-либо мере может искупить плоские стихи. «У вас ересь, — писал он брату 14 марта 1825 года по поводу рассуждений Рылеева и Бестужева. — Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на го-

<sup>8</sup> «Да, самый страшный бич будет встречен аккордами банальной лиры; если бы чума имела сокровища, Лебрен сразу стал бы певцом чумы». (Цитируется по изданию: Nouvelle biographie générale. Publiée par M. M. Firmin Didot frères, t. XIII, Paris, 1855, стр. 873).

лос *Один сижу в компании и тому под.*» (XIII, 152). С этой точки зрения он строго судил о стихах В. Ф. Раевского, которого лично очень уважал, и о «Думах» Рылеева, которые, по его выражению, хоть и «целят», да «не-впопад» (XIII, 167). Вероятно ли, что при той остроте художественного вкуса, каким обладал Пушкин с ранних лет, он мог произвести в «возвышенные галлы» такого заведомого эпигона классицизма, каким был Лебрэн, автор «банальных» и «пресных», по отзывам критики, од, лишенных индивидуальной окраски и сплошь состоящих из общих мест? Сам Б. В. Томашевский отрицает какую-либо зависимость «Вольности» от од Лебрэна. «По существу, — говорит он, — Пушкин ничем не воспользовался из од Лебрэна».<sup>9</sup>

Совсем другое дело Шенье, который в глазах Пушкина (как и во мнении потомства) был прежде всего великолепный поэт, предшественник романтизма (романтизм его был облечен в античные формы, как у Батюшкова). В особенную заслугу ему Пушкин ставит то, что свой дар Шенье отдал служению свободе и правде (в том значении, в каком понимал эти термины Пушкин). Эта мысль (о видимом противоречии между мирной поэзией и гражданским долгом) и положена в основу пушкинской элегической поэмы 1825 года. Пушкинский Шенье сожалеет, что покинул мирную поэзию и бросился в омут политической борьбы, но тотчас отбрасывает свой «ропот»:

Умолкни, ропот малодушный!  
Гордись и радуйся, поэт:  
Ты не поник главой послушной  
Перед позором наших лет.

(II, 401).

Элегия имеет явную субъективную окраску. Устами Шенье говорит сам Пушкин, слова, обращенные к Робеспьеру: «Падешь, тиран!», — в равной мере относятся и к Александру I. «Читал ты моего А. Шенье в темнице? — писал Пушкин Вяземскому в июле 1825 года. — Суди о нем, как езуит — по намерению» (XIII, 188). И потом, когда Александр I умер, Пушкин писал в письме к Плетневу: «Душа! я пророк, ей богу пророк!<sup>10</sup> Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына» (XIII, 249). Эта психологическая связь с французским поэтом образовалась, конечно, не сразу, а зародилась задолго — вероятно, еще тогда, когда Пушкин впервые услышал легенду о казненном поэте.

Выставлялся еще третий кандидат в «возвышенные галлы» — Руже де Лиль, автор «Марсельезы». Имя его было названо впервые С. Д. Полторацким в частном разговоре с М. Н. Лонгиновым в 50-х годах прошлого века.<sup>11</sup> Из записи М. Н. Лонгинова не ясно, впрочем, на каком основании и насколько серьезно С. Д. Полторацкий высказал свою догадку (которую М. Н. Лонгинов, как он сам признает, скоро забыл и вспомнил случайно). Незадолго до того, в 1848 году, «Марсельеза» вновь прозвучала на улицах Парижа. К 1849 году относится известная картина Пильса, изображавшая первое исполнение «Марсельезы» на вечере у генерала Дитриха в Страсбурге 26 апреля 1792 года. Руже де Лиль представлен был здесь во вдохновенной позе героя (картина сейчас в Лувре). Может быть, эта картина, много раз воспроизводившаяся на серебряных ларцах и других предметах, и послужила поводом для догадки С. Д. Полторацкого.

<sup>9</sup> Б. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 159.

<sup>10</sup> В том смысле, что предрек смерть Александра I.

<sup>11</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин и французская революционная ода (Экушар Лебрэн), стр. 29.

Догадка С. Д. Полторацкого, однако, ничем не подтверждается. У нас нет сведений о том, известна ли была вообще «Марсельеза» в России. Единственное упоминание о ней у Пушкина относится к 1830 году (XIV, 108), когда она вновь зазвучала на улицах Парижа. «Марсельеза» была размножена после первого ее исполнения в Страсбурге на вечере у генерала Дитриха 26 апреля 1792 года, и копии розданы были гостям. Первое печатное издание появилось там же, в Страсбурге, в типографии Диннбаха. Текст потом был перепечатан в газетах под разными заглавиями («*Chant de guerre de l'armée du Rhin*» и др.). Последнее издание вышло в 1795 году, и после этого «Марсельеза» исчезла из обращения. При Наполеоне она заменена была гимном «*Veillons au salut de l'Empire*». На короткое время «Марсельеза» воскресла в 1830 и 1848 годах и только в 1879 году была объявлена национальным гимном.<sup>12</sup>

«Марсельеза» — это военный марш, музыка, а не стихотворение и без музыки совсем не воспринимается. В содержании «Марсельезы» нет ничего общего с «Вольностью». И установка совсем другая. Это военно-патриотическая песнь, направленная против внешних врагов:

Allons, enfants de la patrie,  
Le jour de gloire est arrivé!  
Contre nous de la tyrannie  
L'étendard sanglant est levé.  
Entendez-vous dans les campagnes  
Mugir ces féroces soldats?  
Ils viennent jusque dans nos bras  
Egorger nos fils, nos compagnes!<sup>13</sup>

Что тут общего с мирной, чисто «внутренней» конституционной программой «Вольности»?

Совпадение одной словесной формулы: «*Tremblez, tyrans!*» («Трепещите, тираны!») — в четвертой строфе «Марсельезы») с четырнадцатым стихом «Вольности»: «Тираны мира! трепещите!» — ничего не доказывает, так как это общее место (и не только во французской революционной поэзии). Похожая формула имеется, кстати сказать, и у Шенье в его политической поэме «*Le Jeu de raime*», вышедшей в 1791 году отдельным изданием:

*Paricides, tremblez; tremblez, indignes rois!*<sup>14</sup>

Итак, нет необходимости связывать «возвышенного галла» ни с Экушаром Лебреном, ни с Руже де Лилем. Во-первых, по содержанию в «Вольности» нет никаких точек соприкосновения ни с «Марсельезой», ни с одами Лебрена. Во-вторых, отсутствуют какие бы то ни было указания на знакомство Пушкина в эту пору с «Марсельезой» или с Лебреном. Напротив, есть косвенные указания, что Пушкин в 1817 году не знал ни Руже де Лиля, ни революционных од Лебрена.

Между тем этого никак нельзя сказать относительно первого кандидата в «возвышенные галлы» — Андре Шенье. Тут не может быть никаких сомнений, что Пушкин знал о нем раньше, чем читал его сочинения, может быть еще в лице. Об этом свидетельствует прежде всего набросок конца 1824 года, где говорится: «Долго славу его составляло несколько слов,

<sup>12</sup> Окончательная редакция текста и музыки была установлена в 1887 году комиссией под председательством композитора Амбруаза Тома (1811—1896). (*Delfolie. La Marseillaise*. Paris, 1956).

<sup>13</sup> «Идем, дети отечества, день славы настал! Против нас поднято кровавое знамя тирании. Слышите ли рев свирепых солдат на полях? Они идут прямо на нас, чтобы перерезать горло нашим братьям, нашим товарищам».

<sup>14</sup> «Отцеубийцы, трепещите: трепещите, недостойные короли!» (A. Shénier, *Oeuvres complètes*, t. III. Paris, 1932, стр. 243).

сказанных о нем Шатобрианом, два или три отрывка и общее сожаление об утрате всего прочего» (XI, 35). Правда, это пересказ начальных строк биографической статьи Латуша в издании 1819 года, но с некоторыми вариациями, показывающими, что Пушкин говорит здесь и от себя: «слава» Шенье известна была ему с ранних пор. Пушкин в свое время читал «Génie du christianisme» («Дух христианства») Шатобриана (1802), где находилась довольно красноречивая справка о Шенье. Говоря о том, как мало преуспели французы в жанре пасторали, Шатобриан делает следующее замечание: «La révolution nous a enlevé un homme qui promettait un rare talent dans l'éclouge: c'était M. André Chénier. Nous avons vu de lui un recueil d'idylles manuscrites où l'on trouve des choses dignes de Théocrite. Cela explique le mot de cet infortuné jeune homme sur l'échafaud; il disait en se frappant le front: *Mourir! j'avais quelque chose là! C'était la Muse qui lui révélait son talent au moment de la mort*».<sup>15</sup>

Можно ли поверить, что Пушкин читал эти «несколько слов» без сильного сердечного движения? И неужели он не полюбопытствовал, за что именно была отрублена голова поэта, полная вдохновенных замыслов?

А узнать это было не так уж трудно — через А. П. Куницына, братьев Тургеневых или гусарских офицеров, вернувшихся из Франции. На всю Европу прошумела сенсационная газетная полемика двух родных братьев — старшего, Андре Шенье, и младшего, Мари Жозефа Шенье, известного драматурга, выступившего в защиту якобинцев (февраль—июнь 1792 года).<sup>16</sup> Эта полемика после казни Андре Шенье легла тяжелым укором на совесть Мари Жозефа Шенье, которого потом, после падения якобинцев, противники честили именем «le frère d'Abel» («брат Авеля», т. е. Каин — братоубийца). Поэт Козлов, прослушав пушкинское стихотворение об Андре Шенье, просил сообщить Пушкину, что «брату Шенье после, когда поднята была голова Андрея, подали безымянную записку „Каин! где брат твой Авель?“» (письмо П. А. Плетнева к Пушкину от 26 сентября 1825 года — XIII, 236). Если такие слухи (на самом деле ложные) дошли до слепого Козлова (в биографии Латуша этого не было, так как Латушу известна была невинность Мари Жозефа), то почему бы не мог слышать об этом и Пушкин гораздо раньше? На клевету эту отвечал Мари Жозеф Шенье в стихотворении «Discours sur la Calomnie» («Рассуждение о клевете», 1797):

Auprès d'André Chénier avant que de descendre,  
J'éleverai la tombe où maquera sa cendre,  
Mais où vivront du moins et son doux souvenir,  
Et sa gloire, et ses vers dictés pour l'avenir...  
O mon frère! Je veux, relisant tes écrits,  
Chanter l'hymne funèbre à tes mânes proscrits.  
Là souvent tu verras près de ton mausolée  
Tes frères gémissants, ta mère désolée,  
Quelques amis des arts, un peu d'ombre et des fleurs  
Et ton jeune laurier grandira sous mes pleurs.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> «Революция похитила у нас человека, который обещал редкий талант в эклоге, — это г. Андре Шенье. Мы видели сборник его рукописных идиаллий — в них находятся вещи, достойные Феокрита. Этим объясняется слово несчастного молодого человека на эшафоте. Он сказал, ударив себя по лбу: „Умереть! У меня здесь кое-что было!“. Это Муза открыла ему его талант в момент смерти» (Chateaubriand. Génie du christianisme nouvelle édition. Garnier frères éditeurs. Paris, 6. r., стр. 208).

<sup>16</sup> Андре Шенье печатал свои статьи в основанной им газете «Journal de Paris». Мари Жозеф Шенье отвечал в официальной газете «Moniteur».

<sup>17</sup> «Прежде чем лечь в могилу рядом с Андре Шенье, я воздвигну памятник, где не будет его праха, но где по крайней мере будут жить и сладостное воспоминание о нем, и его слава, и его стихи, продиктованные для будущего... О, мой брат! Я хочу, перечитывая твои писания, спеть погребальный гимн перед твоей оклеветанной

Неужели и это прошло мимо Пушкина? Ему можно было бы и не читать Шенье — достаточно было знать легенду о нем, чтобы в его воображении создался образ «благородного» и «смелого» певца свободы, погибшего в борьбе за то, что он почитал правдою.

Не стоит доискиваться, мог ли Пушкин, говоря о «гимнах», разуместь оды Лебрена, так как у Шенье был специальный раздел «гимнов» («hymnes») и среди них был один действительно «смелый», потому что стоил ему жизни. Это резко полемический «Hymne sur l'entrée triomphale des suisses de Chateavieux» («Гимн на триумфальное вступление швейцарцев из Шатоввё»), опубликованный Шенье в его газете «Journal de Paris» в апреле 1792 года и направленный прямо против Робеспьера и Колло д'Эрбуа, устроителей этого праздника (в честь швейцарских солдат, посланных за убийство офицера и возвращенных с галер):

Quarante meurtriers, chéris de Robespierre,  
Vont s'élever sur nos autels.  
Beaux arts qui faites vivre et la toie et la pierre,  
Hâtez-vous, rendez immortels  
Le grand Collot d'Herbois, ses clients helvétiques.<sup>18</sup>

Слова элегии 1825 года: «Ты презрел мощного злодея ... Твой стих свистал по их главам» и пр. — представляют собою явный намек на строки из «Гимна», которых, однако, не было в издании 1819 года (где напечатано только начало «Гимна» с заголовком «Ямб I»). Отсюда следует, что Пушкин знал «Гимн» по первопечатному тексту «Journal de Paris» 1792 года, или по рукописным источникам. По словам Габриэля де Шенье, племянника поэта, гимн этот получил известность и за пределами Франции.<sup>19</sup> Его должны были знать Куницын, братья Тургеневы, вернувшиеся из Парижа гусары и др.

Если допустить предположение, что Пушкин знакомился с одами Лебрена по имевшимся у передовых дворян комплектам революционных изданий, то отчего не допустить, что он таким же способом мог ознакомиться с напечатанными там же произведениями Шенье: одой «Le Jeu de raume» (1791), «Hymne» (1792) и рядом статей по политическим вопросам? Произведения Шенье должны были вызвать особый интерес, потому что его политические взгляды вполне соответствовали конституционным теориям Куницына, Н. И. Тургенева и других. Принципы «Вольности» полностью совпадают с принципами оды Шенье «Le Jeu de raume». И там, и тут в основе взятая у Монтескье идея закона, обязательного и для царей, и для народа:

Владыки! Вам венец и трон  
Дает Закон — а не природа;  
Стоите выше вы народа,  
Но вечный выше вас Закон.  
И горе, горе племенам,  
Где дремлет он неосторожно,  
Где иль народу, иль царям  
Законом властвовать возможно!  
(II, 46).

тенью... Там, у твоего мавзолея, ты будешь часто видеть вздыхающих братьев твоих, неутешную мать, несколько друзей искусства, немного тени и цветов — и твой юный лавр разрастется от моих слез (Oeuvres d'André et de M.-J. Chénier. Bruxelles, 1829, стр. 295).

<sup>18</sup> Oeuvres poétiques de André de Chénier par Gabriel Chénier, t. III, Paris, 1874, стр. 216. Перевод: «Сорок убийц, взлелеянных Робеспьером, готовятся взойти на наши алтари. Изящные искусства, оживляющие полотно и камень, спешите обессмертить Колло д'Эрбуа и его швейцарских прихвостней».

<sup>19</sup> Там же, t. I, Notice, стр. 71. Цитата из статьи Латуша в пушкинском наброске о Шенье слишком обща и не дает материала для данной тирады.

Точно так же и Шенье обращается сначала с грозным предостережением к «недостойным королям»:

Apprenez la justice: apprenez que vos droits  
Ne sont point votre vain caprice.  
Si votre sceptre impie ose frapper les lois;  
Parricides, tremblez; tremblez, indignes rois.  
La Liberté législatrice,  
La sainte Liberté, fille du sol français,  
Pour venger l'homme et punir les forfaits,  
Va parcourir la terre en arbitre suprême.  
Tremblez; ses yeux lancent l'éclair.<sup>20</sup>

С другой стороны, Шенье требует уважения к закону и от народа:

Peuple! ne croyons pas que tout nous soit permis...  
Peuple, la Liberté, d'un bras religieux,  
Garde l'immuable équilibre  
De tous les droits humains, tous émanés des cieux.<sup>21</sup>

Вполне согласуется с этим вся программа «Вольности», где «секира», отсекая голову Людовику XVI, называется «преступной»:

Восходит к смерти Людовик  
В виду безмольного потомства,  
Главой развенчанной приник  
К кровавой плахе *Вероломства*,  
*Молчит Закон* — народ молчит,  
Падет *преступная секира*...

И у Шенье, и у Пушкина один и тот же культ закона в духе Монтескье:

Лишь там над царскою главой  
Народов не легло страданье,  
Где крепко с *Вольностью святой*  
*Законов мощных* сочетанье.

(II, 46).

Таких совпадений в «Вольности» с одами Лебрена и «Марсельезой» отыскать нельзя. Мало того, «Вольность» по смыслу прямо противоречит Леброну: Лебрен воспевал казнь Людовика XVI, а Пушкин ее осуждает, как беззаконие. С другой стороны, мы не располагаем фактами, дающими ту уверенность в знакомстве Пушкина с Лебреном и «Марсельезой», какая имеется относительно Андре Шенье. Преимущество в этом случае явно на стороне Шенье, которого Пушкин не мог не знать в 1817 году.

В первом томе собрания сочинений Пушкина 1959 года, в примечаниях Т. Г. Цявловской, перечислены все догадки о личности «возвышенного галла»: «Кого из французских поэтов подразумевает здесь Пушкин, неясно: в литературе назывались имена Андрея Шенье, Руже де Лилия, Экушара Лебрена и др. Употребленная Пушкиным цитата из „Марсельезы“ («Тираны мира, трепещите!..») дает основание предполагать, что речь идет об авторе этого гимна Руже де Лиле».<sup>22</sup>

<sup>20</sup> «Учитесь справедливости, учитесь, что ваши права не есть ваш пустой каприз. Если ваш скипетр посмеет затронуть законы, трепещите, отцеубийцы, трепещите, недостойные короли! Законодательница свобода, святая свобода, дитя французской почвы, пройдет по всей земле, как высший судья, чтобы отомстить за человека и покарать преступления. Трепещите, глаза ее мечут молнии» (А. Chénier. Oeuvres complètes, t. III, стр. 243).

<sup>21</sup> «Народ! не будем воображать, что нам все позволено... Народ, свобода своей божественной рукой сохраняет в неподвижном равновесии все права человека, исходящие от неба» (А. Chénier. Oeuvres complètes, t. III, стр. 240, 241).

<sup>22</sup> А. С. Пушкин, Собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1959, стр. 562.

Я думаю, что пора, наконец, откинуть все эти недоразумения и вернуться к единственно верной, соответствующей духу времени кандидатуре Андре Шенье. «Возвышенным галлом», как это считали все прежние исследователи, мог быть только близкий Пушкину по взглядам и по духу Андре Шенье. Пушкин был человек своего времени, и не надо этого упускать из виду.

В пользу Шенье есть и фактические доказательства (слова Шато-бриана, устная легенда, дошедшая и до слепого Козлова), и психологические (интерес к судьбе казненного поэта), и исторические (политическая солидарность), а в пользу Экушара Лебрена и Руже де Лилия — доказательства никаких. Первый (Экушар Лебрен) мог быть известен Пушкину только с дурной стороны (если вообще был известен), а другой (Руже де Лиль) был неизвестен даже во Франции и умер в нищете в 30-х годах. Кроме того, его «Марсельеза» — военно-патриотический марш, не имеющий ничего общего с гражданским содержанием «Вольности». Обе гипотезы (об Экушаре Лебрене и Руже де Лиле) совершенно беспочвенны, представляют собой чисто произвольные домыслы, лишённые всякой мотивировки.

Против кандидатуры Андре Шенье высказывалось то соображение, что он, дескать, не революционный поэт, а «возвышенный галл» должен быть будто бы непременно поэтом революционным. Но в «Вольности» нет ни слова о революции. Речь идет о свободе личности и о законе, который обеспечивает эту свободу, а революция рассматривается только как печальное последствие нарушений царями векового закона:

Склонитесь первые главой  
Под сень надежную Закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

(II, 48).

С этой точки зрения защита конституционных принципов 1789 года против диктатуры Робеспьера и Колло д'Эрбуа могла казаться юному Пушкину весьма смелой и достаточно революционной. Мерки нашего времени к пушкинскому времени совершенно неприменимы. К террору и террористам Пушкин, как и все декабристы, относился резко отрицательно и, подобно Шенье, восхвалял Шарлотту Кордэ, как «деву-эвмениду», мстительницу за поруганную свободу:

Над трупом Вольности безглавой  
Палач уродливый возник. . .

(II, 174).

В 1817 году, как и потом в элегии 1825 года, Шенье представлялся Пушкину героическим защитником прав человека и истинной свободы. От модернизации пушкинских политических позиций необходимо решительно отказаться.





А. И. ГЕРБСТМАН

К ВОПРОСУ О ПРОПУСКЕ СТРОФ О ВОЕННЫХ  
ПОСЕЛЕНИЯХ В ГЛАВЕ «СТРАНСТВИЕ» РОМАНА  
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

1

Вскоре после возвращения из путешествия в Арзрум, осенью 1829 года, Пушкин начал писать восьмую главу романа «Евгений Онегин», в которой описывались странствия героя по России.

В VI томе «Полного собрания сочинений» Пушкина издания Академии наук СССР (1937), содержащем и рукописные тексты «Онегина», приведены два комплекса, относящихся к этой главе, установленных редактором тома Б. В. Томашевским в результате тщательной текстологической работы: во-первых, «Первоначальные черновые строфы путешествия Онегина (восьмой главы)» (стр. 473—492) и, во-вторых, «Сводные рукописи предполагавшейся главы осьмой» (стр. 493—606), представляющие собой, по существу, беловую рукопись главы.

«Первоначальные черновые строфы» содержат наброски двух или трех вступительных строф и строфу <5><sup>1</sup>, в которой идет речь о новых интересах Онегина, побудивших его отправиться в странствования по России. В следующих девяти строфах описывается значительная часть его путешествия: Новгород Великий — <6>; дорога до Москвы — <7>; Москва — <8>; Нижний Новгород и Макарьевская ярмарка — <9>; Волга, бурлаки, поющие песню о разинской вольнице, — <10> и начало <11>; Астрахань, путь на Кавказ — <11> и <12>; поездка Онегина по части Военно-Грузинской дороги — <12а> и <12б>; наброски строф <12в> и <12г> заняты авторским отступлением о Кавказе; далее идет сатирическое описание Горячих Вод (Пятигорска) — <13>; наброски строфы <15> посвящены переживаниям Онегина, его поездке в Крым; из следующих четырех строф две содержат авторское отступление о Крыме — <16> и <17>, две другие — рассуждения об изменении творческих интересов автора, его творческого метода — <18> и <19>. Десять строф авторского отступления, посвященного Одессе, были написаны еще в 1825 году и опубликованы в 1827. Поэт решил включить их в восьмую главу. Далее следуют авторское отступление о жизни в Одессе — <30>, первые четыре строки строфы, описывающей встречу автора с Онегиным в Одессе, — <31>, строфа о том, как автор и Онегин расстались, — <32>.

После строфы <5> стоит помета: «2 октября (VI, 476);<sup>2</sup> после строфы <11> имеется помета: «3 окт.». Можно попытаться уточнить даты работы

<sup>1</sup> Пушкин не дал нумерации строф в главе «Странствие». Номера строф, помещенные в угловых скобках, даны редактором и носят условный характер.

<sup>2</sup> Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI и справочный том, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949 и 1960.

Пушкина над восьмой главой, исходя из его пометы, сделанной в плане, написанном в Болдине 26 сентября 1830 года, содержащем распределение глав и частей романа, хронологию и топографию написания его глав, их наименования. Восьмую главу поэт назвал «Странствие», и мы будем в дальнейшем пользоваться этим выразительным термином. В отношении «Странствия» Пушкин сперва сделал помету: «Павл. Болд.», а затем, уточняя место и время работы над главой, вписал перед «Павл.» — «Моск.», после «Павл.» — «1829». Получилось: «Моск. Павл. 1829 Болд.» (VI, 532). Таким образом, явствует, что глава «Странствие» была начата в Москве 2 октября 1829 года, работа над ней продолжалась в Павловском (одном из имений Вульфов в Тверской губернии), завершена она была в Болдине, судя по помете, 18 сентября 1830 года (VI, 506).

Учитывая факты биографии поэта, можно в отношении черновой рукописи<sup>3</sup> главы «Странствие» прийти к следующим выводам. Находясь в Москве, Пушкин со 2 по 12 октября 1829 года написал часть черновой рукописи — строфы <1>—<11>, может быть, несколько больше. Он выехал из Москвы 12 октября и пробыл в Павловском до начала ноября (10 ноября, как можно судить по его ответу на грозное письмо Бенкендорфа относительно поездки в Арзрум, ожидавшее его с середины октября, он уже находился в Петербурге). В Павловском и была написана часть черновой рукописи до строфы <19> включительно. Однако в черновике строфы <18> вписаны верхом вниз по отношению к основному тексту первые четыре строки, сохранившиеся от строфы <31>. Можно полагать, что и черновики строфы <30> и начальных строк строфы <31> были также написаны в Павловском.

Этап обработки черновой рукописи отражен в белой рукописи главы. Пушкин обрабатывает четыре строфы вступления — <1>, <2>, <3>, <4>, строфу о переломе во взглядах Онегина и о стимулах его странствия — <5>; далее идут отработанные строфы <6>—<11>, содержащие описание поездки Онегина до предгорий Кавказа. В белой рукописи нет строф о поездке Онегина по Военно-Грузинской дороге — <12а> и <12б>, нет строф, содержащих авторское отступление о Кавказе — <12в> и <12г>; эти четыре строфы были в процессе обработки черновых набросков Пушкиным изъяты. Вместо них появилась одна строфа — <12>, содержащая описание кавказской природы, бытовые картины, образную историю покорения Кавказа. Строфы <13>, <15>—<19> представляют собой беловую разработку соответствующих черновых строф и набросков. (Строфа <14>, открывающая внутренний монолог Онегина, впервые появляется в белой рукописи). Далее Пушкин пометил строкой-сигналом место для десяти строф об Одессе, основательно переработал строфу с авторским отступлением о своей жизни в Одессе и о прибытии туда Онегина — <30>, уточнил первые четыре строки строфы <31>, в которых описывалась встреча автора с Онегиным, прервал эту строфу множеством тире и пометой из римских цифр. Три последние из известных нам строф белой рукописи — <32>—<34>, написанные на отдельных листках, скорее всего, и были созданы в знаменитую болдинскую осень 1830 года; предыдущая же часть белой рукописи — последовательно написанные на белом строфы вплоть до <31> — была завершена в первой половине декабря 1829 года. Об этом свидетельствует тот факт, что четыре страницы из белой рукописи — от «Блажен кто стар! блажен кто болен!» по «Онегин

<sup>3</sup> В настоящей статье «Первоначальные черновые строфы путешествия Онегина (восьмой главы)» именуются черновой рукописью, «Сводные рукописи предполагавшейся главы восьмой» — белой рукописью.

вспомнил обо мне», — содержащие строфы <15>—<19>, Пушкин отправил в первой половине декабря 1829 года О. М. Сомову, помощнику А. А. Дельвига по «Литературной газете», для опубликования. При этом Пушкин зачеркнул строфу <15>, как не предназначенную для печати вследствие ее логической оторванности от последующих четырех строф, и сделал на полях приписку: «Отрывок из *Евг. Онегина*, глава VIII. Пришлите мне назад листик этот» (XIV, 53).

В ряде списков произведений, планов изданий, написанных Пушкиным в 1830—1831 годах, глава «Странствие» фигурирует как самостоятельная восьмая глава романа.<sup>4</sup> В проекте предисловия к восьмой и девятой главам, написанном в Болдине 28 ноября 1830 года, поэт сообщает: «Вот еще две главы Евгения Онегина — последние по крайней мере для печати... Осьмую главу я хотел было вовсе уничтожить и заменить одной римской цифрой, но побоялся критики» (VI, 541). Решив в конце 1831 года изъять главу «Странствие» из состава романа и выпуская в свет девятую главу как «осьмую и последнюю», поэт писал в «Предисловии»:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чисто-сердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками и цифром; но во избежание сомбазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина» (VI, 642).

Публикуя в полном издании «Евгения Онегина» (1833) в качестве приложения «Отрывки из путешествия Онегина», поэт предпослал этим отрывкам то же предисловие, добавив к нему ряд замечаний, в том числе и следующее: «Автор... решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики» (VI, 197).

В чем заключались эти важные для автора причины, выяснилось лишь более столетия спустя.

Сохранившийся рукописный текст главы «Странствие», включая авторское отступление об Одессе, состоит из тридцати трех полных онегинских строф и одной неполной (<31>), в то время как глава романа в среднем содержит сорок пять—сорок шесть строф: «Странствию» явно не хватало около десятка строф.<sup>5</sup>

В 1940 году стало известно, что причины, в силу которых Пушкину пришлось изъять из состава романа главу «Странствие», и то, что рукописный текст главы, дошедший до нас, «потерял» некоторое количество строф, связаны одно с другим. Раскрытие этих загадочных до тех пор обстоятельств представляет собою одну из замечательных страниц советского пушкиноведения, которую можно поставить в один ряд с расшифровкой, сделанной в 1910 году П. О. Морозовым, пушкинской тайнописи, содержавшей отрывки десятой, декабристской, главы «Евгения Онегина».<sup>6</sup>

## 2

В 1940 году в журнале «Литературный критик» появилась статья П. А. Попова «Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина». В этой статье автор сообщил о том, что ему удалось обнаружить одно из

<sup>4</sup> См.: Рукою Пушкина. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 246, 248, 252, 255.

<sup>5</sup> В самой длинной главе «Евгения Онегина», первой, — пятьдесят четыре строфы; в самой короткой, второй, — сорок строф.

<sup>6</sup> См.: П. О. Морозов. Шифрованное стихотворение Пушкина. «Пушкин и его современники», вып. XIII, СПб., 1910, стр. 1—12 и 4 листа фотокопий.

писем П. А. Катенина к Анненкову в архиве известного библиофила и библиографа прошлого столетия С. Д. Полторацкого. Письмо сохранилось в копии, сделанной рукой самого Полторацкого непосредственно с подлинника, предоставленного ему адресатом. На отдельном (первом, «титულном») листе С. Д. Полторацкий записал: «(Дал слово Анненкову никому не давать списывать этого письма. 14 мая 1853 г.)». Дата свидетельствует, что копия была сделана Полторацким в ближайшие же дни по получении адресатом письма, датированного Катениным 24 апреля того же года и, следовательно, написанного всего лишь за месяц до его смерти (Катенин умер 23 мая 1853 года)<sup>7</sup> и, добавим, год спустя после того, как Катенин написал, по просьбе П. В. Анненкова, воспоминания о Пушкине.<sup>8</sup>

Самое существенное в этом письме заключалось в том, что в нем Катенин поделился с Анненковым совершенно секретными по условиям времени — это были последние годы царствования Николая I, эпоха самой оголтелой реакции — сведениями, полученными им от самого Пушкина во время их встречи в середине 1832 года. Катенин писал Анненкову:

«Об осьмой главе *Онегина* слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской Пристаней, Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению, и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую, и как бы оскудевшую».<sup>9</sup>

Из контекста не ясно, слушал ли Катенин строфы о военных поселениях в главе «Странствие» в чтении Пушкина или же поэт рассказал своему другу о них, не приводя цитат.

Публикатор письма Катенина к Анненкову уверенно определил, где именно находились в рукописи изъятые из нее строфы о военных поселениях, виденных Онегиным во время его странствий по России. П. А. Попов писал:

«Обратимся к маршруту путешествия *Онегина*, который выезжает из Петербурга:

Он собрался — и слава богу.  
Июня третьего числа  
Коляска легкая в дорогу  
Его по почте понесла.  
Среди равнины полудикой  
Он видит Новгород-великой.  
Смирились площади — средь них  
Мятежный колокол утих,  
Но бродят тени великанов:  
Завоеватель Скандинав,  
Законодатель Ярослав  
С четою грозных Иоаннов  
И вокруг поникнувших церквей  
Кипит народ минувших дней.<sup>10</sup>

«Именно с этим *первым*, из указанных автором, пунктом путешествия были связаны впечатления *Онегина* от военных поселений. Новгородские военные поселения находились у широкого почтового тракта из Петер-

<sup>7</sup> «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 231.

<sup>8</sup> «Литературное наследство», кн. 16—18, М., 1934, стр. 635—643. В своих воспоминаниях Катенин сообщает о том, что он беседовал с Пушкиным во время встречи с ним в июле 1832 года о главе «Странствие» (стр. 639).

<sup>9</sup> «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 231.

<sup>10</sup> П. А. Попов цитирует выдержки из главы «Странствие» без соблюдения орфографии и пунктуации подлинника, воспроизведенных в IV томе академического издания.

бурга в Москву, и автор романа, не один раз проезжавший этим трактом, хорошо их знал.

«Следовательно, именно за этой, только что цитированной здесь строфой, являющейся одной из начальных строф главы, должны были следовать и описание виденных Онегиным военных поселений и относящиеся к ним замечания, суждения, выражения, разумеется, не столько героя романа, сколько его автора».<sup>11</sup>

Это столь категорическое определение местонахождений изъятых из главы «Странствие» строф о военных поселениях не только не встретило никаких возражений, но и не вызвало ни малейших сомнений в его достоверности — вопрос об иных возможностях определения места, где находились изъятые Пушкиным строфы, донныне так и не был поставлен. А между тем П. А. Попов не привел никаких доказательств, которые могли бы подкрепить выдвинутую им гипотезу, в своей безапелляционности вызывающую все же весьма значительные сомнения.

Прежде всего следует установить, где именно мог видеть Онегин на пути своих странствий по России военные поселения.

Основная, первая, линия военных поселений проходила от Петербурга через Новгород Великий и Старую Руссу на севере до района Херсона на юге; в белой рукописи главы «Странствие» путь Онегина охарактеризован следующими географическими вехами: Петербург—Новгород Великий—Валдай—Торжок—Тверь—Москва—Нижний Новгород и Макарьев—Волга—Астрахань—Кавказ, район, где «Терек своенравный крутые роет берега» (VI, 499), — Горячие Воды—Кубанские равнины—Тамань—Одесса.

П. А. Попов в примечании пишет: «Следует отметить, что Пушкин вообще посылает путешествовать своего героя по тем местам, в которых был он сам во время своих вынужденных скитаний».<sup>12</sup> Действительно, значительная часть странствий Онегина, за исключением его поездки по Волге до Астрахани и оттуда на Кавказ, в основном совпадает с разновременными разъездами самого поэта. В частности, можно полагать, что из Крыма в Одессу Онегин ехал тем же путем, что и Пушкин в середине сентября 1820 года.

Скитаясь в той же стороне,  
Онегин вспомнил обо мне.

(VI, 504).

Онегин мог проехать из Крыма в Одессу по пути Перекоп—Берислав—Херсон—Николаев. В этих местах также находились крупные военные поселения, известные Пушкину не только по виду с почтового тракта, но и по выезду в этот район на борьбу с саранчой в 1824 году.<sup>13</sup> Очевидно, Онегин во время своего путешествия мог видеть военные поселения не только на севере, по пути из Петербурга в Москву, в районе Новгорода Великого, но и на юге, по пути из Крыма в Одессу, в районе Херсона. Следует иметь в виду, однако, что вопрос о том, где герой романа мог видеть военные поселения, не идентичен вопросу, когда он должен был,

<sup>11</sup> «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 240—241.

<sup>12</sup> Там же, стр. 240.

<sup>13</sup> Известно, что по приказу М. С. Воронцова основная тяжесть по борьбе с саранчой ложилась на военнопоселенцев. М. С. Воронцов в своих мемуарах пишет, что работа по уничтожению саранчи «возможна только там, где имеется много жителей или расположены по соседству войска военного поселения» (Архив князя Воронцова, кн. 37, М., 1891, стр. 74; см. также: Г. П. Сербский. Дело о саранче. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. II, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 284—285).

по замыслу поэта, осознать их сущность в такой мере, что в тексте могли появиться «замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнаружения».

Гипотеза, выдвинутая П. А. Поповым, вызывает целый ряд серьезных возражений.

## 3

П. А. Попов, приведя строфу о Новгороде Великом, после которой, по его мнению, «должны были следовать и описание виденных Онегиным военных поселений и относящиеся к ним замечания, суждения, выражения», полагает, что «только потом ... должна была, по-видимому, идти известная строфа, начинающаяся строчками:

Тоска, тоска! спешит Евгений  
Скорее далее: теперь  
Мелькают мельком, будто тени,  
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь».<sup>14</sup>

Комментатор ценнейшего материала, содержащегося в письме Катенина, мог прийти к подобному выводу лишь в силу того, что он не только не был знаком с соответствующими местами пушкинских рукописей, но и не уделил должного внимания их публикации в VI томе, полностью посвященном роману «Евгений Онегин», вышедшем в свет за три года до находки письма Катенина. Дело в том, что в публикации пушкинских рукописей в «онегинском» томе перед каждой строфой указывается ее место в рукописи: строфа <6> (от «Он собрался — и слава богу» по «Кипит народ минувших дней») написана на листе 4 и в начале его оборотной стороны; строфа <7> (от «Тоска, тоска! спешит Евгений» по «По гордым Волжским берегам») занимает остальную часть оборотной стороны листа 4 и переходит (от «Он скачет сонный — Кони мчатся» по «В Москве проснулся на Тверской») на лист 5. Это в точности воспроизводит картину, открывающуюся глазам исследователя, если он обратится к соответствующему месту рукописи главы «Странствие».<sup>15</sup>

В пространстве между окончанием строфы <6> и началом строфы <7> находится только знак раздела; здесь нет ни места даже для самой минимальной вставки, ни намека на изъятие не то что строфы, а хотя бы только стоки. А ведь количество изъятых строф, судя по письму Катенина, было немалым. То же самое можно обнаружить и в черновой рукописи (VI, 477). Палеография рукописей «Странствия» опровергает гипотезу о нахождении пропуска строф о военных поселениях в начале главы.

Обратимся к вопросам проблематики.

Во всем рукописном наследии, относящемся к той части восьмой главы, где речь идет о Новгороде Великом, нет ни намека на что-либо, что имело бы хоть самое отдаленное касательство к военным поселениям. Проблематика этой части связана исключительно с историческим прошлым. Больше того, в процессе работы над беловой рукописью Пушкин не расширяет, а значительно сужает историческую проблематику. И если в более широкой по проблематике черновой рукописи нет ни звука о военных поселениях, то тем более нельзя надеяться найти что-либо, относящееся к ним, в беловой.

<sup>14</sup> «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 240—241.

<sup>15</sup> П. А. Попов цитирует беловую рукопись (VI, 496).

Для того чтобы убедиться в том, насколько существенно поэт сужает историческую проблематику в описании Новгорода Великого, достаточно сравнить соответствующие места в обеих рукописях.

## Черновая рукопись

&lt;6&gt;

... Среди равнины полудикой  
Он видит Новгород великой  
Смирились площади — среди них <sup>1</sup>  
Но тени <sup>2</sup> древних Вел<иканов>  
[Пришлец] могучий Скандинав <sup>3</sup>  
Законодатель Ярослав <sup>4</sup>  
С четою грозных Иоан<нов> <sup>5</sup>  
И вокруг поникнувших царей  
Кипит народ минувших дней.

&lt;7&gt;

Тоска, тоска — спешит Евгений  
Скорее далее — теперь —  
Мелькают как пустые тени  
Пред ним Валдай — Торжок и Тверь

(VI, 476—477).

## Беловая рукопись

&lt;6&gt;

... Среди равнины полудикой  
Он видит Новгород-великой  
Смирились площади — среди них  
Мятежный колокол утих,  
Но бродят тени великанов,  
Завоеватель скандинав,  
Законодатель Ярослав  
С четою грозных Иоаннов  
И вокруг поникнувших церквей  
Кипит народ минувших дней.

&lt;7&gt;

Тоска, тоска! спешит Евгений  
Скорее далее: теперь  
Мелькают мельком будто тени  
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.

(VI, 496).

- <sup>1</sup> а. И древни Волхова брега  
г. Кругом его монастыри
- <sup>2</sup> а. И Волхов бьет — вот народный  
б. Вот Волхов — с мостами  
в. Вокруг его — роковые  
д. Мятежный <?> Во<лхов>  
з. Предвестьем воскре<сений>  
и. Вадима спор <?>
- л. Народ не внемлет Ярославу
- <sup>3</sup> И Рюрик дерзкий <?> Скандинав
- <sup>4</sup> И грозный царь! И
- <sup>5</sup> б. И Шуйский —

В беловой рукописи отпали: «древни Волхова брега», «Кругом его монастыри», «Волхов — с мостами», «Мятежный Во<лхов>», «Предвестьем воскре<сений>», «Вадима спор <?>», «Народ не внемлет Ярославу», «И Шуйский» и др. Очевидно, что в черновой рукописи проблематика, связанная с историческим прошлым Новгорода — с новгородской вольницей, народоправием, борьбой новгородцев за свою свободу, с народным героем Вадимом, с кровавой расправой над новгородцами, учиненной русскими царями, — была значительно шире, чем в беловой, однако при всей своей широте не выходила за строго очерченные пределы истории, ни в какой мере не касалась современности

Темп поездки Онегина на пути от Петербурга до Москвы изображен столь быстрым и стремительным, что вряд ли можно заподозрить поэта в намерении включить в круг первых восприятий героя что-либо сверх изображенного в беловой рукописи. Возможно, что этим соображением определяется и отмеченное нами сужение проблематики. Эту быстроту и стремительность поэт подчеркивает на протяжении строф <6> и <7> всеми средствами: «Коляска легкая ... его понесла ... спешит Евгений скорее далее: теперь мелькают мельком будто тени пред ним Валдай, Торжок и Тверь» (VI, 496).<sup>16</sup> Поэта не удовлетворило «Мелькают как пустые тени», и он усиливает впечатление быстроты и стремительности повторением

<sup>16</sup> Здесь и ниже курсив мой. — А. Г.

«мелькают мельком». Локальные наречия «здесь», «здесь», «там» с той же целью заменяются более организованным рядом — «тут», «здесь», «там». От Петербурга до Москвы Онегин «спешит», «мчится», «скачет», не реагируя на явления окружающей его действительности: в черновой рукописи — «Он мчится сонный», «Евгений мой в Москве очнулся»; в белой — «Он скачет сонный», «Евгений мой в Москве проснулся» (VI, 477, 478, 497). Где уж тут было попасть в поле его зрения, восприятия и понимания военным поселениям?

Для того чтобы установить, когда и где в главе «Странствие» герой мог не только видеть, созерцать, но и понять и оценить по существу военные поселения, нужно проследить эволюцию его сознания, с поразительной тонкостью и глубиной раскрытую Пушкиным на фоне путешествия по России.

Сперва стремления Онегина носят весьма неопределенный характер, он еще не думает о путешествии по России:

Онегин — . . . . .  
Убив на поединке друга,  
Дожив без цели и трудов  
До 26 годов —  
Томясь в объѣтиях досуга  
Без службы, без жены, без дел  
Быть чем-нибудь давно хотел.

(VI, 495).

Последняя строка, сама по себе примечательная в отношении к человеку, который и социальные мероприятия в своем поместье осуществляет, «чтоб только время проводить» (VI, 32), имела выразительные варианты: «Заняться чем-то захотел», «Переродиться захотел», «Преобразиться захотел» (VI, 495).

И вот в нем обнаруживается первый проблеск интереса к родине, к России. Поэт говорит о поверхностности зачатков чувства патриотизма в сознании своего героя с явной иронией:

Проснулся раз он патриотом. . .  
Россия, господа, мгновенно  
Ему понравилась отменно  
И решено. Уж он влюблен,  
Уж Русью только бредит он,  
Уж он Европу ненавидит  
С ее политикой сухой,  
С ее развратной суетой.

(VI, 495. 496).

Однако и это зачаточное чувство патриотизма, способное вызвать пока что лишь ироническую улыбку, стимулирует путешествие Онегина по России, во время которого весь его внутренний мир, его сознание и чувства придут в движение, будут развиваться и изменяться:

Онегин едет; он увидит  
Святую Русь. . .<sup>17</sup>

(VI, 496).

Первые впечатления поездки — историческое прошлое Новгорода Великого, беглые явления действительности: привязчивые крестьянки Валдая, покупка туфель в Торжке, гордые берега Волги. Большим планом

<sup>17</sup> То обстоятельство, что на Онегина нападает охота странствовать, идет в разрез с патриархально-крепостническим укладом жизни тогдашней России. «Охоту к перемене мест», овладевшую героем романа, поэт впоследствии охарактеризует как «весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест» (VI, 170).



современность попадает в сферу восприятия Онегина только тогда, когда он «в Москве проснулся на Тверской» (VI, 497).

Герой и в самом деле пробуждается. Начиная с этого момента, поэт вносит в эволюцию сознания своего героя два фактора: критическое отношение к господствующей действительности в лице московской аристократии, позволяющее ему не только слышать и видеть окружающее, но и размышлять о нем — «Безмолвно в думу погружен» (VI, 497), и элемент сознательности в выборе маршрута путешествия — «Он в Нижний хочет» (VI, 498). Сознательный выбор маршрута путешествия обусловлен углублением и ростом патриотических интересов Онегина: «Он в Нижний хочет В отчизну Минина» (VI, 498). В черновой рукописи патриотический стимул выбора пути отсутствовал:

Тоска, тоска — он [дале] хочет  
Он скачет — Нижний перед ним. . .  
(VI, 479).

Сравнение текстов двух рукописей показывает, как поэт углубляет изображение перестройки сознания своего героя.

Если на смену неопределенным стремлениям пришел интерес к конкретным фактам истории, если от восприятия исторического прошлого герой обратился к современной действительности, то с приездом в Нижний наступает новый этап эволюции его сознания, происходящей под воздействием понимания контрастов исторического прошлого и современности, их непримиримой противоположности: чаемая «отчизна Минина» на деле оказывается проникнутой «меркантильным духом» Макарьевской ярмарки (VI, 498); там, где гуляла разинская вольница, глазам Онегина открывается во всей своей неприглядности «торговый Астрахань» (VI, 499).

Строки, посвященные Степану Разину, заслуживают самого пристального внимания. «Наяв купеческое судно», Онегин плывет вниз по Волге. Он вслушивается в песню, которую, «опершись на багры стальные, унывым голосом поют» бурлаки, песня эта возбуждает в нем «воспомянья прошлых дней» (VII, 498). А поют бурлаки

Про тот разбойничий приют,<sup>18</sup>  
Про те разезды удалые,  
Как Ст(енька) Раз(ин) в старину  
Кровавил Волжскую волну,  
Поют про тех гостей незваных  
Что жгли да резали. . .

Путешествие по России неизмеримо расширило и обогатило круг интересов Онегина, возможности понимания судеб России: с одной стороны, усиливается его критическое отношение к господствующей действительности — к измелчавшей московской аристократии, к меркантильному духу Макарьева, к торговой Астрахани; с другой — возрастает внимание ко всему, что связано с народом и народным движением, — к новгородской вольнице, к всенародной борьбе под водительством Минина против иноземных захватчиков, к восстанию Степана Разина, и если речь идет о разбойничьем приюте последнего, то замена «тот» на «свой» могла бы отнести этот разбойничий приют к поющим грозную песню о Разине бурлакам. В процессе странствий по России интересы героя в какой-то мере демократизируются.

В контрастных противопоставлениях величественной, свободной природы Кавказа и «водяного общества» — аристократического сброда, леча-

<sup>18</sup> Вариант: «Про свой разбойничий приют».

щегося на Горячих Водах, пушкинская сатира и неприятие господствующей действительности Онегиным достигают своей вершины и почти сливаются, как бы подготавливая предстоящую встречу «автора» и его героя.

Крым в восприятии Онегина овеян образами истинной дружбы, всегда готовой к самопожертвованию, образами носителей высокого чувства патриотизма — «гордого Митридата» и «изгнанника вдохновенного» (Мицкевича) (VI, 501).

На всем пути странствия Онегина по России — от Петербурга до Крыма — ни слова о военных поселениях, ни намек на них. Ясно, что если герой в самом начале своих странствий сквозь дремоту, сквозь сон и видел что-то, мчась мимо Новгорода Великого, то увиденное в памяти не сохранилось.

Основная часть путешествия Онегина уже позади, из Крыма он направляется в Одессу, где он встретится с «автором» и «новоизбранными друзьями» последнего, которые окажутся друзьями и самого героя:

Спустя три года вслед за мною  
Скитаясь в той же стороне,  
Онегин вспомнил обо мне.<sup>19</sup>

(VI, 504).

П. В. Анненков пишет: «Пушкин знал Онегина еще в Петербурге ... Вторая встреча, после довольно долгой разлуки, вероятно, много изменила взгляд историка на главное действующее лицо романа и на нравственную физиономию его».<sup>20</sup>

Анненков отчетливо сознавал, насколько Онегин нравственно переродился после длительных странствий по России, к моменту новой встречи с «автором» в Одессе. После Волги, Кавказа и Крыма Онегин достаточно изменился, чтобы быть в состоянии не только созерцать военные поселения, но и осознать их сущность. Логика развития образа героя говорит о том, что это могло произойти в самом конце странствий Онегина, когда в его сознании определились весьма существенные сдвиги и изменения, и явиться как бы завершением сложного процесса перестройки его взглядов, интересов, чувств.

По возвращении Онегина из странствий в столицу происходит его новая встреча с Татьяной. «...страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа», — пишет Белинский.<sup>21</sup> Воспитание чувств Онегина, преодолевающего сонное безразличие, научающегося размышлять об увиденном, оценивать его, эмоционально на него реагировать, трагически переживать его, — только такое воспитание чувств, явившееся результатом больших, социально насыщенных впечатлений, могло открыть сердце героя для «страсти сильной и глубокой», сделать его доступным большому, искреннему чувству. Вместе с тем глава «Странствие», по замыслу поэта, дозревшему во время похода к Арзруму, должна была обосновать поворот главного действующего лица к декабризму активному: поэт провел его по этапам Петербург—Новгород Великий—Москва—Нижний—Волга—Кавказ—Крым и показал окончательное его социально-политическое перевоспитание, перерождение в строфах, рисующих широкую картину военных поселений и встречу с «новоизбранными друзьями»

<sup>19</sup> Эти строки в белой рукописи главы «Странствие», как и строфа <15>, зачеркнуты только потому, что они находились на листке, poslanном для опубликования в «Литературной газете», и для печати не предназначались.

<sup>20</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин и н. Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 339.

<sup>21</sup> В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 463.

(VI, 504) в столице Новороссии. Пушкина, участника тайных собраний руководящей верхушки Союза благоденствия, члена «Зеленой лампы», друга Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова, В. Ф. Раевского и многих других руководителей декабристского движения, не могла не волновать до глубины души участь крепостного крестьянства, и в особенности той его значительной части, которая была обречена на мучения и вымирание в условиях военных поселений. Поэт откликнулся на восстание чугуевских военных поселений в середине 1819 года, зверски подавленное самим Аракчеевым, эпиграммой на кровавого временщика, призывавшей к его физическому уничтожению. Когда вскоре его друг П. Б. Мансуров, также участник «Зеленой лампы», этой «побочной управы» Союза благоденствия, отправился в район новгородских военных поселений, Пушкин, видимо находясь еще под впечатлением чугуевских событий, в письме от 27 октября 1819 года просил его: «Поговори мне . . . о военных поселениях. Это все мне нужно — потому что я . . . ненавижу деспотизм» (XIII, 11). Немного времени спустя Пушкин, по пути из Крыма в Одессу, и впоследствии, во время разъездов по Новороссии, мог в достаточной мере познакомиться с тем, что представляли собой южные военные поселения. Что касается руководителей декабристского движения, то они уделяли военным поселениям исключительное внимание. В большинстве работ деятелей декабризма имеются категорические требования немедленного уничтожения военных поселений. Мы читаем о них в «Записках» И. Д. Якушкина, в автобиографическом очерке Г. С. Батенькова «Развитие свободных идей», в «Записках» М. А. Фонвизина, в проекте манифеста С. П. Трубецкого, в программе Союза благоденствия, имеющейся в «Записках» А. М. Муравьева, в проекте конституции Никиты Муравьева, в работах М. С. Лунина, в агитационных песнях Рылеева и Бестужева. Исключительно сильно звучит голос П. И. Пестеля в его замечательной «Русской правде»:

«Одна мысль о военных поселениях, прежним правительством заводимых, наполняет каждую благомыслящую душу терзанием и ужасом. Сколько пало невинных жертв для пресыщения того неслыханного зла, которое с яростью мучило несчастные селения, для сего заведения отданные. . . одна из первейших обязанностей временного Верховного правления состоит в уничтожении военных поселений и в освобождении от ужасного сего ига всех селений, ныне к оным принадлежащих».<sup>22</sup> Из показаний Пестеля явствует, что руководитель Южного общества поручил одному из его членов, В. Н. Лихареву, — о котором в «Алфавите декабристов» сказано, что «он сочинил взгляд на военные поселения в духе Общества»,<sup>23</sup> — «составить записку о всех замечательных происшествиях, случившихся в военных поселениях Харьковской и Херсонской губерний».<sup>24</sup>

Путь Онегина из Крыма в Одессу скрещивался с военными поселениями в районе Херсона.

#### 4

Характер рукописи главы «Странствие», ее проблематика, метод раскрытия в ней образа героя — все говорит в пользу новой гипотезы о месте пропуска, согласно которой строфы о военных поселениях должны относиться к завершительной части путешествия Онегина и, следовательно, находиться не в начале, а в финальной части главы.

<sup>22</sup> П. И. Пестель. Русская правда. Изд. «Культура», СПб., 1906, стр. 75, 78.

<sup>23</sup> Восстание декабристов, т. VIII. ГИЗ, Л., 1925, стр. 115.

<sup>24</sup> Там же, т. IV, 1927, стр. 168, ср. стр. 149.

И так в дни моего счастья  
~~счаст~~ ~~новобранцев~~ ~~друзей~~  
 Вспомни ~~счастливых~~ ~~друзей~~  
 Твоих ~~друзей~~ ~~друзей~~ —  
 Вспомни ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 Не давай ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 А ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 Не переживай ~~друзей~~  
 Не вступай — ~~друзей~~ ~~друзей~~,  
 Вспомни, ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 Когда ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~!  
 Не переживай ~~друзей~~ ~~друзей~~ —  
~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~!  
 Маши ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~!  
  
~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~!!!  
 Вспомни ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 Как ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~  
 Мне ~~друзей~~ ~~друзей~~ ~~друзей~~ —  
 — — —  
 — — —  
 — — — XV ~~друзей~~ —

«Странствие». Беловой автограф строф <30> и <31>.

Попытаемся установить возможно точнее то место, где находился пропуск строф, упомянутый П. А. Катениным.

П. В. Анненков на тех страницах своего труда, которые были посвящены главе «Странствие» и написаны эзоповским языком, пишет, опираясь на секретные сведения, предоставленные ему Катениным: «По некоторым признакам мы полагаем..., что собственно отдельного описания „Странствий Онегина“ в полном, оконченном виде не существовало...»

И так я жил тогда в Одессе...

«После этого стиха начиналось у него описание встречи с Онегиным. Нельзя не пожалеть о потере этого описания».<sup>25</sup>

«Некоторые признаки» — это письмо Катенина о пропуске строф в «Странствии», это и сама рукопись, несомненно тщательно изученная Анненковым после получения письма. Ему была известна строфа, начинавшаяся процитированной строкой, и следующие четыре строки (строфы) <30> и <31>. Он знал, что «потеря описания» встречи «автора» со своим героем относилась к тексту рукописи, следовавшему за четырьмя сохранившимися строками строфы <31>.

П. В. Анненков не только относит пропуск строф к концу главы «Странствие», к тому месту, где описывается встреча Онегина и «автора», но и довольно точно определяет это место.

Обратим внимание на строфы, условно обозначенные как <30> и <31>, в которых и говорится о прибытии Онегина в Одессу.

По сравнению с черновой рукописью строфа <30> подвергалась существенной переработке. Сравним оба текста:

Черновая рукопись

И так я жил <тогда в Одессе>  
 <Не> помнил <о> [потере] дней<sup>1</sup>  
 [Забыв] о пасмур<ном> повесе  
 Герое повести моей<sup>2</sup>  
 Онегин предо мною  
 Не хвастал дружбой почт<овою>  
 А я [ленивый] человек<sup>3</sup>  
 Не мог вести во весь свой век  
 Я переписки постоянной  
 И ссоре даже рад иной  
 Дабы избавиться порой  
 От этой пытки непрерывной  
 Тому причина право лень  
 Почтовый день — мой черный день —

(VI, 491).

Беловая рукопись

Итак я жил тогда в Одессе  
 Средь новизбранных друзей  
 Забыв о сумрачном повесе  
 Герое повести моей —  
 Онег<ин> никогда со мною<sup>1</sup>  
 Не хвастал дружбой почтовою  
 А я счастливый человек<sup>2</sup>  
 Не переписывался ввек  
 Ни с кем — Каким же изумленным,  
 Судите, был я поражен  
 Когда ко мне явился он!  
 Неприглашенным привиденьем —  
 Как громко ахнули друзья  
 И как обрадовался я! —

(VI, 504).

<sup>1</sup> а. Забыв среди дру<зей>

<sup>2</sup> О друге юности моей

<sup>3</sup> А я довольный <?> человек.

<sup>1</sup> Онегин никогда пред мною

<sup>2</sup> А я ленивый человек<sup>26</sup>

Переработке подверглись вторая строка и последние шесть строк. В черновой рукописи автор говорит преимущественно о себе самом, об отрицательном отношении к переписке.<sup>27</sup> Зачеркнутое «Забыв среди дру<»

<sup>25</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 338—339.

<sup>26</sup> В беловой рукописи главы «Странствие» на поле справа против строки «А я счастливый человек» имеется еще один, четвертый, эпитет — «свободной» («А я свободной человек»), не учтенный как вариант к этой строке (VI, 504) (см. фотокопию 2). Поэт зачеркнул эпитеты «довольный» и «ленивый» и сохранил «счастливый» и «свободной».

<sup>27</sup> Не следует забывать, что отрицательное отношение к переписке характеризует «автора», понимаемого как художественный образ, выполняющий в романе весьма сложные функции, но ни в какой мере не является автобиографической чертой, присущей самому поэту.

зей» в беловой рукописи раскрывается в «Средь новоизбранных друзей»; существенное место наряду с «автором» занимает и герой романа: автор изображает себя в окружении «новоизбранных друзей», и в этот круг своих давних знакомцев (иначе нельзя истолковать выражения: «Как громко ахнули друзья», когда Онегин прибыл в Одессу) и попадает Евгений.

Выше отмечалось, что следующая, <31> строфа обрывается после четвертой строки: черновой набросок этих четырех строк был сделан поэтом верхом вниз по отношению к основному тексту среди черновики строф об эволюции его творческого метода. В беловой рукописи имеются только эти же четыре строки.

Не думал ли поэт с этого места начать зашифровку, подобно тому как он несколько позднее поступил с начальными четверостишиями строф десятой главы?

Обратимся к беловой рукописи строф <30> и <31>.

Прервав строфу, в которой шла речь о взаимопонимании единомышленников, «автора» и героя, на четвертой строке, Пушкин написал три строки крупных тире — четыре, три и три тире, всего десять, и к последней строке, состоящей из трех тире, прибавил небрежно набросанные римские цифры. Из римских цифр «XV XXIV» <?> «XV» и «XX» написаны довольно отчетливо; далее неотчетливое «IV»<sup>28</sup> и волнистая линия, после обрыва которой поставлено четкое, решительное тире. Известно, что повторение тире и волнистая линия нередко являются у Пушкина условным обозначением пропуска, изъятия части текста.

Наша гипотеза, конкретизирующая намеки, имеющиеся у П. В. Анненкова, заключается в том, что эти тире, римские цифры и волнистая линия и представляют собою помету, которой Пушкин обозначил пропуск строф, упомянутый в письме П. А. Катенина: помета указывает не только место пропуска, но и количество изъятых строф — сумма тире совпадает с разностью римских цифр «XV XXIV» — десять.<sup>29</sup>

П. А. Катенин сообщал П. В. Анненкову, что изъятие строф о военных поселениях сделало главу «Странствие» слишком короткой по объему и как бы оскудевшей по содержанию. В дошедшем до нас тексте «Странствия» — тридцать три строфы и одно четверостишие; исходя из среднего размера онегинской главы (сорок пять-сорок шесть строф), можно допустить, что пропуск содержал одиннадцать-двенадцать строф — число, близкое к десяти. В одном из проектов списков произведений, предназначенных для печати, написанном скорее всего в сентябре-октябре 1831 года,<sup>30</sup> поэт привел в ряду других глав и количество строк в интересующей нас главе — 600. В тридцати трех строфах «Странствия» — 462 строки; разница в 138 строк образует как раз десять строф. Однако, как указывает М. А. Цявловский, проставленные «числа стихов у глав „Евгения Онегина“ . . . , по обыкновению Пушкина, округлены».<sup>31</sup>

Обратим внимание на арифметические расчеты количества строф в главе «Странствие», которые Пушкин производит на листе со строфой <33> верхом вниз по отношению к ее тексту.

<sup>28</sup> В шестом томе цифры «IV» прочтены как «III», т. е. «XXIII» (см.: VII, 504), что вряд ли соответствует действительности; скорее, они обозначают «IV»; можно допустить и прочтение — «VII».

<sup>29</sup> Напомним, что Пушкин в работе над романом в стихах пользовался для нумерации строф римскими цифрами.

<sup>30</sup> См.: Рукою Пушкина, стр. 252.

<sup>31</sup> Там же, стр. 253.

Как всегда при исчислении количества строф в главе, Пушкин и здесь пользуется арабскими цифрами. Расчеты эти имеют следующий вид:

$$\begin{array}{r} 17 \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 10 \\ \hline 31 \end{array}$$

Второй столбец зачеркнут рядом (не менее восьми) резких, решительных поперечных черт. Случайно или преднамеренно, поэт, зачеркнув этот столбец, размазал пальцем линии зачерка снизу вверх в виде кляксы.

Десяти строф, посвященных Одессе, можно не учитывать, поскольку они уже давно были напечатаны и их количество разумеется само собой. «17» — количество строф от <5>-й по <31>-ю (за вычетом десяти напечатанных), в которой и была сделана помета о пропуске; «4» — скорее всего четыре вступительные строфы, обозначенные в белой рукописи строкой-сигналом (см. VI, 495). «17» + «4» = «21».<sup>32</sup> Считая с начала главы, именно с двадцать первой строфы и начинался пропуск; поэтому вполне возможно, что следующая за «21» цифра «10» указывает количество пропущенных строф о военных поселениях.

Может возникнуть вопрос, почему пропуск строф был помечен именно цифрами «XV XXIV»? Если не считать четырех строф, обозначенных вышеупомянутой строкой-сигналом, учитывая, что строфа <5> была перечеркнута крест-накрест теми же чернилами, что и помета на полях: «в X песнь»,<sup>33</sup> а также то, что в связи с публикацией строф <16>—<19> поэт зачеркнул строфу <15> (причем зачеркивание этих двух строф и подсчет количества строф в главе «Странствие» производились одновременно), то не трудно установить, что строфа <31>, с которой начинался пропуск, как раз и займет пятнадцатое место.

Выяснить, когда были написаны изъятые из главы «Странствие» строфы, можно лишь предположительно. Черновик первых четырех строк строфы <31>, как указывалось, был вписан верхом вниз среди строк того листа черновой рукописи, который содержал 5—14-ю строки строфы <17> и 1—6-ю строки строфы <18> (с вариантами). Поскольку эта часть черновой рукописи писалась в Павловском, можно полагать, что здесь же, в конце октября—начале ноября 1829 года, были набросаны и строфы начиная с <31>-й, от которых до нас дошли лишь четыре строки.

Какой формой повествования мог воспользоваться Пушкин для описания военных поселений и передачи впечатлений и переживаний, суждений и высказываний своего героя, связанных с ними: авторским рассказом, внутренним монологом, собственной речью героя или диалогом между ним и «автором»?

Впечатления героя от Новгорода Великого, от Москвы, от Нижнего и Макарьевской ярмарки, от поездки по Волге, от «Каспийской лужи» (VI, 499) передаются в авторской речи коротким, но выразительным и многозначным восклицанием: «тоска» (VI, 499); у «торгового Астраханя» к эмоции «тоски» добавляется более сильная эмоция — «взбешон» (VI, 499). По мере углубления и обогащения сознания и внутреннего мира путешественника усложняется и передача его мыслей, чувств, переживаний: когда Онегин попадает на Кавказ и осознает контрасты между вольной

<sup>32</sup> В числе 21 единица, возможно, исправлена на 2. Но этого исправления можно не принимать во внимание, поскольку оно не отразилось на итоге второго столбца: «21» + «10» = «31».

<sup>33</sup> То что строфа <5> перечеркнута в рукописи крест-накрест рукою Пушкина, в IV томе не указано (см. VI, 495—496).

l'Europe & l'Asie,  
17  
4

~~17~~  
~~10~~  
17

Осталась одна четвертая  
всего стихотворения, которая  
еще не была обработана.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.  
Вот она, как она есть.

«Странствие». Беловой автограф строфы <33> с расчетом количества строф в главе.



природой и «водяным обществом», поэт обращается к внутреннему монологу, этой открытой им и впервые использованной в самом начале романа сложной форме воспроизведения переживаний действующего лица. Если внутренний монолог в первой строфе первой главы «Онегина» носил шутивно-иронический характер, то теперь он приобретает трагическое звучание, столь восхитившее В. Г. Белинского.<sup>34</sup>

Весь этот путь Онегин проделывает в полном одиночестве. Естественно, что его впечатления и переживания и могут быть переданы либо в форме авторской речи, либо в форме внутреннего монолога — разговора с самим собою.

В Одессе складывается иная ситуация: Онегин встречается с «автором» и давними друзьями; в четырех строках, непосредственно предшествующих пропуску, «автор» и его друг характеризуются как понимающие друг друга с одного взгляда «Цицероновы Авгуры» (V, 504).<sup>35</sup> Именно теперь — когда, судя по намекам П. В. Анненкова и обозначению пропуска, сделанному рукою Пушкина, должен был последовать рассказ приехавшего о его странствиях, впечатлениях от увиденного, вызывающий эмоциональную реакцию со стороны слушателя, «автора» — форма повествования скорее всего принимала характер диалога.

Строфа <32>, идущая тут же, вслед за обозначением пропуска, как бы подтверждает возможность появления диалогической формы повествования.

Недолго вместе мы бродили  
По берегам Эвксинских вод.

(VI, 505).

Эти строки, говорящие о совместных прогулках «автора» и Онегина в дни их одесской встречи, подразумевают и соответствующие собеседования между друзьями.

О диалогической форме повествования в данном месте главы «Странствия» говорит и П. В. Анненков. Выразив сожаление о потере замечательного места — описания встречи друзей в Одессе, исследователь продолжает: «Тут должны мы были видеть беседы героя романа с своим летописцем, тут должны они были сойтись на короткой ноге».<sup>36</sup>

В чем могло заключаться содержание диалога между героем романа и «автором», что могло войти в их беседы?

Если понимать соответствующее место из письма Катенина буквально, то легко допустить, что беседы друзей сводились исключительно к суждениям и замечаниям о военных поселениях. Однако если вдуматься в контекст, то можно прийти к выводу, что выражение «военные поселения» имеет более широкий смысл, представляет собою известное обобщение социального зла эпохи. В самом деле, говоря об основной, известной нам части главы «Странствия», Катенин не перечисляет всю ее проблематику, а ограничивается лишь упоминанием о Нижегородской ярмарке и Одесской пристани;<sup>37</sup> возможно, что, говоря об изъятых строфах, он назвал лишь то, что произвело на него наиболее глубокое впечатление и сохранилось в его памяти надолго.

<sup>34</sup> См.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 462—463.

<sup>35</sup> Н. Л. Бродский в своей интересной и нужной работе «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина, изд. 4-е (Учпедгиз, М., 1957, стр. 361, 416), комментируя это место, ограничивается справкой о том, кто такие «Цицероновы Авгуры», не упоминая ни о помете, ни о скрытом смысле строк об авгурах.

<sup>36</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 339.

<sup>37</sup> Строфы о Макарьевской ярмарке и об Одессе входили в состав «Отрывков из путешествия Онегина», хорошо известных П. А. Катенину.

Круг засекреченных тем в беседах друзей был, безусловно, достаточно широким и не мог уложиться только в рамки «замечаний, суждений» по поводу военных поселений. Пушкин, шутливо сравнивая героя и «автора» с «Цицероновыми Авгурами», говорит о них как о единомышленниках, а у единомышленников может найтись немало суждений, не подлежащих, по условиям времени, оглашению.

П. В. Анненков не случайно приводит «конец утерянного описания их встречи» — строфу <32>, содержащую намеки на сущность собеседований Онегина с «автором»:

Недолго вместе мы бродили  
По берегам Эвксинских вод:  
Судьбы нас снова разлучили  
И нам назначили поход.  
Онегин очень охлажденный,  
И тем что видел насыщенный  
Пустился к Невским берегам. . .<sup>38</sup>

Выражение Анненкова «тут должны они были сойтись на короткой ноге» также говорит о разносторонности суждений и замечаний, которые могли встретиться в их беседах с глазу на глаз.

Поэтический язык Пушкина замечателен своей предельной выразительностью при предельной лапидарности, сдержанности, и в изъятых десяти строфах речь должна была идти не только о военных поселениях, но и о многом другом, о чем нельзя было во времена Николая I говорить во всеуслышание.<sup>39</sup>

Загадка строф о военных поселениях в главе «Странствие» может быть полностью разрешена только в том случае, если изъятые поэтом строфы будут найдены или обнаружены новые материалы, относящиеся к ним. При нынешнем положении вещей исследователь вынужден обращаться к гипотезам, привлекая для их построения возможно более убедительный и достоверный материал.

Собственноручная помета Пушкина, обозначающая пропуск строф, суждения П. В. Анненкова, основанные на конфиденциальном сообщении П. А. Катенина, характер и проблематика известной нам части главы «Странствие», достоверные данные творческой истории романа, логика раскрытия образа его героя, географические координаты расположения военных поселений и маршрута странствий Онегина — все это в совокупности и является, по нашему мнению, достаточно убедительным материалом для обоснования новой гипотезы о месте пропуска строф в главе «Странствие», которых поэт, по условиям времени, не мог предать гласности.

<sup>38</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 339. Анненков цитирует по черновой и белой рукописям главы «Странствие», очевидно бывшим в его распоряжении.

<sup>39</sup> Беседы Онегина и «автора», в которых отразились впечатления от увиденного и пережитого героем во время путешествия по России, должны были вызвать у друзей-единомышленников, понимающих друг друга с одного взгляда («Как Цицероновы Авгурь»), самые широкие идейные ассоциации оппозиционного по отношению к господствующей действительности характера. Беседы эти, безусловно, не могли уложиться в круг вопросов, связанных исключительно с военными поселениями. Это соображение было высказано Б. С. Мейлахом и Н. В. Измайловым на секторе пушкиноведения Института русской литературы 8 марта 1960 года при обсуждении настоящей статьи, и автор принимает его полностью.



В. Б. САНДОМИРСКАЯ

## О ДАТИРОВКЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА «КОГДА В ОБЪЯТИЯ МОИ...»

Вопросы датирования художественных произведений писателя существенны как для изучения их творческой истории и развития творчества этого писателя, так и для конкретных вопросов изучения его биографии. Особенно значительным становится вопрос о датировании лирических произведений, в которых личность поэта, его отношения к событиям и людям выразились наиболее субъективно и непосредственно. Ошибки в датировании неизбежно ведут за собою ошибки в истолковании этих произведений, а порою влекут к неверному освещению и некоторых биографических моментов.

Характерна в этом отношении история комментирования стихотворения Пушкина «Когда в объятия мои...». Самим Пушкиным оно опубликовано не было и появилось в печати только в 1857 г., в VII, дополнительном, томе анненковского издания, содержащем неизвестные произведения Пушкина, извлеченные из его рукописей. Стихотворение явилось под редакторским заглавием «Отрывок» и с датой «1831». П. В. Анненков не решился высказать какие-либо предположения относительно адресата, и в его комментарии лишь кратко сказано: «пьеса, взятая нами из тетрадей поэта 1830—1831 и, к сожалению, не доделанная им».<sup>1</sup>

Анненковская датировка этого стихотворения была без оговорок принята редакторами и комментаторами двух изданий сочинений Пушкина — П. О. Морозовым и П. А. Ефремовым. В издании Морозова в текст были внесены некоторые уточнения, а в примечаниях помещены первоначальные варианты трех стихов и зачеркнутый черновой набросок «Поверь, безумные забавы»,<sup>2</sup> приведенный как возможное продолжение стихотворения; но ни адресат стихотворения, ни дата его создания комментированы не были. Ефремов же в своем комментарии, появившемся двумя годами позже, уже без каких-либо оговорок называет в качестве адресата стихотворения жену Пушкина Наталью Николаевну.<sup>3</sup> С этого времени сужде-

---

<sup>1</sup> Сочинения Пушкина, изд. П. В. Анненкова, т. VII, СПб., 1857, стр. 43—44 первой пагинации.

<sup>2</sup> Сочинения и письма Пушкина, под ред. П. О. Морозова, т. II, СПб., 1903, стр. 163 и 527; тематическая связь чернового наброска «Поверь, безумные забавы...» и стихотворения «Когда в объятия мои...» (расположенных в рукописи на двух сторонах одного и того же листа) была отмечена еще в 1884 году В. Е. Якушкиным в его описании рукописей Пушкина из Румянцевского музея («Русская старина», 1884, август, стр. 315).

<sup>3</sup> Сочинения Пушкина, т. VIII, ред. П. А. Ефремова, Изд. Суворина, 1905, стр. 340. Возможно, что в комментарии Ефремова отразилось решительное утверждение В. Я. Брюсова, который в своей статье «Из жизни Пушкина» («Новый путь», 1903, июнь, стр. 102) писал: «Пушкин дважды изобразил нам свои интимные отношения с женой», считая, что к Н. Н. Пушкиной обращены стихотворения «Когда в объятия мои...» и «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...». Это утверждение представлялось настолько несомненным, что, казалось, не требовало никаких доказательств — оно не было ничем аргументировано.

ние о том, что адресатом стихотворения является Н. Н. Пушкина, прочно вошло в сознание биографов и комментаторов творчества Пушкина как несомненное и не нуждающееся в проверке. Так, в подробном примечании к этому стихотворению в издании Пушкина под редакцией Венгерова Н. О. Лернер писал: «По содержанию стихотворения, в котором поэт говорит несомненно о своих отношениях к жене, видно, что оно не могло быть написано ранее 1831 года, и потому его следует датировать менее точно: 1831—1833 годом»,<sup>4</sup> оспаривая, таким образом, лишь точную анненковскую дату и предлагая более широкую.

Имя Н. Н. Пушкиной в дальнейшем отмечено почти во всех комментариях к этому стихотворению, вплоть до самых последних изданий.<sup>5</sup> Не вызвало сомнений и то обстоятельство, что в 1935 году дата его была уточнена благодаря точному датированию следующих за автографом этого стихотворения записей в тетради.<sup>6</sup> Стихотворение с этого времени стало печататься под 1830 годом, а в комментариях появилась новая формулировка: «Обращено к невесте Пушкина Наталии Николаевне Гончаровой».<sup>7</sup>

Во всех комментариях основанием датировки, а следовательно, и определения адресата интересующего нас стихотворения является положение рукописи в тетради, или, точнее, определение времени последующих записей. Однако анализ истории заполнения тетради позволяет прийти к выводу, что это стихотворение было создано Пушкиным значительно раньше. Обратимся для доказательства к тетради ПД-839 (ст. шифр ЛБ 2372), в которой находится автограф стихотворения «Когда в объятия мои...», и рассмотрим ее объем, состав и порядок заполнения.

Записи в тетради ПД-839 делались Пушкиным на протяжении 1828—1833 годов, но за это время он пользовался ею не постоянно. По времени своего появления записи объединяются в следующие хронологические группы: I — осень 1828 года, II — первая половина 1830 года и III — 1832—1833 годы.

По своему положению в тетради первые две группы записей более близки к интересующему нас автографу, поэтому рассмотрим последовательность появления этих записей.

Тетрадь заполнялась Пушкиным с двух сторон. В «прямом» направлении (в котором идет порядковая нумерация листов<sup>8</sup>) находятся беловая рукопись «Полтавы» (лл. 1<sub>1</sub>—44<sub>1</sub>) и наброски предисловия к «Борису Годунову» (лл. 45<sub>1</sub>—47<sub>2</sub>). Записи, сделанные с другой стороны, в «обратном» направлении, расположены в следующем порядке (с датами по академическому изданию):

<sup>4</sup> Пушкин, т. II, под редакцией С. А. Венгерова, Пгр., 1915, Примечания, Стихотворения 1831 года, стр. 419—420.

<sup>5</sup> Исключением являются издания, подготовленные Б. В. Томашевским, в которых комментарий этого стихотворения отмечает только посмертный характер публикации и основания датировки его 1831 годом по положению в тетради.

<sup>6</sup> Рукою Пушкина. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 247.

<sup>7</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений в 10 томах, под общей ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана, Гослитиздат, т. II, М., 1959, стр. 720.

<sup>8</sup> В тетради ПД-839 имеется три нумерации: жандармская, красными чернилами посредине листа (жандармского номера не имеют четыре листа, не содержащие текста); опекунская, чернилами в правом верхнем углу, в основном совпадающая с жандармской; и архивная, карандашом в правом верхнем углу — сквозная нумерация всех, заполненных и чистых, листов тетради. В статье используется архивная нумерация, с указанием, в некоторых случаях, порядкового номера листа по жандармской нумерации, поскольку последняя принята в академическом издании Пушкина.





- л. 70<sub>2</sub> (ж. 66<sub>2</sub>): «Когда в объятия мои...» — 6—12 мая 1830  
 л. 70<sub>1</sub> (ж. 66<sub>1</sub>): «Поверь, безумные забавы...»<sup>9</sup> — 6—12 мая 1830  
 ниже: план издания собрания сочинений в 4-х частях 12 мая 1830<sup>10</sup>  
 л. 69<sub>2</sub>—66<sub>1</sub> (ж. 65<sub>2</sub>—62<sub>2</sub>): отрывок в прозе «С французского» («Участь моя решена...») — 12—13 мая 1830  
 л. 65<sub>2</sub> (ж. 61<sub>2</sub>): черновик письма В. С. Огонь-Догановскому — май—июнь 1830  
 л. 65<sub>1</sub> (ж. 61<sub>1</sub>): план издания сочинений в 3-х частях — июнь 1830—сент.—окт. 1831<sup>11</sup>  
 л. 64<sub>2</sub> (ж. 60<sub>2</sub>):<sup>12</sup> черновик письма к Н. Н. Гончаровой — нач. июня 1830

Из всех этих записей самим Пушкиным датирован только отрывок «С французского», написанный вскоре после обручения Пушкина с Н. Н. Гончаровой. В тексте этого автобиографического по своему характеру отрывка имеются две даты: «12 мая» (л. 68<sub>1</sub>) и «13 мая» (л. 67<sub>1</sub>), которые и послужили основной хронологической вехой в датировании предшествующих записей. Так, комментируя пушкинский план издания, набросанный на л. 70<sub>1</sub>, М. А. Цявловский писал: «Список можно датировать 12 мая 1830 года, потому что на смежной с ним странице имеется начало отрывка „Участь моя решена“, датированное самим Пушкиным (в этой рукописи) 12 мая <1830>. Список написан теми же чернилами и почерком, какими написан отрывок „Участь моя“, и как бы на полях этого текста и по содержанию связан с отрывком, являясь выражением тех забот о материальной стороне своего существования, которым предавался Пушкин в связи с предстоящей женитьбой».<sup>13</sup> А уже на основании этой даты было датировано и находящееся на оборотной стороне листа с планом стихотворение «Когда в объятия мои...». В комментарии к нему в академическом издании сказано: «Датируется предположительно 6—12 мая 1830 г.».<sup>14</sup> Предположение основано на смежности записей — стихотворения и плана — и на том, что карандашный набросок «Поверь, безумные забавы...», расположенный на одной странице с планом, принят за первоначальный набросок стихотворения «Когда в объятия мои...».

Автограф этого стихотворения является первой записью с «обратной» стороны тетради, поэтому естественно было рассматривать ее в свете последующих записей (лл. 70—64), которые все связаны с делами и заботами предстоящей женитьбы Пушкина на Н. Н. Гончаровой, и попытаться поставить в связь с ними содержание стихотворения. Но первоначально листок со стихотворением не был первым. Корешок оторванного листа, подклеенный к л. 70, свидетельствует, что перед теперешним последним листом тетради был по крайней мере еще один лист. Чтобы уточнить этот вопрос, попытаемся выяснить первоначальный объем тетради.

Тетрадь ПД-839 составлена из семи тетрадок белой бумаги большого почтового формата, с водяным знаком на правой стороне листа: «полторац-

<sup>9</sup> Полустершийся карандашный набросок стихотворения, который в академическом издании приведен в качестве первоначального наброска к стихотворению «Когда в объятия мои...» (см.: Пушкин, т. III, кн. 2, стр. 826).

<sup>10</sup> Рукою Пушкина, стр. 247.

<sup>11</sup> Там же, стр. 253.

<sup>12</sup> На лл. 64<sub>1</sub>—48 находятся тексты, вписанные в тетрадь в 1832—1833 годах: черновики писем к гр. Чернышеву, к И. И. Дмитриеву и П. И. Соколову, черновики «Повести из римской жизни», «Сказки о мертвой царевне», «Медного всадника», планы и наброски статей.

<sup>13</sup> Рукою Пушкина, стр. 247.

<sup>14</sup> Пушкин, т. III, кн. 2, стр. 1209.

кой 1826».<sup>15</sup> Сейчас в тетради 70 нумерованных листов.<sup>16</sup> Сохранившиеся корешки восьми вырванных листов позволяют установить, что первоначально в каждой из семи тетрадок было по шесть двойных листов, т. е. по двенадцати листов, и что объем тетради был равен  $12 \times 7$ , т. е. 84 листам, к которым следует присоединить два листа форзацев (бумаги того же качества, с тем же водяным знаком). Таким образом, полный объем тетради был равен 86 листам. Следовательно, пятнадцать листов (9 одиночных, два двойных и два листа форзацев) были вырваны из тетради еще при жизни Пушкина.<sup>17</sup>

В интересующей нас седьмой, последней тетрадке недостает (считая в ней сначала двенадцать листов) четырех листов: 2-го и 11-го (парных), 3-го (парного с «69»-м) и 4-го (парного с «68»-м), т. е. трех листов между «63» и «64» и одного между «69» и «70». Следовательно, вырванными в ней оказались внутренние листы; крайние же, внешние листы тетрадки — «63» и «70» — остались на месте, и л. «70» является ее последним листом. Это значит, что подклеенный к нему корешок листа был корешком форзаца — действительно последнего (или первого с этой стороны) листа в тетради 839, и, кроме него, между л. «70» и крышкой тетради других листов быть не могло.

Из пятнадцати вырванных листов в настоящее время известен только один. Это листок тонкой почтовой бумаги, размером  $250 \times 195$ , с водяным знаком «полторацкой 1826», с автографом стихотворения «Поэт и толпа», названного здесь, в рукописи, «Ямбом» (№ 103 по описанию рукописей Пушкина). Связь этого листка с тетрадью ПД-839 (ЛБ-2372) была отмечена уже составителями описания.<sup>18</sup> В примечании к описанию бумаги этого автографа указано, что лист вырезан Пушкиным из тетради ЛБ-2372, «в которой имеются корешки от вырезанных листов между листами 13, 40, 54, 59 и 69 (по жандармской нумерации)». <sup>19</sup> Теперь, когда все автографы Пушкина сосредоточены в одном месте, легко можно установить и точное место этого листа в тетради. Оно определяется тем, что его неровный край точно совпадает с корешком листа, подклеенным к л. «70». Значит, листок № 103 и есть последний (или первый) лист тетради ПД-839 — одна из половин полного форзацного листа, другая половина которого наклеена на крышку тетради.

Еще одно обстоятельство подтверждает, что лист № 103 занимал в тетради именно это положение: на внутренней стороне переплета сохранились отпечатки (от непресохших чернил) последних строк «Ямба» с первой страницы автографа. Так, на переплете видны отпечатки слов «На вес», «Ты (ценишь)» и последнего стиха: «Но мрамор сей ведь бог...»; отпечатались на крышке и следы двух строк двустихия, которое написано на этой же странице вдоль левого поля:

Покойник, автор сухощавый  
Писал для денег, пил из славы.

<sup>15</sup> См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1937, Описание бумаги, стр. 325, № 149.

<sup>16</sup> Лист «24» представляет собою два листа, склеенных внутренними сторонами, чтобы уничтожить пробел в рукописи, образовавшийся от пропуска страниц при переписывании «Полтавы».

<sup>17</sup> Поскольку не вошли в жандармскую нумерацию, которая в этой тетради не нарушается.

<sup>18</sup> Рукописи Пушкина..., стр. 44.

<sup>19</sup> Там же, стр. 325. Корешки сохранились не между, а после указанных листов.



На л. «70» также имеются отпечатки с оборотной страницы л. 103: отпечаток размазанного тире конца стиха «Ты пишу в нем себе варишь» и несколько отпечатков со строки «В разврате каменейте смело» (отпечатки заглавного «В», второго «р» и конечного «о»). Однако эти отпечатки свидетельствуют лишь о том, что лист 103 действительно был первым листом тетради, но они ничего не говорят нам о времени появления в тетради второго стихотворения, записанного на соседнем листе («70<sub>2</sub>»), — «Ямб» мог быть переписан в тетрадь намного раньше, и соседство этих стихотворений ни о чем еще не говорит.

Попробуем внимательно рассмотреть оба автографа. При сравнении их обращает на себя внимание сходство почерков и чернил в стихах 8—25 «Ямба» и в стихотворении «Когда в объятия мои...» — сходство, особенно заметное в стихах 23—25 первого и начале второго. Но, кроме этого сходства почерков, чрезвычайно важным представляется своеобразное расположение стихотворных строк на оборотной стороне автографа № 103. Здесь стихи 23—45 записаны в обычном направлении; следующие же десять стихов вписаны вдоль левого поля (повернув тетрадь вправо) и поверх и поперек ранее написанных строк; наконец, последние четыре стиха —

Не для житейского волненья  
 Не для корысти, не для битв  
 Мы рождены для вдохновенья  
 Для дум, для звуков и молитв —

и росчерк-концовка лепятся также вдоль поля, справа от предыдущих десяти стихов. Такое расположение может быть объяснено только одним: когда Пушкин заканчивал «Ямб», соседний листок был уже занят, и, чтобы не разбивать стихотворения, он был вынужден продолжить его на свободных местах того же листка.

Именно это обстоятельство и свидетельствует о том, что стихотворение «Когда в объятия мои...» было переписано в тетрадь в одно время с «Ямбом» и не позднее окончания последнего. Следовательно, время появления в тетради «Ямба» можно считать определяющим датой второго стихотворения.

Стихотворение «Поэт и толпа» самим Пушкиным датировано 1828 годом.<sup>20</sup> Впервые опубликовано оно было под заглавием «Чернь» в первом номере «Московского вестника» за 1829 год, цензурное разрешение на который было дано 19 декабря 1828 года. Этим определяется дата окончания работы над стихотворением.

Этой же датой определяется и время появления в тетради ПД-839 автографа стихотворения «Когда в объятия мои...», которое было переписано набело все целиком, с некоторыми поправками во второй части стихотворения. Росчерк-концовка внизу стихотворения свидетельствует о том, что Пушкин считал его вполне законченным произведением. Вполне завершённое в 1828 году, оно никак не может быть отнесено к Н. Н. Гончаровой. Адресата его, может быть, возможно было бы отыскать среди петербургских или малинниковских приятельниц Пушкина, но вряд ли в этом есть необходимость.

В автографе стихотворения имеются две поправки, сделанные Пушкиным в 1830 году, в момент работы над отрывком «С французского». Поправки эти находятся в пятом и десятом стихах: в пятом стихе «от влюбленных рук» заменено на «от стесненных рук», в девятом «в пугливой па-

<sup>20</sup> Стихотворения А. Пушкина, ч. II, 1829, стр. 107—110 (в разделе стихотворений 1828 года). Здесь оно названо «Поэт и чернь». Новое заглавие — «Поэт и толпа» — вписано самим Пушкиным в копии этого стихотворения в 1836 году.

мяти храня» заменено на «прилежно в памяти храня». Обе они существенны для содержания стихотворения, так как новые варианты более точно, более художественно выражают образы его. Но они все же не дают оснований говорить о какой-либо «переадресовке» этого стихотворения, о том, что, посвятив его в 1828 году неизвестной нам женщине, Пушкин в 1830 году обратил его, без каких-либо изменений, к своей юной невесте. Поправки эти появились лишь как проявление свойства, столь характерного для Пушкина-художника, — постоянной неудовлетворенности, строгого, критического отношения к форме своих произведений, постоянного стремления к наиболее точному и ясному образу и слову.

Но в 1830 году под впечатлением этого забытого в бумагах стихотворения у Пушкина возник новый поэтический замысел, оставшийся, правда, незавершенным. Речь идет о небольшом карандашном наброске на л. 70<sub>1</sub>(66<sub>1</sub>) той же 839 тетради — «Поверь, безумные забавы...».

Как уже упоминалось выше, по идущей от П. О. Морозова традиции этот набросок и в академическом издании Пушкина приведен как «первоначальный черновой набросок» к стихотворению «Когда в объятия мои...». Между тем это стихотворение было переписано целиком и набело с неизвестного нам черновика сразу вслед за тем, как с черновика же была переписана на соседней левой стороне разворота тетради 25-я строка стихотворения «Поэт и толпа». Страница с наброском была пропущена Пушкиным, когда 12 мая 1830 года он начал с правой стороны разворота писать известный отрывок в прозе «С французского» («Участь моя решена; я женюсь...»), что свидетельствует о намерении продолжить работу над ним. Однако еще во время работы над этим автобиографическим отрывком пропущенная страница была заполнена: ниже карандашного стихотворного наброска Пушкин записал план издания своих сочинений в 4 частях. Это говорит о близкой хронологической связи стихотворного и прозаического набросков.

Но между ними есть и внутренняя связь, так как оба они являются отражением того внутреннего душевного подъема и тревоги, которыми отмечены дни жениховства Пушкина, отражением его размышлений о новой поре жизни и связанных с нею новых радостях, тревогах и обязанностях. Об этом свидетельствует строка стихотворного наброска, заново прочитанная нами. Условное прочтение академического издания: «И мир святой (?)» читается как «И мир семей- -».



Р. В. ОВЧИННИКОВ

## ТРИ НАДПИСИ ПУШКИНА НА «ПУГАЧЕВСКИХ» ДОКУМЕНТАХ

Собирая источники для «Истории Пугачева», Пушкин обстоятельно изучил «пугачевские» дела из архивов Военного министерства и Оренбургской пограничной комиссии, записки и документы коллекций Д. Н. Бантыша-Каменского, И. И. Дмитриева, Г. Ф. Миллера, Г. И. Спасского, И. И. Лажечникова, Н. М. Языкова, А. П. Галахова. Позднее, в 1835 году, он получил доступ к некоторым делам Государственного архива и Московского архива Коллегии иностранных дел.<sup>1</sup> Сохранившиеся в его рукописях копии и выписки из «пугачевских» дел, лишь частично опубликованные в приложениях к «Истории Пугачева» (полностью они напечатаны во второй части IX тома академического издания сочинений Пушкина в 1940 году) свидетельствуют об огромной предварительной работе Пушкина по собиранию и изучению архивных документов. Отмечая значение впервые опубликованных им документов о восстании Пугачева, он писал: «Признаюсь, я полагал себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую „Историю Пугачевского бунта“, но за исторические сокровища к ней приложенные».<sup>2</sup>

Следы работы Пушкина над «пугачевскими» делами сохранились не только в его рукописях, но и на некоторых архивных документах в виде карандашных надписей библиографического характера. Одну из подобных надписей Пушкина (на допросе Софьи Дмитриевны Пугачевой) опубликовал в своей статье Н. В. Измайлов.<sup>3</sup> Недавно нам удалось найти три надписи Пушкина на документах из семейного архива Галаховых, хранящегося ныне в Центральном государственном архиве древних актов СССР.<sup>4</sup>

Происхождение этих документов связано с деятельностью капитана гвардии Преображенского полка Александра Павловича Галахова (1739—конец XVIII века). В начале августа 1774 года Екатерина II, доверившись вымыслу авантюриста А. Долгополова о заговоре яицких казаков против

<sup>1</sup> Н. В. Измайлов. Об архивных материалах Пушкина для «Истории Пугачева». «Пушкин. Исследования и материалы», т. III, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1960, стр. 438—454. См. также: Ю. Г. Оксман. Пушкин в работе над «Историей Пугачева». «Литературное наследство», кн. 16—18, М., 1934, стр. 443—446; П. Софинов. 1) А. С. Пушкин — исследователь Пугачевского движения. «Исторический журнал», 1937, № 2, стр. 38—51; 2) Работа А. С. Пушкина в архивах. «Архивное дело», 1936, № 4, стр. 85—96; Я. К. Грот. Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов. В кн.: Труды Я. К. Грота, т. III, СПб., 1901, стр. 117—124.

<sup>2</sup> А. С. Пушкин. Об «Истории Пугачевского бунта» (разбор статьи, напечатанной в «Сыне отечества» в январе 1835 года). Полное собрание сочинений, т. IX, ч. 1, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1938, стр. 390.

<sup>3</sup> Н. В. Измайлов. Об архивных материалах Пушкина..., стр. 444—445.

<sup>4</sup> ЦГАДА, ф. Госархив, разряд VI, д. 625, лл. 2, 6, 7. Принадлежность карандашных надписей Пушкину подтверждена Н. В. Измайловым и О. С. Соловьевой.

Пугачева, отправила Галахова во главе особой комиссии из Петербурга в район восстания, где, как она предполагала, заговорщики должны были выдать Пугачева, получив за его голову более 32 000 рублей. Позднее, в октябре 1774 года, Галахов был назначен начальником конвойной команды, сопровождавшей пленного Пугачева из Симбирска в Москву и находившейся при нем до 10 января 1775 года — дня казни главных деятелей восстания.<sup>5</sup>

Галахов сохранил у себя некоторые наиболее важные документы о деятельности порученной ему в 1774 году комиссии: открытый («отверстый»)

И. П. Галахов, т. в. ф. 20-22.

Наставление Екатерины II гвардии капитану Павлу Александровичу Галахову.

И.

это письмо Лиццола Кавалера Маршалла  
с товарищи всего траста у ватрании 2-мк:  
зреть келовство и в нелко Галахову

Наставление Екатерины II гвардии капитану А. П. Галахову от 8 августа 1774 г. (ЦГАДА, ф. Госархив, р. VI, д. 625, л. 2).

указ Екатерины II от 8 августа 1774 года о предоставлении ему, Галахову, необходимого содействия от всех властей («всем кому сей наш указ объявлен, чинить по требованию его во всем скорое и возможное вспоможение»); наставление Екатерины II Галахову от того же числа; письма графа Панина Галахову от 14 и 19 сентября 1774 года о согласовании действий комиссии с военными операциями правительственных войск; приказ Панина Галахову от 2 октября 1774 года о порядке содержания и охраны Пугачева, доставленного в Симбирск; письмо Панина Галахову от 5 октября 1774 года о порядке расходования экстраординарных сумм.

От А. П. Галахова эти документы перешли к его сыну Павлу Александровичу Галахову (1776—1838), крупному чиновнику, члену Комиссии духовных училищ (одно время его прочили на пост директора Царскосельского лицея), а от него — к его сыновьям Александру Павловичу и Сергею Павловичу Галаховым. Братья Галаховы знали Пушкина еще с царскосель-

<sup>5</sup> Деятельность Галахова подробно освещена в записках П. С. Рунича о «пугачевском бунте»: «Русская старина», 1870, № 9, стр. 225—248; № 10, стр. 321—357 (премьер-майор Рунич был помощником Галахова по «пугачевской комиссии»); см. также: Н. Ф. Дубровин. Пугачев и его сообщники, т. III. СПб., 1884, стр. 155—162, 254—255, 283, 308, 329. Сохранилось несколько неопубликованных доносений Галахова графу П. И. Панину, командующему карательными войсками правительства (ЦГАДА, ф. Госархив, разряд VI, д. 490, ч. II; ф. Панины, д. 172—180).

ских времен.<sup>6</sup> Не состоя в дружеских отношениях с поэтом, они, несомненно, были знакомы с ним и — как все бывшие воспитанники лицея — следили за его литературными трудами. Когда в 1833 году Пушкин начал собирать источники для «Истории Пугачева», А. П. Галахов, бывший в то время ротмистром лейб-гвардии Конного полка, предоставил ему все собрание бумаг своего деда А. П. Галахова. Пушкин опубликовал в приложениях к «Истории Пугачева» три документа из этих бумаг: 1) «Наставление» Екатерины II Галахову от 8 августа 1774 года, 2) письмо П. И. Панина Галахову от 14 сентября 1774 года, 3) его же письмо Галахову от 19 сентября 1774 года.<sup>7</sup> В примечаниях к восьмой

№ 5 Изд. Рус. Библ. т. 2. Ф. 66-67. 16. Шлях отъезду из в. Високоблаторския и высокоответственный лейб ескадря штык ттамь.

Ескадря лейб

На рапортъ отъ Вашего Высокоблаторскаго съ словъ Врежтисель  
на Даволюстелю мову толбесенной, Набогъ Вашъ отъвѣтителю.  
и впринятый Вами материалъ и въ Удѣланнымъ рапортуею  
А ни ево присаживателю не името, иль омыя и имте собствен  
по со ображеню встелъ, обстоятелствъ да Удѣланнымъ ттамъ

Письмо главнокомандующего карательными войсками правительства генерал-аншефа графа П. И. Панина гвардии капитану А. П. Галахову от 14 сентября 1774 г. (ЦГАДА, ф. Госархив, р. VI, д. 625, л. 6).

главе «Истории Пугачева» он отметил: «За сообщение бумаг, обнаруживающих сношения Перфильева с правительством (обстоятельство вовсе неизвестное) обязаны мы благодарностью А. П. Галахову, внуку капитана гвардии, на коего правительством возложены были в то время важные поручения».<sup>8</sup>

После выхода в свет в конце 1834 года «Истории Пугачева» (или — как приказал назвать ее Николай I — «Истории Пугачевского бунта») Пушкин возвратил А. П. Галахову принадлежавшие ему бумаги, причем сделал на трех из них, напечатанных им в «Приложениях» к «Истории», карандашные надписи, нами обнаруженные и теперь публикуемые. Надписи эти следующие:

1) на «Наставлении... капитану Галахову»: «Ист. Пуг. бунта, т. 2, стр. 20—22»;

<sup>6</sup> А. П. Галахов (1802—1863), дослужившийся до звания генерал-адъютанта и состоявший в 1847—1856 годах петербургским обер-полицеймейстером, был воспитанником Благородного пансиона Царскосельского лицея (второго выпуска), а С. П. Галахов закончил в 1823 году полный курс лицея (третьей выпуск). См.: Д. Ф. Кобеко. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 1811—1843. СПб., 1911, стр. 275, 492, 508.

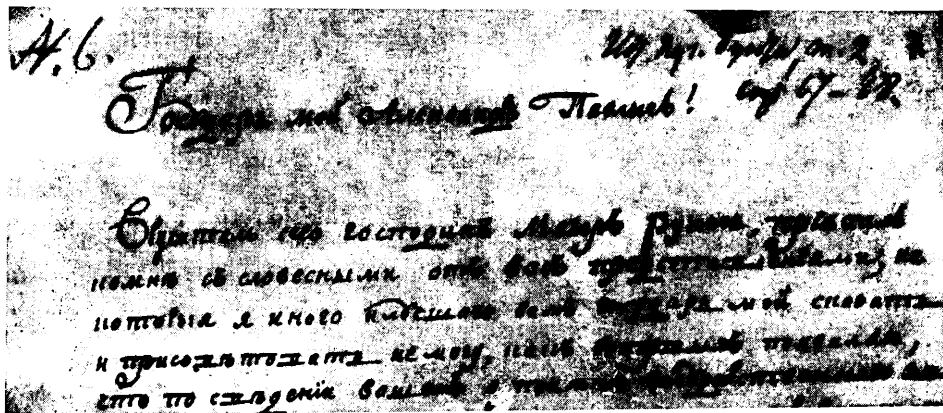
<sup>7</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. IX, ч. 1, Изд. Академии наук СССР. М.—Л., 1938, стр. 174—175, 202—203.

<sup>8</sup> Там же, стр. 116.

2) на письме П. И. Панина от 14 сентября 1774 г.: «Ист. Пуг. бунта, т. 2, стр. 66—67»;

3) на письме П. И. Панина от 19 сентября 1774 г.: «Ист. Пуг. бунта, т. 2, стр. 67—68».

Позднее эти бумаги хранились в семейном архиве Галаховых в их рязанском поместье. В 1887 году А. П. Галахов (праправнук екатерининского деятеля, член Рязанской ученой архивной комиссии) предоставил неопубликованную часть «пугачевских бумаг» для напечатания в «Трудах»



Письмо главнокомандующего карательными войсками правительства генерал-аншефа графа П. И. Панина гвардии капитану А. П. Галахову от 19 сентября 1774 г. (ЦГАДА, ф. Госархив, р. VI, д. 625, л. 7).

комиссии, где они и были изданы с кратким вступлением А. В. Селиванова.<sup>9</sup> В 1918 году коллекция А. П. Галахова поступила в Орловский научный музей и хранилась до 1927 года. В конце двадцатых годов по инициативе Е. И. Ярославского и М. Н. Покровского началась концентрация «пугачевских» дел из местных архивов и рукописных собраний в Москву, и благодаря этому бумаги Галахова оказались в Центральном архиве. Ныне они хранятся в ЦГАДА (в составе VI разряда Госархива).

Как и любая строчка, написанная рукой Пушкина, надписи, оставленные им на бумагах А. П. Галахова, имеют значительный историко-литературный интерес. Они воскрешают замечательную страницу в творческой биографии Пушкина — период напряженной работы над «Историей Пугачева» — этим первым исследованием о крупнейшем восстании трудового народа России против крепостной неволи.

<sup>9</sup> Из семейного архива А. П. Галахова. «Труды Рязанской ученой архивной комиссии», т. II, № 1, 1887, стр. 1—2.



О. И. ПОПОВА

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО П. А. ОСИПОВОЙ  
к А. И. ТУРГЕНЕВУ

5—6 февраля 1837 года в селе Тригорском у соседки Пушкина Прасковьи Александровны Осиповой побывал один из старейших друзей Пушкина Александр Иванович Тургенев, который по распоряжению Николая I сопровождал вместе со старым дядькой поэта Никитой Тимофеевичем Козловым тело умершего поэта к месту похорон — в Святогорский монастырь. Погребение А. С. Пушкина состоялось 6 февраля, а 7 февраля, в 5 часов утра, А. И. Тургенев писал уже П. А. Вяземскому из Пскова, на возвратном пути в Петербург:

«Мы предали земле земное вчера на рассвете. Я провел около суток в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренно оплакивают поэта и человека в Пушкине. Милая дочь хозяйки (М. И. Осипова, — О. П.) показала мне домик и сад поэта. Я говорил с его дворнею. Прасковья Александровна Осипова дала мне записку о делах его, о деревне, и я передам тебе и на словах все, что от нее слышал о его имени. Она все хорошо знает, ибо покойник любил ее и доверял ей все свои экономические тайны... Везу вам сырой земли, сухих ветвей — и только... Нет, и несколько неизвестных вам стихов Пушкина».<sup>1</sup>

Кратковременное пребывание Тургенева в Тригорском у П. А. Осиповой и обстоятельства, при которых они встретились, повлекли за собой переписку между ними, продолжавшуюся около трех месяцев. Начало ей положил Тургенев, который под живым впечатлением пребывания в Тригорском и Михайловском писал П. А. Осиповой 10 февраля 1837 г.:

«Минуты, проведенные мною с вами и в сельце и в домике поэта, оставили во мне неизгладимые впечатления. Беседы ваши и все вокруг вас его так живо напоминает! В деревенской жизни Пушкина было так много поэзии, а вы так верно передаете эту жизнь. Я пересказал многое, что слышал от вас о поэте, о Михайловском и о Тригорском, здешним друзьям его: все желают и просят вас описать подробно, пером дружбы и истории, Михайловское и его окрестности, сохранить для России воспоминание об образе жизни поэта в деревне, о его прогулках в Тригорское, о его любимых двух соснах, о местоположении, словом — все то, что осталось в душе вашей неумирающего от поэта и человека».<sup>2</sup>

Вместе с письмом А. И. Тургенев послал П. А. Осиповой экземпляр нового, третьего издания «Евгения Онегина», вышедшего в начале

<sup>1</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. IV. СПб., 1899, стр. 1. «Неизвестные» стихи Пушкина, не напечатанные при его жизни, были, вероятно, стихи из альбома П. А. Осиповой: «Простите, верные дубравы» (1817) и «Цветы последние милей» (1825). О неизвестных стихах Пушкина, найденных в Тригорском, упомянул А. И. Тургенев и в своем дневнике от 5 февраля 1837 года: «читал альбом со стихами Пушкина, Языкова и пр. Нашел Пушкина нигде не напечатанные» (П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.—Л., 1928, стр. 297).

<sup>2</sup> «Пушкин и его современники», вып. I, СПб., 1903, стр. 53—57.

1837 года, — для ее дочери — и свой литографированный портрет с оригинала работы К. Брюллова; последнюю посылку он сопроводил подробными разъяснениями многозначительных «надписей и слов» на портрете, напоминающих о талантах и душевном благородстве братьев А. И. Тургенева — Андрея (1781—1803), Сергея (1790—1827) и Николая (1789—1871) Тургеневых. В письме содержится упоминание еще об одной посылке: «Вот и стихи на кончину поэта. Я уверен, что они и вам так же понравятся, как здесь всем почитателям и друзьям поэта».

Публикуемое письмо Прасковьи Александровны Осиповой<sup>3</sup> является первым письмом ее к А. И. Тургеневу, ответом на его письмо от 10 февраля, и в сопоставлении с ним почти не нуждается в комментариях.

Тригорское. Февр<аля> 16-го 1837 года.

14-е получила я ваше письмо, милостивой государь Александр Иванович. Мы по отъезде вашем считали часы в ожидании его; и я спешу сказать вам, что минутное ваше в Тригорском пребывание останется неизгладимо в памяти душ наших. — Сердцу моему стало легче, когда я могла сказать понимающему меня мою скуку. Мы, я и Мария,<sup>4</sup> оставшись одни нашли, что когда мы вас имели удовольствие увидеть, в первые часы приезда вашего, нам казалось, что мы вновь увидели друга, давно не виданного, но сердечного, с которым были разлучены — только. Это сочувствие есть вам порука всегдашнего о вас живого воспоминания, оно последует за вами всюду, куда провидение поведет вас.

Дочь моя б<аронесса> Вревская<sup>5</sup> возвратилась из Петербурга и 12-го была у меня; подробности, которые она мне рассказывала о последних днях жизни незабвенного Пушкина, раздирали наши сердца и заставили меня жалеть, что я на эту пору не была в С.-Петербурге — но к чему теперь рыданье!.. Вы угадали, что мне понравятся стихи — и только такой человек, который хорошо знал поэта, мог их написать, — он, кажется, писал за несколько лет тому и копию с портрета работы Кипренского. Сердечно благодарю вас за портрет, которой, конечно, не из последних будет украшений моего кабинета; но как памятью о вас он право слабее будет того впечатления, которое сделало присутствие ваше.

До получения письма вашего одна мысль была у нас целые восемь дней — и ни на минуту не ослабевала, и потому воспоминания не было, а дума о вас не перерывалась. Читая и перечитывая письмо ваше, кончишь и желаешь опять читать, ожидая найти еще что-нибудь, — и потому прошу вас хоть еще один раз перед отъездом вашим в Москву, напишите мне, что делает Нат<алья> Ник<олаевна>... что делают деточки моего любезного Пушкина... Много слышишь — но я давно не верю молве и имею причины не всему верить, что про нее говорят. — И невольно повторяю с г. Лермонтовым зачем от мирных нег, и дружбы простодушной вступил он в этот свет, коварный криводушный.

Я почти рада, что вы не слышали того, что говорил он перед роковым днем моей Евпраксии, которую он любил, как нежной брат, и открыл ей все свое сердце. — Мое замирает при воспоминании всего слышенного. — Она знала, что он будет стреляться! и не умела его от того отвлечь!..

<sup>3</sup> ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 258, лл. 1—2 об. (двойной лист почтовой бумаги большого формата, с литографированным видом Пскова на первой странице).

<sup>4</sup> Мария Ивановна Осипова (1820—1895) — дочь П. А. Осиповой от второго брака  
<sup>5</sup> Баронесса Евпраксия Николаевна Вревская, рожденная Вульф (1809—1883), — младшая дочь П. А. Осиповой от первого брака.



Много, много благодарю вас за объяснение надписей в портрете. — Я почти не рада, что вы говорили об отношениях моих с незабвенным нашим поэтом; я не со всеми люблю делиться горестными чувствами: как то было с вами — с другими я как улитка, от прикосновения их ухожу в свой уголок. Позвольте же мне изъявить вам тайное желание сердец наших, мы мысленно будем следовать за вами всюду, всюду — и желаем иметь способ от время до время знать, что вы делаете, — это будет нашим утешением. — Пространство, нас разлучающее, минутно хоть будет ищезать. — Я постараюсь удовлетворить желаниям друзей Алекс<андра> Сергееча, по возможности, не имея однако большой доверенности к описательному своему таланту.

Вы совершенно обворожили мою Марию. Она с благо<го>вением спрятала издание Онегина, которого ей рано еще читать. Не надо спешить ознакомливать юность с страстями — они сами из сердец вырываются, развивать же прежде время — о это не надо, не надо!.. — Мир праху нашего друга! !

Примите же благосклонно, милостивой государь, уверение искреннего душевного почтения моего и моих дочерей, *девы гор*\* чувствуют всю цену внимания вашего к ним.

Желаю сердечно, чтоб будущее сколько можно загладило для вас большую часть того, что вы потерпели в прошедшем. С душевную преданностью вам покорная ко услугам П. О.

Письмо П. А. Осиповой полно чувства глубокой признательности и дружеского участия к Тургеневу, мимолетный приезд которого в Тригорское был отмечен для нее общей печалью и скорбью о Пушкине, которого она, по словам А. И. Тургенева, «как мать, любила».<sup>6</sup> В Тургеневе она встретила человека, сумевшего понять и разделить ее «скуку» — неотступную печаль о Пушкине; кроме того, своей привязанностью к брату-декабристу Н. И. Тургеневу, обреченному на изгнание, своим беспокойством о его судьбе А. И. Тургенев сумел возбудить ее горячее сочувствие и к своим делам.<sup>7</sup> Однако во всем, о чем она пишет своему корреспонденту, просвечивает постоянная мысль о погибшем поэте — в отзыве о стихах Лермонтова, присланных ей Тургеневым, и в неоднократной цитации этих стихов, столь созвучных горю Прасковьи Александровны;<sup>8</sup> в вопросе о «деточках моего любезного Пушкина»; в обещании, в ответ на просьбу А. И. Тургенева, «удовлетворить желания друзей Александра Сергееча»

\* Так звал покойной барон Делвиг моих старших дочерей («дева гор» — цитата из «Кавказского пленника» Пушкина, — О. П.).

<sup>6</sup> Письмо к Н. И. Тургеневу от 16 февраля 1837 года. «Пушкин и его современники», вып. VI, СПб., 1908, стр. 78.

<sup>7</sup> Характерно в этом отношении окончание второго письма П. А. Осиповой, от 17 февраля 1837 года, в котором она пишет: «...желание вам всевозможных еще в этом мире утешений будет предметом наших молитв к тому, которой так утешительно сказал — *блаженни изгнанные правды ради, блаженны жаждущие правды, еже те насытятся* («Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 80).

<sup>8</sup> Комментируя первое письмо А. И. Тургенева, Б. Л. Модзалевский писал: «Какие стихи послал Тургенев, определению сказать трудно. Вероятно, это были известные пламенные строфы Лермонтова» («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 56). С публикацией этого письма П. А. Осиповой, в котором содержатся две цитаты из стихотворения Лермонтова на смерть Пушкина («К чему теперь рыданье!» и «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной Вступил он в этот свет, коварный криводушный») и даже прямо названо имя автора, становится несомненно, что Тургенев послал в Тригорское именно стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», списки которого Тургенев разослал многим своим друзьям. Лермонтовское стихотворение цитируется и во втором письме П. А. Осиповой к А. И. Тургеневу («Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 80). Упоминание П. А. Осиповой о копии с портрета Пушкина, будто бы сделанной Лермонтовым, не поддается комментированию.

и записать свои воспоминания о жизни Пушкина в Михайловском; <sup>9</sup> в невольном восклицании — «Мир праху нашего друга!» — при мысли о власти страстей над человеком.

Особое внимание привлекает к себе упоминание о подробностях последних дней жизни Пушкина, рассказанных П. А. Осиповой ее дочерью, баронессой Евпраксией Николаевной Вревской, которая в начале 1837 года приезжала в Петербург к своей сестре Анне Николаевне Вульф и видалась с Пушкиным. П. Е. Щеголев в своей книге о дуэли Пушкина придавал большое значение разговору ее с поэтом: «Пушкин был очень близок с П. А. Осиповой и ее дочерьми; с ними он мог говорить совершенно открыто и просто, говорить так, как он, пожалуй, ни с кем в Петербурге не мог говорить. И действительно, надо думать, он имел с Вульф (Вревской) значительный разговор».<sup>10</sup> До сих пор об этом разговоре нам было известно из второго письма А. И. Тургенева к Осиповой (см. ниже) и из свидетельства мужа Евпраксии Николаевны барона Б. А. Вревского, писавшего Н. И. Павлищеву: «Евпраксия Николаевна была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования».<sup>11</sup> И вот перед нами письмо Прасковьи Александровны, которая все еще под впечатлением рассказов своей дочери: «...подробности, которые она мне рассказывала о последних днях жизни незабвенного Пушкина, раздирали наши сердца и заставили меня жалеть, что я на ту пору не была в С.-Петербурге»; и снова: «Я почти рада, что вы не слышали того, что говорил он перед роковым днем моей Евпраксии, которую он любил, как нежной брат, и открыл ей все свое сердце. — Мое замирает при воспоминании всего слышенного. — Она знала, что он будет стреляться! и не умела его от того отвлечь!...». Именно это место письма вызвало просьбу А. И. Тургенева к П. А. Осиповой сообщить обо всем, что известно Е. Н. Вревской об обстоятельствах дуэли: «Умоляю вас, однако же, написать ко мне все, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем: это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли: передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, — и правда объяснится. Если вы потребуете тайны, то обещаю вам ее; но для чего таить то, на чем уже лежит печать смерти!».<sup>12</sup>

Судя по последующим письмам П. А. Осиповой,<sup>13</sup> она так ничего и не

<sup>9</sup> Обещание это, по-видимому, так и осталось невыполненным, так как, отвечая на это третье письмо из Тригорского, Тургенев писал из Москвы 24 апреля 1837 года, перед своим отъездом за границу: «...все еще ожидаю обещанного вами описания» («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 62).

<sup>10</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 127.

<sup>11</sup> «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 111.

<sup>12</sup> Там же, вып. I, стр. 59. В письме к брату Николаю Ивановичу А. И. Тургенев так передавал то, что узнал из письма П. А. Осиповой: «Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падает» (там же, вып. VI, стр. 92).

<sup>13</sup> Отправив свое первое письмо по почте, П. А. Осипова на следующий день, 17 февраля, послала Тургеневу второе письмо, с оказией — своими крестьянами, отправлявшимися в Петербург; опубликовано А. А. Фоминым: Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива). «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 79—80; ответом на первое письмо было письмо А. И. Тургенева от 24 февраля 1837 года («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 57—62). Позднее, узнав о предстоящем отъезде Тургенева за границу, Прасковья Александровна еще раз писала ему 7 апреля 1837 года (см. публикацию А. А. Фомина: сб. «Пушкин», издание журнала «Русский библиофил», СПб., 1911, стр. 25—26), упоминая, что перед тем

ответила на эту просьбу. Но впечатление ужаса от рассказов Е. Н. Вревской не менее сильно ощущается и во втором письме «тригорской помещицы». Особенно же отразилось это впечатление на отношении П. А. Осиповой к вдове поэта, к Наталье Николаевне Пушкиной.

«Я знаю, что вдова А<лександра> Серг<еевича> не будет сюда — и я етому рада. — Не знаю поймете ли вы то чувство, которое заставляет меня теперь боят<ь>ся ее видеть? . . . но многое должно бы было вам рассказать, чтобы вполне изъяснить все, что у меня на душе. — И что я знаю. — Наконец, многоглаголанье, и многописания все выдет к чему ж теперь рыданье и жалкой лепет оправданья. Но ужас берет, когда вспомнишь всю цепь сего происшествия», — пишет она Тургеневу 17 февраля, и это чувство неприязни, нежелание видеть ту, которую она считала в большой степени виновной в гибели «любезного Пушкина», «сына ее сердца», прочно жило в Прасковье Александровне. И еще 7 апреля 1837 года она писала к А. И. Тургеневу: «Я получила на днях письмо от Натальи Николаевны — она меня спрашивает, какое распоряжение сделано по части богослужения по А. Сер. — и просит позволения остановиться у меня, когда приедет на могилу к своему мужу — я еще не могла ей отвечать».<sup>14</sup>

Миновал 1837 год. Прошли года. В 1841 году Н. Н. Пушкина поселилась с семьей в Михайловском. Ее приезд нашел следующий отклик в семействе Осиповой. «Они не скучают и пользуются душевным спокойствием, — писала Е. Н. Вревская. — Я еще их не видела и не очень-то жажду этого удовольствия. У них, говорят, воспоминание гораздо холоднее, чем у нас о незабвенном».<sup>15</sup>

---

именно дважды писала ему; Тургенев отвечал ей 24 апреля из Москвы («Пушкин и его современники», вып. I, стр. 62—64). Кроме названных, опубликовано еще одно письмо П. А. Осиповой к Тургеневу — от 26 октября 1839 года, которым она приветствовала его возвращение в Россию (сб. «Пушкин», стр. 28—29).

<sup>14</sup> Сб. «Пушкин», стр. 26. Получив это письмо, А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Не пошлешь ли ты Осиповой выписки из своего письма к Давыдову всего, что ты говоришь о вдове Пушкина. Она собирается к Осиповой и та хочет принять ее, но в ней гнездится враждебное чувство к ней за Пушкина. Не худо ее вразумить прежде, нежели Пушкина приедет к ней. Мне самому некогда» (Остафьевский архив кн. Вяземских, т. IV, стр. 18).

<sup>15</sup> «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 111. (Курсив мой, — О. П.).



МИЛОРАД ЖИВАНЧЕВИЧ

## ПЕРЕВОДЫ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» В ЛИТЕРАТУРЕ НАРОДОВ ЮГОСЛАВИИ

Велика популярность, которой пользуется Пушкин среди народов Югославии. Свыше столетия с неумещающей интенсивностью продолжается работа над переводами и изучением его литературного наследия, которое давно вышло за пределы его родины, стало достоянием всего человечества и гордостью славянского мира. Можно сказать без преувеличения, что за все это время не было ни одного литературного поколения, которое бы по-своему не открывало великого писателя, не воодушевлялось им, не подражало ему, не училось на его произведениях. Наряду с многочисленными изданиями произведений Пушкина, которые в течение всего этого времени печатаются большими тиражами в Югославии — у сербов, хорватов, словенцев и македонцев, об интересе к Пушкину свидетельствует и ряд литературно-исторических работ, начиная от заметок, статей, сообщений и разных юбилейных очерков, опубликованных в многочисленных газетах и журналах всех времен, и до серьезных и основательных трудов, сравнительных работ и исследований. При этом нельзя пройти мимо ряда трудоемких библиографических работ, часто неприметных и сопутствующих каким-либо специальным изданиям,<sup>1</sup> нельзя недооценивать усилий по созданию популярных очерков, маленьких и больших (как, например, известная работа Пешича, вышедшая в период между двумя войнами),<sup>2</sup> которые хотя и не всегда свежи и оригинальны, однако чрезвычайно содействуют популяризации произведений поэта среди широких масс читателей.

Говоря об изучении творческого наследия Пушкина в литературах других стран, т. е. за пределами России, следует указать на немалый вклад югославских ученых. Серьезное значение имеет то, что, несмотря на большое количество работ о Пушкине, опубликованных до второй мировой войны, и сейчас продолжается совершенствование переводов и комментирование пушкинских текстов, а особенно исследование влияния Пушкина на творчество южнославянских писателей. Первые работы в этой области появились еще перед войной и сразу же после освобождения страны от оккупантов. Профессор Йосип Бадалич, известный славист и страстный исследователь русской литературы и ее распространения в Хорватии, опубликовал программную статью «Русские писатели и литература хорватского возрождения»,<sup>3</sup> в которой, касаясь вопроса о связях писателей иллиризма

---

<sup>1</sup> См., например, составленную И. Бадаличем библиографию переводов Пушкина в хорватской литературе, опубликованную в прекрасном сборнике стихотворений поэта в переводах лучших хорватских переводчиков (таких, как Станко Враз и Густав Крклец), выпущенном Матицей хорватской вскоре после освобождения (A. S. Puškin, Pesme, Zagreb, 1948).

<sup>2</sup> М. М. Пешич. Пушкин. Београд, 1937.

<sup>3</sup> «Hrvatsko kolo», Zagreb, 1946.

с русской литературой, особенно выделил личность и роль Пушкина. Тому же автору принадлежит монография «Пушкин в Югославии», а также изданная несколько позднее работа «Пушкин в хорватской литературе».<sup>4</sup>

Далее, должны быть названы (приводим лишь наиболее характерные работы) книга известного югославского ученого Петра Митропана «Пушкин в Сербии»;<sup>5</sup> статья одного из многочисленных переводчиков Пушкина на сербохорватский язык Божидара Ковачевича «А. С. Пушкин»;<sup>6</sup> очерк Миле Клопчича «Жизнь А. С. Пушкина» (на словенском языке);<sup>7</sup> сравнительное исследование академика Антуна Бараца «Мажуранич и Пушкин», в котором тщательно анализируется отношение этого значительного хорватского и югославского писателя к великому поэту;<sup>8</sup> исследование Братко Крефта «Пушкин и Шекспир» (на словенском языке);<sup>9</sup> работа прекрасного знатока русской и советской литературы Радована Лалича «Маленькие трагедии Пушкина».<sup>10</sup> В 1957 году Милорад Павич написал большое предисловие к своему переводу «Евгения Онегина», в котором с полным пониманием материала убедительно показал степень влияния Байрона на Пушкина, что, как известно, критика долго отрицала.<sup>11</sup> В связи со столетием появления первого перевода «Евгения Онегина» на сербохорватский язык М. Живанчевич в специальной статье отметил некоторые упущения и недостатки в переводах этого романа.<sup>12</sup> О влиянии Пушкина на формирование современной югославской литературы говорится в исследовании профессора Крешимира Георгиевича «Романтизм у хорватов».<sup>13</sup>

В нашем обзоре, естественно, не могут быть охвачены многочисленные рецензии и мелкие заметки, как например послесловие профессора Джорджа Живановича к переводу «Полтавы» Павича и т. п. Характерно, однако, что даже в этих крайне непритязательных статьях авторы наряду с замечаниями информационного и комментаторского характера стремятся поставить определенные литературоведческие и теоретические вопросы, пытаются мимоходом выдвинуть новое объяснение, свое толкование или решить какую-либо проблему.<sup>14</sup>

Когда говорят о широкой известности и популярности Пушкина и его произведений в литературе народов Югославии, обычно имеют в виду его лирические стихи, поэмы «Полтава», «Медный всадник» (в прекрасно удавшемся переводе загребского поэта Густава Крклеца), прозу («Капи-

<sup>4</sup> Puškin kod Jugoslavena. Zagreb, 1937; Puškin u hrvatskoj književnosti, t. g.; см. также: «Republika», V, 1949. Перу Бадалича принадлежат и такие работы: Puškin i Vraz. Praha, 1936; Odrzi ruske književnosti kod hrvatskih pisaca. «Zbornik radova Sveučilišta u Zagrebu», knj. II, 1954.

<sup>5</sup> Пушкин код Срба. Скопье, 1937.

<sup>6</sup> «Књижевност», св. 6, Београд, 1949.

<sup>7</sup> Življenje A. S. Puškina (предисловие к словенскому изданию стихотворений Пушкина). Ljubljana, 1950.

<sup>8</sup> Mažuranić prema Puškinu. Slavistična revija, sv. 1—2. Ljubljana, 1950. Вообще о влиянии русских авторов на писателей хорватского возрождения смотри в его большой работе: Književnost ilirizma. Jugoslavenska Akademija, Zagreb, 1954.

<sup>9</sup> Puškin in Shakespeare. Ljubljana, 1952.

<sup>10</sup> А. С. Пушкин. Мале трагедије. Београд, 1954, предисловие.

<sup>11</sup> Евгеније Оњегин. Изд. Народна књига, Београд, 1957.

<sup>12</sup> «Evgenije Onjegin» u našoj prevodnoj literaturi. «Izraz», 1958, № 7—8.

<sup>13</sup> Романтизам код Хрвата. (Временско трајање, главне црте). В реферате для конгресса славистов в Москве, отдельный оттиск. См. также: Летопис Матице Српске, т. г.

<sup>14</sup> Ср.: Радован Лалич. Проучавање источнословенских и западнословенских ижежности у Југославији у времену од 1945—1955 године. Реферат на Међународном славянском конгрессе, састављеном у Белграде в 1955 г. Издание Организационог комитета, Белград, 1957, стр. 126.

танская дочка» и повести) и особенно «Евгения Онегина» — любимейшего детища писательской фантазии. И это отнюдь не случайно. Первая, стихийная, неосознанная ассоциация, присущая югославскому читателю с детских лет, возникающая при имени Пушкина, связана с воспоминанием о «Евгении Онегине». В югославской литературе работа по переводу этого произведения продолжается почти без перерыва целый век, и этот замечательный юбилей падает как раз на наши дни.

Не трудно отгадать причины постоянного и неумещающегося интереса югославского читателя именно к этому творению Пушкина. Для одних интерес к «Евгению Онегину» вызван содержанием, темой, старой, как наш мир, однако всегда интересной и всегда по-новому раскрывающейся в фавеле; для других — оригинальной, необычной постановкой проблемы и ее решением; для третьих — оригинальной формой, в которую изумительно вправлено содержание; все это — и первое, и второе, и третье — объединяется в одном исключительном, эпохальном произведении искусства. «Евгений Онегин» принадлежит к тем творениям, которые составляют сокровищницу человеческой культуры. Жизненный, неповторимый, этот роман в стихах пережил свою эпоху. Он никогда не постареет, всегда будет юным, свежим и актуальным.

Вопрос об отношении личности к обществу возбуждал умы еще во тьме веков. В поисках изобразительных возможностей толкований этого взаимоотношения — в своей основе всегда материалистического — «Евгений Онегин» занял свое место. Действительно, по своей тематике, по своей проблематике он стоит вне определенного времени. Это вечный современник.

Как известно, «Евгений Онегин» был создан в период между 1823 и 1830 годами. Однако со времени окончания романа до появления в югославской литературе его первого перевода прошло почти три десятилетия. Первый перевод, вышедший из-под пера известного деятеля культуры этого времени Шпиры Димитровича Котаранина, появился на сербохорватском языке в 1860 году.<sup>15</sup> Это послужило толчком для целого ряда других переводов. Текст «Евгения Онегина», в зависимости от различных условий, по-разному интерпретировался переводчиками. Чаще всего переводились отдельные фрагменты романа, в большинстве случаев подобранные со вкусом, но иногда и случайно; в основном переводчики относились к своей работе серьезно, но подчас появлялись переводы, выполненные наспех и поверхностно, из-за невнимательности или неумения переводчика смысла отдельных мест нередко извращался. Между тем существует и несколько полных переводов всего романа, хорошо передающих содержание оригинала.

Беглый хронологический обзор этих переводов (классифицированных по литературным центрам) с 1860 года до наших дней дает следующую картину:<sup>16</sup>

- 1860 — Шпиро Димитрович, Загреб (целиком).
- 1862 — Иван Трински, Загреб (фрагмент).
- 1874 — Томислав Маретич, Загреб (фрагмент).
- 1881 — Иван Трински, Загреб (целиком).
- 1885 } — Йован Симеонович-Чокич, Белград (фрагменты).
- 1886 }

<sup>15</sup> «Eugenio Onjegin», preveo iz ruskoga Spiro Dimitrović Kotaranin. Zagreb, 1860.

<sup>16</sup> Не имея возможности привести здесь полностью библиографию переводов «Евгения Онегина» в югославской литературе, отсылаю читателей к вышеупомянутой работе профессора И. Бадалича и к весьма компетентному обзору в уже упоминавшемся предисловии М. Павича к изданию «Онегина» (Народна к ига. Београд, 1957). Данные, которыми я располагаю, особенно неполны в отношении славенской литературы.

- 1886 — Миливой Шрепель, Загреб (фрагмент).  
 1892 — Риста Одавич, Белград (целиком).  
 1909 — аноним, Белград (фрагмент).  
 1909 — Иван Приятель, Любляна (целиком).  
 1920 — аноним, Белград (фрагмент).  
 1924 — Риста Одавич, Белград (целиком).  
 1937 — Миодраг Пешич, Белград (фрагмент).  
 1949 — Божидар Ковачевич, Белград (фрагмент).  
 1956 — Джордже Сталев, Скопле (целиком).  
 1956 — Томислав Прпич, Загреб (целиком).  
 1957 — Милорад Павич, Белград (целиком).

Хотя все эти переводы нельзя рассматривать изолированно по отношению ко всей югославской территории, однако классификация по литературным центрам показывает нам степень интереса к этому пушкинскому произведению среди югославов в каждой области в определенное время; часто этот интерес определяется не только популярностью самого поэта, но и степенью влияния русской культуры на отдельные литературные центры (особенно это касается сербов и хорватов).

Как видно из хронологического обзора переводов, импульсом для них послужил перевод хорватского литературного центра (Шпиро Димитрович, Загреб, 1860). Это исторически вполне логично и понятно. В молодой хорватской литературе Пушкин, кумир не одного литературного поколения, был уже в то время своим, родным. Еще деятели иллиризма, воодушевленные идеями панславизма и национальной независимости, выступая против насильственно проводимой германизации и мадьяризации, провозгласили великого поэта своим учителем. Таким образом, интерес к Пушкину и его произведениям, как и огромная популярность поэта, имели уже известные традиции в Хорватии 60-х годов прошлого столетия.<sup>17</sup>

Далее, в течение столетия активность в переводах «Евгения Онегина» менялась; в зависимости от литературных центров в ней могут быть отмечены две фазы.

До 1900 года впереди идет Хорватия: Шпиро Димитрович (1860), Иван Трнски (1861 и 1881), Томислав Маретич (1874), Миливой Шрепель (1886). Из них целиком перевели роман лишь Димитрович и Трнски (1881).

После 1900 года на первое место выдвигается Сербия. Следует отметить, что первый перевод «Евгения Онегина» у сербов был сделан еще в 80-е годы прошлого века: в 1885 и 1886 годах Йован Симеонович-Чокич переводит две первых главы, а уже в 1887 году Риста Одавич — весь роман. За ними следуют два анонима (1909 и 1920),<sup>18</sup> вновь Риста Одавич (1924), Миодраг Пешич (1937), Божидар Ковачевич (1949) и Милорад Павич (1957). Из них полностью роман перевели лишь Одавич и Павич.

Бросается в глаза тот факт, что переводы в основном появлялись в отрывках, публиковавшихся обычно в различных журналах и газетах.<sup>19</sup> Это понятно, если прежде всего принять во внимание время появления пере-

<sup>17</sup> Ср.: J. V ad a li ć. Ruski pisci u književnosti hrvatskog preporoda. Zagreb, 1946. См. также: A. V a g a s. 1) Književnost ilirizma (op. cit., index 313); 2) Književnost pedesetih i rezedesetih godina. JAZU, index 214, Zagreb, 1960.

<sup>18</sup> Об одном из двух анонимов, который подписывается «У», Милорад Павич в упомянутом предисловии к последнему белградскому изданию «Онегина» высказывает предположение, что им может быть Милан Чурчин, однако не дает никаких доказательств для подтверждения своей гипотезы.

<sup>19</sup> Так, например, в загребском журнале «Vienac zabavi i pouci» за 1886 год опубликована «Песня девушек» (перевел Миливой Шрепель), причем своеобразной иллюстрацией к переводу был параллельно напечатанный оригинальный текст.

водов. Это в основном период, когда формировалась и постепенно развивалась оригинальная и переводная новая литература югославских народов. Издательский труд был значительно сложнее, чем теперь, и часто был связан с большими материальными затруднениями отдельных частных издателей. Даже сама инициатива по изданию подобного капитального произведения, каким является «Евгений Онегин», достойна всяческого уважения, не говоря уже о повторных изданиях, которые были, естественно, редким событием. Несомненно, сравнительно легче и проще было печатать отдельные фрагменты в журналах; наличие же нескольких повторных полных изданий ярко свидетельствует о постоянном, неуклонно возрастающем интересе публики к этому произведению, притом в разные времена. Разумеется, что в новое время число переводов увеличивается, а то, что их число растет и дальше, убедительно показывает хронологический обзор.

Во всей югославской литературе в настоящее время существует восемь полных переводов (хотя, как будет показано, и они не лишены недостатков); из них три созданы в последние годы. Хронологически эти переводы появились в следующем порядке: Шпиро Димитрович (Загреб, 1860), Иван Трнски (Загреб, 1881), Риста Одавич (Белград, 1892 и 1924), Иван Приятель (Любляна, 1909), Джордже Сталев (Скопье, 1956), Томислав Прпич (Загреб, 1956) и Милорад Павич (Белград, 1957).

Все эти переводы сыграли, каждый в свое время, положительную роль, однако их художественная ценность (кроме словенского, македонского и последнего сербохорватского) часто несоизмерима с их значением. К тому же эта ценность, если сравнивать отдельные переводы, далеко не одинакова.

Характерной особенностью художественной формы «Евгения Онегина» является так называемая «онегинская строфа», форма, которую поэт создал специально для этого произведения. Онегинская строфа — это вечная проблема, извечный камень преткновения для переводчиков. Она состоит из четырнадцати стихов по схеме АВАВ (перекрестная рифма), ССDD (парная рифма), ЕFFE (опоясывающая рифма), GG (парная рифма), при этом буквы АСЕ обозначают девятисложный, а остальные восьмисложный стих ямбического размера. Подобный порядок рифм и слов рассчитан в первую очередь на разрушение монотонного стихотворного рассказа. Ритм всего построения определяется четырехстопным ямбом.

Каковы возможности передачи подобного произведения с сохранением всех его поэтических качеств?

Содержание все переводчики передают более или менее успешно. В отдельных переводах можно увидеть незначительные отступления от оригинала или искажение мысли поэта вследствие недостаточного понимания духа языка, однако в целом ни в одном из этих случаев основная поэтическая мысль не извращается. Некоторые места вызывают замечания, иногда даже многочисленные, но в отношении к переводу в целом и к его роли в данный исторический период в литературах Югославии эти замечания незначительны и несущественны.<sup>20</sup>

Между тем в отношении формы дело обстоит иначе. Почти каждый переводчик поступает с онегинской строфой по-своему. Так, например,

<sup>20</sup> Например, до сих пор спорно, как следует перевести слово «ягода» в «Песне девушек» — просто «*jagoda*» (сербохорв. «земляника»), в соответствии с выражением оригинала, или «*malina*», в соответствии со смыслом описания («В саду служанки на грядках Сбирали ягоды в кустах»).



Шпиро Димитрович переводит пушкинский стих народным десятисложником, к тому же без рифмы. Иван Трнски и Риста Одавич переводят хорейским восьмисложником и весьма вольно. Милорад Павич сохраняет важнейшие элементы оригинала: четырехстопный ямб и порядок рифм, однако последовательно заменяет мужские рифмы женскими. Полностью верно передают форму оригинала лишь Иван Приятель, Джордже Сталев и Томислав Прпич.

Рассмотрим некоторые переводы, чтобы выяснить, в какой степени они выполнили свою задачу.

Первый перевод Шпиро Димитровича (1860), несмотря на недостатки, заслуживает всяческого внимания, как всякая первая попытка. Однако хотя он, несомненно, сыграл важную роль, нельзя обойтись без замечаний. Похвальное желание переводчика — сочетанием онегинской строфы и народного десятисложника без рифмы приблизить текст к читателям — можно понять, но нельзя оправдать. Проявив терпимость к модной в то время приверженности переводчика духу народной поэзии, следует указать, что его метод перевода показывает полное отсутствие эстетического чувства и понимания поэтической техники. Не следует забывать, что почти двумя десятилетиями ранее этого перевода появилась замечательная поэма Ивана Мажуранича «Смерть Смаил-аги Ченгича» (1846), которая является блестящим образцом поэзии как по форме, так и по содержанию.

Иван Трнски, некогда видный и известный, а ныне полузабытый деятель хорватской литературы, средний поэт, выбрал хорейский восьмисложник как наиболее удобную форму для перевода «Евгения Онегина». Поэтому роман потерял свою главную особенность — свою красочность, одним махом был лишен духа и формы. Переводя строку за строкой, последовательно укорачивая стих, Иван Трнски лишил произведение его поэтической силы. Сближенная тонально с ритмом лирической народной песни, звучащая ясно, легко и шаловливо даже в местах трагических, онегинская строфа в стилизации Трнского более не могла претендовать на широкое эпическое повествование.<sup>21</sup>

По стопам Трнского идет Риста Одавич, в свое время также известный сербский поэт и общественный деятель. Его перевод «Онегина», имевший даже два издания (1892, 1924), — типичный пример поэтического дилетанства. Уже выбор размера — хорейский восьмисложник, как и у Трнского, очень неудачен и свидетельствует о полном отсутствии вкуса у переводчика. Беззастенчивость, с которой игнорируется текст оригинала, полная произвольность перевода свидетельствуют о претенциозности переводчика и в наше время не находят объяснения. Читая текст в интерпретации Одавича, неискушенный читатель может лишь удивляться: где же в этом произведении то, что волнует мир в течение десятилетий?

Словенский перевод 1909 года, принадлежащий Ивану Приятелю, известному словенскому писателю и историку литературы, отличается точностью выражений, плавностью фразы и адекватностью перевода, чему во многом способствовали сохранение облика онегинской строфы и ее последовательное применение. Почти то же самое можно сказать и о новом переводе Джорджа Сталева. Однако, оценивая эти переводы в сравнении с остальными югославскими переводами, следует иметь в виду тот факт, что словенский и македонский языки, благодаря специфичности своих акцентологических систем, по отношению к русскому языку находятся в лучшем положении, нежели сербохорватский.

<sup>21</sup> Однако следует отметить, что перевод Трнского нравился современникам — см. отзыв выдающегося хорватского поэта Прерадовича (Gradja JAZU, Zagreb, 1897, 1).

Невольно обращает на себя внимание необычная близость по времени двух последних переводов — Томислава Прпича (1956) и Милорада Павича (1957), возникших на одной языковой территории (сербохорватской). Чем вызвано это почти одновременное появление сербского и хорватского переводов? Причины появления двух переводов на одном языке — не локальные побуждения и менее всего побуждения шовинистического порядка. Объясняется это прежде всего качеством и возможностями передачи образов и более всего диалектической необходимостью, возникшей в связи с прогрессом в области переводов. Само появление двух однородных переводов в одно время — не что иное, как только случайное совпадение.

Перевод Томислава Прпича, без сомнения талантливый переводчик, обладающего чувством образа, фразы и ритма, все же не лишен серьезных недочетов. Желая как можно ближе передать оригинал, Прпич настолько придерживался источника, что достигал совсем противоположного эффекта. Первичный облик произведения передан у него до тонкости. Между тем, когда речь идет о переводе на сербохорватский язык поэтического текста, в котором фигурирует большое количество односложных (мужских) рифм, слепое следование оригиналу неизбежно приводит к снижению качества перевода. Иначе говоря, как видно из расположения восьмисложного стиха в схеме 9898—9988—9889—88, в онегинской строфе доминирует односложная рифма, а таких рифм в словах сербохорватского языка мало. Сохранение любой ценой мужской рифмы неминуемо приводит к повторению, к монотонности, что практически означает обеднение поэтического текста. Это ярче всего и иллюстрирует попытка Прпича.

Последний перевод, очевидно долго и заботливо подготавливавшийся Павичем, был необходим после перевода Прпича. Он до сего времени является и лучшим сербохорватским переводом. Милорад Павич, молодой публицист и талантливый переводчик с тонким пониманием музыки пушкинского стиха и способностью глубокого проникновения в поэтический замысел, сумел найти компромиссное решение, которое в данном случае отвечает действительной необходимости и во всяком случае в настоящее время полностью оправдано. Последовательной заменой мужских рифм Павич полностью отбросил восьмисложный стих (иногда оставляя его там, где он был действительно оправдан и возможен), достигнув таким образом шлифованного ритма оригинала, передал всю поэтичность пушкинского текста, учтя опыт своих предшественников. Его перевод читается легко, не натянуто, рассказ течет эпически спокойно, сохраняя одновременно свое лирическое звучание. Некоторые места переведены столь мастерски, что их можно отнести к лучшим образцам переводной югославской литературы (строфа «Берегам Тавриды» из путешествия Онегина). За исключением незначительных замечаний, текст воспринимается как оригинал.<sup>22</sup> С уверенностью можно сказать, что если словенский и македонский переводы являются лучшими, то рассмотренный выше наиболее близок читателям,ворящим на сербохорватском языке.

Однако кроме проблемы формы и содержания, существует еще один вопрос, который возникает, когда речь идет о югославской интерпретации «Евгения Онегина». Хотя это и кажется странным, однако в Югославии на сегодняшний день не существует полного перевода этого романа. Действительно, кроме привычных глав (I—VIII), которые составляют основу всех переводов, «Евгений Онегин» содержит в оригинале еще и так назы-

<sup>22</sup> См. об этом: М. Живанчевич. Нови превод «Евгенија Онегина», НИН, Београд, 1957, декабрь.

ваемое «Путешествие Онегина» (первоначальная восьмая глава романа), затем примечания Пушкина и, наконец, отрывки уничтоженной Пушкиным десятой главы. Большинство переводчиков опускает авторские примечания, хотя они и являются составной частью текста. Многие (Димитрович, Одавич, Сталев, Прпич) не переводят «Путешествия Онегина». Последний перевод Павича исправляет эти недостатки, и это первый полный югославский перевод, хотя и он не дает десятой главы. Десятая глава никогда не переводилась.<sup>23</sup>

Таким образом, югославским читателям осталась неизвестна та глава «Евгения Онегина», которая найдена в зашифрованном виде в бумагах поэта, глава, представляющая последнее звено в цепи романа и имеющая чрезвычайно большое значение в развитии замысла романа и в изучении творческих планов поэта.

Отмечая столетний юбилей перевода «Евгения Онегина» Пушкина в Югославии, следует ответить еще на один вопрос, естественно возникающий: какова реальная необходимость постоянной работы над переводом подобного произведения? Эта необходимость обусловлена тем, что до сих пор не существует совершенного перевода. Качество перевода, без сомнения, растет с каждым новым опытом. Об этом свидетельствует последний результат, но и это еще не предел. Каждое время приносит своего переводчика.

---

<sup>23</sup> О необходимости ввести десятую главу в югославский перевод «Евгения Онегина» автор настоящей статьи писал в уже названной статье в журнале «Izgaz» (1958, № 7—8, стр. 137—139).



Н. А. РАЕВСКИЙ

## В ЗАМКЕ А. Н. ФРИЗЕНГОФ-ГОНЧАРОВОЙ

В начале тридцатых годов, находясь в Праге, я получил сведения о том, что где-то в Словакии проживает родная дочь Александры Николаевны Гончаровой, в замужестве баронессы Фогель фон Фризенгоф. Мне назвали и ее фамилию — герцогиня Лейхтенбергская. Адреса я не спросил — рассчитывал сейчас же найти его в Готском альманахе. К моему удивлению, нужной мне герцогини Лейхтенбергской там не оказалось. У меня были, однако, основания верить тому, что дочь Александры Николаевны действительно жива и изредка переписывается с одной дальней русской родственницей. Год шел за годом. Настоящей фамилии герцогини, которую от меня, несомненно, скрывали, мне не удалось узнать. Наконец, в 1936 году, перелистывая «Русский архив», я наткнулся на заметку П. И. Бартенева, где говорилось о том, что у Александры Николаевны была единственная дочь-красавица, которая вышла замуж за герцога Ольденбургского.<sup>1</sup> В Готском альманахе на этот раз я без труда нашел нужные мне сведения.

Баронесса Наталья Густавовна Фогель фон Фризенгоф родилась в 1854 году в Вене и в 1876 году вышла замуж за герцога Антуана Гонтье Фредерика Элимара Ольденбургского (1844—1885). Проживает в замке Бродяны (Brod'any) у Вельке Белице (Vel'ké Bielice).

Надо было торопиться — дочери Александры Николаевны шел девятый десяток. Никто из моих иностранных знакомых, принадлежавших к тому же кругу, что и герцогиня Наталья,<sup>2</sup> лично ее не знал. Престарелая владелица словацкого замка давно уже жила в нем безвыездно.

В конце концов я решил не дожидаться больше рекомендаций и 24 декабря 1936 года написал в Бродяны письмо,<sup>3</sup> в котором просил Наталью Густавовну сообщить мне, не имеется ли в ее архиве каких-либо бумаг Пушкина или его жены. Наталью Николаевну ее племянница могла видеть, лишь будучи маленькой девочкой, но все же я писал: «Avec une émotion profonde je pense que peut-être Vous avez vous même connu Madame Votre tante et que sans doute, en ce cas elle a laissé quelques souvenirs personnels dans Votre mémoire».<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> «Русский архив», 1908, кн. III, стр. 296. Мне не были в то время известны другие упоминания о дочери Александры Николаевны, имевшиеся в пушкиноведческой литературе.

<sup>2</sup> Готский альманах, впрочем, именует ее лишь «Seignuresse de Brodiany» («Владелицей Бродяны»), так как брак считался морганатическим. Сын Натальи Густавовны, родившийся в 1878 году, не наследовал титул отца и получил от австрийского императора фамилию граф фон Вельсбург.

<sup>3</sup> Архив ИРЛИ, ф. 374, № 46 (отпуск).

<sup>4</sup> «С глубоким волнением я думаю о том, что, быть может, Вы сами знали Вашу тетку и что в этом случае она, без сомнения, оставила какие-либо личные воспоминания в Вашей памяти» (франц.).

Больше всего меня, конечно, интересовали воспоминания Натальи Густавовны о ее матери, но в первом же письме касаться этого вопроса было неудобно.

Ответ долго не приходил. Я думал уже, что, за отсутствием соответствующей рекомендации, его вообще не будет. Наконец, я получил из Бродян письмо от 28 января 1937 года,<sup>5</sup> первые же строки которого очень меня огорчили. Внук герцогини, молодой тогда венгерский граф Георг Вельсбург писал мне: «La réponse à votre très aimable lettre a été en retard à cause de la mort subite de ma grand'mère la Duchesse d'Oldenbourg le 9 janvier. Ma grand'mère a toujours voulu vous remercier elle même en disant qu'elle regrettait beaucoup de ne pas pouvoir vous donner des informations sur Pouchkine parce que sa mère n'avait jamais voulu parler de ce sujet délicat concernant sa soeur.

«Moi même je regrette de ne pas savoir plus parce que je m'intéresse beaucoup à ce grand homme».<sup>6</sup>

Навсегда исчезла надежда встретиться с дочерью Александры Николаевны или по крайней мере списаться с ней. К сожалению, если кто-либо из пушкинистов и знал о существовании деревни и замка Бродяны, то никто не позаботился вовремя о том, чтобы повидать и порасспросить его владелицу. Наталья Густавовна прожила там большую часть своей долгой жизни.

Все же письмо Вельсбурга содержало интересное сообщение — Александра Николаевна никогда не говорила с дочерью о Пушкине. К этому факту я еще вернусь ниже.

В том же письме правнук Александры Николаевны упоминал о том, что у него хранится альбом, «contenant des aquarelles représentant les familles de Pouchkines, Lanskouy etc.».<sup>7</sup>

Все это было чрезвычайно интересно. Я обменялся с Вельсбургом несколькими письмами. В одном из них (8 марта 1937 года)<sup>8</sup> он сообщил мне, что альбом принадлежал его прабабке и что в нем имеются портреты жены и сыновей Пушкина, но не его самого.

В следующем, 1938 году я получил приглашение посетить Бродяны во время пасхальных каникул. Готовясь к поездке, я тщательно обдумал, о чем можно говорить в Бродянах и о чем следует умолчать в семье потомка Александры Николаевны. Моей целью было проложить дорогу в этот замок для будущих исследователей-пушкиноведов.

Автомобиль бежит по опрятному шоссе и переезжает через мутную в эту пору, узкую речку Нитру. Долина между двух холмов. На отлогом склоне — белая часовня, кажется протестантская.

«— Наш фамильный склеп. Там похоронена и бабушка...

— А где покоится ее мать, Александра Николаевна?

— Тоже там... Потом я покажу Вам и склеп».

<sup>5</sup> Архив ИРЛИ, ф. 374, № 51.

<sup>6</sup> «Ответ на Ваше весьма любезное письмо задержался вследствие внезапной смерти моей бабушки, герцогини Ольденбургской, 9 января. Моя бабушка все хотела лично Вас поблагодарить и сказать, что она очень сожалеет, не имея возможности сообщить Вам сведения о Пушкине, так как ее мать никогда не хотела говорить на эту деликатную тему, касающуюся ее сестры.

«Я лично сожалею о том, что не знаю больше, так как я очень интересуюсь этим великим человеком» (франц.).

<sup>7</sup> «Содержащий акварели, изображающие членов семей Пушкиных, Ланских и др.» (франц.).

<sup>8</sup> Архив ИРЛИ, ф. 374, № 51.

Первый результат моей поездки... Я, конечно, узнаю и дату смерти Александры Николаевны. До сих пор было лишь известно, что в 1887 году она была еще жива.<sup>9</sup> О месте погребения сведений тоже не было.

Вот и ворота старого парка. Они открыты. Очень напоминают знакомый всем по фотографиям въезд в Ясную Поляну — те же белые приземистые столбы. Машина останавливается у подъезда. Открывается тяжелая дубовая дверь со старинным железным кольцом, вставленным в львиную пасть. Я не без волнения переступаю порог замка, в котором жила и умерла Александра Николаевна.

Вельсбург представляет меня своей жене и ее матери. Дамы приветливо встречают русского гостя. Родной язык хозяек — немецкий, но я владею им неуверенно и прошу разрешения говорить по-французски.

Меня проводят в большую гостиную. Пока мы идем в глубь комнаты, успеваю заметить, что стены сплошь увешаны портретами и гравюрами. Мебель старинная. Массивные керосиновые лампы. Свечи в бронзовых бра. Электричества в глухой словацкой деревне нет. Общий разговор за рюмками вина продолжается недолго. Любезные хозяева знают, что мне не терпится увидеть реликвии madame Alexandrine. Стол очищен. Вельсбург кладет передо мной небольшую, отлично сохранившийся альбом в зеленом кожаном переплете с тисненной золотом надписью «Album». Прошу разрешения делать заметки<sup>10</sup> и принимаюсь рассматривать портреты. На мой взгляд, все они сделаны одной и той же рукой. Карандаш очень уверенный, довольно искусная расцветка акварелью, сходство большое, но все-таки это работа очень грамотного любителя, а не художника.

Я насчитал 29 портретов — каждый на отдельном листе. Они исполнены в 1851—1857 годах (большинство сделано в 1852 году, вероятно в связи с предстоявшим отъездом Александры Николаевны за границу). Почти на всех листах указаны имена и фамилии изображенных лиц, на многих имеются автографы. Преобладают портреты членов семей Пушкиных, Гончаровых и Ланских (15 листов), рисованные (за исключением одного) в 1852 году: Н. Н. Ланская, все ее дети от обоих браков, генерал П. П. Ланской, братья Александры Николаевны — Дмитрий, Иван и Сергей Николаевичи.

Портреты детей поэта представляют известный интерес, так как их облика в этом возрасте мы не знали. Карандашный портрет сорокалетней Натальи Николаевны с ее автографом («Natalie Lanskou») не особенно удачен. Красивое лицо вышло напряженным, и сходство, как кажется, не схвачено.

К 1857 году относятся сделанные в Вене портреты барона Густава Фризенгофа, его сына от первого брака Григория и дочери Натальи — в то время трехлетней девочки в длинных кружевных панталончиках. Остальные портреты 1852 года изображают петербургских знакомых Александры Николаевны: князя П. А. Вяземского (? — портрет не подписан), генерала князя Н. А. Орлова и других. Интересен портрет «португалки» графини Юлии Павловны Строгановой, урожденной д'Альмейда, с ее подписью: «Julie comtesse Stroganoff — ce jour heureux».<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Как я выяснил впоследствии, дата смерти баронессы А. Н. Фогель фон Фризенгоф была приведена в справочнике «Taschenbuch der freiherrlichen Häuser» («Карманная книга баронских родов»), издававшемся в Готе. Это издание, видимо, не было использовано пушкинистами.

<sup>10</sup> Записная книжка, бывшая со мной в Бродянах, хранится в Архиве ИРЛИ, ф. 374, № 18.

<sup>11</sup> «Графиня Юлия Строганова — этот счастливый день» (франц.).

Престарелый Ксавье де Местр (1851) также поставил свою подпись под портретом.

На многих листах альбома имеется надпись рисовальщика «N. Lanskoj». На некоторых «Н. Ланск...» с энергичным росчерком.<sup>12</sup>

Закрыв альбом, собираюсь просить разрешения обойти гостиную, но Вельсбург спрашивает меня, не хочу ли я еще посмотреть альбомы Ксавье де Местра. Знаю, что работ этого писателя-художника известно очень мало: миниатюра на кости — портрет Н. О. Пушкиной, несколько миниатюр и портрет князя Д. И. Долгорукого в России,<sup>13</sup> две незначительные акварели, хранящиеся в одном из французских провинциальных музеев, — вот и все. Французские исследователи предполагали, что художественное наследие Ксавье де Местра надо искать в Советском Союзе.

И вот в этом замке на берегу Нитры передо мной восемь больших альбомов, полных карандашных рисунков, акварелей, набросов пером, карикатур. Все прекрасно сохранилось. Ни один лист не помят. Наскоро просматриваю альбомы и вижу, что передо мной подлинное сокровище. Целая галерея портретов, и среди них много русских. Узнаю соотечественников по типу лиц и по военным мундирам. Есть немало и подписанных изображений — среди них небольшой акварельный портрет с надписью под ним «M. Tourguenieff, 1825», два женских портрета с аннотацией «G. Gagarine», несколько портретов красивой молодой женщины m-me Pachkoff (один из них с отметкой «1825, Petersbourg») и много других. Особенно много карандашных набросков девочки, помеченных буквами «N. F.». Это, несомненно, будущая баронесса Наталья Ивановна Фогель фон Фризенгоф, урожденная Иванова,<sup>14</sup> первая жена барона Густава, впоследствии женившегося на Александре Николаевне Гончаровой. Ксавье де Местр, очевидно, поставил эти буквы позднее — уже после выхода ее замуж.<sup>15</sup>

Хозяйева меня не торопят. Один за другим перелистываю альбомы, делаю заметки. Сотни и сотни прелестных тонких рисунков, по-французски изящных, немного холодных. Не все одинаково интересно. Итальянские акварели (1825—1839), сделанные в старости<sup>16</sup> и занимающие два альбома, манерны и скучны. У де Местра нет дара пейзажиста — он портретист и карикатурист. Думаю о том, что когда-нибудь специалисты по иконографии александровских и николаевских времен изучат эти бродяжские альбомы. Материалов здесь хватит на ряд монографий.

Один портрет особенно заслуживает внимания. Небольшой, тщательно сделанный карандашный рисунок в том же альбоме, что и M. Tourguenieff. Под ним подпись «X. M. 24 Mai» (года нет). Молодой человек лет 18—20. Голова в профиль влево и верхняя часть туловища. Густые курчавые во-

<sup>12</sup> Автором портретов несомненно является племянник генерала П. П. Ланского, Николай Павлович Ланской (о нем см.: Б. Л. Модзалевский. Пушкин. 1929, стр. 394; кн. А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. 1, изд. 2. СПб., 1895, стр. 302, № 57). Я даю довольно подробное описание бродяжского альбома Александры Николаевны, так как для советских исследователей он пока недоступен.

<sup>13</sup> О миниатюрах работы Ксавье де Местра см. в кн.: Н. Врангель. Миниатюра в России. СПб., 1909; портрет кн. Д. И. Долгорукого (1819) воспроизведен в кн.: «Старые годы», 1912, № 7—9, вкл. к стр. 11.

<sup>14</sup> Во многих источниках первая жена Фризенгофа именуется Н. И. Соколовой. В Бродяжках я с несомненностью выяснил, что ее девичья фамилия была Иванова.

<sup>15</sup> Рисунки с пометкой «N.F.» не могут изображать Наталью Густавовну Фогель фон Фризенгоф, так как она родилась через два года после смерти Ксавье де Местра. Один портрет «N.F.» датирован 15/27 августа 1815 года.

<sup>16</sup> Ксавье де Местру (1768—1852) в это время было 62—76 лет.

лосы, чуть одутловатые губы. Очень похож на Пушкина, но уверенности у меня нет — портретов поэта в этом возрасте мы не знаем. Предупреждаю Вельсбургов о том, что этот рисунок, быть может, представляет очень большую ценность, и закладываю в альбом закладку с пометкой «Pouchkine (?)».

В одном из альбомов замечаю еще одну акварель — полукарикатуру, возможно изображающую Пушкина. Молодой человек с бакенбардами в зеленом сюртуке ( $\frac{3}{4}$  фигуры). Здесь я совсем уже не уверен в атрибуции и хозяевам замка ничего не говорю. На всякий случай все же вкладываю закладку, написав на ней «Pouchkine (??)».

Когда-нибудь специалисты внимательно просмотрят и рисунки, изображающие каких-то детей. Художник, несомненно, знал Пушкина мальчиком (до поступления в лицей), а среди датированных бродяжеских рисунков есть очень ранние (например, спящий кот с надписью «Vassili Ivanovitsch — 1810»).

Приходится расстаться с альбомами — времени очень мало, а я только начал осмотр здешних сокровищ.

«— Теперь я Вам покажу снимок madame Пушкиной и моей прабабушки, а Вы скажете, известен он Вашим специалистам или нет».

Георг Вельсбург подает мне большой, отлично сохранившийся дагерротип. В одинаковых платьях и чепцах сидят рядом Наталья Николаевна и Александра Николаевна. За ними и сбоку трое детей Пушкиных — сыновья в мундирах пажей и девочка-подросток (младшая дочь Наталья). Одна из девочек Ланских прижалась к коленям матери. Дагерротип снят не в ателье, а в комнате (видны книжные шкафы) и, по всей вероятности, относится к 1850 или, самое позднее, к 1851 году.<sup>17</sup> Наталье Николаевне было тогда 38—39 лет.

Беру большую лупу и долго смотрю на генеральшу Ланскую. Прекрасные, тонкие, удивительно правильные черты. Милое приветливое лицо — любящая мать, гордая своими детьми. Невольно вспоминаются задушевные пушкинские письма к жене. На известных до сих пор изображениях Натальи Николаевны, как мне кажется, нигде не передан по-настоящему этот немудреный, но живой и ласковый взгляд, который сохранила серебряная пластинка.

У ее сестры заострившиеся черты стареющей барышни. Тоже очень живое лицо, но совсем иное, чем у Натальи Николаевны. Пристальный, умный, но жестковатый взгляд. От этой сорокалетней особы можно ждать острого слова, но вряд ли услышишь ласковое.

«— Хороший дагерротип, не правда ли?»

«— Прекрасный. . . он нигде не воспроизводился, и, насколько, я знаю, это самый ранний снимок Пушкиной-Ланской».

«— Для Вас, вероятно, будет интересен и этот альбом. Коллекция визитных карточек — ее составил брат моего прадеда Фризенгофа,<sup>18</sup> когда служил в посольстве в Петербурге».

Перелистываю большой альбом, в котором аккуратно наклеено множество карточек. Он действительно интересен, как интересно все в этом замке воспоминаний. Времена уже послепушкинские — начиная с 1839 года,<sup>19</sup> но здесь весь большой свет столицы — тот самый, который

<sup>17</sup> А. А. Пушкин был выпущен из Пажеского корпуса в офицеры в 1811 году.

<sup>18</sup> Барон Адольф Фогель фон Фризенгоф; биографических сведений о нем пока не опубликовано.

<sup>19</sup> Судя по этому, коллекция составлена не Адольфом, а Густавом Фризенгофом, который получил назначение в Петербург именно в 1839 году.



знал поэта. И русская знать, и дипломатический корпус, и кое-кто из писателей, в том числе Жуковский. Есть и карточка отца Пушкина — Сергея Львовича. По просьбе хозяйки я делаю над ней карандашную надпись — русской азбуки никто в бывшем замке Александры Николаевны не знает.

Мы, наконец, встаем и начинаем обход гостиной. На стенах целая галерея портретов — величества, высочества, светлости, кавалерийские генералы в кирасах, молодые дамы и важные старухи прошлого и позапрошлого столетий. Я внимательно слушаю объяснения правнука Александры Николаевны, но с нетерпением жду, когда же мы перейдем к его русским предкам и родственникам.

Вот и они... Александра Николаевна привезла с собой много акварелей и миниатюр. Почти все очень хорошо сделаны. Некоторые надписаны известными художниками того времени. Все знакомые лица, но видишь их по-новому. Ни один из этих портретов не был опубликован. Вот Афанасий Николаевич Гончаров — благообразный старик в синем фраке (акварель работы Witt). Вот отец и мать Александры Николаевны — Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы, сама Александра Николаевна — еще молодая и миловидная, почти красивая девушка. Прелестный акварельный портрет тридцатилетней Натальи Николаевны (1842).<sup>20</sup>

Меня подводят к столику перед камином. На нем стоит очень хороший акварельный портрет молодого офицера в гусарском мундире, работы Hampeln. «Serge Gontcharoff», — говорит графиня Вельсбург, но это не Сергей, а Иван Николаевич Гончаров, служивший одно время в лейб-гвардии гусарском полку.

Хозяйка замка спрашивает меня, не может ли акварели повредить тепло от камина. С удовольствием вижу, что бродяжные реликвии в надежных, заботливых руках. Все стекла тщательно протерты, нигде ни пылинки. Я заранее чувствую, как их выявлению обрадуются специалисты-пушкинисты. Когда в Советском Союзе обнаруживают новый портрет кого-либо из людей, близких к Пушкину, его тщательно воспроизводят, издадут с подробными комментариями. Здесь же передо мной целый семейный музей никому неведомых изображений.

Продолжаем осмотр. Среди портретов замечаю на стене небольшой гипсовый барельеф под стеклом с русской надписью: «Князь Петр Мещерский. Рим MDCCCXXXV». Один за другим мне показывают три портрета Натальи Ивановны Фогель фон Фризенгоф: большую акварель, надписанную «L. Fischer, 1844», миниатюру и большой парадный портрет масляными красками. На них изображена высокая красивая брюнетка с умным лицом южного и притом нерусского типа. Она разительно похожа на Ксавье де Местра, большой неподписанный портрет которого висит здесь же в гостиной. Настолько похожа, что когда я, с разрешения хозяев, беру со стола акварель Фишера и подношу к портрету старика-писателя, все со мной соглашаются — отец и дочь. Итак, все противоречивые сведения о происхождении Натальи Ивановны оказываются неверными. В Бродянах до наших дней сохранилось устное предание о том, что отцом Н. И. Ивановой был император Александр I. Русские источники почему-то считали ее внебрачной дочерью Ивана Александровича Загряжского. Таким образом, Александре Николаевне она будто бы приходилась теткой, а жене де Местра, Софии Ивановне, — единокровной сестрой. В действительности никакого родства между ними не было. Софья Ивановна просто удочерила внебрачную дочь своего мужа.

<sup>20</sup> Он подписан, но я, к сожалению, не отметил фамилии автора портрета.

Я рассказываю ее историю Вельсбургам, не боясь их задеть — первая жена барона Густава им не родственница, но неожиданное решение загадки ее происхождения их все же интересует. По этому случаю хозяин замка достает из шкафа одну из книг, «принадлежащих де Местру»: Стихотворения В. Жуковского, т. 1, 1824. Списываю дарительную надпись (по-русски): «Графу Местру от Жуковского. В знак душевного уважения». Вельсбург прибавляет: «У нас есть и портрет Жуковского — увидите в столовой».

Все больше и больше увлекают меня бродяньские реликвии. Чего-чего здесь только нет... Русские хозяйки замка давно умерли, недавно похоронили и полурусскую, но все осталось на своих местах — сохранились даже карандашные надписи на косяке дверей из большой гостиной в малую. Здесь, по принятому в замке обычаю, отмечался черточкой рост родственников и близких знакомых. Мне показывают отметку с надписью «Nathalie Lanskou». Точный рост Натальи Николаевны — такой отметки, вероятно, сейчас не найти больше нигде в мире. Очень мне хочется попросить метр и измерить, но на первый раз не решаюсь.<sup>21</sup>

Переходим в малую гостиную, продолговатую уютную комнату. Друг против друга большие парные портреты супругов Фризенгоф (масло) работы их дочери Натальи Густавовны. Оба уже глубокие старики. Александре Николаевне, должно быть, за семьдесят. Из-под черной наколки виднеется белый старушечий чепчик. Умное, строгое, но успокоившееся лицо. Нет в глазах прежней пронзительности. В кресле сидит очень степенная, важная старушка-баронесса, теща герцога Элимара Ольденбургского. Поэт здесь решительно не при чем. Даже портрета его нет в замке — о рисунке де Местра, если он и изображает Пушкина, Александра Николаевна, вероятно, вообще не знала.

А изображение его убийцы — Дантеса имеется. Мы идем в столовую, и я сразу замечаю его портрет (сепия?), помещенный на видном месте. Портрет исполнен в 1844 году художником S. Wagner. Внизу размашистая подпись «В-on G. de Heckeren». Сидящие за столом не могут не видеть молодого еще Дантеса (ему 32 года).

Большой литографированный портрет В. А. Жуковского с его русской подписью «Жуковский» висит на той же стене. На литографии имеется печатная надпись: «Nach der Natur gez. von Krüger. Lith. von Mayer».<sup>22</sup> Есть также литография с портрета де Местра, висящего в гостиной, и ряд хороших «русских гравюр» (портретов и групп), как их издавна зовут в замке. Они принадлежали Александре Николаевне, но, по словам Вельсбурга, уже ее дочь не помнила, кого они изображают. Большинство гравюр работы Klichuberg, издатель Hörelisch. Все, кроме одной, исполнены в 1839—1844 годах.

За обедом говорим о покойной герцогине Наталье. Дочь, по-видимому, во многом была похожа на мать. Образованный и содержательный человек с большими художественными и литературными интересами. Живописи училась, кажется, в Вене и писала как настоящая портретистка. Манера у нее старомодная, но более чем грамотная. Очень любила общество художников и писателей. До глубокой старости ездила верхом. Мне показали фотографию — престарелая Наталья Густавовна сидит на коне по-мужски. Пристальный взгляд, как у матери на дагерротипе 1850—1851 годов, но лицо доброе. Говорят, она и на самом деле делала немало добра жителям Бродянь. Но чудаковата была *seigneuresse de Brodiány*, по

<sup>21</sup> Насколько помню, на косяке был отмечен также рост кого-то из детей Пушкина.

<sup>22</sup> «Рисовал с натуры Крюгер. Литографировал Майер» (нем.).

крайней мере в старости. В замке у нее постоянно жило не меньше десятка больших собак. Есть в Бродянах и собачье кладбище с плитами, обсаженными барвинком, а поблизости от него герцогиня построила для себя какую-то странную не то оранжерею, не то стеклянную башню. Там зачастую и ночевала, находя, что в замке мало воздуха, причем горничной и зимой приходилось носить ей постельные принадлежности ночью по глубокому снегу. В России Наталья Густавовна никогда не бывала, но, кажется, от матери к доброй барыне перешли кое-какие крепостные навыки, весьма удивлявшие ее родственников в тридцатых годах нашего века.

После обеда прошу показать мне библиотеку. Раз в замке нет портрета Пушкина, вряд ли найдутся и его сочинения с автографами поэта, но проверить все-таки нужно. Для частного дома библиотека огромная — больше десяти тысяч томов. Она занимает целый зал, пристроенный к старому замку сравнительно недавно одним из Фризенгофов, собиравшим книги. Содержится библиотека в большом порядке. Есть и русский шкаф, но тщетно я ищу в нем старинные тонкие томики стихотворений Александра Пушкина. Нахожу только «посмертное издание» с изящным экслибрисом Натальи Густавовны (вид замка Бродяны) и ее печатью. Я пытался выяснить, принадлежало ли оно Александре Николаевне или первой жене Фризенгофа (последнее вероятнее), но никаких отметок не обнаружил. Сама герцогиня, вероятно, приобрела бы более новое издание. Русского языка она к тому же, по-видимому, не знала.

В этом же шкафу я нашел ряд русских учебных книг сороковых годов, рассказы А. О. Ишимовой, альбом литографий Петербурга и поваренную книгу 1848 года с вложенным в нее русским рецептом кулича. Там же стоял переплетенный том немецкого журнала. Вельсбург обратил мое внимание на напечатанный в нем перевод известного письма Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года о последних днях и кончине поэта.<sup>23</sup>

Итак, книг, подаренных поэтом Ази Гончаровой (а они несомненно у нее были), здесь нет. Жаль, конечно, но и отрицательный результат имеет некоторое значение. Не будь у нее неродственного сближения с Пушкиным, почему бы Александре Николаевне не увезти за границу дорогие пушкинские реликвии. И еще одно доказательство в пользу того, что рассказы княгини Вяземской, Араповой и других не выдумка: в разговоре со мной Вельсбург подтвердил то, что сообщил в письме от 28 января 1837 года. Герцогиня хотела сообщить мне, что ее мать неизменно отказывалась говорить с ней о Пушкине, находя, что это слишком деликатная тема для памяти ее сестры. Свидетельство интересное и совершенно новое, но, конечно, тема была весьма деликатной не для памяти Натальи Николаевны, а прежде всего для самой баронессы А. Н. Фогель фон Фризенгоф. В конце концов Пушкин ведь законный муж, погибший на дуэли ради чести оклеветанной жены. Стыдиться его нет никаких оснований. Если уж нужно было кого-то чуждаться, то, конечно, Дантеса. Между тем его портрет здесь, в столовой, на глазах Александры Николаевны, ее дочери и всех посетителей замка, среди которых была и сама Наталья Николаевна Ланская. Неизвестно только, когда и как попал в Бродяны этот портрет, рисованный, не забудем этого, всего через семь лет после дуэли.

Я уже собирался уходить из разочаровавшей меня библиотеки, но Вельсбург предложил мне просмотреть один из альбомов фотографий, принадлежавший Александре Николаевне. Времена, конечно, послепуш-

<sup>23</sup> Второпях я не отметил ни названия журнала, ни года. Если память не изменяет, комплект за 1839 год.

кинские — 1862—1870 годы, но есть кое-что интересное. Неизвестная фотография Натальи Николаевны (1862), ее детей от обоих браков в разные годы, родственников семьи, знакомых.

Ужинаем мы вчетвером при свечах. В этой комнате сорок лет кушала Александра Николаевна. Так, вероятно, было и при ней — обыкновенные, хорошо приготовленные блюда, но сервировка прекрасная. На скатерти русского льна бело-голубые тарелки старого мейсенского фарфора, великолепное серебро из приданого шведской принцессы, матери герцога Элимара, тонконогие бокалы чешского хрусталя. Вот и память об Александре Николаевне — на серебряной крышке блюда, принесенного горничной, ее русская монограмма «А. Г.».

Я чувствую себя немного уставшим от массы впечатлений за этот памятный день, но завтра надо ехать обратно, а мне еще о многом хочется расспросить хозяев. Оказывается, у Вельсбургов есть еще один замок, где-то в Австрии, и там тоже немало портретов. Есть какие-то и русские портреты и в имении Класпо, в четырех километрах от Бродяч. Оно принадлежит потомкам брата барона Густава. Кто изображен на этих «русских портретах», сейчас уже никто не может сказать. Когда-нибудь, я надеюсь, очередь дойдет и до Класпо, и до замка в Австрии.

Вечером мы долго беседуем в малой гостиной при мягком свете свечей. Сидим в тех самых старинных креслах, в которых сживали когда-то стареющие сестры — генеральша Ланская, приехавшая в гости из России,<sup>24</sup> и баронесса Фогель фон Фризенгоф.

Ночую я в комнате с готическими сводами. Это самая древняя часть замка. Теперь здесь апартамент для гостей.

Утром, как и накануне, солнечно, но холодно — весна в этом году запоздала. После кофе иду с Вельсбургом пройтись по парку. Он невелик, но хорошо распланирован, в английском вкусе. Старые, толстые деревья — липы, дубы, ясени, вязы, лужайки с видами на замок, громадные кусты сирени. Им, вероятно, не меньше 100 лет. Небольшая белая беседка с ампирическими колоннами выстроена, должно быть, по желанию одной из русских хозяек Бродяч — в средней Европе ампирических построек почти нет. Ворота вроде яснополянских. Тоже напоминают Россию. О них я уже упоминал. Сам двухэтажный охряно-желтый замок сравнительно невелик и совсем не роскошен. В нижнем этаже — помещения для гостей и службы, во втором этаже — жилые комнаты. Не зная архитектуры, вида здания описывать не берусь. Оно красиво, но единого стиля во всяком случае нет. Одна часть построена в середине XVIII века, главный корпус, вероятно, в семнадцатом столетии, а библиотека пристроена уже в XIX веке. Когда-то все здание было окружено рвом, но Фризенгофы, приобретя замок, уничтожили этот остаток старины.

Из парка мы поднимаемся к часовне. Вельсбург открывает склеп. Первым от входа на бетонном постаменте стоит серебряный с золотом гроб Александры Николаевны с немецкой надписью на щитке:

FREIFRAU ALEXANDRINE VOGEL VON FRIESENHOFF  
GEBORENE GONTSCHAROW<sup>25</sup>

\* 1811

† 9 VIII 1891

<sup>24</sup> Мне не удалось выяснить, когда именно Н. Н. Ланская гостила в Бродячах.

<sup>25</sup> «Баронесса Александра Фогель фон Фризенгоф, урожденная Гончарова» (нем.). Первоначально Александра Николаевна была похоронена на кладбище деревни Бродяч. Маленький надгробный памятник лежит теперь в склепе под ее гробом.

Итак, Александра Николаевна скончалась восьмидесяти лет от роду. В последнем десятилетии прошлого века. С глубоким волнением я смотрю на гроб этой женщины, которая была так близка Пушкину, что в своей семье ей одной он сказал о предстоящей дуэли.

В замке мне показывают ее вещи: письменный стол, привезенный из России, столовое серебро, массивные очень хорошие вещи, маленькие настольные часы под стеклянным колпаком — очень скромный подарок императрицы фрейлине Гончаровой, несколько печатей для писем (одна из них с гербами Фризенгофов и Гончаровых).

Молодая хозяйка замка старается не пропустить ничего, что, по ее мнению, может меня интересовать. На пальце у нее старинное золотое кольцо с большой бирюзой. Графиня снимает его и подает мне:

«— Вот, посмотрите . . . Оно перешло ко мне после смерти герцогини, а ей досталось от матери. Говорят, у Вас в России был обычай дарить такие кольца невестам на счастье.

«— Это кольцо известно в литературе, его носил Пушкин. . .».

Я передаю удивленным слушателям (при разговоре присутствовал Георг Вельсбург и мать графини) известный рассказ В. Ф. Вяземской, записанный Бартеневым. Трудно предположить, чтобы у Александры Николаевны было два одинаковых кольца. Значит это то самое, которое у нее на время взял Пушкин. Никогда не думал, что мне будет суждено его увидеть и держать в руках.

Но это еще не все. Меня приглашают в спальню посмотреть драгоценности Натальи Густавовны. На дне шкатулки замечаю тонкую золотую цепочку, потемневшую от времени.

«— Может быть, и это будет Вам интересно. Она принадлежала madame Alexandrine».

Молча кланяюсь, беря в руки эту цепочку. Пожалуй, самая волнующая реликвия из всех, которые я видел в Бродянах. Поведать ее историю хозяевам замка не решаюсь. Доказать этого нельзя, но, быть может, это та самая цепочка, которую смертельно раненный поэт просил Вяземскую передать Александре Николаевне после его смерти и притом непременно без свидетелей.

Отдыхая перед отъездом в отведенной мне комнате, я мысленно подвожу итоги своей разведывательной поездки. Архивы мне показать не предложили и, едва познакомившись с хозяевами, я не счел возможным об этом просить. Надо подождать.

Все, что я узнал и увидел в Бродянах, заставляет думать, что автографы Пушкина разыскивать здесь безнадежно. Если они и были у Александры Николаевны (что очень вероятно), то, выйдя замуж за Фризенгофа, с собой за границу она их во всяком случае не взяла.

Вельсбург сказал мне, что писем на русском языке в семейном архиве нет. Удивляться этому не приходится — сестры Гончаровы и с братьями переписывались по-французски. Иногда только вставляли русские слова. Мне очень хотелось узнать, есть ли здесь какие-либо письма Натальи Николаевны, но хозяин замка ответил уклончиво — он не помнит. Очень возможно, что старинных писем прабабки он вообще не разбирал. Сказал только, что у него хранится переписка барона Густава с братом Адольфом. Все письма на немецком языке.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> В настоящее время хранятся в Архиве ИРЛИ, ф. 409, № 6 (переписка охватывает 1829—1852 годы — 100 листов). В 1947 г. она была передана делегацией чехословацких писателей Союзу советских писателей вместе с другой частью семейной переписки Фризенгофов, включающей несколько писем Александры Николаевны, с личными документами барона Густава Фризенгофа и бумагами, касающимися раздела на-

Из документов архива Вельсбург показал мне только пакет, видимо заранее отобранный перед моим приездом, с непонятной для него официальной бумагой на русском языке. Пакет № 769 адресован: «А son Excellence Madame Alexandra Nikolaevna Gontcharov». <sup>27</sup> В нем оказалось извещение Министерства императорского двора о том, что их величества изъявляют согласие на брак флейлины Гончаровой (текста извещения я не переписал).

Вернувшись в Прагу, я узнал, что о моей поездке, которую я для успеха начатых розысков держал в секрете, стало известно А. М. Игумновой, постоянно жившей в Словакии и бывавшей в Бродянах при жизни Натальи Густавовны. Я списался с А. М. Игумновой, и мы условились о том, что впредь до опубликования моих материалов тайна будет сохранена. В письме от 5 июля 1938 года из Писчан <sup>28</sup> А. М. Игумнова сообщила мне данные, подтверждавшие мое предположение об отсутствии пушкинских автографов в Бродянах: «Сама я прожила в Бродянах три лета, но, несмотря на все усилия, не нашла и не узнала там ничего, относящегося к Пушкину, равно как и не знаю, кто рисовал портреты». <sup>29</sup>

В письме также была приведена характеристика Натальи Густавовны, совпадающая с моими впечатлениями, вынесенными из Бродян: «Покойная Наталья Ольденбург была чрезвычайно интересная и оригинальная женщина. Она умерла в глубокой старости и всю жизнь прожила так, как будто никаких войн и переворотов не существовало. Она занималась музыкой, живописью, поэзией и окружала себя очень интересными людьми». <sup>30</sup>

Не приходится сомневаться в том, что эта весьма культурная женщина (но вполне иностранка, несмотря на полурусское происхождение) действительно пробовала расспрашивать мать о Пушкине, как она хотела мне сообщить за несколько дней перед смертью.

Перед отъездом из замка Вельсбургов я получил приглашение снова приехать в Бродяны во время пасхальных каникул следующего, 1939 года. Оно меня очень обрадовало. Заранее решил, что попрошу на этот раз разрешения привезти с собой фотографа, специалиста по портретам и музейным вещам. Буду подробно описывать, измерять, сравнивать. Быть может, познакомившись поближе, хозяева покажут мне и архив. Очень возможно, что в нем есть письма жены поэта за 1831—1834 годы, когда сестры жили врозь. Может оказаться и многое другое, о чем заранее не догадываешься.

Моим надеждам не суждено было осуществиться. Перед самой пасхой 1939 года, 15 марта, в Прагу вошли танки Гитлера, Чехословакия временно была разрезана на куски. Во вновь организованное немцами Словацкое «государство» я ехать не мог. Письма туда шли плохо. Переписка с Бродянами прекратилась.

---

следства Гончаровых (хранятся в Рукописном отделе ИРЛИ). Кроме архивных материалов, Союзу советских писателей были переданы большие портреты Александры Николаевны и Натальи Ивановны (первой жены Фризенгофа), портреты Ксавье де Местра и Дантеса, два фотоальбома и отдельные семейные фотографии Гончаровых и Пушкиных, которые ныне хранятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. (Ред.).

<sup>27</sup> «Ее превосходительству госпоже Александре Николаевне Гончаровой» (франц.).

<sup>28</sup> Архив ИРЛИ, ф. 374, № 52.

<sup>29</sup> Имеется в виду альбом Александры Николаевны.

<sup>30</sup> Рукописный отдел ИРЛИ располагает машинописью интересных «Воспоминаний о Бродянах», написанных А. М. Игумновой (и присланных ею вместе с несколькими письмами барона Густава Фризенгофа брату Адольфу). Значительная часть «Воспоминаний» посвящена Наталье Густавовне Ольденбург. (Ред.).

Впоследствии я долгое время ничего не знал о судьбе замка и хранившихся в нем реликвий. В настоящее время я получил возможность ознакомиться с работами братиславского профессора А. В. Исаченко, исследовавшего бродяньские материалы после окончания второй мировой войны. Критика пушкиноведческих высказываний этого автора в мою задачу не входит. Я ограничусь кратким изложением некоторых мест его работ, поскольку они непосредственно касаются материалов, обнаруженных в Бродянях.

В 1946 году А. В. Исаченко опубликовал в братиславском журнале «Свободное радиовещание» первую краткую статью о Бродянях (на словацком языке) «Родственники Пушкина в Словакии».<sup>31</sup> Она предназначена для массового читателя и занимает всего одну страницу. Интересно сообщение Исаченко о том, что в Бродянях якобы состоялась встреча Натальи Николаевны с Дантесом: «Наталья Пушкина-Ланская несколько раз гостит у Фризенгофов в Бродянях. При одном из этих посещений она даже (dokonca) встречается с убийцей своего мужа Дантесом ван Геккерном, и кажется, что эта встреча уменьшила напряжение (parätie) между ними». К сожалению, автор не указывает, на чем основано его довольно сенсационное сообщение, и не приводит никаких подробностей, в том числе и даты встречи.

На третьей странице обложки журнала воспроизведены в виде фотомонтажа следующие пять портретов, найденные Исаченко в Бродянях: 1) Александра Николаевна Гончарова в молодости (около 1830 года), 2) барон Дантес-Геккерн (портрет 1844 года, висевший в столовой), 3) баронесса Наталья Ивановна Фогель фон Фризенгоф, 4) Наталья Николаевна Ланская (около 1860 года — фотография), 5) баронесса А. Н. Фогель фон Фризенгоф (1873 год — фотография). Все эти изображения я видел во время посещения замка в 1938 году. Шестая фотография монтажа — часть французского письма Натальи Николаевны Пушкиной. Хотя текст прикрыт соседними портретами, фрагменты 9 строк (четыре перед подписью и неполных пять ниже ее) позволяют установить, что это окончание письма А. И. Тургеневу от 10 марта 1843 года, воспроизведенное, очевидно, по факсимиле.<sup>32</sup>

В следующем, 1947 году этот же автор поместил в журнале «Словацкое обозрение» довольно подробную статью «Пушкиниана в Словакии».<sup>33</sup> Работа хорошо оформлена, и к ней приложены отличные репродукции нескольких портретов. Значительная часть статьи, написанной отчасти по материалам бродяньского архива, посвящена биографии первой жены Густава Фризенгофа, Натальи Ивановны, урожденной Ивановой. Автор приводит большую выдержку из свидетельства о бракосочетании Натальи Ивановны, в котором она именуется: «Fräulein Natalie Iwanoff geboren zu Tamboff in Russland, Tochter des bereits verstorbenen Herrn Johann Iwanoff und Adoptivtochter der Frau Gräfin von Maistre, Griechischer Confession».<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Univ. prof. Dr. A. V. Isačenko. Puškinovi pribuzni na Slovensku. «Slobodný rozhlas», Bratislava, 1946, № 49, стр. 3 и обложка.

<sup>32</sup> См.: «Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук за 1912 год», СПб., 1912, между стр. 58 и 59 второй пагинации, № 41. Подлинник этого письма хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (ф. 244, оп. 20, № 61).

<sup>33</sup> A. V. Isačenko. Puškiniana na Slovensku. «Slovenské Pohl'ady», 1947, № 1, стр. 1—16. Я пользовался отдельным оттиском, любезно присланным мне Е. С. Шальманом (Москва).

<sup>34</sup> «...девица Наталья Иванова, родившаяся в Тамбове, в России, дочь ныне покойного господина Иоанна Иванова и приемная дочь графини де Местр, греческого вероисповедания» (нем.).

Дан также полный текст русского свидетельства о смерти Натальи Ивановны (в словацкой транскрипции). Она скончалась в Петербурге 12 октября 1850 года и погребена в Александро-Невской лавре. Дата рождения Ивановой-Фризенгоф, по-видимому, осталась автору неизвестной. Независимо от меня, А. В. Исаченко также обратил внимание на большое сходство Натальи Ивановны с Ксавье де Местром; по его мнению, «не исключена возможность, что она была внебрачной дочерью графа».<sup>35</sup>

Строго говоря, эта женщина, приемная дочь тетки Н. Н. Пушкиной, никакого отношения к поэту не имела, хотя в пушкиноведческих работах ее фамилия все же упоминается.

Однако из писем Густава Фризенгофа к брату, многочисленные выдержки из которых (в словацком переводе) приводит Исаченко, видно, что, приехав с мужем в Петербург в 1839 году, Наталья Ивановна вскоре сблизилась и постоянно встречалась с женой поэта и с Александрой Николаевной. «Когда у Фризенгофов родился сын Григорий,<sup>36</sup> — пишет Исаченко, — они переселились в имение Михайловское..., где семья австрийского дипломата жила под одной крышей с вдовой Пушкина и Александринной».<sup>37</sup>

Уехав из Петербурга в 1844 году, Фризенгоф с женой снова возвращается туда в 1850 году, но осенью этого года Наталья Ивановна умирает. В недатированном письме (по предположению Исаченко, март 1852 года) Фризенгоф сообщает брату: «Когда моя Наталья перед своей смертью переехала в город, Александрина, больше располагавшая свободным временем, была ее постоянной собеседницей, а в последние печальные дни и ее неутомимой сиделкой».<sup>38</sup>

Таким образом, Наталья Ивановна очень близко знала и вдову поэта, и его любимую свояченицу. Биографические сведения о Фризенгоф-Ивановой, сообщенные Исаченко, быть может, со временем окажутся полезными пушкинистам.

Интересны также отзывы Густава Фризенгофа об Александре Николаевне, впоследствии ставшей его женой, и в особенности о Наталье Николаевне.

«Frau von Puschkin, — пишет он в одном из первых писем, — и ее незамужнюю сестру мы видим каждый день; госпожа Загряжская («la tante» семья Пушкина) живет с ними в особняке рядом с нами. Она (Наталья Николаевна) красива, но не так красива, как я думал; ее лицо не выразительно, и, как кажется, оно в этом отношении не обманывает; она кажется мне добросердечной особой и это все»<sup>39</sup> (письмо от 7 июля/25 июня 1839 года).

Е. И. Загряжскую Фризенгоф не любил и отзывался о ней весьма критически: «...они (Н. Н. Пушкина и ее сестра, — Н. Р.) значительно способствуют тому, чтобы салон моей остроумной тетки, который уже по самой своей природе скучнее всех на свете, был несколько менее скучен»<sup>40</sup> (письмо от 1 августа/20 июля 1839 года).

<sup>35</sup> А. В. Исаченко. *Puškiniana na Slovensku*, стр. 3.

<sup>36</sup> По-видимому, в 1840 году — в альбоме А. Н. Гончаровой-Фризенгоф (лист 29) имеется исполненный в 1857 году портрет юноши с аннотацией: «Grégoire Friesenhof, 17 ans.»

<sup>37</sup> А. В. Исаченко. *Puškiniana na Slovensku*, стр. 13.

<sup>38</sup> Там же, стр. 14.

<sup>39</sup> Там же, стр. 12.

<sup>40</sup> Там же.



В своей статье Исаченко отводит много места характеристике сестер Гончаровых, их взаимоотношениям, семейной жизни Пушкина, его роману с Александрой Николаевной. Для русского читателя эти страницы мало интересны, и касаться их я не буду.

Представляет интерес письмо Фризенгофа к брату от 7 марта 1837 года. Барон Густав пересказывает в нем содержание письма Е. И. Загряжской к сестре, С. И. де Местр, о дуэли и смерти Пушкина. А. В. Исаченко наряду с переводом приводит подлинный немецкий текст документа. Новых данных письмо Загряжской не содержит. История последней дуэли поэта излагается соответственно официальной версии, созданной его друзьями. В этом отношении достаточно характерны следующие строки: «Puschkin von der Unschuld seiner Frau, die ihn leidenschaftlich liebte, so völlig überzeugt, dass er vom ersten Augenblick bis auf dem Todtenbett nicht aufgehört hat ihr dieses Zeugniß zu versichern».<sup>41</sup> В начале письма Фризенгоф спрашивает брата: «Hast du in Petersburg die Bekanntschaft Puschkins gemacht, der eine Nichte der Tante geheirathet hat?».<sup>42</sup>

В этой второй статье автор снова упоминает о свидании Н. Н. Ланской с Дантесом, будто бы состоявшемся за границей: «Эта связь (Фризенгофов, — Н. Р.) с Россией и с прошлым однажды угрожала большой неприятностью. Действительно, в Вене голландским посланником состоял барон ван Геккерн, приемный отец убийцы Пушкина, Дантеса. А сам Дантес несколько раз приезжал в Вену. Это было как раз тогда, когда Наталья Николаевна была гостьей Фризенгофов. Встреча в русском венском обществе была неизбежной. Мы не знаем, как прошла встреча (akosa odohralo stretnutie) Жоржа Дантеса с бывшей женой того, кого убила его пуля. Но горечь (в отношениях) между семьями была преодолена, и в бродянской замке я даже обнаружил портрет Дантеса ван Геккерна».<sup>43</sup>

О том, что встреча произошла в Бродянах, как было указано в первой статье, автор на этот раз не упоминает. По-прежнему нет указания на источник, из которого А. В. Исаченко почерпнул сведения о встрече жены поэта с убийцей своего мужа.

О жизни Александры Николаевны в Бродянах он приводит очень мало сведений. По его словам, «чтобы уничтожить все следы, которые могли бы опорочить память ее матери, она (герцогиня Ольденбургская, — Н. Р.) перед своей смертью в 1937 году велела сжечь все бумаги и переписку матери». Приходится снова пожалеть о том, что А. В. Исаченко умалчивает об источнике этих сведений. Быть может, бумаги (по крайней мере частью) были в свое время сожжены самой Александрой Николаевной, — пока судьба их остается невыясненной.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Там же, стр. 11. Перевод: «Пушкин был настолько убежден в невинности своей жены, которая его страстно любила, что с первой минуты и даже на смертном одре он не переставал высказывать ей это убеждение» (нем.).

<sup>42</sup> Там же. Перевод: «Познакомился ли ты в Петербурге с Пушкиным, который женился на одной из племянниц тетки?» (нем.).

<sup>43</sup> Там же, стр. 15.

<sup>44</sup> В своих «Воспоминаниях о Бродянах» и в письмах, присланных в Рукописный отдел ИРЛИ, А. М. Игумнова, касаясь судьбы бродянского архива, сообщает, что перед смертью Александра Николаевна сожгла все хранившиеся у нее письма; по-видимому, остальные бумаги из ее архива были сожжены по ее просьбе дочерью; в свою очередь Наталья Густавовна, умирая, завещала своей воспитаннице, бывшей в течение многих лет ее доверенным лицом, сжечь все ее бумаги и письма, в том числе обширную переписку с матерью, что и было исполнено. Но именно эта женщина, по свидетельству А. М. Игумновой, сумела сохранить и спасти в разоренном во время войны замке часть семейных бумаг Фризенгофов, а также некоторые портреты и альбомы, которые были переданы ею А. В. Исаченко; часть из них поступила позднее в Рукописный отдел Пушкинского Дома и во Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде. (Ред.).

Но разрешение на брак Александры Николаевны было мне показано Вельсбургом уже после смерти ее дочери.

В конце статьи автор упоминает о кольце, принадлежавшем Александре Николаевне, и утверждает, что видел его собственными глазами. «Это женское золотое кольцо, обтянутое железом (prsten, potiahnuty železom). Александрина его носила, и тогда в кольце была бирюза». Здесь кроется какое-то недоразумение — несомненно, принадлежавшее Александре Николаевне кольцо, которое графиня Вельсбург показала мне 21 апреля 1938 года, железом не обтянуто, и бирюза в нем была.<sup>45</sup>

Хорошим пополнением иконографии Н. Н. Пушкиной является удачно воспроизведенный в красках акварельный портрет 1842 года, о котором я упоминал при описании своего посещения замка Бродяны. Он приложен в статье в качестве фронтисписа. Остальные три портрета черные, но отпечатаны также очень хорошо. Один из них — неизвестный до сих пор дагерротип А. Н. Гончаровой (без указания года), другой — карандашный рисунок Н. Ланского из альбома Александры Николаевны, изображающий Н. Н. Ланскую, с ее автографом (1852). Последний портрет сопровождается следующей аннотацией: «Александр Сергеевич Пушкин (?). Карандашный рисунок Ксавье де Местра, около 1819 г. Из неопубликованного до сих пор альбома Ксавье де Местра, найденного в Бродянском замке».

Автор ошибся (как ошибся в свое время и я), считая этот рисунок портретом А. С. Пушкина. Он, несомненно, изображает его брата Льва Сергеевича.<sup>46</sup>

Третья статья А. В. Исаченко (на английском языке)<sup>47</sup> является несколько сокращенным переводом предыдущей и по сравнению с ней никаких новых фактов не содержит. Перевод очень точный; иллюстраций не приложено.

Надо надеяться, что материалы из Бродян, оставшиеся в Чехословакии (ряд портретов, альбомы де Местра, альбом А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и др.), будут постепенно опубликованы зарубежными специалистами.

Хотелось бы также думать, что профессор А. В. Исаченко, который является первым публикатором бродянских материалов, найдет возможным уточнить в печати некоторые неясные места своих работ.

<sup>45</sup> Возможно, речь идет о двух разных кольцах: в «Воспоминаниях о Бродянах» А. М. Игумнова упоминает о кольце Наталии Густавовны, которое было сделано по ее заказу из подковы, найденной ею во время прогулки с одним из сыновей Пушкина. — (Ред.).

<sup>46</sup> Атрибуция Т. Г. Цявловской.

<sup>47</sup> A. V. Isačenko. *Pushkiniana in Slovakia*. «The Slavonic and East European Review», London, 1947, vol. XXVI, № 66, стр. 161—173. Translated by Victoria de Bray. Мне осталась, к сожалению, неизвестной статья ассистента Яна Ференчика «Неизвестная рукопись Жуковского в Словакии», посвященная найденному этим автором в Бродянах автографу стихотворения В. А. Жуковского «Мотылек и цветы» (J. Ferencik. Neznámy rukopis Zúkovského na Slovensku. «Slovenske Pohľady», 1947, стр. 181—184).

## ЗАМЕТКИ



### ИЗ МАТЕРИАЛОВ К III ИЗДАНИЮ КНИГИ Н. О. ЛЕРНЕРА «ТРУДЫ И ДНИ ПУШКИНА»

Литературное наследие Николая Осиповича Лернера (1877—1933) велико и многообразно: за 35 лет своей деятельности он напечатал сотни исследований, статей и заметок, опубликовал множество документов по русской литературе XVIII и XIX веков, прокомментировал ряд изданий. Многие русские писатели привлекали его внимание: Лермонтов, Белинский, Чаадаев, Лесков, Ап. Григорьев и другие. Но первой, постоянной, излюбленной его темой был Пушкин, которому он отдал много лет углубленных и страстных изучений. Чуждаясь теоретических трудов и широких обобщений, Н. О. Лернер обращался по преимуществу к частным, конкретным явлениям жизни и творчества своего любимого поэта, и в этих частных изучениях достиг замечательного мастерства. Точность и документированность являются отличительными чертами всех, мелких и крупных, его работ. Вот почему сохраняют свое значение, несмотря на прошедшие со времени их публикации десятилетия, его комментарии ко многим произведениям Пушкина, помещенные в изданиях сочинений поэта под редакцией С. А. Венгерова (тома I—VI, 1907—1915); его «Рассказы о Пушкине» (1929); его посмертно изданные «Пушкинологические этюды» («Звенья», кн. V, М.—Л., 1935) и еще множество статей, напечатанных в «Русском архиве», «Русской старине», в сборниках «Пушкин и его современники», «Столица и усадьба» и других изданиях. Библиографический список этих статей, очень полезный и нужный для пушкинистов, до сих пор, к сожалению, не составлен.

Центральное место среди пушкиноведческих работ Н. О. Лернера занимают, без сомнения, «Труды и дни Пушкина» — биографическая канва, изданная впервые в 1903 году, а в 1910 переизданная Академией наук в переработанном и дополненном виде. «Труды и дни Пушкина» в издании 1910 года отразили все тогда известные документальные, мемуарные, эпистолярные, био-библиографические источники для истории жизни и творчества Пушкина, воссозданной год за годом и день за днем. Книга Лернера явилась образцом для всех последующих работ такого типа и стала настольным справочником для всех литературоведов, изучающих Пушкина и его эпоху. Лишь более 40 лет спустя, в 1951 году, первые 140 страниц (и 22 страницы «дополнений и поправок») из почти 500 страниц всего текста книги, обнимающие жизнь Пушкина до окончания ссылки в 1826 году, были заменены новым трудом — первым томом «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», составленной М. А. Цявловским и завершенной после его кончины в 1947 году, Т. Г. Цявловской. Но последнее — важнейшее — десятилетие жизни Пушкина (с сентября 1826 года) еще не охвачено этой «Летописью», и «Труды и дни Пушкина» сохраняют первостепенное справочное значение, несмотря на множество новых документов, ставших известными после 1910 года и особенно после Великой Октябрьской социалистической революции.

Сам Н. О. Лернер, выпустив второе издание «Трудов и дней», продолжал трудиться над своей книгой, дополнял и перерабатывал ее до последних дней жизни. В бумагах покойного ученого сохранился экземпляр «Трудов и дней», содержащий многочисленные вклейки, дополнения, исправления, заметки к каждой странице, почти к каждой дате его труда. Эти подготовительные материалы к третьему, несостоявшемуся изданию книги Н. О. Лернера носят совершенно черновой характер и в будущем должны были быть тщательно и систематически обработаны. Произвести такую работу теперь и выпустить третье издание «Трудов и дней» не представляется возможным, так как, во-первых, работа над ним Н. О. Лернера, прерванная его смертью, отражает состояние пушкиноведения к 1933 году, а такого рода издания быстро и неизбежно стареют; во-вторых, готовящиеся следующие тома «Летописи» М. А. Цявловского должны включить весь пушкиноведческий материал, известный до настоящего времени, главное — материал большого академического издания «Полного собрания сочинений» Пушкина, и эти тома строятся по более широкой программе, нежели книга Н. О. Лернера. Но при сличении первого тома «Летописи» М. А. Цявловского с соответствующими частями указанного выше дополненного экземпляра «Трудов и дней» выяснились некоторые моменты, не вошедшие в «Летопись», но отраженные Н. О. Лернером —

замечательным знатоком неизвестных и малоизвестных материалов о Пушкине. Были обнаружены также несколько «пушкинологических этюдов» Лернера, имеющих самостоятельное значение и являющихся в известной мере продолжением «этюдов», опубликованных в «Звеньях». Некоторые из этих черновых «этюдов», обработанные с учетом появившихся после кончины Н. О. Лернера документов и исследований о Пушкине и сопоставленные с данными «Летописи» М. А. Цявловского, составляют предмет настоящей публикации. Основой для нее послужил экземпляр «Трудов и дней Пушкина», о котором говорилось выше, предоставленный Пушкинской комиссией Академии наук СССР дочерью покойного исследователя Ариадной Николаевной Лернер. Работа была начата по инициативе Пушкинской комиссии и была поручена литературоведу М. И. Гиллельсону.

Редакция.

## 1

В забытой статье Э. Голлербаха «Кольцо Чаадаева»<sup>1</sup> приведены ценные сведения о кольце, подаренном Пушкиным Чаадаеву. Вот что сообщает Э. Голлербах: «Священный случай навел меня на священную для литератора реликвию — перстень, подаренный Пушкиным Петру Яковлевичу Чаадаеву в бытность Чаадаева в Царском Селе. Серебряное оксидированное кольцо охватывает овальной рамкой сердоликовую гемму, изображающую вероятнее всего Диониса (судя по чаше, тирсу и змеям, обвивающим тело бога).

«Гемма эта не отличается особой тонкостью работы (лупа обнаруживает ее дефекты), поэтому крайне сомнительно устное предание, по которому автором этой геммы является Джованни делле Карнеоли, один из замечательных резчиков XVI века (Cinquecento).

«Несомненно лишь то, что гемма Чаадаева древнее своей оправы...»

«... На внутренней поверхности кольца Чаадаева выгравирована надпись: Sub rosa 1820. В буквальном переводе „sub rosa“ значит „под розой“, в переносном же смысле — „в тайне“. Известно, что у древних роза была любимым цветком, которым они на пирах украшали гостей и комнаты. Нередко одну розу вешали над столом в знак того, что все происшедшее и говорившееся во время трапезы должно оставаться тайной. Поэтому возможно и даже вероятно, что кольцо было подарено на память о какой-либо товарищеской пирушке или о ряде пирушек, происшедших в 1820 году».<sup>2</sup>

Местонахождение этого кольца, которое явно было в руках Э. Голлербаха, неизвестно. Также неизвестно, сохранилось ли письмо Чаадаева, из которого Э. Голлербаху стало известно, что это кольцо было подарено Чаадаеву Пушкиным: «О подарке Пушкина Чаадаев упоминает в небольшом (в печати не опубликованном) письме к княжне Щербатовой (20 июня 1820 г.)».<sup>3</sup>

О судьбе этого кольца, до того как оно попало в руки к Э. Голлербаху, последний дает следующую справку: «После смерти философа (Чаадаева, — М. Г.) многие вещи его хранились бережно и свято у друга Левашова, — например шляпа, палка, портфель, чернильница, перо и др., в том числе и вышеописанный перстень. После смерти Левашова большинство вещей разошлось по чужим рукам. Предпоследним собственником заветного кольца был племянник Левашова, отставной офицер одного из гвардейских кавалерийских полков. Гемма немного повреждена в двух местах, но в общем перстень хорошо сохранился, несмотря на то, что в 1920 году исполнится его столетний юбилей».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Э. Голлербах. Кольцо Чаадаева. Историко-литературный очерк. «Жизнь искусства», 1919, 10 апреля (28 марта), № 115.

<sup>2</sup> Там же, стр. 1—2.

<sup>3</sup> Там же, стр. 2.

<sup>4</sup> Там же, стр. 3.

## 2

В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловским дана ссылка на статью Н. Полевого «О духовной поэзии» как на источник сведений о разговоре Пушкина с Батюшковым о поэзии.<sup>5</sup> Далее в примечаниях М. А. Цявловский писал: «Полевой в статье „Продолжение замечаний об искажении статей, присланных в Библиотеку для чтения 1836—1845“ за подписью „Небывалый“ (СвПч 1846, № 44, от 25 февр., с. 175) утверждал, что рассказ о разговоре Пушкина с Батюшковым вставлен в статью Полевого Сенковским. Если это и так, достоверность этого рассказа, мне кажется, не подлежит сомнению».<sup>6</sup>

В справку М. А. Цявловского вкрался ряд досадных неточностей. Отметим, что статья, на которую ссылается составитель «Летописи», имеет другое название, а именно: «Русские биографические и библиографические летописи». Название, приведенное М. А. Цявловским, не является названием статьи, а лишь выпиской, первой фразой из краткого содержания статьи. Статья не принадлежит Н. Полевому и в конце ее нет подписи «Небывалый». На самом деле эта статья — шестой отрывок из цикла статей С. Д. Полторацкого, объединенных общим названием «Русские биографические и библиографические летописи», и все они подписаны «С. П-ий». Как псевдоним, так и все содержание статей бесспорно указывает на авторство С. Д. Полторацкого.

С. Д. Полторацкий ссылается на введение к «Очеркам русской литературы», ч. 1, в котором Н. Полевой уличал О. Сенковского в многочисленных искажениях своих статей. Обратимся к этому источнику. Приходится констатировать, что принадлежность ему рассказа о разговоре Пушкина с Батюшковым о поэзии Н. Полевой опроверг не в 1846 году, как это следует из «Летописи», а сразу же после опубликования его статьи. В «Очерках русской литературы» Н. Полевой поместил вначале «Несколько слов от сочинителя», где он, между прочим, писал: «Но всего забавнее было приключение с статьею о стихотворениях г-на Соколовского: *Мироздание* и *Хеверь*. Желая показать, что поэт совершенно превратно смотрит на предмет свой, я написал статью, где подробно изложил свои мысли о духовной поэзии и сочинениях г-на Соколовского. Редактор Б. для ч., каким-то непостижимым для меня образом, умел вырезать из статьи некоторые частицы и поместил их в библиографии, а остальному дал название: *О духовной поэзии*, и в виде статьи отдельной напечатал в отделении *прозы*, с моим именем. В этой статье столько нашел я прибавок, урезок, изменений, что вовсе не понял и теперь не понимаю, о чем идет в ней речь! Статья начинается, например, небывалым анекдотом, будто Пушкин разговаривал некогда с Батюшковым о русских стихах. Но Батюшкова с 1817 года не было уже в Петербурге, когда Пушкин был еще учеником в лицее, писал детские стихи и не мог рассуждать о поэзии русской с одним из корифеев тогдашней русской поэзии. По крайней мере, я ничего подобного не слыживал от Пушкина и ничего не писал о разговоре его с Батюшковым».<sup>7</sup>

Таким образом, Н. Полевой, а вслед за ним и С. Д. Полторацкий отрицали достоверность разговора Пушкина с Батюшковым о поэзии. В настоящее время трудно установить, насколько вставка Сенковского

<sup>5</sup> М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М.—Л., 1951, стр. 133.

<sup>6</sup> Там же, стр. 741.

<sup>7</sup> Н. А. Полевой. Очерки русской литературы, ч. 1. СПб., 1839 (дата цензурного разрешения 11 мая 1838 года), стр. XVIII.

была основательна и соответствовала истине. Во всяком случае полагаю, что достоверность этого разговора, безусловно, подлежит сомнению.

## 3

Под датой «1818. Апрель (? )» М. А. Цявловский поместил следующее сообщение: «Д. Н. Свербеев, чиновник канцелярии Комиссии прошений на высочайшее имя, после служебных занятий декламирует сослуживцам „Вольность“ Пушкина».<sup>8</sup> Ссылка дана на статью «Первая и последняя моя встреча с А. А. Шишковым (Из записок Д. Н. Свербева)», которая была напечатана в «Русском архиве».<sup>9</sup>

Отметим, что в этой публикации дан неполный текст «Записок» Д. Н. Свербева. Если обратиться к отдельному изданию этих записок, то становится совершенно очевидным, что датировка 1818 г. сразу же отпадает. Приведем соответствующее место из «Записок» Д. Н. Свербева: «Несколько времени спустя дошла и до меня только что написанная Пушкиным и ходившая по рукам ода его под названием „Вольность“. Считаю себя мастером декламировать стихи и желая похвастаться моим чтением перед моими сослуживцами, я перед выходом всех из канцелярии удержал на полчаса любителей российского стихотворства и торжественно прочел им это новое произведение отчаянно либеральной тогда музыки Пушкина. Долго помнил я наизусть всю эту оду. Пушкин, как утверждают, написал эти стихи вскоре по получении известия о смерти виртембергской королевы Екатерины Павловны».<sup>10</sup>

Как известно, Екатерина Павловна скончалась 28 декабря 1818 года — таким образом, исходя из сообщаемых Д. Н. Свербеевым сведений, чтение им оды «Вольность» могло иметь место лишь в 1819 году. Эта датировка полностью согласуется и с жизненной канвой самого Д. Н. Свербева. Как следует из его «Записок», лишь в марте 1818 года он получил распоряжение о переводе его из Москвы в Петербург. Конечно, сразу же после переезда Свербеев не мог читать оду «Вольность» своим сослуживцам: должно было пройти некоторое время, пока он свыкся с Петербургом, завязал знакомства в литературном мире, чтобы доставать запрещенные стихи Пушкина. Таким образом, как текст «Записок», так и факты биографии Д. Н. Свербева свидетельствуют о том, что чтение им оды «Вольность» в кругу сослуживцев имело место в 1819 году.

Уточнение этой датировки имеет важное значение, так как показание Д. Н. Свербева было единственным мемуарным источником, из которого следовало, что ода «Вольность» имела хождение и была известна в Петербурге в 1818 году. Если даже и доверять в полной мере авторской датировке оды «1817», сделанной Пушкиным на экземпляре, хранившемся в бумагах Н. И. Тургенева, то и тогда нельзя пройти мимо того обстоятельства, что до нас не дошло свидетельств современников, удостоверяющих их знакомство в 1818 году с одой «Вольность». Остается предположить, что это вольнолюбивое произведение пролежало под спудом в бумагах Н. И. Тургенева до начала 1819 года;<sup>11</sup> только с этого времени

<sup>8</sup> М. А. Цявловский. Летопись... т. I, стр. 153.

<sup>9</sup> «Русский архив», 1871, № 1, стлб. 163.

<sup>10</sup> Д. Н. Свербеев. Записки, т. I. М., 1899, стр. 247—248.

<sup>11</sup> Вот что писал, между прочим, о «Вольности» Ф. Ф. Вигель: «Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много ходил по рукам» (Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 6. М., 1892, стр. 10). Возможно, что в первой части этой фразы отразилось воспоминание Ф. Ф. Вигеля о том, что «Вольность» оставалась некоторое время забытой среди бумаг Н. И. Тургенева.

появляются достоверные сведения о распространении оды «Вольность» в петербургском обществе. Кроме «Записок» Д. Н. Свербева, к 1819 году восходит и свидетельство Н. Б. Голицына, зафиксированное в письме его сына Н. Н. Голицына к М. П. Погодину;<sup>12</sup> к 1819 году относится и письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому, в котором упоминается «Вольность».<sup>13</sup> В этой связи необходимо остановиться на полемике между Ю. Г. Оксманом и Б. В. Томашевским о стихотворении Вяземского «Негодование», на полемике, из которой явствует, что даже Вяземский в 1818 году не знал о «Вольности». Вот что писал по этому поводу Ю. Г. Оксман: «Характерно, что сам Вяземский считал себя первым русским певцом конституционных гарантий народной свободы. Так, в элегии „Негодование“, вспоминая свой стихотворный политический трактат „Петербург“ 1818 г., Вяземский писал:

Свобода! пылким вдохновеньем,  
Я первый русским песнопеньем  
Тебя приветствовать дерзал...

Это автопризнание одного из ближайших друзей и единомышленников молодого Пушкина не могло бы, конечно, иметь места, если бы „Вольность“ Пушкина написана была не в 1819, а в 1817 г.»<sup>14</sup>

Б. В. Томашевский выставил следующее возражение: «Интересно, как в свете этого аргумента следует датировать оду Радищева и еще несколько произведений на аналогичные темы?»<sup>15</sup>

Полагаем, что, претендуя быть первым певцом русской свободы, Вяземский имел в виду лишь свою эпоху, свое время. Как известно, он высоко ценил деятельность Радищева: в «Послании к М. Т. Каченовскому», написанном в конце 1820 года, имеется строка о почетной ссылке Радищева. Таким образом, ошибочно было бы думать, что в «Негодовании» (1820) Вяземский мог забыть о заслугах Радищева. Но ведь за три десятилетия, отделяющие «Вольность» Радищева от «Петербурга» Вяземского, произошли огромные перемены: умерла Екатерина II, промелькнуло царствование Павла I, оборвалось «дней Александровых прекрасное начало», отшумели наполеоновские войны, окончилось разгромом нашествия Наполеона на Россию, образовался Священный союз... Ясно, что революционная ода Радищева, написанная при совершенно других обстоятельствах и с иной идеологической позиции, не была в сознании Вяземского провозвестницей той свободы, о которой писал Вяземский: в стихотворении «Петербург» речь идет о конституционных чаяниях поэта, о совершенно определенной форме свободы. Таким образом, возражение Б. В. Томашевского не опровергает автопризнания Вяземского.

Не предрешая вопроса о датировке «Вольности», отметим, что цитата из стихотворения «Негодование» в полной мере дает основание утверждать, что Вяземский еще в августе-сентябре 1818 года не знал о написании Пушкиным оды «Вольность». Строки из стихотворения «Негодование» не являются поэтической вольностью Вяземского, а его твердым

<sup>12</sup> См.: М. А. Цявловский. Летопись..., т. I, стр. 742.

<sup>13</sup> См. там же, стр. 186.

<sup>14</sup> Ю. Г. Оксман. Агитационная песня «Царь наш — немец русский». «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 84.

<sup>15</sup> Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 149.

убеждением, которое он сохранил и в последующие годы. В одной из своих рукописей, написанной прозой по-французски, по-видимому, уже в 30-е годы, Вяземский буквально повторяет эту же мысль.<sup>16</sup>

Итак, вся совокупность свидетельств современников (воспоминания, письма, стихотворения) заставляет утверждать, что распространение оды Пушкина «Вольность» началось в 1819 году.

## 4

### Дополнения к «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина»

1814. *Декабрь. 22.* М. Н. Макаров сообщает отзыв В. Л. Пушкина: «Мы помним то время, когда никто еще не знал Александра Сергеевича и когда только начальные опыты сего поэта появились в „Российском музее“, изданном В. В. Измайловым; Пушкин дядя говаривал неоднократно „Посмотрите, что будет из Александра!“» («Дамский журнал», 1830, ч. XXXI, сентябрь, № 37, стр. 167. Некролог В. Л. Пушкина).

1818. *Декабрь.* С. А. Соболевский в письме к отцу извещал о предполагавшемся издании стихотворений Пушкина: «... les oeuvres du jeune Пушкин vont paraître...» (В. И. Саитов. Сергей Александрович Соболевский. «Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко», СПб., 1913, стр. 193).

1821. *Январь. 8.* Отзыв А. А. Бестужева: «Жуковскому и Крылову едва ли прибавит достоинства и прекрасная критика, Пушкина и Баратынского не убьет и дурная» (А. А. Бестужев. Поездка в Ревель. СПб., 1821, стр. 46).

1822. *Начало года.* Первое упоминание о Пушкине в русской учебной литературе (Н. И. Греч. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822, стр. 312, 328).

1824. *Октябрь. 28.* Н. А. Полевой писал из Москвы П. П. Свиньину 29 октября 1824 г.: «... москвичи собираются толпами смотреть Колосову, которая в комедьи в самом деле прелестна, а вчерашний день большой донныне трагический актер Мочалов запел и пропел *Черную шаль*» (П. Н. Полевой. История русской словесности, т. III. СПб., 1900, стр. 196—197. Факсимиле письма).

1824. *Вторая половина декабря.* В журнале «Новости литературы» (кн. X, стр. 85—90; цензурное разрешение 16 декабря 1824 года) напечатано посвященное Пушкину стихотворение И. И. Козлова «Бейрон (Ал. С. Пушкину)».

1825. *Апрель. 27.* А. Ф. Мерзляков в письме к Д. И. Хвостову осуждает романтическую поэзию: «... что от нынешних романтиков приобрели язык наш, поэзия вкус, и особенно нравственность (в поэмах *Цыган*, *Разбойников* и *Чернецов!!!*) и что они теряют или уже потеряли!..» («Русская старина», 1892, т. 75, август, стр. 409).

1825. *Апрель.* В «Дамском журнале» (№ 8, стр. 68—69) напечатано стихотворение П. И. Шаликова «К Александру Сергеевичу Пушкину. (На его отречение пять женщин)».

1825. *Сентябрь-октябрь.* Несохранившееся письмо Пушкина к А. А. Бестужеву. Выдержка из этого письма приведена в письме А. А. Бестужева к Н. А. Полевому от 13 августа 1831 года: «Впрочем, это всё

<sup>16</sup> Соответствующая цитата из этой неопубликованной статьи Вяземского приведена на стр. 295 настоящего издания.



игрушки (он разумел о мелких своих поэмах), я занимаюсь теперь трудом важным: пишу трагедию *Борис Годунов*» («Русский вестник», 1861, т. XXXII, март, стр. 304). В письме А. А. Бестужева сказано, что письмо Пушкина было написано в 1825 году. Уточнение датировки в статье М. П. Алексеева «Пушкин и Бестужев (по поводу одной картины)»: «Письма Пушкина к Бестужеву 1825 г. . . . также до нас дошли не все; особенно следует пожалеть о пропаже того письма, о котором сам Бестужев вспоминал на Кавказе, даже приводя из него (вероятно по памяти) несколько строк: в нем шла речь о „Борисе Годунове“ и следовательно оно должно было относиться к сентябрю или октябрю 1825 г.» (Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX, стр. 247).



К. Я. ГРОТ

## ПУШКИН В ЛИЦЕЕ ЛЕТОМ 1831 ГОДА

(ИЗ АРХИВА Я. К. ГРОТА)

Лето 1831 года и начало осени (с конца мая до половины октября) Пушкин, женившийся в феврале этого года, проводил с молодой женой в Царском Селе. Жить здесь, вблизи лицея, и не побывать в стенах своей alma mater — для Пушкина было, конечно, невозможно. И действительно, свидетельства современников сохранили нам, правда, очень краткий, но живой рассказ о событии в жизни Царскосельского лицея: о посещении лицея Пушкиным, о восторженном приеме, какой был ему оказан воспитанниками старшего (шестого) курса лицея, и о присутствии Пушкина и Жуковского на экзамене истории. Рассказ этот находим в воспоминаниях двух воспитанников шестого курса — Я. К. Грота<sup>1</sup> и П. И. Миллера.<sup>2</sup>

В своих воспоминаниях Миллер, обходя самый факт посещения лицея поэтом, рассказывает подробно о своих личных впечатлениях от знакомства с Пушкиным и о своей роли в этом новом сближении поэта с лицеем.

Кроме этих свидетельств, сохранилась еще среди бумаг поэта, а именно черновиков «Евгения Онегина», маленькая лаконическая записочка Жуковского, написанная карандашом. Жуковский, не застав Пушкина дома, приглашает его пойти вместе на лицейский экзамен: «Приходи ко мне в половине первого; пойдем в лицей: там экзамен истории».<sup>3</sup>

Эта записочка была отмечена впервые в отчете Публичной библиотеки за 1884 год<sup>4</sup> и позже обратила на себя внимание Н. О. Лернера, который напечатал и комментировал ее в заметке «Записка к Пушкину». Сославшись на рассказ Я. К. Грота о посещении Пушкиным лицея и присутствии его на экзамене, Лернер отнес написание записки к июню («вероятно, в июне, когда обыкновенно происходили экзамены в лицее»)<sup>5</sup>. Это приурочение и записки и экзамена Лернер повторил в «Трудах и днях Пушкина».<sup>6</sup> Так эта дата записки (июнь) вошла в издание переписки Пушкина<sup>7</sup> и в краткое описание его рукописей.<sup>8</sup>

Теперь мы имеем возможность дополнить эти свидетельства еще одним, также современным, правда, также кратким и не дающим новых существен-

<sup>1</sup> Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, изд. 2-е. СПб., 1899, стр. 45; см. также: К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. XVII.

<sup>2</sup> П. Миллер. Встреча и знакомство с Пушкиным в Царском Селе. (Из воспоминаний лицеиста за 1831 год). «Русский архив», 1902, № 10, стр. 232—235.

<sup>3</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 16 томах, Изд. Академии наук СССР, т. XIV, М.—Л., 1941, стр. 215.

<sup>4</sup> «Отчет Императорской публичной библиотеки за 1884 год», СПб., 1887, стр. 140.

<sup>5</sup> «Пушкин и его современники», вып. II, 1904, стр. 82.

<sup>6</sup> Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, изд. 2-е. СПб., 1910, стр. 242.

<sup>7</sup> Пушкин, Сочинения, Переписка, под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова, т. II, Изд. Академии наук, СПб., 1908, стр. 244.

<sup>8</sup> Рукописи Пушкина. Краткое описание. Составил Л. Б. Модзалевский. Под редакцией Н. В. Измайлова и Ю. Г. Оксмана. Изд. «Academia», Л., 1929, стр. 13, № 23.

ных подробностей этого эпизода, но более точным и тоже документальным. Новое свидетельство несколько расширяет наши сведения об этом эпизоде, а главное, исправляет прежнюю дату, позволяя определить, если и не совсем точно, то во всяком случае более приближенно день экзамена — между 24 и 27 августа.

В гротовском фамильном архиве сохранилась переписка Я. К. Грота, тогда, в 1831 году, воспитанника старшего курса (разлученного с семьей из-за холеры и карантинного оцепления Царского Села), со старшей сестрой,<sup>9</sup> жившей в Петербурге. Грот делится с ней, между прочим, своими впечатлениями за время курсовых экзаменов, происходивших с начала августа до 3 сентября.

Дело в том, что в 1831 году экзаменов в июне не могло быть.

В июне происходили только выпускные экзамены, и притом не ежегодно, а лишь через каждые два года. В 1829 году состоялись экзамены V выпуска, в 1832 — экзамены VI выпуска. В 1831 году выпуска лиценстов не было. Очередные же полукурсовые экзамены (так называемые частные, или домашние) бывали ежегодно в августе.

Именно такие экзамены и проводились в 1831 году для старшего курса (выпуска 1832 года), к которому принадлежали, в числе двадцати четырех, кроме Грота и Миллера, еще И. Ф. Анненский, А. Д. Комовский, М. Н. Похвиснев, П. А. Рейнбот, С. С. Стрекалов, В. Н. Эйхен и другие.

Эти экзамены официально не были публичными, но иногда все же приглашались присутствовать на них почетные гости из лиц, проживавших в Царском Селе.

Вполне объяснимо то, что Пушкин и Жуковский избрали для своего посещения лица день экзамена по истории: единственным из числа основных профессоров и наставников Пушкина в лицее по гуманитарным предметам оставался в то время профессор истории И. К. Кайданов, и Пушкин, естественно, пожелал присутствовать именно на его экзамене.

Приведем из вышеупомянутых писем Я. К. Грота к сестре (их несколько за время экзаменов) те места, которые касаются этого эпизода.<sup>10</sup>

9 августа 1831 года Грот, сообщая, что он и его товарищи уже отделались от трех экзаменов, пишет:

«Mais les plus difficiles restent encore, et par-dessus le marché nous aurons à quelques uns d'entr'eux des juges qui ne sont pas à mépriser: Жуковский и Пушкин; le premier est avec la Cour l'autre passe ici l'été avec sa femme. Du reste ce n'est pas encore tout à fait sûr qu'ils viendront; au moins notre général les a invités (inviter à un examen particulier, comment trouvez vous cela), et ils ont envoyé chercher la liste des examens».<sup>11</sup>

Перевод: «Но остаются еще самые трудные, и сверх того на некоторых из них у нас будут присутствовать судьи, которыми нельзя пренебрегать, а именно Жуковский и Пушкин. Первый здесь с двором, второй проводит здесь лето с женой. Впрочем, еще не известно точно, придут ли они. По крайней мере, наш генерал<sup>12</sup> их пригласил (приглашать на частный экза-

<sup>9</sup> Роза Карловна Грот (1811—1874), переводчица, сотрудница «Современника», в печати — Р. К. Аполлонская; см.: Н. Н. Голицын. Биографический словарь русских писательниц. СПб., 1889, стр. 74; С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. II. СПб., 1910, стр. 141.

<sup>10</sup> Письма написаны отчасти на французском, отчасти на итальянском языках (ради упражнения, так как брат и сестра тогда усердно изучали языки). Мы приводим эти выдержки с исправлением некоторых орфографических ошибок.

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 123, оп. 1, № 30, л. 39—39 об.

<sup>12</sup> Директор лицея Ф. Г. Гольдгоер.

мен — как Вам это нравится), и они присылали за расписанием экзаменов» (франц.).

В следующем письме от 20 августа Грот сообщает об экзамене статистики, на котором присутствовали также почетные гости: принц П. Г. Ольденбургский со свитой и А. К. Шторх, известный ученый, экономист и академик, и прибавляет:

«Vous voyez donc que nos examens ne portent que le nom de particuliers, et qu'ils ne diffèrent en rien de l'examen public».<sup>13</sup>

Перевод: «Итак, Вы видите, что наши экзамены лишь называются частными и что они ничем не отличаются от экзаменов публичных» (франц.).

Наконец, в письме от 30 августа он извещает сестру:

«Domani sarà una giornata difficile — l'esamine della fisica... All'esamine della storia sono venuti anche due illustrissimi personaggi i poeti Giuchofschi e Pusc'chin».<sup>14</sup>

Перевод: «Завтра (т. е. 31, понедельник, — К. Г.) предстоит трудный день — экзамен по физике... На экзамене по истории также присутствовали две знаменитейшие особы: поэты Жуковский и Пушкин» (итал.).

Из приведенного остается заключить, что этот экзамен, т. е. посещение Пушкиным лицея, состоялся после 20 и до 30 августа, что между этими днями был один только экзамен истории (который также был из трудных) и что он мог быть всего скорее среди недели, между 24 (понедельник) и 27 (четверг) августа, так как перед экзаменом физики (31-го), как очень трудным, несомненно, был промежуток в несколько дней. Можно предположить, что только усиленное приготовление к этому экзамену помешало Гроту написать сестре на неделе и обстоятельнее сообщить об экзамене истории, что он, вероятно, надеялся вскоре сделать устно.<sup>15</sup>

В дополнение приведем еще выдержку из письма Грота от 13 сентября с упоминанием об оказанном обоими поэтами внимании лицеею присылкой своих стихов по поводу взятия Варшавы (26 августа):

«Mi domandate se i nostri esami vengono finiti: da gran tempo, *grâce à Dieu!* l'ultimo è stato il 3 settembre... Mercoledì passato, giorno di nascita del piccolo gran duca Constantino... i cantori del corte hanno esecutato una nuova canzone di Giukofski all'occasione dell'espugnazione di Varsovia, canzone, ch'avete forse già letta, perchè ella è già stampata e separatamente e ne' giornali. Il celebre poeta stesso ci ne ha mandato dieci esemplari, e Пушкин ci ha anche inviato alcuni esemplari delle sue due opere alla medesima occasione. Se non le avete ancora lette, potrò scriverle e mandarvele quando Mamma andrà in Pietroburgo».<sup>16</sup>

Перевод: «Вы спрашиваете, окончились ли наши экзамены: давно *grâce à Dieu!*<sup>17</sup> последний был 3 сентября... В прошлую среду (это было 9-го, — К. Г.), в день рождения маленького великого князя Констан-

<sup>13</sup> ЦГАЛИ, ф. 123, оп. 1, № 30, лл. 41 об.—42.

<sup>14</sup> ЦГАЛИ, ф. 123, оп. 1, № 30, л. 43 об.

<sup>15</sup> Напомним рассказ Я. К. Грота в статье «Царскоелицейский лицей» о его тогдашних впечатлениях: «Никогда не забуду восторга, с каким мы его (Пушкина, — К. Г.) приняли... мы его окружили всем курсом и гурьбой провожали по всему лицеею. Обращение его с нами было совершенно простое, как с старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнатку и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в царскоелицейском саду, то с женою, то с Жуковским, которого мы видели у себя около того же времени. Он присутствовал у нас на экзамене из истории» (Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, изд. 2-е. СПб., 1899, стр. 45).

<sup>16</sup> ЦГАЛИ, ф. 123, оп. 1, № 30, лл. 45—46.

<sup>17</sup> «Слава богу» (франц.).

тина... придворные певчие исполнили новую песню Жуковского на взятие Варшавы, песню, которую Вы, наверно, уже читали, так как она уже напечатана и отдельно и в журналах. Знаменитый поэт сам прислал сюда десять экземпляров; также и Пушкин прислал нам несколько экземпляров своих двух произведений по этому случаю.<sup>18</sup> Если Вы их еще не читали, могу их переписать и переслать Вам с матушкой, когда она поедет в Петербург» (итал.).

Вот все, что нашлось в этой переписке Я. К. Грота о присутствии Пушкина на лицейском экзамене. По крайней мере, известное упоминание о нем в воспоминаниях Я. К. Грота о приеме поэта в лицее в 1831 году находит себе здесь документальное уточнение.

Невольно задаешь себе вопрос, почему П. И. Миллер в своих воспоминаниях о знакомстве с Пушкиным, тесно связанном с этим эпизодом, не уделил больше места описанию обстановки этого исключительного события в истории лицея.

Такой вопрос в свое время задал ему и Я. К. Грот, когда тот послал ему в конце 1859 года рукопись своей статьи, и позже (в 1862 году) спрашивал его еще насчет списка книг, которые поэт желал получить из лицейской библиотеки. В письме от 16 декабря 1859 года Миллер писал: «Насколько позволило мне заглавие моей статьи, настолько упомянул я о тогдашнем быте лицея, но не более. Личность Пушкина так крупна и интересна, что все до нее не касающееся должно показаться или мелко-вато или незанимательно. Я, по крайней мере, так думал и оттого ни о чем другом не распространялся...». В письме его же от 16 апреля 1862 года читаем: «Насчет пополнения моей статьи о Пушкине я ничего не могу сделать: реестр книг был им написан на оторванном наискось лоскутке, который я затерял в лицее еще. Помню одну только книгу, выпрошенную мною для него у профессора Оливы — „Фауст“ Гете на немецком языке...».

---

<sup>18</sup> «Клеветникам России», «Бородинская годовщина».

Р. Б. ЗАБОРОВА

## ОБ ИЗДАНИИ ПУШКИНЫМ МИСТЕРИИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА «ИЖОРСКИЙ»

В архивном фонде А. С. Норова, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, сохранилась неполная рукопись мистерии В. К. Кюхельбекера «Ижорский» (1827—1833), изданной стараниями Пушкина в 1835 г.<sup>1</sup>

Это 5-я сцена 1-го действия 1-й части начальной редакции, список на бумаге с водяным знаком 1828 г.; 1-я и 2-я сцены 2-го действия 1-й части первоначальной редакции, автограф В. К. Кюхельбекера, на бумаге 1828 года; авторизованные писарские копии 2-го (без первых 10 строк) и 3-го действия 1-й части последней редакции, в которую с легкой переработкой вошел текст первых двух отрывков в качестве 1-го, 3-го, 4-го явлений 2-го действия.

Судя по имеющейся на ней помете цензора В. Н. Семенова, это рукопись, отосланная Кюхельбекером 18 ноября 1830 года Дельвигу<sup>2</sup> и потом переданная Пушкину для отдельного издания мистерии, известной до того в печати лишь по отрывкам из начала 1-го действия.<sup>3</sup>

В 1831 г. Пушкин, который, по словам Кюхельбекера, «более всех прочих помнил о ... затворнике»,<sup>4</sup> ходатайствовал перед Бенкендорфом об издании произведений и переводов своего ссыльного друга без указания его имени и деятельно собирал его рукописи. 19 июля 1831 года он писал М. Л. Яковлеву, издававшему вместе с Дельвигом альманах «Северные цветы», о «детящах» Кюхельбекера: «У Дельвига находились готовые к печати две трагедии нашего Кюхли и его же *Ижорский* ... Плетнев и я, мы бы постарались что-нибудь из этого сделать».<sup>5</sup>

Хлопоты Пушкина увенчались некоторым успехом лишь через два года, когда было получено разрешение на издание «Ижорского» и «Русского Декамерона». Цензурным разрешением, данным 10 июня 1833 года, Пушкин воспользовался незамедлительно. 15 июня 1833 года В. Н. Семенов писал Пушкину: «Имею честь препроводить к Вам просмотренные и приготовленные для печати 2 первые части „Ижорского“. Я сделал в них три или четыре бездельные перемены. Если 3-я часть у меня в деревне не найдется, то по возвращении моем в С. П<sup>т</sup>ербург я буду просить Вас о доставлении мне другого списка оной».<sup>6</sup>

Подготовленные к печати первые две части, однако, вышли только через два года, в начале мая 1835 года. 3-я же часть так и не увидела света ни в 1835 году, ни позднее при жизни Кюхельбекера, хотя он, осве-

<sup>1</sup> Ижорский. Мистерия. СПб. В тип. III отд. е. и. в. канцелярии, 1835.

<sup>2</sup> «Русский архив», 1881, № 1, стр. 140.

<sup>3</sup> 1-я сцена была напечатана в «Сыне отечества» (1827, кн. 1). «Три сцены из драматической поэмы „Ижорский“» — в альманахе А. А. Дельвига «Подснежник на 1829 год».

<sup>4</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 85.

<sup>5</sup> Там же, т. XIV, стр. 194.

<sup>6</sup> Там же, т. XV, стр. 63.

домляя Б. Г. Глинку около 7 мая 1835 г. о печатании «Ижорского», просил дать примечание: «Окончание сей второй части заставляет нас полагать, что за нею еще последует третья».<sup>7</sup> Примечание это не появилось — книга к этому времени была напечатана и 12 мая была уже в руках Кюхельбекера.<sup>8</sup> 3-я часть появилась только через сто лет, с датировкой 1840—1841 годами.<sup>9</sup> Между тем двухлетнее промедление и двукратное писание этой части — в 1833 и 1840—1841 годах — заставляет предполагать промежуточную переработку в цензурных целях последней части, в которой герой, переживший крах индивидуализма, находил спасение от разгула злых сил, враждебных человеческому счастью, в борющейся за свое освобождение Греции — но, в отличие от истинных героев, не в стане борцов за свободу, а за монастырской стеной. И в напечатанных двух частях был также смягчен мотив отчаяния, безысходности, о котором сам Кюхельбекер писал Пушкину: «Мой черный демон отразился в Ижорском».<sup>10</sup>

Сохранившаяся в архиве Норова рукопись поясняет, о каких изменениях писал В. Н. Семенов Пушкину. Так, например, снята была по предложению Семенова тирада Мефистофеля этой мистерии — Кикиморы в 3-м явлении 2-го действия после слов: «Как трость сухая, как зерна лишенный клас» —

Вы верить никогда не захотите,  
 Что демиург вас сотворил для нас  
 И что о вашей он не помышлял защите,  
 О вашем счастье... Он с скуки создал вас,  
     Потом с презреньем отворотился,  
     Ничтожных бросил нам, кивнул главой,  
     Ваш грязный шар в пространство пхнул ногой,  
     А сам в ненарушимый свой покой  
     Как прежде погрузился.  
 Вы с той поры нам отданы во власть,  
 Вы наше достоянье, наша часть.<sup>11</sup>

«Это идея Ламартина *Le Désespoir*, и я полагал бы приличнее ее изменить», — написал сбоку Семенов. По-видимому, Пушкину пришлось с ним согласиться, так как эти стихи остались неопубликованными, за исключением двух последних строк, слегка измененных.<sup>12</sup>

Отказ от этой тирады повлек за собой снятие примечания о понятии демиург: «художник, создатель, название творца у неоплатоников и гностиков; они его различали от Верховного существа». Оставленное примечание о суждениях Платона об истинной любви дано в издании 1835 года в более доходчивой форме по сравнению с автографом.<sup>13</sup>

В бытовых сценах, отразивших стремление Кюхельбекера присвоить мистерии «нечто народное, русское»,<sup>14</sup> была по описываемым рукописям правильно воспроизведена реплика Богдана во 2-м явлении 3-го действия:

Так встаньте же, перекрестите лбы,  
 Ложитесь спать вы — нутка!  
 Да накормила ты телят, Марфутка?<sup>15</sup>

<sup>7</sup> «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 458.

<sup>8</sup> В. В. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 233.

<sup>9</sup> В. К. Кюхельбекер, Сочинения, под ред. Ю. Н. Тынянова, т. 2, Л., 1939.

<sup>10</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 116.

<sup>11</sup> ГПБ, ф. 531, № 853, лл. 4 об., 9 об.

<sup>12</sup> В издании 1939 года отсутствуют и эти две строки.

<sup>13</sup> В издании 1929 года этой сноски нет.

<sup>14</sup> В. К. Кюхельбекер, Сочинения, т. 2, стр. 476.

<sup>15</sup> ГПБ, ф. 531, № 853, л. 16; Ижорский. Мистерия, стр. 53.

В издании 1939 года, сделанном без дополнительной сверки с предшествующими публикациями, вместо «нутка» — «пушка», и соответственно вместо «Марфутка» — «Марфушка».

Другие отличия сохранившегося автографа вызваны дальнейшей отделкой первоначальной редакции. Так, например, в обнаруженном автографе слова: «Однакоже Москва...»: «Fi dopc, mon oncle, с досады чуть не плачу», — произносила графиня Шепетилова. В окончательной же редакции: «Papa! возможно ли? Москва!». «С досады чуть не плачу. C'est ridicule! побойтесь молвы», — говорит Лидия.<sup>16</sup>

Косвенная речь Кикиморы об Ижорском в 1-й сцене 2-го действия начальной редакции:

Ты для всего простыл, перегорел,  
Ты недоступен был для стрел  
Страстей, и рока, и напасти

переделана во 2-м явлении 2-го действия в прямую:

Я для всего простыл, перегорел,  
Уж недоступен я для стрел  
Страстей, и рока, и напасти<sup>17</sup>

Сличение редакций дает еще ряд мелких разночтений, например: «Заглавье чуду: *Беспристрастный!*» — в первой редакции, «Заглавье чуду: *Беспристрастный*» — в последней; «Все вокруг меня и ясно и светло» — в первой редакции, «Все вокруг меня вновь ясно и светло» — в последней редакции.

Рукопись, использованная, с получением цензурного разрешения, в 1833 году для издания, оказалась потом у А. С. Норова.

А. С. Норов, в 1820—1830-х годах печатавший свои стихотворения и переводы из Данте и Петрарки в альманахах и журналах («Полярной звезде», «Северной лире», «Невском альманахе», «Вестнике Европы», «Сыне отечества» и др.), состоял в приятельских отношениях с Пушкиным. Из богатой библиотеки Норова Пушкин брал для чтения книги, и в частности какие-то мистерии.<sup>18</sup> Естественно, что он дал «майору-мистику», как он прозвал Норова, для ознакомления и мистерию Кюхельбекера ранее задержавшегося ее появления в печати.

<sup>16</sup> ГПБ, ф. 531, № 853, лл. 5 об., 10 об.; Ижорский. Мистерия, стр. 40—41.

<sup>17</sup> ГПБ, ф. 531, № 853, лл. 4 и 9; Ижорский. Мистерия, стр. 37.

<sup>18</sup> См. письмо А. С. Пушкина Норову 10—15 ноября 1933 года: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 94.





И. А. МАЛЕВАНОВ

## К БИОГРАФИИ А. П. ГАННИБАЛА

В примечаниях к 1-й главе «Евгения Онегина» Пушкин писал о своем прадеде по материнской линии Абраме Петровиче Ганнибале: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы современем надеемся издать полную его биографию».<sup>1</sup> Как известно, Пушкину удалось осуществить этот замысел лишь частично — в художественных произведениях, в которых он нередко обращался к образу А. П. Ганнибала, и в исторических заметках. Впоследствии исследователи посвятили немало работ предкам Пушкина, и в частности яркой личности А. П. Ганнибала, но еще далеко не все факты, связанные с его деятельностью, известны. Для будущей полной его биографии не будут лишены интереса материалы, сохранившиеся в протоколах Канцелярии главной артиллерии и фортификации, а также ее конторы.<sup>2</sup> Они позволяют не только уточнить, но и существенно расширить сведения о роли А. П. Ганнибала в военных работах по укреплению обороноспособности России в 50-х годах XVIII века.

Самая ранняя запись в этих протоколах, имеющая прямое отношение к А. П. Ганнибалу, сделана 2 мая 1752 года в связи с получением указа Военной коллегии от 25 апреля этого же года о назначении его «во инженерный корпус». Указом определялся также круг вопросов, которыми должен был здесь заниматься Абрам Петрович. Всем частям и подразделениям, входившим в «инженерный корпус», предписывалось «впредь о состоянии объявленных служителей оного генерал-майора репортовать от команд: по Остзейскому департаменту — бригадиру инженер-полковнику Лудвиху, а по российским — инженер-полковнику Бибикову и о всяких касающихся до команды делах представлять к нему ж, генерал-майору, и резолюции требовать от него».<sup>3</sup> Сам Ганнибал должен был отчитываться перед Военной коллегией.

Как видно из другой протокольной записи, от 13 мая 1752 года, А. П. Ганнибал горячо взялся за дело.

11 мая 1752 года он сообщал Канцелярии главной артиллерии и фортификации, что «посланными от него к бригадиру Лудвиху и ко инженер-полковнику Бибикову ордерами предложено:

«1. Подать к нему, генерал-майору и кавалеру без дальнего медления репорты, сколько при которой крепости каких находится служителей порознь с подробным показанием при том, сколь давно из них, кто, где имеется и прежде где в каких командированиях и при других исправле-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 655.

<sup>2</sup> ЦГАВМФ, фонд 3 бывшего Филиала Центрального государственного военно-исторического архива (ФЦГВИА).

<sup>3</sup> Там же, оп. 2, д. 285, Протокол № 1; оп. 2, д. 296, лл. 11—13.

ниях обретались, и какие в том имеют ат<т>естаты, и ныне кто, где, при каком исправлении, от кого определенный состоит.

«2. Крепостям планы с профили и показанием около их ближних ситуацийев.

«3. Какие в которой крепости и какими казенными или вол<ь>ными люд<ь>ми ныне работы исправляюща и впредь заправлять должно и по чьим, когда последовавшим прожектам.

«4. Сколько в которую крепость к нынешнему году нужно каких материалов и припасов для чего требовано <...> и нет ли где от недостатка какой остановки.

«5. Отныне <впредь> о всех происходимых командных и экономических делах и о командировании по крепостям и в другие места и об отпусках в дома и к производству чинами инженерных служителей и о прочем для резолюции представлять; также о состоянии всех команд и прочего и о фортификационных работах с приложением обыкновенных планов и профилей месячные и третные годовые репорты подавать особливо ж и семидневные репорты; кроме С.-Петербургской и Шлиссельбургской крепостей, ис прочих отдаленных каждому командующему во оных присылать прямо к нему генерал-майору и кавалеру, а таковые ж семидневные репорты о С.-Петербургской и Шлиссельбургской крепостях подавать к нему ж, генерал-майору и кавалеру, и бригадиру инженер-полковнику Лудвику.

«6. О С.-Петербургской и Московской инженерных школах, кто что ученики обучили и давно ли находятся в учении <...> прислать к нему ж, генерал-майору и впредь таковы ж семидневные и месячные о состоянии оных учеников и резолюции требовать от него».<sup>4</sup>

Особенно много и плодотворно работал в эти годы А. П. Ганнибал по укреплению крепостей на северо-западных и западных рубежах России. Все фортификационные работы в Кронштадтской, Выборгской, Рижской, Перловской и Петропавловской крепостях в 1753 году велено было производить «по ево генерал-майора и кавалера рассуждению».<sup>5</sup> Под непосредственным его наблюдением должны были производиться работы в С.-Петербургской (Петропавловской) крепости. Даже наем работных людей «для исправления при С.-Петербургской крепости самонужнейших фортификационных работ» требовали производить «по рассмотрению ево генерал-маэора».<sup>6</sup>

Летом 1753 года А. П. Ганнибал выполнял ответственное поручение Коллегии иностранных дел по разграничению «между Российской империей и шведской короной земель», что временно его отвлекло от руководства фортификационными работами.

Сведения об этом поручении, кроме протоколов, имеются также и в сохранившемся рапорте А. П. Ганнибала от 1 мая 1753 года.<sup>7</sup> (Аналогичное поручение ему пришлось выполнять в 1743—1745 гг. в Лифляндии). В работе комиссии в Стокгольме Ганнибал участвовал вместе со своей военно-походной канцелярией до января 1754 года.

С 30 января 1754 года он снова присутствовал на заседаниях Канцелярии главной артиллерии и фортификации.

Приведенные факты до сих пор не были известны в литературе об А. П. Ганнибале. В монографии М. Вегнера весь этот период исчерпывается

<sup>4</sup> Там же, Протокол № 24.

<sup>5</sup> Там же, д. 311, Протокол № 66.

<sup>6</sup> Там же, д. 313, Протокол № 73.

<sup>7</sup> Там же, Протокол № 28; д. 325, л. 3.

сообщением о проверке Ганнибалом отчетов об укреплениях, возводившихся между Днепром и Донцом.<sup>8</sup>

Активно участвуя в обсуждении всех текущих вопросов в Канцелярии главной артиллерии и фортификации, после возвращения из Финляндии А. П. Ганнибал, кроме того, занимался, по представлению полковника Дебоскета из Киева, рассмотрением графических материалов по «постройке в Киево-Печерской крепости вместо старых ветхих Васильковских деревянных вновь каменных ворот и при них же каменных же караульных покоев», а также других крепостных сооружений.<sup>9</sup> Представленное заключение по плану и собственный «особливо учиненный им план» были одобрены Канцелярией главной артиллерии и фортификации 27 февраля 1755 года.

Сохранились также сведения и об участии А. П. Ганнибала в 1754 году в разработке мероприятий по облицовке кирпичных стен Петропавловской крепости плитой, так как «плита несравненно с кирпичем, но весьма долго-временно стоять может». По рассмотрении и одобрении планов работ Ганнибалом решено было «плитную одежду» стен «производить по временам, когда которая часть за обвалившимся кирпичем новую одежду требовать будет». 9 августа 1754 года «для свидетельства» возможности производства этих работ по старой стене Ганнибал с генералитетом, членами Канцелярии и выдающимися архитекторами-строителями того времени С. Чевакинским, М. Башмаковым, О. Трезини, А. Вистом присутствовал при второй пробной «одежде плитой» участка крепостной стены в куртинке между Екатерининским и Трубецким бастионами.

В протоколе отмечается, что все эти авторитетные эксперты «по довольному рассуждению согласно положили (в чем подписались, которая подписка в Канцелярии главной артиллерии и фортификации) следующее: хотя, как выше явствует по опробованному той крепости плану (имеется в виду план С.-Петербургской крепости 1732 г., утвержденный Анной Иоанновной,— Н. М.) о той плитной одежде не назначено, но оно должно учинить».<sup>10</sup>

Сохранились также документы об определении А. П. Ганнибала в апреле 1755 года на место умершего генерала Любераса для «устроения и содержания» Кронштадтского канала, а также «о присутствии» в «Комиссии о Рогервицкой гавани, Кронштадском и Ладожском каналах». В указе подчеркивалось, что Ганнибал назначался для руководства этими крупными инженерными сооружениями эпохи как «довольно знаемый Правительствующим Сенатом и способный к тому делу».<sup>11</sup> (Участие Ганнибала в Комиссии по строительству Ладожского канала до сих пор датировалось более поздним временем).<sup>12</sup>

В конце 1755 года, 25 декабря, Абрам Петрович Ганнибал был назначен губернатором в Выборг с чином генерал-лейтенанта. Но вскоре, как об этом говорится в протоколе Военной коллегии от 3 января 1756 года «е императорское величество указать изволила генерал-лейтенанту и ковалеру Ганнибалу остатца при инженерном корпусе попрежнему... понеже оной господин генерал-лейтенант и ковалер командует ныне всем инженерным корпусом и подлежащих до того корпуса делах представлени(я), таж и о состоянии инженерных служителей месячные и третные таблицы

<sup>8</sup> М. Вегнер. Предки Пушкина. Изд. «Сов. писатель», М., 1937, стр. 116.

<sup>9</sup> ФЦГВИА, ф. 3, оп. 2, д. 334, Протокол № 3.

<sup>10</sup> Там же, д. 343, Протокол № 16.

<sup>11</sup> Там же, д. 376.

<sup>12</sup> М. Вегнер. Предки Пушкина, стр. 117.

и списки в канцелярию подает и о подлежащих же делах от себя х командам предложении чинит». <sup>13</sup>

Хотя А. П. Ганнибал и был оставлен при инженерном корпусе «по-прежнему», однако его права впоследствии были сильно урезаны в связи с назначением в 1756 году на должность генерал-фельдцейхмейстера П. И. Шувалова, властного временщика елизаветинской эпохи.

Тем не менее и после 1756 года А. П. Ганнибал привлекался к выполнению крупных и важных поручений. Так, при учреждении «Комиссии для рассмотрения российских крепостей» при Военной коллегии А. П. Ганнибал был введен в ее состав в качестве члена. Специальным приказом Канцелярии главной артиллерии и фортификации было разрешено выдать для работы А. П. Ганнибалу «имеющуюся во оной канцелярии экземплярную о крепостях именуемую „Сила Российской империи“ книгу», а также «потребные планы и карты» «всем состоящим около Российской империи границам и по ним лежащим крепостям и линиям...», також внутренним крепостям генеральные планы». <sup>14</sup>

Таков вкратце далеко не полный перечень источников, проливающих дополнительный свет на энергичную деятельность А. П. Ганнибала в инженерном ведомстве и заслуживающих внимания как пушкинистов, так и историков военного искусства.

Э. С. ПАИНА

## ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТСТАВКИ А. П. ГАННИБАЛА

Жизнь А. П. Ганнибала — «арапа Петра Великого» — в течение полутора веков много раз привлекала внимание биографов его правнука-поэта и исследователей русской истории XVIII века. Несмотря на это, многое в его необычайной и бурной биографии остается до сих пор невыясненным.

В частности, неясны обстоятельства отставки Ганнибала, происшедшей в 1762 году. Известно, что в период царствования Елизаветы Петровны А. П. Ганнибал сделал большую военно-административную карьеру, достигнув чина генерал-аншефа, ордена Александра Невского и звания «главнокомандующего на Ладожском канале». Но в 1761 году Елизавета умерла, а ее преемник, Петр III, 9 июня 1762 года (менее чем за три недели до его свержения Екатериной!) уволил Ганнибала в отставку.

Многочисленные авторы, занимавшиеся биографией А. П. Ганнибала, совершенно по-разному объясняли обстоятельства отстранения Ганнибала от службы. Так, по словам одного из самых ранних его биографов, Гельбига,<sup>1</sup> Ганнибал вышел в отставку при Петре III «по своему желанию» Лонгинов писал, что Ганнибал вышел в отставку по прошению.<sup>2</sup> Эту версию поддерживал и Н. А. Гастфрейнд.<sup>3</sup> Другие исследователи (М. Д. Хмыров, Б. Л. Модзалевский, А. Ганнибал) считали, что А. П. Ганнибал уволен был от службы за старостью.<sup>4</sup> А. С. Пушкин в своих записках, основываясь, по его словам, на сведениях, почерпнутых у Гельбига, весьма лаконично сообщил, что Ганнибал вышел в отставку.<sup>5</sup> Между тем для такой крупной фигуры XVIII века, каким был А. П. Ганнибал — крестник и любимец Петра, видный талантливый инженер, это очень важно. Тем более, что сведения о последнем периоде его деятельности свидетельствуют об интенсивной и плодотворной работе Ганнибала, которая — по-видимому, неожиданно — была прервана. Так, один из наиболее обстоятельных исследователей биографии Ганнибала, упомянутый Хмыров, писал, что Ганнибал 23 октября 1759 года, несмотря на свои разногласия с генерал-фельд-

<sup>1</sup> Георг фон Гельбиг. Русские избранники. «Русская старина», 1886, апрель, стр. 105—106. Книга Гельбига вышла в свет впервые на немецком языке в 1809 году («Русская старина», 1896, апрель, стр. 3). Русский перевод в публикации «Русской старины» — В. Б., т. е. В. А. Бильбасова.

<sup>2</sup> М. Лонгинов. Абрам Петрович Ганнибал. «Русский архив», 1864, стлб. 190.

<sup>3</sup> Письма Абрама Ганнибала. (Архивные документы). Издал Николай Гастфрейнд. СПб., 1904, стр. 5 (в «хронологической канве» жизни и деятельности Ганнибала, с датой «8 июня 1762»).

<sup>4</sup> Б. Л. Модзалевский. Родословная Ганнибалов. «Летопись Историко-родословного общества в Москве», 1907, вып. 2, стр. 6; М. Д. Хмыров. Генерал-аншеф Авраам Петрович Ганнибал. (Биографический очерк по документам). В кн.: Исторические статьи М. Д. Хмырова. СПб., 1873, стр. 62—64; А. Ганнибал. Ганнибалы. Новые данные для их биографии. «Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII. СПб., 1913, стр. 246.

<sup>5</sup> У Пушкина: «... говорит его немецкий биограф» (Отрывок из записок А. С. Пушкина. «Сын отечества», 1840, № 7, стр. 467).

цехмейстером П. И. Шуваловым, был пожалован в генерал-аншефы. Преклонный возраст Ганнибала (вероятно, ему было не менее 70 лет), не препятствовал в последние годы его службы деятельному участию в строительстве Кронштадтского канала. Зимой 1762 года, после смерти своей крестной сестры, императрицы Елизаветы Петровны, и вступления на престол ее племянника, Петра III, Ганнибал оставался в Петербурге со своей «Военно-походной канцелярией его высокопревосходительства Ганнибала» и приглашал через газеты принять участие в торгах по поставкам на строительство Кронштадтского и Ораниенбаумского каналов.<sup>6</sup>

По-видимому, он не ожидал отставки. Это подтверждает и нижепубликуемое прошение Ганнибала на имя Екатерины II, выявленное нами в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде:

«Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилоостивейшая.

«Бьет челом генерал и кавалер Аврам Петров сын Ганибал. А о чем мое прошение, тому следуют пункты:

«1. Вашего императорского величества вселюбезнейшему деду блаженная и вечной славы достойная памяти государю императору Петру Великому, предкам вашим и вашему императорскому величеству верно рабскую мою службу продолжал 57 лет беспорочно, а июня 9 дня неповинно и без всякого моего преступления от службы отстранен без награждения.

«И за ту мою долголетнюю беспорочную и усердную службу, припадая к стопам вашего императорского величества, прошу из высочайшей природной вашего императорского величества щедроты милосердия пожаловать меня для пропитания з бедною моею фамилиею всеподданнейшего раба вашего в Ингерманландии в Копорском уезде из принадлежащих к Рождественской дворянкой мызы дач с деревнями, называемыми Старое Сиверко, Новое Сиверко, Болшевомежно, Выра, Рыбица; в них мужеска пола по последней ревизии пять сот семь душ, с принадлежащими до оным деревнями, пустошью Куровицкою и протчим землям санным покосам и с лесными угодьями. Или из сего числа, сколько поблагоизволению вашего императорского величества, всемилаостивейше пожалованием удостоить соизволите в вечное и потомственное владение.

«Всемилоостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем челобитье решение учинить. Июля . . . . .<sup>8</sup> дня 1762 году.

«К сей челобитной генерал и кавалер Аврам Петров сын Ганибал руку приложил».<sup>9</sup>

На прошении имеется помета неустановленного лица: «резюлюции не последовало». Это не первое прошение Ганнибала, оставшееся не рассмотренным. Так, в 1742 году Ганнибал подал в Сенат прошение о выдаче ему диплома и герба на дворянство. Это прошение осталось нерешенным и в 1781 году сдано было в архив. В 1765 году Екатерина II обратилась к Ганнибалу с лестным письмом,<sup>10</sup> что свидетельствует об известном внимании царицы к Ганнибалу, однако никакого решения на публикуемое нами прошение Ганнибала не последовало и просьба его о награждении землями осталась неудовлетворенной. Об этом свидетельствует отдельная запись на его владения, составленная 8 августа 1782 года.

<sup>6</sup> М. Д. Хмыров. Генерал-аншеф Авраам Петрович Ганнибал, стр. 62—64.

<sup>7</sup> В прошении указан только один пункт.

<sup>8</sup> Пропуск в подлиннике.

<sup>9</sup> ЦГИАЛ, ф. 468. Кабинет е. и. в., оп. 1, д. 4006, «Челобитчиковы дела», л. 275 и 275 об.

<sup>10</sup> Письма Аврама Ганнибала. Издал Николай Гастфрейнд. СПб., 1904, стр. 5.

В указанной записи не упоминается ни одно из просимых им сел, мыз и деревень; сыновьям Ганнибала в Петербургской губернии достались: Ивану — в Софийском уезде мыза Сюдда (Суйда) с деревнями Мельницы и Пижня; Петру — в том же уезде мыза Елица с деревнями Новой, Погостье, Общей и Кузнецкою; Осипу (деду А. С. Пушкина) — мыза Руново и деревня Кобрино; Исааку — мыза Тайцы с деревнями.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> ЦГИАЛ, ф. 1343, Департамент герольдии, оп. 19, д. 617, лл. 23 об.—24 об.

# ХРОНИКА



## XI, XII и XIII ВСЕСОЮЗНЫЕ ПУШКИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

XI, XII и XIII ежегодные Всесоюзные Пушкинские конференции, проведенные Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР в 1959—1961 годах, были посвящены важнейшим проблемам изучения жизни и творчества великого русского поэта.

XI Всесоюзная Пушкинская конференция (3—7 июня 1959 года) была посвящена вопросам пушкинской текстологии.

Важнейшей работой советских текстологов-пушкинистов явилось осуществление шестнадцатитомного академического издания сочинений Пушкина (1937—1949), давшего критически проверенный основной текст его произведений и полный, научно обработанный текст всех черновых рукописей. Полнота черновых редакций и вариантов — основное отличие академического издания от всех остальных изданий Пушкина; в нем были использованы все известные тогда источники текста, печатные и рукописные, расшифрованы и прочтены пушкинские черновики, приведены все редакции, проанализированы и систематизированы варианты. Это издание — как результат большой текстологической работы и как воплощение принципов, которыми руководились текстологи, принимавшие в ней участие, — было главным предметом обсуждения на конференции.

Доктор филологических наук Б. П. Городецкий в своем вступительном слове охарактеризовал овал основных задачи, стоящие перед XI Пушкинской конференцией.

Конференцией было заслушано семь докладов.

Доктор филологических наук С. М. Бонди (Москва) в своем докладе «Основные вопросы пушкинской текстологии» подробно остановился на таких важнейших текстологических проблемах в изучении новой литературы, как установление правильного авторского текста и изучение процесса возникновения текста по материалам черновиков. Изложив принципы научной критики текста, докладчик отметил, что в большинстве случаев опубликованный текст Пушкина стабилен и не вызывает сомнений, но когда имеется несколько одновременных автографических списков, а порою и несколько редакций или публикации по копии с подлинника, правильный текст следует устанавливать критически, на основании тщательного текстологического изучения всех источников. Далее С. М. Бонди подробно остановился на другом важном вопросе пушкинской текстологии — на методах чтения черновых рукописей.

Кандидат филологических наук Н. В. Измайлов (Ленинград) в докладе «Итоги изучения рукописного наследия Пушкина», рассматривая шестнадцатитомное академическое издание Пушкина как итог изучения его рукописного наследия, проанализировал в своем докладе достоинства и недостатки этого издания. Важнейшим его недостатком, сказал докладчик, является то, что хотя и вышли в свет все шестнадцать томов, однако издание, по существу, осталось незаконченным, так как до сих пор не издан том заметок «рукою Пушкина», в котором должны быть помещены пушкинские записи народных песен и сказок, планы изданий, записки официального характера и т. д.; в результате академическое издание оказывается менее полным, чем другие, не академические издания. Кроме того, материалы этого издания, исключительного по полноте редакций и вариантов, почти не вошли в научный оборот, главным образом вследствие того, что оно до сих пор не имеет тех широких монографических комментариев, которые давали бы в руки исследователей ключ к нему; нет обоснования выбранного текста, нет истории создания произведения, истории текста, объяснений к вариантам, нет обоснования датировок. Создание такого комментария (обещанного в предисловии к первому тому) — одна из насущных задач пушкиноведения, с осуществлением которой академическое издание сочинений Пушкина надолго останется памятником, достойным великого поэта, и живым источником изучения его творчества.

Доктор филологических наук Ю. Г. Оксман (Москва) посвятил свой доклад



«О некоторых текстологических и композиционных особенностях академических изданий Пушкина» критике академического издания и основанных на нем двух десятилетних изданий (1949 и 1956—1958). По мнению докладчика, строго выдержанный хронологический принцип размещения материала внутри каждого тома, без учета завершенности произведений, является существенным композиционным недостатком, перешедшим во все массовые издания. Включение гипотетических прочтений (обозначенным угловыми скобками) в пушкинский текст Ю. Г. Оксан считает другим важным недостатком академического издания потому, что по издательским правилам в массовых изданиях, опирающихся на текст академического издания, гипотетичность прочтения ничем не обозначается. В докладе было разобрано также несколько спорных прочтений академического издания и ряд его конъектур, вызывающих сомнения.

Член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой (Москва) в докладе «Современные типы изданий Пушкина» отметил, что все многообразные типы изданий можно подразделить на две группы: на издания, обращенные к исследователю, и издания популярные, которые должны отличаться друг от друга как полнотой, так и характером комментария. Д. Д. Благой указал, что тексты Пушкина в процессе текстологических исследований уточнялись, меняясь от издания к изданию; все это вносило большой разнородности в массовые издания и вызвало острую потребность иметь авторитетный, стабильный текст. Удовлетворить эту потребность — главная задача текстологов при подготовке академического издания писателя-классика. Академическое издание сочинений Пушкина осуществило эту задачу, что является крупной победой советской текстологии.

Доклад доктора филологических наук Б. С. Мейлаха (Ленинград) «Текстология и теоретические вопросы литературоведения» был посвящен до сих пор не разработавшейся проблеме — роли текстологии для теории литературы и эстетики. Изучение черновых рукописей, являющихся документальным отражением творческого процесса, в сочетании с изучением всех других материалов творческой биографии писателя дает возможность раскрыть характер связей между словом и образными представлениями, взаимоотношения между понятием и образом, образом и его объективной основой, психологию творчества. Применение текстологического анализа в исследовании теоретических проблем литературоведения, обогатив науку новой методикой, даст возможность раскрыть процесс изучения и переработки писателем впечатлений реальной действительности, процесс и средства типизации и др.

О вопросах датирования произведений Пушкина говорила в своем докладе Т. Г. Цявловская (Москва). Эти вопросы возникали перед всеми редакторами научных изданий. Академическое издание 1937—1949 годов явилось настоящим этапом в определении хронологии произведений Пушкина, но обоснование датировок в нем отсутствует, поскольку по не зависящим от редакции причинам это издание вообще не имеет комментария. Однако обоснования предельно точных датировок, установленных редакторами томов для большей части произведений Пушкина, сохранились в рукописи. Анализ этих обоснований дает возможность говорить о системе методов и приемов датирования произведений Пушкина. Изложение этой системы и составило главное содержание доклада Т. Г. Цявловской.

Академик В. В. Виноградов в докладе «Вопросы атрибуции анонимных публикаций по данному языку и стилю» показал богатые возможности, которые представляет в установлении авторства стилистический и лингвистический анализ текста. Ставя под сомнение результаты, полученные при субъективных методах атрибуции (субъективно-психологическом, субъективно-идеологическом и субъективно-конъюнктурном), В. В. Виноградов считает, что атрибуция по данным историко-культурным и историко-фактологическим непременно должна быть подтверждена стилистическим и лингвистическим анализом текста, который является важнейшим средством и действительным критерием в определении авторства.

Р. М. Фрумкина (Москва) сообщила конференции итоги статистического исследования структуры лексики Пушкина, проделанного сотрудниками Института языкознания АН СССР.

В прениях по докладом приняли участие С. М. Бонди, И. Л. Фейнберг, Т. Г. Цявловская (Москва), Н. Н. Фатов (Черновицы), П. Н. Берков, А. П. Могилянский, О. С. Соловьева (Ленинград) и др.

Два заседания были посвящены работе педагогической секции конференции, обсуждавшей вопросы изучения творчества Пушкина в школе и задачи, стоящие перед школой в связи со значительным сокращением программ преподавания литературы. Секция заслушала и обсудила доклады кандидата педагогических наук К. П. Лахостского (Ленинград) «Место и значение Пушкина в системе школьного образования и воспитания», кандидата филологических наук Н. В. Колокольцева (Москва) «Пушкин в проекте новых школьных программ» и ряд сообщений из опыта изучения Пушкина в школе и вне школы.

На заключительном заседании конференцией была принята следующая резолюция, подводящая итоги обсуждения вопросов, выдвинутых в докладах и выступлениях.

## РЕЗОЛЮЦИЯ XI ВСЕСОЮЗНОЙ ПУШКИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

XI-я Всесоюзная Пушкинская конференция, посвященная вопросам пушкинской текстологии и изданий сочинений Пушкина, констатирует несомненные достижения советской филологии и пушкиноведения в области изучения и публикации рукописного наследия поэта и научного издания его сочинений. Вместе с тем в докладах и выступлениях, заслушанных на конференции, был выдвинут ряд новых и нерешенных вопросов. Конференция считает, что среди них наиболее актуальными являются:

1. Дальнейшая разработка принципов текстологии, чтения и публикации черновых рукописей Пушкина, вариантов его произведений. Наряду с этим, необходимо отражение в печати достижений и недостатков в этой области и, в частности, подведение итогов 16-томного академического издания сочинений Пушкина.

2. Дальнейшее усовершенствование структуры и композиции изданий сочинений Пушкина, устранение случаев включения незавершенных и неясных по своему замыслу черновых набросков в основной корпус его произведений; усовершенствование и разработка методики атрибуции и датировки пушкинских произведений.

3. Разработка методологии и новой методики исследования, на основе рукописей, творческого процесса Пушкина с целью не только понимания истории текста, но изучения творческой лаборатории Пушкина, закономерностей его художественной системы.

Конференция отмечает, что при всех достижениях 16-томного академического издания Пушкина оно до сих пор остается незавершенным. Поэтому крупнейшими его недостатками являются: неполнота корпуса текстов, отсутствие обоснования датировки текстов и мотивировки предпочтения одного текста другому, что в значительной мере обесценивает научное значение академического издания.

В связи с этим конференция считает необходимым:

А. Напечатание дополнительных томов акад. издания, содержащих записи Пушкиным фольклора, его различные документы, рисунки, заметки и т. д.

Б. Подготовку вместо очередной перепечатки 10-томного издания сочинений Пушкина в Академии наук, 12-томного собрания сочинений с обязательным включением в комментарий обоснования датировок и мотивировок печатаемых текстов.

Конференция считает необходимым, ввиду актуальности проблем, поставленных в докладах, не только для пушкиноведения, но и для текстологии в целом, напечатание докладов в виде отдельного сборника или специального тома издания «Пушкин. Исследования и материалы».

4. XI Всесоюзная Пушкинская конференция одобряет обращение педагогической секции конференции в Министерство народного просвещения РСФСР и в Академию педагогических наук по следующим вопросам:

1) О необходимости увеличения числа часов, отводимых в проекте новых программ на изучение жизни и творчества Пушкина.

2) Об объявлении открытого конкурса на написание учебника по литературе для средних школ.

Материалы обсуждения на педагогической секции вопроса о проекте новых программ направить в комиссию по выработке программы по литературе для средних школ Министерства народного просвещения РСФСР.

Обратить внимание Учпедгиза на необходимость подготовки пособий для изучения Пушкина в школе — биографии Пушкина для учащихся, комментариев к произведениям Пушкина, сборников избранных критических статей, а также пособий в помощь учителям.

Конференция отмечает также недопустимость перепечатки в хрестоматиях по литературе, издаваемых Учпедгизом, текстов Пушкина из устаревших собраний его сочинений, содержащих грубые ошибки.

Основным предметом обсуждения участников XII Всесоюзной Пушкинской конференции, проходившей в Институте русской литературы 4—6 июня 1960 года, был проспект коллективной монографии «Итоги и проблемы пушкиноведения», намеченной к изданию сектором пушкиноведения Института русской литературы. Задача этого труда — подвести некоторые итоги современному изучению Пушкина, собрать воедино то, что уже сделано и может считаться неизбежным, проанализировать различные решения важнейших проблем пушкиноведения, разные точки зрения и на основе этого анализа наметить дальнейшие пути в исследовании выдвинутых проблем.

Открывая конференцию, председатель Пушкинской комиссии Академии наук СССР академик М. П. Алексеев сказал, что собравшимся предстоит обсудить современное состояние науки о Пушкине в целом, обсудить направление и перспективы ее развития в будущем, что помогло бы координации усилий советских пушкинистов в разрешении задач, определяемых общим культурным подъемом советского народа.

Этой общей задачей были определены темы основных докладов, посвященных

важнейшим проблемам изучения творчества и мировоззрения Пушкина, а также направление и содержание прений.

Доктор филологических наук Б. П. Городецкий (Ленинград) в своем докладе «Проблемы пушкиноведения на современном этапе» осветил важнейшие вопросы изучения и понимания Пушкина. Особое внимание докладчик уделил проблеме соотношения Пушкина с эпохой, которая определила его творческую личность, дала основное содержание его творчеству и оказала решающее воздействие на выработку его творческого метода. В разработке этой проблемы необходимо конкретно-историческое изучение вопроса, отказ от стремления подгонять положительные явления прошлого под точку зрения нашей современности, для чего исследователю особенно важно преодолеть ограниченность круга привлекаемых обычно данных, характеризующих лишь социально-политическое содержание эпохи. Второй комплекс вопросов, затронутых в докладе Б. П. Городецкого, связан с проблемой традиций и предшественников Пушкина в русской и западноевропейских литературах. Среди них особенно важен и методологически сложен вопрос о влиянии на Пушкина того или иного явления западноевропейского литературного процесса. Постановка этой проблемы особенно необходима, так как в связи с борьбой против компаративизма в литературоведении вопросы мировых литературных традиций, в русле которых должно осмыслиться и творчество Пушкина, почти полностью были устранены из литературоведческой науки.

В последующих докладах были рассмотрены конкретные проблемы творчества и мировоззрения Пушкина.

Доклад кандидата исторических наук В. В. Пугачева (Саратов) «Идеология декабризма и творчество Пушкина» был посвящен проблеме изучения пушкинского мировоззрения. Анализируя общественно-политические взгляды идеологов декабризма Николая Тургенева и Пестеля в их историческом развитии, докладчик сопоставил с ними взгляды молодого Пушкина, отразившиеся в его гражданской, политической лирике. В. В. Пугачев убедительно аргументировал основной тезис своего доклада, состоящий в том, что Пушкин до 14 декабря полностью разделял общественные идеи декабристов. По мнению докладчика, изучение исторических и общественно-политических взглядов Пушкина конца 20—30-х годов позволяет заключить, что и после 1825 года Пушкин по своей идеологии остался в рамках первого (т. е. дворянского) этапа русского освободительного движения.

Доктор филологических наук В. Г. Базанов (Ленинград) выступил с докладом «Проблема романтизма у Пушкина и у декабристов». Рассматривая романтизм в русском искусстве как явление, вызванное запросами и потребностями самой действительности, докладчик отметил прочность связей декабристско-пушкинского романтизма с внешним миром, с политической жизнью страны, с судьбами нации и народа. Но при всей общности направления для творчества поэтов-романтиков характерно индивидуальное решение проблемы романтизма, отражавшее своеобразие литературной позиции каждого. В докладе уделено внимание разногласиям Пушкина с Кюхельбекером и Рылеевым в трактовке романтизма.

Член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой (Москва) прочел доклад «Проблема реализма Пушкина в его соотношении с другими творческими методами», посвятив его двум спорным вопросам творческого метода Пушкина-реалиста: хронологическому определению начала реалистического творчества Пушкина и вопросу о генезисе пушкинского реализма. Полемизируя с пушкиноведами, датирующими оформление реалистического метода в творчестве Пушкина временем создания «Бориса Годунова», Д. Д. Благой высказал суждение, что уже с начала работы над первой главой «Евгения Онегина», т. е. с мая 1823 года, Пушкин сознательно становится на путь реализма. Полемизируя с исследователями, связывавшими происхождение реализма Пушкина с «просветительским реализмом» конца XVIII века, докладчик говорил о становлении пушкинского реализма в связи с достижениями романтизма и с усвоением особенностей античной поэзии — двумя факторами, определившими, по мнению Д. Д. Благого, своеобразие пушкинского реализма.

Член-корреспондент АН СССР П. Н. Берков (Ленинград) выступил на конференции с докладом «Пушкинская концепция истории русской литературы XVIII века» (см. настоящий сборник, стр. 75—93).

Доклад Т. Г. Цявловской (Москва) «Новонайденный автограф Пушкина (эпиграмма на Булгарина)» содержал сообщение о новом пушкинском автографе, принадлежащем московскому собирателю рукописей В. Г. Данилевскому и находящемся в составе цензурного экземпляра девятого номера «Московского телеграфа» за 1827 год. С помощью тонкого и тщательного анализа пушкинского автографа эпиграммы на Булгарина (известной как эпиграмма Баратынского), анализа особенностей ее композиции, стиля, размера, характерной концовки и т. д. Т. Г. Цявловская показала возможность пушкинского участия в создании эпиграммы, основным автором которой, по ее мнению, по-прежнему следует считать Е. А. Баратынского.

В прениях, развернувшихся по докладам, основное внимание было уделено обсу-

ждению проспекта «Итогов и проблем пушкиноведения». В выступлениях была дана высокая оценка самого замысла подобной работы, призванной ответить насущной потребности в историографии пушкиноведения. Вместе с тем в них содержалась и критика проспекта, были сделаны существенные дополнения и поправки.

В прениях выступили Д. Д. Благой, Н. О. Корст, Ю. Г. Оксман, С. М. Петров, А. Н. Соколов, Н. А. Степанов (Москва); П. Н. Берков, М. И. Гиллельсон, К. Н. Григорьян, Н. В. Измайлов, Г. П. Макогоненко, Б. С. Мейлах (Ленинград); А. И. Герб-стман (Алма-Ата); З. В. Кирилук, Д. В. Чалый (Киев); М. П. Легавка (Харьков); З. И. Русова (Горький); Н. Я. Соловей (Даугавпилс); Н. Н. Фатов (Черновицы).

В ходе прений было высказано суждение о необходимости напечатать обсуждаемый проспект, имеющий большое значение для всех литературоведческих институтов.

XIII Всесоюзная Пушкинская конференция, проходившая в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР 6—8 июня 1961 года, была посвящена проблемам биографии Пушкина.

Открывая конференцию, директор Института русской литературы член-корреспондент АН СССР А. С. Бушмин в своем вступительном слове указал на то, как важна тенденция последних пушкинских конференций посвящать свои заседания какой-либо крупной, стержневой теме, целесообразность которой диктуется насущными задачами пушкиноведения и представляет научный и широкий общественный интерес, ибо советское пушкиноведение, при всех своих недостатках, является наиболее развитым ответвлением русского литературоведения, к методологии исследователей Пушкина обращаются исследователи творчества многих других писателей. Одной из таких значительных тем является и тема XIII Пушкинской конференции.

С докладами на конференции выступили Б. С. Мейлах, Т. Г. Цявловская, Ю. Г. Оксман, С. М. Бонди, Б. П. Городецкий, А. И. Гербстман, Д. Д. Благой.<sup>1</sup>

В своем докладе «О задачах изучения и принципах построения биографии Пушкина» доктор филологических наук Б. С. Мейлах (Ленинград) поставил вопрос о биографии писателя как самостоятельной проблеме в науке о литературе. Б. С. Мейлах подчеркнул, что биография как научная проблема ничего общего не имеет с так называемым биографическим методом в литературоведении. В связи с этим докладчик поставил и вопрос о биографии как жанре, как особом типе литературоведческого исследования, задачей которого является освещение личности писателя в ее социально-исторической обусловленности и индивидуальном своеобразии.

Т. Г. Цявловская (Москва) в своем докладе «Неясные места биографии Пушкина» показала, что по целому ряду периодов и эпизодов жизни и творчества поэта мы до сих пор знаем чрезвычайно мало. Об этом свидетельствуют программы автобиографий Пушкина, в которых многое нам неизвестно или непонятно; об этом свидетельствует и каждый опыт более углубленного изучения какого-либо момента пушкинской биографии. О многих событиях жизни Пушкина, особенно его внутренней, духовной жизни, нам известно лишь по отзвукам их, порой очень глухим и общим, в его поэзии. Но, с другой стороны, что бы ни открывалось о Пушкине нового — оно всегда подтверждает наши представления о нем, обогащает нас новыми деталями, новыми данными — но не новыми представлениями.

Доклад доктора филологических наук Ю. Г. Оксмана (Москва) был посвящен проблеме «Пушкин и Белинский».

Восстанавливая обстоятельства приглашения Белинского в «Современник», докладчик отметил, что они определялись: 1) осведомленностью Пушкина в критических выступлениях Белинского на страницах «Телескопа» и «Молвы» в 1834—1836 годах; 2) восторженной статьей в «Молве», которой Белинский приветствовал выход первого номера «Современника» и которая явилась первым и единственным положительным откликом на пушкинский журнал в русской печати среди общего неприязненного и даже враждебного отношения к этому предприятию Пушкина; главное же — 3) разрывом с группой литераторов «Московского наблюдателя», в которых Пушкин долгое время ошибочно видел своих друзей и единомышленников и на которых ориентировался почти все сотрудники «Современника» — от Гоголя и Плетнева до Вяземского, Одоевского и Краевского. В оценке «Московского наблюдателя» Пушкин сошелся не со своими товарищами по «Современнику», а с Белинским, резко критиковавшим «Московский наблюдатель» за его апологию салонной дворянской культуры, фальшиво-претенциозный православный пиятизм, за его антинародную эстетику. Таким образом, заключает Ю. Г. Оксман, решение Пушкина именно в эту пору опереться на Белинского получает значение не случайного, а глубоко принципиального факта политической и литературной биографии великого поэта. Далее, характеризуя социальные, исторические и литературные взгляды Белинского, на материале его статей этого периода, докладчик приходит к выводу, что возможность сотрудничества Белинского в «Современнике» была обусловлена значительной близостью его идеологической платформы

<sup>1</sup> Статьи Б. С. Мейлаха, Т. Г. Цявловской и Д. Д. Благого на основе докладов, прочитанных на XIII конференции, печатаются в настоящей томе.

к воззрениям Пушкина (отношение к декабристскому пути преобразования общества; отрицательное отношение к пессимистической концепции русского исторического процесса, пропагандировавшейся Чаадаевым; близость во взглядах на русский литературный процесс XVIII—начала XIX века).

Доклад доктора филологических наук С. М. Бонди (Москва) был посвящен другому, не менее существенному этапу жизни и творчества Пушкина — «Встрече Пушкина с Николаем I в 1826 году». Дошедшие до нас свидетельства об этой встрече и содержании разговора царя с поэтом (длившегося более часу) слишком отрывочны и не дают нам верного представления о сущности этой важной беседы. Между тем резкое различие политических высказываний Пушкина до и после этой встречи показывает, что их разговор имел громадное значение для определения политических взглядов и политического поведения поэта. С. М. Бонди, сопоставляя, с одной стороны, задачи, стоявшие перед Николаем I в первые месяцы его царствования, и, с другой стороны, основные моменты мировоззрения Пушкина в эту эпоху и политический опыт, накопленный им к этому времени, дал в своем докладе убедительную реконструкцию сущности и содержания разговора Пушкина и Николая I, основных тем его и тех обещаний, которые Пушкин мог слышать от царя, хорошо изучившего в ходе следствия идеологию и политическую и социальную программу декабристов.

Кандидат филологических наук А. И. Гербстман (Алма-Ата) выступил на конференции с докладом «Образ „автора“ в „Евгении Онегине“». Изучая образ «автора» в «Евгении Онегине», говорит докладчик, можно проследить, как художник, нередко оперируя с материалом автобиографического характера, перерабатывает его, включает в художественную ткань произведения, превращает интимное, личное, частное — в типическое. Анализируя образ «автора» в его многообразных функциях, А. И. Гербстман особенно подчеркнул важную идейную роль его как выразителя передовой идеологии эпохи и существенное место его в композиции романа, где он является своеобразной идейно-композиционной параллелью к образу главного героя, подчеркивая и утверждая его типичность.

Доктор филологических наук Б. П. Городецкий прочел доклад «Автобиографическое и типическое в лирике Пушкина». Вопрос об «автобиографическом» и «типическом» в лирике Пушкина, сказал он, является весьма важным при изучении его биографии, так как содержание и фактическая основа ряда стихотворений во многом обобщает его личный опыт как современника своей эпохи и художника. Характеризуя особенности автобиографизма пушкинской лирики 30-х годов, Б. П. Городецкий отметил, что она поднимается до небывалых высот философских обобщений и художественного совершенства. Особенно явственно ощущается в ней переход от субъективного лиризма к лирике, отражающей всю сложность объективного мира; в связи с этим намечаются сдвиги и в жанровой структуре пушкинской лирики, все более приближающейся к повествовательным лирическим жанрам, которые представляли все возможности не только для эпического рассказа, но и для выражения самых глубоких и сложных личных переживаний и настроений поэта. В конечном счете, усилил Пушкина шли в направлении создания поэзии мысли, соответствовавшей общим устремлениям новой эпохи.

Член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой в своем докладе «Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой» проанализировал характер творческой работы Пушкина над стихотворением «Странник» (1835), представляющим собой переложение начала обширной аллегорической повести английского писателя-проповедника XVII века Джона Беньяна «Путешествие пилигрима», и показал, что она во многом аналогична работе над «Пиром во время чумы»: как и там, Пушкин берет из обширнейшего произведения Беньяна совсем небольшой кусок, сосредоточивая внимание на наиболее остром психологическом моменте повести — глубоко внутреннем кризисе, побуждающем человека полностью порвать со всей своей прежней жизнью, с семьей и обществом — и придает этому отрывку художественную цельность и завершенность.

В ходе конференции развернулись оживленные прения, в которых приняли участие Н. А. Степанов, С. М. Петров, С. А. Гуревич, Н. О. Корст, Д. Д. Благой, Л. В. Крестова (Москва), П. Н. Берков, В. А. Мануйлов, Т. Г. Гнедич, Н. В. Измайлов (Ленинград), М. И. Мальцев (Чебоксары), В. В. Пугачев (Горький), Б. А. Трубецкой (Кишинев) и др.

Начиная с 1954 года в Кишиневе и Одессе ежегодно проводятся конференции пушкинистов юга. Значительная часть докладов, прочитанных на этих конференциях, опубликована в сборниках «Пушкин на юге. Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы» (т. I, Государственное издательство МССР, Кишинев, 1958 — по материалам конференций 1954—1957 годов; т. II, изд. «Штиинца» Молдавского филиала Академии наук СССР, Кишинев, 1961 — по материалам конференций 1956—1959 годов).

Готовится к печати третий том сборника, составленный из докладов на конференциях 1960 и 1961 годов.

Программы первых шести конференций опубликованы во втором томе сборника «Пушкин на юге».<sup>2</sup>

*В. Б. Сандомирская*

### ГРУППА ПУШКИНОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) АКАДЕМИИ НАУК СССР

В период работы с 1959 по 1961 год в руководстве сектором пушкиноведения произошли изменения. В связи с большой загруженностью академика М. П. Алексеева, заведующим сектором был назначен доктор филологических наук Б. П. Городецкий, осуществлявший руководство сектором пушкиноведения до марта 1961 года, когда в целях научно-организационного укрепления и повышения уровня коллективных форм работы в области изучения новой русской литературы дирекция института преобразовала сектор пушкиноведения в группу, включив ее в состав сектора новой русской литературы института. Заведующим группой пушкиноведения был назначен доктор филологических наук Б. С. Мейлах.

Являясь единственным в Советском Союзе центром научного изучения творчества и жизни Пушкина и опираясь в своей деятельности на уникальные рукописные и книжные фонды, хранящиеся в Пушкинском Доме, группа пушкиноведения включила в свой план коллективную монографию «Итоги и проблемы пушкиноведения». Задачей этого труда является: осветить вопросы, связанные с изучением и пониманием Пушкина как крупнейшей историко-литературной проблемы всего нашего литературоведения; показать, что сделано в каждой значительной и самостоятельной области пушкиноведения, подвести итоги и наметить важнейшие задачи дальнейшего изучения; показать, какие существуют нерешенные, неясные, непоставленные или неверно поставленные проблемы; наметить пути к правильному разрешению ряда нерешенных проблем. Коллективная монография строится по общему плану, включающему в себя следующие основные разделы: Введение. Проблема Пушкина в развитии русской и общественной мысли, критике и литературоведении (1820—1960). I. Пушкин и его эпоха. Проблема предшественников и современников Пушкина в России и на Западе. Проблема формирования и развития философского и общественно-политического мировоззрения Пушкина. Пушкин и общественно-политические движения эпохи; Пушкин и литературное движение его времени. II. Проблемы изучения биографии Пушкина. Общие итоги изучения биографии Пушкина в дореволюционном и советском пушкиноведении; определение задач и проблем дальнейшего исследований в этой области. III. Проблема пушкинского источниковедения. Задачи исследования рукописного наследия Пушкина, как материальной основы изучения его творчества; проблема пушкинской библиографии и источниковедения. IV. Проблема изучения творчества Пушкина. Общие проблемы изучения художественного метода Пушкина, формирование эстетических взглядов Пушкина; развитие пушкинского художественного мышления; проблемы, связанные с определением и изучением основных элементов пушкинского реализма в его становлении и развитии; изучение лирики Пушкина; изучение эпических произведений Пушкина; изучение пушкинского романа в стихах; изучение драматургии Пушкина; изучение стихосложения Пушкина; изучение прозаического творчества Пушкина. V. Проблемы изучения языка и стиля Пушкина. Заключение. Предполагаемый объем труда 50 печатных листов.

Сотрудниками группы Б. П. Городецким, Б. С. Мейлахом и Н. В. Измайловым был написан «Проспект» коллективной монографии, подвергшийся обсуждению на XII Всесоюзной Пушкинской конференции в 1960 г. В первом полугодии 1960 г., после утверждения «Проспекта», между сотрудниками были распределены разделы монографии; начиная с IV квартала 1960 и в 1961 году написанные разделы монографии обсуждались на научных заседаниях сектора. Так, был обсужден ход работы Б. С. Мейлаха над разделом «Пушкин и общественно-литературное движение его времени», Т. Г. Цявловской «О проблемах датирования произведений Пушкина», Я. Л. Левкович над разделом о проблемах изучения биографии Пушкина, В. Б. Сандомирской над разделом о проблемах изучения ранних поэм Пушкина.

Планом работы над коллективной монографией предусматривается участие в ней виднейших советских пушкинистов: академика В. В. Виноградова, члена-корреспон-

<sup>2</sup> Хронику работы конференций 1954—1958 годов см.: Пушкинская конференция. «Молдавия», 1954, № 147, 23 июня; Конференция пушкинистов Украины и Молдавии. «Советская Молдавия», 1955, № 127, 31 мая; Конференция пушкинovedов. «Советская Молдавия», 1956, № 116, 19 мая; Пушкинские конференции. «Днепр», 1957, № 3, стр. 152—153; Конференция пушкинovedов Кишинева и Одессы. «Советская Молдавия», 1958, № 126, 31 мая.

дента АН СССР Д. Д. Благого, докторов филологических наук С. М. Бонди, Ю. Г. Оксмана и др.

Учитывая первостепенную важность разработки ряда проблем не только в коллективных работах, но и в индивидуальных монографиях, в 1961 году были завершены две монографии: Б. П. Городецкого «Лирика Пушкина» (объем 25 авторских листов) и Б. С. Мейлаха «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс» (объем 15 авторских листов). Первая монография посвящена раскрытию своеобразия пушкинской лирики, определению ее места в истории русской лирической поэзии, выяснению соотношения лирики Пушкина и творчества в этой области его предшественников и современников в России и за рубежом.

Вторая монография посвящена изучению художественного мышления в динамике, как творческого процесса. В монографии раскрываются принципы «творческой лаборатории» Пушкина, ее различные стадии, начиная от фона и импульсов, планов, первых набросков, рождения и развития образов в рукописях с привлечением других материалов. Художественное мышление Пушкина рассматривается в монографии на широком фоне литературы и эстетики, предшествующей и современной ему. Главы обеих монографий обсуждались на заседаниях сектора; в обсуждении глав приняли участие работники ряда ленинградских и московских институтов. В 1960 году вышел из печати III том сборника «Пушкин. Исследования и материалы» (объемом 40 п. л.) под редакцией Н. В. Измайлова. Помимо работ сотрудников группы пушкиноведения и других секторов института, в нем помещены статьи и материалы ученых ряда учреждений не только Ленинграда, но и Москвы, Тарту, Риги, Тбилиси и Софии (Болгария). В 1960 году вышло из печати подготовленное силами сотрудников группы пушкиноведения совместно с сотрудниками рукописного отдела и сектора взаимосвязей русской и зарубежной литературы института издание «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг.» (объем 27 авторских листов). Это архивная публикация, состоящая из писем, принадлежащих вдове Н. М. Карамзина — Е. А. Карамзиной и ее детям: Софье, Александру, Владимиру и Елизавете Карамзиным, Екатерине Андреевне Мещерской и адресованные сыну Н. М. Карамзина — Андрею Николаевичу, жившему тогда за границей. Письма содержат много интересных данных о лицах, событиях, быте и нравах русского общества 30-х годов XIX века. Особую ценность представляют сообщения о Пушкине, в которых содержатся дополнительные данные о последних месяцах жизни, дуэли и смерти Пушкина. Всего в публикации напечатано 47 писем (отправлений), большинство из которых написано на французском языке. В издании публикуются также и французские оригиналы писем. Ко всем письмам даны примечания. Вступительная статья «Пушкин и семейство Карамзиных» написана Н. В. Измайловым, осуществившим редакцию всего издания. Подготовили тексты писем и выполнили переводы П. Р. Заборов и М. П. Султан-Шах, примечания составили Я. Л. Левкович, О. А. Пини и В. Б. Сандомирская.

В том же 1960 году вышло другое издание группы: «Библиография произведений Пушкина и литературы о нем. 1954—1957 гг.». Библиография регистрирует с максимальной полнотой всю пушкинскую литературу за 4 года и знакомит исследователей с новейшими работами в области пушкиноведения. Вышедшее издание является одним из серии библиографических указателей, заданных Пушкинским Домом (см. указатели за 1949, 1950, 1951, 1952—1953 годы). В конце 1961 года завершена библиография «Пушкинианы», охватывающая 12-летний период, с 1937 по 1948 годы, и представляющая особый интерес тем, что она включает обширный юбилейный пушкинский 1937 год, а также и военные годы. Объем этой библиографии — 50 авторских листов.

На научных заседаниях сектора (группы) в 1959—1961 годах был также заслушан и обсужден ряд сообщений и докладов как сотрудников института, так и сотрудников других научных учреждений. Среди них: в 1959 году — сообщение Л. Н. Назаровой (Ленинград) «Пушкин в Аккермане», Радо Дьердь (Венгрия) «Пушкин в Венгрии до 1948 года» и «Александра Гончарова», доклад А. Д. Соймонова (Ленинград) «П. В. Киреевский и А. С. Пушкин», В. Л. Дранкова (Ленинград) «О творческой истории пушкинских рисунков», В. В. Пугачева (Саратов) «Пушкинская ода „Вольность“ и предыстория Союза благоденствия», Б. В. Казанского (Ленинград) «Некоторые итоги изучения обстоятельств гибели Пушкина», Н. В. Вулих (Ленинград) «Печальные элегии Овидия и послание Пушкина „К Овидию“»; в 1960 году — Л. В. Успенского (Ленинград) «О словарях писателей пушкинской поры», А. И. Гербстмана (Алма-Ата) «К вопросу о военных поселениях в главе „Странствие“ романа „Евгений Онегин“», И. Ф. Балзы (Москва) «Историческая основа трагедии Пушкина „Моцарт и Сальери“ в свете новых зарубежных данных», В. В. Пугачева (Саратов) «„Деревня“ Пушкина как программный документ декабризма», С. Л. Абрамович (Ленинград) «Образ путешественника в „Путешествии из Москвы в Петербург“ Пушкина и этапы работы поэта над статьей», Н. В. Вулих (Ленинград) «Античные образы и мотивы в раннем творчестве Пушкина», Н. В. Королевой (Ленинград) «Тютчев и Пушкин» и др.

Большое внимание группа пушкиноведения уделяет организации и участию во Всесоюзных Пушкинских конференциях, ежегодно проводимых Пушкинским Домом (см. отчет о XI, XII и XIII Всесоюзных Пушкинских конференциях в настоящем сборнике).

При группе пушкиноведения работает Пушкинский кабинет, располагающий богатейшей коллекцией «Пушкинианы». Ядром книжного фонда Пушкинского кабинета явилась библиотека известного собирателя пушкинских рукописей и книг А. Ф. Онегина, пополненная коллекцией «Пушкинианы» из бывшего Александровского лицея и другими собраниями. Помимо изданий сочинений Пушкина и литературы о нем, здесь представлены прижизненные издания современников Пушкина, журналы первой трети XIX в. Пушкинский кабинет располагает обширной литературой о современниках поэта, изданиями произведений Пушкина на языках народов СССР, а также переводами произведений Пушкина на иностранные языки (представлены переводы на 30 иностранных языках).

Являясь единственным в Советском Союзе хранилищем первых изданий Пушкина и обширной пушкиноведческой литературы, Пушкинский кабинет ведет большую научно-консультативную работу. Сюда обращаются сотрудники не только Пушкинского Дома, но и литературоведы многих городов Советского Союза, а также писатели, искусствоведы, музееведы, киноработники, учителя, многочисленные читатели Пушкина по самым разнообразным вопросам пушкиноведения. Сотрудники группы пушкиноведения и Пушкинского кабинета отвечают на многочисленные письменные запросы, поступающие сюда от разных советских и зарубежных учреждений и отдельных лиц.

Сотрудники группы пушкиноведения ведут научно-общественную работу, участвуя в деятельности Пушкинской комиссии при Отделении литературы и языка АН СССР. Б. П. Городецкий является заместителем председателем комиссии, Б. С. Мейлах — членом бюро комиссии, О. А. Пини — ученым секретарем.

Члены группы выступали также с докладами о Пушкине и других писателях на объединенной конференции пушкиноведов юга, в Пушкинском заповеднике (село Михайловское Псковской области), Всесоюзном музее А. С. Пушкина, музее-квартире А. С. Пушкина и др.

*О. А. Пини*

## ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АКАДЕМИИ НАУК СССР

26 сентября 1958 года по предложению Бюро Отделения литературы и языка Академии наук СССР Президиум Академии наук СССР принял постановление о возобновлении деятельности Пушкинской комиссии и утвердил положение о комиссии. Председателем комиссии был утвержден академик В. В. Виноградов, заместителями председателя академик М. П. Алексеев, член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой и доктор филологических наук Б. П. Городецкий, членами бюро — доктора филологических наук Б. С. Мейлах и Ю. Г. Оксман, ученым секретарем — О. А. Пини.

Учитывая, что в Ленинграде находится Пушкинский Дом с его пушкинским архивом и сектором пушкиноведения, Бюро ОЛЯ АН СССР в своем постановлении от 16 XII 1959 признало целесообразным сделать центром Пушкинской комиссии Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, сохранив руководство комиссией за Бюро Отделения. Несколько позднее Президиум Академии наук СССР удовлетворил просьбу академика В. В. Виноградова ввиду его большой загруженности об освобождении его от обязанностей председателя комиссии и утвердил председателем академика М. П. Алексеева. В. В. Виноградов остался в бюро комиссии в качестве его члена.

В составе комиссии: член Союза писателей СССР доктор филологических наук И. Л. Андроников (Москва), член-корреспондент Академии художеств СССР М. К. Аникушин (Ленинград), члены Союза писателей СССР Н. С. Ашукин (Москва) и А. А. Ахматова, доктор филологических наук В. Г. Базанов (Ленинград), академик А. И. Белецкий (Киев), член-корреспондент АН СССР Н. Ф. Бельчиков (Москва), член-корреспондент АН СССР П. Н. Берков (Ленинград), кандидат филологических наук Г. П. Блок (Ленинград), доктор филологических наук С. М. Бонди (Москва), председатель Пушкинской комиссии Одесского Дома ученых кандидат филологических наук З. А. Бориневич-Бабайцева (Одесса), доктор искусствоведения И. Ф. Бэла (Москва), председатель Пушкинской комиссии Молдавской Академии наук академик АН Молдавской ССР И. К. Вартчан (Кишинев), академик АН Белорусской ССР П. Ф. Глебка (Минск), директор Пушкинского заповедника Псковской области С. С. Гейченко (село Михайловское), доктор филологических наук Л. П. Гроссман, академик АН УССР Н. К. Гудзий (Москва), директор «Пантеона



писателей Грузии» кандидат исторических наук И. К. Ениколопов (Тбилиси), член-корреспондент АН СССР В. М. Жирмунский (Ленинград), кандидат филологических наук Н. В. Измайлов (Ленинград), директор Всесоюзного музея А. С. Пушкина М. М. Калаушин (Ленинград), директор Московского государственного музея А. С. Пушкина А. Э. Крейн (Москва), кандидат филологических наук В. Д. Левин (Москва), доктор филологических наук Г. П. Макогоненко (Ленинград), кандидат филологических наук В. А. Мануилов (Ленинград), академик М. В. Нечкина (Москва), член Союза писателей СССР В. Н. Орлов (Ленинград), доктор филологических наук С. М. Петров (Москва), член-корреспондент АН СССР Н. К. Пиксанов (Ленинград), доктор филологических наук Н. С. Поспелов (Москва), академик М. Ф. Рылский (Киев), член Союза писателей СССР А. Л. Слонимский (Москва), доктор филологических наук А. Н. Соколов (Москва), доктор филологических наук Н. Л. Степанов (Москва), профессор Н. Н. Фатов (Черновицы), академик К. А. Федин (Москва), член Союза писателей СССР И. Л. Фейнберг (Москва), Т. Г. Цявловская (Москва), доктор филологических наук В. С. Шадури (Тбилиси), профессор Ю. А. Шапорин (Москва), член Союза писателей СССР С. В. Шервинский, действительный член Академии художеств СССР Д. А. Шмаринов.

Основными задачами Пушкинской комиссии, говорится в Положении, являются определение важнейших и наиболее актуальных проблем изучения творческого наследия Пушкина; координация работы пушкиноведов Советского Союза для решения этих проблем и согласование планов работ различных научно-исследовательских учреждений и отдельных лиц; способствование пушкиноведам в установлении международных связей; выявление и учет пушкинских материалов, находящихся за рубежом, и содействии учреждениям и лицам, ведущим научно-популярную деятельность, связанную с жизнью и творчеством Пушкина. На заседаниях бюро Пушкинской комиссии, а также на ее пленарных заседаниях был обсужден сперва проект, а затем и сама проблемная записка «Основные проблемы пушкиноведения на современном этапе», составленной группой пушкиноведов. Содержание «Проблемной записки» распределено по трем основным разделам: 1) проблемы источниковедения, 2) проблемы биографического плана и 3) проблемы изучения пушкинского творчества. Текст «Проблемной записки» опубликован в «Известиях АН СССР, ОЛЯ», 1962, т. XXI, вып. 1.

На Пленуме Пушкинской Комиссии 7 июня 1960 года была утверждена представленная членом бюро Комиссии профессором Б. С. Мейлахом докладная записка — проект издания «Пушкинской энциклопедии».

«Пушкинская энциклопедия» должна представить собой свод сведений по вопросам, связанным с биографией и творчеством Пушкина, с отдельными его произведениями и персонажами, с его многосторонними интересами, его ролью в развитии русской и мировой культуры, его влиянием на искусство, музыку, живопись, театр и др. Здесь нужно осветить и роль Пушкина в развитии общественной мысли и освободительного движения. «Пушкинская энциклопедия» должна также содержать справки разнообразного характера — исторические, географические, лингвистические и другие, необходимые для точного понимания произведений Пушкина. Наконец, в этом издании будут даны сведения об увековечении памяти Пушкина, о пушкинских музеях, памятниках, крупнейших учебных заведениях, названных его именем, и т. д. Это издание важно и потому, что окажет существенную помощь переводчикам произведений Пушкина на языки народов СССР и за рубежом и поможет устранить многочисленные ошибки в переводах, возникающие из-за неудачного или неточного названия, понимания тех или иных понятий и слов, которые встречаются в его произведениях.

Издание такого типа предпринимается у нас впервые. Как известно, за рубежом давно уже выходят различного рода энциклопедии, посвященные отдельным писателям. В Англии неоднократно издавались энциклопедии, посвященные не только Шекспиру, Диккенсу, Вальтеру Скотту, но и Роберту Броунингу, Джорджу Элиоту, Р. Киплингу, Г. Уэллсу. Всемирную известность получила итальянская энциклопедия, посвященная Данте. Такого типа энциклопедии и справочники имеются в Германии и некоторых других странах. Эти энциклопедии, хотя и получившие широкое распространение, не носят, однако, такого широкого характера, как проектируемая «Пушкинская энциклопедия» и не объединены единством методологии. Среди них преобладают фактические и словарные справки, в то время как «Пушкинская энциклопедия», наряду с огромным справочным материалом, ставит себе и более широкие задачи — дать свод необходимых знаний, связанных не только с Пушкиным и эпохой, но и с характеристикой его значения для России и всего человечества.

Большое общественное, культурное, научное и международное значение «Пушкинской энциклопедии» очевидно.

Согласно проекту, осуществление издания предполагается институтом БСЭ. Если проект будет принят, то потребуются создание главной редакции в составе работников БСЭ и литературоведов-специалистов в области изучения биографии и

творчества Пушкина. Главная редакция «Пушкинской энциклопедии» будет находиться в постоянном контакте с Пушкинской комиссией при Отделении литературы и языка Академии наук СССР и группой пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Члены Пушкинской комиссии (в состав которой входят, кроме литературоведов, также историки и искусствоведы) должны быть привлечены к активному участию в редакционной работе.

Издание планируется в трех томах ориентировочно по 60 печатных листов. Издание иллюстрируется портретами Пушкина и виднейших современников, с которыми он был связан, снимками с пушкинских изданий и автографов репродукциями, иллюстрациями к его произведениям и т. д. При главнейших статьях дается краткая библиография.

Статьи располагаются в алфавитном порядке и охватывают по своему содержанию следующие основные темы:

1. Биография. Род Пушкина. Этапы биографии. Связь Пушкина с декабристами. Преследование его самодержавием. События личной жизни. Путешествия по России (с приложением карты путешествий). Родственники и современники Пушкина. Дуэль и смерть.

2. Творчество. Статьи обо всех без исключения произведениях Пушкина с краткими сведениями об истории их создания и появления в печати. Статьи об отдельных жанрах пушкинского творчества (лирика, проза, драмы и т. д.), о его методе и этапах его развития (романтизм, реализм и т. д.).

3. Пушкин и литература, предшествующая и современная ему, русская и зарубежная. Справки о всех писателях, так или иначе упоминаемых Пушкиным, и о его оценках этих писателей.

4. Пушкин и искусство. Пушкин о деятелях искусства, живописцах, музыкантах и т. д. Произведения Пушкина в музыке, на сцене, в кино, радио, телевидении. Образ Пушкина в живописи, скульптуре, кино, театре. Виднейшие деятели искусства о Пушкине.

5. Влияние Пушкина на развитие русской и мировой литературы. Общие статьи, характеризующие это влияние. Писатели России, народов СССР, стран Запада и Востока о Пушкине. Переводы Пушкина на языки народов СССР и зарубежные. Переводчики Пушкина.

6. Русская и мировая история в произведениях Пушкина. Исторические события и деятели.

7. Пушкин в русской критике и литературоведении. Статьи о виднейших критиках и литературоведах, писавших о Пушкине, о его биографии и творчестве.

8. Пушкин и наука. Интересы Пушкина к различным отраслям знаний и отражение этих интересов в его произведениях и переписке.

9. Пушкин в истории русской общественной мысли и революционном движении. Статьи, посвященные отдельным вопросам этой темы, роль Пушкина на отдельных этапах революционного движения. Борьба вокруг Пушкина в различных политических направлениях. Нелегальные дореволюционные издания произведений Пушкина. Основные эпизоды борьбы вокруг Пушкина (открытие памятника и речь Достоевского, юбилей 1899 г. и др.).

10. Пушкин в советское время. Пропаганда творчества Пушкина. Наследие Пушкина, советская литература и искусство. Пушкинские юбилеи, их всенародный характер. Пушкинские музеи, памятники. Пушкинские места.

11. Пушкин и народное творчество. Пушкин о фольклоре и фольклористике. Образы народного творчества у Пушкина. Пушкин в фольклоре (сказания, песни, легенды о Пушкине. Пушкин в народной картинке, лубке, произведениях Палеха, Мстеры, Федоскина, Холая, народной скульптуры, резчиков по дереву западной Украины и др.).

12. Различный справочный материал. Мифологические образы, упоминаемые у Пушкина. Географические названия. Заметки, связанные с бытом пушкинской эпохи и важные для понимания его произведений.

Проект «Пушкинской энциклопедии» направлен Пушкинской комиссией в Бюро ОЛЯ АН СССР и БСЭ.

Бюро Пушкинской комиссии получило разрешение на издание «Временника Пушкинской комиссии» — ее печатного органа, имеющего научно-информационный характер, в котором находили бы свое быстрое отражение очередные работы исследователей (в форме важнейших положений, рефератов), хроника пушкиноведения в СССР и за рубежом и обзоры пушкиноведческой литературы.

Предполагается издание «Временника» два раза в год — к пушкинским датам: 10 февраля и 6 июня каждого года. Объем издания установлен 6 п. л. в год.

На пленарном заседании 5 июня 1961 года Комиссия заслушала сообщения Пушкинской комиссии Молдавской Академии наук, Пушкинской комиссии Одесского

Дома ученых, Всесоюзного музея А. С. Пушкина, Московского государственного музея А. С. Пушкина, Пушкинского заповедника Псковской области, Горьковского университета, Псковского педагогического института и других о намечаемых мероприятиях в связи с предстоящим 125-летием со дня смерти Пушкина и приняла соответствующие решения.

О. А. Ливи

## МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА В МОСКВЕ

6 июня 1961 года, в 162-ю годовщину со дня рождения Пушкина, в Москве, в старинном особняке на Кропоткинской улице, открылась экспозиция, посвященная жизни и творчеству великого поэта. Выставка создана коллективом Государственного музея А. С. Пушкина, начавшим работать с осени 1958 года.

Основная экспозиция размещается в восьми залах первого этажа дворянского особняка, построенного в 1815—1817 годах (архитектор А. Г. Григорьев). В двух верхних залах размещена выставка материалов, собранных для раздела «Пушкин и советская культура».

Открытием этой экспозиции закончился первый этап строительства нового музея. Следующий этап связан с ремонтом здания, примыкающего к особняку.

Каким будет московский музей после окончания всего строительства? В выставочных залах главного здания, где сейчас помещаются материалы будущей выставки «Пушкин в советской культуре», в дальнейшем предполагаются временные тематические экспозиции. Ближайшая — «Пушкин в русской музыке».

Во втором корпусе музея в будущем откроются еще два раздела экспозиции: «Пушкин и советская культура» и «Мировое значение Пушкина». Коллектив музея подготовит и организует работу двух кабинетов — изучения языка и стиля Пушкина и справочного-библиографического. Назначение кабинетов — дополнить экспозицию, ввести посетителя в творческую лабораторию писателя, дать возможность углубленных занятий по специальным вопросам, требующим особых условий и вспомогательных материалов (экран, таблицы, альбомы и проч.). Сейчас в музее работает рукописный кабинет, располагающий фотокопиями всех хранящихся в Пушкинском доме автографов поэта с указанием шифра хранилища. Эти фотокопии уже используются московскими исследователями, издательствами, музейными работниками, студентами.

Во втором корпусе будет также открыт концертно-лекционный зал на 250 мест, что позволит музею развернуть широкую лекционную и концертную деятельность.

Государственный музей А. С. Пушкина задуман как московский центр изучения и пропаганды творчества Пушкина, как своеобразный «Дом поэзии», где с Пушкиным будет встречаться молодая поэтическая поросль, куда будут приходить ученые, артисты, музыканты, те, кто занимается Пушкиным, кто любит его.

Работая над подготовкой основной экспозиции музея, его коллектив за два с половиной года собрал несколько тысяч экспонатов. Среди них прижизненные издания произведений поэта, альбомы со списками его стихотворений, журналы и альманахи с первыми публикациями, сочинения писателей-современников, русская и иностранная литература в изданиях XVIII—первой половины XIX века, прижизненные портреты Пушкина, его современников, писателей, чьи книги он читал, пейзажи и интерьеры пушкинской эпохи, мебель и предметы убранства и, наконец, мемориальные вещи, принадлежавшие Пушкину или его друзьям. В музее широко показаны автографы поэта и биографические документы, воспроизведенные специальным способом на бумаге пушкинской эпохи.

Кроме материала пушкинской эпохи, музеем собрано несколько сот работ советских художников — портретов поэта — графических, живописных и скульптурных, иллюстраций к произведениям Пушкина, эскизов костюмов и декораций к театральным и кинопостановкам на пушкинские темы.

Сейчас для обозрения экспонируется около 700 произведений искусства, почти 1000 книг, а также несколько десятков предметов мебели и убранства пушкинского времени.

Среди экспонатов миниатюрный портрет Пушкина в возрасте 2—2½ лет, подаренный матерью поэта дочери врача М. Я. Мудрова; несколько посмертных портретов Пушкина, сделанных в 1840-х годах, в том числе так называемый «лжебрюловский» портрет, живописный и скульптурный портреты, хранившиеся у Вяземских в Остафьеве. Все они заслуживают внимания не только с документальной стороны, но и по своим художественным достоинствам. Впервые обнаружится уменьшенная копия с портрета работы В. А. Тропинина, сделанная в 1828 году А. П. Елагинной и принадлежавшая С. А. Соболевскому (с его надписью на обороте портрета).

Интересны портреты Е. М. Хитрово (рисунки О. А. Кипренского), А. А. Олениной (рисунки Г. Г. Гагарина), Е. П. Бакуниной в ее альбоме 1810-х годов, изображение общества в гостиной Олениных в Приютине и многое другое.

Большое место в экспозиции занимают пейзажи, интерьеры и жанровые иллюстрации пушкинской эпохи.

Из мемориальных вещей, кроме конторки и пера поэта, переданных Всесоюзным музеем А. С. Пушкина в Ленинграде, в экспозиции имеется несколько предметов из тех домов, где бывал Пушкин. Это мебель и вещи из имения Гончаровых Полотняный завод, имения Вяземских Остафьево и некоторые другие. Экспонируется также шкатулка доктора Арендта для медикаментов и инструментария, стоявшая два последних дня жизни Пушкина в его квартире.

Названное здесь далеко не исчерпывает собранного материала. Обзор всего собранного музеем от частных лиц или обнаруженного в государственных хранилищах среди портретов неизвестных лиц (как например, портрет М. Н. Раевской) будет сделан особо.

В собирательской работе музею оказали большую помощь государственные хранилища. Среди них Всесоюзный музей Пушкина, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, ряд ленинградских, московских и киевских хранилищ, краеведческие, районные и областные музеи, библиотеки, а также и частные лица, принесшие в дар музею ценнейшие экспонаты (профессор А. А. Арендт, собиратель Ф. Е. Вишнеvский, профессор И. М. Саркизов-Серазини и многие другие).

*Н. В. Баранская*

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА,  
УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ**

- Александр Радищев** 58, 208, 209, 219, 225  
**Александр** см. **На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году**  
**Арап Петра Великого** 63  
**Бахчисарайский фонтан** 44, 164, 309, 325  
**Борис Годунов** 167, 276, 278, 400, 418  
**Вадим** (Свод неба мраком обложился) 48  
**Вертоград моей сестры** 140  
**В крови горит огонь желанья** 90, 140  
**Вольность (ода)** 94—96, 123, 128, 132—139, 193, 199, 200, 234, 321, 327—331, 333, 334, 398, 399, 422  
**Воображаемый разговор с Александром I** 96, 328  
**Воспоминание** (Когда для смертного умолкнет шумный день) 25, 44  
**Воспоминания в Царском Селе** (Навис покров угрюмой ночи) 188  
**Голицыной** (Посылая ей оду «Вольность») 95, 96  
**Город пышный, город бедный** 24  
**Гусар** (Скребницей чистил он коня) 57  
**Деревня** 234, 422  
**Джон Теннер** 208  
**Дневник 1833—1835 годов** 220, 225, 228, 267—270, 272—286  
**Друзьям** (Нет, я не льстец, когда царю) 21, 227, 305  
**Дубровский** 173, 231  
**Евгений Онегин** 11, 39, 42, 201, 264, 275, 319, 320, 336—353, 367, 371—377, 401, 408, 418, 420, 422  
**Египетские ночи** 151—153, 173, 175—182  
**Езерский** 176  
**Закливание** 45  
**Заметки по русской истории XVIII века** 88, 89, 91, 92, 321  
**Заметки при чтении «Нестора» Шлецера** 222  
**Замечания о бунте** 229  
**Записки** (Программа автобиографии) 34, 36  
**Записки** (План автобиографии) 36, 37  
**Записки** (Начало автобиографии) 34  
**Из А. Шенье** 328  
**Из Гафиза** 324  
**Измены** 36  
**История Петра**. (Материалы) 31, 222, 280  
**История Пугачева** 7, 27, 220, 228, 280, 284, 362, 364, 365  
**История села Горюхина** 213, 231  
**Кавказский пленник** 41, 42, 43, 44, 368  
**Капитанская дочка** 129, 372  
**Кинжал** 96, 131  
**К моей черняльнице** 42  
**К морю** 311, 312  
**К Овидию** 422  
**Когда в объятия мои** 354, 355, 357, 359—361  
**Когда порою воспоминашь** 45  
**Кольна** 325  
**Лицинию** 96, 131, 321  
**Медный всадник** 57, 63, 64, 220, 357, 372  
**Мирская власть** 60  
**Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной** 206  
**Мое завещание. Друзьям** 38  
**Моцарт и Сальери** 237—245, 247, 248, 252—257, 259, 260, 263—266, 422  
**Моя родословная** 151  
**Мы проводили вечер на даче** 173  
**Наброски предисловия к «Борису Годунову»** 355  
**На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году** (Александр) 131, 188  
**На Испанию родную** 54  
**Наполеон** (Чудесный жребий совершился) 25  
**Наполеон на Эльбе** 188  
**Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем** 354  
**О драмах Байрона** 37  
**О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»** 59  
**О народной драме и драме «Марфа Посадница»** 88  
**О народном воспитании** 219, 321  
**О народности в литературе** 325  
**О ничтожестве литературы русской** 89—92, 220  
**О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова** 26  
**Спорежики на критике** 88, 151

- Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений** 151  
**Оскар** 325  
**Осень** 57, 181  
**Ответ Анониму** 175, 176, 180  
**Отрывок (Несмотря на великие преимущества...)** 151—153, 174—177, 180  
**Паж, или пятнадцатый год** 248  
**Папесса Иоанна** 221  
**Пиковая дама** 173  
**Пир во время чумы** 54, 55, 57  
**Поверь, безумные забавы** 354, 357, 359, 361  
**Повести Белкина** 174  
**Повесть из римской жизни** 357  
**Погасло дневное светило** 44, 143  
**Подражание арабскому** 324  
**Подражания Корану** 324  
**Покойник, автор сухощавый** 358  
**Полководец** 60  
**Полтава** 63, 154—158, 160, 163—172, 355, 358, 372  
**Пора, мой друг, пора!** 61, 62  
**Послание цензору** 88  
**Поэт (Пока не требует поэта)** 147—149, 151—153, 178  
**Поэт и толпа («Ямб»)** 147, 176, 178, 179, 356, 358, 359  
**Поэту (Поэт! Не дорожи любовью народной)** 178  
**Пророк** 62, 63, 140, 147, 324  
**Простите, верные дубравы!** 366  
**Путешествие из Москвы в Петербург** 58, 90, 208, 209, 214—226, 228—236, 422  
**Румяный критик мой...** 213  
**Руслан и Людмила** 41, 187, 190  
**Русский Пелам** 36  
**Свободы сеятель пустынный** 47  
**Сказка о мертвой царевне** 354  
**Скупой рыцарь** 248  
**Стансы (В надежде славы и добра)** 21, 63, 64  
**Странник** 50, 53—60, 62—70, 420  
**Участь моя решена. Я женюсь...** 35, 357, 359, 361  
**Цветы последние милей** 366  
**Цыганы** 400  
**Чаадаеву (В стране, где я забыл тревоги прежних лет)** 42  
**Черная шаль** 400  
**Эвлега** 325  
**Элегия (Безумных лет угасшее веселье)** 244  
**Эхо** 178  
**Юрий Милославский, или русские в 1612 году** 168  
**Я видел смерть, она в молчаньи села** 38  
**Я возмужал среди печальных бурь** 220  
**Ямб см. Поэт и толпа**  
**Я памятник себе воздвиг нерукотворный** 25  
**Я помню чудное мгновенье** 24

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аберт, Г.** 247, 264  
**Абрамович, С. Л.** 208, 422  
**А. Г. см. Фогель фон Фризенгоф, А. Н.**  
**Аддисон, Д.** 52  
**Адлер, Г.** 251, 253, 254, 256, 261  
**Адлерен см. Адлер, Г.**  
**Азадовский, М. К.** 107, 108, 121, 123, 128, 325  
**Азаис** 124  
**Аксаков, И. С.** 183  
**Аксаков, К. С.** 294  
**Александр I** 40, 41, 43, 79, 80, 81, 83, 95, 99, 101, 110, 115, 117—120, 125, 130, 131, 135, 193, 197, 224, 232, 275, 282, 287, 292, 294, 303, 305—307, 309, 310, 315, 330, 385  
**Александр см. Тургенев, А. И.**  
**Александрина см. Фогель фон Фризенгоф, А. Н.**  
**Алексеев, М. П.** 4, 16, 50, 130, 238, 243, 247, 248, 255, 257, 265, 400, 417, 421, 423  
**Алексеев, Ф.** 158  
**Алкей** 200  
**Ан. Ив.** 35  
**Анакреонт** 324  
**Андроников, И. Л.** 423  
**Андросов, В. П.** 8  
**Аникст, А. А.** 52  
**Аникушин, М. К.** 423  
**Анисимов, И. И.** 50  
**Анна Иоанновна, императрица** 84, 410  
**Анненков, П. В.** 9, 20, 31, 37, 58, 60, 173, 339, 345, 346, 348, 349, 352—354  
**Анненский, И. Ф.** 402  
**Аполлонская, Р. К. см. Грот, Р. К.**  
**Апулей, Л.** 189  
**Аракчеев, А. А.** 43, 275, 282, 284, 309, 310, 339, 346  
**Арапова, А. П.** 386  
**Арендт, А. А.** 427  
**Арендт, Н. Ф.** 427  
**Аржанталь, д'** 270  
**Ариосто, Л.** 324  
**Аристотель** 240  
**Аристофан** 302  
**Арднт, Е. М.** 109, 124  
**Аронсон, М. И.** 147  
**Архангельский, А. С.** 83  
**Асафьев, Б. В.** 261  
**«Асмодей» см. Вяземский, П. А.**  
**Аст, Г.-А.-Ф.** 150  
**«Ахилл» см. Батюшков, К. Н.**  
**Ахиллес** 322  
**Ахматова, А. А.** 423  
**Ахун, М. И.** 47  
**Ашукин, Н. С.** 423  
**Б.** 54, 58  
**Б. . .** 98, 114, 115  
**Бадалич, И.** 371, 373, 374  
**Базанов, В. Г.** 6, 132, 157, 418, 423  
**Базар, С. А.** 109  
**Байрон Дж.** 36, 145, 154, 156, 169, 186, 187, 309, 311, 312, 372  
**Бакунина, Е. П.** 426  
**Бантыш-Каменский, Д. Н.** 362  
**Баранская, Н. В.** 427  
**Баратаев, М. П.** 110, 114  
**Баратынский, Е. А.** 8, 205, 362, 418  
**Барац, А.** 372, 374  
**Барсуков, Н. П.** 198  
**Бартенев, П. И.** 32, 54, 379, 388  
**Барышев, Ефрем** 160  
**Батеньков, Г. С.** 346  
**Баттё, Ш.** 307  
**Батюшков, К. Н.** 76—79, 106, 118, 140, 185, 188, 189, 287, 288, 290, 291, 300, 314, 317, 322, 326, 330, 397  
**Бахман, Г.-Л.-Е.** 150  
**Бахтурин, К. А.** 170, 171  
**Башмаков, М.** 410  
**Безобразов, С. Д.** 276, 277, 285  
**Бейсов, П. С.** 84  
**Белецкий, А. И.** 423  
**Белинский, В. Г.** 7—9, 21, 28, 59, 75, 77, 86, 88, 140, 144, 155, 168, 173, 174, 222, 294, 345, 350, 419  
**Бельчиков, Н. Ф.** 423  
**Бенедиктов, В. Г.** 202, 205  
**Бенжамен см. Констан де Ребек, Б.**  
**Бенитцкий, А. П.** 78, 316  
**Бенкендорф, А. X.** 46, 61, 62, 114, 115, 130, 209, 210, 214, 220, 225, 312, 337, 405  
**Беньян, Дж.** 50—60, 62, 65, 66, 69, 70, 420  
**Берков, П. Н.** 4, 75, 168, 416, 418—420, 423  
**Берлиоз, Г.** 241  
**Берлянд-Черная, Е. С.** 260, 261  
**Бестужев, А. А. (Бестужев-Марлинский)** 40, 83—88, 158, 162, 165, 166, 175, 195, 232, 294, 296, 329, 346, 400  
**Бестужев, А. Ф.** 87  
**Бетховен, Л., ван** 241, 245, 246, 247, 252, 254, 257—260, 262, 264  
**Бибииков, И. А.** 408  
**Бибииков, И. М.** 115  
**Благой, Д. Д.** 4, 11, 12, 20, 21, 50, 78, 79, 86, 90, 107, 155—157, 167, 169, 416, 418, 419, 420, 422, 423  
**Блок, А. А.** 141  
**Блок, Г. П.** 423  
**Блом, Э.** 238, 255—257

- Блудов, Д. Н. 35, 106, 118—121, 129, 130, 289, 290, 296, 298, 300, 308, 309, 312, 313, 319
- Бобоедов, Г. В. 212
- Бобринский, Ал. А. 276, 280, 285
- Бобров, С. С. 189, 289
- Богач, Г. Ф. 37
- Богданович, И. Ф. 76, 78, 85, 91, 92, 312
- Бологовский, Д. Н. 275, 280
- Болховский, Д. Н. см. Бологовский Д. Н.
- Бомарше, П.-О.-К. 243
- Бональд, Л.-Г.-А., 132, 138
- Бонапарт см. Наполеон
- Бонди, С. М. 4, 10, 32, 43, 86, 91, 95, 96, 174, 176, 355, 415, 416, 419, 420, 422, 423
- Бориневич-Бабайцева, З. А. 423
- Борн, И. М. 81—84, 87
- Борова-Майкова, М. С. 296
- Боссюз, Ж.-Б. 319
- Бочкарев, В. А. 317
- Браудо, Е. И. 240
- Брейткопф, Б.-Х. 245
- Бринкен, Р. Е. 274
- Бродский, Н. Л. 4, 22, 23, 26, 27, 157, 167, 222, 352
- Броневский, В. Б. 29
- Броунинг, Р. 424
- Бруевич 194
- Брызгалов, И. С. 276, 285
- Брюллоу, К. П. 367
- Брюсов, В. Я. 11, 12, 173, 354
- Буало-Депрео, Н. 81, 269
- Булаховский, Л. А. 10, 319
- Булгаков, А. Я. 301
- Булгарин, Ф. В. 82, 120, 151, 207, 225, 263, 264, 275, 308, 309, 418
- Бульи Ж.-Н. 329
- Бурбоны 103, 104, 223
- Бурсов, Б. И. 16
- Бурцов, И. Г. 130, 194
- Буслаев, П. 81
- Бутурлин, Д. П. 115
- Бушмин, А. С. 419
- Ээла, И. Ф. 237, 253—255, 258, 422, 423
- «В. И.» 114
- Закенродер, В.-Г. 150
- Залберхова см. Вальберхова М. И.
- Заленштейн, А.-В. (Валенштейн) 109
- Зальбе, Б. 176
- Зальберхова, М. И. 294
- Зальденберг, В. Е. 136, 138
- Зальвег ду Штуппах, Франц 239
- Зальвег ду Штуппах, Анна 239
- Зальтер Скотт см. Скотт В.
- Зарвик» см. Тургенев, Н. И.
- Зрничан, И. К. 423
- Зильчиков, И. В. 41, 228
- Знер, М. 409, 410
- Зиль, Ж. 109
- Зисгаупт, А. 110, 111, 112
- Лисарий 271
- Льгорский см. Виельгорский, М. Ю.
- Льсбург, Г. 380—389, 393
- Льсбург 379
- Льсбурги 383, 385, 387, 390
- Венгеров С. А. 138, 328, 355, 395, 402
- Веневитинов, Д. В. 149, 186
- Вергилий (Публий Вергилий Марон) 35, 155
- Вересаев, В. В. 24
- Верли, М. 19
- Верфель, Ф. 266
- Веселовский, А. Н. 117, 138
- Вигель, Ф. Ф. 108, 120, 121, 129, 289, 291, 398
- «Видок» см. Булгарин, Ф. В.
- Видок, Э.-Ф. 225, 275
- Виельгорский, М. Ю. 220, 308
- Вилькинс, И. Я. 211
- Вильмен, А.-Ф. 271
- Вильсон, Дж. П. 54
- Виноградов, В. В. 4, 10, 169, 355, 416, 421, 423
- Винокур, Г. О. 4, 10, 16, 20
- Винчи, Л. да 266
- Виппер, Ю. Б. 50, 55, 58
- Вист, А. 410
- Вишневский, Ф. Е. 427
- Владимир Святославич, вел. кн. киев. 166
- Воейков, А. Ф. 287, 288, 292, 301, 308, 317, 318
- Волков, М. Ал 194
- Волконская, М. Н., рожд. Раевская 427
- Волконские 304
- Волконский, П. М. 305
- Волконский, С. Г. 100
- Вольтер, Ф.-М.-А. 88, 89, 270, 317
- Вольф 272
- Вольховский, В. Д. 130
- Воронцов, М. С. 102, 109, 110, 129, 276, 340
- Воронцова, Е. К. 33
- Востоков, А. Х. 84
- Враз, С. 371
- Врангель, Н. Н. 382
- Вревская Е. Н., рожд. Вульф 367, 369, 370
- Вревский, Б. А. 369
- В. С. . . . 83
- Вулих, Н. В. 422
- Вульф, Ал. Н. 226, 273, 277
- Вульф, Анна Н. 369
- Вульфы 337
- Вяземская, В. Ф. 33, 301, 308, 309, 311, 386, 388
- Вяземский, П. А. 32, 33, 35, 36, 47, 88, 118, 122, 153, 184, 185, 203, 205, 227, 273, 287—299, 301—307, 309, 311—315, 318—321, 325, 330, 366, 370, 382, 399, 419
- Вяземские 366, 426, 427
- Габбе, М. А. 100
- Габричевский, А. 53—56
- Габсбурги, австрийская династия 245
- Гаврилов, М. Г. 192, 194
- Гагарин, Г. Г. 426
- Гагарин, И. С. 202, 203, 205
- Гагарин, Г. И. 306, 311
- Гайдн, И. 242, 244, 254
- Галахов, А. П. 362—365
- Галахов, А. П. 363, 364



- Галахов, А. П. 365  
 Галахов, П. А. 363  
 Галахов, С. П. 363, 364  
 Галаховы 362, 363  
 Галлер, К.-Л. 132, 138  
 Ганеман, Ф. К. 122  
 Ганнибал, А. 412  
 Ганнибал, А. П. 408—413  
 Ганнибал, Иван А. 414  
 Ганнибал, Исаак А. 414  
 Ганнибал, О. А. 414  
 Ганнибал, П. А. 414  
 Ганнибалы 412  
 Гарденберг, К.-А. 109  
 Гаррисон, Ф.-М. 51  
 Гастфрейнд, Н. А. 412, 413  
 Гафиз, Ш.-Э.-М. («Гафи») 324  
 Гейм, И. А. 192  
 Гейне, Г. 133, 141  
 Гейченко, С. С. 423  
 Геккерн, Л.-Б. 258, 259, 392  
 Геллерт, Х. 81  
 Гельбиг, Г. 412  
 Геништа, И. И. 197  
 Георгиевич, К. 372  
 Георгиевский, П. Е. 320  
 Гербель, Н. В. 327  
 Гербстман, А. И. 26, 336, 419, 420, 422  
 Гертель, Г.-Х. 245  
 Герцен, А. И. 67, 75, 222, 233, 294  
 Гершензон, М. О. 214  
 Гессен, С. Я. 6  
 Гете, И.-В. 242  
 Гиерон Сиракузский 329  
 Гизо, Ф.-П.-Г. 307, 310  
 Гиллельсон, М. И. 287, 396, 419  
 Гинсбург, Л. Я. 140, 294  
 Гиппиус, В. В. 77, 84  
 Гладков, И. В. 283  
 Глебка, П. Ф. 423  
 Глинка, Б. Г. 406  
 Глинка, С. Н. 297  
 Глинка, Ф. Н. 116, 147, 158, 162, 166, 207, 324  
 Глузов, А. Н. 261  
 Глюк, И. Х. 243, 245, 247  
 Гнедич, Н. И. 84, 140, 166, 194, 321—323  
 Гнедич, Т. Г. 420  
 Гнейнау, А. 109  
 Гоббс, Т. 139  
 Гоголь, Н. В. 10, 66, 140, 151, 156, 205, 248, 265, 282, 294, 419  
 Голенищев-Кутузов-Смоленский, М. И. 248  
 Голенищев-Кутузов, П. И. 82, 189, 289, 296  
 Голиков, И. И. 31  
 Голицын, А. Н. 191, 193, 309  
 Голицын, Д. В. 191, 310  
 Голицын, И. Ф. 283  
 Голицын, Н. Б. 398  
 Голицын, Н. Н. 398  
 Голицын, Н. Н. 402  
 Голицына, Е. И. 104  
 Голлербах, Э. 396  
 Гольдгоер, Ф. Г. 402  
 Гольдшмит, Г. 246, 262, 263  
 Гомер («Омер») 255, 322, 324  
 Гончаров, А. Н. 384  
 Гончаров, Д. Н. 381  
 Гончаров, И. Н. 381, 384  
 Гончаров, Н. А. 384  
 Гончаров, С. Н. (Serge Gontcharoff) 381, 384  
 Гончарова, А. Н. см. Фогель фон Фризенгоф, А. Н.  
 Гончарова, Н. И. 62, 384  
 Гончарова, Н. Н. см. Пушкина, Н. Н.  
 Гончаровы 381, 388, 389, 392  
 Горацкий 90, 192, 316, 317  
 Горницкая, Н. С. 20  
 Городецкий, Б. П. 4, 20, 26, 208, 209, 217, 222, 225, 242, 248, 264, 415, 418—423  
 Горсткин, И. Н. 38  
 Горчаков, Д. П. 294, 315  
 Горький, Ал. М. 4, 10  
 Готшед, И.-К. 81  
 Гофман, М. Л. 55, 57, 173  
 Грамматин, Н. Ф. 35  
 Гребенка, Е. П. 170, 171  
 Грейтер, А. 258, 259, 263  
 Греч, Н. И. 82—85, 87, 88, 106, 108, 120, 151, 207, 282, 312, 400  
 Грибовский, М. К. 115, 130  
 Грибоедов, А. С. 6, 196  
 Григорьев, Ал. А. 141, 294, 395  
 Григорьев, А. Г. 426  
 Григорьян, К. Н. 419  
 Гроссман, Л. П. 5, 22, 26, 27, 258, 273, 423  
 Грот, К. Я. 401  
 Грот, Р. К. 402—404  
 Грот, Я. К. 362, 401—404  
 Грузинцев, А. Н. 155, 289  
 Грунер, Ю. 109  
 Грушкин, А. И. 268  
 Гудзий, Н. К. 22, 32, 423  
 Гуковский, Г. А. 5, 10, 116, 131, 133, 140, 141, 155, 156, 157, 163, 167, 169  
 Гульднер фон Лобес 259  
 Гумбольдт А.-Ф.-Г. 310  
 Гуревич, С. А. 420  
 Гусев, Н. Н. 66, 67  
 Густав IV 128  
 Давид 299  
 Давыдов, В. Л. 28  
 Давыдов, В. Д. 291  
 Давыдов, Д. В. 116, 205, 287, 291, 370  
 Давыдов, И. И. 192, 194  
 Далай-лама 302  
 Данжо, Ф. де Курсильон 267—273, 276, 277, 281  
 Данзас, К. К. 37  
 Данилевский, А. С. 248  
 Данилевский В. Г. 418  
 Данилов, Кириша см. Кириша Данилов  
 Данте Алигери 318, 407, 424  
 Дантес Геккерн, Ж.-К. 258, 385, 387, 389, 390, 392  
 Дашков, П. М. («князь Дашков») 299

- Дашков, Д. В. (Dachkoff) 35, 36, 106, 118, 119, 121, 130, 289—291, 297—299, 301—303, 307, 309, 311—318  
 Дашкова, Е. Р. 125  
 Двигубский, И. А. 192  
 Дебоскет, Д. 410  
 Дегильвиаль 51  
 Дезорг, Ж.-Т. 329  
 Делольм, Ж.-Л. 126  
 Делорм, Ж. см. Сент-Бёв, Ш.-О.  
 Дельвиг, А. А. 147, 312, 323, 338, 368, 405  
 Державин, Г. Р. 63, 78, 85, 91, 92, 136, 137, 140, 185, 189, 190, 205, 287, 317  
 Дефо, Д. 52  
 Джами, Абдурахмон Нуриддин бин-Ахмад 324  
 Джелаледдин Руми 324  
 Дживелегов, А. К. 50  
 Диккенс, Ч. 424  
 Димитрович-Котаранин Ш. 373, 374, 375, 376, 378  
 Диннбах 331  
 Дионис 396  
 Дитрих 330  
 Дмитриев, А. Н. 261  
 Дмитриев, И. И. 35, 78, 91, 92, 118, 185, 189, 196, 291, 295, 299, 308, 309, 317, 318, 357, 362  
 Дмитриев, М. А. («лаже-Дмитриев») 193—195, 294, 295, 308, 309  
 Дмитрий Донской, вел. кн. московский 166  
 Дмитриев-Мамонов, М. А. 97—100, 102, 104, 111, 114, 116  
 Добролюбов, Н. А. 75  
 Довнар-Запольский, М. В. 98, 116  
 Долгополов, А. 362  
 Долгорукая, Ек. Ф. 36  
 Долгорукая, Ек. Ф., рожд. Барятинская 276  
 Долгорукая, О. А., рожд. Булгакова 153  
 Долгорукий, Д. И. 382  
 Долгорукий, И. 39  
 Долгоруков, П. И. 45, 48  
 Дондуков-Корсаков, М. А. 204  
 Достоевский, Ф. М. 59, 425  
 Дранков, В. Л. 422  
 Дреш, И. 127  
 Дружинин, Н. М. 107, 232  
 Дубровин, Н. Ф. 365  
 Дуда, Г. 246, 250, 252, 253, 258—261  
 Дурасов, Ф. А. 224  
 Турьин, С. Н. (Николай Кутанов) 118  
 Туховской 160, 161  
 Тюкло, Ш. 269  
 Евгений (Болховитинов Е. А.) 83  
 верс, Л. см. Эверс, Л.  
 Катерина Павловна, вел. кн., королева виртембергская 398  
 Катерина II, императрица 34, 78—81, 83, 85, 86, 88, 89, 91—93, 97, 219, 226, 276, 280, 282, 283, 362—364, 399, 413  
 лагин, Н. В. 170  
 лагина, А. П., рожд. Юшкова, по первому браку Киреевская 426  
 Елисавета Петровна, русская императрица 83—85, 412, 413  
 Елистратова, А. А. 50, 52  
 Ениколопов, И. К. 423  
 Ермак 166  
 Ермакова-Битнер, Г. В. 292  
 Ермолов А. П. 282  
 Ермолов, А. С. 210  
 Ефремов, П. А. 328, 354  
 Жданов, И. Н. 227  
 Ждановский, Н. И. 199  
 Женгене, П.-Л. 85  
 Живанович, Дж. 372  
 Живанчевич, М. 371, 372, 377  
 Жирмунский, В. М. 50, 156, 163, 165, 169, 171, 423  
 Жиро, В. 19  
 Жихарев, С. П. 120  
 Жуковский, В. А. 21, 37, 55, 59, 62, 76—79, 84, 95, 116—118, 121, 122, 129—131, 140, 141, 153, 157, 159, 184—186, 188, 189, 203, 205, 207, 220, 248, 288—303, 311—319, 323, 326, 384—386, 393, 400—404  
 Заборов, П. Р. 422  
 Заборова, Р. Б. 405  
 Загряжская, Е. И. 392  
 Загряжский, Н. А. 199  
 Загряжский, И. А. 385  
 Засецкая, Ю. Д. 53  
 Зейдлиц, К. К. 117  
 Зенгер, Т. Г. см. Цявловская, Т. Г.  
 Златоуст 81  
 Зонненбург, М. (Наннерль) 254  
 Зубов, П. А. 283  
 Зюсмайер, Ф.-Кс. 249  
 Иван IV Васильевич Грозный 118  
 Иван Иванович см. Дмитриев, И. И.  
 Ивашев, В. П. 114  
 Ивашкевич, Я. 266  
 Игнатий 308  
 Игнатович, И. И. 226, 230  
 Игумнова, А. М. 389, 393  
 Измайлов, А. Е. 288, 316  
 Измайлов, В. В. 400  
 Измайлов, Н. В. 5, 53, 60, 155, 157, 163, 167, 169, 353, 362, 401, 415, 419, 420—424  
 Инзов, И. Н. 25  
 Иноземцев, П. 169  
 Ипсиланти, А. К. 36  
 Ирасек, А. 237  
 Исаченко, А. В. 390—394  
 Ишимова, А. О. 386  
 «К. Б.» 114  
 Кавелин, Д. А. 292  
 Каверин, В. А. 260—266  
 Каверин, П. П. 47  
 Казанский, Б. В. 269, 270, 277, 278, 422  
 Кайданов, И. К. 320, 402  
 Калаушин М. М. 424

- Калигула 135, 199  
 Кандорский, И. И. 199  
 Канкрин, Е. Ф. 275  
 Кант, Э. 138  
 Кантемир, А. Д. 76—78, 81, 85, 90, 288, 316  
 Капнист, В. В. 63, 85, 321, 322  
 Карабанов, П. М. 82  
 Кар, В. А. 229  
 Карамзин, Ал. Н. 422  
 Карамзин, Ан. Н. 422  
 Карамзин, В. Н. 422  
 Карамзин, Н. М. 41, 43, 76—83, 85, 89, 91, 92, 95, 106, 116, 118, 124, 125, 132, 160, 185, 188, 189, 196, 207, 287—291, 296, 299, 301, 302, 307, 309, 313—317, 319, 422  
 Карамзина, Е. А. 40, 290, 422  
 Карамзина, Е. Н. 422  
 Карамзина, С. Н. 422  
 Карамзины 422  
 Карл I Стюарт, король Англии 135  
 Карнеоли, Дж., делле 396  
 Карпани, Дж. 249, 259, 262  
 Карцев, Дм. 280  
 Катенин, П. А. 85, 116, 130, 131, 162—165, 245, 248, 339, 341, 346, 348, 349, 352, 353  
 Катерина Федоровна 290  
 Кат. П. 35  
 Каченовский, М. Т. 35, 77, 185, 192, 291, 299, 300—302, 309, 319, 399  
 Кашкин, С. Н. 211, 212  
 Кашперов, В. Н. 64  
 Керн, А. П. 24  
 Кернер, Д. 240, 251, 252, 256—261  
 Кине, Э. 206  
 Киплинг, Р. 424  
 Кипренский, О. А. 367, 426  
 Киреевские 8  
 Киреевский, И. В. 169, 184, 207, 422  
 Киреевский, П. В. 207  
 Кирилюк, Э. В. 419  
 Кирпотин, В. Я. 22, 156  
 Кирша Данилов 83  
 Киселев, П. Д. 283  
 Клейст, Г. 132  
 Климовский, С. 83  
 Клопчич, М. 372  
 Клопшток, Ф.-Г. 189  
 Кнеллер, Г. 261  
 Княжнин, Я. Б. 85, 91, 215, 318  
 Кобеко, Д. Ф. 364, 400  
 Ковалевский, Е. П. 118, 121  
 Ковачевич, Б. 372, 374  
 Кожухов, Ю. В. 230  
 Козлов, И. И. 120, 158, 312, 332, 335, 400  
 Козлов, Н. Т. 366  
 Колло д'Эрбуа, Ж. М. 333, 335  
 Колокольцев, Н. В. 416  
 Колосова, А. М. 400  
 Колычев, В. П. 78  
 Кольбер, Ж.-Б. 271  
 Кольцов, А. В. 205  
 Коменский, Я.-А. 66  
 Комовский, А. Д. 402  
 Коморжинский, Э. 252  
 Констан де Ребек, Б. («Benjamin») 6, 133, 138, 139, 141, 307  
 Константин Николаевич, вел. кн. 403  
 Константин Павлович, вел. кн. 228, 283  
 Копиевич, И. Ф. 83  
 Кордэ д'Арман, М.-А.-Ш. 328, 335  
 Корнилович, А. О. 195  
 Королева, Н. В. 183, 422  
 Корст, Н. О. 419, 420  
 Корф, М. А. 228  
 Костарев, С. 170, 171  
 Костелянц, Б. О. 141  
 Костров, Е. И. 85, 322, 324  
 Косяровский, И. 170, 172  
 Коффлер, Ю. 262  
 Кочубей, В. П. 36, 210, 211, 274, 275, 283, 284  
 Кочубей, Н. В. («Чуколей», «Нат. Коч.», «Гр. Коч.», «Votre comtesse Natalie de Kagoul») 36  
 Кошанский, Н. Ф. 320  
 Краевский, А. А. 419  
 Крейн, А. Э. 424  
 Кремнев, Б. Г. 260  
 Крестова, Л. В. 267, 420  
 Крефт, Б. 372  
 Кречмар, Г. 243  
 Кривцов, Н. И. 129, 130  
 Крклец, Г. 371, 372  
 Кромвель, О. 59  
 Крылов, А. Л. 203, 204  
 Крылов, И. А. 76, 78, 79, 153, 205, 215, 273, 316, 400  
 Крюденер, Амалия 202  
 Крюденеры 202  
 Кузен, В. 310  
 Кукольник, Н. В. 205  
 Куницын, А. П. 6, 138, 292, 320, 332, 333  
 Курбатов, А. Д. 194  
 Кутанов, Николай см. Дурьлин, С. Н.  
 Кутузов см. Голенищев-Кутузов-Смоленский, М. И.  
 Кушенов-Дмитревский, Д. Ф. 237, 243  
 Кюхельбекер, В. К. 61, 83—85, 87, 157, 162, 165—167, 185, 193, 324, 405, 406, 418  
 Лагарп Ж.-Ф. 84, 282, 302, 316  
 Лажечников, И. И. 362  
 Лакомб, П. 18, 19  
 Лалич, Р. 372  
 Ламартин, А.-М.-Л. 189, 406  
 Ламот, Удар де, А. 317  
 Ланжерон, А. Ф. 282  
 Ланская, Н. Н. см. Пушкина, Н. Н.  
 Ланские 380, 381, 387  
 Ланские-дети 381  
 Ланской, Н. П. 382, 393  
 Ланской, П. П. 212, 381  
 Ларусс, П. 329  
 Латуш (Thabaut de Latouche), Г.-Ж.-А. 332, 333  
 Лафонтен, Ж. 317  
 Лебрен, П.-Д.-Э. 328—331, 333—335  
 Левашов, Н. В. 396

- Левин, В. Д. 424  
 Левкович, Я. Л. 421, 422  
 Легаяка, М. П. 419  
 Ледницкий, В. 32  
 Лейтгеб, А. 239  
 Леконт де Лиль, Ш. 255, 327  
 Лемонте, П.-Э. 270, 271, 272, 273, 277  
 Ленгленд 51  
 Ленобль, Г. 157  
 Леонардо см. Винчи, Л., да  
 Леопольд II, австрийский император 252  
 Лермонтов, М. Ю. 64, 65, 141, 144—146, 156, 186, 194, 293, 367, 368, 395  
 Лернер, А. Н. 396  
 Лернер, Н. О. 5, 355, 395, 396, 401  
 Лесков, Н. С. 395  
 Ли (Lee), Д.-М. 255  
 Ливанова, Т. Н. 260  
 Лизандер, Д. К. 169  
 Липранди, И. П. («le renegat») 36, 37, 47, 313  
 Липранди 37  
 Лихарев, В. Н. 346  
 Лобанов, М. Е. 206  
 Лобанов-Ростовский, А. Б. 382  
 Ломоносов, М. В. 76—78, 81, 85, 90, 91, 185, 189, 208, 219, 317  
 Лонгинов, М. Н. 291, 330, 412  
 Лотман, Ю. М. 97, 114, 115, 118, 288, 289  
 Лувель, П.-Л. 43  
 Лугинин, Ф. Н. 36, 48  
 Лунин, М. С. 39, 346  
 Люберас, Л. 410  
 Людвиг, Н. (Лудвих) 408, 409  
 Людовик XIV, французский король 267, 268, 270—273, 277  
 Людовик XVI, французский король 128, 134, 135, 139, 334  
 Лядов, А. К. 237, 256  
  
 М., кн. 98, 114, 115  
 Магницкий, М. А. 292, 309  
 Мажуранич, И. 372, 376  
 Майков, Л. Н. 78  
 Макаров, М. Н. 400  
 Маккиавелли, Н. 196  
 Маковицкий, Д. П. 66, 67  
 Макогоненко, Г. П. 216, 288, 419, 424  
 Маколей, Т. 52, 53  
 Максимович, М. А. 169, 170, 171  
 Макферсон, Д. 324  
 Малеванов, Н. А. 47, 408  
 Мальцев, М. И. 420  
 Мамонов см. Дмитриев-Мамонов, М. А.  
 Мансуров, П. Б. 346  
 Мануйлов, В. А. 22, 420, 424  
 Маретич, Т. 373, 374  
 Марк Аврелий, римский император 32  
 Маро, К. («Марот») 317  
 Маслов, М. Я. 192  
 Машков, Петр 158  
 Межов, В. И. 14  
 Мейлах, Б. С. 5, 16, 20, 107, 130, 147, 174—176, 208, 209, 215, 216, 219, 222, 289, 290, 314, 320, 353, 416, 419, 421—424  
 Мельгунов, Н. А. 150, 294  
 Ментенон, д'Обинье, Ф. 268  
 Меншиков, А. С. 114, 115  
 Мерзляков, А. Ф. 35, 77, 184—187, 189—194, 400  
 Мериан, А. А. 100  
 Мёрике, Э. Ф. 237  
 Местр, Ж., де 104, 132  
 Местр, К., де («Х. М.») 382, 384, 385, 389, 391, 393, 394  
 Местр, С. И. де, рожд. Загржская 385, 391, 392  
 Мещерская, Е. Н., рожд. Карамзина 422  
 Мещерский, П. И. 384  
 Миллер, Г. Ф. 362  
 Миллер, П. И. 401, 402, 404  
 Милонов, М. В. 288  
 Милорадович, М. А. 281  
 Мильтон, Д. 51, 59  
 Минин Сухорукый, К. 344  
 Мирабо, О.-Г.-В.-Р. 198  
 Митропан, П. 372  
 Михаил Александрович см. Дмитриев, М. А.  
 Михаил Павлович, вел. кн. 280, 284, 285  
 Михаил Федорович, царь 223  
 Мицкевич, А. 32, 63, 345  
 Могилянский А. П. 416  
 Модзалевский, Б. Л. 15, 37, 46, 267, 268, 274, 277, 278, 368, 382  
 Модзалевский, Л. Б. 15, 358, 401, 412  
 Мозер, Г. 260  
 Молочников, В. А. 70  
 Мольер, Ж.-Б. 77  
 Монтань см. Монтэнь, М.  
 Монтескье, Ш.-Л. 6, 124, 127, 131, 136, 138, 139, 333  
 Монтэнь, М. 307, 319  
 Мординов, А. Н. 46  
 Мординов, Н. С. 129  
 Мордовченко, Н. И. 297, 299  
 Моро, Ж.-В. 119  
 Морозов, М. М. 50  
 Морозов, П. О. 96, 138, 328, 338, 354, 361  
 Мороховец, Е. А. 230  
 Моруа, А. 19  
 Моцарт, В.-А. 237—243, 246—266  
 Моцарт, К. рожд. Вебер 240, 247, 249, 250, 252, 254  
 Моцарт, К. 259, 261  
 Мочалов, П. С. 400  
 Мстислав Владимирович Храбрый или Удалой 166  
 Мудров, М. Я. 426  
 Муравьев, А. М. 99, 130, 346  
 Муравьев, М. Н. («Mouravieff») 35, 76, 78  
 Муравьев, Н. М. 194, 195, 298, 346  
 Муравьев-Апостол, И. М. 76  
 Муравьев-Апостол, С. И. 131  
 Муравьева, П. М., рожд. Шаховская 133  
 Мусл, К. 260  
 Муханов, А. А. 314  
 Мушг, В. 19  
 Мюллер см. Штротетц, И.-Д.  
 Мюллер, А.-Г. 138  
 Мюллер фон Азов, Э. 259

- Нагибин, Н. И. 297  
 Назарова, Л. Н. 422  
 Наннерль см. Зонненбург, М.  
 Наполеон I Бонапарт 109, 117, 119, 127,  
 128, 131, 135, 301, 309, 312, 329,  
 331, 399  
 Нарезный, В. Т. 84  
 Наталья Николаевна см. Пушкина, Н. Н.  
 Нащокин, П. В. 213, 220  
 Невзоров, М. 114  
 Некрасов, Н. А. 141  
 Нессельроде, К. В. 210, 211, 274, 283  
 Нечаева, В. С. 294  
 Нечкина, М. В. 6, 39, 97, 99, 114, 116,  
 130, 196, 424  
 Николай I («Николай Павлович») 32, 47,  
 61—63, 194, 208, 214, 223—225, 227,  
 228, 231, 268, 274—277, 280—282,  
 284, 286, 310, 312, 353, 364, 366, 420  
 Николай, Г. 248  
 Новелло, В. 254  
 Новелло, М. 254  
 Новиков, И. А. 22, 27  
 Новиков, М. В. 116  
 Новиков, М. Н. 99  
 Новиков, Н. И. 6, 53, 78, 82, 85, 89, 91,  
 105, 287, 296  
 Новиков, П. А. 191, 194  
 Новиков 158  
 Новицкий, П. И. 173  
 Новосельцев, Н. Н. 303  
 Норов, А. С. 405—407  
  
 Ободовский, П. Г. 158  
 Оболенский, А. П. 191, 199  
 Овсяннико-Куликовский, Д. Н. 175  
 Овчинников, Р. В. 362  
 Овидий Натон, Публий 196, 422  
 Огарев, Н. П. 64, 65  
 Огонь-Догановский, В. С. 357  
 Одавич, Р. 374, 375, 376, 378  
 Одоевский, В. Ф. 150, 205, 222, 419  
 Одоевский, А. И. 157, 158, 162, 165,  
 166  
 Ожаровские 304  
 Ожаровский, А. П. 305  
 Озеров, В. А. 78, 298, 318, 325  
 Ознобишин, Д. П. 206, 207  
 Оксенов, И. А. 22  
 Оксман, Ю. Г. 5, 94, 107, 120, 125, 129—  
 133, 215, 217, 222, 296, 355, 362, 399,  
 401, 415, 419, 422—424  
 Окунь, С. Б. 97  
 Оленин, А. Н. 290, 322  
 Оленина, А. А. 24, 426  
 Оленины 426  
 Олива, Ф. А. 404  
 Ольга см. Пушкина, О. С.  
 Ольденбург, Н. Г., рожд. Фогель фон  
 Фризенгоф 379—382, 385, 386, 388,  
 389, 392, 393  
 Ольденбург, П. Г., принц 403  
 Ольденбург, Э. 379, 385, 387  
 Омер см. Гомер  
 Онегин, А. Ф. 423  
 Оппель, X. 19  
  
 Орлов, В. Н. 424  
 Орлов, М. Ф. 7, 36, 96—100, 104, 105,  
 107—109, 111, 114—118, 120—123,  
 129, 132, 139, 287, 291, 297—299, 302,  
 306, 313, 320, 345  
 Орлов, Н. А. 382  
 Орлов, гр. 36  
 Осипова, М. И. 366—368  
 Осипова, П. А. 366—370  
 Оссман 324  
 Остолопов, Н. Ф. 316  
 Островский, М. Н. 64  
 Охотников, К. А. 7  
  
 Павел I 79, 135, 275, 276, 280, 281, 399  
 Павич, М. 372, 373—377  
 Павлищев, Н. И. 369  
 Павлов, М. Г. 169, 170  
 Паина, Э. С. 412  
 Панин, В. Н. 276  
 Панин, П. И. 363—365  
 Панчулдзев, Д. 194  
 Паустовский, К. А. 237, 266  
 Паша Арзрумский 36, 37  
 Пезаровиус, П. П. («Пеззаварий») 116,  
 117  
 Пеньковский, И. М. 211—213  
 Перетц, В. Н. 83  
 Перовские, братья 100  
 Перфильев, А. П. 364  
 Пестель, П. И. 7, 28, 232, 346, 418  
 Петр I 32, 63, 78, 158, 166, 197, 225,  
 227, 274, 281, 284, 321, 412, 413  
 Петр III 412, 413  
 Петр Никифорович 110  
 Петрарка, Ф. 407  
 Петров, В. П. 85  
 Петров, С. М. 5, 22, 321, 419, 420, 424  
 Пешич, М. М. 371, 374  
 Пигарев, К. В. 183, 202  
 Пиго-Лебрен (Пиго де Л'Епинау, А.)  
 328  
 Пиксанов, Н. К. 5, 77, 289, 424  
 Пильс, И.-А.-Р. 330  
 Пиндар 219, 324, 329  
 Пини, О. А. 422, 423, 426  
 Пиччини, Н. 243  
 Платон 406  
 Плетнев, П. А. 37, 183, 203, 330, 332,  
 405, 419  
 Плеханов, Г. В. 198  
 Пнин, И. П. 6, 78, 79, 82, 84, 87  
 Повало-Швейковский, И. С. 230  
 Погодин, М. П. 8, 186, 187, 193, 196—  
 199, 220, 398  
 Подолинский, А. И. 158, 159, 161  
 Пожарский Д. М. 166  
 Покровский, М. Н. 365  
 Полевой, К. А. 154  
 Полевой, Н. А. 88, 397, 400  
 Полевой, П. Н. 400  
 Полежаев, Ал И. 186, 194  
 Полетика, П. И. 120, 274  
 Поливанов, Л. И. 54  
 Полневков, М. 214  
 Полторацкий, С. Д. 133, 295, 330, 331,  
 339, 397

- Попов, П. А. 338, 339—341  
 Попов 194  
 Попова, О. И. 366  
 Попова, Т. 260  
 Порлье, Х. Д. 103  
 Поспелов, Н. С. 424  
 Потемкин-Таврический, Г. А. 276  
 Похвиснев, М. Н. 402  
 Прадт, Д. Д. 315  
 Предтеченский, А. В. 137, 278  
 Преображенский, В. 211  
 Прерадович, П. 376  
 Приятель, И. 374—376  
 Прокопович, Феофан 78, 81, 85  
 Прокопович-Антонский, А. А. 185  
 Прокопий («Прокоп») 271, 272  
 Прпич, Т. 374—378  
 П-ский, А. см. Подолинский, А. И.  
 Пугачев, В. В. 94, 418, 420, 422  
 Пугачев, Е. И. 273, 282, 362, 363  
 Пугачева, С. Д. 362  
 Путинцев В. А. 65  
 Пушкин, А. А. 383  
 Пушкин, В. Л. 35, 36, 290, 291, 293, 295,  
 299, 302, 308, 309, 314, 315, 317, 318,  
 400  
 Пушкин, Л. С. 41, 393  
 Пушкин, С. Л. 211—213, 315, 384, 386  
 Пушкина, Н. А. 383  
 Пушкина, Н. Н. (жена) 61, 62, 225, 231,  
 258, 267, 268, 354, 355, 357, 359,  
 367, 370, 380, 381, 383—387, 389—  
 393, 401—403  
 Пушкина, Н. О. 213, 382  
 Пушкина, О. С. 34  
 Пушкины-дети 368, 380, 381, 383, 385,  
 387, 389  
 Пушин, И. И. 28, 34, 43, 130, 193  
 Пыпин, А. Н. 112  
  
 Радищев, А. Н. 6, 7, 21, 58, 59, 78, 79,  
 82, 84—87, 91—93, 129, 132, 134—138,  
 209, 215, 217, 219, 222, 224, 226, 229,  
 233, 287, 292, 399  
 Радо, Д. 422  
 Раевская, М. Н. см. Волконская, М. Н.  
 Раевский, А. Н. 100  
 Раевский, В. Ф. 7, 28, 132, 143, 330, 345  
 Раевский, Н. А. 379  
 Раевский, Н. Н. (младший) 36, 41, 43  
 Разин, С. Т. 344  
 Раич, С. Е. 190, 194, 196, 198—201, 205—  
 207  
 Расин, Ж.-Б. 317, 319  
 Реизов, Б. Г. 273  
 «Рейн» см. Орлов, М. Ф.  
 Рейнбот, П. А. 402  
 Рейхман, К. 212  
 Ренар, Г. 19  
 Римский-Корсаков, Н. А. 237, 264  
 Робертсон, В. 273  
 Робеспьер, М. 330, 333, 335  
 Розен, Е. Ф. 158, 170  
 Романовы 222, 223, 280, 284  
 Россини, Дж. 259  
 Ротчев, А. Г. 207  
  
 Руже де Лиль, К.-Ж. 133, 330, 331, 334,  
 335  
 Рунич, П. С. 365  
 Русова, Э. И. 419  
 Руссо, Ж.-Ж. 6, 132, 134, 135, 138, 139,  
 317  
 Рылеев, К. Ф. 32, 40, 120, 143, 157, 158,  
 161—168, 195, 232, 294, 329, 330, 346,  
 418  
 Рыльский, М. Ф. 424  
 Рюрик, князь 198  
  
 Саади, М. 324  
 Саводник, В. Ф. 267, 268, 277  
 Саитов, В. И. 33, 400  
 Сакулин, П. Н. 209  
 Салтыков, С. В. 36  
 Сальери, А. 237, 238, 240, 243, 245—249,  
 252—254, 256—266  
 Самарин, Р. М. 50, 55, 58  
 Самарин, Ю. Ф. 183, 203  
 Самойлова, Ю. П. 210  
 Сандомирская, В. Б. 354, 421, 422  
 Сандунов, Н. Н. 192  
 Саркизов-Серазини, И. М. 251, 427  
 Свербеев, Д. Н. 186, 198, 398  
 Светоний, Транквила Гай 270  
 Свиньин, П. П. 400  
 Свитен, Г. 249, 250, 259  
 Свифт, Дж. 52  
 Святослав Игоревич, вел. кн. киев. 166  
 Северин, Д. П. 294, 300  
 Семевский, В. И. 97, 99, 100, 104, 105,  
 114, 115, 223, 228, 232  
 Семенов, В. Н. 405, 406  
 Сенковский, О. И. 397  
 Сен-Симон, К.-А. 268  
 Сент-Бёв, Ш.-О. («Делорм») 18, 141  
 Серафим, митрополит петербургский 309  
 Сербский, Г. П. 340  
 Сервантес де Сааведра, М. 87  
 Сергиевский, И. В. 5, 22, 26, 27  
 Сидяков, Л. С. 173  
 Симеонович-Чокчи, И. 373, 374  
 Сиповский, В. В. 9, 280  
 Сисмонди, Ж.-Ш.-Л. 85  
 Скарятин, Я. Ф. 275  
 Скафтымов, А. П. 82  
 Скотт, В. 285, 424  
 Скрыбин, А. Н. 264  
 Слонимский, А. Л. 5, 11, 12, 96, 138,  
 327, 424  
 Слонимский, Н. 250, 259  
 Смирдин, А. Ф. 83  
 Снегирев, И. М. 185, 196  
 Соболевский, С. А. 280, 400, 426  
 Соймонов, А. Д. 422  
 Соймонов, А. Н. 400  
 Соколов, А. Н. 154, 419, 424  
 Соколов, П. И. 357  
 Соколова Н. И. см. Фогель фон Фризен-  
 гоф, Н. И.  
 Соколович, П. П. 105  
 Соколовский, В. И. 397  
 Соллертинский, И. И. 264  
 Солнцев, Ф. Г. 313  
 Соловей, Н. Я. 419

- Соловцова, Л. А. 261  
 Соловьев, Ф. 160  
 Соловьев, Я. 211  
 Соловьева, О. С. 362, 416  
 Сомов, О. М. 338  
 Сопиков, В. С. 83  
 Соути, Р. 52  
 Софинов, П. 362  
 Соц, В. И. 83  
 Соцкий, К. М. 211, 212  
 Спасский, Г. И. 362  
 Сперанский, М. М. 226, 228, 280, 282, 283  
 Сперанский, М. Н. 267, 268, 279  
 С. П-й см. Полторацкий, С. Д.  
 Сталев, Д. 374, 375, 376, 378  
 Сталь-Гольштейн, А.-Л.-Ж., де, рожд. Неккер 6, 275, 314, 319, 325  
 «Старушка» см. Уваров, С. С.  
 Старынкевич, Н. А. 100, 109, 122  
 Степанов, Н. Л. 4, 141, 143, 316, 419, 420, 424  
 Степанов, Н. Н. 28  
 Степанов, С. 158, 160, 161  
 Стерн, Л. 81  
 Стель, Р. 52  
 Стоюнин, В. Я. 21  
 Стрекалов, С. С. 402  
 Стремелухов 230  
 Строганова, Ю. П., рожд. д'Альмейда (Julie comtesse Stroganoff) 382  
 Строев, П. М. 77  
 Струйский, Д. Ю. (Трилуный) 170  
 Стурдза, А. С. 118  
 Суворин, А. В. 354  
 Суворова, Л. В., рожд. Ярцева 276, 280  
 Султан-Шах, М. П. 422  
 Сумароков, А. П. 77, 81, 85, 90, 91, 318  
 Сумцов, Н. Ф. 183  
 Сухозанет, И. О. 285  
 Сухтелен, К. П. 275  
 Сыроечковский, Б. Е. 107  
 Сюлли-Прюдом, Р.-Ф.-А. 327
- Тарасов, Е. И. 102  
 Гатищев, Д. П. 36  
 Теккерей, У. М. 52  
 Тепляков, В. Г. 206  
 Тик, Л. 150, 187  
 Тит — 91  
 Титов, В. П. 150  
 Толстой, Л. Н. 18, 50, 54, 57, 66—70, 201, 420  
 Тома, А. 331  
 Томашевский, Б. В. 5, 10, 11, 21, 84, 89, 94, 107, 130, 131, 133—135, 137, 138, 143, 156, 157, 169, 189, 209, 242, 314, 320, 325, 328—330, 336, 355, 358, 399  
 Томашек, В. Я. 245, 247  
 Торгашев, Н. 211, 212  
 Траян 91  
 Тредьяковский, В. К. 81, 85, 90, 91, 93  
 Трезини, О. 410  
 Трилуный, псевд. см. Струйский, Д. Ю.  
 Тронски, И. 373—376  
 Троицкий, В. Д. 199
- Тропинин, В. А. 426  
 Трубецкой, Б. А. 37  
 Трубецкой, С. П. 114, 346, 420  
 Туманский, В. И. 313  
 Тургенев, Ан. И. 367  
 Тургенев, Ал. И. 36, 47, 106, 117, 121, 122, 130, 131, 273, 289, 291, 292—295, 297, 298, 300—302, 306—313, 315, 317—319, 324, 366—390, 399  
 Тургенев, И. С. 129, 132, 133, 215  
 Тургенев, Н. И. («Варвик», «Хромой Тургенев») 6, 94—98, 100—102, 104—134, 136—139, 193, 273, 292, 297—299, 304—306, 310, 313, 333, 345, 367—370, 398, 418  
 Тургенев, С. И. 94—96, 100, 102—107, 109, 110, 114, 116—127, 129, 131, 298, 305, 310, 311, 367  
 Тургеневы 104, 117, 121, 129, 130, 309, 310, 332, 333  
 Тутчев см. Тютчев, Ф. И.  
 Тынянов, Ю. Н. 10, 34, 183, 184, 189, 204—207  
 Тютчев, Н. И. 202  
 Тютчев, Ф. И. 67, 141, 183—194, 196, 198, 199, 200—207, 422
- Уайльд, О. 258  
 Уваров, С. С. 108, 118, 119, 129, 275, 281, 314, 321—324  
 Уваров, Ф. П. 275  
 Удальцова, Э. В. 272  
 Улыбышев, А. Д. 237, 238  
 Урусов, М. Ал 48  
 Успенский, Л. В. 422  
 Уэллс, Г. 424
- Фарга, Ф. 239, 240, 246, 261  
 Фатов, Н. Н. 416, 419, 424  
 Федин, К. А. 424  
 Федор Кузьмич 66  
 Фейнберг, И. Л. 31, 34, 174, 275, 277—280, 416, 424  
 Феокрит 332  
 Ференчик, Ян 393  
 Фет, А. А. 146  
 Фикельмон, Д. Ф., рожд. Тизенгаузен 248, 272  
 Фикельмон, К. Л. 248  
 Филарет (Василий Дроздов), митрополит московский 300  
 Филатов, С. С. 324  
 Философов 194  
 Фир-Дуси 324  
 Фишер, Л. (Fischer) 385  
 Фомин, А. А. 369  
 Фоввизин, Д. И. 77, 78, 79, 81, 82, 85—89, 91—93, 215, 317  
 Фоввизин, М. А. 195, 346  
 Фонтенель, Б. 269  
 Фонтон де Верайон 36  
 Фон-Фок, М. Я. 46, 115  
 Фотий, архимандрит Новгородско-Юрьевского монастыря 309, 310  
 Францев, В. А. 238, 248  
 Фогель фон Фризенгоф, Адольф, 384, 387, 389, 392

- Фогель фон Фризенгоф, А. Н., рожд. Гончарова 379—394, 422  
 Фогель фон Фризенгоф, Густав 382, 384, 385, 387, 389, 391, 392  
 Фогель фон Фризенгоф, Г. Г. 382, 391  
 Фогель фон Фризенгоф, Н. И., рожд. Иванова 382, 384, 385, 386, 389, 390, 391  
 Фогель фон Фризенгоф, Н. Г. см. Ольденбург, Н. Г.  
 Фризенгофы 386, 388—393  
 Фрумкина, Р. М. 416  
 «Ф. Т.» см. Тютчев, Ф. И.
- Фукс, А. А., рожд. Апехтина 171  
 Жвостов, Д. И. 121, 194, 289, 297, 302, 314, 400  
 Хемницер, И. И. 78, 81, 85  
 Херасков, М. М. 77, 78, 85, 189  
 Хитрово, Е. М., рожд. Голенищева-Кутузова, по первому браку Тизенгаузен 248, 426  
 Хмыров, М. Д. 412, 413  
 Хомяков, А. С. 8, 148, 149, 158, 184, 207  
 Хохлов, Ю. Н. 263  
 Храпченко, М. Б. 16
- Цейтлин, А. Г. 157  
 Цельтер, К. Ф. 242  
 Цинцендорф, К.-И. 250, 251  
 Цицерон, М. Т. 189, 192  
 Цявловская, Т. Г. (Зснгер) 5, 26, 28, 31, 32, 248, 334, 393, 395, 416, 418, 419, 421, 424  
 Цявловский, М. А. 5, 15, 32, 34, 40, 43, 48, 91, 95, 129, 131, 277, 349, 357, 395—397, 398
- Чаадаев, П. Я. (Чедаев) 6, 8, 41, 42, 222, 313, 395, 396, 420  
 Чалый, Д. В. 419  
 Чевакинский, С. И. 410  
 Чедаев см. Чаадаев  
 Челлини, Б. 252  
 Черейский, Л. А. 48  
 Черепанов, Н. Е. 192  
 Чернышев, А. И. 283, 357  
 Чернышевский, Н. Г. 75  
 Чехов, А. П. 10  
 Чулков, Г. И. 22, 25, 184  
 Чурчин, М. 374
- Шадури, В. С. 424  
 Шаликов, П. И. 400  
 Шальман, Е. С. 391  
 Шантавуан, Ж. 242  
 Шапорин, Ю. А. 424  
 Шарнгорст, Г.-И.-Д. 109  
 Шатобриан, Ф.-Р. 331, 332, 335  
 Шатров, Н. М. 90  
 Шаховской, А. А. 289  
 Шаховской, Ф. П. 194, 195  
 Шварц, И. И. 105  
 Шварц, Ф. Е. 305  
 Шебунин, А. Н. 97, 107, 110, 114, 115, 119, 121, 122  
 Шевырев, С. П. 8, 147, 150, 175, 184, 186, 205, 207
- Шекспир, В. 140, 256, 318, 372, 424  
 Шеллинг, Ф. В. 149, 150  
 Шенк, Э. 239, 240, 249—251  
 Шенье, А.-М. 327—335  
 Шенье, Г. 333  
 Шенье, М.-Ж. 332, 333  
 Шеппинг, Д. А. (Оттон-Густав) 36  
 Шервинский, С. В. 424  
 Шешковский, С. И. 91  
 Шикх, И. 246  
 Шиллер, Ф. 117, 150, 185  
 Шильдер, Н. К. 130, 210  
 Шимановская, Елена 48  
 Шимановский, К. М. 266  
 Шиндлер, А. 246, 266  
 Ширай, М. С. 193, 197  
 Ширинский-Шихматов, С. А. («Шихматов») 167, 189  
 Шишкевич, М. М. 167  
 Шишков, А. А. 398  
 Шишков, А. С. 35, 36, 76—78, 288, 289, 300, 316  
 Шкловский, В. Б. 26  
 Шлегель, Ф. 150  
 Шлецер, А.-Л. 222  
 Шмаринов, Д. А. 424  
 Шнейдер, О. 260  
 Шопен, Ф. 242, 266  
 Шоу, Б. 241  
 Шрепель, М. 374  
 Штакельберг, Г. О. 311  
 Штейн, Г.-Ф.-К. 108, 109  
 Штейнпресс, Б. 260—263  
 Штейнхаузер, Ф. 250  
 Штольниц, Д. 19, 20  
 Шторх, А. К. 403  
 Штрайх, С. Я. 130  
 Штротетц, И.-Д. 249  
 Штруве 103  
 Шуберт, Ф. 241, 245—247  
 Шувалов, А. П. 280  
 Шувалов, П. И. 411, 413  
 Шувалова, Т. И., рожд. Валентинович 276  
 Шуман, Ф. 241  
 Шумов, А. Т. 211, 212  
 Шутовской см. Шаховской, А. А.
- Щеголев, П. Е. 21, 212, 213, 231, 267, 274, 278, 366, 369  
 Щербатова 396  
 Щербинин, М. А. 47
- Эверс, Л. 302  
 Эдельман, Г. 257  
 Эйхен, В. Н. 402  
 Эйхенбаум, Б. М. 120, 145  
 Элимар см. Ольденбург, Э.  
 Элиот, Дж. 424  
 Эльсберг, Я. Е. 16  
 «Эолова Арфа» см. Тургенев, А. И.  
 Эррио, Э. 257
- Ювенал 316  
 Ю. Д. Э. см. Засецкая Ю. Д.  
 Юм, Д. 273  
 Юнг, Э. 189  
 Юстиниан 271



- Юсупов, Н. Б. 243  
 Языков, Н. М. 8, 158, 205, 362, 366  
 Яковлев, М. Л. 405  
 Якубович, Д. П. 33, 268—270, 277, 278
- Bechhofer, C. E. 255  
 Benjamin см. Констан де Ребекк, Б.  
 Bignon 307  
 Boosey 254  
 Gray, Victoria de 393
- Corno di Bassetto 241
- Didot 329
- Etienne 307
- Fleury 273
- Gagarine, G. 382  
 Garnier, frères 332  
 George IV 272  
 Guizot, F.-P. 307  
 Grass, Eduard 254
- Iwanoff, J. 391
- Hawkes 254  
 Hampeln 384  
 Höplich 385  
 Hughes, Rosemari 254
- Karasek, Bohumil 260  
 Kératry 307  
 Krüger, худ. 385  
 Knichuber, грав. 385
- Якушкин, В. Е. 209, 354  
 Якушкин, И. Д. 39, 133, 232, 346  
 Ян, О. (Jahn, Otto) 247, 249, 250, 264  
 Ярославский, Е. И. 365
- Koch, R. 264
- Lange, Wilfried 259  
 Lert, Ernst 242  
 Louis XV 273
- Martin («m-г Martin») 35  
 Mayer, литогр. 385  
 Medici dis Marignano Nerina 254
- N. F. см. Фогель фон Фризенгоф, Н. И.,  
 рожд. Иванова  
 N. N. 196  
 Nettl, P. 264  
 Niemetschek, F. 249
- Pachkoff, m-me 382  
 Pestel, Maurice 251  
 Petsoldt, Richard 254
- Schubert, G. 264  
 Stefan, Paul 246
- Tenschert, Roland 242
- Vetter, Walter 245
- Wagner, S. 385  
 Weinmann, Karl 242  
 Witt, худ. 384  
 Wolfstieg, A. 265

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

«Странствие». Беловой автограф строф <30> и <31>. (Стр. 347).

«Странствие». Беловой автограф строфы <33> с расчетом количества строф в главе. (Стр. 351).

«Ямб» («Поэт и толпа»). Перебеленный автограф, стихи 23—55. ПД, № 103, л. 1 об. (Стр. 356).

«Когда в объятия мои...». Беловой автограф. Тетрадь ПД-839, л. 70 об. (Стр. 357).

Наставление Екатерины II гвардии капитану А. П. Галахову от 8 августа 1774 года (ЦГАДА, ф. Госархив, разряд VI, д. № 625, л. 2). (Стр. 363).

Письмо главнокомандующего карательными войсками правительства генерал-аншефа графа П. И. Панина гвардии капитану А. П. Галахову от 14 сентября 1774 года. (ЦГАДА, ф. Госархив, разряд VI, д. № 625, л. 6). (Стр. 364).

Письмо главнокомандующего карательными войсками правительства генерал-аншефа графа П. И. Панина гвардии капитану А. П. Галахову от 19 сентября 1774 года (ЦГАДА, ф. Госархив, разряд VI, д. № 625, л. 7). (Стр. 365).

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От редакции . . . . .	3
К новым успехам в изучении Пушкина. (О некоторых итогах и основных задачах пушкиноведения) . . . . .	4

### СТАТЬИ

Б. С. Мейлах. О задачах изучения и принципах построения биографии Пушкина (доклад на XIII Всесоюзной пушкинской конференции) . . . . .	16
Т. Г. Цявловская. Неясные места биографии Пушкина . . . . .	31
Д. Д. Благой. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой . . . . .	50
П. Н. Берков. Пушкинская концепция истории русской литературы XVIII века . . . . .	75
В. В. Пугачев. Предыстория Союза благоденствия и пушкинская ода «Вольность» . . . . .	94
Л. Я. Гинзбург. Пушкин и лирический герой русского романтизма . . . . .	140
А. Н. Соколов. «Полтава» Пушкина и жанр романтической поэмы . . . . .	154
Л. С. Сидяков. К изучению «Египетских ночей» . . . . .	173
Н. В. Королева. Тютчев и Пушкин . . . . .	183
С. Л. Абрамович. Крестьянский вопрос в статье Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» . . . . .	208
И. Ф. Бэлза. Моцарт и Сальери. (Об исторической достоверности трагедии Пушкина) . . . . .	237

### Т Р И Б У Н А

Л. В. Крестова. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? (К вопросу об истолковании «Дневника») . . . . .	267
А. В. Предтеченский. Дневник Пушкина 1833—1835 годов . . . . .	278

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. И. Гиллельсон. Материалы по истории арзамасского братства . . . . .	287
А. Л. Слонимский. О каком «возвышенном галле» говорится в оде Пушкина «Вольность»? . . . . .	327
А. И. Гербстман. К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин» . . . . .	336
В. Б. Сандомирская. О датировке стихотворения Пушкина «Когда в объятия мои. . .» . . . . .	354
Р. В. Овчинников. Три надписи Пушкина на «пугачевских» документах . . . . .	362
О. И. Попова. Неопубликованное письмо П. А. Осиповой к А. И. Тургеневу Милорад Живанчевич. Переводы «Евгения Онегина» в литературе народов Югославии . . . . .	366
Н. А. Раевский. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой . . . . .	371
	379

### ЗАМЕТКИ

Из материалов к III изданию книги Н. О. Лернера «Труды и дни Пушкина» . . . . .	394
К. Я. Грот. Пушкин в Лицее летом 1831 года. (Из архива Я. К. Грота) . . . . .	401
Р. Б. Заборова. Об издании Пушкиным мистерии Кюхельбекера «Ижорский» . . . . .	405
Н. А. Малеванов. К биографии А. П. Ганнибала . . . . .	408
Э. С. Паина. Об обстоятельствах отставки А. П. Ганнибала . . . . .	412

## ХРОНИКА

ХI, ХII и ХIII Всесоюзные Пушкинские конференции (В. Б. С ан д о м и р с к а я)	415
Группа пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом)	
Академии наук СССР (О. А. П и н и)	421
Пушкинская комиссия при Отделении литературы и языка Академии наук СССР (О. А. П и н и)	423
Музей А. С. Пушкина в Москве (Н. В. Б а р а н с к а я)	426
Список иллюстраций	441
Алфавитный указатель произведений А. С. Пушкина, упоминаемых в настоящем томе (В. Б. С ан д о м и р с к а я)	428
Указатель имен (В. Б. С ан д о м и р с к а я)	430

## Пушкин. Исследования и материалы

## том IV

\*

Утверждено к печати  
Институтом русской литературы  
(Пушкинский Дом)  
Академии наук СССР

\*

Редактор издательства Н. Г. Герасимова  
Художник Д. С. Данилов  
Технический редактор В. Т. Бочевер  
Корректоры Н. И. Журавлева, А. И. Кац и И. А. Кириллова

\*

Слано в набор 28/V 1962 г. Подписано к печати 13/X 1962 г. РИСО АН СССР № 45-126Р. Формат бумаги  
70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 137<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печ. л. 273<sup>1</sup>/<sub>4</sub> = 38.01 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 40.35 Изд. № 1719.  
Тип. зак. № 690. М-37577. Тираж 2000. Цена 2 р. 62 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР  
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР  
Ленинград, В-34, 9 лин., д. 12

# ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

---

В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

**Пушкин. Исследования и материалы.** Труды III Всесоюзной конференции. 1953. 464 стр. Цена 80 к.

Статьи о незавершенных кишиневских замыслах Пушкина, о молдавских преданиях, записанных Пушкиным, о таких важнейших произведениях поэта, как „Полтава“, „История Пугачева“, Капитанская дочка“ и др. Полностью опубликованы словарные записи Ф. Энгельса к „Евгению Онегину“ и „Медному всаднику“.

**Пушкин. Исследования и материалы.** Том I. 1956. 502 стр. Цена 1 р.

**Пушкин. Исследования и материалы.** Том II. 1958. 516 стр. Цена 2 р. 94 к.

## Новая книга

**Мейлах Б. С.** Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. 1962. 249 стр. Цена 1 р. 42 к.

Книга приоткрывает для читателей одну из интереснейших и малоизученных областей литературоведения — особенности творческого процесса писателя. В работе освещена „творческая лаборатория“ Пушкина: возникновение и развитие замыслов и образов в сознании писателя и своеобразие его вдохновенного труда над произведениями.

*Ваши заказы на книги просим направлять по адресу:*

**Москва, К-12, Б. Черкасский пер., 2/10,  
Контора „Академкнига“, отдел „Книга—почтой“  
или в ближайший магазин „Академкнига“**

**Адреса магазинов „Академкнига“:** Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); 1-й Академический проезд, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Литейный проспект 57; Свердловск, ул. Белинского, 71в; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горяиновский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Баку, ул. Джапаридзе, 13.

*При получении заказа книги, как имеющиеся в наличии, так и печатающиеся, по поступлении в продажу будут направлены в Ваш адрес наложенным платежом. Пересылка за счет заказчика.*

**Предварительные заказы на книги принимаются также местными магазинами книготоргов и потребительской кооперации.**

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
17	9 снизу	стиля	стиля,
145	6 „	образцов	образов
192	8 „	„до-	„достойн
226	4 сверху	Вольфу,	Вульффу,
269	24 „	само	самого
372	3 снизу	ижевности	книжевности

Пушкин. Исследования и материалы, т. IV.

